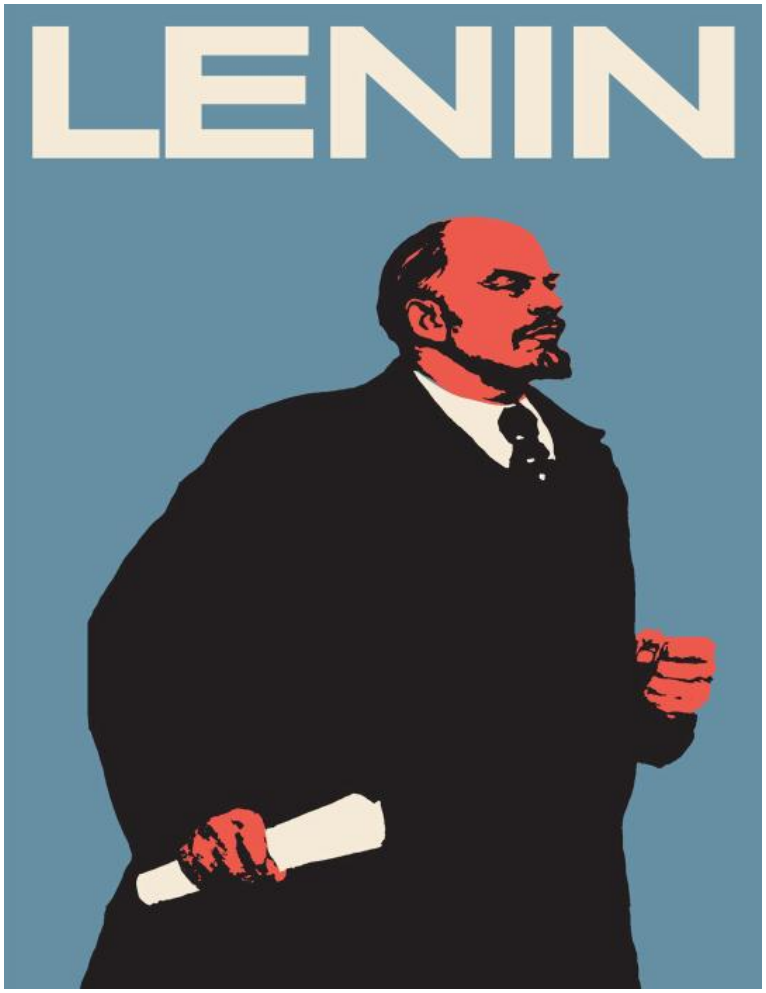
В.СЕБЕСТЬЕН

ЛЕНИН



Содержание

Введение 4
Пролог 7
Государственный переворот 7
ГЛАВА 1. Дворянское гнездо 20
ГЛАВА 2. Иддилия детства 25
ГЛАВА 3. Повешенный 31
ГЛАВА 4. Полицейское государство 36
ГЛАВА 5. Революционное образование 42
ГЛАВА 6. Владимир Ильич - адвокат 49
ГЛАВА 7. Надя - марксистка. Ухаживание 55
ГЛАВА 8. Язык, истина и логика 59
ГЛАВА 9. Иностранные края 62
ГЛАВА 10. Тюрьма и Сибирь 67
ГЛАВА 11. Рождается Ленин 78
ГЛАВА 12. Подполье 88
ГЛАВА 13. Англия, их Англия 92
ГЛАВА 14. Что делать? 100
ГЛАВА 15. Великий раскол: большевики и меньшевики 105
ГЛАВА 16. Взлеты и падения 112
ГЛАВА 17. Самодержавие без самодержца 116
ГЛАВА 18. Возвращение домой 125
ГЛАВА 19. Экспроприировать экспроприаторов 130
ГЛАВА 20. Женева - ужасная дыра 140
ГЛАВА 21. Инесса - Ленин в любви 147
ГЛАВА 22. Предательства 156
ГЛАВА 23. Любовный треугольник - две превратятся в трех 163
ГЛАВА 24. Катастрофа - мир в состоянии войны 168
ГЛАВА 25. В пустыне 174
ГЛАВА 26. Последнее изгнание 183
ГЛАВА 27. Революция - Часть первая 187
ГЛАВА 28. Запломбированный поезд 196

ГЛАВА 29. Финляндский вокзал ... 206
ГЛАВА 30. Междуцарствие ... 210
ГЛАВА 31. Мир, земля и хлеб ... 217
ГЛАВА 32. Военная добыча ... 223
ГЛАВА 33. Отчаянная ставка ... 228
ГЛАВА 34. Июльские дни ... 231
ГЛАВА 35. В бегах ... 237
ГЛАВА 36. Революция - часть вторая ... 244
ГЛАВА 37. Власть-наконец ... 249
ГЛАВА 38. Человек у власти ... 258
ГЛАВА 39. Щит и меч ... 264
ГЛАВА 40. Война и мир ... 267
ГЛАВА 41. Однопартийное государство ... 272
ГЛАВА 42. Битва за хлеб ... 279
ГЛАВА 43. Цареубийство ... 285
ГЛАВА 44. Пули убийц ... 291
ГЛАВА 45. Простая жизнь ... 298
ГЛАВА 46. Красные и белые ... 308
ГЛАВА 47. Похороны в Москве ... 318
ГЛАВА 48. Интернационал ... 322
ГЛАВА 49. Мятежники на море и на суше ... 327
ГЛАВА 50. Предчувствия смертности ... 335
ГЛАВА 51. Революция - снова ... 340
ГЛАВА 52. Последняя битва ... 343
ГЛАВА 53. Взрыв шума ... 351
ГЛАВА 54. Ленин жив ... 353
Основные действующие лица ... 358
Избранная библиография ... 363
Фотоальбом ... 373

Введение

На одной стороне Красной площади в Москве по-прежнему виднеется знакомое каждому, кто знал поздний Советский Союз в коммунистические годы, зрелище. Каждый день длинные очереди людей терпеливо ждут билета, чтобы посетить мавзолей Ленина, расположенный на огромном мраморном пьедестале, возведенном в конце 1920-х годов. Ожидание может длиться вечно; сам тур – всего несколько мгновений. Посетители заходят в подвал и проходят несколько метров по пустому коридору в жутковатой полутьме, прежде чем достичь гроба. Мощные лампы освещают забальзамированное тело, которое уже более девяноста лет лежит в этой гробнице на роскошном красном бархате. Толпа так велика, что посетителям дается максимум пять минут, чтобы выразить свое почтение – или просто полюбоваться. Несколько посетителей – иностранцы, но подавляющее большинство – русские.

Это мрачное место для экскурсии в XXI веке, кем бы ни был там погребен. Но спустя четверть века после распада СССР кажется самым странным анахронизмом, что Владимир Ильич Ленин продолжает привлекать такие толпы. Все знают о том хаосе, который он создал; немногие сейчас верят в идеалы, которые он исповедовал. Тем не менее, он по-прежнему вызывает внимание – и даже привязанность – у россиян.

Нынешний российский лидер Владимир Путин не намерен избавляться от мавзолея. Напротив, в 2011 году он санкционировал огромные расходы на ремонт мавзолея, когда возникла угроза его разрушения. Культ Ленина сохраняется, хотя и в измененном виде. Дед Путина, Спиридон, был поваром Ленина после революции, но это не семейные чувства президента удерживают останки Ленина на своем месте. Ясный сигнал заключается в демонстрации исторической преемственности, идеи о том, что Россия по-прежнему нуждается – как всегда нуждалась – в доминирующем, беспощадном, автократическом лидере, в вожде. Мавзолей Ленина когда-то символизировал интернациональную идеологию, мировой коммунизм. Теперь он стал алтарем возрождающегося русского национализма.

Забальзамировано было не только тело Ленина. Его характер был «сохранен» тоже; его личность, мотивация и намерения редко переосмыслялись за последние годы, даже с учетом массы новой информации о нем, появившейся после открытия архивов в бывшем Советском Союзе. В СССР все биографии Ленина были агиографиями, обязательными к прочтению в российских школах, где детей учили называть основателя советского государства дедушкой Лениным. Даже последний глава КПСС Михаил Горбачев называл его «особым гением» и часто цитировал. Ленин был столпом большевистской праведности во всех отношениях.

В другом лагере было все наоборот. Обычно утверждали, что Ленин, возможно, и не был так ужасен, как Сталин, но тем не менее он создал одну из самых жестоких тираний в истории — государственную модель, которую в свое время скопировала почти половина мира. Чаще всего — с некоторыми исключениями — биографы занимали одну из сторон в идеологическом конфликте, особенно во времена, когда Холодная война имела значение. Эти теоретические споры утратили актуальность с момента падения Берлинской стены и распада Советского Союза.

Коммунистический мир, который создал Ленин, во многом отражал его аскетичный образ, и он, возможно, ушел на свалку истории. Но он остается актуальным и сегодня. После окончания Холодной войны неолиберализм одержал победу, вместе с идеей демократии; социализм и его варианты были полностью дискредитированы. Казалось, что не существует альтернативы

политическим и экономическим решениям, предлагаемым глобализованными рынками. Но после банковского кризиса и рецессии 2007–2008 годов мир стал выглядеть по-другому. Во многих странах Запада произошла утрата уверенности в самом демократическом процессе. Для миллионов людей те уверенности, которые два поколения воспринимали как основополагающие факты жизни, стали гораздо менее определенными. Ленин, вероятно, счел бы мир 2017 года на пороге революционного момента. Он важен сегодня не из-за своих ошибочных, кровавых и жестоко заблуждающихся ответов, а потому, что он задавал те же вопросы, что и мы сегодня, по схожим проблемам.

Миллионы людей, а также некоторые опасные популистские лидеры как слева, так и справа, сомневаются в том, удалось ли либеральной демократии создать справедливое общество, обеспечить устойчивую свободу и процветание, а также справиться с огромным неравенством и несправедливостью. Такие выражения, как «глобальная элита» и «один процент», теперь используются в явно ленинском духе. Маловероятно, что решения Ленина будут вновь приняты где-либо в будущем. Но его вопросы постоянно звучат и сегодня, и на них могут быть даны столь же кровавые ответы.

Ленин захватил власть в результате переворота, но действовал он не исключительно через террор. Во многих отношениях он был вполне современным политическим феноменом — типом демагога, который нам знаком как в западных демократиях, так и в диктатурах. В своем стремлении к власти он обещал людям все, что угодно. Он предлагал простые решения сложных проблем. Он беззастенчиво лгал. Он находил козла отпущения, которого позже мог бы назвать «врагом народа». Он оправдывал себя тем, что победа значит все: цель оправдывала средства. Любой, кто пережил последние выборы в якобы развитых политических культурах Запада, мог бы узнать в этом что-то знакомое. Ленин был крестным отцом того, что комментаторы спустя столетие называют «политикой постправды».

Ленин считал себя идеалистом. Он не был монстром, садистом или жестоким человеком. В личных отношениях он был неизменно добр и вел себя так, как его воспитывали, как человек из высшего среднего класса. Он не был тщеславен. Он мог смеяться — даже, иногда, над собой. Он не был жесток: в отличие от Сталина, Мао Цзэдуна или Гитлера, он никогда не интересовался подробностями гибели своих жертв, наслаждаясь этим моментом. Для него, в любом случае, смерти были теоретическими, просто цифрами. Он никогда не носил униформы или военные кители, как это делали другие диктаторы. Но за годы борьбы с другими революционерами и в удержании власти он никогда не проявлял щедрости по отношению к побежденным противникам и не совершал гуманных поступков, если это не было политически выгодно.

Он создал систему, основанную на идее, что политический террор против оппонентов оправдан ради высшей цели. Эту систему довел до совершенства Сталин, но идеи принадлежали Ленину. Он не всегда был плохим человеком, но совершал ужасные поступки. Анжелика Балабанова, одна из его старых соратниц, которая многие годы его восхищалась, но потом начала бояться и ненавидеть, точно подметила, что трагедия Ленина заключалась в том, что, по выражению Гёте, он «желал добра… но творил зло». Худшим из его преступлений было то, что он оставил такого человека, как Сталин, в позиции, позволившей ему возглавить Россию после него. Это было историческим преступлением.

Ленин часто изображается как жесткий идеолог, фанатичный коммунист, и до определенной степени это верно. Он постоянно провозглашал марксистскую теорию — «без теории не может быть революционной партии», как он однажды сказал. Но гораздо чаще он подчеркивал своим последователям другую мысль: «теория — это руководство, а не священное писание *(догма – прим.перев.)*». Когда идеология сталкивалась с оппортунизмом, он неизменно выбирал

тактический путь, жертвуя чистотой доктрины. Он мог полностью изменить свое мнение, если это способствовало достижению его цели. Его вела не только идеология, но и эмоции. Жажда мести за казнь его старшего брата, который участвовал в заговоре с целью убить царя, мотивировала Ленина не менее сильно, чем его вера в марксистскую теорию прибавочной стоимости.

Он хотел власти и стремился изменить мир. Лично он удерживал власть чуть более четырех лет, прежде чем ухудшение здоровья сделало его физически и умственно неспособным продолжать. Но, как он и предсказывал, большевистская революция 1917 года «перевернула мир с ног на голову». Россия, да и многие места от Азии до Южной Америки, с тех пор так и не оправились.

Для биографа политическое часто является личным, как сам Ленин иногда говорил. Он был продуктом своего времени и места: жестокой, тиранической и коррумпированной России. Революционное государство, которое он создал, оказалось не социалистической утопией его мечты, а зеркальным отражением самодержавия Романовых. Тот факт, что Ленин был русским, не менее важен, чем его марксистская вера.

Ленин как личность редко раскрывался во времена холодной войны. Ни одна сторона не хотела изображать его человеком, так как это не вписывалось в их идеологические рамки. Он не был холодным, логичным и одномерным, как его часто изображают. Он был очень эмоциональным и впадал в ярость, которая почти парализовывала его.

Он написал огромное количество текстов о марксистской философии и экономике, многие из которых сейчас трудно понять. Но он любил горы почти так же сильно, как и революцию, и писал лирично о прогулках по Альпам и сельской местности. Он обожал природу, охоту, стрельбу и рыбалку. Он мог идентифицировать сотни видов растений. Его «заметки о природе» и письма семье раскрывают ту часть Ленина, которая удивит тех, кто считал его отстраненной и бесчувственной фигурой.

Одним из сюрпризов при исследовании этой книги стало то, что практически все важные отношения в жизни Ленина были с женщинами. Это показывает другую, малоизвестную его сторону: Ленина в любви. Его жена Надежда — Надя — оставила сильно приукрашенные и скучные мемуары об их совместной жизни; однако, с учетом нового материала и воссоздания нарратива из других источников, она предстает гораздо более значимой фигурой, чем просто домохозяйка или секретарь, какой ее обычно представляют. Ленин никогда бы не достиг того, чего достиг, без нее. На протяжении десятилетия у него были отношения с умной и красивой женщиной, Инессой Арманд. Их «любовный треугольник» вплетен в почти половину этой книги, поскольку он был центральным в эмоциональной жизни Ленина — и Надежды. Это редкий пример любовного треугольника, в котором все три участника, судя по всему, вели себя цивилизованно. Единственный раз, когда Ленин публично показал свои эмоции, был на похоронах Арманд, за три года до его собственной смерти.

Во времена СССР, когда я был журналистом на задании в Москве, мне устроили частную экскурсию по кабинету и комнатам Кремля, которые когда-то занимал Ленин. Они были сохранены такими, какими были в его время, или так мне заверил старший партийный функционер, который сопровождал меня. Меня поразила обыденность обстановки, её банальность, буржуазность, и я недипломатично выразил это словами. Странно, но функционер, который по должности редко мог позволить себе еретические мысли, сказал: «Да, я всегда задавался вопросом, как он мог сделать такие удивительные вещи». Этот разговор я никогда не забуду. Это попытка ответа.

Виктор Себестиен, Лондон, октябрь 2016 года.

Пролог

Государственный переворот

«Восстание есть искусство, точно так же как и война, как и другие виды искусства.».
Карл Маркс, «Революция и контрреволюция в Германии», 1852 г.
«Мы в несколько месяцев прошли ряд этапов соглашательства с буржуазией, изживания мелкобуржуазных иллюзий, на что другие страны тратили десятилетия. Мы в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне».
Владимир Ильич Ленин, «Главные задачи нашего времени»

Он беспокоился из-за своего парика, волнистой серебристо-серой "гривы", которая всё время съезжала с его лысой, блестящей головы, угрожая сорвать его маскировку. Владимир Ильич Ульянов – более известный под псевдонимом Ленин – боролся всю свою взрослую жизнь ради этого момента. Он был на пороге захвата абсолютной власти в России и начала революции, которая изменит мир. Но вот он, цепляясь за этот нелепый парик, укрывался на втором этаже тесной квартирки в рабочем районе Петрограда, в то время как история вершилась другими людьми в нескольких километрах от него, в центре города.

Он больше не мог выносить это чувство фрустрации и неопределённости. Ленин знал, что он и его небольшая группа фанатичных социалистов – большевиков – имели ограниченную популярность в столице России и ещё меньше – в остальной части страны. Их единственный шанс на величие был в том, чтобы «взять власть с улицы» сейчас, через восстание против слабого правительства, которое само не могло похвастаться поддержкой. Время решало всё, как Ленин повторял с монотонной регулярностью. Он заявил, что переворот должен произойти не позднее среды, 25 октября 1917 года, иначе его враги воспользуются моментом, чтобы сорвать его планы. Ему было сорок семь, он уже не был в расцвете сил, и если бы он потерпел неудачу, шанса могло больше не быть.

Был уже вечер вторника, 24 октября, и Владимир Ильич не знал, реализуются ли хоть какие-то из планов его соратников по восстанию. Он был лидером, отрезанным от своего Генерального штаба и своих войск. Он назначил «Военно-революционный комитет», чтобы разработать тактические детали переворота, но этот комитет базировался на другой стороне города, в штаб-квартире большевиков в Смольном институте – величественном здании, которое когда-то было школой для дочерей знати.

По соображениям безопасности соратники Ленина настояли на том, чтобы он оставался в безопасном доме, выбранном для него в рабочем районе Выборг. Он укрылся в доме Маргариты Фофановой, верной партийной работницы, которой было приказано не выпускать Ленина из квартиры. Он провёл большую часть дня, нервно расхаживая по главной комнате квартиры, становясь всё более раздражённым. Едва ли кто-то его навещал, и до 18:00 он не получил никаких известий о предстоящем восстании, пока не вернулась Фофанова и не сказала ему, что в городе не видно признаков ударных отрядов большевиков, Красной гвардии. «Я не понимаю их», – сказал он. «Чего они боятся? Просто спросите, есть ли у них сотня надёжных солдат или красногвардейцев с ружьями. Это всё, что мне нужно».

Ленин беспокоился, что его военный комитет, в котором почти никто не имел боевого опыта, провалит переворот. Ещё хуже – он представлял себе, что его гражданские соратники отменили

восстание в его отсутствие. Он знал, что многие даже в его ближайшем окружении сомневались, что большевики могут взять власть, не говоря уже о том, чтобы удержать её; некоторые опасались, что их «повесят на фонарных столбах», если они попробуют. Ленин навязывал им свою волю, как он всегда находил способ сделать это за почти два десятилетия лидерства в подпольном революционном движении. Он запугивал, уговаривал и, наконец, шантажировал их, угрожая уйти в отставку, оставив большевиков без руководства. В конце концов, две недели назад он заручился поддержкой большинства высших партийных деятелей, чтобы они пошли за ним. Но они всё ещё могли передумать и отменить восстание. Власть могла ускользнуть от него.

Ленин в спешке нацарапал волнующую мольбу к своим товарищам. «Настолько ясно, насколько это возможно, что откладывание восстания действительно было бы роковым», – написал он. «Сейчас всё висит на волоске. Мы не должны ждать. Мы должны любой ценой действовать этим вечером, этой ночью, иначе мы можем потерять всё. История не простит задержки революционерам, которые могли бы победить сегодня (и непременно победят сегодня), но рискуют потерять всё завтра. Правительство шатается. Его необходимо добить любой ценой».

Он велел Фофановой отнести записку в местную партийную штаб-квартиру Выборга, которая была поблизости, затем передать её его жене, Надежде Константиновне Крупской, «и никому другому». Она позаботится о том, чтобы записка попала к высшим партийным чиновникам.

Ленин отчаянно хотел попасть в Смольный. Лидер должен был быть на передовой, а не прятаться. Но на него был выдан ордер на арест, и он находился в опасности. Он жил в подполье с начала июля, три месяца провёл в Финляндии, а последние три недели – в Петрограде. Сначала власти делали вялые попытки поймать его. Днями ранее большевиков предупредили, что теперь правительство гораздо более решительно настроено его арестовать. Ещё одной угрозой было то, что в Петрограде рухнула законность, и случайное насилие со стороны преступников сделало некоторые части города опасными. «Грабежи участились до такой степени, что было опасно ходить по переулкам», – писал один репортёр. «На Садовой [главная улица возле Финляндского вокзала] однажды днём я видел, как толпа из нескольких сотен человек избила и растоптала солдата, пойманного на краже»[1].

Скоро после 9 вечера в квартире пожаловал телохранитель Ленина, Эйно Рахья. Он был финским большевиком, сблизившимся с Лениным за многие годы эмиграции. Он сообщил, что правительство приказало поднять все мосты через Неву. Если это удастся, Выборгский район будет отрезан от центра города, и, если правительственные войска соберут достаточно солдат, они смогут захватить Петроград квартал за кварталом, разъединяя части Красной гвардии и прерывая коммуникации.

«Что ж, тогда отправляемся в Смольный», – сказал Ленин.

Рахья предупредил, что транспорта нет, и придется идти пешком. «Это может занять несколько часов – и это очень рискованно». У них не было пропусков, которые позволили бы им пройти в центральные районы столицы.

Ленин настоял на том, что в таком случае лучше отправиться немедленно. Он нашел листок бумаги и оставил сообщение для Фофановой: «Я пошел туда, куда ты не хотела, чтобы я шел. Прощай. Ильич».

---

[1] Собрание сочинений Ленина, изд. в СССР в различных редакциях, последняя из которых состояла из 45 томов и была выпущена в период с 1965 по 1973 годы. Ссылки на этот источник будут обозначены в виде Ссю В этом тексте я буду ссылаться на это издание как на СС. Письма Ленина к Фофановой и Центральному Комитету большевиков: СС, том 44, стр. 68–72.
Опасности на улицах Петрограда: Рид, стр. 83.

Ленин замаскировался, надев старую одежду рабочего, очки, парик, который всё равно не держался на месте, даже когда он носил рабочую кепку, ставшую в последующие годы его узнаваемым атрибутом. Ранее летом он сбрил свою знаменитую рыжеватую бороду. Он обмотал лицо грязным носовым платком. Если их остановят, план был в том, чтобы сказать, что у него болит зуб.

Они вышли в холодную ветреную ночь. Ленин думал, что пойдет дождь, и надел галоши поверх обуви. Они прошли несколько сотен метров и им повезло: подошел почти пустой трамвай. Он довез их несколько километров до угла Ботанического сада Петрограда, неподалеку от Финляндского вокзала, где была конечная остановка. В позднейших советских источниках говорилось, что Ленин завязал разговор с кондукторшей, которая спросила его: «Откуда вы пришли? Разве вы не знаете, что будет революция? Мы собираемся выгнать начальников!» Ленин, как утверждается, весело засмеялся и объяснил ей, как происходят революции, чем сильно раздражал Рахью, который боялся, что Ленин себя выдаст.

Трамвай остановился у Литейного моста незадолго до полуночи. Именно здесь их шествие стало более трудным и опасным. На одном конце моста стояли сторонники большевиков, которая приняла их за настоящих пролетариев и пропустила. Другой конец был всё еще в руках правительственных войск, которые проверяли пропуска. В этот момент группа рабочих начала спорить с солдатами, и Ленин с Рахьей воспользовались случаем, чтобы незамеченными пройти мимо.

Они шли по Литейному проспекту – уже рядом со Смольным, но натолкнулись на двух юнкеров, молодых офицеров, которые попросили у них документы. Рахья был вооружен двумя револьверами и был готов сражаться с ними, если понадобится. Но потом у него появилась лучшая идея. Он прошептал Ленину: «Я разберусь с этими солдатами, ты иди дальше», и Ленин пошел. Рахья начал отвлекать стражников, споря с ними, покачиваясь на ногах и заплетающимся языком. Юнкера потянулись за пистолетами, но, в конце концов, решили не вмешиваться и пропустили их, решив, что это просто двое безобидных стариков.

Марксисты, как известно, не верят в удачу, случайности или совпадения, предпочитая объяснять жизнь через широкие исторические силы. Но второй по значимости большевистский лидер в 1917 году, Лев Троцкий, просто сказал, что если бы Ленина арестовали, застрелили или его не было бы в Петрограде, «не было бы Октябрьской революции».

Они добрались до «великого Смольного», огромного желтого здания с коллонадой длиной более 150 метров. Смольный институт был «внутренней ареной революции». В ту ночь здание «сияло огнями и издалека походило на океанский лайнер в ночном море». Подойдя ближе, можно было слышать «гул, как от гигантского улья». Молодые красногвардейцы стояли снаружи, «сбившаяся в кучу группа парней в рабочей одежде, с ружьями с примкнутыми штыками, нервно переговариваясь друг с другом», грели руки у костров. Ленина не узнали, но его проблемы на этом не закончились. У него и у Рахьи были старые пропуска – белые, вместо действующих красных, выданных утром. «Это смешно, какой беспорядок», – закричал Рахья. «Вы не пускаете члена Петроградского Совета».

Когда это не сработало, Ленин тоже начал спорить с охраной. Только когда люди позади них в очереди начали возмущаться задержкой и толкаться, стражники их пропустили. «Ленин вошел, смеясь», – вспоминал позже один из мужчин в толпе. Когда он снял кепку перед охранниками, парик слетел.

Ленин никогда раньше не был в этом здании и не знал, куда идти. В течение нескольких недель Смольный был переполнен солдатами, спящими в коридорах, революционными политиками, заговорщиками. В лабиринте из 120 комнат были и журналисты, наблюдающие за развитием

русской революции. Запах был невыносимым. «Воздух был густ от табачного дыма; полы были покрыты мусором, и повсюду был запах мочи. Бесполезные объявления висели на стенах: “Товарищи, сохраняйте чистоту”». Рахья привел Ленина, всё ещё беспокоившегося о своей маскировке, на второй этаж. Здесь он оказался среди как противников, так и друзей.

Наверху его встретил Троцкий, глава Военно-революционного комитета, человек, ответственный за осуществление переворота. «Владимир Ильич, замаскированный, был странным зрелищем», – сказал Троцкий позже. Когда они приветствовали друг друга, двое видных членов оппозиционной социалистической группы внимательно посмотрели на Ленина, улыбнулись и обменялись понимающими взглядами. «Чёрт возьми, они меня узнали, мерзавцы», – пробормотал Ленин.

Ленина провели в комнату №10, где Военно-революционный комитет заседал круглосуточно уже несколько дней. «Мы оказались в присутствии маленького седого старика в пенсне», – вспоминал Владимир Антонов-Овсеенко, который вскоре стал одним из самых беспощадных карателей. «Можно было бы принять его за школьного учителя или продавца подержанных книг. Он снял парик… и тогда мы узнали его глаза, сверкающие, как обычно, с искрой юмора. “Какие новости?” – спросил он».

Находясь в подполье, Ленин мало знал о точных деталях переворота. Художник восстания оперировал широкими мазками. Теперь он увидел карты города, разложенные на столах, и ему рассказали, как к утру ключевые точки Петрограда будут в руках большевиков. По словам Троцкого, в распоряжении было около 25 000 вооружённых красногвардейцев, но потребуется лишь небольшая часть из них. Революционеры возьмут власть, не сделав ни одного выстрела.

В углу комнаты постелили одеяла и подушки, и Ленин с Троцким легли. Но никто из них не мог уснуть. В 2 часа ночи Троцкий посмотрел на свои часы и сказал: «Началось». Ленин ответил: «У меня кружится голова. От того, что я был в бегах, до высшей власти – это слишком», и, по словам Троцкого, Ленин перекрестился.[2]

Миф о том, что революция была идеально организованной операцией группой дисциплинированных заговорщиков, которые точно знали, что делают, остаётся одним из самых устойчивых. Это версия событий, которая устраивала обе стороны. Советские историки в последующие десятилетия представляли «славный Октябрь» как восстание масс, блестяще руководимое мастером тайминга и тактики В. И. Лениным и его умелыми, героическими помощниками из большевистской партии, которые строго придерживались расписания восстания.

Проигравшие «белые», как их вскоре стали называть, также придерживались утешительного мифа: что они потеряли власть в результате точно рассчитанного военного захвата, организованного злобным гением, чьи планы, хотя и были дьявольскими, умело учитывали хаос на улицах Петрограда. Лоялистам не понравилось бы признание, что их победили заговорщики, которые едва не провалили свою революцию. Большевики легко могли потерпеть неудачу, если бы в ключевые моменты они встретили хоть какое-то сопротивление.

---

[2] Прибытие Ленина в Смольный: Харрисон Солсбери, «Черная ночь, белый снег: Революции России 1905–1917», Нью-Йорк, 1978, стр. 434–442; Троцкий, «История русской революции», стр. 288.
Троцкого часто спрашивали позднее, был ли он абсолютно уверен, что такой известный воинствующий атеист, как Ленин, действительно перекрестился в этот торжественный момент. Троцкий отвечал, что был удивлён, увидев это, но вряд ли он мог бы забыть или выдумать такое. Троцкого также удивило то, что, говоря о головокружении, Ленин очень осознанно использовал немецкое выражение «Es schwindelt» — по-видимому, для усиления эффекта.

На самом деле «заговор» был самым плохо охраняемым секретом в истории. Все в Петрограде слышали, что большевики готовят скорый переворот. Об этом говорили в прессе последние десять дней. Главная правоконсервативная газета «Речь» даже назвала дату – 25 октября, а левая «Новая Жизнь», издаваемая писателем Максимом Горьким, предупреждала большевиков о том, чтобы они не прибегали к насилию и не проливали ещё больше крови в России. Предположительно идеальное планирование времени восстания было настолько неопределённым, что никто не мог с уверенностью сказать, когда оно началось. В какой-то момент мэр Петрограда отправил делегацию к участникам обеих сторон, чтобы выяснить, началось ли восстание. Он не смог получить точного ответа. Большевики имели мало военного опыта. Один из главных командующих на местах, Александр Геневский, был временным лейтенантом царской армии, уволенным в запас после того, как был отравлен газом в начале Первой мировой войны. Ему предложили стать «генералом» в восставших силах. Его задача заключалась в том, чтобы держать военных планировщиков в Смольном в курсе событий, звоня по номеру, который якобы всегда должен был быть доступен – 148–11. Когда телефон не был неисправен, он был занят. Большевики не смогли наладить контроль над телефонной системой Петрограда и были вынуждены отправлять курьеров по улицам города. Ключевая сила – матросы Кронштадтской военно-морской базы, надёжные сторонники большевиков, – прибыли в Петроград на день позже.

Они победили, потому что другая сторона – Временное правительство и его сторонники, коалиция правоцентристов, либералов и умеренных социалистов – были ещё более некомпетентны и раздроблены и не принимали большевиков всерьёз до тех пор, пока не стало слишком поздно. Но главным образом потому, что большинству людей было безразлично, какая сторона победит. На самом деле, мало кто понял, что произошло что-то важное, пока всё не закончилось.[3]

В Смольном Ленин не мог отдыхать всю ночь. Он постоянно изучал карты и с тревогой ждал новостей. Он был раздражён, постоянно требуя более надёжной информации и более решительных действий, настаивая на ускорении восстания. «Он работал с бешеной скоростью, выпроваживая запыхавшихся курьеров и отправляя помощников… среди гула телеграфов». Он спешно готовил заявления и декреты, которые должен был сделать, когда власть будет обеспечена. Он перемещался между комнатой 10, где заседал Военно-революционный комитет, и комнатой 36, по длинному коридору, где человеческие запахи смешивались с запахом варёной капусты из столовой на первом этаже здания. Там же заседало остальное большевистское руководство Центрального комитета партии «в крошечной комнате вокруг плохо освещённого стола, с пальто, разбросанными по полу. Люди постоянно стучали в дверь с новостями».

В какой-то момент вскоре после рассвета товарищи начали обсуждать форму нового правительства. Ленин размышлял, как его следует назвать.

«Мы не должны называть членов министрами», – сказал он. «Это отвратительное, избитое слово».

«Почему бы не назвать их комиссарами», – предложил Троцкий, «только комиссаров уже слишком много. Как насчёт народных комиссаров?»

«Народные комиссары. Мне это нравится. А как мы назовём правительство?»

«Совет народных комиссаров».

«Это замечательно», – воскликнул Ленин. «В этом есть запах революции».

---

[3] Дезорганизация Октябрьского переворота: Файджес, стр. 484–490; Николай Подвойский, «Ленин в Октябре», Красная Газета, 6 ноября 1927.

Затем последовал фарс ложной скромности среди революционеров, которые уже через несколько часов стали верховными олигархами, обладающими страшной властью над жизнями и смертями миллионов.

Ленин предложил, чтобы Троцкий возглавил правительство, а он сам остался лидером большевистской партии. Никто не знает, серьёзен ли он был или нет, но он не проявил удивления, когда Троцкий отказался. «Вы прекрасно знаете, что еврей не может быть премьером в России», – сказал он. «И кроме того, вы постоянно бы спорили со мной. Вы – лидер. Это должны быть вы». Решение было единогласным.[4]

Ночью небольшие группы красногвардейцев захватили стратегические командные пункты города. К рассвету они заняли все мосты через Неву, за исключением Николаевского моста, рядом с Зимним дворцом. Ранее они захватили Петропавловскую крепость, прямо через реку, чьи пушки контролировали вид на дворец, где находился премьер-министр Александр Керенский и заседало Временное правительство. Время от времени слышалась стрельба, но боёв не было. «Это произошло, пока город крепко спал», – записал Николай Суханов, чьё свидетельство о революции остаётся одним из лучших описаний событий. «Больше похоже на смену караула, чем на восстание».

В 6 утра был захвачен Государственный банк, через час Центральная телефонная станция, Главпочтамт и Телеграф. К 8 утра повстанцы заняли все железнодорожные станции. Большевики контролировали коммуникации по всему Петрограду, почти не стреляя. Не было никаких жертв. Теоретически правительство могло призвать войска городского гарнизона, насчитывающего около 35 000 солдат. Но, как предсказал Троцкий, даже если большинство солдат не поддерживали большевиков, они не собирались сражаться с ними.

Время восстания имело решающее значение для политической стратегии Ленина. После свержения царя семь месяцев назад власть в России была поделена между серией коалиционных правительств, которые становились всё слабее, и Советами. На русском языке слово «Совет» означает просто «совет», и это были спешно избранные делегаты от рабочих и солдат, которые утверждали, что именно они начали и возглавили революцию в феврале, свергнувшую Романовскую автократию.

Ленин исключил большевиков из участия в правительстве, но за последний месяц они получили небольшое большинство в Петроградском совете. План Ленина заключался в том, чтобы свергнуть правительство и заявить, что он действует от имени Советов. Реальная власть оказалась бы в руках большевиков, но поддержка Совета давала Ленину политическое прикрытие и видимость народной поддержки. Однако существовала одна большая проблема. В этот день должен был состояться Съезд Советов – в великолепном бело-золотом бальном зале Смольного, всего несколькими этажами ниже комнат, где большевики готовили переворот. Ленин должен был представить захват власти как свершившийся факт, когда съезд соберётся в полдень, и провозгласить победу революции. Однако правительство всё ещё существовало, и Зимний дворец – символ власти в России со времён Екатерины Великой – не был захвачен.

Военный комитет сообщил Ленину, что захват дворца будет простым делом и займёт пять или шесть часов. Однако на это ушло более пятнадцати часов, с множеством ошибок, которые выглядели бы фарсом, если бы ставки не были так высоки.

В 9 утра Ленин потребовал капитуляции правительства. Ответа не последовало. Премьер-министр Керенский покинул дворец на рассвете, отправившись в штаб армии с попыткой

[4] Неистовый темп работы Ленина: Подвойский. Выбор названия «Народные комиссары»: Троцкий, «Моя жизнь», Нью-Йорк, 1930, стр. 427–431.

собрать верные войска для подавления восстания. Большевики не предприняли никаких усилий для его задержания, хотя его побег не был простым. У Зимнего дворца стояли тридцать автомобилей, но ни один из них не был на ходу. Он даже не смог найти такси. Был послан офицер с поручением найти автомобиль, который можно было бы реквизировать. Британское посольство ему отказало, но представитель американской миссии согласился предоставить Керенскому свою машину «Рено» при условии, что её вернут.[5] Ещё один офицер раздобыл роскошный кабриолет «Пирс-Эрроу» и немного топлива. Керенский ехал по Дворцовой площади и улицам Петрограда с открытым верхом, легко узнаваемый.

Когда министры собрались в Малахитовом зале Зимнего дворца ближе к полудню, они отказались сдаваться и решили держаться столько, сколько смогут. «Обречённые люди, одинокие и покинутые, мы бродили по огромной мышеловке», – записал в своём дневнике Павел Малянович, министр юстиции.

Ленин был известен своими яростными, необузданными «приступами гнева», как часто говорила его жена Надежда. Они становились всё чаще по мере ухудшения его здоровья и усиления бессонницы и головных болей, которые всегда его мучили. В этот день он был в ярости, так как его военные планировщики, казалось, совершали ошибки. Он отложил своё выступление на Съезде Советов с полудня до 3 часов дня, но если бы задержка затянулась ещё больше, его вся политическая стратегия могла бы рухнуть. Было жизненно важно представить переворот как завершённый успех, дело сделано.

В комнате 10 Смольного он отдавал приказы своим помощникам и командирам Красной гвардии, отправлял десятки записок с просьбами ускорить захват дворца. Эти просьбы вскоре превратились в требования, а затем в угрозы. Он ходил по комнате «как лев в клетке», вспоминал Николай Подвойский, один из старших чиновников Военно-революционного комитета. «Владимир Ильич ругал, кричал. Ему нужен был дворец любой ценой. Он сказал, что готов нас расстрелять».[6]

Министры оставались в огромном, но мрачном символе имперской России, который стал домом Временного правительства с июля. Большая часть истории царской империи разыгралась в 1500 комнатах дворца, протянувшегося на четверть мили вдоль Невы. Керенский переехал в апартаменты на третьем этаже, которые когда-то принадлежали императору, с окнами, выходящими на шпиль Адмиралтейства. Большая часть здания теперь использовалась как военный госпиталь для раненых, на этот день там находилось около 500 пациентов. Во внутреннем дворе здания стояли сотни лошадей, принадлежавших двум ротам казаков, охранявших правительство. Наряду с казаками, были 220 юнкеров из Ораниенбаумского военного училища, сорок солдат велосипедного отряда Петроградского гарнизона и 200 женщин из ударного батальона смерти.[7] Из девятимиллионной русской армии это всё, что Временное правительство смогло собрать для защиты столицы – и самих себя.

---

[5] Ни владелец машины, американский дипломат Шелдон Уайтхаус, ни водитель не смогли понять, как снять флаг США со звёздами и полосами с капота автомобиля. Этот случай привёл к официальному дипломатическому протесту со стороны большевистского режима в адрес правительства США — первому из многих за последующие десятилетия.

[6] Гнев Ленина: Подвойский. Министры в Зимнем дворце: Солсбери, стр. 440–446; Файджес, стр. 495–497; Ричард Пайпс, «Русская революция 1899–1919», Лондон, 1990, стр. 514–516.

[7] Несмотря на их зловещее название, это были в основном девушки из провинций, и они вовсе не были рады участвовать в отчаянной попытке поддержать Временное правительство. На самом деле они не поддерживали это правительство. Их легко было узнать по их росту, а с коротко остриженными волосами они напоминали мальчиков. Фотографы, снимавшие их для прессы за день до переворота, заметили, как маленькими они выглядели на фоне сопровождавших их казаков. Девушки были напуганы — и не только

«Штурм Зимнего дворца», центральное событие Российской революции, был настолько плохо организован, что американские журналисты Джон Рид и его жена Луиза Брайант смогли без проблем прогуляться по дворцу в течение дня. Прислуга дворца в своих царских синих униформах приняла их пальто, как обычно, а некоторые кадеты из военного училища провели их по залам. На первом этаже «в конце коридора находилась большая роскошная комната с позолоченными карнизами и огромными хрустальными люстрами», писал Рид. «По обеим сторонам паркета были длинные ряды грязных матрасов и одеял, на которых иногда лежали солдаты. Повсюду валялись окурки, куски хлеба, одежда и пустые бутылки с дорогими французскими этикетками. Солдаты ходили в затхлой атмосфере табачного дыма и немытого тела. У одного была бутылка белого бургундского, очевидно, украденная из винных погребов дворца. Место было огромной казармой».

В 3 часа дня Ленин больше не мог ждать. Он появился перед Съездом Советов в Смольном и дерзко объявил о победе, хотя правительство ещё не было свергнуто, министры не были арестованы, а Зимний дворец не находился в руках большевиков. Это была первая большая ложь советского режима. Ленин зачитал заявление, которое он подготовил рано утром, когда думал, что успех переворота уже свершился.

«Граждане России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного комитета, возглавляющего петроградский пролетариат и гарнизон.

Дело, за которое боролся народ, – а именно, немедленное предложение демократического мира, ликвидация помещичьей собственности, рабочий контроль над производством и установление советской власти – обеспечено.

Да здравствует революция солдат, рабочих и крестьян!»

Объявление о захвате власти было настолько важно для его плана, что он был готов его выдумать.[8]

Когда Ленин вернулся наверх, он не мог сдержать своего гнева. Он приказал обстрелять дворец с Петропавловской крепости, но трагикомедия и абсурд осады только начинались. Расписание переворота срывалось всё больше и больше, и, по мере того как день подходил к концу, сроки вообще перестали иметь значение. Большевистские артиллеристы оказались полными неумехами. В крепости было пять тяжёлых полевых орудий, но они были музейными экспонатами, которые не стреляли годами и не чистились месяцами. Нашли несколько лёгких учебных орудий и перетащили их на позиции, но для них не оказалось подходящих трёхдюймовых снарядов. Затем выяснилось, что у пушек нет прицелов. Во второй половине дня комиссары поняли, что первоначальные пушки просто нуждаются в чистке.

Для повстанцев события становились всё более сюрреалистичными. Даже простая задача – поднять красный фонарь на вершину флагштока крепости, чтобы дать сигнал к началу бомбардировки и штурма, – оказалась им не под силу. Красного фонаря нигде не оказалось. Командир крепости, Георгий Благонравов, отправился в город искать подходящую лампу, но заблудился и угодил в грязное болото. Он вернулся, хотя и с пурпурной лампой, которую не смог закрепить на флагштоке. Повстанцы отказались от идеи подать сигнал.

большевиками. «Ночью мужчины стучались в наши казармы и выкрикивали проклятия», — рассказывала одна из молодых участниц батальона. Когда их отправляли во дворец, им сказали, что они будут участвовать в полковом параде. Они не были готовы стрелять в своих соотечественников. Осаждавшие большевики тоже беспокоились о присутствии женщин во дворце: «Люди скажут, что мы стреляем в русских женщин», — сказал один из них.

[8] Заявление Ленина на Съезде Советов: СС, том 44, стр. 83.

В 18:30 большевики, которые уже несколько дней контролировали военно-морскую базу в Кронштадте, приказали боевым крейсерам «Аврора» и «Амур» подняться вверх по реке и встать напротив Зимнего дворца. Через десять минут они отправили ультиматум: «Правительство и войска должны капитулировать. Этот ультиматум истекает в 19:10, после чего мы немедленно откроем огонь».

Министры отвергли ультиматум. В 18:50 они сели ужинать – борщ, тушёная рыба и артишоки. К этому моменту защитники были готовы сдаться и признать неизбежное. «Солдаты только хотели курить, напиваться и проклинать своё безвыходное положение», вспоминал один из их офицеров. Большинство покинули свои посты по мере наступления вечера. Большинство кадетов отправились искать ужин, часть женщин из батальона смерти ушла. Казаки, единственные с каким-либо военным обучением, ушли прочь, «разочарованные евреями и бабами внутри». Осталось менее 250 человек. Красногвардейцы могли в любой момент войти без труда.

«Правительство» продолжало издавать указы и менять состав кабинета министров. Министр, оставленный Керенским утром, решил, что нужно обсудить назначение «диктатора» в России. Диктатора чего именно, кроме Малахитового зала с его колоннами, каминами и большими вазами, он так и не пояснил. Они решили держаться как можно дольше, полагая, что, когда их свергнут силой, большевиков осудят.

В 21:40, наконец, был дан сигнал начать бомбардировку — холостым выстрелом с крейсера «Аврора», который стоял у Английской набережной напротив дворца. Министры рухнули на пол; всю роту женщин из ударного батальона пришлось вывести в комнату в задней части здания, чтобы успокоить их.

Двадцать минут спустя пушки Петропавловской крепости начали стрелять боевыми снарядами. Было произведено три десятка выстрелов, но только два попали во дворец, отколов немного карнизов. Один снаряд умудрился промахнуться мимо 1500-комнатного здания на несколько сотен метров. Подвойский и Антонов-Овсеенко, которым Ленин несколько часов назад угрожал расстрелом, возглавили небольшую группу моряков и красногвардейцев, вошедших в здание, и быстро поняли, когда начали обыскивать комнаты, что они почти не встречают сопротивления. В Малахитовом зале, как позже вспоминал министр юстиции Малянович, «нас охватила паника, как от ядовитого воздуха». Было ясно, что конец близок.

Около двух часов ночи в комнату ворвался невысокий человек с длинными волнистыми рыжими волосами, в широкополой шляпе и с широким красным галстуком — «за ним стояла вооружённая толпа». Он не выглядел как солдат, но высоким резким голосом крикнул: «Я Антонов-Овсеенко, представитель Военно-революционного комитета. Я объявляю вас всех, членов Временного правительства, арестованными».

Министров вывели в Петропавловскую крепость через толпы красногвардейцев, кричавших «Пронзите их!» и «Сбросьте их в реку!». Антонов предупредил, что любого, кто попытается их тронуть, расстреляют. В течение дня погибло всего полдюжины человек и менее двадцати были ранены — все они попали под перекрёстный огонь.

Теперь проблемой Военно-революционного комитета стало удержание собственных большевистских войск. Комнаты дворца были наполнены коробками, в которых находились сокровища бывшего царя, готовые к отправке в Москву для хранения. У красногвардейцев были другие планы. «Один человек вышагивал с бронзовыми часами на плече», — вспоминал Рид, который был с ними. «Другой нашёл страусовые перья, которые воткнул себе в шляпу. Грабежи только начинались, когда кто-то закричал: “Товарищи! Ничего не берите! Это народное достояние! Остановитесь. Положите всё обратно!”». Многие, кто пытался что-то украсть, были

остановлены. У тех, кто держал в руках предметы роскоши, вырывали ткани и украшения; двое мужчин унесли бронзовые часы. Грубо и в спешке вещи снова запихивали в коробки. В коридорах и по лестницам становилось всё тише и тише: «Революционная дисциплина. Народное достояние».

Другие устремились прямо в царский винный погреб, один из лучших в мире. Там находились ящики токайского вина со времён Екатерины Великой и Château d'Yquem 1847 года, любимого вина Николая II. «Дело с вином… стало критическим», — вспоминал Антонов. «Мы направили охрану из лучших подразделений. Они напились. Мы выставили охрану из полковых комитетов. Они тоже пали жертвой. Последовала буйная вакханалия».

Он вызвал пожарную службу Петрограда, чтобы затопить погреб водой, «но пожарные… тоже напились».

Главная драма развернулась в Смольном. Там и была выиграна революция. Съезд Советов собрался снова в 22:30, и в зале, полном дыма, кипела злость. Ленин надеялся, что переворот будет утверждён, но многие делегаты его осудили. Даже несколько большевиков возражали. Оппоненты Ленина сыграли ему на руку. Другие социалистические группы заявили, что «не хотят иметь ничего общего с этим преступным захватом власти», и вышли из Совета, навсегда утратив какое-либо влияние в России. Они могли бы усложнить положение Ленина, если бы остались сильной оппозиционной силой, объединённой против большевиков. Возможно, они даже могли бы помешать Ленину построить свою диктатуру. Выход из зала был роковой ошибкой, как многие признали вскоре после этого. «Мы сделали большевиков хозяевами положения», — сказал Суханов, противник Ленина. «Покинув съезд, мы отдали им монополию на Советы. Наши иррациональные решения обеспечили победу Ленина».

Около пяти часов утра, когда оппозиция была готова уйти в забвение, самый красноречивый оратор большевиков, блестящий, тщеславный и беспощадный Троцкий, произнёс одну из самых знаменитых речей XX века. Восстание «не требует оправдания», сказал он. «Произошло восстание, а не заговор… Массы народа последовали за нашим знаменем. Но что они [указав на других социалистов] нам предлагают? Они говорят: откажитесь от своей победы, сделайте уступки, пойдите на компромисс. С кем?, — спрашиваю я. Тем, кто нас покинул, мы должны сказать: вы жалкие банкроты, ваша роль сыграна. Идите туда, куда вам и следует идти — на свалку истории».

Через два часа Ленин появился на съезде. Теперь, будучи уверен в победе и больше не нуждаясь в маскировке, он сиял. В его речи не было риторических приёмов. Он зачитал Декрет о мире, который написал утром, обещая прекратить войну, и Декрет о земле, в котором шла речь о передаче земельных участков помещиков. Его встретили бурными аплодисментами. Некоторые старые большевики, закалённые люди, которые никогда не верили, что этот момент настанет, плакали. Те, кто видел его впервые, не могли поверить, что этот человек создаст новый тип общества и изменит ход истории, сказал Джон Рид. «Это был короткий, коренастый человек с большой головой, посаженной на плечах, лысой и с выпученными маленькими глазами, с курносым носом, широким щедрым ртом и тяжёлым подбородком. Одет в поношенную одежду, штаны были ему слишком длинны. Он не производил впечатления человека, которому будут поклоняться толпы… Странный народный лидер — лидер исключительно благодаря интеллекту; бесцветный, без юмора, бескомпромиссный и отстранённый, без красочных индивидуальных особенностей, но с удивительной способностью объяснять глубокие идеи простыми словами. А ещё — с величайшей интеллектуальной смелостью».

Вскоре после «славного октября» Ленин сказал, что захват власти был делом простым, «как поднять перо». Он лукавил. На самом деле это был долгий и трудный путь.

Большинство жителей Петрограда не знали, что происходит революция. Банки и магазины были открыты весь день, трамваи ходили. Все заводы работали, как обычно – рабочие даже не подозревали, что Ленин собирается освободить их от капиталистической эксплуатации. Тем вечером Шаляпин выступал в «Дон Карлосе» перед полным залом в Народном доме, а «Смерть Ивана Грозного» Алексея Толстого шла в Александринском театре. Ночные клубы и концертные залы работали. Проститутки искали клиентов на боковых улицах вокруг Невского проспекта, как в любой обычный вечер среды. Рестораны были переполнены. Джон Рид и группа других американских и британских журналистов обедали в отеле «Франция», недалеко от Дворцовой площади. Они вернулись наблюдать за революцией после основного блюда.

В советской мифологии в последующие десятилетия революция изображалась как массовое восстание народа. Ничто не могло быть дальше от истины. Современные фотографии показывают несколько изолированных мест по городу, где небольшие группы красногвардейцев безучастно бродят. Нигде не было больших толп, баррикад, уличных боёв. Невозможно точно сказать, сколько человек участвовало в отдельных частях города, где происходило восстание. Троцкий оценивал число в «не более» 25 000 человек, но под этим он имел в виду количество красногвардейцев, которых можно было бы призвать. Реальное число было намного меньше – вероятно, не более 10 000 в городе с почти двумя миллионами жителей.

Не было никакого «штурма» дворца, как это изображено в эпическом, кинематографически блестящем, но в значительной степени вымышленном фильме Сергея Эйзенштейна 1928 года «Октябрь». В съёмках фильма участвовало гораздо больше людей, чем в реальных событиях.[9]

В 9:40 вечера, наконец, был дан сигнал начать обстрел, и с крейсера «Аврора», пришвартованного у Английской набережной напротив дворца, был произведен холостой выстрел. Министры упали на пол; вся рота женщин из Ударного батальона так испугалась, что их пришлось отвести в заднюю часть здания, чтобы успокоить.

Двадцать минут спустя пушки Петропавловской крепости начали стрелять боевыми снарядами. Было выпущено около трех десятков снарядов, но только два попали во дворец, отколов несколько карнизов. Один снаряд промахнулся мимо 1500-комнатного здания на несколько сотен метров.[10] Подвойский и Антонов-Овсеенко, которых Ленин несколькими часами ранее угрожал расстрелять, возглавили небольшую группу матросов и красногвардейцев, проникли в здание и быстро поняли, что почти никакого сопротивления они не встретят. В Малахитовом зале министр юстиции Малянович позже сказал: «Страх охватил нас, как ядовитый воздух. Было ясно, что конец близок».

Около 2 часов ночи в комнату ворвался невысокий человек с длинными волнистыми рыжими волосами, в широкополой шляпе и свободно повязанном красном галстуке. За ним шла вооруженная толпа. Он не выглядел как солдат, но высоким пронзительным голосом закричал: «Я Антонов-Овсеенко, представитель Военно-революционного комитета. Я сообщаю вам, члены Временного правительства, что вы арестованы».

Их провели через толпу красногвардейцев, выкрикивающих: «Проткните их!» и «Бросьте в реку!». Антонов предупредил, что того, кто попробует им навредить, застрелят. За весь день погибло около шести человек, еще менее двадцати были ранены, попав под перекрестный огонь.

---

[9] Ещё больше людей приняли участие в реконструкции штурма Зимнего дворца на пятую годовщину Революции в 1922 году. Петроград во время переворота: Суханов, стр. 392–394; Рид, стр. 195–197.

[10] Взрывы напугали восемнадцатилетнего Владимира Набокова, сына секретаря Кабинета министров, главного гражданского служащего Временного правительства, в его доме на Морской, прямо рядом с дворцом. В тот момент он пытался написать стихотворение.

Теперь проблема Военно-революционного комитета заключалась в контроле собственных большевистских войск. Комната за комнатой во дворце была наполнена ящиками, содержащими сокровища бывшего царя, которые должны были быть отправлены в Москву на хранение. У красногвардейцев были другие планы. «Один мужчина ходил с бронзовыми часами на плече», — рассказал Рид, который был рядом с ними. «Другой нашел страусовые перья и надел их на шляпу. Началось мародерство, как вдруг кто-то закричал: “Товарищи! Ничего не берите! Это собственность народа! Прекратите! Положите всё обратно!”» Многие поспешно отобрали добычу у других. Шелка и гобелены вырывали из рук тех, кто их уже захватил; двое мужчин забрали бронзовые часы. Всё спешно заталкивали обратно в ящики. Сквозь коридоры и лестницы раздавался призыв: «Революционная дисциплина. Собственность народа».

Другие же направились прямо в винные подвалы царя — одни из лучших в мире. Там хранились токайские вина времен Екатерины Великой и Château d'Yquem 1847 года, любимое вино Николая II. «Ситуация с вином стала критической», вспоминал Антонов. «Мы отправили туда охрану от отборных частей. Они напились. Мы направили туда охрану из полковых комитетов. Они тоже не устояли. Началась дикая вакханалия». Он вызвал пожарную команду из Петрограда, чтобы затопить подвал водой, «но пожарные… тоже напились».[11]

Настоящая драма разворачивалась в Смольном. Именно там была выиграна революция. Конгресс Советов собрался снова в 10:30 вечера, и в переполненном дымом зале царил кипящий гнев. Ленин надеялся, что переворот будет одобрен, но многие делегаты осудили его. Даже некоторые большевики возражали. Оппоненты Ленина сыграли ему на руку. Остальные социалистические группы заявили, что «не имеют никакого отношения к этому преступному захвату власти» и покинули Совет, больше никогда не вернувшись к какой-либо значимой политической роли в России. Они могли бы осложнить положение Ленина, если бы остались и создали сильную оппозицию, объединившуюся против большевиков. Возможно, они даже смогли бы помешать Ленину построить свою диктатуру. Но уход из зала оказался фатальной ошибкой, что многие вскоре признали. «Мы сделали большевиков хозяевами положения», — сказал Суханов, противник Ленина. «Уходя с Конгресса, мы отдали им монополию на Советы. Наши собственные иррациональные решения обеспечили победу Ленина».

Около 5 утра, когда оппозиция собиралась уйти в забвение, самый блестящий оратор большевиков, тщеславный и беспощадный Троцкий, произнес одну из самых известных речей двадцатого века. Восстание «не нуждается в оправдании», сказал он. «Произошедшее — это восстание, а не заговор… Массы народа последовали за нашим знаменем. Но что они [указывает на других социалистов] предлагают нам? Они говорят: откажитесь от своей победы, идите на уступки, идите на компромисс. С кем, я спрашиваю? Тем, кто нас покинул, мы должны сказать: вы жалкие банкроты, ваша роль сыграна. Идите туда, где вам место — на свалку истории».

Через два часа Ленин появился на Конгрессе. Теперь, будучи уверенным в победе и больше не скрываясь, он улыбался. Без риторических приемов, он зачитал Декрет о мире, который написал этим утром, обещая прекратить войну, и Декрет о земле, в котором обещал передать земли помещиков крестьянам. Его встретили бурными аплодисментами. Некоторые старые большевики, суровые люди, которые никогда не верили, что этот момент наступит, плакали. Те, кто встретил его впервые, не могли поверить, что этот человек создаст новое общество и изменит историю, сказал Джон Рид. «Это был невысокий, плотный человек с большой головой, посаженной на плечи, лысый и с выпуклыми маленькими глазами, с курносым носом, широкой

[11] Штурм Зимнего дворца: Подвойский; Файджес, стр. 515–517; Троцкий, История русской революции, стр. 313–315; Суханов, стр. 396–399.

щедрой улыбкой и тяжелым подбородком. Одетый в поношенные одежды, его брюки были ему слишком длинны. Невпечатляющий, чтобы быть кумиром толпы… Странный народный лидер — лидер исключительно благодаря интеллекту; бесцветный, лишенный юмора, непреклонный и отстраненный, без ярких индивидуальных особенностей, но с даром объяснять глубокие идеи простыми словами. И вместе с тем — величайшее интеллектуальное дерзновение».

Вскоре после «славного Октября» Ленин сказал, что взять власть было легко, «так же просто, как поднять перо». Это было лукавство и вводило в заблуждение. На самом деле, это был долгий и трудный путь.[12]

[12] Речь Троцкого на Съезде Советов: Айзек Дойчер, Пророк вооруженный: Троцкий 1879–1921, Нью-Йорк, 1954, стр. 397. Речь Ленина: Рид, стр. 213.

ГЛАВА 1. Дворянское гнездо

«Не беспокойтесь о Ленине. Он не опасен»
Князь Георгий Львов, первый премьер-министр России в правительстве Керенского.

Все важнейшие отношения в жизни Ленина были связаны с женщинами. У него было очень мало близких друзей среди мужчин, и почти все они, за редким исключением, уходили от него или оказывались в стороне из-за политики. Мужчины должны были полностью соглашаться с ним и подчиняться его воле, иначе они исчезали из его ближнего круга. Как вспоминал один из его давних сподвижников в изгнании: «Я начал отдаляться от революционного движения... и таким образом полностью перестал существовать для Владимира Ильича». К тридцати трем годам единственным человеком, на «ты» с которым он общался, был его младший брат Дмитрий.[1]

Большую часть жизни Ленин был окружен женщинами: его мать, сестры, жена Надя, с которой он прожил четверть века, и его любовница Инесса Арманд, с которой у него были сложные романтические отношения и тесное рабочее сотрудничество, менявшиеся по интенсивности на протяжении многих лет. В течение полутора десятилетий изгнания, в различных тесных европейских квартирах, он жил в дружеском сосуществовании с тёщей, женщиной с мировоззрением, сильно отличавшимся от его собственных.

Ленинских женщин часто упоминают как простых домохозяек, выполнявших бытовые обязанности или занимавшихся простыми и будничными политическими задачами. Это вводит в заблуждение. У Ленина были более прогрессивные и продвинутые взгляды на роль женщин, чем у большинства его современников-мужчин в революционном движении, хотя, правда, планка была установлена не особенно высоко.

Во многих отношениях Ленин, великий радикал, был консервативным российским буржуа конца девятнадцатого века: в современном понимании слова он вряд ли был феминистом. Он ожидал, что женщины, близкие ему, будут баловать его, ухаживать за ним и заботиться о нем, что они и делали. Но он слушал их и относился к их мнениям в политических вопросах так же серьезно, как и к мнениям мужчин.

Его жена Надя часто изображается просто как его секретарь, женщина без собственных мнений. Но она такой не была. До момента своего замужества она была революционеркой, побывала в тюрьме и ссылке в Сибири, и играла важную роль рядом с ним в подпольной конспиративной сети, которая поддерживала огонь революции в России до 1917 года. Она не писала работ по марксизму или философии, редко высказывалась о политических тактиках или политике и редко ему возражала, но Ленин полагался на её практические навыки и здравый смысл. Она «руководила» десятками секретных агентов большевиков по всей Российской империи и знала каждую сторону организации партии. Наиболее важно, что Надя сдерживала вспыльчивый характер своего мужа и его быстро меняющиеся настроения, что часто требовало от нее огромной тактичности.

Инесса Арманд была другой женщиной, чья роль в его жизни была неправильно понята или — в случае с советскими властями после смерти Ленина — умышленно игнорирована. В течение десяти лет до её смерти в 1920 году у них был периодически возобновлявшийся любовный

[1] Людям приходилось соглашаться с ним, Михаил Сильвин: взято из книги Адама Улама «Ленин и большевики», Лондон, 1966

роман. Арманд была в центре его эмоциональной жизни. Она также была одной из самых известных женщин-социалисток своего поколения, одним из ближайших помощников Ленина, которой он доверял выполнение самых конфиденциальных задач. Часто она представляла его на международных встречах революционеров, обязанность, которую он поручал очень немногим людям. Она занимала посты рядом с Лениным в Москве после революции. Часто она не соглашалась с ним и открыто ему это говорила, но они оставались неразлучными.

Все, кто её знали — включая жену Ленина, которая стала её близкой подругой и имев удивительно трогательных и преданных отношениях — понимали, насколько она была важна для него. Однако после его смерти был создан «культ» Ленина его преемниками, который стимулировал поклонение ему как светской иконе, символизирующей столп большевистской праведности, и она была практически вычеркнута из советских исторических книг. В течение пяти лет до 1917 года он написал Инессе Арманд гораздо больше писем — по личным и политическим вопросам — чем кому-либо ещё. Их переписка и её дневники были под цензурой почти семьдесят лет, пока не рухнуло основанное Лениным коммунистическое государство.

Две сестры Ленина, пережившие подростковый возраст, тесно сотрудничали с ним в революционном подполье. Анна Ильинична Ульянова, родившаяся в 1864 году, была старше его на шесть лет; Мария была младше на восемь лет. Обе сестры неоднократно сажались в тюрьмы или ссылались во время царского режима за подрывную деятельность; они помогали контрабандой переправлять подпольных агентов и социалистическую литературу в Россию и из России. После революции они занимали ответственные должности в советском режиме. Многие годы в изгнании в Европе одна (обычно Мария) или обе из них жили вместе с ним, Надей и его тёщей.[2]

На протяжении всей своей жизни Ленин полагался на сеть преданных женщин, которые были абсолютно лояльны ему и, в большинстве своем, его революционному делу. Они совершали великие жертвы ради его карьеры и порой брали на себя огромные личные риски в его интересах: революция была опасным делом. Иногда он принимал их веру в него как должное. Но обязательства были взаимными.

Многие жестокие и циничные мужи испытывают нежные чувства к своим матерям. Ленин часто говорил семье и товарищам: «Мать... ну, просто святая». За последние двадцать лет её жизни он виделся с ней редко – она умерла в 1916 году, когда он находился в швейцарском изгнании – но он был преданным, а не просто исполнительным, сыном. Где бы он ни был в своих странствиях по Европе, он регулярно писал ей письма. Они редко касались политики или его литературно-журналистской работы, но он часто сообщал, иногда в мельчайших подробностях, о своих домашних делах, здоровье и путешествиях. Многие письма были наполнены заметками о природе, о его охотничьих походах или экскурсиях в Альпы, одной из его страстей были прогулки по горам и дикой природе. Его письма домой всегда начинались с обращений «Дорогая мама» или «Милая матушка». Последнее, написаннем за несколько недель до её смерти, письмо заканчивалось словами: «Крепко обнимаю тебя, моя дорогая, и желаю тебе сил».

---

[2] Ленин имел двух других сестер, обеих звали Ольга. Первая, рожденная в 1868 году, умерла в младенчестве, не дожив до года. Он был ближе всего ко второй Ольге, родившейся осенью 1871 года, которая была младше его на полтора года. Они были неразлучны в детстве и юности. По мнению многих семейных друзей, она была чудом среди детей Ульяновых, обладала выдающимися интеллектуальными и художественными способностями, она была предназначена для великих дел. Она была поразительно талантливой и творческой, а также красивой и изящной. Она умерла от брюшного тифа в возрасте всего девятнадцати лет. В то время они жили в одной комнате в Санкт-Петербурге, и Ленин ухаживал за ней в последние дни. Его неутешимость от того, что он не смог её спасти, и месяцы после её смерти его письма домой были полны чувства вины и уныния.

Ленин был раздражительным, плохо сдерживал свои чувства и становился особенно вспыльчивым по мере взросления, но его мать была единственным человеком, на которого он никогда никому не жаловался, единственной, к кому он всегда проявлял безоговорочную любовь.

Мария Александровна Бланк родилась в 1835 году в Санкт-Петербурге. Ее отец был эксцентричной личностью, мартинетом и, что советские власти после смерти Ленина держали в строгом секрете, евреем. Он родился в Одессе под именем Сриль (идишской формой Израиля) Моисеевич Бланк, но во время учебы на медика принял православие и изменил свои имя и отчество на Александр Дмитриевич. После получения медицинского образования он много путешествовал по Европе и женился на дочери богатого немецкого купца, Анне Грошопф, протестантке. По рестриктивным религиозным законам царской России, его жена должна была перейти в православие, но она отказалась и воспитала шестерых детей в лютеранской вере.[3]

Александр Бланк начинал как военный врач, затем стал врачом полиции, и, в конечном счете, инспектором больниц в Златоусте, в огромной провинции Челябинск на западе Сибири. Это дало ему чин "государственного советника", который позволял ему претендовать на дворянский статус. Когда он вышел на пенсию в пятьдесят с лишним лет, он зарегистрировался как член дворянства Казани и купил поместье Кокушкино примерно в тридцати километрах к северо-востоку от города с красивым особняком и сорока крепостными, которые работали на земле.[4]

Мать Марии Александровны умерла, когда ей было три года. Ее отец начал жить с сестрой своей покойной жены, Екатериной фон Эссен, которая тоже овдовела. Это было шокирующим сочетанием для того времени, и Бланк хотел узаконить свои отношения с невесткой. Он пытался жениться на ней, но брак был незаконен в глазах Церкви, и паре отказали в разрешении. Ее деньги помогли купить имение Кокушкино, и они оставались вместе до самой ее смерти в 1863 году.[5]

---

[3] Ленин, почти наверняка, не знал о своем частично еврейском происхождении. Его сестра Анна узнала часть этой истории в тридцать лет, когда впервые поехала в Швейцарию и встретила семью по фамилии Бланк. Ей сказали, что почти все швейцарцы с такой фамилией, вероятно, были евреями. Затем она обнаружила, что серебряная чаша — семейная реликвия семьи Бланк, доставшаяся её матери, — была типичной для еврейских религиозных праздников. Вскоре после смерти Ленина Институт Ленина, созданный в 1924 году для сохранения его "наследия", попросил её написать окончательную историю семьи Ульяновых. Анна тщательно подошла к делу и узнала детали о своем деде, которые были ей совершенно неизвестны. О своей работе она многие годы не упоминала никому за пределами семьи. Но в 1932 году, незадолго до своей смерти, она написала Сталину и раскрыла свои находки. Она лично передала письмо ему в его офисе в Кремле. «Вам, вероятно, не секрет, что исследование нашего деда показывает, что он происходил из бедной еврейской семьи», - сказала она ему. Опубликование фактов, по её словам, «могло бы помочь борьбе с антисемитизмом… Владимир Ильич всегда высоко ценил евреев и всегда был убежден в их исключительных способностях». Сталин внимательно прочитал письмо и немедленно приказал ей: «Ни слова об этом письме никому». Сам Сталин был ярым антисемитом и, вероятно, инстинктивно, так же как и политически, понимал, что это открытие не помогло бы большевистскому делу среди русских, если бы стало известно, что основатель советского государства имел еврейские корни. Если бы Ленин узнал об этом, он, вероятно, отнесся бы к этому открытию спокойно. Как он когда-то сказал писателю Максиму Горькому: «У нас мало умных людей. [Русские] талантливый народ. Но мы ленивы. Умный русский почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови».

[4] Волкогонов. Мать Ленина и родословная Бланк, сс.45-49

[5] Александр Бланк часто шокировал мнение среднего класса другими способами, помимо его домашних устроев. Он конфликтовал с начальством, устрашал подчиненных и придерживался крайне неортодоксальных взглядов на то, что мы сегодня называем альтернативной медициной. Он был сторонником бальнеологии, которая включала оборачивание пациентов с головы до ног на несколько часов в мокрые одеяла и полотенца. Он считал, что нахождение в окружении воды полезно для гигиены и убивает микробы. Этот метод лечения не имел научной основы, но, вероятно, убивал меньше пациентов, чем обычное кровопускание и использование пиявок, что все еще было обычной практикой в то время.

Мария Александровна была тихой, волевой, интровертной женщиной с темно-коричневыми волосами, стройной фигурой и изысканно, хотя и не слишком модно одетой. В доме не было ни поцелуев, ни объятий, и Мария Александровна, как правило, не одобряла проявления эмоций. Она была доминирующей фигурой дома, глубоко уважаемой и почитаемой всеми своими детьми. «Она имела нашу любовь и послушание», вспоминала позже старшая дочь Ульянова, Анна. «Она никогда не повышала голос и почти никогда не прибегала к наказанию».[6]

Она терпеливо переносила испытания и всегда защищала своих детей от трудностей, с которыми они сталкивались после семейных трагедий и постоянного внимания секретной полиции. Она была экономной, но ни в коей мере не скупой. Умная и хорошо образованная, она никогда не поддерживала — и часто не понимала — радикальной политики своих детей. Она определенно не была марксисткой или революционеркой какого-либо рода. Но она знала, что лучше не спорить с детьми по политическим вопросам или задавать им слишком много вопросов о их нелегальной деятельности, независимо от того, какие страдания могли принести их убеждения. Из писем, которые она писала своему сыну Владимиру, сохранилось немного, но в них она почти не упоминала политику. Для Марии Александровны семья была на первом месте.

В разное время все ее взрослые дети были заключены в тюрьму или сосланы, иногда несколько из них одновременно. Она всегда старалась переехать поближе к их тюрьме или населенному пункту их ссылки. Очень часто она унижала себя, умоляя чиновников освободить одного из ее дочерей или сыновей или отнестись к ним более мягко. Хотя она никогда не была богатой, она обладала достаточными средствами, и все ее дети в течение долгого времени зависели от ее денег: она посылала им наличные, одежду, книги, продовольственные пакеты и никогда не жаловалась на просьбы о помощи. Владимир просил о помощи чаще всех ее детей, хотя иногда получал достаточно средств из других источников. Некоторое время он получал зарплату из фондов большевистской партии, но мало зарабатывал на своих книгах и журналистике. Жизнь профессионального революционера могла быть нестабильной, и иногда ему не хватало денег; даже в зрелом возрасте он не мог бы выжить без регулярной помощи от матери.

Владимир унаследовал мало спокойствия и терпения Марии Александровны Ульяновой, но унаследовал другие черты ее характера. «Как только я познакомился с его матерью, я понял секрет обаяния Владимира Ильича», — сказал Иван Баранов, товарищ Ленина из ранних революционных лет.[7]

Отцовское происхождение Ленина было так же проблематичным для советских историков, как и материнское. Последняя официальная биография Ленина, опубликованная в СССР в 1950-х годах, утверждала, что его отец, Илья Николаевич Ульянов, происходил из «бедных людей из низшего среднего класса из Астрахани», что скрывало больше, чем раскрывало. Бабушка Ленина по отцовской линии, Анна Алексеевна Смирнова, была неграмотной калмыцкой женщиной с центральноазиатскими корнями и характерной внешностью для своей этнической группы. В большинстве описаний Ленина упоминаются его «монгольские глаза» и высокие скулы, но советские власти систематически подавляли информацию о его бабушке и дедушке. Они не вписывались в тщательно отполированный официальный образ основателя большевизма, который должен был предстать перед народом исключительно как великий русский.[8]

---

[6] Сыновняя любовь к матери: Анна Ульянова-Елизарова, с.33

[7] Чарующая сила Марии Аленсандровны: процитировано у Кларка, с.64

[8] Под Сталиным были уничтожены данные о калмыцком наследии Ленина. Правда вышла наружу случайно. Армянская писательница Мариэтта Шагинян наткнулась на некоторые сохранившиеся документы, работая над своей книгой «Семья Ульяновых», которая впервые была опубликована в маленьком журнале в 1937

Илья родился в 1831 году, и оба его родителя умерли молодыми. Его воспитывал и обеспечил хорошее образование дядя Василий, успешный портной и купец, ведущий свой бизнес в Астрахани, вонючем рыбацком городке на дельте Волги, впадающей в Каспийское море. Илья стал учителем наук и преподавал в ряде средних школ провинциальных городов южной России. В 1863 году он женился и преподавал в Нижнем Новгороде до 1869 года, когда получил значительное повышение, став инспектором школ Симбирского края, что принесло ему титул наследственного дворянина.

Из всех детей Ульяновых Владимир больше всего был похож на своего отца. У Ильи Ульянова были косые глаза янтарного цвета, большой сводчатый лоб и рыжие волосы, которые он начал терять в начале двадцати лет. Как и его сын, он неправильно произносил «р» и иногда имел легкое заикание. Он был более общительным, чем его жена, и любил компанию. Большую часть времени он проводил в командировках, осматривая огромный школьный округ под своим надзором. Мать Ленина, хотя и была номинально лютеранкой, редко ходила в церковь. Его отец был религиозен и обеспечил воспитание детей в традициях русского православия.

Он был порядочным человеком с либеральными взглядами, верил в постепенные реформы и эволюционные изменения через образование – типом добропорядочного буржуа, которого его сын в конечном итоге стал презирать и осуждать гораздо сильнее, чем закоренелых реакционеров. Илья почитал Александра II, «Царя-освободителя», который освободил крепостных в 1861 году и начал ряд других скромных мер для модернизации романовской автократии. Когда его убили в 1881 году террористы из народовольческой группы, Илья Ульянов плакал несколько дней. В полной парадной форме гражданской службы он присутствовал на поминальной службе в Троицком соборе в Симбирске. Он был гордым членом установления. Насколько известно, он поддерживал связь только с одним известным «подрывным элементом», семейным врачом Ульяновых, Александром Кадяном, которого секретная полиция отправила во внутреннюю ссылку и который был вынужден оставаться в городе по условиям своего приговора. Но их знакомство было исключительно профессиональным.

«Наш отец никогда не был революционером», — написала Анна в своей короткой истории семьи. «В те годы , когда ему было за сорок и он был главой семьи, он стремился защитить нас, своих детей, от такого мышления». Его сестра Мария соглашалась. «Отец был абсолютно лоялен к царскому режиму, он точно не был революционером», - сказала она младшему товарищу. «Мы действительно недостаточно знаем, чтобы судить о его отношении к радикальной деятельности молодежи».

Сам Ленин никогда не пытался скрыть или исказить свои корни, хотя советские власти позже создали миф, что основатель первого в мире государства рабочих «происходил из народа» и имел «низкое социальное происхождение». Для многих, кто его знал, его манеры и поведение многое выдавали. Максим Горький, убежденный социалист, который действительно происходил из глубокой бедности и был из народа, говорил, что «у Владимира Ильича была уверенность в себе „лидера“, русского дворянина, не лишенного некоторых психологических черт этого класса».[9]

году и сразу же попала под гнет властей. Она не была переиздана до 1957 года, после смерти Сталина, во время краткого культурного оттепели в СССР.

[9] Илья Ульянов, отец Ленина, его происхождение и политические взгляды: Анна Ульянова-Елизарова, стр. 21, и Мария Ульянова, стр. 17. Горький о «чертах дворянина» у Ленина: колонка «Не в срок мысли», «Новая Жизнь», 17 ноября 1917 года.

ГЛАВА 2. Иддилия детства

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых.
Карл Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, 1852

Ничто в детстве или юности Владимира Ульянова не предвещало, что он станет одним из величайших бунтарей в истории. Он рос в счастливой семье, окружённой любовью, в атмосфере прочного буржуазного уюта, если не богатства. Родители прививали ему трудолюбие, бережливость и усердие — как словом, так и личным примером, — и подчёркивали важность образования.

Он родился 10 апреля 1870 года в небольшом провинциальном городке Симбирске, что расположился на тихих берегах Волги, в 900 километрах к юго-востоку от Москвы. Через шесть дней после рождения его окрестили в православной церкви Святого Николая, где местная верхушка — представители высшего среднего класса — собиралась по воскресеньям на службу.

Старшая сестра Анна, которая была на шесть лет старше, вспоминала, что при рождении «Володя» был «несоразмерным» — с большой головой и слабым, коротким телом. Он часто падал и не мог подняться, что доводило его до отчаянных криков. «Он был очень шумным, большим крикуном, с боевыми, но весёлыми карими глазами», — рассказывала Анна. «Он начал ходить почти одновременно со своей сестрой Олей [Ольгой], которая была на полтора года моложе него. Она начала ходить очень рано и почти незаметно для окружающих. Володя… научился ходить поздно, и если его сестра падала бесшумно и сама поднималась, опираясь на руки, то Володя неизбежно бился головой и разражался отчаянным ревом на весь дом».

Он продолжал часто ударяться головой о ковры и полы, что некоторое время беспокоило его мать — она боялась, что он может быть «умственно отсталым». Акушерка, принимавшая его роды, вскоре после его рождения сказала: «Из него либо выйдет великий умник, либо полный глупец». Он был самым неугомонным из всех детей Ульяновых и, по словам Анны, «очень требовательным в детстве».

Как и многие дети, он обладал разрушительным характером. Каждый раз, когда ему дарили новую игрушку, он сразу же начинал её разбирать. Однажды на день рождения нянька, Варвара Григорьевна Сарбатова, которая служила в доме Ульяновых двадцать лет и стала практически членом семьи, подарила ему запряженную в сани тройку лошадей из папье-маше. Володя куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. «Мы стали искать его и обнаружили за одной дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за другой.». Несмотря на такое обращение с её подарком, Сарбатова всегда защищала его. Она говорила, что все дети Ульяновых «были золотом, но мой Володенька — настоящий бриллиант».

Он был самым шумным и непослушным ребёнком в строго упорядоченной семье. Когда он провинялся, как отмечала Сарбатова, «он, по крайней мере, признавался и не делал ничего тайком». За исключением одного случая, когда во время визита к тёте в Казани он случайно разбил вазу, находясь один в гостиной. Он категорически отрицал свою причастность, и инцидент был забыт. Но несколько месяцев спустя, уже в Симбирске, он однажды не мог уснуть и его мать нашла его плачущим в комнате. Она попыталась успокоить его и спросила, что случилось. «Я солгал тёте Ане», — признался он. «Сказал, что это не я разбил вазу, а на самом деле это был я».

Ближе всего он был к своей сестре Ольге, но настоящим кумиром детства для него был старший брат Александр, который был на четыре года старше. Александр был серьёзным, немного суровым юношей, который одним строгим взглядом мог усмирить горячий нрав Владимира. «Сначала Владимир подражал своему брату, а затем начал сознательно обуздывать свой характер», — вспоминала Анна. Братья занимали смежные комнаты, вместе учились и играли в саду, гуляли вдоль Волги и часто купались в её притоке Свияге. «Чем бы ни интересовались Владимир — какой игрой, пойти ли на прогулку или выбрать масло к каше — он обычно сначала смотрел на Сашу. Тот, нарочно медля, отвечал не сразу, бросая на брата хитрый взгляд. „Я сделаю как Саша“, — всегда говорил Володя».[1]

Дом Ульяновых располагался на улице Москва, в верхней части холма, в респектабельном районе Симбирска, где жили высокопоставленные государственные служащие, несколько армейских офицеров, врачи и адвокаты — все они вели достойную, но не роскошную жизнь.

Симбирск, основанный в 1648 году на высоком берегу Волги, когда-то был важной военной крепостью, защищавшей от набегов кочевников. Но со временем он превратился в тихий провинциальный городок. К концу XIX века в Симбирске проживало около 30 тысяч человек, но железной дороги здесь ещё не было. Несколько плохих дорог соединяли его с остальной Россией, а Волга связывала Симбирск с другими такими же сонными городками вплоть до Астрахани, почти в тысяче километров к югу, у устья реки. Зимой жители Симбирска жаловались на чувство изоляции, словно они жили в середине ниоткуда. Но зато вокруг царила природная красота. Яблоневые и вишнёвые сады простирались на многие километры вокруг города. Ночью тысячи соловьёв наполняли воздух своими трелями. За полтора века Симбирск почти не изменился. Здесь была величественная церковь с луковичными куполами, две хорошие библиотеки и — отчасти благодаря либеральным взглядам просветителя Ильи Ульянова — две отличные гимназии. В городе также проживало значительное число чувашей и татар, большинство из которых работали на волжских речных судах.[2]

Самым известным уроженцем Симбирска после Ленина был писатель Иван Гончаров, почти его современник, чьё произведение «Обломов» вызывало восхищение у будущего вождя большевиков. «Внешний облик моего родного города не представлял собой ничего, кроме картины сна и застоя», — писал Гончаров. «Глядя на этот покой, на сонные окна и опущенные ставни, на дремлющие лица людей, хочется заснуть… Над городом лежала апатия мира… спокойствие щедрой сельской и городской русской жизни».[3]

---

[1] Ленин в детстве: Анна Ульянова-Елизарова, стр. 2–41, и Мария Ульянова, стр. 5–17; Роберт Сервис, стр. 33–41; Кларк, стр. 21–30.

[2] После смерти Ленина Симбирск был превращён в грандиозный ленинский алтарь и в 1924 году переименован в Ульяновск. Большая часть города была снесена в конце 1920-х годов. Церковь, где крестили Ленина, была разрушена, как и прекрасный дом в классическом стиле, в котором в начале XIX века останавливался Пушкин. Собор, построенный в память о жителях Симбирска, погибших в войне 1812 года, был снесён в 1920-х, чтобы освободить место для памятника Ленину. Кладбище Покровского монастыря было сровнено с землей ради уютной площади, на которой оставили только одну могилу — отца Ленина, при этом крест с могилы был убран. Город до сих пор называется Ульяновск.

[3] По любопытному стечению обстоятельств, для такого захолустного городка, Александр Керенский тоже родом из Симбирска. Он учился в той же школе, хотя и не был знаком с Лениным, так как был на одиннадцать лет моложе. В поздние годы он вспоминал город с большой романтикой, хотя в подростковом возрасте не мог дождаться, когда покинет его и отправится туда, где огни ярче. Он оставил весьма красочное описание города, где, с вершины холма «вплоть до берега тянулись пышные яблоневые и вишнёвые сады. Весной весь склон горы был белым от душистого цветения… ночи были наполнены пением соловьёв. Поля… в летний зной оживали звуками игр и косцов, пришедших собирать богатую траву».

Дом Ульяновых был просторным двухэтажным деревянным зданием с большими приёмными и жилыми комнатами, библиотекой, полной русской классики от Пушкина до Толстого, а также произведений лучших зарубежных авторов. Родители поощряли всех детей к широкому чтению, проявляя при этом свободу, которая бы шокировала более консервативных коллег Ильи Ульянова по гражданской службе. На протяжении всей своей юности любимой книгой Владимира был роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», оказавший на него раннее влияние, ещё до того, как он познакомился с Марксом или русскими радикалами. Этот роман долгие годы лежал у него на тумбочке возле кровати.

У дома был широкий балкон с видом на сад, где росли яблони, сливы, вишни и кусты сирени, окружавшие ухоженный газон. Вся семья обожала крокет, и турниры становились весьма напряжёнными. В доме дети, даже старшие, с удовольствием играли в солдатиков. Владимир всегда выбирал сторону Америки и представлял себя в роли Авраама Линкольна или генералов Союза Гранта и Шермана. Его братья Саша и Дмитрий (на четыре года младше) обычно играли за итальянцев, а сестры представляли испанских солдат, сражающихся с Наполеоном.

Однако игра, которую Ленин любил на протяжении всей жизни, была шахматы. Отец научил его играть с раннего возраста, используя фигуры, которые он сам с любовью вырезал для своих детей. Илья Ульянов был неплохим шахматистом, одним из лучших в Симбирске, но вскоре Владимир стал обыгрывать его и старшего брата с завидной регулярностью. Он стал серьёзным игроком, который мог составить достойную конкуренцию ведущим российским шахматистам.[4,5]

Лето семья проводила в Кокушкине, имении, купленном Александром Бланком и унаследованном после его смерти его пятью детьми. Ленин всю жизнь вспоминал Кокушкино как волшебное место, где он всегда был счастлив. Здесь он находил покой и умиротворение, в окружении садов, напоённых ароматом резеды, левкоев, душистого горошка, табачных цветов, настурций, флокс, герани и мальв.

В своих мемуарах сестра Ленина Анна, ставшая преданной большевичкой, говорила голосом настоящей русской интеллигенции, вспоминая Кокушкино и его величественный усадебный дом, окружённый верандой с трёх сторон, с видом на сады. «Мы каждый год мечтали о нашем переезде в Кокушкино и готовились к нему задолго заранее. Нам казалось, что нет ничего лучше или красивее, чем Кокушкино, этот маленький уголок, такой живописный. Думаю, что мы унаследовали любовь к Кокушкину и радость при его виде от нашей матери, которая провела там лучшие годы своей жизни. Радость сельской жизни, просторы — всё это нас невероятно привлекало. Особенно после мучений наших… тюремных гимназий и пытки майских экзаменов, лето в Кокушкине казалось нам прекрасным и счастливым beyond compare». Владимир купался в реке, плавал на лодке и гулял по лесу, собирая ягоды и грибы. Он запускал воздушных змеев, а семья устраивала пикники.[6]

Образование детей было наивысшим приоритетом для родителей Ульяновых. Все они блистали в учёбе, но Владимир был самым целеустремлённым. Он обладал огромным обаянием, когда желал его проявить, и в юности имел неплохое чувство юмора. Однако он также мог быть невыносимо заносчивым и бестактным. Он был исключительно умен и не стеснялся

---

[4] В школе он был настолько хорош в шахматах, что мог одновременно играть против нескольких соперников на нескольких досках и почти всегда выигрывал все партии. Позже его жена Надежда вспоминала, что «некоторые партии настолько его захватывали, что он даже бредил ими во сне». Однажды она услышала, как он во сне воскликнул: «Если он сходит конём сюда, я отвечу ладьёй!»

[5] Симбирск описан Иваном Гончаровым, Обломов, Лондон, 1989. Ранние чтения и игры Ленина: Сервис, стр. 37–42; Ричард Абрахам, Керенский: Первая любовь революции, Лондон, 1987. Ленин и шахматы: Фишер, стр. 98–101.

[6] Ульяновы в Кокушкино: Анна Ульянова-Елизарова, стр. 31–33.

демонстрировать это всем окружающим. Под конец учебного года в гимназии, когда выставляли оценки, он приходил домой и громко озвучивал свои достижения, проходя мимо кабинета отца: «Греческий – пять [высшая оценка, конечно же]; Латынь – пять; Немецкий – пять; Алгебра – пять и так далее». Анна вспоминала: «Я до сих пор ясно вижу эту картину: я сижу в кабинете отца и ловлю удовлетворённые улыбки, которые отец и мать обмениваются, глядя на маленькую плотную фигурку в форме с торчащими из-под фуражки рыжими волосами». Однако лёгкость, с которой ему давалась учёба, вызывала у родителей некоторые опасения. Временами они беспокоились, что это может внушить ему мысль, что жизнь слишком проста, и сделает его чрезмерно самоуверенным. Но они не переживали по этому поводу слишком долго.[7]

Учебная программа была сложной, но узкой. Много времени уделялось зубрёжке. Почти половина занятий была посвящена классике, а большая часть остальных — математике и естественным наукам. В условиях российской автократии, где политика не была разрешена, власти боялись допустить, чтобы русские дети читали шедевры русской литературы. Поэзию преподавали крайне скупо. Ученикам не разрешали читать многих великих современных русских писателей — Толстого, Достоевского, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя — так как все они в своё время сталкивались с цензурой. Немецкий, французский и английский преподавались, но в основном для изучения грамматики и языка. Ученикам запрещали читать европейских мыслителей Просвещения и романтизма — Гёте, Вольтера, Руссо. Ученикам Симбирской классической гимназии даже запрещалось пользоваться городской библиотекой Карамзина, в которой были книги, считавшиеся слишком подрывными для молодёжи.

Дисциплина в гимназии была суровой, но Владимир редко жаловался или проявлял признаки бунтарского духа. Лишь однажды он попал в неприятности, и то за незначительный проступок: его подслушали, когда он подражал учителю французского, которого считал некомпетентным. Дома дисциплина была лишь немного мягче, по крайней мере, в учебное время. Илья был строгим наставником. Во время домашних занятий соблюдалась строжайшая тишина, и каждый день отводилось время для серьёзного чтения. Нарушителей «правила молчания» отправляли в «чёрное кресло» в кабинете Ильи для спокойного, молчаливого размышления о своих проступках. Однажды Владимира нашли там спящим.[8]

Александр Наумов, который сидел с Владимиром за одной партой в гимназии, почти каждый год становился серебряным медалистом школы, уступая только Ульянову, который неизменно завоёвывал золото. «Владимир Ильич был невысокого роста, но крепко сложен, с немного сутулыми плечами и большой головой, слегка сплюснутой по бокам… у него были неправильные, я бы сказал, несимпатичные черты: маленькие уши, выступающие скулы, короткий, широкий и слегка приплюснутый нос, а также большие промежутки между желтоватыми зубами. У него не было бровей на веснушчатом лице, а волосы — светлые, мягкие и слегка кудрявые — он зачёсывал назад. Но все эти неправильности компенсировались высоким лбом, под которым горели два проницательных карих глаза. Его неуклюжий внешний вид мгновенно забывался в разговоре, благодаря этим маленьким, но необычным глазам, сверкающим незаурядным интеллектом и энергией… Он значительно отличался от всех нас. Ни в младших классах, ни позже он не участвовал в детских и юношеских забавах, всегда оставаясь в стороне, занят либо учёбой, либо какими-то письменными делами. Даже когда он шёл между

---

[7] Единственным предметом в школе, в котором будущий теоретик марксизма не блистал, была логика. Иногда он даже не мог получить четвёрку. Мы не знаем — он никогда об этом не упоминал — но, возможно, в более поздние годы он оценил бы иронию.

[8] Образование Ленина: Сервис, стр. 36–37; Фишер, стр. 45–51.

занятиями, Ульянов держал перед собой книгу, читая её, пока шёл мимо окон. Единственным развлечением, которое ему нравилось, были шахматы, и в этой игре он обычно побеждал, даже когда играл сразу против нескольких противников одновременно».

Другой школьный товарищ описывал юного Ленина как «ходячую энциклопедию, чрезвычайно полезную для его товарищей… как только Ульянов появлялся в классе, его тут же окружали одноклассники, прося помощи с переводом или решением задачи. Он охотно помогал всем, но мне казалось, что в глубине души его раздражали те, кто пытался жить и учиться за счёт чужого труда и ума. Ульянов обладал ровным и, в целом, жизнерадостным характером, но был очень скрытным и холодным в отношениях с окружающими. У него не было настоящих друзей. Он обращался ко всем на "вы" [в то время как дети, как правило, говорили друг другу "ты"], и я не помню ни одного случая, когда бы он позволил себе откровенность. В целом, он внушал уважение и проявлял деловитую авторитетность, но нельзя сказать, что его любили; скорее, его почитали».[9]

За всё время, пока он рос, Владимир не проявлял интереса к политике. «Володя никогда не скрывал бы их [свои политические убеждения]… в то время, в общем, у него не было политических взглядов. Нас удивляло, что он мог читать и перечитывать Тургенева много раз, в то время как Саша, с которым он делил комнату, прилежно изучал труды по политической экономии».[10]

Идиллическое детство и юность Владимира были внезапно разрушены всего за три месяца до его шестнадцатого дня рождения. Отец долго скрывал свои проблемы со здоровьем, но в течение некоторого времени страдал от сильных болей в животе и того, что сегодня диагностировали бы как серьёзную гипертонию. В январе 1886 года он скончался от инсульта. Его высокое давление усугублялось сильным стрессом на работе. Илья Ульянов был добросовестным, образцовым государственным служащим четверть века. Под его руководством в Симбирской губернии было открыто почти 400 начальных и средних школ, и он всей душой верил, что отсталая Россия может процветать только через улучшение образования для всех. Это было мнение, которое разделял «Царь-освободитель» Александр II, инициировавший ряд реформ и следивший за расширением системы образования в России. Но после его убийства реформы были приостановлены, и наступил период жёсткой реакции.

Автократия чувствовала угрозу и ответила предсказуемым для Романовых способом. Усилилась цензура, тайной полиции предоставили широкие новые полномочия по арестам и задержаниям, а любая политическая активность была фактически запрещена. Спустя несколько месяцев после восхождения на трон новый царь, Александр III, передал образование под контроль нового министра Ивана Делянова, который заявил: «детям кучеров, слуг, поваров, прачек, мелких торговцев и тому подобных не следует стремиться подняться выше той среды, в которой они родились». Программа открытия сельских школ для бедных была прекращена; вместо этого начали открываться несколько церковных школ, предназначенных для подготовки детей к священству в православной церкви.

Новое министерство награждало Ульянова медалями и орденами, но вскоре отправило его в отставку. Его либеральная активность не гармонировала с жёстким новым режимом, который был настроен вернуться к старым порядкам. Его сторонникам удалось добиться неопределённой отсрочки его отставки, и его восстановили в должности, но его трудовая жизнь подходила к несчастливому концу.

---

[9] Воспоминания одноклассников: Кларк, стр. 61–63.

[10] Ленин не интересовался политикой в юности: Анна Ульянова-Елизарова, стр. 26.

Зима 1885–1886 годов была одной из самых холодных за многие годы, и Илья подхватил сильный кашель. Как обычно, он продолжал работать, не сбавляя темпа. 12 января 1886 года он пожаловался Марии Александровне на плохое самочувствие, но тем не менее у него состоялась встреча в кабинете с одним из своих инспекторов, которая длилась до двух часов дня. Необычно, но он не присоединился к семье за обедом. Кратко он появился в дверях столовой, но вскоре вернулся в кабинет. «Он посмотрел на нас, словно прощаясь», — вспоминала его дочь Мария спустя годы.

После обеда его жена отправилась к нему в кабинет и нашла его лежащим на диване и содрогающимся, не в силах говорить. Она позвала врача и привела детей, чтобы те смогли увидеть отца. Он был в агонии, несколько раз сильно задрожал и скончался до прибытия врача. Ему было пятьдесят четыре года, на год больше, чем будет его сыну Владимиру, когда он умрёт. На следующий день его похоронили, и на похоронах присутствовало большинство представителей среднего класса Симбирска. Саша учился в Санкт-Петербургском университете, и ему понадобилось бы несколько дней, чтобы добраться до дома. Владимиру, которому было пятнадцать лет, выпала честь нести гроб отца; остальными были почётные граждане города.

Смерть Ильи Ульянова в относительно раннем возрасте стала ужасным ударом для семьи. Но вскоре обрушится другая, куда более серьёзная трагедия, которая поставит Владимира на путь, ведущий к тому, чтобы стать революционером, Лениным.[11]

[11] Смерть отца Ленина: Мария Ульянова, стр. 29–31.

ГЛАВА 3. Повешенный

Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
Сергей Нечаев. Катехизис революционера, 1869

Поздним вечером 4 мая 1887 года пятеро молодых людей, всем им было около двадцати лет, были закованы в цепи и кандалы в своих камерах Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, которая широко известна как русская "Бастилия". Их вывели к пристани на Неве, откуда пароход доставил их на расстояние около двадцати пяти километров к другому мрачному символу царской власти — угрюмой и неприступной крепости Шлиссельбург, возведенной почти двести лет назад Петром Великим на юго-западном берегу Ладожского озера. Молодых людей освободили от цепей только тогда, когда они были надежно заперты в сырых камерах.

Следующие три ночи, неведомые пятерым заключенным, не слышавшим ни звука за толстыми стенами, в крепостном дворе плотники усердно возводили виселицы. В 3:30 утра 8 мая их разбудили тюремные охранники, снова заковали в кандалы и сообщили, что в соответствии с приговором, вынесенным на специальной сессии Государственного Сената тремя неделями ранее, их казнят через повешение. Их преступление — покушение на убийство царя. Тюремщики позже говорили, что все пятеро студентов Петербургского университета сохраняли необычное спокойствие, когда одевались и готовились к смерти.

Около 4 часов утра их вывели вниз по каменным лестницам во двор крепости. Было построено только три виселицы, поэтому двум молодым людям пришлось ждать и смотреть, как их товарищей вешают, прежде чем их самих поведут на казнь. Первые, кого повесили, — Василий Генералов, двадцати лет, второкурсник из семьи среднего класса донских казаков; Пахомий Андреюшкин, двадцать один год, талантливый студент-физик из зажиточной семьи на Кубани; и Василий Осипанов, двадцати пяти лет, сын солдата из Томска, студент юридического факультета. Все трое отказались от последнего причастия, но поцеловали крест. Когда им надели черные капюшоны и они поднялись на эшафот, они крикнули, как можно громче и отчетливее: "Да здравствует Народная Воля!". Последними словами на их устах было имя революционной группы, к которой они принадлежали: "Народная Воля".

Тела висели в воздухе несколько минут, пока их два товарища стояли внизу. Когда их повели на эшафот, один яростно отмахнулся от предложенного священником креста — это был Петр Шевырев, двадцати трех лет, сын богатого купца из Харькова. Другой спокойно поцеловал крест, прежде чем идти на смерть, почти через четыре недели после своего двадцать первого дня рождения. Это был Александр Ильич Ульянов.[1,2]

---

[1] Великий химик Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы, был на короткое время преподавателем Александра Ульянова в Санкт-Петербургском университете. Он был потрясён казнью, но не полностью сочувствовал целям Саши. «Эти проклятые социальные вопросы, это ненужное, как мне кажется, увлечение революцией — сколько великих талантов это уничтожает», — сказал Менделеев после того, как услышал о повешении.

[2] Казнь Саши: Салисбери, стр. 5–9; Бертрам Вульф, Трое, которые сделали революцию, Бостон, 1955, стр. 72–74; Филип Помпер, Брат Ленина: Истоки Октябрьской революции, Нью-Йорк, 2010, стр. 173–179.

Младший брат Саши, Владимир, которому тогда было семнадцать лет, в день казни сдавал экзамен по геометрии.[3] Никому не сообщили о казнях до позднего вечера следующего дня. Его мать до последнего момента верила, что смертный приговор будет смягчен до пожизненного заключения.

Как и остальная семья, Владимир не знал, что серьезный Саша, который, как считалось, увлечен естественными науками и готовится к блестящей академической карьере, был так глубоко и опасно вовлечен в радикальную политику. Его мать и старшая сестра Анна знали, что он серьезно изучает экономическую и политическую историю, но не подозревали, что он был активистом — или что у него есть друзья среди революционеров.

Возвышенный Саша был почти обожествлен своими братьями и сестрами. У него было мечтательное, романтическое выражение лица, утонченные черты и склонность к меланхолии. Он был скучно послушным, тихим и сдержанным, даже в детстве. Он так много учился, что его едва удавалось оторвать от книг ради обеда. В последний год учебы в гимназии он превратил свою комнату в лабораторию. На природе он собирал образцы насекомых и был в восторге от червей. Его серьезность и стремление быть хорошим наводили на мысль о занудстве и праведности. Казалось, у него не было ни капли чувства юмора, тем более иронии, которой в избытке обладал его брат Владимир. Однажды сестра спросила Сашу, каким он представляет себе идеал женской красоты, и он, не моргнув глазом, ответил: "Вот как у мамы ".

В детстве Владимир обожал Сашу, но по мере взросления их отношения становились более сложными. Никакой критики в адрес Саши не допускалось, даже намека, но иногда казалось, что Владимир раздражался на то, как старший брат поучает всех и каждого, что правильно и как следует себя вести. " Володя переживал тогда переходный возраст, когда мальчики становятся особенно резки и задирчивы. В нем, всегда очень бойком и самоуверенном, это проявлялось особенно заметно, тем более тогда, после смерти отца, присутствие которого действует всегда сдерживающе на мальчиков», - писала Анна много лет спустя. Александр был безжалостен к малейшим недостаткам, проступкам или вспышкам раздражения у братьев и сестер. Однажды дома два брата играли в шахматы. Мария Александровна попросила Владимира принести что-то из соседней комнаты. Владимир грубо ответил, что, возможно, она могла бы подождать, пока игра закончится. Мать попросила его еще раз — и на этот раз его ответ был откровенно груб. Александр повысил голос, чего он делал крайне редко: "Володя, или ты сейчас же пойдешь и сделаешь, что мама тебе говорит, или я с тобой больше не играю,— сказал тогда Саша спокойно, но так твердо, что Володя тотчас встал и исполнил требуемое.

"Разница в характерах двух братьев проявилась еще в детстве", сказала Анна. "Поэтому они никогда не могли стать близкими друзьями, несмотря на безграничное уважение и восхищение, которое Володя испытывал к Саше... Было абсолютно ясно, что у каждого свой характер, и что они были совершенно разными личностями".

Со своей стороны, Саша был холоден к Владимиру. Однажды, за несколько месяцев до своей казни, Анна, которая сама была студенткой в Санкт-Петербурге, спросила Александра: "Как тебе нравится наш Володя?". Он ответил: " Несомненно, человек очень способный, но мы с ним не сходимся. В действительности, совсем не сходимся ".[4]

Заговор с целью убийства был смехотворно дилетантским. Удивительно, что заговорщикам удалось подойти так близко к успеху. План готовился несколько месяцев, в нем участвовали пятнадцать человек — слишком большое число, если одной из целей была секретность — и, как

---

[3] Конечно, он получил пятёрку.

[4] Детство и юность Саши: Анна Ульянова-Елизарова, стр. 26–28.

оказалось, многие говорили об этом с сочувствующими. Однако политическая полиция, всесильная и вселяющая страх царская охранка, не знала о заговоре до нескольких дней перед покушением, и то благодаря удачному случаю. Один из заговорщиков, Василий Генералов, был арестован по подозрению в совершенно другом преступлении, но у него нашли взрывчатку и компрометирующие письма.

Деньги на операцию дал Саша, продав золотую медаль, полученную от Санкт-Петербургского университета за доклад о структуре пресноводных кольчатых червей. Именно Саша разработал и помог собрать три бомбы, которые должны были убить царя, когда он покинет Зимний дворец для участия в службе в Александро-Невской лавре 1 марта, в шестую годовщину убийства Александра II. Всю необходимую информацию он получил из книг университетской библиотеки, хотя никто так и не узнает, сработали бы эти бомбы или нет. Основной проблемой было достать азотную кислоту, которая должна была привести устройство в действие. Наконец, кислоту нашли и тайно переправили в Санкт-Петербург из Польши.[5]

Александр был арестован на Невском проспекте за несколько часов до планировавшегося покушения на царя. У него в кармане был пистолет «браунинг», но, не привыкший обращаться с оружием, он едва ли представлял, как им пользоваться. Немедленно он признал свою вину и взял на себя полную ответственность за заговор, хотя идея исходила не от него, да и не он занимался планированием покушения.

Как только Мария Александровна узнала об аресте Саши, она поспешила в Санкт-Петербург, надеясь лично вмешаться, чтобы сократить срок заключения, который она считала неминуемым. Ей пришлось отправиться на лошади и телеге до ближайшей железнодорожной станции, расположенной примерно в двухстах километрах, в Сызрани, в одиночку. Владимиру поручили найти кого-то "приличного", чтобы составить ей компанию в этом долгом и трудном пути. Однако он не смог найти никого, кто бы захотел помочь семье подозреваемого террориста. Этот отказ запомнился Владимиру на всю жизнь.[6]

Мария Александровна отчаянно писала письма, умоляя за Сашу, обращаясь ко всем, кто, по ее мнению, мог помочь, начиная от царя. Сначала ей отказали в праве видеть сына в тюрьме, но позже все же разрешили встречу. Сам император вмешался и написал на ее прошении: "Мне кажется, что стоит позволить ей увидеть своего сына, чтобы она убедилась, каким человеком является её дорогой сыночек, и чтобы показать ей, какими убеждениями он руководствуется."

Она увидела его 30 марта. В слезах, Саша раскаялся и попросил прощения у матери. "Но, дорогой Саша, зачем прибегать к террору, к убийству? Это же ужасно!" — спросила она. Он ответил: " Что же делать, если других нет

Суд начался 15 апреля, проходил за закрытыми дверями и длился четыре дня. Обвинения были предъявлены пятнадцати молодым людям. Саша снова признал свою вину и взял на себя ответственность за действия своих соратников. В какой-то момент судебного процесса, по

---

[5] Один из соучастников заговора Саши сыграет важную роль в жизни Ленина спустя много лет. Молодой человек, который купил азотную кислоту для детонации бомб, был Юзеф Пилсудский, польский националист, который в 1920-е годы станет военным диктатором Польши. Пилсудский стремился к независимости своей страны от царской России, а после Революции он стал героем польско-советской войны 1920 года против молодой Советской власти. Поляки нанесли тяжёлое поражение Советскому государству — одно из самых больших поражений Ленина. В 1880-е годы молодой Пилсудский был приговорён к пяти годам ссылки за участие в покушении на Александра III, организованном Сашей Ульяновым. Брат Пилсудского, Бронислав, который провёз кислоту, был приговорён к пятнадцати годам каторжных работ.

[6] Ненависть Ленина к буржуазным либералам, которые отвернулись от его матери: Лев Троцкий, Молодой Ленин, Нью-Йорк, 1972, стр. 43–44; Исаак Дойчер, Детство Ленина, Лондон, 1970, стр. 123–125.

словам охранника, который подслушал их разговор, Саша шепнул Василию Генералову: " Если вам что-либо нужно, говорите на меня."

Перед оглашением приговора ему разрешили прочесть свое заявление. «Террор — это единственная форма защиты, единственный путь для тех, кто испытывает крайнее недовольство, — сказал он. - Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их на служение родине. Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

Приговор был вынесен 25 апреля. Все подсудимые были приговорены к смертной казни. Марии Александровне снова позволили увидеть сына, и она умоляла его просить о помиловании. Её уверяли старые друзья мужа, высокопоставленные чиновники, что царь готов проявить милосердие. Саша отказался: «Извини, мама, но я не могу этого сделать после всего, что сказал на суде. Это было бы неискренне.» В конце концов, она уговорила его написать прошение о помиловании, но было уже слишком поздно.

Прежде чем казнь состоялась, царь потратил время на чтение всех материалов дела. На полях стенограммы речи Саши он сделал пометку: "Эта откровенность... и честность, даже трогательны!" Он смягчил приговоры десяти подсудимым, но приказал продолжить исполнение смертного приговора Саши. Александр III добавил на полях последней страницы отчета: "На этот раз Бог нас спас! Но надолго ли?"[7]

Смерть сына стала ужасным ударом для Марии Александровны. "Когда она вернулась из Санкт-Петербурга, она не звонила в дверь и не стучала, а тихо вошла через черный ход," — вспоминала её дочь Мария. "Младшие дети окружили её и прижались к ней. Мне показалось, что её волосы совсем поседели."

Саша и его казнь почти не упоминались в семье Ульяновых в течение нескольких лет — "это было слишком больно". Но глубокое и мгновенное влияние на Владимира было очевидно. Он редко показывал свои чувства чужим, и, кажется, только один школьный друг оставил современное свидетельство его реакции, спустя несколько дней: "Вечер был таким тихим, как будто сама природа пыталась нас успокоить и ободрить. Я сказал об этом Володе. После минутного молчания он сказал мне, что... Сашу казнили. Я был потрясен. Володя сидел рядом со мной, опустив голову. Под натиском мыслей говорить было невозможно. Мы долго сидели молча. Наконец, он встал и, ничего не сказав, мы пошли в сторону города. Мы шли медленно. Я видел глубокую скорбь Володи, но также чувствовал его решимость не показывать её... Перед тем как разойтись, я крепко пожал его руку. Он посмотрел мне в глаза, ответил на рукопожатие и быстро повернулся, чтобы пойти домой."[8]

Семья Ульяновых стала изгоем в буржуазном Симбирске. Должностные лица, которые год назад присутствовали на похоронах отца Владимира, больше не приходили. Друзья, которые раньше играли в шахматы с Ильёй, а после его смерти с Владимиром, больше не заходили. Это породило в нём ярую, иногда неконтролируемую ненависть к либералам и "буржуазным добродетелям", которая оставалась с ним до самой смерти. "Буржуазия... они всегда будут предателями и трусами," — часто заявлял он с тех пор. Политика стала для него личным делом — и это было глубоко личное. Мальчик, который редко задумывался о политике, почти мгновенно

---

[7] Покушение Саши: Помпер, стр. 103–109. Суд: Вульф, стр. 62–64. Встречи в тюрьме с матерью: Фишер, стр. 124.

[8] Реакция Владимира на смерть: Мария Ульянова, стр. 32, и цитаты в Кларк, стр. 86–88.

радикализировался.[9] Мария Александровна больше не могла терпеть взгляды бывших друзей и сплетни незнакомцев, и она решила покинуть Симбирск, продав дом на улице Москвы. Его купил местный начальник полиции, человек с безупречной репутацией, который, однако, не испытывал угрызений совести, покупая имущество у родственников террориста.[10]

Владимир начал погружаться в политическую литературу, которую читал его брат, и перед ним открылся новый мир. Однако его по-прежнему мучило одно: через почти десятилетие, в день знакомства с будущей женой Надеждой, они гуляли вдоль Невы в Санкт-Петербурге. Он доверительно рассказал ей, как сильно он был огорчен казнью Саши и как ненавидел режим, который приговорил его к смерти. Затем он признался, что никогда не думал, что его брат станет революционером: "Революционеры не увлекаются изучением червей."

Теперь Владимир стал мишенью для властей — подозреваемым по ассоциации с братом и потенциальным нарушителем спокойствия. Он вступил на путь противостояния с царским режимом.

---

[9] В большинстве советских жизнеописаний Ленина, опубликованных до конца 1970-х годов, появляется полностью ложная история, предназначенная для того, чтобы показать, что семнадцатилетний Владимир Ульянов уже был революционером Лениным, мыслителем стратегического уровня. Якобы, когда ему сообщили, что Сашу повесили, он сказал своей сестре Марии: «Нет, мы не пойдём по этому пути… мы найдём другой». Марии было всего девять лет на тот момент, и она не могла понять, о чём он говорит. Более правдоподобная история (хотя её подлинность также сомнительна) заключается в том, что одна из преподавательниц его младшей сестры Ольги, Вера Кашкаданова, утверждала, что Ленин сказал о действиях Саши: «Это значит, что он должен был поступить так; он не мог поступить иначе».

[10] Буржуазные «предатели и трусы»: Николай Валентинов, Встречи с Лениным, Лондон, 1968, и письмо сестрам Анне и Марии, 13 июля 1901 года, Собр.соч., т. 43, стр. 126.

ГЛАВА 4. Полицейское государство

Мы, русские, являемся рабами, потому что не в состоянии освободиться и стать гражданами, а не подданными.
Александр Герцен (1812-1870)

Большинство образованных русских, интеллигенция, вероятно, разделяли чувства, если не действия, Александра Ульянова. Даже если они не были готовы сами бросать бомбы, к концу девятнадцатого века они, вероятно, сочувствовали его разочарованию от того, что им не давали голоса в управлении Россией, не предоставляли участия в будущем страны — «само понятие интеллигенции стало синонимом оппозиции», как выразился один диссидент.

Около 85 процентов населения России составляли крестьяне, мужики, которые, несмотря на некоторые улучшения своего правового статуса после отмены крепостного права в 1861 году, все еще фактически не имели никаких гражданских прав. В целом, они не проявляли интереса к политике, принимая свою участь с молчаливым недовольством; режим не считал нужным обращать внимание на их мысли.

Однако средний класс и интеллигенция отличались. Самодержавие рассматривало распространение любых идей о модернизации России по образцу Западной Европы как прямую угрозу почти 300-летней династии Романовых. Корона создала целый государственный аппарат для выявления «подрывных» действий во всех их проявлениях. Как выразился граф Сергей Витте, премьер-министр на протяжении трех лет при последнем из царей: «Российская империя… стала настоящим полицейским государством».

Оба последних российских императора полагали, что усиление репрессий и цензуры, ссылка даже за самое незначительное политическое несогласие и запрет политической активности любого рода (вплоть до конца старого режима) сделают монархию безопаснее. Они не могли быть дальше от истины. Ранние Романовы — Петр Великий, Екатерина II, например — понимали природу власти и знали, как управлять абсолютистским государством. Ленин тоже это понимал. Последние два царя не обладали ни видением, ни компетенцией. У них была жестокость, но не было ни эффективности, ни дальновидности. В начале двадцатого века они надеялись вернуть Россию в XVII век. Неудивительно, что они не знали, как это сделать. Вместе они совершили череду фатальных ошибок. Среди самых серьезных была их неспособность удержать умеренных либералов среднего класса, не заинтересованных в революции, от перехода к крайностям. Они способствовали росту насильственной оппозиции, которую были слишком слабыми и некомпетентными, чтобы уничтожить. Студенты, как и следовало ожидать, находились в авангарде борьбы с царизмом, и режим постоянно конфликтовал с молодым поколением образованной молодежи.[1]

Почти 20 000 министров, губернаторов, высокопоставленных чиновников и старших армейских офицеров были убиты революционными группами в последние 25 лет царского правления. Многие умеренные не обвиняли в этом «террористов», а считали виновным правительство. «Трупы Боголепова, Сипягина, Богдановича, Бобрикова, Андреева и ф. — Плеве не

[1] Александр Керенский вспоминал свои первые дни учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета в 1890-х годах: «Казалось, сам воздух России был пропитан напряженным желанием освобождения. Мы становились врагами самодержавия почти сразу после поступления в университет, и это происходило естественно… среди студентов не было споров о том, следует ли бороться с самодержавием или нет… единственный спор заключался в том, где найти истину: у марксистов или у народников [популистов]».

мелодраматические капризы и не романтические случайности русской истории, — писал либерал Петр Струве, бывший социалист, сторонник ненасильственных перемен. — Этими трупами обозначается логическое развитие отжившего самодержавия… Страшно для правительства не физическое устранение Сипягиных и ф. — Плеве, а та создаваемая этими носителями власти общественная атмосфера негодования и возмущения, которая рождает из рядов русского общества одного мстителя за другим… Он [Плеве] думал, что самодержавие, которое ввело полицию во все и вся: законодательство, управление, науку, церковь, школу и семью превращает в полицию, сможет предписывать великому народу законы его исторического развития. А полиция ф. — Плеве не сумела даже предотвратить бомбы. Какой он был жалкий безумец!».[2]

Некоторые внимательные зарубежные наблюдатели отмечали, что почти ежедневные убийства вызывали мало возмущения среди населения по отношению к революционерам; люди лишь пожимали плечами и выражали недовольство режимом. После того как один особенно ненавистный министр внутренних дел был взорван бомбой в Санкт-Петербурге, австрийский посол в России граф Алоис Лекса фон Аэренталь — вовсе не либерал — писал: «Самое поразительное… это полное равнодушие к событию, которое нанесло тяжелый удар принципам правительства. Нельзя было ожидать сочувствия к министру, который из-за своего авторитарного характера нажил много врагов. Но естественными были бы хотя бы сострадание или, по крайней мере, тревога о ближайшем будущем. Но ничего этого нет… только полное равнодушие или люди настолько циничны, что говорят, что другого исхода ожидать было нельзя. Люди говорят, что потребуются дальнейшие катастрофы… чтобы высшая власть изменила свое мнение».[3]

Судебные процессы с участием присяжных над обвиняемыми в терроризме были редкостью в России и были полностью прекращены после дела Веры Засулич в 1878 году. Двадцативосьмилетняя Засулич, умная и энергичная дочь обедневшего дворянина, в то время увлеченная анархистка, попыталась убить петербургского губернатора генерала Федора Трепова. Она выстрелила в него и ранила после того, как он приказал выпороть радикального студента за отказ отдать ему честь. На знаменитом процессе ее оправдали, а сама Засулич была объявлена мученицей. Искусный адвокат сумел превратить судебное заседание в обвинение против Трепова и режима, а не против одной радикальной обвиняемой. Засулич была единогласно оправдана.[4,5]

Удивительно, как много террористов было среди женщин — в то время, когда даже идея женского избирательного права на Западе еще не стала предметом обсуждения. То, что так много молодых женщин были готовы убивать и умирать за политическую идею, вызывало некоторое сочувствие к радикалам среди мужчин в патриархальном обществе. Софья Перовская, «пугающе целеустремленная», фанатичная участница «Народной воли», была возлюбленной Андрея Желябова, лидера заговора против Александра II. Она подала сигнал метателям бомб,

---

[2] Пётр Струве, Собрание сочинений: Том 9, Анн Арбор, 1970.

[3] Граф Лекса фон Аэренталь: цитируется в книге Пайпса, «Русская революция», стр. 137.

[4] Засулич скрылась сразу после вынесения приговора, когда власти объявили, что будут судить её повторно, но на этот раз без участия присяжных. Ей удалось сбежать из России и отправиться в изгнание, сначала в Швейцарию, а позже — на многие годы в Лондон. Она отказалась от индивидуальных актов насилия и позже утверждала, что они бессмысленны. Засулич стала известной марксисткой и снова появится в этой истории как близкая подруга жены Ленина Надежды, хотя к самому Ленину она позже стала испытывать отвращение.

[5] Суд Засулич: Анна Хилльяр и Джейн МакДермид, «Революционные женщины в России, 1870–1917», Лондон, 2000, стр. 136.

ожидавшим царя на улице Петербурга, где тот был убит. Один из соратников описывал ее как «маленькую, светловолосую, с голубыми глазами и румяными щеками, как у фарфоровой куклы… красавицу». Она была повешена в возрасте 27 лет на последней публичной казни в России 3 апреля 1881 года перед толпой, насчитывавшей около 80 000 человек. Палач был пьян, и на эшафоте не было люка — только деревянная табуретка, которую он в нетрезвом состоянии с трудом опрокинул. Свидетели, потрясенные, рассказывали, что Перовская умирала полчаса, в страшных муках.[6]

Вера Фигнер, одна из первых женщин в России, получивших медицинское образование, возглавляла революционную группу и планировала два неудачных покушения на царя Александра II, прежде чем участвовала в успешном покушении. Ей удалось избежать ареста, но в 1883 году, в возрасте 31 года, она была схвачена полицией в Крыму. Она провела более двадцати лет в тюрьме и ссылке в Сибири. На своем суде, состоявшемся на следующий год, она произнесла речь, которую, как кажется, Александр Ульянов читал и знал наизусть: «Мирные методы были мне запрещены. У нас нет свободной прессы, так что я не могла надеяться на пропаганду идей посредством печатного слова. Если бы кто-либо предложил мне другой путь, кроме насилия, я бы его выбрала».

Позже, в изгнании в Швейцарии, ставшая яростной противницей Ленина и большевистской тирании, она вспоминала свою жизнь террористки, когда «культ бомбы и револьвера, убийства и виселицы приобрел магическую привлекательность».[7]

Владимир Ульянов стал наследником длинной традиции революционной оппозиции царям. После казни брата он погрузился в изучение истории российского радикального движения, начиная с восстания декабристов. Декабристы — это группа дворянских офицеров, которые в декабре 1825 года, после смерти Александра I, — по словам Александра Пушкина, за ужином «между кларетом и шампанским» — задумали воспрепятствовать вступлению на престол Николая I. Большинство из них сражались в русской армии, которая за десять лет до этого вошла в Париж и помогла одержать победу над Наполеоном. Увидев Западную Европу, они заявили о своем стремлении создать в России конституционную монархию и мечтали «зажечь искру, которая разгорится в пламя свободы».[8] Восставшие смогли привлечь на свою сторону армию численностью 3000 человек и были близки к успеху, но на следующий год их восстание было подавлено. Пять заговорщиков были казнены, а десятки сосланы в Сибирь, среди них представители знаменитых дворянских родов, традиционно верных трону, таких как Трубецкие и Волконские. Акт обвинения декабристов, изданный царем, упрекал их в том, что они проявили «безумную жажду перемен».

На протяжении остальной части XIX века и вплоть до свержения Романовых политическая история России представляла собой цикл скромных реформ, за которыми следовали периоды реакции, когда трон чувствовал угрозу. До самого отречения последнего царя одним из главных положений Основных законов государства было: «Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает». И императоры действительно воспринимали это всерьез. Константин

---

[6] Одним из самых печальных случаев была ужасная смерть Марии Ветровой. Заключенная в Петропавловскую крепость за подрывные преступления, связанные с распространением нелегальной литературы, она неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны полицейского и тюремного охранника. В феврале 1897 года она облилась керосином и подожгла себя.

[7] Женщины-революционерки и Вера Фигнер: цитируется в книге Хилльяр и МакДермид, стр. 35–55.

[8] Когда в начале XX века Ленин и его товарищи запустили свою первую социалистическую газету, они назвали её «Искра» — в сознательной отсылке к декабристам.

Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода и на протяжении десятилетий один из самых влиятельных гражданских деятелей России, сказал Александру III вскоре после убийства его отца в 1881 году: «Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря безграничному взаимному доверию и тесной связи между народом и царем… нам и так достаточно страданий от говорильни, которая лишь разжигает народные страсти».[9]

Структура полицейского государства была заложена при Николае I в 1820-х годах. Он создал целый государственный орган — Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии — для борьбы с подрывной деятельностью. Фактически это была тайная служба, чьи интересы рассматривались отдельно от интересов подданных. Законы, защищающие имущество или жизнь других россиян, обрабатывались другой системой полиции. Третье отделение, которое в 1880-х годах стало Охранкой, обладало драконовскими полномочиями по задержанию людей без суда и их отправке в «административную ссылку» в Сибирь и на арктические просторы при малейшем намеке на «политические преступления». Его власть и масштабы были беспрецедентны в Европе. Этот орган стал прообразом для ЧК, НКВД и КГБ в будущем СССР, а также для ФСБ в постсоветский период. Он проникал в жизнь обычных людей. Тысячи бюрократов по всей империи перехватывали и вскрывали письма людей, собранные тайными агентами, доносчиками и шпионами. Для организации ряда казалось бы невинных мероприятий, от проведения вечеринки в публичном месте до открытия магазина или транспорта, требовалось специальное разрешение от политической полиции. Людям запрещалось читать Дарвина.[10]

Еще одной особенностью России была самая жесткая цензура в Европе, требовавшая, чтобы все печатные материалы прошли через цензора до публикации. Поскольку прямую политическую деятельность исключали, а чтение политической литературы в основном было запрещено, «почти вся литература стала критикой русской жизни, социальным комментарием». Писатели находили способы обходить цензуру — что не всегда было трудно; на протяжении истории хорошие авторы всегда были умнее цензоров, и это утверждение как нельзя лучше подходит к гигантам русской литературы. В России, задолго до большевистской революции, существовали хорошо развитые формы самиздата и распространения запрещенной литературы. В XIX веке тюрьмы и ссылки в Сибирь стали привычными наказаниями за чтение «незаконных» книг, хотя цензура и наказания то ужесточались, то смягчались в зависимости от политического климата и настроений императора. Этого уже не было в других европейских империях, таких как Австро-Венгрия или Германия.

После освобождения крестьян Александр II провел несколько других реформ: допустил некоторые судебные процессы с участием присяжных и разрешил элемент местного самоуправления — земства, небольшие районные советы, управляемые провинциальным дворянством. Он также снял ограничения на выезд и въезд в Россию, которые ранее были крайне жесткими. Но после его убийства его сын вернулся к параноидальному самодержавию.

Существенных политических свобод царская власть никогда не предоставляла, и самодержавие не намеревалось делать никаких уступок. Российская монархия не проявляла способности к адаптации или модернизации. Цари сами создали революционные движения, как однажды прозорливо заметил один из наиболее проницательных «террористов» Петр Ткачев, которого Ленин часто цитировал. В 1860-х годах Ткачев говорил: «Российская отсталость — это её

---

[9] Царская автократия: Фиджес, стр. 73–84. Победоносцев: цитируется в книге Пайпса, «Русская революция», стр. 89; Троцкий, «История русской революции», стр. 65–74.

[10] Цензура и цари: Пайпс, «Русская революция», стр. 85–87; Фишер, стр. 73–75.

большое счастье, по крайней мере с точки зрения революции. На Западе общественный порядок основан на широкой поддержке среднего класса. В России этот класс [почти не существует]… Что поддерживает порядок в нашей стране? Только государство — то есть полиция и армия. Что нужно для того, чтобы это государство распалось на части? Немного: два-три военных поражения… несколько крестьянских восстаний… восстание в столице».

Популисты были первыми из революционных групп, которые сумели оказать влияние. Сначала они использовали исключительно мирные методы. Они верили, что революция придет от крестьян. Начиная с 1860-х годов, группы молодых идеалистов отправлялись в деревни, пытались жить в общинах, открывать медпункты и обучать неграмотных крестьян, возвращаясь «к народу», в надежде, что это приведет к пасторальному социализму. Несколько таких типов героев появляются в пьесах и рассказах Чехова. Большинство этих популистов происходили из привилегированных семей и были сознательны в своей богатой жизни: «Наше осознание всеобщих истин могло быть достигнуто только за счет вековых страданий народа. Мы — должники народа, и этот долг давит на наши совести», — говорил один из них.

Почти все эти популисты из таких групп, как «Земля и Воля», были отвергнуты крестьянами, которым они пытались помочь. Крестьяне не доверяли им из-за их привилегированного положения, относились к социализму с подозрением и раздражались от их патерналистских попыток нарушить привычный уклад деревенской жизни. Во многих случаях крестьяне доносили на радикалов в полицию или выгоняли их из сел, а в некоторых случаях даже избивали или убивали их. «Социализм отскакивал от крестьян, как горох об стену. Они слушали наших людей, как слушают деревенского священника: с уважением, но это нисколько не влияло на их мышление и действия».[11]

Следующей тактикой стало прибегание к насилию для дестабилизации государства. Популисты продолжали верить, что революция зависит от крестьянства, и их точечные убийства царских чиновников, губернаторов, полицейских и офицеров были направлены на то, чтобы сделать Россию неуправляемой. Из руин страны должна была возникнуть республика аграрных социалистов. Самой крупной и опасной из таких групп была «Народная воля», главным теоретиком и лидером которой был харизматичный Сергей Нечаев, на котором Достоевский основал персонажа Верховенского, нигилистического героя романа «*Бесы*».

Нечаев был харизматичным лидером, который вдохновил поколение последователей своим фанатизмом и аскетизмом. Он провел десять лет в тюрьме, долгое время на каторжных работах, и умер заключенным в Петропавловской крепости.[12] Его памфлет «Катехизис революционера», запрещенный, но широко распространяемый, стал своеобразным учебником для молодых радикалов, которые становились боевиками террористических организаций. Этот текст предлагал мрачный образ жизни, но множество молодых людей вдохновлялись его призывом к самопожертвованию и логике борьбы насилия против насилия. «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями,

---

[11] Радикальные движения: Фиджес, стр. 130–136; Вольф, стр. 73–79; Максим Горький, «Мои университеты», Нью-Йорк, 1938, стр. 130–135.

[12] Он был заключен в тюрьму не напрямую за революционную деятельность. Он организовал убийство последователя, который ослушался его приказов и публично не согласился с ним.

нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить».

После убийства Александра II «Народная воля» была практически уничтожена Охранкой. Но небольшие группы студентов время от времени организовывались, принимая то же имя, а затем исчезали вновь — как, например, группа, в которую входил Александр Ульянов. К концу века из обломков популистского движения возникла новая организация — «Партия социалистов-революционеров» (эсеры), более организованная, но всё ещё верившая в то, что индивидуальные террористические акты будут способствовать революции.[13]

С 1870-х годов стали появляться и конкурирующие группы, вдохновленные западной идеологией — марксизмом. Эти группы отказались от идеи революции, основанной на крестьянстве в полуфеодальной стране, каковой была Россия. Они верили, что революция будет возглавлена рабочим классом, пролетариатом. Проблема, которая занимала умы марксистских теоретиков и вызывала бесконечные споры с аграрными социалистами, заключалась в том, что Россия была далеко позади Западной Европы в качестве индустриального производителя и к концу XIX века имела очень малочисленный рабочий класс по сравнению с Британией, Германией или Францией. Ульянов присоединился к марксистам: «Я влюбился в Маркса и Энгельса, — говорил он своим сестрам. — В буквальном смысле влюбился». Как Ленин, он станет самым известным из всех марксистов, создателем первого государства, основанного на марксистских принципах. Однако его отношения с объектом своей страсти были сложными. Ленин адаптировал идеи Маркса к российским условиям таким образом, что сам Маркс никогда бы не смог предугадать. Многие историки утверждали, что причина, по которой советский стиль коммунизма развивался именно так, как он развивался, заключается в том, что Ленин пытался внедрить западную идеологию и философию в отсталую страну, каковой была Россия. На самом деле всё наоборот. Ленин преобразовал набор европейских идей в нечто совершенно русское. Его версия марксизма — с её нетерпимостью, жесткостью и насилием — была сформирована на основе его опыта как российского мыслителя XIX века. Большевизм Ленина имел глубокие российские корни.

[13] Сергей Нечаев, «Революционный катехизис», www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm.

ГЛАВА 5. Революционное образование

«Не будьте слишком строги к Ленину… Мне кажется, многое в его странном поведении можно просто объяснить тем, что он совершенно лишён чувства юмора».
Георгий Плеханов (1856–1918)

Манера Владимира держаться и его привычки, весь его взгляд на мир преобразились приблизительно тогда, когда ему было восемнадцать. Смерть отца и жестокая драма казни брата, а вскоре затем смертельная болезнь любимой сестры Ольги, казалось, вытравили из него всю ту жизнерадостность, лёгкость в обращении и добродушие, которые отличали его в ранние годы. Он начинал становиться тем крайне дисциплинированным, внутренне собранным человеком, которого люди узнают под именем Ленина. О своих личных чувствах или внутренней жизни он почти никогда ни с кем не говорил, кроме членов семьи. «Владимир стал мрачно сдержанным, строгим, замкнутым в себе, чрезвычайно сосредоточенным», — объяснял его младший брат Дмитрий.

Как и следовало ожидать, он получил золотую медаль в Симбирской классической гимназии — первым учеником в выпуске. Казалось, он мог выбирать любой университет. Но власти относились к нему настороженно и видели в нём виновного подрывного элемента уже по одной лишь связи с братом. О поступлении либо в Петербургский университет, либо в Московский, два лучших в стране, не могло быть и речи.

Место для него в достойном уважения Казанском университете добыл Керенский. Директором школы, где учился Владимир, был Фёдор Керенский, отец Александра Керенского. Он был одним из немногих уважаемых людей симбирского общества, кто посещал семью Ульяновых и не отвернулся от неё. В университет он написал восторженную рекомендацию: «Способный, неизменно прилежный, исполнительный и надёжный, Ульянов был первым во всех классах и по окончании курса был награждён золотой медалью как наиболее достойный ученик по успехам, развитию и поведению. В школьных документах не имеется ни единого случая, чтобы Ульянов словом или поступком вызвал какое-либо неблагоприятное мнение со стороны начальства или преподавателей этого учебного заведения. Родители его всегда внимательно следили за умственным и нравственным развитием Ульянова, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать посвятила все свои труды воспитанию детей. Руководящими началами этого воспитания были религия и разумная дисциплина. Благие плоды воспитания Ульянова ясно обнаруживались в его отличном поведении». Он, правда, отметил, что Владимир держится особняком, но сказал это намеренно, желая внушить, что тот едва ли станет зачинщиком бунта или свяжется с потенциальными смутьянами. Поэтому он писал: «При ближайшем знакомстве с домашней жизнью и характером Ульянова я не мог не заметить в нём чрезмерной замкнутости и необщительности даже со знакомыми, а вне школы — даже с товарищами, составлявшими гордость и радость этого учебного заведения, словом, некоторого отвращения к обществу. Мать Ульянова намерена оставаться при нём в продолжение всего времени его пребывания в университете».[1]

Семья переехала в Казань, как и обещала Мария Александровна. Но Владимир очень скоро оказался в беде. Уже через несколько месяцев он вступил в нелегальный кружок радикалов — умеренных народников, которые собирались по домам и передавали друг другу подпольную литературу. В декабре 1887 года по русским университетам прокатилась волна протестов после того, как в Петербурге была запрещена студенческая демонстрация; вслед за этим на кампусах

[1] Фёдор Керенский о Ленине: цит. по Fischer, с. 73.

по всей стране последовала серия арестов. Некоторые университеты были тогда закрыты на несколько месяцев.

В Казани Владимир Ульянов был одним примерно из 130 студентов, принявших участие в мирной студенческой демонстрации в университете. Его роль была незначительной. Он всего лишь участвовал в протесте; никто не утверждал, что он был одним из вожаков. Он просто оказался не в том месте и не в то время. Даже полицейский доклад об инциденте, по-видимому, признавал, что он едва ли был среди главных смутьянов. И всё же его арестовали и 6 декабря без долгих разбирательств исключили из университета. «За время своего недолгого пребывания… он обращал на себя внимание своей замкнутостью, невнимательностью и даже грубостью. Лишь за день или два до студенческого схода появились основания подозревать, что он подстрекает к беспорядкам и замышляет какое-то непозволительное поведение: он много времени проводил в общей комнате, разговаривая с менее благонадёжными студентами, уходил домой и возвращался с каким-то предметом, о котором просили другие, и вообще вёл себя весьма странно. А 4 декабря он ворвался в зал собраний… и [был] среди первых, кто, крича, бросился в коридор второго этажа, размахивая… [руками], словно желая подбодрить остальных… Ввиду исключительных обстоятельств семьи Ульяновых такое поведение… даёт основание считать его вполне способным к незаконным и преступным демонстрациям всякого рода». Он был одним лишь из трёх студентов, исключённых из университета, и было ясно, что полиция придирается к нему из-за того, кто он такой, а не из-за того, что он сделал.[2]

Его сослали в Кокушкино, и, как и прежде, мать и вся семья переехали вместе с ним — на этот раз даже с удовольствием, потому что все они любили это имение. Денег стало меньше, чем прежде, но их всё ещё хватало на жизнь среднего класса. Мария Александровна была женщиной бережливой, сумела кое-что скопить и могла жить вполне удобно на довольно щедрую пенсию мужа. От продажи дома в Симбирске она получила 6 000 рублей — достаточно для достойной провинциальной жизни, хотя никак не состояние. Илья оставил каждому из детей долю своего имущества, часть которого досталась ему в наследство от брата Василия, умершего бездетным. Владимир и Дмитрий (когда достигнет совершеннолетия) получили бы заметно большую долю, чем дочери, как это было принято в России.

Мать Владимира не терпела расточительности или, как она сама это называла, излишних расходов. Будучи студентом, Владимир пристрастился к курению. Мария Александровна терпеть не могла эту привычку и сперва пыталась убедить его бросить по соображениям здоровья, но он не соглашался. Наконец однажды вечером, после ужина в Кокушкине, он закурил, и мать, которая почти никогда не повышала голос и не бывала резка ни с кем из детей, сказала сурово: «Володя, у тебя нет никакого дохода, кроме тех денег, которые даю тебе я. Ты не имеешь права растрачивать средства нашей семьи на табак». Он бросил курить в ту же минуту — и впоследствии не одобрял, когда другие закуривали рядом с ним.

Если власти воображали, что, исключив его из университета и заперев в деревне, отобьют у него всякий революционный пыл, то они жестоко ошибались.[3]

Мать уговорила его подать прошение о возвращении в Казанский университет. Неохотно он обратился «К Его Превосходительству господину Министру народного просвещения всепокорнейше» и подписался: «Владимир Ульянов, дворянин». Министр отказал. На прошении было написано: «Не принимать ни при каких обстоятельствах».

---

[2] Исключение из университета: Volkogonov, с. 68

[3] Ленин и курение: Maria Ulyanova, с. 39.

Тогда он написал в Министерство внутренних дел, вновь указав, что он дворянин по происхождению, и просил позволить ему учиться за границей «с тем, чтобы содержать мою семью и получить высшее образование». Уездный полицейский исправник переслал прошение министру народного просвещения с сопроводительной запиской, в которой говорилось, что «несмотря на его замечательные способности, Ульянов в настоящее время не может считаться лицом благонадёжным ни в нравственном, ни в политическом отношении». Министр нацарапал на прошении: «Не брат ли это того Ульянова?… Ни в коем случае не следует удовлетворять просьбу».

Мария Александровна была потрясена тем, что её сыну отказали в образовании, которого она для него ожидала. Она поехала в Петербург и просила бывших сослуживцев покойного мужа вступиться за Владимира, но ничего не добилась. Она написала умоляющее письмо министру народного просвещения: «Просто мучительно смотреть на моего сына и видеть, как бесплодно проходят те годы его жизни, которые более всего пригодны для получения высшего образования. Почти неизбежно это должно довести его даже до мыслей о самоубийстве».

Она слишком хорошо знала своего сына, чтобы всерьёз думать, будто у него есть намерение покончить с собой. Но это было в её духе: она сказала бы что угодно, испробовала бы всё, лишь бы помочь семье. Любое унижение стоило таких усилий. Когда она писала министру внутренних дел, прося разрешения выехать за границу, чтобы семья могла принимать целебные воды в Виши, ей ответили, что прекрасные курорты имеются и на Кавказе. Владимир часто говорил, что при всех ударах, выпавших на её долю, «мужество матери было поистине поразительно».[4]

И тогда он занялся самообразованием, тихо живя в деревне. «Никогда потом в моей жизни — ни в петербургской тюрьме, ни в Сибири — я не читал так много, как в год после ссылки в деревню из Казани, — говорил он позднее. — Это было серьёзное чтение, с раннего утра до поздней ночи». Лев Троцкий позже назвал этот период «решающим временем, которое выковало в нём социалиста… годами упорной работы, в которые формировался будущий Ленин». Он штудировал социалистическую классику и труды по философии, экономике и истории, которые с такой жадностью читал его брат.

Но книгой, повлиявшей на него глубже всего, оказался роман, «Что делать?» Николая Чернышевского — человека, которого он боготворил. Фотографию автора он хранил в бумажнике всю жизнь (но не Надежды Константиновны и не Инессы Арманд). Позже, уже правя Россией, он поместил большой портрет Чернышевского на почётном месте в своём кремлёвском кабинете. Он написал Чернышевскому письмо поклонника и однажды говорил, «что мне было очень больно», когда ответа так и не получил.

«Что делать? » оказало на него столь же сильное воздействие, как и всё написанное Марксом или Энгельсом. Роман был написан в 1862 году, когда Чернышевский сидел в Петропавловской крепости по обвинению в подстрекательстве к мятежу, и никто не мог бы утверждать, что в нём много художественных достоинств. Даже сам автор, который признавал без ложной скромности: «У меня нет и тени художественного таланта. Я даже языком владею плохо. Но это неважно… Это чтение будет вам полезно… [как революционеру], и вы не испытаете разочарования, потому что я предупредил вас, что в моём романе вы не найдёте ни таланта, ни искусства, а только правду».

Каким-то образом книга прошла через цензуру и была напечатана легально — роковая ошибка. Если уж самодержавный режим собирается вводить якобы строгую цензуру, то именно такую

---

[4] Отказ министров разрешить Ленину учиться: Maria Ulyanova, с. 46. Оценка Лениным мужества своей матери: Valentinov, с. 61

книгу и следовало бы запретить. Она имела феноменальный успех и вдохновила целое поколение радикально настроенной молодёжи вроде Владимира Ульянова, который тем летом, после исключения из университета, прочёл её пять раз.[5]

Владимир глубоко отождествлял себя с героем, Рахметовым, который мечтает о мире, где бедность исчезла, а все живут в полной свободе. Он отказывается от всякого удовольствия ради Дела Революции и отдаёт свой значительный частный доход на поддержку нуждающихся студентов. Он закаляет себя, поедая сырое мясо, занимаясь тяжёлыми гимнастическими упражнениями и изнурительным физическим трудом. Он не пьёт и воздерживается от секса. Даже уловки прекрасной женщины, уверяющей его в вечной любви, не способны сбить его с пути. Самоотверженно он уступает её другому мужчине. Его единственная настоящая страсть — знание. Он читает ненасытно — однажды без перерыва восемьдесят два часа. Среди товарищей Рахметов известен как «ригорист» и не находит времени ни на что, кроме подготовки революции. День он делит на четверти часа, предназначая каждую для строго определённой цели. Он был стойко предан, честен, эффективен, рационален.

Ульянов сознательно лепил себя по образцу Рахметова, как говорили многие хорошо его знавшие люди, в том числе один из его ранних биографов. Николай Валентинов был близок к вождю большевиков в годы швейцарской эмиграции в 1900-х, прежде чем разойтись с ним — отчасти после того, как осмелился назвать Чернышевского «бездарным», а книгу — «грубой и претенциозной. Нечитаемой». Ленин вспыхнул. «Он так резко выпрямился, что стул под ним заскрипел. Лицо его окаменело, и скулы покрылись румянцем — это всегда бывало, когда он сердился. “Вы понимаете, что вы говорите? Как могла такая чудовищная и нелепая мысль прийти вам в голову? Назвать грубым и бездарным сочинение Чернышевского, величайшего и талантливейшего представителя социализма до Маркса… Я заявляю, что недопустимо называть «Что делать? » грубым и бездарным. Под его влиянием сотни людей стали революционерами. Мой брат, например, был им увлечён, и я тоже. Он совершенно преобразил мой взгляд на мир. Эта книга даёт вдохновение на всю жизнь” ».[6]

В отличие от Рахметова, он всё же отрывался от книг и беспощадного труда самоучки ради тех удовольствий, которые любил больше всего. На протяжении всей жизни Владимир наслаждался деревней и природой. Он подолгу гулял по лесам и полям вокруг Кокушкина, как позднее гулял везде, где бы ни находился. Он с удовольствием поднимался на холмы и горы. С годами он всё чаще страдал от нервного истощения, мучительных головных болей, бессонницы и приступов несдержанного гнева — «яростей», как называла их его жена. Несколько дней в горах, у моря или среди полей возвращали ему бодрость и восстанавливали силы. Он любил Волгу, по высоким берегам которой в детстве проходил милю за милей. Каждой весной, в апреле или мае, находясь в ссылке, он писал матери и спрашивал: «Какова нынче весна на Волге?»

Ему были по душе удовольствия деревенской помещичьей жизни. Много лет спустя он защищал такое существование, когда его упрекали в буржуазных склонностях. «Да, и я тоже жил в деревенской усадьбе, принадлежавшей моему деду, — говорил он одному товарищу. — В

---

[5] В наше время требуется почти сверхчеловеческое усилие, чтобы прочитать эту книгу хотя бы один раз, — как это пришлось сделать и автору этих строк. Но Ленин всегда восхвалял её. «Прежде чем я познакомился с трудами Маркса и Энгельса… только Чернышевский оказывал на меня господствующее влияние, и всё началось с “Что делать?”… Его великая заслуга в том, что он не только показал: всякий человек, мыслящий правильно и по-настоящему честный, должен быть революционером, но и нечто более важное: каким должен быть революционер, каким правилам он должен следовать, как он должен подходить к своей цели и какими средствами и методами добиваться её»

[6] Ленин о Чернышевском: Valentinov, с. 81–82.

известном смысле я отпрыск земельного дворянства… Я никогда не забывал приятных сторон усадебной жизни. Я не забыл ни лип, ни цветов. Так что продолжайте казнить меня… Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на сеновалах, хотя не я их складывал, как ел клубнику и малину, хотя не я их сажал, и как пил свежее молоко, хотя не я доил коров». [7]

Он любил спорт на открытом воздухе. Той зимой он катался на санях и на коньках. Он охотился — с увлечением, хотя, как сам порой признавал, с весьма ограниченным умением. «Охотником по натуре он никогда не был, хотя проводил за этим занятием столько часов», — замечала его сестра Анна. В Кокушкине он ходил на охоту со своим двоюродным братом Николаем Веретенниковым: «За всю ту зиму он ни разу ничего не принёс домой». В семье его часто из-за этого поддразнивали. Однажды вечером следующей весной он вернулся в дом и сказал, что видел зайца. Сёстры ответили: «Наверное, того самого, за которым ты гоняешься весь сезон». Он натянуто рассмеялся. Весной и летом он рыбачил.[8]

Он строго следил за тем, чтобы заниматься физическими упражнениями и гимнастикой. Тем летом под липами в саду он установил перекладину на двух столбах и ежедневно проделывал на ней тяжёлый комплекс упражнений. Однажды он с сильнейшим волнением окликнул брата Дмитрия: «Смотри, мне наконец удалось удержать равновесие», — и показал, как умеет делать шпагат верхом на перекладине.

Осенью им разрешили вернуться в Казань. Владимир сразу же вступил в другой кружок радикального подполья, на этот раз в марксистскую организацию, слабо связанную с недавно образованной группой «Освобождение труда», большинство участников которой жило в эмиграции в разных европейских городах. Именно тогда он впервые прочёл Маркса. В различных советских житийных биографиях утверждалось, что в марксизм он обратился в одночасье и что провозглашённая им «любовь» была coup de foudre: «Помню, как будто это было вчера: он сидел у кухонной печки, вокруг него валялись газеты, и, говоря о новых горизонтах, открытых идеями Маркса, он с силой рубил воздух руками», — вспоминала его сестра Мария об этом якобы дамасском озарении. Но она романтизировала. Правда же состояла в том, что он пришёл к убеждению постепенно и был завоёван как умом, так и сердцем, хотя его эмоциональная привязанность к Марксу всегда была сильнее всего.[9]

Мать Владимира встревожилась, что если ничего не предпринять, он пойдёт по пути Саши и семью постигнет новая трагедия. Она стала искать для него иную карьеру, нежели карьера

---

[7] Многие революционеры, ставившие своей целью разрушение старого мира, могли с лирической тоской вспоминать семейные усадьбы. Вера Засулич провела детство и юность в идиллическом родовом имении в Бяколове. Незадолго до смерти она писала: «Я не думала, что буду помнить Бяколово всю жизнь, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкафа в проходной комнате, что долгие, долгие годы мне будут сниться силуэты старых деревьев, которые я видела с балкона».

[8] Ленин о помещичьих усадьбах: Valentinov, с. 148. Об охоте: Anna Ulyanova-Elizarova, с. 47.

[9] Ещё одной книгой, прошедшей через царскую цензуру, запретившую такие «опасные» книги, как «Этика» Спинозы, «Левиафан» Гоббса, «Философия истории» Вольтера и «История европейской морали» Локка, был 674-страничный том Маркса по политической экономии — «Капитал». Один из двух цензоров, просматривавших его в марте 1872 года, заключил: «Можно с уверенностью сказать, что в России его прочтут очень немногие, а поймут и того меньше». Другой заявил, что это «строго научное сочинение», не имеющее отношения к России, потому что речь в нём главным образом идёт о промышленной системе Британии, неприменимой к России, где, дескать, не существует «капиталистической эксплуатации». Русский язык стал первым иностранным языком, на который был переведён «Капитал», — через пять лет после выхода книги на немецком. Среди интеллигентов, жадно искавших дело, в которое можно было бы уверовать, книга быстро стала популярной. Прочёл ли её кто-нибудь целиком — сомнительно, но роль, которую она сыграла в разрушении власти Романовых, несомненна. Умные старые цензоры — и умные цари.

подпольного революционера, которая не сулила никакого блестящего дохода, зато обещала тюрьму или виселицу.[10]

Мария Александровна купила деревенское имение и попыталась сделать из Владимира сельского помещика. На деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске, и на свою долю в кокушкинском имении, которое было продано, она нашла прекрасный дом возле деревни Алакаевка, в пятидесяти километрах от Самары, с примерно 160 акрами первоклассной пахотной земли. Она купила его у сибирского золотопромышленного миллионера Константина Сибирякова, интересного человека с прогрессивными общественными взглядами, который хотел внедрить в России те современные методы земледелия, что были обычны в Западной Европе. Ему принадлежало несколько имений, и на каждом он терял деньги, пока наконец не решил продать их — людям с либеральной репутацией, таким как Ульяновы. Со стороны Марии Александровны сделку вёл Марк Елизаров, чиновник по страхованию морских перевозок, поклонник (а впоследствии муж) её старшей дочери Анны.

Владимиру очень понравился этот изящный деревянный дом с террасами и верандами с трёх сторон, и он был в восторге от его великолепного расположения. Имение было окружено лесами и холмами, по которым можно было гулять, а в пруду водилась рыба. Хотя в сельском хозяйстве он ничего не понимал, он добросовестно согласился попробовать заняться хозяйством, но дело у него не пошло — как не пошло у него и с крестьянами, которых, как он позднее признавался, он никогда не понимал. «Мать хотела, чтобы я занялся хозяйством. Я пытался, но ничего не вышло. Дела шли плохо. Отношения мои с мужиками стали ненормальными», — сказал он позднее. Это единственное известное его высказывание об опыте в Алакаевке, хотя длился он три посевных сезона. О земледелии он узнал мало и не проявлял к нему интереса. В роли барина-помещика он чувствовал себя неловко. Крестьяне обманывали его и его мать, и имение несло значительные убытки. Скот постоянно «исчезал», в том числе несколько коров и лошадь, которых украли арендаторы. Весь этот опыт оказался неудачей.[1112]

Но лето он проводил под липами, жадно читая. Он перевёл на русский язык «Коммунистический манифест». Он читал труды всё большего числа марксистских авторов. Время от времени он ездил в Самару и посещал подпольные революционные собрания. Он совершал в одиночку поездки вниз по Волге, требовавшие немалой физической выносливости. Он спускался по течению на лодке шестьдесят километров, затем волоком перетаскивал её целую милю по суше к параллельной реке Усе и возвращался на лодке к месту напротив того, откуда начал путь. Он проделывал это путешествие несколько раз.

Поскольку с хозяйством ничего не выходило, мать предложила другой путь. Она убедила его изучать право и получить звание присяжного поверенного. Ему было запрещено учиться в университете, но дозволено сдавать экзамены экстерном в Петербургском университете, и для этого ему позволили поехать в столицу. Он втиснул четырёхлетний курс в двенадцать месяцев

---

[10] Ленин о знакомстве с Марксом: Maria Ulyanova, с. 43

[11] Хотя у этой сельской интерлюдии была и крупная положительная сторона — то, что он сам называл «этим захолустным существованием». Вскоре после того как Ульяновы покинули Казань в 1889 году, подпольный марксистский кружок, в котором он участвовал, был разгромлен. Большинство его участников арестовали и приговорили к пятилетним срокам тюрьмы и ссылки в Сибирь. «Для меня это оказалось счастливой случайностью, и я от этого выиграл, — говорил он много лет спустя. — Останься я тогда в Казани, меня, несомненно, арестовали бы». Имение было сдано в аренду зажиточному крестьянину по фамилии Крушвиц — из тех, кого большевики позднее назовут «кулаками» и будут массово уничтожать как класс капиталистических эксплуататоров. В течение нескольких лет Владимир жил на доходы от аренды Алакаевки, пока Мария Александровна не продала имение в начале 1900-х.

[12] О занятиях сельским хозяйством: Nadezhda Krupskaya, *Воспоминания о Ленине*, Нью-Йорк, 1970, с. 67–68.

и окончил первым на курсе, получив высшие оценки по всем четырнадцати предметам. Это было поразительное интеллектуальное достижение — и один из тех русских парадоксов, которым он потом любил наслаждаться: он получил самый блестящий юридический диплом в стране в то самое время, когда полицейские органы держали его под надзором как потенциального преступника-подрывника.[13]

[13] Юридические экзамены Ленина: Ulam, с. 89

ГЛАВА 6. Владимир Ильич - адвокат

«Немногие понятия столь отвратительны, как понятие о… буржуазной справедливости». Ленин — Николаю Валентинову, 1904

Карьера Владимира в юриспруденции была далеко не блестящей, не в последнюю очередь потому, что он ненавидел адвокатов: «Адвоката надо держать в ежовых рукавицах и в состоянии осады, ибо эта интеллигентская сволочь часто играет грязно», — сказал он однажды товарищу, ожидавшему суда.

Он не мог начать практику сразу после получения квалификации. Ему нужно было получить от Министерства внутренних дел свидетельство о благонадёжности и добропорядочности, которое он в конце концов и получил в конце 1891 года. Охранка внимательно следила за ним в Самаре, но не могла установить, что он сделал что-либо предосудительное. Он нашёл место помощника присяжного поверенного у дружелюбного и либерально настроенного адвоката Андрея Хардина, с которым ещё тремя годами ранее, когда жил в Казани, играл в шахматы по переписке.

Они хорошо ладили, но Владимир зарабатывал очень мало и почти целиком содержался матерью. В Самарском окружном суде он участвовал в четырнадцати мелких делах и проиграл все, кроме одного. Среди них были защита шайки, укравшей у крестьянина в той же деревне 300 рублей; группы батраков, пытавшихся похитить зерно, но пойманных с поличным; и одного крестьянина, совершившего четыре мелкие кражи. Одно дело, возможно, доставило ему некоторое идейное удовлетворение. Он защищал портного, обвинённого в богохульстве, который, согласно обвинительному акту, «поносил Пресвятую Деву, Богоматерь, Святую Троицу, а также державного Государя Императора и наследника его престола», говоря, что император плохо ведёт свои дела. Портной спросил его прямо перед судом, есть ли у него хоть какой-нибудь шанс оправдаться. «О, нет, боюсь, что никакого». Портного приговорили к году тюрьмы.

Дело, которое он выиграл, было личным спором, который он вёл с присущими ему рвением и односторонней решимостью, почти доходившими до навязчивости. Это была тяжба с богатым сызранским купцом С. Арефьевым о праве переправы через Волгу. Летом 1891 года он и его будущий шурин Марк Елизаров наняли лодочника, чтобы тот перевёз их через реку в одном из пунктов переправы недалеко от Самары. Купцу принадлежал пароход, и он претендовал на монополию на переправочные маршруты. Он послал свой пароход преградить им путь и силой забрать обоих молодых людей на своё судно. Владимир подал жалобу: «То, что Арефьев арендовал переправу, значения не имеет. Это его дело, а не наше, и это не даёт ему права беззаконничать на Волге и силой задерживать людей».

Он подал на Арефьева официальную жалобу властям, и дело тянулось месяцами, отнимая массу времени и денег. Сызрань находилась в восьмидесяти километрах от Самары, и Владимир дважды ездил туда на судебные заседания. Большинство молодых людей, «особенно русских, бросили бы всё это дело из лени и инертности», — говорил его брат Дмитрий. Но он не отступал. Мать пыталась убедить его успокоиться. «Оставь ты этого купца, — говорила она ему. — Опять отложат дело, и ты только напрасно туда съездишь… Имей в виду, что они… [власти] против тебя». Её тревожило, что он слишком напряжённо относится ко всему и почти не знает меры.

Тем не менее на третье заседание он сел на ранний утренний поезд и прибыл как раз вовремя — к своему торжеству. К изумлению почти всех, Арефьева, несмотря на его влияние как

состоятельного местного сановника, признали виновным и приговорили к месяцу тюрьмы. Это была вершина карьеры Ульянова как адвоката.[1]

Единственная политическая кампания, в которой он участвовал в самарские годы, многое показала в его методах: его жёсткость, самоуверенность, склонность пользоваться холодной логикой почти до жестокости и стратегическое видение. Для Ульянова цель всегда оправдывала средства — и он не выпускал эту цель из виду. Он был готов быть непопулярным.

Голод поразил Поволжье в 1891–1892 годах, хотя это был один из лучших сельскохозяйственных районов России. В течение веков в этом крае случались периодические неурожаи и голод, но это бедствие стало самым страшным за многие поколения. Более 400 000 человек, почти все крестьяне, умерли от голода либо стали жертвами тифа и холеры. Значительная часть среднего класса, даже та, что в целом поддерживала царский режим, возлагала вину на правительственную некомпетентность. О голоде широко писала иностранная пресса, и это впервые подвергло самодержавие международному вниманию в таком масштабе. Репутация России была серьёзно подорвана.

Центральное правительство почти ничего не сделало, чтобы помочь миллионам голодающих крестьян, которые стекались в города и просили еды. Тела оставались непогребёнными у обочин дорог, больницы не справлялись. Писатель Лев Толстой развернул кампанию помощи голодающим; его поддержали и другие литераторы, в том числе Антон Чехов, врач по образованию, открывавший столовые и работавший добровольцем в пунктах первой помощи. Были собраны большие суммы денег, но всё равно снабжение продовольствием оставалось совершенно недостаточным.

Большинство радикалов и либералов видели в голоде ещё один пример жалкого краха режима, чья бюрократия была слишком медлительна и неэффективна, чтобы спасти население России от вымирания, — и слишком бессердечна, чтобы заботиться о числе умерших. Владимир Ульянов, хотя всю жизнь прожил рядом с районами, наиболее пострадавшими от голода, не желал иметь ничего общего ни с помощью, ни с благотворительной деятельностью ради спасения умирающих крестьян. Для него важнее всего было то, что голод ослабит самодержавие и может приблизить дело революции. Тысячи людей, умерших от голода, были для него просто несчастными жертвами войны против царского угнетения. Он утверждал, что капитализм по самому своему существу причиняет вред большинству людей и убивает многих. Голод был лишь простым доказательством этого.

Он оставался почти одиноким голосом среди революционеров. Даже его семья едва могла поверить его бесстрастному, на вид жестокому отношению. Его старшая сестра Анна собирала деньги на продовольствие и навещала больных, раздавая лекарства. Другая сестра, Мария, была потрясена его бессердечием. Одним из очень немногих случаев, когда она позволила себе покритиковать его, был абзац, в котором она сравнила Владимира со старшим братом. «Владимир Ильич, как мне кажется, был иной натуры, чем Александр Ильич. Владимир… не обладал качеством самопожертвования, хотя и посвятил всю свою жизнь безраздельно делу рабочего класса».

Он только пожал бы плечами в ответ на обвинения в бесчеловечности, ссылаясь на непреклонную логику и холодное толкование марксизма, которого сам Маркс никогда бы не допустил. «Он вёл систематическую и открытую пропаганду против комитетов помощи», — говорил позднее Троцкий. Ульянов был убеждён, что конец самодержавия приблизится, если обнажить перед всеми некомпетентность и жестокость правительства. «Сентиментально

[1] Судебное дело Ленина против Арефьева: Service, стр. 91–92, и Anna Ulyanova-Elizarova, стр. 49.

думать, будто море нужды можно вычерпать чайной ложкой филантропии, — говорил он. — Голод… сыграл роль прогрессивного фактора».[2]

В августе 1893 года Владимир переехал в Петербург. По рекомендации своего сызранского патрона Хардина он устроился к успешному адвокату Михаилу Волькенштейну, человеку прямому, щедрому и прогрессивных взглядов, который не слишком обременял работой своего молодого помощника из провинции. Владимир никогда не выступал в суде в столице, хотя изредка давал советы клиентам по судебным делам. Его энергия уходила на то, чтобы сделать себе имя в революционном движении — как писателя, журналиста в малоизвестных подпольных изданиях, оратора на тайных собраниях и лектора, — на той стезе, по которой ему предстояло идти следующие двадцать лет.

Он легко освоился в городе, как писал матери: «Комната у меня хорошая, или, по крайней мере, так кажется; других жильцов нет, у хозяйки небольшая семья; дверь между моей комнатой и их гостиной оклеена бумагой, так что звуки слышны слабо. Комната чистая и светлая. Вход хороший. Так как… отсюда недалеко до центра (всего каких-нибудь пятнадцать минут до библиотеки), я вполне доволен».

Но поначалу он продвигался медленно. Он был провинциалом среди более изощрённой радикальной среды Петербурга. «Внешность его… тогда была проста и скромна, — вспоминал о первой встрече с ним Глеб Кржижановский, старый товарищ, который после 1917 года займёт высокие посты в советском государстве. — Невысокого роста, он легко мог бы остаться незамеченным в любом фабричном районе. О его внешности можно было сказать лишь то, что у него было приятное смуглое лицо с некоторым азиатским оттенком. В грубом, деревенском пальто он с тем же успехом мог бы сойти в толпе за волжского крестьянина». Многие другие тоже будут отмечать его «монгольские» черты, высокие скулы; «а глаза были необычные, пронзительные… очень-очень тёмно-карие». Всю жизнь у него была привычка щуриться, когда он пытался сосредоточиться на чём-либо или на ком-либо, — следствие близорукости, которую в детстве так и не распознали. «Глаза у него узкие, и быстрые взгляды из-под бровей придают ему порой косоватость, а может быть, и выражение хитрости… руки у него короткие и некрасивые», — думал писатель Александр Куприн. «Глаза у него были тёмные, маленькие и очень непривлекательные», — по словам Валентинова. «Лицо у него было очень подвижное, способное выражать целую гамму сменяющихся состояний: настороженное внимание, задумчивость, насмешку, язвительное презрение, непроницаемую холодность, крайний гнев. В последнем настроении его глаза, грубо говоря, становились похожи на глаза разъярённого дикого кабана».[3]

Он начал лысеть рано, как и его отец, и к двадцати трём годам большая часть его рыжеватых волос уже исчезла. Однажды, когда он ещё жил в Сызрани, по совету сестры Марии он попробовал шарлатанское средство, пытаясь вернуть волосы. Он не особенно удивился, когда оно не помогло. Александр Потресов, много лет близкий ему человек, но, как и большинство, впоследствии отдалившийся из-за политики, встретил его в конце 1894 года на собрании в петербургском пригороде, в Охтинском районе. «Владимир Ильич был молод только по своим документам. Лицом к лицу его можно было принять по меньшей мере за человека лет тридцати пяти или сорока. Лицо увядшее, голова почти лысая, если не считать редких волос у висков, редкая рыжеватая бородка, глаза, смотревшие на тебя сбоку, лукаво, голос не молодой,

---

[2] Голод в Поволжье: Maria Ulyanova, стр. 57, и Leon Trotsky, *On Lenin: Notes Towards a Biography*, London, 1971, стр. 86.

[3] Описания Ленина: Valentinov, стр. 46; Alexander Potresov, *Posmertny sbornik proizvedenia* (ред. B. Nikolayevsy), Paris, 1937; а также цит. по Clark, стр. 73. Alexander Kuprin: цит. по Fischer, стр. 85.

грубоватый. Типичный купец из любой севернорусской губернии — в нём не было ничего от радикального интеллигента… Ни следа также от служилой или дворянской семьи, из которой он происходил… Недаром тогда… этого молодого по годам человека называли “стариком”, и мы часто шутили, что даже ребёнком он, должно быть, уже был лысым и выглядел старым».

Ничего богемного в нём не было. Щёголем он не был никогда, но обычно одевался довольно опрятно, при весьма скромных средствах. Его костюмы всегда были выглажены, ботинки вычищены. Если на рубашке отрывалась пуговица, он сам пришивал новую. Он никогда не был неряшлив или беспечен во внешности, как предполагал архетип русского революционера со страниц, скажем, Конрада. Он был чрезвычайно собран и аккуратен, почти до одержимости, — прилагательное «анальный» в том смысле, в каком его часто употребляют сегодня, словно было придумано для него. Каждое утро он вытирал пыль со стола и книжных полок, прежде чем сесть за работу, и следил, чтобы каждый карандаш был остро заточен и лежал на своём месте. Этого распорядка он строго придерживался всегда: будь то дешёвая квартира в Петербурге, пансион в провинциальном городе Западной Европы или, в последующие годы, кабинет правителя огромной империи в Кремле.[4]

Что люди замечали сразу, с первых дней его как революционного «агитатора», — это одержимого своей целью человека железной дисциплины и непоколебимой уверенности в собственной правоте: «он пылал силой, не совсем обаянием, не харизмой, но интеллектуальной энергией… он лично отождествлял себя с делом таким образом, что это притягивало», — говорил Пётр Струве, некогда социалист и соратник Ульянова, а затем, как и многие бывшие друзья, его враг.

Ульянов стал беглым писателем, который как журналист научился быстро и деловито производить текст. Он никогда не был блестящим, искромётным мастером фразы, каким в лучшие свои минуты были Маркс или Троцкий. Но в удачный день он писал ясно и убедительно и умел с большим эффектом прибегать к иронии. Он пользовался не рапирой, а тараном, однако в своих лучших работах умеет быть по-настоящему убедительным — силой рассуждения, логики и интеллектуального напора, хотя нередко и исходя из принципиально ложной посылки. За свою жизнь он написал и опубликовал более десяти миллионов слов, не считая тысяч писем к семье, друзьям и товарищам. Это поразительный объём, однако начинал он медленно. Его ранние статьи отклонялись как слишком скучные и тяжеловесные — даже для теоретического журнала философской мысли. Первой его попыткой была большая статья под названием «Новые экономические явления в крестьянской жизни» — марксистское истолкование текущей статистики по сельскохозяйственному производству в России. Он послал её в либеральный журнал «Русская мысль», но она была отвергнута краткой запиской, в которой говорилось, что статья не соответствует их строгим стандартам.[5]

Его первым опубликованным сочинением, написанным в более резком публицистическом стиле, было «Что такое “друзья народа” », яростная атака на народников и, что любопытно, на использование террора как средства низвержения самодержавия — того самого террора, за попытку которого был повешен Саша. Он больше не верил в отдельные акты насилия — не по нравственным соображениям, а из практических: «Мы не должны совершенно отвергать террор как метод борьбы, но помогает ли он достичь желаемых целей или, напротив, отвлекает от

---

[4] Характер Ленина: Potresov, стр. 63, и цит. по Clark, стр. 72.

[5] Почти ничего из того, что Владимир писал до Октябрьской революции, не выходило под его собственным именем. Но после его смерти некоторые из ранних его работ всё же были опубликованы. Нетрудно понять, почему их отвергали: ему понадобилось время, чтобы выработать собственный голос и читаемый стиль. Прирождённым писателем он не был.

них?… Индивидуальные террористические акты производят лишь кратковременное впечатление и в конечном итоге ведут к апатии… и к пассивному ожиданию новой “сенсации”».[6]

Он получил доступ в ведущий радикальный «салон» Петербурга, где бывали некоторые из самых острых левых умов России, в доме Степана Радченко. Если как журналист он добивался успеха не сразу, то как остроумный и резкий полемист, умеющий с судебной точностью сокрушить доводы противника, он быстро приобрёл репутацию. Это был один из его великих даров. С ним трудно было спорить, как признавали и друзья, и критики. Это признавала и Охранка. И он сам, и революционная группа, к которой он примкнул, — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», — находились под наблюдением.

В одном из первых охранных донесений, где упоминается его имя, в январе 1894 года Владимир фигурирует как оратор на подпольных дебатах в Петербурге, где он излагал марксистскую позицию против народника. Осведомитель Охранки, присутствовавший на заседании, был впечатлён. «Защиту марксизма взял на себя некий Ульянов (якобы брат повешенного Ульянова), который затем вёл защиту с полным владением предметом».[7]

К этому моменту своей жизни он почти не имел личного соприкосновения с рабочим классом, во имя которого собирался вести революцию. Для большинства марксистов из среднего сословия, собиравшихся в петербургских гостиных, «пролетариат» был понятием теоретическим. Но, в отличие от многих других левых интеллигентов, он принялся знакомиться с рабочими и стараться понять их образ жизни, чтобы найти голос, которым можно было бы говорить с ними. Он вызвался читать лекции новообучившимся грамоте рабочим, интересовавшимся политикой. Проводить такие занятия нельзя было ни в школах, ни на фабриках, поэтому лекции часто устраивались в домах состоятельных людей, сочувствовавших радикальным идеям. Один из слушателей, Иван Яковлев, вспоминал, как по воскресеньям пешком добирался в центр города из бедного рабочего района, где жил и работал на фабрике. Владимир преподавал под псевдонимом Фёдор Петрович.

Поначалу он просто читал горстке рабочих-учеников «Капитал» Маркса, что ужасно раздражало Яковлева: «Я и сам мог бы это прочитать». Но со временем Владимир, ставший впоследствии знаменитым лектором, научился «объяснять социалистические идеи простыми словами, связанными с русской жизнью». Часами после лекции он разговаривал со слушателями об их собственном опыте, чтобы — хотя бы косвенно — узнать о реальных условиях жизни рабочих.

Однажды в воскресенье Яковлев не пришёл, и на следующей неделе Владимир рассердился на него. Ученик объяснил, что подрался с полицейским и провёл три дня в тюрьме. Владимир сказал ему, что он юрист и, попроси Яковлев, он бы его защищал. «А это что-нибудь изменило бы?» — спросил Яковлев. «Нет. Результат был бы тот же самый — но зато мы получили бы удовольствие обругать этих мерзавцев».[8]

Он уже начинал переходить от слов к делу. Когда ткачи гигантской фабрики Торнтона на окраине Петербурга объявили забастовку, требуя повышения платы и улучшения условий, — в одном из первых крупных всплесков промышленного недовольства в истории России, — Владимир встретился с руководителями стачки и написал от их имени сильную агитационную

---

[6] Тем не менее отдельное убийство могло вызвать у него восторг. Когда несколькими годами позже он прочёл об убийстве министра внутренних дел Дмитрия Сипягина двадцатиоднолетним студентом-социалистом-революционером Степаном Балмашёвым, он спокойно присвистнул и воскликнул: «Чистая работа»

[7] Lenin, *What the Friends of the People Are*, Собр.соч., т. 2, стр. 47–57.

[8] Лекции Ленина для рабочих Петербурга: Clark, стр. 82–84.

листовку. Когда он стал собирать деньги на поддержку семей многих десятков арестованных рабочих, власти начали смотреть на него как на более серьёзного возмутителя спокойствия. Он попросил разрешения на продолжительную поездку в Западную Европу — якобы как турист и для лечения на водах. Подобно сёстрам и младшему брату, он всю жизнь страдал желудочными и пищеварительными расстройствами. Настоящей причиной поездки было желание встретиться с русскими радикалами, жившими в эмиграции, в том числе с некоторыми крупными фигурами революционного движения. Власти немедленно дали согласие, охотно желая избавиться от него.

ГЛАВА 7. Надя - марксистка. Ухаживание

«Тяжела твоя доля, женская доля.
Тяжелее едва ли сыщется».
Николай Некрасов (1821–1877)

Во второй половине дня 13 февраля 1894 года Владимир присутствовал на нелегальном марксистском собрании, замаскированном под масленичную блинную вечеринку, в петербургском доме инженера Роберта Классона, известного сторонника радикальных дел. Большинство слушателей одобрительно аплодировали после того, как приглашённый докладчик — учёный, специализировавшийся на новых технологических методах в промышленности, — прочёл вслух длинный, многословный доклад собственного сочинения «О рынках». Последовавшее обсуждение было вежливым, бесспорным и недолгим — пока, как это часто бывало, Владимир резко не обрушился на этот доклад и не указал, с мелочной подробностью, в чём именно его автор ошибся и насколько ограниченно понимал предмет. Когда собрание закончилось и группа революционеров уже пила чай, Классон представил Владимира скромно одетой, застенчивой на вид двадцатичетырёхлетней учительнице из числа своих знакомых: Надежде Константиновне Крупской. Она знала, кто он такой, — «марксист с Волги, который уже начинал делать себе имя в Питере»[1], — и очень хотела с ним познакомиться. Он не знал о ней ничего.

Это не была любовь с первого взгляда. Её оттолкнули его самоуверенные манеры, язвительный язык и сарказм. Разговор зашёл о важной деятельности недавно созданного Комитета грамотности, и она сказала ему, что горячо поддерживает его усилия по обучению рабочих детей чтению. Владимир рассмеялся — «мне показалось, это был очень резкий, даже жестокий смех», писала она позднее, — и сказал: «Что ж. Если кто-то хочет спасти отечество через Комитет грамотности, мы не станем ему мешать». Он ясно дал понять, что не считает это тем, чем должны заниматься серьёзные радикальные социалисты, желающие свергнуть самодержавие.

Она обиделась и занервничала: «Мне казалось, людям может становиться не по себе под его пристальным взглядом». И всё же он проводил её домой вдоль Невы, и рядом с ним она постепенно почувствовала себя свободнее. Она с воодушевлением рассказывала о своей работе учительницей в воскресных школах, открытых для рабочих мужчин в бедных кварталах Петербурга. Он говорил о неизбежности грядущей мировой революции, предсказанной Марксом, и о той роли, которую сам хотел в ней сыграть. Необычно для него — ведь он редко касался этой темы вне своего близкого круга, — он рассказал ей о брате и о своей горькой «ярости против режима, способного убить страстного идеалиста, едва достигшего совершеннолетия». Они расстались у входа в дом, где жила Надя, уже в лучших отношениях. Но это не было началом бурного романа. Они не виделись снова около шести месяцев и ещё много раз будут разлучены, прежде чем начнётся их совместная работа революционеров.[2]

Ее звали Надежда.[3] Больше, чем любви, больше, чем денег, больше, чем карьеры или личной славы, больше, чем верного мужа, предлагающего домашнюю надёжность, Надежда Крупская жаждала социалистической революции в России и падения царского самодержавия. Она была столь же фанатично предана делу, как и Владимир. Когда биографы изображают Надю как

---

[1] Так город называло большинство его жителей; и после того как он был переименован в Петроград, это название держалось ещё долго, уже в советскую эпоху.

[2] Первая встреча Нади с Лениным: Крупская, *Воспоминания о Ленине*, стр. 42–44.

[3].Владимир означает «владыка мира».

тягловую лошадь или прислугу при человеке, который часто принимал её как должное, — и это верно, до известной степени, — упускается главное, что она сама всегда говорила о себе: она была страстной и глубоко убеждённой верующей в социализм. Она принесла много жертв ради своего требовательного мужа и ради революции на своей родине, но нет никаких свидетельств, что она когда-либо сожалела об этом. Многие мужчины говорят своим будущим жёнам, что изменят мир. Некоторые, возможно, даже сами в это верят. Но исполняют это очень немногие.

Надя родилась 26 февраля 1869 года и была на год старше Ульянова. Её отец, Константин Игнатьевич Крупский, был армейским офицером из мелкопоместного дворянства и делал успешную военную карьеру, пока его не отправили в Варшаву помогать усмирять русской властью оккупированную Польшу после того, как в конце 1860-х годов было подавлено восстание сторонников независимости. Но он разошёлся со своим начальством, которое считало, что он слишком мягок по отношению к польским мятежникам.[4]

Когда Наде, единственному ребёнку в семье, было пять лет, Крупского уволили из армии без пенсии за надзор над якобы допущенными финансовыми нарушениями в полковых счетах. Он подал апелляцию и выиграл дело, но не смог вернуть себе офицерский чин, да и впоследствии не мог удержаться ни на одной службе. Он пробовал управлять имением, недолгое время был фабричным инспектором, скитался по России в поисках постоянного заработка — почти безуспешно. Он умер, когда Наде было четырнадцать, оставив вдову и дочь в стеснённых обстоятельствах. Надя всю жизнь испытывала горькую личную обиду на режим за несправедливость, с которой обошлись с её отцом.

Её мать, Елизавета Васильевна Тистрова, тоже происходила из дворянской, но безземельной и почти нищей семьи. Она стала учительницей и немного зарабатывала как автор детских книг, но бывало, что и ей, и Наде приходилось брать жильцов в свои благопристойные, но обветшавшие комнаты в Петербурге, где они поселились, когда Наде исполнилось пятнадцать. Мать и дочь были чрезвычайно близки всю жизнь. Благочестивая православная христианка, Елизавета Васильевна совершенно не интересовалась политикой и была далека от революционности, хотя искренне верила в необходимость образования для женщин — убеждение, от которого Надя получила практическую пользу.

Хотя Надя отнюдь не была блестящей ученицей, она отличалась высоким умом, прилежанием и быстро схватывала. Школьная подруга по женской гимназии, где они вместе учились, Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминала её как застенчивую, тихую девушку, которая не кокетничала с мальчиками, вела себя благопристойно, размышляла неторопливо и уже в раннем возрасте выработала свои убеждения. «Раньше любой из нас, твёрже любой из нас она определила свои взгляды и избрала путь. Она принадлежала к тем, кто навсегда отдаётся однажды овладевшей ими мысли или чувству». Она «горела идеализмом», говорила Вильямс.[5]

Получив право преподавать, Надя в 1891 году устроилась работать в вечернюю школу, открытую филантропически настроенными фабрикантами для своих рабочих. Школа находилась в жалком, нищем рабочем районе Петербурга, и именно там Надя впервые увидела подлинную

---

[4] Советские биографы утверждали, что Константин Крупский был революционером и проявлял социалистическую солидарность с угнетёнными поляками Российской империи. Но Надя всегда это отрицала. По меркам царской армии того времени он был умеренным либералом, но, разумеется, не социалистом. Он помогал тем немногим русским, которые хотели открыть несколько школ для польских детей, и именно это навлекло на него неприятности. Но, по словам его дочери, никаких революционных симпатий он никогда не высказывал.

[5] Семья Нади и её происхождение: там же, стр. 10–18; Robert McNeal, *Bride of the Revolution: Krupskaya and Lenin*, London, 1973, стр. 13–19; а также Mary Hamilton-Dann, *Vladimir and Nadya*, New York, 1998.

жизнь городской бедноты в России. Она учила взрослых начальной грамоте, а также истории, арифметике и русской литературе. Ей нравилась эта работа: «Это был мой университет», — говорила она в поздние годы. Именно тогда она вошла в политическое подполье — серьёзная, страстно преданная молодая женщина, ищущая великое дело. Есть нечто трогательно наивное и вместе с тем леденящее в её признании, что сначала Маркс давался ей с трудом, но когда она дошла до строк в первом томе «Капитала»: «Бьёт час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют», — её «сердце так билось, что это можно было услышать». Эту историю она потом рассказывала много раз, и нет причин ей не верить. Её взгляд был прост и никогда не менялся: капиталисты были, попросту говоря, «врагом». При всём своём романтическом идеализме выражение «враг» она употребляла почти так же часто, как Владимир.[6]

Большинство мужчин-биографов её мужа уничижительно отзываются о её внешности и описывают её в лучшем случае как невзрачную, хотя надо сказать, что немногие были так злы, как её будущая золовка Анна, однажды заявившая: «она похожа на селёдку».[7] Фотографии Нади в молодости рассказывают иную историю. «Физически многое было в её пользу», — заметил один (мужчина) русский историк. «Будь она аристократкой, княжной, замешанной в изящно-скандальных эскападах, писатели, вероятно, не назвали бы её редкой красавицей, но могли бы упомянуть её выгнутые брови, тонкие высокие скулы и твёрдый подбородок — всё это придавало ей оттенок женственного вызова. Они могли бы отметить её немного слишком полные губы, сочтя их чувственными, и её напряжённый взгляд, который виден на фотографиях того времени [включая полицейскую карточку]… Но она хотела выглядеть полной противоположностью легкомысленной княжне, сохраняя при этом облик женщины из приличного среднего сословия. В те годы она неизменно носила тёмное платье с длинными рукавами, почти безо всякого силуэта, если не считать чуть присборенных плеч и верхней части рукавов, и воротник, почти полностью закрывавший шею. Её густые волосы, разделённые чуть не по центру, были гладко зачёсаны назад — аккуратно и строго. Вместо того чтобы казаться тусклой… можно с полным основанием предположить, что её консервативный стиль был именно тем, что отвечало вкусу [Владимира]. Перед ним была молодая женщина, чьё явное презрение к легкомысленной показности свидетельствовало о преданности вещам куда более важным».

Она мало интересовалась мужчинами и уж тем более тем, что столь зыбко, как флирт или любовная связь. В двадцать два года, вскоре после того как начала работать в школе, она стала довольно часто видеться с молодым человеком — радикально настроенным инженером из того же нелегального кружка, в который вступила и сама. Но он внезапно покинул группу, сказав, что опасается степени наблюдения со стороны охранки. По крайней мере однажды она пошла с ним вдвоём в театр, что вызвало ссору с одной из её товарищек. Лидия Книпович, ещё более суровая и строгая, чем она сама, «налетела на меня», когда узнала об этой встрече, вспоминала Надя много лет спустя. Она сказала: «Когда вы работаете вместе, уже достаточно глупо идти с мужчиной в театр». Надя резко ответила: «Какое вам до этого дело?» Но потом Надя стала ещё более аскетичной и убедила окружающих, что её не интересуют «буржуазные личные отношения с мужчинами».

Она была женщиной чрезвычайно практичной. Она устроилась ещё на одну работу — переписчицей на полставки в государственное железнодорожное управление, где ценным преимуществом был бесплатный проезд, позволявший ей удобно добираться до нелегальных

---

[6] Идеализм Нади: цит. по Fischer, стр. 95

[7] В поздние годы европейской эмиграции одним из подпольных псевдонимов Нади было «Рыба».

революционных собраний. Работа была лёгкая, механическая, и она рекомендовала её другим людям в том же положении, поскольку та оставляла достаточно времени, чтобы «работать и на дело». Она писала одной товарищке: «Если нужны деньги, можно устроиться на какую-нибудь железную дорогу. Там по крайней мере можно отработать нужное число часов и ни о чём не заботиться. Можно быть свободной, как птица… вся эта педагогика, медицина и прочее поглощают людей больше, чем следует, во вред делу».[8]

Теоретически мужчины и женщины в марксистских кружках и в народнических ячейках считались равными. Но в действительности всё было совсем иначе. Женщинам позволялось — даже поощрялось — распространять пропагандистские листовки, переправлять самиздатскую литературу, учить рабочих или крестьян читать и писать, открывать столовые для бедных, стрелять в провинциальных губернаторов и генералов и благородно умирать на эшафоте. Но иметь идеи им не полагалось. Область написания статей в учёных журналах или книг по идеологии — широкая выработка политического курса — считалась исключительно мужским владением. Надя слышала историю о «скандале», который в 1870 году вызвала одна из самых ранних и самых умных «радикальных» русских женщин, Екатерина Брешко-Брешковская, поставившая мужчин в своём «кружке» в неловкое положение тем, что, как она сама рассказывала, посмела «высказаться против мнения товарища-мужчины». Даже самые затхлые сугубо мужские клубы и общества петербургского «света» не могли бы поднять более шовинистического шума.

Надя более всего хотела быть полезной и, как она говорила, чувствовала, что может принести делу великую пользу рядом с Владимиром Ульяновым, который «никогда не мог бы полюбить женщину, с мнениями которой он полностью не согласен и которая не является товарищем в его работе». Они встретились вновь осенью 1894 года в подпольном кружке, где он читал свою антинародническую работу «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов», и с тех пор начали видеться регулярно. Он часто заходил к ней на квартиру, под предлогом, что интересуется фабричными рабочими в её школе, которую иногда посещал вместе с ней. Надя знала о рабочем классе гораздо больше, чем он, и он слушал её, принимая её всерьёз.

Ещё одно, что Надя знала о Владимире, — это то, что он был «свободен». До приезда в Петербург годом ранее у него не было никаких романтических связей с женщинами, даже, насколько можно судить, невинных подростковых увлечений. Но до знакомства с Надей он уже успел влюбиться в одну из её близких подруг и теперь переживал сердечную неудачу. Аполлинария Якубова была высокой, рыжеволосой и, по словам одной из товарищек по революционной группе, к которой принадлежали и она, и Надя, «настоящей красавицей». Как и Надя, она работала учительницей в фабричной воскресной школе для рабочих и была убеждённой марксисткой. Владимир сделал ей предложение, но она отвергла его, предпочтя Константина Тахтарева, дипломированного врача, который позднее станет редактором социалистической газеты «Рабочая мысль». Они остались друзьями, и их пути ещё несколько раз пересекутся в будущем, когда обе пары будут жить в европейской эмиграции.[9]

Это было названо «весьма марксистским ухаживанием», но протекало оно не гладко: политика и тайная полиция будут вмешиваться, разлучая влюблённых и воздвигая препятствия на пути этого революционного романа.

---

[8] Работа железнодорожной служащей: Fischer, стр. 73.

[9] Дружба Нади с Якубовой: McNeal, стр. 89.

ГЛАВА 8. Язык, истина и логика

«В политике существует лишь один принцип и одна истина: то, что выгодно моему противнику, вредит мне, и наоборот».
Ленин — Анжелике Балабановой, 1904 г.

Стиль спора и полемики Ульянова сформировался рано и в последующие два десятилетия существенно не изменился. Он стал искуснее в том, чтобы одерживать верх, увереннее и виртуознее. Но почти всегда он оставался властным, оскорбительным, воинственным и нередко попросту жестоким. Он вколачивал противников в подчинение преднамеренным употреблением языка насилия, о котором сам признавал, что он «рассчитан на то, чтобы вызывать ненависть, отвращение, презрение… не убеждать, не исправлять ошибок противника, а уничтожить его, стереть его и его организацию с лица земли».[1]

С первых же дней в диссидентских салонах Петербурга он выработал метод, который сразу отличил его от других радикальных агитаторов; почти в одиночку он изменил язык революционной Левой, которая пошла по грубому и агрессивному образцу, заданному им. Для целых поколений во всём коммунистическом мире резкая брань и оскорбления стали характерной чертой политических споров между так называемыми товарищами — не говоря уже об идейных противниках. Обмен оскорблениями оправдывался тем, что именно так вёл себя Ленин. Это был советский способ, вдохновлённый основателем государства, создавшим столь многое в языке СССР, его образе жизни и политической «культуре». Его преемники ещё долго после сталинской эпохи перенимали этот метод издевательского унижения. Коммунистические партии повсюду, даже после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, усвоили, что имеет смысл бить не по мячу, а по человеку, — и как делать это с беспощадной эффективностью. Это был один из главных уроков ленинизма: «Жестокость полемики стала устоявшейся большевистской практикой, — как выразился один из его главных критиков, — а перевод слов в соответствующее действие, физическое насилие в дополнение к словесной брутальности, был не более чем логическим завершением этого процесса… Это была манера спора, особенно подходившая личности Владимира Ильича».

Отчасти яростное звучание этой полемики и впрямь было отражением пылкого и состязательного темперамента Владимира. Но во многом оно было рассчитанным и преднамеренным, тактикой, которая прекрасно служила ему в бесконечных внутрипартийных сварах внутри революционного движения, продолжавшихся всю его жизнь и после неё.

Те, кто с ним не соглашался, были «подлецами», «мещанами», «кретинами», «грязной сволочью», «шлюхами», «предателями класса», «старыми девами», «пустомелями» (одно из его любимых определений, часто встречающееся в его сочинениях) и «болванами». Нередко он прибегал и к непристойному — к языку, редко употреблявшемуся в петербургском обществе той эпохи: его противники неизменно были «дерьмом» или «пиздами». Он намеренно нагромождал брань. «Он не отвечает противнику, — вспоминал Моише Ольгин, давний товарищ, наблюдавший его в действии с первых дней, когда тот был ещё молодым революционером, пробивавшим себе дорогу в русской столице. — Он препарирует его. Он остёр, как лезвие бритвы. Его ум действует с поразительной точностью. Он замечает всякий изъян в ходе рассуждения. Он не соглашается — а затем выводит самые абсурдные заключения из посылок, для него неприемлемых. В то же время он язвителен. Он высмеивает противника. Он

[1] Ленин использует полемику, чтобы «стереть его и его организацию с лица земли»: ПСС, т. 6, с. 156.

бичует его. Он заставляет вас почувствовать, что его жертва — невежда, дурак, самонадеянное ничтожество. Вас захватывает сила его кажущейся логики. Вас подавляет его интеллектуальная страсть».[2]

Его противнику приходилось либо отрицать, что он «предательская сволочь» или «кусок дерьма», либо просто пожимать плечами и оставлять поле битвы открытым для Ульянова. Это был совершенно новый вид поединка внутри радикальной Левой, и для товарищей он явился потрясением. Русские интеллигенты по традиции были вежливы, и когда не соглашались — а случалось это часто, — делали это учтиво. В личных отношениях с отдельными людьми он почти всегда держался безупречно, с манерами и порядочностью, никогда не забывая, как хорошо был воспитан. Но в политике, в прокуренной конспиративной комнате собраний, он был беспощаден. Многие — менее страстные, менее преданные делу и менее беспощадно честолюбивые, чем он, — не были ни готовы, ни способны отвечать ударом на удар и покидали движение или переходили в соперничающие группы, где им редко приходилось встречаться с ним лицом к лицу и терпеть его оскорбления. Именно этого Ульянов и добивался. Он выиграл множество схваток потому, что его противник либо слишком уставал, либо не желал сталкиваться с ним.

Это была продуманная тактика, как совершенно ясно видел Владимир Войтинский, будущий крупный советский чиновник и старый товарищ ещё с рубежа веков. «Владимир Ильич был, пожалуй, самым бесстрастным человеком, какого я когда-либо встречал в политике. Ни ненависти, ни сострадания, даже не раздражения против своих противников. Его беспощадность в споре никогда не проистекала из личной неприязни — каждое слово, даже каждый клеветнический намёк в его писаниях, было холодно рассчитано».[3]

С другой стороны, он умел пользоваться и более традиционными способами полемики. Владимир блестяще объяснял свои идеи упрощённо и прямо. Сам отнюдь не будучи человеком из народа, он научился воздействовать на аудиторию силой своего интеллекта. Максим Горький часто слышал, как он выступает, но никогда не забыл первого раза. «Его гортанное “р” делало его, казалось, плохим оратором, но уже через минуту я был так же совершенно поглощён им, как и все остальные. Я никогда не знал никого, кто умел бы говорить о самых сложных политических вопросах так просто… никакого стремления к красноречивым фразам, но каждое слово произносилось отчётливо, и его смысл был удивительно ясен. Я не представлял его себе таким. Мне казалось, в нём чего-то недостаёт… он был слишком прост. В нём не было ничего от “вождя”. Его рука была вытянута, кисть слегка приподнята, и этой рукой он словно взвешивал каждое слово и отсеивал замечания своих противников… Единство, цельность, прямота и сила его речи, весь его облик были подлинным произведением классического искусства; всё было на месте, и всё же не было ничего лишнего, а если и были какие-либо украшения, то они не замечались как таковые, но были столь же естественны и неизбежны, как два глаза на лице или пять пальцев на руке».[4]

Лев Троцкий, ставший знаменитым как блистательный оратор, соглашался, что поначалу «выступление» Ульянова не производило на него особого впечатления, — но чем дольше он смотрел и слушал, тем сильнее становился эффект. «Я вижу перед собой крепко сложенного человека, плотную, гибкую фигуру среднего роста. Я слышу ровный, плавный голос с… раскатистыми “р”, говорящий быстро, почти без пауз и поначалу без какой-либо особенной

---

[2] Моише Ольгин: цит. по: Clark, p. 145.

[3] Войтинский: цит. по: Salisbury, p. 126.

[4] Ленин как оратор: Максим Горький, *Days with Lenin*, New York, 1933; также под названием *Memories of Lenin* в архиве Marxists Internet Archive, www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1924/01/x01.htm.

интонации. Он наклоняет верхнюю часть корпуса, засовывает пальцы в проймы жилета. Эти жесты сразу приводят в движение голову и локти. Голова не кажется большой… но огромным кажется лоб. Он двигает руками, не нервно и не преувеличенно. Рука у него широкая, с короткими пальцами, “плебейская”, сильная. Оратор разбирает возражения своих противников… прежде чем анализировать враждебную мысль, он даёт вам понять, что она беспочвенна, поверхностна, ошибочна. Он вынимает руку из жилета, слегка откидывает корпус назад… пожимает своими коренастыми плечами то с иронией, то с отчаянием и выразительно разводит руками, раскрывая ладони и пальцы. Осуждение, или насмешка, или унижение противника всегда предшествует опровержению его идеи… Затем начинается логическое наступление. Левая рука снова движется к пройме жилета или, ещё чаще, к карману брюк… Он не стремится произнести речь, но направляет к выводу; он объясняет, он убеждает; он стыдит аудиторию; он шутит с ней, снова пытается убедить и излагает мысль… Тут нет блестящего венчающего финала. Нет риторического наращивания. Он заканчивает предложение — и точка. Иногда последняя фраза просто такова: “Вот всё, что я хотел вам сказать”. Такое окончание вполне соответствует всему его характеру, но, по-видимому, нисколько не умеряет воодушевления его слушателей».[5]

И всё же больше всего его друзей и врагов поражали его агрессия и угроза в споре. Одним из самых близких ему на протяжении многих лет был чрезвычайно утончённый, умный и остроумный Юлий Мартов, которому какое-то время он был, вероятно, ближе, чем кто бы то ни было другой, — они обращались друг к другу на «ты», а не на «вы», что для Владимира было большой редкостью. Они эффектно рассорились из-за политики и стали ожесточёнными врагами. В 1917 году, незадолго до большевистской революции, Мартова спросили, думает ли он, даже будучи убеждённым атеистом, что всё же может существовать жизнь после смерти. «О, я надеюсь, что нет. По-моему, одного земного существования более чем достаточно; неужели вы думаете, что было бы приятно продолжать спорить с Лениным даже после смерти и в загробном мире слушать его площадную брань?»[6]

---

[5] Ленин как оратор: Trotsky, *On Lenin*, pp. 197–199.

[6] Цитата Мартова: см. Israel Getzler, *Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat*, Cambridge, 1967.

ГЛАВА 9. Иностранные края

«Тогда я почувствовал, что встретил будущего вождя Русской революции. Он был не просто образованным марксистом — таких было немало, — но знал, чего хочет добиться и как именно это необходимо делать. От него пахло русской землёй».
Павел Аксельрод в Цюрихе, 1895

Владимир провёл почти половину своей взрослой жизни вне России, хотя покинул родину лишь в двадцать пять лет. Его первая поездка за границу стала революционным «grand tour»: петербургские марксисты поручили ему установить связь с группой «Освобождение труда» — кружком радикальных эмигрантов в Западной Европе, куда входили все крупнейшие имена русского диссидентского движения, бежавшие от царского режима. В конце апреля 1895 года он отправился в четырёхмесячное путешествие по Австрии, Швейцарии, Франции и Германии. Предполагалось, что он выедет раньше, в начале года, но поездка задержалась после того, как он слёг с первой из тех многочисленных болезней, которые затем будут время от времени мучить его на протяжении многих лет. Он перенёс тяжёлый приступ воспаления лёгких и неделями не вставал с постели, но, оправившись, страстно стремился отправиться «на важное поручение для Революции».[1]

Одной из первых о том, что Владимир уезжает, — почти одновременно с тем, как это стало известно его матери и сёстрам, — узнала Охранка, чьи агенты уже несколько месяцев следили за ним. Тайные полицейские чины в Петербурге написали о нём своему самому высокопоставленному агенту за пределами России — Петру Рачковскому, начальнику парижского отделения Охранки, отвечавшему за надзор за русскими политическими эмигрантами в Европе. В последующие годы Рачковскому предстояло узнать о нём очень многое. «По сведениям, имеющимся в распоряжении Департамента полиции, вышеупомянутый Ульянов занимается социал-демократической пропагандой среди петербургских рабочих», — говорилось в донесении, отправленном в Париж. «Цель его поездки — найти способы ввоза в империю революционной литературы, а также установить связь между революционными кружками и эмигрантами за границей». Для путешествия ему специально изготовили два чемодана с двойными стенками и двойным дном, в которых он намеревался провезти обратно нелегальную литературу.

Одно из первых открытий, которое он сделал в своих странствиях, состояло в том, что, хотя он и считал себя способным к языкам, в действительности это было не так. Он зубрил немецкий и английский, а также почерпнул из книг кое-какие сведения о французском, но почти ни с кем ни на одном из этих языков не разговаривал. Позднее он научился довольно свободно владеть тремя иностранными языками, но, впервые покинув Россию, был поражён тем, как мало знает, особенно немецкий, которым прежде особенно гордился. «Я не понимаю даже самых простых слов — произношение у них необычное, и говорят они так быстро», — писал он матери вскоре после того, как сошёл с поезда в Австрии. «Я задаю вопрос проводнику в вагоне, он отвечает, а я его не понимаю. Он повторяет громче. Я всё равно не понимаю, и тогда он сердится и уходит… Несмотря на это позорное фиаско, я не падаю духом и продолжаю с некоторым усердием коверкать немецкий язык».[2]

---

[1] «На важное поручение»: CW, т. 44, с. 265.
[2] Ленин и Охранка: цит. по: Helen Rappaport, *Conspirator: Lenin in Exile*, London, 2009, p. 7. О плохом знании языков: письмо матери от 29 апреля 1895 г., CW, т. 44, с. 266.

Его вторым большим открытием стало великолепие Альп — и это была любовь с первого взгляда. Горы неизменно действовали на него успокаивающе, и в последующие годы, как говорила Надя, «Ильич всегда бывал счастливее всего, больше всего расслаблен, когда рядом были горы». С того самого мгновения, когда из окна поезда, входившего в австрийский Тироль, он увидел одну из высоких альпийских вершин, он был пленён — «я почти онемел». Он тотчас написал матери: «Пейзаж здесь чудесный, необыкновенный. Я наслаждаюсь им всё время. Альпы начались сразу за маленькой немецкой станцией, откуда я тебе писал, потом пошли озёра, и я едва мог оторваться от окна железнодорожного вагона». Его завораживали почти все виды горных занятий, хотя кататься на лыжах он так и не научился. Одной из причин, по которым он проведёт столь многие годы своей эмиграции в Швейцарии, была близость любимых Альп.[3]

—

В конце мая, в горной деревне Ле-Ормон, неподалёку от Ле-Дьяблере, Владимир впервые встретился с самым знаменитым из всех русских марксистов — по крайней мере до тех пор, пока сам не смог претендовать на этот титул. Георгий Валентинович Плеханов, старше его на четырнадцать лет, был почитаемой фигурой в революционном движении, «Моисеем марксизма, который принёс Десять Заповедей социализма с… [альпийской] горы Синай и передал их юношеству России», как выразился Александр Потресов. Это был человек гигантского роста, почти двухметровый, сухощавый и неизменно элегантно одетый, всегда в сюртуке. Он носил чёрную остроконечную бороду и пышные усы. В юности он был кадетом и до конца сохранял военную выправку. «Это человек колоссального роста, рядом с которым хочется съёжиться», — говорил о нём Владимир. Впоследствии между ними вспыхнут бурные ссоры, расколовшие русское революционное движение, но при первой встрече, по свидетельству очевидца, Владимир был почти косноязычен. «Он оробел в присутствии великого теоретика, патриарха русского марксизма». Плеханов, которого знали как человека колючего, тщеславного и высокомерного, держался снисходительно, «но смотрел на способного» молодого человека не без тёплой симпатии.[4]

Плеханов был дворянского происхождения[5] и после окончания военного училища в Воронеже учился в Горном институте в Петербурге, пока в 1877 году не был исключён за участие в демонстрации. Два года спустя, когда Охранка уже шла за ним по пятам, он бежал из России и с тех пор жил в эмиграции в Швейцарии. Его остроумная и язвительная брошюра «Наши разногласия», написанная в 1885 году, ходила в подпольных списках и сделала для популяризации марксизма в русских революционных кругах больше, чем что бы то ни было другое. Владимир называл её «поистине вдохновляющим произведением», которое обратило многих молодых людей от народничества к марксизму, в том числе и Надежду Крупскую. Его более поздняя книга, написанная под псевдонимом Бельтов, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», прошла царскую цензуру по той же причине, что и «Капитал» Маркса: считалось, что никто не станет читать сочинение с таким убийственно скучным названием и к тому же столь на вид эзотерическое. Но цензоры ошиблись. Эта книга

---

[3] О первой встрече с Альпами: письмо матери от 2 мая 1895 г., CW, т. 44, с. 261.

[4] Встреча с Плехановым: CW, т. 9, с. 145; письмо Марии Ульяновой от 24 мая 1895 г., CW, т. 44, с. 302.

[5] Великий революционер Плеханов до конца своих дней с глубокой ностальгией вспоминал своё большое и богатое родовое имение в Гудаловке Тамбовской губернии, на юго-западе России, где прошли его детские годы. Хотя в 1917 году он и вернулся в Россию, он был уже тяжело болен и так и не успел посетить это имение до своей смерти в следующем году. Перед смертью он просил свою жену Розалию Боград съездить туда вместо него.

утвердила его репутацию как теоретика русской социалистической философии и оказала глубокое влияние как ясно написанное и доступное введение в марксов взгляд на то, что революция «неизбежна» как результат экономических и социальных сил, движущих историю.

Владимир был доволен тем, что его встреча с великим человеком прошла успешно: он покинул Швейцарию с рекомендательными письмами Плеханова к другим ведущим деятелям социалистического движения в Европе. Но семена их будущих разногласий были посеяны уже во время этого визита. Плеханов увидел в энергичном Владимире, который становился всё более известным в русских радикальных кругах, угрозу — особенно после того, как его лучший друг и ближайший соратник Павел Аксельрод, ещё одно крупное имя в старшем поколении эмигрантов-радикалов, писал ему письма, исполненные восторженных похвал в адрес молодого гостя. Аксельрод пригласил Владимира провести неделю в его доме близ Цюриха и был восхищён как литературными способностями молодого человека, так и его красноречием в споре. Он сказал Плеханову, что этот восходящий молодой деятель «обладает темпераментом боевого пламени».[6]

В Париже Владимир посетил Фоли-Бержер, тогдашний декадентский ночной клуб fin de siècle, полный полуобнажённых танцовщиц. Но подлинной вершиной поездки стала встреча с Полем Лафаргом, который ещё по личной памяти мог рассказывать о Парижской коммуне 1870 года. Этот француз, женатый на дочери Маркса Лауре, входил в руководство Коммуны, и Владимир, слушая рассказы Лафарга, был «исполнен волнения». Позднее он будет часто ссылаться на Коммуну как на один из важнейших моментов современной европейской истории — как на первую попытку, пусть и краткую, коммунистической революции. Она продержалась менее десяти недель, прежде чем была жестоко подавлена нечестивым союзом французских правых и немцев. Позднее Владимир нередко говорил, что твёрдо намерен не повторить ошибок Коммуны.

Париж очаровал его, хотя он и писал матери, что «прислуга здесь очень дорога… и её надо хорошо кормить». Париж, писал он, «производит очень приятное впечатление… широкие, светлые улицы, много бульваров и зелени. Люди здесь весьма непринуждённы в манерах — поначалу это кажется довольно неожиданным после той степенности и чопорности, к которым привыкаешь в Петербурге». Но значительную часть своего большого путешествия, начиная с конца июня 1895 года, он болел: его мучили сильнейшие желудочные спазмы и то «нервное истощение», которое постоянно преследовало его на протяжении всей жизни. Главными симптомами были бессонница и изнуряющие головные боли. Он отправился на лечение на курорт близ Цюриха, оплатить который помогла мать. «Я решил воспользоваться этим местом и всерьёз заняться лечением своей болезни», — писал он ей. «Я уже несколько дней на водах и чувствую себя не слишком плохо… Но я уже превысил… [свой бюджет], так что прошу тебя, дорогая мамочка, прислать ещё рублей сто или около того». К концу августа он снова умолял о деньгах: «Мамочка, милая, не можешь ли прислать ещё 50 или 100 рублей?»[7]

*

Владимир вернулся в Россию 19 сентября 1895 года. Возвращаясь, он предпринял, как ему казалось, различные меры предосторожности. Лишь немногие знали точную дату его приезда, и он был уверен, что за ним не следят. Чемоданы с двойным дном и двойными стенками, с которыми он ехал, теперь были набиты нелегальной литературой. Когда полицейский постучал по крышке одного из них, он почувствовал, как его «сердце ударило в горло»; тем не менее и

[6] Письмо Аксельрода Плеханову: цит. по: Fischer, с. 173.

[7] Просьбы к матери о деньгах: CW, т. 44, сс. 283 и 298.

его самого, и багаж пропустили. Но тайная полиция с самого момента его возвращения в Россию держала его под пристальным наблюдением.

Владимир был человеком в высшей степени скрытным и со временем начал даже получать удовольствие от «конспиративной» игры в прятки подпольной революционной жизни, от переодеваний и переходов по переулкам и тоннелям из одной явочной квартиры в другую. Всё это придавало особую остроту писанию статей и занятиям в библиотеках.

Он полагал, что хорошо умеет жить в подполье. Он читал о создании шифров и о том, как прокладывать ложные следы для Охранки. Он упражнялся в овладении конспиративным ремеслом. Вернувшись в Петербург, он стал много видеться с Надей, и она тоже, под его руководством, изучала подпольные способы связи с другими революционными группами. Позднее она утверждала, что группа, которой Владимир руководил в Петербурге, была лучше всех оснащена среди всех подпольных ячеек России. «Владимир Ильич знал все проходные дворы и умел ловко уходить от полицейских шпиков. Он учил нас писать в книгах невидимыми чернилами или точечным способом; как ставить тайные знаки и придумывал всевозможные псевдонимы. Его письма были полны советов о тонкостях подпольной работы. Он советовал, как лучше готовить клейстер, чтобы прятать материалы в переплётах книг».

Он очень любил давать другим советы по части конспирации. Вскоре после возвращения из Швейцарии он писал Аксельроду о наилучшем способе изготовления невидимых чернил. «Необходимо употреблять жидкий клейстер; не больше чайной ложки крахмала на стакан воды (причём именно картофельной муки, а не обыкновенной, которая слишком крепка). Обычный (хороший) клейстер нужен только для верхнего листа и для цветной бумаги, потому что бумага и под прессом хорошо держится даже на самом жидком клейстере. Это подходящий способ, и им следует пользоваться».[8]

Но в действительности он и его революционеры были любителями по сравнению с Охранкой, которая знала, где он находится большую часть времени, что он пишет, на каком собрании выступает. Главная проблема Владимира состояла не в том, что он не понимал правильной густоты жидкого клейстера, а в том, что, как ни странно, он был слишком доверчив. Он не верил всем тем предупреждениям, которые ему давали, что вокруг него полно полицейских осведомителей. Эта слабость будет повторяться снова и снова на протяжении следующих двух десятилетий. Во многом он был хорошим знатоком людей. Но слишком часто он, по-видимому, оказывался неспособен усомниться в честности всякого, чьи убеждения он однажды признал подлинно революционными и преданными делу. Несколько раз это приводило его почти на грань катастрофы.

Поздней осенью 1895 года Владимир стал одним из соучредителей — вместе ещё примерно с дюжиной человек — «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», первой официально марксистской революционной организации в России (но, что существенно, не «партии»), которая должна была быть вольным образом связана с эмигрантской группой Плеханова. Одним из других членов-основателей, петербургским дантистом, был агент Охранки, так что тайная полиция с самого начала знала о группе почти всё, включая её планы на конец декабря — выпустить газету «Рабочее дело».

Ночью 8 декабря полиция нанесла удар. Владимир готовил материалы для первого номера издания, в который должны были войти, помимо прочей «подрывной» литературы, и две его собственные статьи: «К рабочим и работницам фабрики Торнтона» (где назревала забастовка) и «О чём думают теперь наши хозяева?»

---

[8] О невидимых чернилах: Ленин — Аксельроду, CW, т. 44, с. 485.

Полиция нагрянула в тот момент, когда газета уже почти шла в печать и члены редакционной коллегии находились вместе. Владимира арестовали с изобличающими статьями при нём. В сопровождении двух полицейских в синих мундирах его на извозчике, с занавешенными от посторонних глаз окнами, доставили в петербургский Дом предварительного заключения, где подозреваемого могли держать сколько угодно долго — вплоть до двух лет до вынесения приговора, — без суда.

ГЛАВА 10. Тюрьма и Сибирь

«Никто не знает, при каком правительстве он живёт, если никогда не бывал в тюрьме».
Лев Толстой (1828–1910)

Арест дал Владимиру те удостоверения, которые требовались революционеру. Он писал памфлеты, вёл агитацию, выступал на собраниях и был братом печально известного «террориста», казнённого режимом. Но для общественного престижа подлинному русскому революционеру нужно было отсидеть в тюрьме и побывать в ссылке в сибирских пустынях, чтобы его принимали всерьёз. Это считалось одним из испытаний преданности делу.

За время заключения в камере № 193 Дома предварительного заключения, с декабря 1895 года по февраль 1897 года, его допрашивали четыре раза. Ни в какой момент с ним не обращались жестоко физически и не подвергали сколько-нибудь серьёзному психологическому давлению. Допросы, по-видимому, носили лишь рутинный характер — «игра в кошки-мышки», как описывали эту процедуру другие заключённые.

Первый официальный допрос, через несколько дней после ареста, проводили тюремный адъютант Алексей Добровольский и подполковник Особого отдела Охранного отделения Вячеслав Клыков. Когда его спросили, состоит ли он в какой-либо политической партии, юрист в нём ответил с предельной точностью. «Я не признаю себя виновным в принадлежности к партии социал-демократов или к какой бы то ни было политической партии… Я ничего не знаю о существовании в настоящее время какой-либо антиправительственной партии», — заявил он им в первом своём показании и затем повторял это вновь и вновь. Формально это было сущей правдой. В тот момент Социал-демократическая партия ещё не была создана, хотя он хотел её создать и говорил о её учреждении.

Ему ни разу не позволили воспользоваться юридической защитой, и на всём протяжении следствия он отрицал все предъявленные ему обвинения в подстрекательстве. Его мать и сестра Анна убедили его номинального работодателя, Михаила Волькенштейна, вступиться за него. Опытный и уважаемый адвокат предложил внести за Владимира значительный залог, однако в освобождении под поручительство было отказано.[1]

Его ещё трижды допрашивал полковник Клыков — в том же сравнительно непринуждённом духе. Он ничего не выдал. Он поддерживал себя в хорошей физической и умственной форме и не терял бодрости. Как он шутил в письмах домой: «Я нахожусь в лучшем положении, чем другие граждане Российской империи: по крайней мере, меня уже не могут арестовать». Царский карательный режим был куда более мягок к политическим заключённым, чем в позднейшие годы при Советах, когда пытки и внесудебные казни стали нормой.

Через несколько недель после ареста Владимир писал матери: «здоровье моё удовлетворительно. Минеральную воду я могу здесь пить. Её приносят мне из аптеки в тот же день, как я закажу». Он выработал распорядок, который должен был помочь ему пережить тюремное заключение. Позднее, когда в феврале 1901 года его сестра Мария и шурин Марк Елизаров были арестованы как подрывные элементы, он изложил свой строгий метод в обычной для себя наставительной и начальственной манере. «Я особенно рекомендовал Марку переводы в обе стороны: сперва делать письменный перевод с иностранного языка на русский, а затем с русского обратно на иностранный. Мой собственный опыт научил меня, что это самый рациональный способ изучения языка. Что касается физической стороны, я настойчиво

[1] Первый допрос: Clark, p. 83.

рекомендовал ему… делать гимнастику каждый день и обтираться мокрым полотенцем. В одиночном заключении это совершенно необходимо… Я также советую тебе так устроить свою работу над книгами, чтобы чередовать её. Хорошо помню, что перемена чтения или занятия — от перевода к чтению, от гимнастики к письму, от серьёзного чтения к беллетристике — очень помогает. После обеда, для отдыха по вечерам, я регулярно читал беллетристику и нигде не получал от неё такого удовольствия, как в тюрьме. Главное — никогда не забывать обязательную ежедневную гимнастику. Заставляй себя делать несколько десятков движений всякого рода. Это очень важно».

Свои упражнения и их пользу он ещё подробнее описывал матери. «Они разрабатывали мне суставы так, что я согревался даже в самые холодные дни, когда в моей камере было ледяно, а потом и спится гораздо лучше. Могу рекомендовать это, а также довольно лёгкое упражнение (хотя и смешное): пятьдесят земных поклонов. Именно это я заставлял себя делать — и меня нисколько не смущало, что надзиратель, заглянув в окошечко, будет с изумлением гадать, отчего этот человек вдруг сделался таким набожным, хотя ни разу не просился в тюремную церковь. Но… [заключённый] не должен делать меньше пятидесяти поклонов подряд, не останавливаясь, и каждый раз касаться пола, не сгибая колен, — напиши и передай это Марку».[2]

В тюрьме он начал писать свою первую крупную книгу — *Развитие капитализма в России*. «Я сплю около девяти часов в сутки и во сне вижу различные главы своей будущей книги… если бы я пробыл в тюрьме дольше, я бы закончил её там». Книга имела большое значение, поскольку укрепила его репутацию радикального теоретика и отстаивала спорный тезис о том, что Россия уже уверенно движется к тому, чтобы стать развитой индустриальной страной, — а это, по Марксу, было необходимым этапом, после которого могла победить пролетарская революция.

Посетители тюрьмы приносили ему деньги и еду, чистое бельё и больше удобств, чем ему было нужно. «Кто-то, например, принёс мне сюртук, жилет и дорожный плед, — писал он матери. — Всё это тотчас было отправлено в кладовую как излишнее». Его мать и Анна перебрались из Москвы в Петербург, чтобы быть ближе к нему и навещать его. Они посылали еду, соответствовавшую рекомендуемой диете для его чувствительного желудка. А после того как тюремный врач сказал ему, что ему пойдут на пользу регулярные очищения кишечника, они прислали ему кружку для клистира.

Он просил Надю и Аполлинарию вместе прогуливаться до места на углу улицы, где он мог бы мельком увидеть их из тюремного двора. Надя явилась в условленное время и в условленное место, как он просил. Якубова не пришла.[3]

Заключённым разрешалась регулярная переписка. Режим безопасности был настолько слаб, что они без труда продолжали свою конспиративную деятельность и внутри тюрьмы. Существовал давно установленный условный знак, по которому Владимир понимал, что для него пришло тайное письмо, написанное невидимыми чернилами. В шесть часов вечера им приносили кипяток для чая, а надзиратели уводили уголовников в церковь. К этому времени «политические» уже разрывали письма на длинные полоски. Затем они заваривали чай, и как только надзиратели уходили, начинали опускать эти полоски в кружки. Так письма «проявлялись». В тюрьме было трудно обрабатывать письма над пламенем, как это делали обычно. Это была идея Владимира — попробовать горячую воду. «Чтобы не быть застигнутыми при письме молоком, мы делали маленькие “чернильницы” из хлеба. Их мы тотчас засовывали

---

[2] О том, как сохранять физическую форму в тюрьме: письмо Марии Ульяновой от 13 февраля 1896 г., *CW*, т. 44, с. 532, и письмо матери от 10 февраля 1896 г., *CW*, т. 44, с. 519.

[3] Посетители в тюрьме: письмо Анне и Марии Ульяновым от 3 марта 1896 г., *CW*, т. 44, с. 546.

в рот, как только слышали лязг у решётки». Однажды в приписке к письму Наде он написал: «Сегодня я съел шесть чернильниц».[4]

По средам и субботам его сестра Анна приносила ему книги из Библиотеки Академии наук, из Санкт-Петербургского университета и из Вольного экономического общества. Посетителей никогда не допрашивали. Они могли оставлять письма или посылки в любое время дня до пяти часов вечера. Посылки подвергались беглому осмотру прокурором Верховного суда или его представителем, а не просто тюремным сторожем. На следующий день они уже были в его камере. «Когда в коридорах тюрьмы… можно было слышать, как надзиратели волокут тяжёлые ящики, полные книг, все знали, что этот груз предназначается в камеру Владимира Ильича», — вспоминал один из его сокамерников, Глеб Кржижановский.

На протяжении всего 1896 года он получал посылку дважды в неделю. Почти в каждой партии книг находился по меньшей мере один том с письмом, спрятанным в корешке переплёта, или написанным невидимыми чернилами между строк одной из страниц, или зашифрованным крошечными пометками между строк сопроводительных писем. Этот двусторонний обмен позволял ему поддерживать связь со своей организацией, писать листовки для стачек и статьи, а также общаться с товарищами в тюрьме и на воле.[5]

29 января 1897 года, после четырнадцати месяцев тюрьмы в Петербурге, Владимир был приговорён к трём годам «административной ссылки» в Сибирь, хотя поначалу место его ссылки ещё не было определено. Ни суда, ни апелляции не было. По просьбе его матери ему разрешили ехать за собственный счёт и не под полицейским конвоем, что делало долгое путешествие гораздо более удобным. Из тюрьмы его выпустили 13 февраля и позволили четыре дня оставаться в Петербурге, прежде чем двинуться дальше. В своём обычном духе он заполнил эти дни встречами с другими революционерами.[6]

Первая часть путешествия заняла одиннадцать недель. И на сей раз к нему отнеслись привилегированно. После того как мать вымолила у властей разрешение, ему позволили на несколько дней задержаться в Москве, чтобы повидаться с семьёй. Он задержался там на два дня дольше дозволенного, и 6 марта покинул Москву в сопровождении матери, сестры Анны и Марка Елизарова. Родные расстались с ним на следующий день на станции Тула и вернулись в Москву.

«Нервы я оставил позади», — сказал он матери, но путешествие было скучным. «Вся местность покрыта Западно-Сибирской железной дорогой, и я только что проехал по всей её длине [около 1400 километров]… удивительно однообразно — голая, мрачная степь. Ни признака жизни, ни городов, очень редко деревня или полоска леса, а всё остальное — сплошная степь. Снег и небо и больше ничего на всём протяжении трёх дней».[7]

---

[4] Письма, написанные шифром: там же

[5] Кржижановский: цит. по Fischer, p. 134.

[6] Россия ссылала политических заключённых с XVI века, отправляя их во всё более отдалённые части империи по мере расширения её границ. Серьёзных преступников посылали в каторжные лагеря, разбросанные по восточной Сибири, — такие, как Нерчинск, куда был сослан Чернышевский, Омск, где находился Достоевский, и остров Сахалин у тихоокеанского побережья России. Менее опасных «политических», таких как Владимир, ссылали по административному порядку и обязывали жить в определённом месте под надзором. В 1897 году в Сибири находилось около 300 000 ссыльных, что составляло примерно 5 процентов всего её населения.

[7] Ленин в Сибири: письмо матери от 14 марта 1897 г., *CW*, т. 44, с. 527.

В Красноярске, на конечной станции, ему пришлось ждать, пока власти решат, где именно он будет отбывать ссылку.[8] Но это не было тяжёлым испытанием. Он проводил целые дни в библиотеке Юдина — огромном собрании, принадлежавшем богатому водочному заводчику и знаменитому библиофилу. Геннадий Васильевич Юдин, один из друзей которого был знаком с Анной Ульяновой, предоставлял некоторым избранным ссыльным по пути в ссылку доступ в свой дом и к восьмидесяти тысячам томов своей библиотеки.[9] В этом собрании имелись полные комплекты нескольких периодических изданий, восходивших ещё к XVIII веку, и Ленин нашёл их полезными для своей книги *Развитие капитализма в России*.

Через пять недель, большую часть которых он провёл с рассвета до сумерек среди юдинских книг, Владимиру сообщили, где он будет отбывать ссылку: в маленьком посёлке Шушенском на реке Енисей. Новости едва ли могли быть лучше: среди политических ссыльных это место было известно как «Италия Сибири», на юго-западе огромного региона, где условия были сравнительно мягкими. И всё же путь туда занял восемь дней на речном пароходе до ближайшего крупного города, Минусинска, а затем ещё день на лошади с телегой. Ему отвели небольшую крестьянскую избу, окружённую бескрайней степью, редколесьем и болотом. Вдали, в ясный день, он мог едва различить снежные вершины Саянского хребта.

Вскоре после приезда он писал матери, что место это довольно приятное, и дал деревне ласкательное прозвище. «Шу-шу-шу — деревня неплохая. Правда, лежит она в довольно голом месте, но лес неподалёку есть, хотя большую часть его уже вырубили. До Енисея добраться нельзя, зато река Шушь течёт рядом с деревней, да и довольно большой приток Енисея тут неподалёку… там я смогу купаться. Деревню окружает навоз, который здешние жители не вывозят на поля, а сваливают снаружи, так что, выходя из деревни, приходится идти через него. На горизонте лежат Саянские горы или их отроги. Некоторые из них совсем белые, и снег на них почти никогда не тает, так что в них есть даже нечто художественное… их можно видеть, когда они не скрыты облаками, примерно так же, как Монблан виден из Женевы… не напрасно же я сочинил в Красноярске стихотворение: “В Шуше, у подножия Саян”… к сожалению, дальше первой строки дело не пошло».

Условия были не столь тяжёлыми, как те, с которыми позднее столкнулись диссиденты в советском ГУЛАГе. Владимиру даже разрешили иметь ружьё — бельгийскую двустволку, которую прислал ему брат Дмитрий, вместе с большим запасом патронов. Уже через месяц он, не совсем в шутку, предлагал Дмитрию навестить его. «Будем вместе ходить на охоту — авось Сибирь ещё сумеет сделать из меня спортсмена».

Но царская система сибирской ссылки вовсе не была лагерем отдыха. За долгие годы десятки тысяч людей умерли от изнеможения в каторжных лагерях или погибли от голода. Заключённых обычно били кнутом — разновидностью плети с несколькими хвостами, рвавшей плоть на спине или бёдрах жертвы. В 1892 году, за пять лет до ленинской ссылки, так называемое «дело Ханова» получило сенсационное освещение в лондонской *The Times* и нью-йоркской *New York Times*, которые сообщали (и впоследствии расследование подтвердило это),

---

[8] В Красноярске он жил на полном содержании у Клавдии Гавриловны Поповой, богатой местной помещицы, сочувствовавшей радикальным делам и помогавшей на протяжении многих лет сотням политических ссыльных жильём и пищей. Многие оставили свидетельства о её доброте и дружелюбии. Когда в 1921 году, уже при советской власти, начался голод, ей было за семьдесят. Её объявили буржуазным «врагом народа». Потеряв всё своё состояние, она жила на подаяние. Когда старожилы подали прошение в местный Совет помочь ей — на том основании, что она никогда не отказывала жертвам царских репрессий, — просьбу дать ей дополнительные продовольственные пайки отклонили. Она умерла от голода.

[9] В 1906 году Юдин продал своё собрание Библиотеке Конгресса США за 150 000 долларов США — по тем временам целое состояние. Это собрание и поныне составляет ядро русского отдела библиотеки.

что подрядчик Владимир Ханов и надсмотрщики над каторжниками-строителями дорог на острове Сахалин морили заключённых голодом до того, что дело доходило до людоедства.

Возможно, самым жестоким из всех царских наказаний было то, которое обрушивалось на жён политических заключённых: многих из них ссылали в Сибирь просто за то, что они были замужем за так называемым подрывным элементом. Сталинская жестокость позднейших лет, когда вместе с «виновным» наказывали и его семью, имела в России более ранний прецедент.[10]

Через месяц Ленин уже входил во вкус регулярной охоты. Он писал матери, что стрельба там неплоха. «Вчера ездил верст двенадцать стрелять уток и бекасов. Дичи много, но без собаки охота трудна, особенно для такого плохого стрелка, как я. Были даже дикие козы, а в горах и в тайге (верст за 30–40 отсюда, куда местные крестьяне иногда ездят на охоту) есть белка, соболь, медведь и олень». Для компании он завёл себе охотничью собаку, ирландского сеттера Женьку. Он рыбачил, купался, ходил пешком, зимой катался на коньках. Он играл по переписке в шахматы с сильными игроками по всей Российской империи и за её пределами.

Охранка часто перехватывала его письма, но почти всегда пропускала их дальше — даже его переписку с революционерами в России и ссыльными за границей. Его раздражало не наблюдение. Почта приходила регулярно, но очень медленно, особенно зимой. «Сегодня получил целую груду писем из всех концов России и Сибири и потому весь день чувствовал себя как в праздник», — писал он матери после нескольких недель без почты.

Он посылал матери и сёстрам настоящий поток просьб — вернее, требований — и бывал капризен, если их не исполняли достаточно быстро. Родные привыкли к раздражительному тону его сетований: «Жаль, что книги были посланы так поздно»… «ты пишешь, что пришлёшь их через день-два»… «когда же всё это придёт? Вероятно, не раньше конца лета…» Постоянно требовались ещё одежда, патроны для его ружей и книги, какие-то лайковые перчатки, «мой непромокаемый плащ, который здесь совершенно необходим», и немного гладкого чёрного тюля для москитной сетки.[11]

Но была и серьёзная работа. Он почти завершал свою первую книгу и получил на удивление выгодный издательский договор на перевод на русский язык классического труда фабианского социализма Сиднея и Беатрисы Веббов *История тред-юнионизма*. Его день, тщательно распланированный до последней минуты, состоял, как вспоминал Кржижановский, сосланный вместе с ним, из долгих часов упорного труда, чередовавшихся с регулярными периодами отдыха. «По утрам он испытывал совершенно необыкновенный прилив жизненных сил и энергии и был готов к схватке в борьбе… и я поддавался его настроению и доставлял ему

---

[10] Еврейских революционеров неизменно отправляли в самые суровые, самые жалкие места, и многие страдали от ужасного небрежения. Некоторые умирали от болезней. Среди ссыльных происходили подлинные трагедии. Николай Федосеев, основавший в Казани радикальный кружок, к которому принадлежал Владимир, — очень одарённый писатель и мыслитель, с которым он впоследствии регулярно переписывался, — был сослан в Верхоянск, жуткое место в арктическом дальнем востоке. В 1898 году, в возрасте двадцати семи лет, он утопился после того, как ревнивый товарищ по ссылке ложно обвинил его в том, что он двойной агент Охранки. Владимир несколько раз виделся с его возлюбленной Марией Гофенгауз. Узнав по дороге в Сибирь о его самоубийстве, она покончила с собой — «как ужасна эта трагическая история», — сказал Владимир, когда услышал об этом. Один из его близких друзей, Анатолий Ванеев, был сослан в глухую деревню Туруханск, на краю Полярного круга, где в 1899 году умер от плеврита и холеры. Владимир неоднократно, но тщетно просил власти перевести его в менее суровое место, где он мог бы получить лучшее лечение.

[11] Ленинские письма из Сибири производят странное впечатление. Это могли бы быть письма праздного сельского помещика, любящего жизнь на воздухе, но склонного к такой мягкой эпикурейской философии, которая запрещает слишком серьёзно относиться к подобным вкусам. Похоже, он действительно наслаждался этой тихой жизнью так, как уже никогда не будет наслаждаться своим долгим изгнанием за границей.

удовольствие, меряясь с ним силами. Затем, после быстрой прогулки, мы принимались за работу. Особые часы были отведены письму, собиранию статистических материалов, чтению философской и экономической литературы и отдыху, когда мы читали романы. Газеты мы, конечно, получали, но с большим опозданием и большими пачками. Но Владимир Ильич придумал способ читать их систематически: он раскладывал их так, что читал по одному номеру в день, принимая во внимание общий срок задержки. Благодаря этому ему казалось, что газету он получает регулярно, ежедневно, хотя и с некоторым опозданием. Всякий раз, когда я пытался нарушить этот порядок и злонамеренно выхватывал и читал вслух новости из более позднего номера, он затыкал себе уши».

В целом в Сибири он жил неплохо и часто писал матери, как он крепок и здоров. Он получал от государства небольшое пособие, которого вполне хватало на сравнительно удобную жизнь. Ему выдавали восемь рублей в месяц — сумма, которая звучит скромно, но вдвое превышала заработок среднего петербургского рабочего и более чем втрое превосходила ту плату, которую он отдавал крестьянской девушке, нанятой им для уборки и стряпни.

Он переживал приступы меланхолии и острой скуки — «Внутренне день отличается от дня только тем, что сегодня ты читаешь одну книгу, завтра будешь читать другую; сегодня гуляешь вправо от деревни, завтра — влево; сегодня пишешь одну статью, завтра — другую», — писал он матери. Сестре Марии он говорил: «В начале моего срока… я решил никогда не дотрагиваться до карты ни Европейской России, ни даже всей России. Это вызвало бы слишком много горечи, когда я смотрел бы на все эти разные чёрные точки, куда мне нельзя».[12]

Он сделал Наде предложение письмом, написанным невидимыми чернилами. Для многих пылких молодых революционеров это, возможно, показалось бы высшим романтическим жестом. Но причина была куда более прозаична и практична. Когда он писал — в промежутке между освобождением из тюрьмы и отъездом в Сибирь, — Надя сама находилась в тюрьме. Её арестовали за передачу нелегальной литературы и денег бастующим фабричным рабочим в Петербурге, и ей тоже грозила трёхлетняя сибирская ссылка. Поначалу Владимир не хотел, чтобы власти знали: его замысел состоит в том, чтобы провести годы ссылки вместе в Сибири. Она приняла предложение — тоже тайной запиской, которую он должен был «проявить, окунув её в тёплую воду», — в несколько небрежной манере, плохо скрывавшей силу её чувств.

Наде разрешили бы присоединиться к нему только в том случае, если бы она была «официально признанной невестой». Прежде чем ей позволили поехать, прошли месяцы препирательств с властями. Правительство придерживалось высокого нравственного взгляда на брак, а между тем уже случалось несколько историй с фиктивными невестами, отправлявшимися к радикальным ссыльным, что оскорбляло тонкую чувствительность царской полиции. Будущая тёща Владимира была столь же решительно настроена удостовериться, что помолвка совершенно законна. Елизавета Васильевна едва его знала — а то, что знала, нравилось ей не вполне. Она была глубоко верующей христианкой, а он — очень открыто — атеистом; он был революционным марксистом, а у неё не было твёрдых политических взглядов. В её глазах он вполне мог придерживаться таких же «передовых» взглядов на брак, какие, по-видимому, исповедовал и относительно всех прочих учреждений христианской цивилизации. Она хотела удостовериться, что свадьба действительно состоится, и потому отправилась в Сибирь вместе с Надей, якобы для того, чтобы присутствовать на венчании. Однако в течение большей части

---

[12] Прибытие в Шушенское: письмо матери от 28 мая 1897 г., *CW*, т. 44, с. 539. Охота: письмо Марии Ульяновой и Дмитрию Ульянову от 29 июня, *CW*, т. 44, с. 556. Одиночество: письмо Анне Ульяновой от 25 июля 1897 г., *CW*, т. 44, с. 583.

последующих семнадцати лет Елизавета Васильевна жила с ними в добром согласии. Они искренне привязались друг к другу, и она научилась уважать его, пусть и не все его взгляды.[13]

Через собственную мать он посылал целый поток требований о вещах, которые им следовало привезти с собой, — груды книг, запас одежды, в том числе молескиновые брюки для охоты и соломенную шляпу — «в конце концов, это же парижская шляпа, чёрт побери». Когда Надя с матерью прибыли 6 мая 1898 года, задержавшись на несколько дней из-за слишком низкой воды на одном участке реки для их парохода, его не оказалось на месте, чтобы встретить их. Он был на охоте и вернулся только через несколько часов. Первое, что сказала ему Елизавета Васильевна, было: «Господи, как вы располнели. Вы выглядите почти толстым». Матери он написал: «Я нашёл Надежду… совсем не в хорошем виде. Здесь ей надо будет немного лучше следить за своим здоровьем». Часто её глаза казались выпученными — отсюда частые замечания о её «рыбьей» внешности, первый симптом болезни щитовидной железы, позднее диагностированной как базедова болезнь, от которой она будет страдать всю жизнь.[14]

Свадьба должна была состояться в церкви или ином религиозном учреждении, ибо только такой обряд признавался в России законным. Её отложили на несколько дней, потому что местный священник, отец Орест, строго соблюдал все требования обряда, а значит, и жениху, и невесте нужны были кольца. Владимир колец не купил, а посреди сибирской глуши не было никаких ювелирных лавок. К счастью, другой революционный ссыльный в Шушенском, финский националист Оскар Энгберг, до ареста был учеником в ювелирной мастерской и изготовил два кольца из медных копеечных монет.[15]

Свадьба в конце концов состоялась в Петропавловской церкви в Шушенском 10 июля 1898 года. Записи о ней не сохранилось — либо потому, что впоследствии советская власть хотела скрыть тот факт, что это было православное венчание, — слегка неудобную правду о создателе большевизма, — либо, что, пожалуй, вероятнее, потому, что многие русские церковные книги были уничтожены или пропали в 1920–1930-х годах. Ни муж, ни жена никогда не пытались скрывать обстоятельства своего венчания.

Молодожёны вышли раздельно и разными дорогами направились к своему дому, «чтобы не привлекать внимания», как говорила Надя, хотя это объяснение выглядит странным. После этого у Ульяновых состоялось небольшое празднование, на котором, что для России того времени также выглядит странно, ничего крепче чая не подавали.

---

[13] Между ними возникла подлинная взаимная привязанность, хотя она часто с ним не соглашалась и умела ему возражать. Он не был выше того, чтобы отпускать ужасные «тёщины» шутки — один из немногих видов шуток, которые он вообще рассказывал, помимо столь часто используемой им иронии. На вопрос: «Какое наказание следовало бы установить за двоежёнство?» — он отвечал не слишком остроумно: «Двух тёщ». Он постоянно повторял эту шутку Елизавете Васильевне, ничуть не смущаясь, и оба при этом смеялись. Она стала его уважать, и во время долгих лет совместной жизни в ссылке они ладили вполне сносно. Хотя он терпеть не мог курения, он выходил купить ей сигареты, когда они ей были нужны. А иногда позволял ей обыгрывать себя в карты. «Как может такой блестящий человек, как вы, всё время проигрывать такой старухе, как я?» — говорила она ему.

[14] О том, как семья присылала припасы: письмо матери от 6 сентября 1897 г., *CW*, т. 44, с. 573.

[15] Русские радикалы, со своим презрением к буржуазному ритуалу, обыкновенно надевали кольца лишь на саму церемонию, а потом избавлялись от них. Но Надя своё кольцо сохранила, хотя и не носила его. Незадолго до смерти она передала его в Центральный музей Ленина в Москве, который с типично сталинским отсутствием всякой сентиментальности даже не выставил его, хотя в собрании имелась «комната Крупской». Никто, по-видимому, не знает, что Ленин сделал со своим кольцом; его так и не нашли.

Их отношения ставили в тупик биографов — и левых, и правых, — многие из которых старались представить их как утилитарный союз по расчёту, *mariage blanc*. Между тем очевидно, что они делили не только постель, но и преданность Революции.

Свой «медовый месяц» они провели, переводя по утрам на русский язык веббовскую *Историю тред-юнионизма*, после обеда работая над книгой Владимира Ильича, а также совершенствуя немецкий язык. Это, конечно, звучит не слишком романтично, и многим их брак казался «странным», соединённым, как заметил один их давний товарищ, «не любовью, не привязанностью и не товариществом, а преданностью делу». Но, очевидно, это было гораздо больше, чем только это. Они были парой не демонстративной, но это ещё ничего не значит. Он никогда не говорил о своём браке. Надя опубликовала том воспоминаний — сильно отредактированное в сталинском духе свидетельство, написанное в конце 1920-х годов и по большей части сухое и вялое, — хотя в нём есть несколько удивительно лирических мест, — где она холодно и отстранённо называет мужа «Ильичом», а их аскетическую жизнь изображает наполненной лишь долгом и трудом. Её письма и доверительные беседы с друзьями говорят о другом. Много лет спустя она сказала об их ранней жизни в ссылке: «Мы были тогда молоды, мы только что поженились, мы были глубоко влюблены друг в друга. Мы были новобрачными, понимаете, и внесли красоту в эту ссылку. Если я не писала об этом в своих воспоминаниях, это не значит, что в нашей жизни не было ни поэзии, ни юношеской страсти».[16]

Надя писала ласковые письма семье Владимира, даже Анне Ульяновой, с которой они так и не смогли по-настоящему поладить, — до неё дошли слухи о замечании про «селёдку». Она добавляла длинные, восторженные постскриптумы к его письмам домой. И между совместной работой они находили немало времени друг для друга. «Он просит меня будить его в восемь утра или в половине восьмого, но мои усилия обычно тщетны: он издаёт пару ворчаний, натягивает одеяло на голову и снова засыпает», — замечала она его сёстрам. Её письма полны лёгкости, бодрости и нежности. Позднее она вспоминала сибирскую ссылку как один из самых счастливых периодов своей жизни.

Он был ведущей фигурой в этих отношениях, но по-своему любил её. Она делала для него бесчисленные мелкие услуги — от переписывания набело его рукописей до наведения порядка и уборки в их домах. Она редко бывала требовательной — вероятно, в этом и заключался один из секретов их мирной совместной жизни. Но она умела и ответить, и поддразнить его, особенно по поводу его охотничьих способностей. Снова и снова она писала его матери и сёстрам, что он уходит на долгие часы, облачённый в кожу, бриджи и охотничью куртку, и возвращается с пустыми руками. Однажды они пошли гулять от своей избы. Он взял ружьё, но сказал: «Знаешь, если мне что-нибудь попадётся, я стрелять не стану, потому что я не взял сумку, а нести было бы неудобно». Но когда «он увидел зайца, он всё-таки выстрелил в него… хотя и промахнулся, потому что… слишком легко приходит в возбуждение». В другой раз, заметив у дороги стайку куропаток, «он застонал от восторга, прицелился и выстрелил… но птица просто ушла прочь, даже не потрудившись взлететь».

Она удивляется его пылу, с которым он собирается на рыбалку, а затем умолкает о ней по возвращении, когда приходит домой «без единой, даже самой маленькой рыбёшки». «Сначала Володя объявил, что не умеет собирать грибы и не любит этого, а теперь его из леса не вытащишь. У него настоящий “грибной жар”. На будущий год мы намерены завести огород, и Володя уже согласился копать грядки». Она писала его матери, что ему поручили купить

[16] Надя о своей ранней супружеской жизни: цит. по McNeal, p. 197.

материю на кофточку для соседской девочки, а он вместо того, чтобы спросить о размере, спросил: «сколько фунтов?»

Они устроились в ссылке удобно, с привычной близостью и лёгкостью. Им даже удавалось принимать гостей. На первое Рождество после свадьбы они ожидали компанию. «Почти весь округ был в деревне, так что мы встретили Новый год очень приятно на большой вечеринке… главное было — великолепное настроение. Мы сварили глинтвейн; когда он был готов, поставили стрелки часов на “12” и проводили старый год как следует; все пели кто что мог, произносились прекрасные тосты — “За матерей”, “За всех наших друзей” и т. д., и плясали под гитару… Это был настоящий праздник. Володя бился за шахматной доской. Потом мы пошли кататься на коньках».

В двадцати минутах от их дома было место, которое она называла «заколдованным царством», откуда открывался лучший вид на горы, а в мороз «подо льдом можно было совершенно отчётливо видеть каждую рыбку и каждый камешек». В конце марта 1899 года они оба написали Марии совместное письмо: «Весна чувствуется в воздухе. Лёд на реке всё время покрыт водой, и воробьи в ивняке яростно чирикают; быки мычат, проходя вверх и вниз по улице, а хозяйская курица под печкой так громко кудахчет по утрам, что всех будит».

Семья Ульяновых мягко подталкивала Надю к тому, чтобы она произвела на свет наследника. Но через восемь месяцев после свадьбы она писала Марии Александровне: «Что касается моего здоровья, то я совершенно здорова, но насчёт появления “птички” — тут дело, к сожалению, плохо. Никакая птичка прилетать не хочет».[17]

Ссылка Владимира закончилась 29 января 1900 года. Но одним из условий его освобождения было то, что он не мог жить ни в одном крупном городе или университетском центре, где мог бы развращать студентов революционными идеями. Он выбрал для поселения, по крайней мере на первых порах, Псков, в 140 километрах к юго-западу от Петербурга, откуда можно было легко поддерживать связь с товарищами в столице. Наде же оставалось отбыть ещё шесть месяцев ссылки, и она была обязана оставаться в Уфе, небольшом городе в западной Сибири, до конца срока. «Очень жаль было расставаться как раз тогда, когда начиналась настоящая работа. Но Владимиру Ильичу и в голову не приходило остаться в Уфе, когда существовала возможность перебраться поближе к Петербургу», — с горечью писала она. Она умела правильно мерить свои ожидания.

10 февраля они выехали из Шушенского на санях, уложив в сундуки книги общим весом 175 килограммов. До Уфы добирались три недели, и там он оставил Надю и её мать, обещая вернуться в июне, если власти позволят.

В своей обычной манере он нарушил условия своей «подписки» уже через несколько дней. Пока он находился в Сибири, в белорусском городе Минске, между 1 и 3 марта 1898 года, был сделан важнейший шаг в революционной борьбе за многие десятилетия — без него. Российская социал-демократическая рабочая партия была создана как первая в России открыто марксистская политическая партия. Несмотря на бесконечные расколы, перемены названия и различные формы существования, именно она станет Коммунистической партией, пришедшей к власти в России и правившей Советским Союзом семьдесят лет. Хотя Владимир лично там не присутствовал, партия во многом будет создана по его образу.

Замысел состоял в том, чтобы объединить различные группы марксистских революционеров в одну организацию, включая, впервые, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в России

---

[17] Письма Нади матери и сёстрам Ленина об охоте: 9 сентября и 11 октября 1898 г., *CW*, т. 44, с. 587 и 593 соответственно; о беременности: 12 октября 1899 г., *CW*, т. 44, с. 616.

и группу «Освобождение труда», связанную с Плехановым, Аксельродом, Верой Засулич и другими эмигрантами в Европе. Были представлены различные оттенки марксистского мнения, но главная цель — свержение Романовых и создание социалистической республики — была общей. Начало оказалось катастрофическим. Партия была пронизана тайной полицией сверху донизу, и та знала об организации всё. На учредительном собрании присутствовали девять человек; в течение нескольких недель арестовали всех, кроме одного. Второй съезд, назначенный на следующий год в Смоленске, так и не состоялся, потому что большинство делегатов было арестовано по дороге. И всё же РСДРП выжила и стала самой влиятельной из всех революционных партий в России — главным образом благодаря организаторскому дару и тактическому гению Владимира Ульянова.

Хотя он должен был оставаться в Пскове и за ним пристально следила Охранка, ему несколько раз удалось ускользнуть от полицейских надзирателей, чтобы присутствовать на собраниях. Он ездил в Москву повидать мать и сестёр. В мае он написал министру внутренних дел, «покорнейше прося как дворянин по рождению В. И. Ульянов» разрешить ему навестить жену в Уфе. Когда ему отказали, он всё равно поехал. Надя несколько раз писала ему с жалобами на нездоровье. Он послал ей деньги на лечение и в середине июня, сильно замаскировавшись, отправился к ней. Она никогда не говорила о той гинекологической болезни, которой страдала в 1900 году и которая, возможно, была причиной того, что у них так и не было детей, а Владимир упомянул о ней лишь однажды. «Надя должна ещё отдыхать, — писал он матери. — Доктор нашёл, как она писала мне неделю назад, что её [женская] болезнь требует продолжительного лечения и что она должна отдыхать 4–6 недель. Я… [дал] ей ещё денег, так как необходимое лечение будет довольно дорого стоить».

Но на этот раз удача ему изменила. Он и один товарищ по РСДРП ехали в поезде в Петербург — город, куда ему специально было запрещено въезжать, — когда он заподозрил, что за ними следят. Они сошли с поезда в Царском Селе, где царь Николай жил большую часть года в своей главной резиденции, и поздно вечером пересели на пригородный поезд до столицы. Рано утром следующего дня Владимира арестовали: при нём были два чемодана, доверху набитые подрывной партийной литературой. «Как же глупо было с вашей стороны пересаживаться именно там, — сказал ему офицер Охранки, который его задержал. — Вы должны знать, что в Царском за каждым кустом стоит агент».[18]

Он снова заявил о своей невиновности, но его продержали неделю, а затем отпустили. Около 1500 рублей, которые он намеревался передать местной партийной организации как столь необходимые средства, были конфискованы. Однако он оставался на свободе. Владимир был одним из главных руководителей новой партии и, как и группа в Швейцарии во главе с Плехановым, был убеждён, что важнее всего партии нужен орган печати, который популяризировал бы её идеи, — «центральный орган, который и был бы партией», как он выражался, — и проводил бы авторитетную политическую линию.

Но при том, что Охранка постоянно сидела у него на хвосте, а двойные агенты были рассеяны по всей России, выпускать такой журнал в самой стране было невозможно. Он снова умолял министра внутренних дел, опять как «потомственный дворянин», разрешить ему выехать из России в Германию. В конце июля 1900 года ему разрешили уехать — на том основании, как рассудила тайная полиция, что за границей он доставит меньше хлопот, чем дома. Надя должна была присоединиться к нему за границей, когда её срок ссылки окончится и здоровье

[18]Арест в Царском Селе: Service, p. 156, и Fischer, p. 133. Болезнь Нади: письмо матери от 6 апреля 1900 г., *CW*, т. 44, с. 637.

улучшится. Название новой газеты он уже придумал — с отголоском декабристской традиции: *Искра*. Прошло бы больше пяти лет, прежде чем он снова увидел Россию.

ГЛАВА 11. Рождается Ленин

«Лучшие, наиболее мыслящие и культурные… [русские] люди конца девятнадцатого века жили не в настоящем, которое внушало им отвращение, а в будущем или в прошлом».
Николай Бердяев (1874–1948)

Впервые Владимир Ульянов использовал имя, под которым ему предстояло стать знаменитым, в январе 1901 года, в письме к Георгию Плеханову. За свою жизнь он взял более сотни псевдонимов, некоторые — лишь один или два раза. Почему именно Ленин стало именем, которое за ним закрепилось, неясно, но вскоре он начал явно отдавать ему предпочтение, хотя ещё некоторое время потом время от времени пользовался и несколькими другими. Свою первую книгу он написал под именем Н. Ильин, а длинный ряд статей — под, казалось бы, случайными инициалами или усечёнными именами: К. Тулин, Карпов, Л. Ул, Петров, Ф. Пу, Старик, К. Т. С., Пинючев. У него были фальшивые паспорта на несколько разных имён, в том числе Вильгельм Фрей, Якоб Рихтер, доктор Джордан Джурданов и Виллем Мейер. Изначально такое множество псевдонимов было продиктовано соображениями безопасности, как способом запутать тайную полицию.

Но охранка никогда не теряла след надолго, и нередко подобные уловки доставляли не меньше хлопот его собственным товарищам, чем «врагу».[1] Разумеется, сокрытие личностей, создание шифров и кличек и соблюдение строгой конспирации были важны в любой заговорщической сети, а притязание Ленина на руководство основывалось не только на его умении вдохновлять словом или пером, но и на его организационной хватке как человека, умеющего строить заговор. Но Ленин был человеком чрезвычайно скрытным, которому нравился весь этот плащ-и-кинжальный элемент революционного подполья. Это вошло у него в привычку, от которой он уже не мог отказаться, хотя редко предпринимал к тому серьёзные усилия. Тайна стала образом жизни.

Ленин никогда не объяснял, откуда взялось это имя, и даже Надя признавалась, что не имеет представления о его происхождении. Всегда предполагалось, что оно как-то связано с рекой Леной в Сибири, но полной уверенности нет ни у кого. Если он искал псевдоним с речной отсылкой, то более очевидным выбором могла бы стать Волга, на которой он родился и которую любил с детства. Но несколькими годами ранее Плеханов уже взял себе псевдоним Волгин. И всё же можно лишь гадать, насколько иначе могла бы сложиться история, если бы русскую революцию возглавлял человек по имени Владимир Волгин, вдохновивший учение под названием марксизм-волгинизм. К концу 1901 года он уже был широко известен во всём революционном движении — и в шпионских службах Европы — как Ленин, или, чаще, по отчеству, Ильич, как знак уважения.

Характерно, что первые письма Ленина под новым именем были полны брани в адрес буржуазии и «либералов», которые полагают, что «революции можно делать людям в лайковых перчатках». Объективно, утверждал он, либералы стоят на стороне самодержавия. Плеханов пришёл в ярость от недипломатичной несдержанности молодого человека. «Вы поворачиваетесь к либералам задом, — отвечал он. — А мы [то есть старшее поколение

[1] В русском праве — при царях, потом при коммунистах и, в изменённом виде, даже в постсоветскую эпоху — всякий, кто прибывал в новый город, пусть даже на несколько дней, был обязан зарегистрироваться в полиции. Людям было сравнительно легко принимать различные чужие имена. Часто это требовало времени, но охранка неизменно в конце концов понимала, что происходит. Правда, обычно уже после того, как новый приезжий, скорее всего, покидал город. И вся работа шпионов в долгосрочной перспективе мало помогала защитить режим.

радикалов] поворачиваемся к ним лицом. Вам следует смягчить свои выражения. Сейчас нет нужды поносить либералов вообще. Это нетактично. Надо взывать от дурного либерала к хорошему либералу, каковы бы ни были сомнения относительно существования таковых… Тех, кого вы презрительно именуете либералами, спекулянтами собственностью и проч., не следует так называть. Либерализм сам по себе заслуживает уважения. Мы должны смотреть на либералов как на возможных союзников, но ваш язык… совсем не язык союзника. Смягчите его, дорогой мой!» В ответ он заявил, что не желает видеть в партии либералов, оказывающих революции молчаливую поддержку: «Партия — не институт благородных девиц. Революция — дело грязное». Это были одни из первых слов, написанных им под псевдонимом Ленин.[2]

Ленин обосновался в Мюнхене. Он снял две комнаты в меблированном доме в рабочем предместье Швабинг и начал хлопотать о том, чтобы к нему приехали Надя и её мать. Очень немногие письма между Лениным и Надей сохранились, и он вообще редко писал эмоционально о своей внутренней жизни. Но в одном письме, относящемся к этому периоду разлуки, после слов о том, как сильно он по ней скучает, он говорит, как одинок, и что «при всей здешней суматохе я живу совсем недурно, даже слишком недурно, и это несмотря на особые, чрезвычайные меры защиты от суматохи! Я бы почти сказал, что живу в одиночестве — и всё же среди суматохи. Полагаю, в моём новом положении суматоха неизбежна, неотвратима, и было бы грехом не возблагодарить Бога за то, что я не так нервен… [как другие революционеры в изгнании] … Наряду с этой суматохой есть и много хорошего».[3]

Почти то же самое он писал и матери, сообщая, что жильё у него удобное — рядом парк с зеленью, хорошее трамвайное сообщение с центром города и неподалёку общественный бассейн, куда он ходит каждый день. Но зимой 1900–1901 годов он описывал и свою меланхолию. «Без снега неприятно. Меня тошнит от этой слякоти; скучно, и я с удовольствием вспоминаю нашу настоящую русскую зиму — сани и ясный морозный воздух. Я провожу свою первую зиму за границей, хотя зимой мне это вовсе не кажется. Не могу сказать, что доволен, хотя временами бывают хорошие дни, вроде тех, какие бывают у нас хорошей осенью. Жизнь моя идёт, как обычно, довольно одиноко… и, к сожалению, довольно бессмысленно. Надеюсь начать свои занятия более систематически, но как-то никак не удаётся. Вероятно, весной будет лучше, и тогда я войду в колею. Насидевшись в Шушенском и размышляя о России и Европе, я жажду мирной книжной работы, и только сама странность жизни за границей мешает мне как следует за неё взяться».[4]

Супруги воссоединились в середине апреля при обстоятельствах почти фарсовых. Пытаясь запутать тайную полицию, они в итоге запутали друг друга. Надя ехала по поддельному болгарскому паспорту на имя фрау Маритцен. Изначально она должна была встретиться с Лениным в Праге. Ей сообщили, что на вокзале её встретит товарищ, но никто не явился. Тогда она отправилась по адресу, который он ей дал. Человек, которого она там встретила, оказался вовсе не Лениным, а неким чехом по имени господин Модрачек, который понятия не имел, зачем она здесь. Он предположил, что, возможно, некий господин Риттмейер в Мюнхене сможет всё объяснить.

Она села на ближайший поезд до Мюнхена. «Наученная опытом, я оставила багаж на вокзале», — вспоминала она. Трамваем она доехала до Швабинга, но когда добралась до адреса, который ей дали в Праге, то оказалось, что это пивная. «Я подошла к толстенькому немцу за стойкой и

---

[2] Письма Плеханова к Ленину о либералах: цит. по Ulam, с. 176. Ответы Ленина: *CW*, т. 44, с. 312.

[3] Письмо Ленина Наде из Мюнхена, 12 декабря 1900 года: *CW*, т. 44, с. 456

[4] Одиночество в Мюнхене: письмо матери, 3 января 1901 года, *CW*, т. 44, с. 487

робко спросила о господине Риттмейере, уже чувствуя, что что-то опять не так. — “Это я”, — сказал хозяин. — “Нет, это мой муж”, — пробормотала я. И мы стояли, глядя друг на друга, как пара идиотов. Наконец вошла жена Риттмейера и, взглянув на меня, сказала: “Ах… должно быть, это жена господина Мейера. Он ждёт её из Сибири. Я вас к нему отведу”».

Когда она наконец увидела Ленина, встреча получилась не совсем сентиментальной и уж точно не страстной. «Тьфу… Чёрт бы тебя побрал. Не мог, что ли, написать, где ты находишься?» Как бы мало гармонии ни было в этом воссоединении, именно тогда началась их настоящая совместная революционная работа.[5]

«Искра» едва не погасла, не успев разгореться. У Ленина было смелое видение «Искры».[6] Его план состоял в том, чтобы объединить разрозненные, слабо организованные и независимые марксистские «кружки» и «учебные группы» России в энергичную и быстро растущую Социал-демократическую рабочую партию, построенную вокруг газеты. Её отряд «тайных агентов» — таков был ленинский термин, сознательно избранный в противовес шпионам охранки, с которыми они должны были «вести боевые действия», — должен был провозить издание через границы в Россию. Её писатели и корреспонденты должны были составить тесно спаянную группу профессиональных конспираторов, разъезжающих по фабрикам и рабочим общинам. Их долг: завоёвывать влияние среди пролетариата и привязывать его к рабочему движению и ко всей революционной оппозиции. Они должны были приносить «социалистическое сознание» в каждую стачку и каждую мелкую схватку, связывая её с «более широкой борьбой». Они должны были учить рабочих смотреть дальше узкого местного горизонта — на всероссийское и международное — и поднимать их кругозор над пределы непосредственных нужд. «Искра», как выражался Ленин, «будет коллективным агитатором и коллективным организатором… огромными мехами, которые раздуют каждую искру классовой борьбы и народного негодования в общий пожар». Её редакторы станут вождями партии, её генеральным штабом и офицерским корпусом; «агенты» — её рядовыми бойцами. Партия поведёт рабочую борьбу — а в конечном счёте и всех прочих угнетённых и эксплуатируемых по всей России и во всём мире — к осаде самодержавия, к штурму бастионов привилегии повсюду и далее, к победе.[7]

Деньги на запуск газеты поступили главным образом от Александры Калмыковой, жены высокопоставленного чиновника и женщины весьма состоятельной сама по себе. Именно она дала 1 600 рублей, с которыми Ленин покинул Россию, а вскоре передала ему и ещё одну значительную сумму, которую сумела собрать среди друзей. Через восемнадцать месяцев она пожертвовала ещё 2 000 рублей уже из собственных средств. Она была знакомой Нади, если и не близкой подругой, и, как и та, преподавала в воскресной школе для рабочих в районе Невской заставы. Денег у неё было много, положение в обществе — высокое, но она «презирала высший круг», в котором богатство и ранг давали ей право вращаться.

Она открыла в модном районе Петербурга успешный книжный магазин и издательство, торговавшие дешёвыми изданиями популярных книг. Туда ходили все: солидная средняя публика — в переднюю часть магазина, а радикалы — в заднюю, где распространялся самиздат. Респектабельность Калмыковой и её связи защищали её — до известного предела. Она тайно продавала запрещённую радикальную литературу и была чрезвычайно важна для ленинского подпольного движения, получив, не отличаясь особой оригинальностью, кличку «Тётка». Её

---

[5] Встреча Нади с Лениным в Мюнхене: Krupskaya, *Воспоминания*, с. 93–96.

[6] Декабристы провозгласили: «Из искры возгорится пламя» — этот лозунг стоял на шапке «Искры»

[7] «Искра» как «коллективный агитатор»: *CW*, т. 5, с. 115

щедрый фонд для запуска и поддержки газеты получил собственное кодовое название: «ведро».[8]

Когда вскоре у газеты, а вместе с ней и у партии, начались денежные затруднения, их выручил щедрый субсидий текстильного магната Саввы Морозова, друга Горького, который давал Ленину 2 000 рублей в месяц. Морозов был, конечно, вовсе не революционным социалистом, но являлся проницательным предпринимателем, убеждённым, что монархия Романовых обречена, и прекрасно знавшим, как подстраховать свои ставки. Как он сказал Леониду Красину, одному из самых твёрдых ленинских сподвижников, «в наши дни необходимо быть друзьями своих врагов».[9]

Главным препятствием к запуску «Искры» были не деньги и не политика. Это была личная проблема. Важно было привлечь Плеханова. Он всё ещё оставался самым известным русским радикалом и влиятельной фигурой на международном левом фланге. Он полагал, что как человек старший и более знаменитый именно он будет руководителем группы «Искры», по существу партийным главой, её направляющим духом и главным стратегом. «Но у Ленина были иные замыслы», — вспоминал Александр Потресов, один из соучредителей газеты. Ленин рассчитывал, что Плеханов будет фигурой представительской и не станет вмешиваться в повседневные дела «Искры», оставив ему самому руководство газетой — а вместе с тем и партийной организацией.

Столкновение между ними произошло из-за вещей, по сути, мелких, но чрезвычайно драматичных. Первый намёк на разлад появился тогда, когда Ленин написал редакционную «декларацию о намерениях» для первого номера газеты. Плеханов высокомерно заявил, что это слабая вещь. Он не возражал против каких-либо доводов, а просто сказал, что текст плохо написан и «слишком приземлён по тону». Ленин был глубоко уязвлён, когда Плеханов написал ему: «Это не “написано”, как говорят французы. Это не литературное произведение. Это ни на что не похоже». Плеханов забрал текст с собой, заявив, что поработает над статьёй, чтобы «поднять тон», но через несколько дней вернул её почти без изменений. Ленин был возмущён. «Моё увлечение Плехановым исчезло как по волшебству, и я почувствовал себя оскорблённым и озлобленным до невероятной степени. Никогда, никогда в жизни я не относился ни к одному другому человеку с таким искренним уважением и почтением, никогда не стоял ни перед кем с такой смиренной покорностью и никогда прежде не был так грубо пнут… не могло быть

---

[8] С Лениным Калмыкову познакомил Пётр Струве, некогда социалистический соратник, но вскоре начавший отход от радикального левого лагеря к либеральному центру. Она была любовницей Струве, будучи на двадцать лет старше его, и в приличном обществе называла его «моим приёмным сыном» — хотя, разумеется, никто ей не верил. Как и большинство людей, в тот или иной момент Калмыкова поссорится с Лениным из-за политики, особенно во время затяжного раскола между большевиками и меньшевиками, которому вскоре предстояло захлестнуть революционное движение. На многие годы она добровольно ушла в изгнание, но после 1917 года вернулась в Россию и попыталась восстановить дружбу — по крайней мере с Надей. После революции она обменялась с Лениным несколькими прохладными и формальными письмами. Но больше они никогда не встречались. Надя порой умела пользоваться изысканной иронией: «В 1922 году Владимир Ильич написал Александре Михайловне несколько строк горячего приветствия — таких, какие умел писать только он»

[9] Морозов (1862–1905) был беспощадным предпринимателем, щедрым покровителем искусств — у него была большая коллекция французской импрессионистской живописи — и крупным филантропом. Он жертвовал больницам и школам, обучавшим грамоте крестьян и рабочих. Он был щедрым благотворителем театров, но драматург Чехов, пользовавшийся его щедротами, вовсе не был им очарован. Когда пошли слухи, что Морозов финансово поддерживает Ленина, он заметил: «Савва… мечется перед революцией, как чёрт перед зарёй». Морозов был подвержен тяжёлым депрессиям. В 1905 году он застрелился на своей вилле на Лазурном берегу.

сомнения, что этот человек дурной, да, дурной, побуждаемый мелкими мотивами личного тщеславия и самодовольства, — человек неискренний».

Ленин ездил туда и обратно между Мюнхеном и домом Плеханова на берегу Женевского озера, проводя одну встречу за другой, чтобы всё уладить. После одной особенно горькой стычки Ленин, бывший в компании одного из младших революционеров, Потресова, уже не смог сдержать ярости. «Если бы мы не испытывали такой любви [к Плеханову], если бы вели себя с ним более осмотрительно, мы не пережили бы такого сокрушительного крушения, такого духовного ледяного душа… Это был чрезвычайно тяжёлый, болезненно суровый урок. Открытие это поразило нас как громом, потому что до того момента мы оба были влюблены в Плеханова и, как это бывает с любимыми, всё ему прощали, закрывали глаза на его недостатки… Наше негодование не знало границ. Наш идеал был разрушен. Двое молодых товарищей "ухаживали" за старшим товарищем из великой любви к нему, и вдруг он вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а идиотами, которых водят за нос, пешками, которыми можно безнаказанно двигать, бессильными карьеристами, которых надо запугать и подавить. И влюблённая юность получает горький урок от предмета своей любви: смотреть на всех людей без "сентиментальности", держать камень в праще… Ослеплённые любовью, мы в самом деле вели себя как рабы».[10]

Когда Плеханов пригрозил выйти из редакционной коллегии, Ленин и его немногочисленные сторонники согласились дать старшему товарищу два голоса — о чём почти сразу пожалели, поняв, что он будет использовать любую возможность, чтобы навязывать свою волю. В какой-то момент Ленин, выведенный из себя, даже пригрозил порвать отношения после того, как Плеханов раскритиковал другую представленную им статью — «Аграрная программа социал-демократии». «Я получил статью с вашими замечаниями, — писал он в ответ. — У вас превосходное понятие о такте по отношению к вашим товарищам по редакции. Вы ничуть не стесняете себя в выборе самых презрительных выражений… Мне хотелось бы знать, что бы вы сказали, если бы я ответил вам на вашу статью таким же образом? Если вы стремитесь сделать нашу совместную работу невозможной, то избранный вами путь очень быстро приведёт к этой цели. Что же касается наших личных, помимо рабочих, отношений, то вы окончательно их испортили — или, точнее, довели до полного прекращения». И на сей раз ссору удалось замять, но атмосфера постоянной раздражительности брала своё.[11]

Впрочем, Ленин одержал одну важную победу. Сначала Плеханов и другие считали само собой разумеющимся, что газета будет выходить в Швейцарии, чтобы он мог держать её под непосредственным контролем. Но в Швейцарии оказалось трудно найти типографа, готового рискнуть и печатать её. Германия располагала более передовыми и совершенными типографиями, крупным социалистическим движением и гораздо более эффективными связями с остальной Европой. Поэтому было решено издавать «Искру» в Германии, хотя редакционная коллегия состояла из Плеханова и Аксельрода в Швейцарии, Засулич в Лондоне и Ленина в Мюнхене. Он нашёл типографа с подпольной печатней неподалёку от своих комнат в Швабинге. Там был изощрённый встроенный механизм самоуничтожения, так что, если

---

[10] Столкновение Плеханова и Ленина из-за *Газеты "Искра"*, цитаты Ленина: *How the "Spark" was nearly extinguished*, *CW*, т. 5, с. 197–198.

[11] Вскоре после этого случая Вера Засулич сказала Ленину: «Георгий [Плеханов] — борзая. Он треплет, треплет противника и отпускает; а вы — бульдог, у вас смертельная хватка». Ленин потом ходил и пересказывал эту историю, повторяя выражение «смертельная хватка», явно смакуя его. Засулич вовсе не хотела польстить ему. Со временем она возненавидела Ленина и не могла выносить его присутствия в одной комнате. С другой стороны, Лидия Дан, сестра Юлия Мартова, которая тоже терпеть не могла Ленина, описывала Плеханова как «великого человека с огромным количеством мелочных черт».

полиция нагрянет — а такая возможность всё время сохранялась на протяжении всего ленинского пребывания в Германии, — шрифт и «форма», с которой печаталась страница, были бы тут же разрушены, а незаконный характер содержания скрыт.

Первый номер вышел 11 декабря 1900 года и включал три ленинских материала. Самым важным из них был тот, где намечалась программа партии и способы её организации. В нём уже содержалась сущность того, что позже назовут ленинизмом, и основные тактические принципы, которыми он и его большевики будут пользоваться для завоевания поддержки и захвата власти. Он говорил рабочим: «Не ограничивайтесь организацией обществ взаимопомощи, стачечных касс и рабочих кружков. Организуйтесь для тесной борьбы против самодержавного правительства и против всего капиталистического общества. Без такой организации пролетариат не способен подняться до сознательной классовой борьбы… Без такой организации рабочее движение обречено на бессилие. Рабочему классу нужен социалистический авангард людей, которые посвятят революции не только свои свободные вечера, но всю свою жизнь».[12]

Печатать газету и управляться с уязвлённым самолюбием было и без того непросто. Но распространение издания внутри России представляло собой громадную проблему, при том что для ленинской стратегии революции и завоевания власти в партии оно было жизненно важно. «Искру» нужно было тайно ввозить в страну по различным маршрутам, и переправка экземпляров через таможню и мимо тайной полиции превращалась в сложную и опасную игру в кошки-мышки.

Ленин в большой степени опирался на профессиональных контрабандистов, которые забирали пачки номеров в нескольких «конспиративных квартирах» с одного склада в Берлине. Обычно их перевозили через русскую границу вместе с другим запрещённым товаром, часто в чемоданах с двойным дном. Русский связной принимал пачки и передавал их агенту, а тот затем — другому социал-демократу из другого города или губернии для местного распространения. «Искру» всегда передавали из рук в руки, никогда — по почте. Уже попав в руки местных организаций, она распространялась партийными активистами, наклеивалась на стены, тайком проносилась на фабрики и в казармы, а в нескольких случаях — с огромным риском — сбрасывалась с театральных галерей на публику внизу.

Иногда и обычные путешественники соглашались перевозить небольшие партии газеты. Самые странные, самые кружные маршруты возникали стихийно, почти случайно. Однажды судовой повар получил пачки в Марселе и отправился в небольшой грузинский порт Батум. Там он сбросил их в море в водонепроницаемых пакетах, которые выловили местные социал-демократы и затем переправили за сотни миль в Баку и Одессу. Другие партии приходили из столь удалённых друг от друга мест, как Тулон, Александрия и Тебриз на севере Ирана. Один из постоянных маршрутов проходил через северную оконечность Норвегии у Полярного круга: пачки, обёрнутые в жиронепроницаемую бумагу, прятали в ящиках с солёной рыбой. Нередко материалы перехватывали русские власти, иногда они терялись по дороге, а иной раз перевозчик оказывался двойным агентом и выдавал других. Одна партия десятилетиями пролежала невостребованной на складе в Стокгольме. Ленин подсчитывал, что в итоге проходило не более 10 процентов отправлений, — но, говорил он, этого было как раз достаточно, чтобы всё предприятие имело смысл.[13]

---

[12] Письмо Плеханову о редактировании *Газеты "Искра"*: 4 января 1901 года, *CW*, т. 44, с. 276–277. Статья Ленина в первом номере: 11 декабря 1900 года, *CW*, т. 5, с. 276–281.

[13] Контрабандная доставка *Газеты "Искра"*: Service, с. 132–136, и Rappaport, с. 152–156.

Сам Ленин лично шёл на немногие риски. За ним следила германская полиция, как и агенты охранки в Европе. Но его и его мюнхенскую деятельность они не трогали. Зато его агенты в России постоянно подвергались опасности. Десятки из них были арестованы, заключены в тюрьмы и сосланы в Сибирь. Контрабандисты «Искры» были пёстрой компанией. Один надёжный товарищ, Владимир Смирнов, который позднее станет крупным чиновником советского режима,[14] организовал тайный путь через Швецию и Финляндию, используя свою мать Виргинию как одного из курьеров. Она часто ездила в Петербург из своего дома в Гельсингфорсе (ныне финская столица Хельсинки), везя под вязаньем экземпляры газеты и совершенно секретные списки зашифрованных адресов подписчиков «Искры». Никто её не подозревал и никому не приходило в голову остановить «добрую старушку, похожую на детскую няню». Знаменитая финская оперная певица Айно Акте была сочувствующей РСДРП и финской националисткой; возвращаясь из западных гастролей, она перевозила в своём багаже материалы для партии.

Верно, что карательный режим в царской России не был столь жесток, каким станет большевистский строй, а охранка — не столь кровожадной, как ленинская ЧК. Но речь здесь идёт о степенях, а не о разных категориях. Тысячи «подрывных элементов» умирали от болезней, небрежения и голода в сибирской ссылке и в тюрьмах за «преступление» чтения или издания запрещённой литературы, которая нередко содержала не более радикальные мысли, чем статьи с предложениями умеренно либеральных демократических реформ в России, обычных для других стран Европы. Многих казнили вовсе без суда. В особенности тайная полиция всегда охотилась за нелегальными типографиями, которые были тщательно охраняемым секретом и местонахождение которых знали немногие активисты. На них можно было воспроизводить «экземпляры» «Искры», а также другие материалы, которые охранка считала опасными. В сентябре 1901 года молодой грузинский революционер Ладо Кецховели раздобыл в Тифлисе сложную (и дорогую) ротационную печатную машину. Его арестовали, и тайная полиция несколько дней беспощадно пытала его, чтобы узнать, где она спрятана. Но он не сказал. Его застрелили в тюремной камере.[15][16]

Газета была рассчитана главным образом на уже обращённых марксистов, в достаточной степени политически осведомлённых, — в идеале, как это видел Ленин, на образованных рабочих. Для интеллектуального читателя там имелись некоторые теоретические статьи, но было и много прямой пропаганды и новостей о стачках и политических волнениях, которых нельзя было найти ни в каких других изданиях. Газета становилась популярной и вне марксистских кругов; её влияние далеко превосходило её скромный тираж. Экземпляров никогда не хватало на всех. Для Ленина важно было, чтобы рабочие вообще знали о существовании «Искры». Его всегда особенно воодушевляло, когда он слышал, что грамотные рабочие читают газету вслух другим, менее образованным товарищам, а затем одна группа передаёт свой экземпляр другой, пока истёртые листки не распадаются в руках.

Ленин — а позднее и Надя, когда она приехала в Мюнхен и была назначена секретарём группы «Искры», — выполняли большую часть организационной чёрной работы, необходимой для выпуска газеты. Он беспокоился о каждой мелочи — от размера шрифта, причём он наставлял

---

[14] Он был женат на Карин Стриндберг, дочери шведского драматурга, и благодаря этому завязал широкие связи в социалистических партиях Скандинавии.

[15] Всё в революционном подполье имело своё якобы секретное кодовое название. Типография в Тифлисе называлась «Лидия» и продолжала действовать в течение следующих четырёх лет — будучи бесценным инструментом внутри организации «Искры».

[16] Расшифровка писем: Krupskaya, *Воспоминания*, с. 179–181, и Rappaport, с. 162–165.

авторов и других редакторов, почему следует выбирать гарнитуру, позволяющую уместить максимум слов на полосе, как бы она при этом ни выглядела, — до редакционной линии: «мы должны вести дело так, чтобы партия была организована в один голос».

Ленин становился всё более властным и всё менее терпеливым к тем, кто с ним не соглашался. Но у него был дар очаровывать авторов: лесть, как это всегда бывало с журналистами, неизменно производила действие. «Разумеется, он предлагал “улучшения” в работе других авторов, — говорила Надя. — Но делал это так деликатно и тактично, что авторы едва замечали, что их поправляют». Когда он предлагал кому-нибудь тему статьи, он умел сделать вид, будто мысль исходит от самого автора, а не от него, хотя в готовом тексте «на деле уже были использованы именно слова и обороты Ильича». В техническом смысле он был первоклассным журналистом и временами мог быть вдохновенным редактором.

Ленинская склонность к распорядку и порядку навязывалась и остальным сотрудникам. Утро он проводил в библиотеке. Работа над «Искрой» начиналась сразу после обеда, когда кто-нибудь приносил почту. Как главный редактор, Ленин имел право первым просматривать всю корреспонденцию, и его раздражало, когда кто-нибудь пытался читать её через его плечо или уносил одну из газет в кафе. Работа Нади состояла в том, чтобы «гладить» письма и искать закодированные сообщения, написанные молоком, лимонным соком или невидимыми чернилами. Именно из них он узнавал, что происходит внутри партии в России.

Ленин был суровым начальником. Он сердился, если расшифровщики, даже Надя, допускали ошибки. Лидия Дан, одна из помощниц в «Искре» в ранние годы, говорила, что весь процесс расшифровки был «делом рискованным из-за ленинских настроений. Он совершенно не мог переносить плохой дешифровки… Так же не мог он мириться и с медленной работой или задержками».

Ленин и его жена несли на себе основную тяжесть труда. Но «Искра» не имела бы и половины того влияния, которое приобрела в радикально-левых кругах, если бы не Юлий Мартов. Ленин был мозгом газеты, Мартов — её сердцем. Эти двое не могли быть более непохожими, но в течение нескольких лет Мартов был самым близким другом-мужчиной, какого имел Ленин. В их ранние тридцать казалось, будто их соединяет такая прочная связь, что ничто не сможет их разлучить. А между тем в последние два десятилетия их жизни ожесточённая вражда между ними стала одной из главных причин непримиримого раскола в русском революционном левом движении.

Юлий Осипович Цедербаум — прозвищем Мартов его называли ещё со времён гимназии — был самым привлекательным из всех ведущих русских радикалов. Он родился в 1873 году в буржуазной еврейской семье в Константинополе. Его отец был торговцем сырьём и корреспондентом в Турции для двух ведущих петербургских газет. Мать была изящной венской дамой из крепкого среднего сословия; атмосфера в семье была либеральной, художественной, просвещённой и утончённой. Когда Мартову было четыре года, семья вернулась в Одессу.

Мартов, низкорослый, коренастый человек, всегда носивший густую окладистую бороду и пенсне, радикализировался рано. Он отказался от умеренного либерализма своих родителей и обратился к марксизму ещё в подростковом возрасте. К восемнадцати годам он уже успел отсидеть короткий срок за распространение запрещённой литературы и был лишён права поступать в университет, хотя ему разрешили жить в Петербурге. Затем, в двадцать лет, его вновь посадили и запретили проживание в Петербурге и в любом другом университетском городе, где он мог бы развращать молодёжь.

С Лениным они впервые встретились в 1894 году; «они просто проговорили весь вечер, всю ночь без сна и весь следующий день без перерыва», — вспоминала сестра Мартова Лидия. Они были

соучредителями «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и почти одновременно были сосланы в Сибирь, хотя за разные проступки. Пока Ленин отбывал срок в «сибирской Италии» — Шушенском, Мартову, как и большинству еврейских «политических», выпала куда более суровая участь. Он провёл три года на ледяном севере, в Туруханске, где условия были ужасающими. Его здоровье подорвалось, и именно тогда появились первые признаки туберкулёза, который убьёт его, не дав дожить и до пятидесяти. Ленин просил власти перевести его в менее тяжёлое место, но его просьбы остались без внимания.[17]

Мартов был хаотичен там, где Ленин был собран; богемный, тогда как привычки Ленина были весьма буржуазны; чрезвычайно эксцентричен там, где Ленин оставался традиционен. Мартов был порывист и сердечен, чрезвычайно популярная фигура с печальным видом, который никак не соответствовал его в сущности весёлому нраву. «Он по склонности своей был завсегдатаем кафе, равнодушным к удобствам, вечно спорящим и болтающим», — говорил Потресов. У него был блистательный ум и заразительное чувство веселья. И всё же во многом он был марксистом более ортодоксальным, чем Ленин, столь же строгим в толковании пророческого учения Маркса и столь же бдительным к еретическим отклонениям, которые могли бы размыть теорию. «Это был самый умный человек из всех, кого я когда-либо встречал», — говорил Николай Суханов, великий летописец русской революции и сторонник Мартова. «Но в действии он был прискорбно слаб». Другой почитатель назвал Мартова «Гамлетом русской революции».

В первые годы «Искры» они казались идеальной парой. Мартов буквально фонтанировал идеями для статей, заказывал их, а Ленин редактировал тексты и доводил их до пригодного для печати вида. В первый год существования «Искры» Мартов написал больше статей, чем Ленин. По-своему он был оригинальным автором, более воображающим, более «литературным», чем Ленин, но куда менее сосредоточенным и убедительным, чем Владимир Ильич в лучшие свои минуты.

Раньше большинства других Мартов начал видеть опасность в нетерпимой надменности Ленина. Даже в пору их личной близости у него были сомнения относительно ленинского стиля и властной натуры. «У Владимира Ильича ещё не было, или было в меньшей степени, той уверенности в собственной силе — не говоря уже о своём историческом призвании, — которая столь ярко проявилась в зрелые годы… Тогда он был ещё [в начале третьего десятка]… и ещё не был исполнен того презрения и недоверия к людям, которые, как мне кажется, и сделали из него определённый тип вождя». Ленин, добавлял он, «не способен к дружбе; он слишком использует людей».

За два года в Мюнхене Ленин, как выразился другой редактор «Искры», Потресов, утверждал своё положение: «Плеханова почитали, Мартова любили, но только за Лениным шли безоговорочно, как за бесспорным вождём. Ибо только Ленин воплощал собою… фигуру железной воли, неукротимой энергии, соединявшую фанатическую веру в движение, в дело, с такой же великой верой в самого себя. Людовик XIV мог сказать: “Государство — это я”; так и

[17] Как бы подростково это ни выглядело, но, как рассказывают свидетели, в Лондоне в 1902 году они видели, как Ленин и Мартов «пили брудершафт» — немецкий обычай, усвоенный русским средним классом: двое мужчин становятся рядом, переплетают руки, целуются в щёку, называют друг друга «братом» и обращаются друг к другу на «ты»

Ленин без лишних слов всегда чувствовал, что он и есть партия, что он — воля движения, сосредоточенная в одном человеке. И действовал соответственно».[18]

[18] Ленин как редактор: Krupskaya, *Воспоминания*, с. 183. Дружба с Мартовым: Fischer, с. 133–137; Krupskaya, *Воспоминания*, с. 180–183; Sukhanov, с. 85–93; и Israel Getzler, *Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat*, Cambridge, 1967. Потресов о Мартове: цит. по Ulam, с. 135.

ГЛАВА 12. Подполье

«В самодержавном государстве чем более мы будем суживать состав членов партийной организации… до людей, профессионально занимающихся революционной деятельностью и профессионально обученных искусству борьбы с политической полицией, тем труднее будет нас уничтожить».
Ленин, *Что делать?*, 1902

Ленина часто обвиняли в физической трусости, даже некоторые из его преданных сторонников. Пока он находился в безопасности в Западной Европе, избегая ареста и почти не подвергая риску собственную безопасность, его подпольные сообщники и агенты Искры в России жили в постоянной опасности. Он не испытывал никаких угрызений, отправляя их на опасные задания, и, когда ему это ставили в вину, спокойно возражал, что одно дело — «рядовые», и совсем другое — «для руководителя подвергать себя ненужному риску», что было бы бессмысленно. Когда старый товарищ Михаил Сильвин сказал ему, что некоторые революционные «пехотинцы» в России ставят под сомнение его личную храбрость, Ленин спокойно ответил: «Позволить себя посадить… или сослать в Сибирь один раз ещё допустимо; сделать это во второй раз было бы глупо».[1]

К началу 1902 года в России насчитывалось около тысячи «профессиональных революционеров», действовавших как агенты Искры или выполнявших иную работу для РСДРП, — и, вероятно, вдвое больше состояло в других радикальных организациях или террористических ячейках. Они существовали буквально изо дня в день как «нелегалы», пользуясь поддельными документами, завися от доброты посторонних людей и нередко от благожелательности тех, кто не вполне разделял их цели или их идеологию, но ещё сильнее ненавидел царский режим, чем саму идею революции. Они переходили с одной конспиративной квартиры на другую, вырабатывая в себе инстинкт, позволявший чувствовать, когда за ними следят. Они пользовались ошеломляющим множеством кличек и псевдонимов, всей той ремесленной техникой конспирации — словом, которое по-русски означает именно «тайность», а не английское conspiracy. Ленинские указания партийным активистам всегда и во всём соблюдать тайну были известны всем его оперативникам. «Когда вы заняты тайными, конспиративными делами, вы не должны говорить с теми, с кем обычно разговариваете, и не должны говорить о том, о чём обычно говорите; говорить следует лишь с теми, с кем необходимо, и только о том, о чём необходимо». Тех, кто нарушал эти правила, неизменно оттесняли на обочину партии.

Во всём этом — в условных стуках, переодеваниях, паролях и замысловатых кличках, которые придумывали себе активисты, — было нечто комическое и дилетантское, особенно если помнить, что Охранку редко удавалось надолго провести и что у неё были внедрённые агенты в самом центре заговора. Ленинским конспиративным именем неизменно был «Старик»; у Нади, помимо «Рыбы», были и другие имена — Саблина, Н. Шарко, Катя, а иногда Минога или Мария. Один из добрых друзей Ленина, Пантелеймон Лепешинский, находившийся вместе с ним в сибирской ссылке, пользовался псевдонимами Лапоть, Бычков и даже числовым кодом 2a3b; инженер Леонид Красин, которому предстояло стать главой партийного «технического комитета» — ведавшего, среди прочего, жизненно важными подпольными типографиями, — фигурировал как «Лошадь», Винтер или Иогансон. Московский партийный руководитель, бесценный своей работоспособностью Николай Бауман, назывался «Грачом», «Деревом» или

[1] Михаил Сильвин: цит. по Ulam, с. 133

Виктором. Пароль, с помощью которого петербургская активистка Цецилия Бобровская представлялась другим революционерам, звучал так: «Мы — ласточки грядущей весны».

Но в опасностях, с которыми сталкивались заговорщики, не было ничего смешного. Делать революцию было делом серьёзным. Общий риск, на который шли активисты, та страстная преданность, которую они проявляли к своим убеждениям, ковали между ними тесные узы товарищества. Как выразился один горячий молодой член партии в Петербурге: «Постоянная опасность ареста, тайна наших собраний и сознание того, что я уже не просто песчинка, не просто ещё один из рабочих, а член организации, опасной и грозной для правительства и для богатых, — всё это было новым и волнующим».[2]

Подпольная жизнь была напряжённой. Елена Стасова, умная активистка, руководившая самой успешной из всех революционных ячеек Петербурга и впоследствии ставшая одной из ближайших помощниц Ленина, была искусным организатором и весьма практичной молодой женщиной. Она объясняла, что означало для неё революционное движение, в эмоциональных выражениях, находивших сильнейший отклик у её товарищей. Стасова происходила из обеспеченной семьи и росла в атмосфере любви. Родители позволяли ей использовать своё загородное имение как явочную квартиру для активистов и как склад подпольной литературы. В просторной квартире Стасовых в модном районе Петербурга она устраивала нелегальные собрания, на которых собирали деньги для Искры. Когда Елену арестовали, родители внесли за неё залог. Но для неё, как и для многих других рвущихся в бой молодых женщин и мужчин, партия «была нашей семьёй», и преданность делу стояла выше всего остального — друзей, родителей, любви. «Моя жизнь — в этом, только в этом и ни в чём другом, — писала она из тюрьмы после ареста. — Никакая другая работа не может дать мне сил жить. Без этой моей работы я жить не могу. Это плоть от плоти моей…»[3]

Сёстры Ленина тоже часто попадали в неприятности с полицией. Анна была арестована в Петербурге в 1887 году, одновременно с братом Александром. Она не имела никакого отношения к заговору с целью убийства царя, но на долгие месяцы была отправлена под надзор в имение в Кокушкине. Едва вновь получив возможность ездить, она сразу же вернулась к подпольной работе — распространяла запрещённую литературу и организовывала тайные собрания. Мария была схвачена Охранкой в Москве в 1899 году и провела семь месяцев в одиночном заключении, прежде чем её отправили на трёхлетнюю ссылку в Самару. Как только срок истёк, она немедленно вернулась к революционной деятельности — уже как ленинский агент, шифруя письма из России для редакции Искры в Европе.

Аресты были обычным делом, как и драматические, счастливые побеги, полные приключений и отчаянной удали. Ни один из них не затмил поразительного хладнокровия Лидии Гоби, дочери уважаемого профессора ботаники Петербургского университета. Гоби была убеждённой марксисткой, но скорее напоминала светскую даму, чем социалистку. Высокая, элегантная, прекрасно одетая, аристократической наружности, признанная красавица, она была одной из лучших ленинских агентов в русской столице и регулярно перевозила по всей России запрещённую литературу и тайные послания. Выполняя поручение петербургской партийной ячейки в Киеве, она приняла, как ей казалось, все необходимые меры предосторожности и была уверена, что к месту тайной встречи за ней не следят. Её киевский связной передал ей документы, которые нужно было доставить обратно в Петербург, и тут она поняла, что за ней

---

[2] Конспиративная подпольная жизнь: Rappaport, с. 133–140; Figes, с. 242–249; и Krupskaya, *Воспоминания*, с. 146–149.

[3] Елена Стасова: цит. по Rappaport, с. 139.

идут сначала один, потом двое и, наконец, трое охранных сыщиков, даже не пытавшихся скрыть слежку. Они почти настигли её у края обрыва над Днепром. Она взглянула вниз, увидела деревья и кустарник и, удивительно собранная и храбрая, плотнее завернулась в толстую меховую накидку, которую носила на себе, взобралась на край обрыва и позволила себе упасть. Кустарник смягчил падение, и к её изумлению она приземлилась целой и невредимой среди случайных свидетелей. Совершенно спокойно она поднялась, вежливо извинилась за то, что так их напугала, дошла до вокзала и села в первый поезд, уходивший из Киева.[4]

Надя, столь же надёжно укрытая в Западной Европе, вела повседневную связь с подпольем в России. Она действовала по строгим указаниям Ленина — «центра», как он называл то место, где бы сам ни находился, — но именно на ней лежала обязанность расшифровывать тайные письма, следить за благополучием партийных бойцов в России и заниматься более сложными вопросами конспиративной техники, например выработкой новых шифров. К 1902 году она «вела» около сотни агентов, и Ленин безусловно доверял ей передавать ему всю важную информацию. «Она находилась в самом центре всей организационной деятельности, — вспоминал позднее один из редакторов Искры. — Именно к ней прежде всего являлись товарищи, только что прибывшие “с родины”; она инструктировала тех, кто уезжал, и отправляла их в путь; она устанавливала подпольные связи, и именно она расшифровывала большинство тайных сообщений. В её комнате почти всегда стоял тот слабый запах бумаги, нагреваемой над пламенем».

Однако Охранка неизменно опережала их на шаг. У неё были десятки чиновников, перехватывавших письма и телеграммы русских эмигрантов за границей и в Россию, через Департамент почт и телеграфов — так называемый Чёрный кабинет. Надзор за почтой, поступавшей и отправлявшейся через главные почтамты всех крупных городов России, а также Варшавы, Гельсингфорса и Тифлиса, был поставлен весьма эффективно. Шифры, которыми пользовались ленинские агенты, отличались несложностью и обычно вскрывались без труда. Скрытые сообщения в книгах работали несколько недель, иногда месяцы, но редко дольше. Надя выбирала какую-нибудь книгу и в тайном письме указывала агентам, к какой главе, абзацу, строке и букве в слове надо обратиться, чтобы прочесть зашифрованное сообщение. В разное время она выбирала свои любимые стихи Некрасова, биографию Спинозы и басни о животных Ивана Крылова. Полиция знала, что когда агент пишет о «болезни», это означает «арест», что «больница» на самом деле значит «тюрьма», а «эпидемия» служит предупреждением о волне арестов в определённом месте.

Из безопасности Мюнхена, а позднее Лондона, Женевы или Парижа, Ленин, разумеется, понимал, на какой риск идут его агенты в России и какие жертвы они приносят. Но он часто бывал ими раздражён, нетерпелив, если они не давали того, чего он от них ожидал, и попросту груб в оценке их усилий. Наде нередко приходилось смягчать его яростные жалобы на «некомпетентных» или «тупоумных» подчинённых. Он был в бешенстве, как писал одному товарищу, оттого, что «в девяти случаях из десяти все планы идут прахом… а агент барахтается как попало. Поверьте мне, я буквально теряю всякую веру в… [контрабандные] маршруты, планы и т. п., составляемые здесь, потому что заранее знаю: ничего из этого не выйдет. Нам самим приходится лихорадочно напрягаться и делать здесь чужую работу из-за отсутствия подходящих людей. Чтобы назначать агентов, следить за ними, руководить ими, необходимо быть всюду, метаться и видеть их в деле. Для этого нужна команда практических организаторов и руководителей, а у нас их нет или почти нет. В этом вся беда. Смотреть на наше практическое

[4] Женщины-конспираторы: Rappaport, с. 136–139.

неустройство часто до того бесит, что отнимает способность работать. Утешение только в том, что дело жизненно важно и, несмотря на весь хаос, растёт».[5]

Надя тревожилась о его душевном состоянии. «Эти недели и месяцы ожидания ответов на его письма, постоянный страх, что всё сорвётся, это непрестанное состояние неуверенности и напряжения — всё это нисколько не соответствовало его характеру, — писала она. — Его письма в Россию были полны просьб писать аккуратно, действовать быстро. По ночам он не спал после получения письма из России, в котором говорилось, что "Соня молчит как могила" или что "Зарин" не вошёл вовремя в комитет, или: "Мы не имеем связи со старухой". Я никогда не забуду этих бессонных ночей».

Её тревожили и другие мысли: не является ли вся эта игра в прятки с Охранкой бесполезной тратой сил, драмой ради самой драмы. Никто не знал лучше Нади, насколько дилетантскими на деле были многие из шпионских уловок её мужа. «Все эти письма о платках [паспортах], варке пива [пропагандистских отправках через Скандинавию], тёплом мехе [нелегальной литературе], все эти грубые кодовые названия городов, начинавшиеся с одной и той же буквы, — Осип вместо Одессы, Терентий вместо Твери, Петя вместо Полтавы, Паша вместо Пскова, все эти подстановки женских имён вместо мужских и наоборот — всё это было до крайности прозрачным».[6] [7]

[5] Ленин об организации подпольных сетей: письмо Леониду Красину, *CW*, т. 44, с. 253.

[6] Но у них бывали и крупные успехи. В феврале 1902 года в Киеве были арестованы двенадцать агентов Искры. Их держали в Лукьяновской крепости в центре города, якобы под строгой охраной, и весной они должны были предстать на большом показательном процессе против «террористов». За несколько дней до начала суда все они бежали в ходе массового побега из тюрьмы, организованного буквально под носом у стражи и высших чинов Охранки. Это стало крупной пропагандистской победой социал-демократов.

[7] Проникновение охранки в подпольные ячейки: Krupskaya, *Воспоминания*, с. 117.

ГЛАВА 13. Англия, их Англия

«Как правило, единственное, что в Англии известно о русских, — это то, что они пьют чай с лимоном».
Ольга Новикова (1840–1925)

Поздним утром 14 апреля 1902 года Ленин и Надя сошли на станции Чаринг-Кросс после двухдневного путешествия из Мюнхена. Их тотчас поглотил туман — типичный лондонский «гороховый суп», при котором видимость была практически нулевой. «Моё первое впечатление от Лондона: отвратительно», — писал он на следующий день Павлу Аксельроду в Женеву. В первые несколько недель он ненавидел Лондон и англичан, пока они жили в тесной и грязной меблированной комнате на Сидмут-стрит, в рабочем районе Сомерс-Таун.

Первой большой проблемой оказался язык. «Мы обнаружили, что не понимаем ни слова, и нас тоже никто не понимает», — вспоминала Надя. С помощью словарей они перевели книгу супругов Вебб о тред-юнионизме и различные экономические трактаты. Но говорить — совсем иное дело. Оба они с особенным трудом понимали «кокни», на котором говорили лондонские рабочие. Со временем Ленин полюбил Лондон, стал восхищаться англичанами и свободно овладел языком.[1] Но к еде не привык ни один из них, и оба сходились на том, что она ужасна: «Мы обнаружили, что все эти бычьи хвосты, скат, жаренный в жире, и неудобоваримые пироги вовсе не созданы для русских желудков», — говорила Надя.

Они почувствовали себя счастливее, когда сняли две небольшие комнаты на первом этаже в доме 30 по Холфорд-сквер в Клеркенуэлле, в респектабельном районе, куда вскоре к ним присоединилась мать Нади. Под видом немецкой супружеской четы — доктора и госпожи Якоб Рихтер — они стали жильцами миссис Эммы Луизы Йео, недавно овдовевшей портнихи лет сорока с лишним, её дочери и четырёх сыновей, трое из которых работали в типографском деле. Они уже успели устроиться с удобством, когда через две недели миссис Йео заметила, что «миссис Рихтер» не носит обручального кольца, и пригрозила выставить их вон. Но на помощь пришли старые друзья, прилично говорившие по-английски. Бывшая возлюбленная Ленина Аполлинария Якубова и её муж-врач Константин Тахтарев, уже некоторое время жившие в Лондоне, уверили хозяйку, что её новые жильцы безусловно состоят в браке, несмотря на то, что у Нади на руке нет кольца. Миссис Йео также не нравилось, что они повесили в своей комнате занавески — чего респектабельные лондонцы не делали, — однако её убедили, что для немцев это «вполне обычно». Она смягчилась к нему, когда Ленин, всю жизнь любивший кошек, тепло встретил её избалованного питомца. «Они были хорошими, тихими жильцами и всегда вовремя платили за квартиру», — говорил много лет спустя сын миссис Йео, Леонард. «К английским обычаям они были совершенно непривычны, но всегда держались почтительно. Миссис Рихтер была милой, доброй дамой. У него было лицо, одушевлённое большим умом, но по большей части он казался самым обыкновенным маленьким человеком. Забавно, что такой тихий, добродушный господин стал впоследствии таким потрясателем мира».[2]

---

[1] Иное дело Надя, которая так и не полюбила по-настоящему «заграницу», хотя прожила в изгнании пятнадцать лет и почти не сумела завести ни одного не-русского друга. Ей нравилось быть среди других эмигрантов; к языкам она была далеко не так способна, как Ленин, и часто становилась жертвой тоски — той особой русской разновидности печального, ностальгического томления по родине

[2] После того как Ленин покинул Лондон, он прислал ей книгу с видами живописной Женевы с надписью: «Посвящается доброй, сердечной миссис Эмме Йео». Она хранила её до конца жизни и всегда говорила, что Ленин «как жилец был приятнее многих англичан».

Мать Ленина встревожило письмо, полученное ею от старого друга семьи, побывавшего в Лондоне в ноябре 1902 года, из которого следовало, что жилищные условия её сына не вполне удовлетворительны. 3 декабря она писала дочери Анне: «Она описала свою маленькую квартиру, у которой имеется немало недостатков. Всего у них две маленькие комнаты, и одна из них, та, в которой живёт Елизавета Васильевна [приехавшая к ним летом], служит одновременно кухней и столовой. Вода и уголь… находятся внизу, и их приходится носить наверх; воду после мытья посуды надо выносить наружу и так далее… сначала они думали поискать помещение побольше, но Наденька прибавила, что они с Володей стали как кошки, которые привыкают к одному месту».[3]

На протяжении всей своей супружеской жизни Ленин и Надя жили скромно и бережливо, без всякой показности, хотя и не совсем по-спартански. Надя с помощью матери освоила основы домоводства, и в их квартире всегда была безупречная чистота. Но, по собственному признанию, она была ужасной кухаркой и так и не сумела исправиться. К счастью, Ленин едой не интересовался — «он довольно покорно ел всё, что ставили перед ним, и никогда не жаловался». Изредка, мягко, он подшучивал над кулинарными усилиями Нади в разговоре с тёщей или близкими друзьями. Он научился находить пищу, хранившуюся в кладовой, и обходиться сам, хотя неудобство, как признавалась она его матери, состояло в том, что «он ест невпопад, не в положенное время. Как только приходит домой, сразу начинает есть».[4]

Но Ленин требовал одного — уединения. Он был полон решимости, как сам говорил, держаться в стороне от «склочной массы эмигрантов, которым нечего делать, кроме как пить и сплетничать» — тех, кто, как выразился Борис Пастернак в «Докторе Живаго», «говорят, говорят — так, как умеют говорить только русские». Он писал Григорию Алексинскому, активисту РСДРП, знакомому ему ещё по Петербургу, что «там, в эмиграции, вы страшно оторваны от России — и праздность с сопутствующим ей состоянием духа, нервная, истерическая, шипящая и плюющаяся психология, преобладают… Нет настоящей живой работы и, собственно говоря, нет среды для живой работы». Он не видел смысла ночи напролёт спорить с людьми, с которыми в основе своей был не согласен; это была трата времени, которое можно было употребить на полезное дело. Он настаивал на отдельной квартире, в отличие от многих русских революционеров, предпочитавших жить коммунами.

Ленин ненавидел самую мысль о коммуне — особенно после того, как побывал в комнатах почти разваливающегося дома в Кингс-Кроссе, где жили Мартов, Вера Засулич и разные молодые революционеры, то и дело входившие и выходившие из дома в любое время дня и ночи. Аккуратный и упорядоченный в привычках, он был потрясён увиденным. Он знал, что Мартов и Засулич славятся своей неряшливостью, так что кое к чему был готов. Но ничто не могло подготовить его к тому хаосу, с которым он столкнулся. Гостиная была затянута дымом. Пепел

---

[3] Лондон, «отвратительный»: письмо Аксельроду от 16 апреля 1902 года, Собр.соч., т. 44, с. 233. Ленин и Надя ненавидели английскую еду: Krupskaya, Воспоминания, с. 135. Хозяйка квартиры: цит. по Rappaport, с. 197. Письмо матери Ленина о жилье: цит. по Clark, с. 129.

[4] Надя однажды хвасталась, что, может быть, она и безнадёжна на кухне, но зато умеет готовить яйца двенадцатью способами. Однако когда её попросили перечислить эти способы, оказалось, что все они одинаковы — нечто вроде жидковатой яичницы-болтуньи, — различаясь лишь добавлением чего-нибудь ещё: помидоров, хлеба, лука и так далее. «Владимир Ильич ограничивался лишь изредка ироническими замечаниями насчёт её кулинарных способностей, — вспоминал один товарищ по эмиграции. — Он говорил, например, что у него довольно часто бывают “жаркие” — то есть переваренное варёное мясо». Он неизменно позволял женщинам в своей жизни следить за тем, что он ест, и для человека властного, повелительного и диктаторского склада мог быть в этом отношении поразительно покорен. Нередко, когда они ели вне дома, он смотрел на свою тарелку и спрашивал Надю или, довольно часто, её мать: «Мне это можно есть?»

из мартовской трубки попадал в сахарницу. Самокрутки Засулич оседали на подоконниках, на столах, в чайных чашках, на ней самой, а временами и на человеке, с которым она разговаривала. Её методы стряпни были неортодоксальны даже по меркам Нади. «Помню, как-то раз она готовила себе мясо на керосинке, отщипывая кусочки, чтобы есть их ножницами», — вспоминала Надя после одного такого визита. «Кто-то спросил её, сколько времени мясо будет готовиться. Она ответила: “Если я голодна и тороплюсь — десять минут, а если нет — может быть, три часа”. Она не шутила».

Ленин говорил: «Невозможно жить в доме, где окна и двери никогда не закрываются, где всё настежь раскрыто на улицу и где каждый прохожий считает нужным заглянуть и посмотреть, чем ты занимаешься. Я бы сошёл с ума, если бы мне пришлось жить, как Мартову и Засулич. Это был не дом, а скорее общественный проходной двор. Мартов мог быть среди людей весь день. Я просто не могу… у каждого человека в жизни есть угол, куда никто не должен проникать, и у каждого должна быть особая комната, полностью принадлежащая ему одному».

Иван Бабушкин, молодой социал-демократ, только что прибывший из России после того, как бежал из тюрьмы, перепилив решётку своей камеры, бросил один взгляд на беспорядок в мартовском ménage и привёл всё в порядок, сказав со вздохом: «Русский интеллигент всегда грязен. Ему нужен слуга, так как сам он не способен прибраться».[5]

У Лондона было одно большое преимущество для дела расшатывания Российской империи. В Мюнхене германская полиция уже начинала замечать деятельность Ленина, побуждаемая предупреждениями охранки о том, что в их среде находятся опасные подрывные элементы. Британские власти были куда спокойнее. Начиная с 1840-х годов в Лондоне существовала традиция предоставлять убежище радикальным изгнанникам. Маркс, Энгельс, Герцен, венгерский националист Лайош Кошут и один из отцов итальянского объединения Джузеппе Мадзини были желанными гостями в Англии, равно как и анархистский писатель князь Пётр Кропоткин, которого царский режим однажды назвал «самым опасным человеком в Европе». Общество друзей русской свободы, действовавшее в Лондоне, имело длинный список либерально настроенных и состоятельных покровителей, которые давали деньги на устройство русских эмигрантов после того, как те отбывали срок в российских тюрьмах и в сибирской ссылке.

В Лондоне полиция, как правило, мало интересовалась Лениным и «всеми этими иностранными шалопаями, что собираются в Британии», как выразился один старший офицер. Время от времени русские власти предупреждали Особый отдел столичной полиции, что с континента вот-вот прибудет террорист. Но, как объяснял инспектор сыскной полиции Гарольд Браст из Скотленд-Ярда, русские неизменно преувеличивали. «К послужному списку человека присоединяли совершенно ложный и страшный каталог преступлений, желая настроить против него британскую полицию… [Мы] не придавали их словам ни малейшего значения».

Иногда полиция всё же наблюдала за потенциальными русскими смутьянами, но часто делала это скорее в комическом духе туповатого полисмена или Бастера Китона. Гарри Поллитт, ставший в 1920-х годах главой Коммунистической партии Великобритании, вспоминал, что один полицейский рассказывал ему, как примерно в 1902 году, ещё молодым констеблем, он получил приказ спрятаться в пабе Crown and Woolpack на Сент-Джон-стрит в Клеркенуэлле, где часто собирались русские эмигранты, и докладывать, что там происходит. По словам Поллитта,

[5] Ленин терпеть не мог коммуны и хотел иметь собственное пространство: Valentinov, с. 196–197.

его отчёт начальству гласил: «Собрание велось исключительно по-русски, и, поскольку я этого языка не знаю, я не смог доложить о предметах обсуждения».[6]

Переезд в Лондон был одобрен редакционной коллегией «Искры» главным образом потому, что там было бы легче издавать газету. Через Мартова и Николая Алексеева, русского социалиста, много лет жившего в Лондоне, Ленин получил рекомендацию к Гарри Квелчу, редактору органа Британской социал-демократической партии Justice, который печатался в небольшой мастерской издательства Twentieth Century Press по адресу 37a Clerkenwell Green, совсем неподалёку от его квартиры. Это здание издавна было связано с разными радикальными движениями: за шестьдесят лет до того оно служило местом собраний чартистов. Его маленькая типография печатала памфлеты Маркса, Энгельса, Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля. Квелч, жизнерадостный и дружелюбный человек, согласился печатать «Искру», и Ленин нашёл атмосферу там приятной, хотя места было тесно. «В типографии тонкой перегородкой был отгорожен угол, служивший ленинской редакционной комнатой, — говорил Потресов. — В этом углу помещались совсем маленький письменный стол, книжная полка над ним и стул… для второго стула уже не оставалось места». У Ленина остались счастливые воспоминания об этом месте. Когда сын Квелча, Томас, посетил Москву в 1920 году и встретился с вождём советского режима в Кремле, одним из первых вопросов Ленина был: «Ну, а как там все в Клеркенуэлл-Грин?»

Дни после полудня Ленин проводил в «конторе» «Искры». Но каждое утро, к самому открытию, он являлся в то, что сам называл «богатейшей библиотекой мира», — в центральный купольный читальный зал Британского музея, где Маркс провёл столь значительную часть своей жизни. Рекомендательное письмо для получения читательского билета ему дал Айзек Митчелл, генеральный секретарь Всеобщей федерации тред-юнионов, и в заявлении Ленин указал, что приехал из России «изучать аграрный вопрос». 29 апреля ему — точнее, доктору Рихтеру, LL.D, — был выдан читательский билет A72453.[7] Библиотека была его спасением, вдали от шумных и «склочных эмигрантов, которые приставали бы ко мне… на русский манер во всякий час». Они утомляли его и действовали ему на нервы, и без того натянутые; «Как вы думаете, зачем они здесь — отдыхать, что ли?» — спрашивал он не раз.

Надя ревностно оберегала его уединение. Дверь всегда открывала она; он — никогда. Когда перед ней «возникал незваный гость, она становилась у входа с выражением “они не пройдут” и торжественно произносила: “Владимира Ильича нет дома” или “он занят работой”. Правда, самых настойчивых это иногда не останавливало, и тогда ему всё-таки приходилось их принимать», — вспоминал один молодой посетитель из России, не раз сваливавшийся к ним в Лондоне. Порою Ленин бывал общителен и приветлив, но своё влияние он утверждал сочетанием отстранённости и добродушия, как замечал Николай Валентинов: «Ленин держал всех на расстоянии вытянутой руки. Я никогда не видел, чтобы он положил кому-нибудь руку

---

[6] Британская полиция относилась к русским радикалам без особой строгости: Rappaport, с. 194–195.

[7] Я всегда считал эту историю апокрифической, однако оказалось, что она истинна. В 1920-х годах актёр Майлс Маллесон, сторонник левого крыла Лейбористской партии, время от времени работал в читальном зале. Он подружился с библиотекарем, который прослужил в Британском музее тридцать лет. Актёр спросил, знал ли тот Ленина, который читал там в это время и также во время нескольких других своих приездов в Лондон. «Ленин? Простите, сэр, не припомню здесь никого под таким именем». Маллесон попробовал зайти с другой стороны, зная, что после первого визита в Лондон Ленин вернулся уже под настоящей фамилией. «Интересно, не помните ли вы некоего мистера Ульянова?» Библиотекарь тут же вспомнил. «О да, очень любезный джентльмен, невысокий, с остроконечной бородкой. Очень приятно говоривший человек… знаете ли вы, что с ним потом стало?»

на плечо, и никто из его товарищей не осмелился бы, сколь бы почтительно ни было это сделано, поступить так с ним».[8]

Он был полон решимости улучшить своё владение английским, и потому дал объявление в журнале The Athenæum: «Русский доктор права (и его жена) желал бы обменивать уроки русского языка на английский с английским джентльменом или дамой». Откликнулись трое: Генри Реймент, служивший у издателя Джорджа Белла; мистер Уильямс, конторский служащий; и мистер Янг, рабочий. В течение нескольких месяцев Ленин пользовался помощью всех троих, но больше всего полюбил Реймента, умного и образованного человека примерно его возраста.[9]

Отчасти ради изучения английского, он и Надя часто ходили в театр — и, что удивительно, Ленин увлёкся рабочим мюзик-холлом, находившимся в зените своей популярности в эдвардианскую эпоху. «Это выражение известного сатирического отношения к общепринятым представлениям, их переворачивание наизнанку, их искажение, выявление произвольности привычного», — восторженно писал он Горькому после одного представления, на котором пытался проникнуть в английское чувство юмора. «Это немного сложно, но интересно».

Ленин заинтересовался новым для себя образом жизни и городом, куда более огромным, чем Петербург: «Мы начали с некоторым любопытством осматриваться в этой цитадели капитализма», — говорила Надя. По воскресеньям они регулярно ходили в Уголок ораторов в Гайд-парке, который Ленин приводил как поразительный пример свободы в Британии. Как Надя записала в письме ленинской матери после одного такого посещения: «Один человек — атеист — пытался доказать группе любопытных слушателей, что Бога нет. Нам особенно понравился один такой оратор — у него был ирландский акцент, и потому нам было легче его понимать. Рядом с ним офицер Армии спасения выкрикивал истерические призывы ко Всемогущему Богу, а немного поодаль торговый агент разглагольствовал о каторжном труде приказчиков в больших магазинах».

Ленин увидел Лондон лучше, чем большинство эмигрантов, — он ходил пешком по рабочим кварталам и сам наблюдал повседневную жизнь Англии. Больше всего он любил места к северу от Холфорд-сквер, в сторону Примроуз-Хилл и Хэмпстед-Хит. Из Клеркенуэлла до кладбища Хайгейт, где он часто бывал у могилы Маркса, можно было доехать на автобусе за шесть пенсов, а затем немного подняться на холм, чтобы насладиться панорамным видом на весь Лондон, раскинувшийся внизу. В Англии он чувствовал себя не менее хорошо, чем в любой другой буржуазной зарубежной стране, и научился «ценить особенности английской истории и английской жизни — высокое развитие демократии, отсутствие милитаризма, огромную силу организованных тред-юнионов, всё возрастающий вывоз английского капитала за пределы Англии, ослабляющий антагонизм между английскими работодателями и рабочими».[10]

---

[8] Издание *Газеты "Искра"* и читальный зал Британского музея: Andrew Rothstein, *Lenin in Britain*, London, 1970, с. 76 и 92. Ленин — отчуждённый, но весёлый: Valentinov, с. 199.

[9] Реймент называл себя социалистом и рассказывал Ленину, что выступал на нескольких левых собраниях, но был вызван начальником и поставлен перед выбором: либо работа, либо речи. У него были жена и дети, так что он сделал очевидный выбор. Он путешествовал по Европе и некоторое время жил в Австралии, но Ленина удивляло, что он ни разу не был в Уайтчепеле, в Ист-Энде Лондона, где собиралось множество эмигрантов, преимущественно евреев, из Российской империи; «Меня удивляет, что вы не знаете собственного города», — сказал ему Ленин. Он повёл его по бедному району, где русские евреи носили длинные кафтаны и меховые шапки и жили почти замкнутыми общинами — почти так же, как в царских владениях.

[10] Ленин гуляет и выезжает за пределы Лондона: Rothstein, с. 78–81, и Rappaport, с. 193–195.

Он посещал левые собрания вместе с британскими социалистами, а когда его английский стал достаточно хорош, начал выступать перед группами британских радикалов.[11] На Первое мая 1903 года в новом Александра-паласе на севере Лондона он произнёс одну и ту же речь перед тремя группами социалистов — на английском, русском и немецком языках.

Но величайшей радостью для Ленина было вырваться из Лондона и исследовать сельскую местность. По выходным они с Надей, иногда вместе с Елизаветой Васильевной, садились на поезд или автобус и уезжали как можно дальше в окрестности британских графств, чтобы ходить по Саут-Даунсу, Чилтернским холмам или Уилду Кента. «Мы с Надей часто отправлялись на поиски настоящей деревни, и мы её находили», — писал он матери после восьми недель, проведённых в Англии. Несколько месяцев спустя он описывал одну из таких поездок. «Мы взяли с собой сэндвичи вместо обеда и провели целое воскресенье ins Grüne (совершенно непреднамеренно мы перенимаем иностранные обычаи и устраиваем прогулки именно по воскресеньям, хотя это худшее время, потому что повсюду людно). Мы долго ходили пешком, воздух ударил нам в голову, как детям, и потом мне пришлось лечь и отдохнуть, как бывало после охоты в Сибири. Вообще мы не упускаем ни одной возможности отправиться на прогулку. Мы здесь единственные среди товарищей, кто исследует все окрестности до последней тропинки. Мы открываем для себя разные сельские дорожки, знаем все ближайшие места и намерены забираться ещё дальше».[12]

На рассвете одного утра в начале октября 1902 года у входа в дом 30 по Холфорд-сквер раздалась серия условных стуков. На пороге стоял молодой человек несколько растрёпанного вида — но по-прежнему поразительно красивый, — с копной взъерошенных кудрявых каштановых волос, пенсне и выражением развязной самоуверенности. Это была первая встреча Ленина с Львом Троцким.

«Знаками и жестами — потому что я видел, как другие делают то же самое, — мне удалось нанять извозчика, который отвёз меня по адресу, данному мне, кажется, в Цюрихе, — вспоминал позднее Троцкий. — Это был дом Владимира Ильича. Мне заранее сказали постучать в дверь определённое число раз и определённым образом. Дверь открыла мне Надежда Константиновна. Моим стуком я вытащил её из постели. Было очень раннее утро. Всякий благоразумный человек, более знакомый с обычными условностями жизни, подождал бы час или два на вокзале, вместо того чтобы стучаться к незнакомым людям на рассвете, но я был полон возбуждения. Владимир Ильич ещё лежал в постели и встретил меня с вполне понятным удивлением, но доброжелательно. Оказалось, он уже знал, кто я такой, когда я назвал свой псевдоним. Так он меня и приветствовал. Он сказал Надежде Константиновне: “Смотри, приехало Перо”. Она напоила меня чаем и устроила мне импровизированный завтрак, пока Ленин одевался».

Ленину уже много рассказывали о Троцком, настоящее имя которого было Лев Давидович Бронштейн; он родился в зажиточной еврейской земледельческой семье на Украине. Самоучка с феноменальной памятью и огромными запасами энергии, он уже в свои двадцать два года успел приобрести репутацию блестящего журналиста и полемиста (отсюда и его псевдоним Перо), способного быстро и свободно писать о литературе и искусстве, а равно о политике и марксистской философии. Его самолюбие и уверенность в себе были столь же велики — а многие говорили, что и больше, — как и его таланты. Таков же был и его пожизненный интерес к

---

[11] Английским Ленин овладел довольно хорошо, хотя, как вспоминали многие, в его русском акценте слышался лёгкий ирландский оттенок. Он говорил, что английскую речь ирландцев ему всегда было понимать легче.

[12] Прогулки по деревне: письмо матери, 2 июля 1902 года, *CW*, т. 44, с. 598.

привлекательным женщинам. Бунт Троцкого против его консервативных родителей был столь же страстен, как и его отвращение к царю, и с подросткового возраста он уже имел неприятности с полицией за социалистическую агитацию против самодержавия. Он однажды уже сидел в тюрьме,[13] находился в «административной ссылке» и всего за несколько недель до этого драматически бежал из Сибири. Он вступил в РСДРП, регулярно писал в «Искру», и одной из его главных целей после обретения свободы было увидеться с Лениным.

Надя устроила так, чтобы Троцкий временно поселился в расположенной неподалёку «коммуне», занятой Мартовым и Верой Засулич. Ленин и Троцкий проговорили весь этот первый день — о литературе, о будущем «Искры», о революционной борьбе и о состоянии партии в России («жалкое и дезорганизованное», по мнению молодого человека).

На следующий день Ленин устроил Троцкому экскурсию по Лондону — на свой лад. «Я отправился с Лениным в долгую прогулку… Он показал мне Вестминстерское аббатство (снаружи) и другие архитектурные достопримечательности. “А вот их палаты парламента”, — сказал он мне в какой-то момент. Их, разумеется, означало не принадлежащие англичанам, а принадлежащие врагу».

В одно из воскресений Ленин повёл его в социалистическую церковь — «социал-демократическое собрание, сопровождавшееся пением благочестивых гимнов. Главным оратором был наборщик, только что вернувшийся из Австралии… его речь звучала вполне революционно, но затем прихожане встали и начали петь гимн, начинавшийся словами: “Всемогущий Боже, положи конец всем королям и всем богатым людям”. Когда мы выходили, Ленин сказал мне: “В английском пролетариате имеется много революционных и социалистических элементов, но все они перемешаны с консерватизмом, с религией и предрассудками; и, по-видимому, нет никакого способа, чтобы эти элементы вышли наверх”».[14]

Едва Ленин обрёл нового товарища, которого расхваливал каждому, кто только хотел слушать, — «Как нужны нам ещё такие революционеры, с такими высокими способностями, энергией и будущностью», — говорил он Мартову, — как он оказался втянут в новый конфликт со старым. Плеханов, за спиной у Ленина, устроил так, что редакция «Искры» решила перенести выпуск газеты в Женеву. Ленин не предвидел этого удара и яростно возражал против такого плана, но проиграл голосование. Жить где-либо поблизости от Плеханова он совершенно не хотел. Как это часто бывало, когда перед ним вставали политические препятствия, напряжение подорвало его здоровье. Головные боли и бессонница, нередко мучившие его, усилились, и Надя говорила, что он был настолько «потрясён переездом из Лондона в Швейцарию, что у него развилась нервная болезнь под названием “священный огонь”, состоящая в воспалении нервных окончаний на спине и груди».[15]

Болезнь усугубилась из-за ошибочного диагноза, поставленного уже по приезде в их женевский отель. Врач решил, что у Ленина ишиас, и посоветовал мазать воспалённые места йодом, что причиняло ему мучения и лишь ухудшило состояние. Первые две недели в своём новом

---

[13] Своё революционное имя — Троцкий — он взял по фамилии одного из тюремных надзирателей, с которым познакомился в одесской тюрьме.

[14] Троцкий приезжает в Лондон и встречается с Лениным: Trotsky, *On Lenin*, с. 37.

[15] Медицинским названием этой инфекции было рожистое воспаление; в доантибиотическую эпоху это была потенциально серьёзная болезнь, и ему повезло, что он сравнительно быстро от неё оправился. Даже и теперь, при современной фармакологии, это может быть очень тяжёлой, изнуряющей инфекцией, после которой человек нередко восстанавливается много недель.

швейцарском доме он провёл прикованным к постели, «в ужасающей боли», по словам Нади, не в состоянии работать — и совершенно несчастным.[16]

[16] Отъезд из Лондона — несчастный и больной: Krupskaya, *Воспоминания*, с. 137.

ГЛАВА 14. Что делать?

«Ни в настоящем, ни в будущем народ, предоставленный собственным силам, не может породить социальную революцию. Лишь мы, революционеры, способны осуществить это… Социальные идеи чужды народу; они принадлежат социальной философии революционного меньшинства».
Пётр Ткачёв (1844–1886)

«Коммунист, который не мечтает… — плохой коммунист».
Ленин — Валентинову, Женева, 1904 г.

Главная притягательность Ленина для его последователей заключалась не в силе его несгибаемой воли, не в очевидной мощи его ума и не в его блеске как политического тактика, хотя все три качества имели решающее значение для его притязания на роль вождя. В ранние годы его величайшим даром была способность внушать оптимизм и надежду. Он говорил своим сторонникам, что они могут изменить мир здесь и сейчас, если последуют ряду по существу несложных для понимания шагов и уверуют в несколько довольно простых положений. Он предлагал не спасение в загробной жизни, а проблеск рая в самом близком будущем — или, по крайней мере, достижение некоторых их целей. Марксизм принято считать «научной» философией, которую можно «доказать» эмпирически. Но всякий истинный коммунистический фанатик, как бы он это ни отрицал, переживал его эмоционально, религиозно, духовно, даже если бы сами эти слова застряли в горле у подлинно верующего. Ленин, безусловно, отверг бы такое определение. Но, как говорил один из его старейших товарищей, Потресов, знавший его в Петербурге в начале 1890-х годов, в самый ранний период его революционной деятельности, «для Владимира Ильича марксизм был не убеждением, а религией». То же самое говорили и многие другие — по крайней мере до революции 1917 года.

Зная историю коммунистического эксперимента в XX веке, легко забыть о пылком идеализме некоторых ранних русских марксистов, наряду с безжалостно честолюбивыми и жаждущими власти карьеристами, которых это движение одновременно привлекало. Возможно, циники питались идеалистами в некоем симбиотическом союзе. А возможно, как утверждали многие историки, сама марксистская идеология в ленинском истолковании и была коренной причиной катастрофы коммунизма на практике. Но это означало бы, что в грудах трупов, лагерях и очередях за хлебом, оставленных десятками коммунистических режимов спустя десятилетия после Ленина, было нечто «неизбежное», а такое объяснение представляется несколько упрощённым. В истории ничто не бывает «неизбежным».

В 1900-е годы никто не знал, что появятся Мао, Пол Пот или Николае Чаушеску. Притягательность Ленина для преимущественно молодой аудитории была оптимистической и воодушевляющей. При правильной организации и верной тактике даже несколько революционеров могли сокрушить империю размером с Россию и столь могущественный самодержавный режим, как царский. «Несколько тысяч дворян столетиями правили Россией. Почему бы не нам?» — спрашивал он.

Суть ленинизма заключена в его самой известной работе — Что делать?, вдохновлённой, как подсказывает уже само название, Чернышевским. Опубликованная в 1902 году, незадолго до переезда Ленина в Лондон, она оказала огромное воздействие на радикальное движение и создала ему имя как будущему вождю революционного социализма в России. Благодаря ей его заметили по всей Европе как заметную фигуру на Левом фланге. Когда он был в Лондоне, а позднее в Женеве, социалистические светила со всех концов стремились познакомиться с

«человеком грядущего» среди русских революционеров нового тысячелетия. Это небольшая брошюра — 45 000 сжатых, афористично написанных слов. Её и сегодня стоит читать всякому, кто интересуется политической тактикой; многие консервативные политики за последние сто лет, несомненно, читали её и кое-чему у неё научились.

Что делать? была библией ленинских большевиков, планом того, как он захватит власть и удержит её. «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернём Россию вверх дном», — провозгласил он.

Многое в ней было связано именно с условиями внутри России и со строительством партии для победы над Романовыми. Но многое имело и более общее применение. «Суть её — идеалистическая, но заговорщическая, оптимистическая, но практически обоснованная, фанатическая и вместе с тем, как оказалось, реалистическая», — объяснял один будущий революционер.

Ленин не питал особого уважения к рабочему классу, для которого, как он утверждал, и собирался совершить революцию. «Рабочий класс исключительно собственными усилиями способен выработать лишь тред-юнионистское сознание», — говорил он. Рабочие станут жертвами «ложного сознания» и окажутся под руководством буржуазии, которая предаст их интересы. «Современное социалистическое сознание может быть привнесено в рабочий класс только извне, и не может быть подлинно политического сознания, если рабочих не обучить видеть во всех случаях тирании, угнетения и насилия злоупотребление, независимо от того, какой класс подвергается этому… Чтобы донести политическое знание до рабочих, социал-демократы должны идти во все классы населения, должны направлять отряды своей армии во все стороны. Идеалом социал-демократа должен быть не секретарь тред-юниона, а народный трибун… Для этого нужна организация людей, которые прежде всего делают революционную деятельность своей профессией. В стране с деспотическим правительством чем больше мы ограничим состав этой организации теми, кто занимается революцией как профессией, тем труднее будет нас поймать. Поймать дюжину умных людей труднее, чем сотню дураков».

Необходим был «революционный авангард» людей, умеющих защищаться от полиции, изучивших марксистскую идеологию и овладевших искусством революционного заговора. «Такая партия не может не победить», если ею правильно руководить. «Мы идём тесной группой по крутому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Со всех сторон мы окружены врагами и должны продвигаться почти непрерывно под их огнём. Мы соединились по свободно принятому решению именно для того, чтобы бороться с врагом, а не для того, чтобы отступать в соседнее болото, жители которого с самого начала упрекали нас в том, что мы отделились в особую группу и избрали путь борьбы, а не путь соглашательства».

Он понимал, насколько идеалистичен в своих представлениях. «Моя мечта может опережать естественный ход событий или уклоняться в сторону, в такую область, куда никакой естественный ход событий никогда не приведёт. В первом случае моя мечта не принесёт никакого вреда. Если бы человек был совершенно лишён способности мечтать таким образом, если бы он никогда не мог забегать вперёд и мысленно представлять себе в цельной и завершённой картине результаты труда, который его руки ещё только начинают создавать, — я не могу вообразить, какой стимул побуждал бы людей браться за обширный и изнурительный труд в области искусства, науки и практической деятельности… разрыв между мечтой и действительностью не приносит вреда, если мечтатель серьёзно верит в свою мечту, если он внимательно наблюдает жизнь, если сопоставляет свои наблюдения со своими воздушными

замками и если вообще добросовестно работает для осуществления своих фантазий. Если между его мечтами и жизнью есть какая-то связь, тогда всё в порядке».[1]

Организации, разумеется, нужен был вождь, и было ясно, кого Ленин считал таковым. Он сказал Валентинову: «Право держать дирижёрскую палочку даётся только тому, кто обладает особыми качествами руководителя — прежде всего способностью организовывать… мне было ясно, что он полагал: это право может принадлежать только ему… его право утверждалось с такой простотой и такой уверенностью, словно он говорил, что дважды два — четыре. Для Ленина это был вопрос, не требующий доказательств. Поначалу меня поразила его непоколебимая вера в самого себя… но, оказавшись в окружении Ленина… никто ни на минуту не сомневался в его праве держать дирижёрскую палочку и отдавать распоряжения. Принадлежность к [его группе], казалось, подразумевала своего рода клятву верности Ленину, обет следовать за ним беспрекословно».[2]

Надя была постоянным присутствием рядом с ним и своеобразным собеседником, на котором он проверял почти все важные произведения, написанные Лениным. Часто она говорила ему, когда что-то было неясно или неуклюже сформулировано. Биографы, которые видят в ней лишь молчаливую секретаршу, никогда не смевшую возражать, не поняли её роли. «Когда Ленин писал обычную статью, он делал это очень быстро, набрасывая её, невзирая ни на какие обстоятельства, — вспоминал товарищ, живший поблизости от него в Женеве в начале 1900-х годов. — Ему нужны были только бумага, чернила и перо. Когда же речь шла о более важной работе… он долго ходил взад и вперёд по комнате, сочиняя фразы, выражавшие его главные мысли. Писать он начинал лишь после того, как много раз прошептал свои идеи самому себе и выработал наилучший способ их изложения. Однако этого одинокого шёпота было недостаточно при создании некоторых произведений. Ему нужно было объяснить кому-нибудь… вслух то, что он писал».

Надя уже после смерти Ленина говорила: «Основная масса написанного Лениным была создана в моём присутствии. В Сибири, прежде чем начать писать Задачи русских социал-демократов, он рассказал мне всё, что должно было в ней быть. Главы Развития капитализма в России, которые он считал особенно важными, не записывались, пока он не излагал их мне устно. Содержание Что делать? он вырабатывал, всё время разговаривая сам с собой, когда ходил по комнате. После этой предварительной работы… он произносил свои мысли вслух, чтобы их отшлифовать. Прежде чем писать её… [он] прорепетировал передо мной каждую главу брошюры… Он любил делать это во время наших прогулок. Мы уходили за город, чтобы нам никто не мешал. Тем же методом — сперва подготовка шёпотом, потом разговором — он писал и другие свои произведения».[3]

Одним из величайших мыслепреступлений в советскую эпоху было оказаться «уклонистом» от истин, установленных Марксом и Энгельсом. Миллионы людей лишились жизни в чистках против «уклонов» в ходе борьбы, развернувшейся с 1920-х годов при Сталине ради сохранения идеологической чистоты и ортодоксии. Первым крупным «уклонистом» был сам Ленин, который нередко переворачивал марксизм с ног на голову, когда того требовали его тактические цели. Живший в нём первосвященник и учёный наставник был истинно верующим, — какой был бы смысл исповедовать марксистскую веру, если бы всякий в пастве был волен толковать

---

[1] *What Is to Be Done?* в оригинальном *Leninski sbornik* (собрании сочинений), Москва, т. 7 из 50, издававшихся между 1927 и 1960 годами. Лучший английский перевод был выполнен S. V. и Patricia Utechin, Oxford, 1963.

[2] Valentinov, с. 146.

[3] Krupskaya, Воспоминания, с. 104.

её по собственному усмотрению? Но живший в нём ренессансный папа и практический политик умел лавировать и изворачиваться, когда это было необходимо, — даже совершить полный кувырок. «Для меня теория — лишь гипотеза, а не Священное Писание. Это инструмент в нашей повседневной работе», — сказал он однажды, приведя своих слушателей в недоумение. «Ленин мог резко менять курс, лукавить, плести интриги и сеять замешательство, добиваясь поддержки хоть от самого дьявола, если та ему предлагалась», — точно заметил Плеханов.[4]

Капитал Маркса вышел в России всего через пять лет после первой публикации в Гамбурге и за двадцать четыре года до английского издания. Он имел мгновенный успех. Читал ли кто-нибудь эту огромную книгу целиком, а тем более постигал ли её следствия, — неизвестно, но тираж в 3 000 экземпляров разошёлся менее чем за год, тогда как немецкое издание тиражом 1 000 экземпляров продавалось пять лет. Идеи Маркса быстро распространились среди русской интеллигенции. Его мысль о том, что социалистическую революцию может возглавить только промышленный рабочий класс, казалась объяснением того, почему народническое движение 1870-х годов потерпело неудачу. Для русской интеллигенции это было обещанием, что отсталая Россия однажды присоединится к «передовым» западным капиталистическим обществам. Она будет развиваться по тому пути, который, по утверждению Маркса, прошла Западная Европа: от феодализма — через буржуазную революцию — к капитализму, через те стадии, которые, как предсказывал Маркс, «неизбежно» приведут к социализму, а затем и к коммунизму.

У марксизма была и особая притягательность для русских радикалов, совершенно не предусмотренная самим его автором, который, когда писал свою книгу, почти не думал о России и едва ли упомянул эту страну хотя бы раз на протяжении почти семисот густо написанных страниц. Для многих русских интеллектуалов, подобных Ленину, именно идея о том, что марксизм приблизит Россию к Западу, и была его главным обаянием. Он должен был осветить «путь разума, просвещения и надежды», по словам Лидии, необычайно умной сестры Мартова, вышедшей замуж за социалистического мыслителя Фёдора Дана. Один из самых блестящих русских марксистов, Пётр Струве, — хотя позднее он оставит социалистические идеи и станет тем самым «буржуазным либералом, которого Ленин так презирал», — говорил, что его и других убедил марксизм потому, что предлагал «научное решение» двух главных русских задач: освобождения от самодержавия и выхода из состояния отсталого полуфеодализма: «признаем нашу некультурность и поступим в школу капитализма». Он привлекал евреев не потому, что Маркс был евреем — вернее, еврейским атеистом, — а потому, что «народничество» и идеи «назад к земле» предлагали архаическое видение крестьянской России с её погромами и дискриминацией евреев. Марксизм обещал ассимиляцию евреев, являя собой «современное» и западное видение, проповедовавшее всеобщее освобождение человечества на основе идей интернационализма.

Существенное различие между доктринально ортодоксальными марксистами — Мартов, например, — и «уклонистами» состояло в том, можно ли считать преимущественно аграрную страну, такую как Россия, где 90 процентов населения составляли крестьяне, а промышленный рабочий класс рос, но всё ещё был невелик, созревшей для близкой социалистической революции. Сегодня, спустя более чем столетие после написания этих строк, это может показаться отвлечённым вопросом. Но в то время он разделял революционных марксистов как важнейшая идеологическая проблема. Ленин страстно утверждал, что капитализм в России развивается быстрыми темпами и что рабочий класс растёт, а значит, страна готова к

[4] «Теория — это лишь гипотеза», сказано Потресову: цит. по Clark, с. 138. Цитата Плеханова «Ленин мог уклоняться, лукавить»: письмо Анжелике Балабановой, с. 159.

революции. Всё, что нужно, — это толчок со стороны эффективно организованной, хорошо руководимой и централизованно управляемой партии. Другие же утверждали, что Россия ещё не готова: страна должна дождаться тех стадий развития, которые были намечены Марксом. Вопрос не сводился лишь к отвлечённому спору о тонкостях идеологии. Ленин не хотел «ждать и смотреть». Он верил в практическое действие ради как можно более скорого свершения революции. И, во всяком случае, исходя из того ограниченного личного опыта, который он успел приобрести, он вполне разделял собственные взгляды Маркса на «идиотизм сельской жизни».

Сам немецкий оракул тут не слишком помогал. Он признавал, что если бы ему самому пришлось, как русскому, пытать счастья в ожесточённых спорах на Левом фланге, то даже его, по его словам, могли бы «осудить как равнодушного, колеблющегося марксиста». В целом он держался того принципа, что сначала должна произойти промышленная революция и пройти длительная буржуазная фаза, прежде чем станет возможен какой-либо переход к социализму. Под конец жизни он начал специально учить русский язык, чтобы разобраться в этой мучительной теоретической дилемме. Но так и не смог решить, какой путь для России вероятнее.

После смерти Маркса Энгельс устал от того, что русские товарищи постоянно втягивали его в этот спор. В 1883 году он писал Исааку Гурвичу, русскому экономисту, жившему в изгнании в Америке: «Если вы следили за писаниями русских эмигрантов в течение последних десяти лет, то сами знаете, как различные группы среди них толкуют отрывки из сочинений и писем Маркса самым противоречивым образом, словно это тексты античных классиков или Нового Завета. Всё, что я мог бы сказать по этому вопросу… вероятно, было бы употреблено сходным образом».

Ни одна из сторон в этом доктринальном споре не захотела бы узнать, что Маркс в действительности думал о русских. Как писал он в письме к Энгельсу: «Я не доверяю ни одному русскому. Стоит русскому пролезть внутрь, как начинается сущий ад».

ГЛАВА 15. Великий раскол: большевики и меньшевики

«Ленин… нет другого человека, который был бы так поглощён Революцией двадцать четыре часа в сутки, у которого не было бы никаких иных мыслей, кроме мысли о революции, и который даже во сне не видел бы ничего, кроме Революции».
Павел Аксельрод (1850–1928)

Хотя Ленин и ненавидел саму мысль о переезде в Женеву, он постарался извлечь из этого всё возможное. Ему недоставало его постоянного места, L13, в читальном зале Британского музея, где он провёл столько утренних часов в удовлетворительном, напряжённом труде. Но он признавал, что в этом швейцарском городе есть по меньшей мере пара достойных и хорошо устроенных библиотек — одно из его главных требований везде, где бы он ни оказался в эмиграции.

Он и Надя нашли пригодные для жизни, хотя и ничем не примечательные комнаты на двух этажах неподалёку от приятного парка и берега озера, в буржуазном пригороде Сешерон, и устроились в своём новом жилище. Через несколько недель к ним присоединилась Елизавета Васильевна. Одна из посетительниц, видевшая их в квартире вскоре после переезда, Цецилия Зеликсон-Бобровская, старая петербургская знакомая Ленина, отметила, что комнаты казались спартанскими. Упаковочные ящики с книгами, привезёнными ими из Англии, служили чем-то вроде импровизированных обеденных столов. «На нижнем этаже была большая кухня, где стояла печь, на которой постоянно грелся большой эмалированный чайник — на случай неожиданных посетителей. Наверху мебель состояла из простых столов, заваленных журналами, рукописями и газетными вырезками… в каждой комнате — простая железная кровать, покрытая одеялом, и два стула. Посреди ленинского стола находилось нечто вроде счётов, при помощи которых он, по всей видимости, подсчитывал число крестьянских хозяйств в России или хозяев с лошадью — для одной из своих книг».[1]

Они регулярно ели в близлежащем кафе Landolt, куда русские эмигранты обычно ходили за дешёвым пивом, социал-демократическими сплетнями — и самыми вкусными в Женеве колбасками с квашеной капустой. Обычно Ленин и Надя сидели за отдельным столиком, под номером 40, у окна. В задней комнате регулярно проходили партийные собрания; у неё был собственный выход в узкий извилистый переулок — на случай появления полиции.

В целом швейцарская полиция, как и английская, русских не особенно трогала. Швейцария тоже имела долгую и почтенную традицию предоставления убежища русским диссидентам. Но это была консервативная страна, и власти хотели удостовериться, что их гости не причинят неприятностей.[2]

Мартов перебрался из Англии несколькими месяцами раньше; он терпеть не мог Лондон, где в те годы не было никакой кафе-культуры, нигде нельзя было интеллектуалу просидеть целый день за чтением газет и беседами с эмигрантами о тончайших вопросах диалектического материализма. «Мартов всё время бывал у нас дома, разговаривал с Владимиром Ильичом», — записала Надя. В это время они всё ещё были хорошими друзьями, но в их политические споры уже проник некоторый холодок, и отношения утратили часть прежнего юношеского пыла.[3]

---

[1] Зеликсон Бобровская: цит. по Clark, с. 142.

[2] Другим завсегдатаем Landolt в это время был Бенито Муссолини, тогда студент в Женеве. Русские эмигранты, писал он позднее в газетной статье, представляли собой «странную, эксцентрическую, фантастическую группу нигилистов и богемы… последнее слово лихорадочной современности… их жизнь была оргией громких разговоров и слабого чая».

[3] Мартов в Женеве: Крупская, Воспоминания, с. 128.

У Лениных были установлены приёмы по вторникам и четвергам после полудня: двери были открыты для русских посетителей именно в эти часы — правило, придуманное затем, чтобы товарищи не являлись в прочее время дня или ночи. Хотя Ленин мог быть замкнутым и отстранённым, когда хотел, он был занимательным и щедрым хозяином. Ему нравились весёлые люди, способные непринуждённо шутить и сообщать забавные и полезные сведения. Валентинов, много общавшийся с Лениным в Женеве, говорил, что тот «обожал» сплетни высокого сорта. «Ленин не любил скучных, мрачных и непроницаемых людей. Об одном [товарище] он сказал: “Очень хороший человек, то есть честный революционер и полезный для партии. К несчастью, как человек он скучен, как филин, — смеётся, может быть, раз в год, да и то никто не знает почему”. Ленин предпочитал, чтобы рядом с ним были люди живые и жизнерадостные».

В особенности он искал общества молодых активистов РСДРП «из дому», то есть недавно прибывших в Швейцарию, которые, как выражалась Надя, «дышали Россией». Он без конца расспрашивал их об обстановке в стране и о том, что там на месте делают члены партии.[4]

Ему нравились оживлённые вечера с пением старых русских народных песен и революционных гимнов. Пантелеймон Лепешинский, бывший с ним в сибирской ссылке, а затем и в Швейцарии, позднее вспоминал: «Владимир Ильич вносил в наши вокальные исполнения совершенно особенную страсть и задор… хотя и командовал нами, что именно следует петь… Он начинал своим несколько хриплым и фальшивым голосом — чем-то, что можно было бы описать лишь как нечто среднее между баритоном, басом и тенором:

Смело, товарищи, в ногу,

Духом окрепнем в борьбе…

И когда ему казалось, что другие недостаточно подчёркивают более выразительные места песни, он энергично размахивал кулаками, отбивая ритм ногой. Вопреки всем законам гармонии… он напрягал голосовые связки до предела и исполнял особенно любимые им места, беря ноты либо слишком высоко, либо слишком низко.

И мы поднимем над землёю

Знамя братского труда…

Его голос, как правило, заглушал все остальные».[5]

Он мог становиться сентиментальным в отношении музыки, но и тогда в этом обычно присутствовал политический оттенок. Он был почти до слёз тронут, когда на музыкальном вечере в его женевской квартире молодой скрипач Пётр Красиков сыграл «Баркаролу» Чайковского. Ленин сказал, что тот исполнил пьесу прекрасно, со страстью и чувством, но главное было в другом: в его непримиримости к самодержавию и в его храбрости — он совсем недавно драматическим образом бежал из Москвы, за считаные часы до того, как Охранка собиралась его арестовать. Практически единственным, что он захватил с собой из России, была его скрипка.

Но Ленин не мог позволить себе слишком много сентиментальности. С возрастом, становясь всё честолюбивее и всё более уверенным в своих силах, он сознательно старался обуздывать свои чувства и всё, что оставалось от мягкой стороны его натуры. Он сделал примечательное замечание писателю Горькому, который вспоминал один вечер, когда Ленин слушал сонату Бетховена. «Я не знаю ничего выше “Аппассионаты”. Я всегда думаю с гордостью о том, какие чудесные вещи способны создавать люди! Но я не могу слушать её слишком часто. Она действует

---

[4] Ленин не любил скучных людей: Valentinov, с. 173.

[5] Ленин поёт революционные песни: цит. по Clark, с. 144

на нервы, заставляет говорить глупые, добрые слова и гладить по головке людей, которые могли создавать такую красоту, живя в этом мерзком аду. А гладить никого по голове нельзя — могут руку откусить. Бить надо по головам, без всякой жалости… Гм, гм, долг наш адски труден…»

При всей своей приветливости и общительности, «угол Ленина был очень обширен, и почти никому он не позволял проникнуть в него», — говорил Валентинов. «Существовала невидимая черта, отделявшая Ленина от остальных товарищей, — и я никогда не видел, чтобы кто-нибудь её переступил».[6]

Несмотря на музыкальные вечера и товарищеское добродушие в Женеве, первый серьёзный кризис русского коммунизма грозил расколоть революционное движение в ожесточённом конфликте.

Разногласия между ведущими фигурами партии существовали всегда, особенно в редакции «Искры». Отношения Плеханова и Ленина после переезда последнего в Женеву вновь почти дошли до точки разрыва; Плеханов ненавидел Троцкого; Засулич едва могла находиться с Лениным в одной комнате; Потресов презирал Засулич; популярный Мартов старался ладить со всеми, но всё более раздражался из-за ленинской нетерпимости ко всякому, кто с ним спорил, и считал, что «Что делать?» — это скорее руководство по установлению диктатуры, чем просветляющее пособие по строительству социализма. Было решено развеять напряжение, созвав первую после основания РСДРП в 1898 году сколько-нибудь значительную конференцию членов партии. На ней должны были присутствовать эмигранты, а также партийцы, работавшие в подполье в России, и они должны были выработать согласованную партийную программу.

Признаки грядущей беды проявились с самого начала. Первоначально Второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии предполагалось провести в Брюсселе, начиная с 30 июля 1903 года. В первый день в мучном складе в центре города собралось сорок три делегата. Центральное окно было задрапировано огромным красным полотнищем с лозунгом, призывавшим к Единству. Пока Плеханов произносил вступительную речь, у ног делегатов сновали крысы, и многие вскоре начали с явным беспокойством чесать руки и ноги. Бельгийская полиция шла по их следу, вынуждая делегатов перебираться из одного мрачного помещения в другое. За ними следили повсюду — от залов заседаний до трактира Coq d'Or, где остановилось большинство, — а в их отсутствие рылись в их багаже. Охранка передала бельгийским властям полный список «смутьянов», и брюссельская полиция решила сотрудничать с ней. После нескольких дней плотной слежки делегаты стремились как можно скорее покинуть Бельгию, опасаясь, что, если задержатся ещё, некоторых из них могут выслать обратно в Россию.

Съезд перенесли в Лондон. Эта внезапная перемена означала массу дополнительной работы для Ленина и Нади. Им пришлось подыскивать неприметные помещения для заседаний, где делегатов не тревожили бы и не могли бы подслушать, а также жильё для самих делегатов, многие из которых жаловались, что терпеть не могут трактиры, и недоумевали, почему в Лондоне нет кафе, — разве это цивилизованный город? Одно из первых подходящих помещений, которое удалось найти, находилось в рыболовном клубе, где стены были украшены рыбацкими трофеями. Другие заседания проходили в залах профсоюзов и в Английском клубе, более известном под названием Коммунистический клуб, недавно открывшемся во Фицровии.

Съезд вновь открылся 11 августа, и именно тогда раскол внутри партии вышел наружу, а слова «большевик» и «меньшевик» впервые стали употребляться как политические обозначения. Эта междоусобная вражда с ядом продолжалась ещё целое десятилетие, пока наконец не было

[6] Ленин отделял себя от других эмигрантов: Valentinov, с. 181

признано, что разногласия непримиримы и, с практической точки зрения, лучше разделиться на две партии.

Основные вопросы были туманны и ничтожны до крайности. Сам Ленин признавал, что «по существу различия незначительны». Они были главным образом личного характера — Ленин теперь видел в Мартове возможного соперника как лидера, — и лишь в небольшой степени касались того, какой именно революционной партией станет РСДРП. Ленин хотел видеть её тесно организованным элитным корпусом преданных и профессиональных революционеров под руководством высоко централизованного руководства, навязывающего дисциплину членам. Мартов же представлял себе партию более свободную, более открытую, менее подчинённую контролю сверху, где рядовые члены имели бы значительно больший голос.

Непосредственным поводом к расколу послужил вопрос из разряда «сколько ангелов может танцевать на острие иглы?». Ленин и Мартов предложили каждый свой перечень критериев партийного членства. Ленинская формулировка гласила, что член партии — это тот, кто «принимает программу партии и поддерживает её материальными средствами и личным участием в одной из партийных организаций». Для Мартова это было слишком авторитарно. Быстро просмотрев ленинский проект резолюции, он сказал ему: «Да ведь это диктатура, которую ты предлагаешь». Ленин ответил: «Да, иначе нельзя».

Мартов предложил поправку. Член партии — это тот, кто «признаёт программу партии и поддерживает её материальными средствами и регулярным личным содействием под руководством одной из партийных организаций».

Мартов выиграл голосование — двадцатью восемью голосами против двадцати трёх. В этот момент его поддерживала одна из крупнейших групп внутри партии — организация еврейских социалистов, известная как Бунд (это слово означает по-идиш «Союз»).

Затем последовала серия раскольнических голосований по более мелким вопросам. В какой-то момент пять делегатов-бундовцев ушли со съезда, как и Союз русских социал-демократов, имевший на съезде два голоса. Соотношение сил изменилось, и Ленин мгновенно воспользовался случаем. Следующее голосование касалось удаления некоторых представителей «старой гвардии» из редакции «Искры» — Аксельрода, Засулич, Потресова, все они голосовали вместе с Мартовым. На этот раз победил Ленин, и, с присущим ему умением вести тактическую игру и подавать происходящее — говоря современным языком, заниматься политическим «спином», — он назвал своих сторонников «bolchintsvo», большинством, а противников — «menchintsvo», меньшинством. В последующие десятилетия, вплоть до сталинской эпохи, история Русской революции разворачивалась среди соперничества большевиков и меньшевиков.

На съезде началось настоящее побоище. Один молодой делегат, Александр Шотман, едва не избил другого, переметнувшегося на одну из сторон при одном из голосований, и его пришлось удерживать самому Ленину: «Только дураки пускают в ход кулаки в полемике», — сказал он ему. Аксельрод довёл до слёз известного московского революционера Николая Баумана, поддержавшего Ленина, ядовито намекнув на его недавно умершую любовницу. Надя была потрясена стычкой между ветераном Львом Дейчем, другом Плеханова, и пламенным ленинцем Владимиром Носковым, когда последний сказал пожилому человеку: «А вы держите рот на замке, старый маразматик». С каждым новым оскорблением атмосфера становилась всё более отравленной.

Нет сомнения, что главной причиной ожесточения был Ленин. Он жаждал драки — и получил её. Он всё время был в наступлении: увещевал, давил, отчитывал и оскорблял делегатов, а затем записывал их реакции и отмечал, на чьей они стороне, чтобы помнить это в будущем. Он

признавался Глебу Кржижановскому, одному из своих старейших товарищей, что вёл себя исступлённо: «Я сознаю, что вёл себя и действовал в состоянии страшного раздражения. Я вполне готов признать этот свой недостаток перед кем угодно, если это можно назвать недостатком… но [моё поведение] было естественным порождением атмосферы, откликов, выкриков, борьбы». Кржижановский, Красин, Потресов и ещё несколько человек, о которых Ленин думал, что они останутся с ним, перешли на другую сторону, хотя некоторые затем вернулись обратно.

Но Ленин был полон возбуждения и, казалось, только черпал силы из схватки. В последний день он разговаривал с одним из других делегатов, и этот разговор прекрасно передаёт, до какой степени ему доставляла удовольствие политическая драка. Он любил саму борьбу. Его собеседник сказал: «Какая тяжёлая атмосфера царила на съезде. Вся эта ожесточённая борьба, эта травля друг друга… это нетоварищеское отношение». Ленин ответил: «Нет, нет. Какой великолепный съезд… Свободная и открытая борьба. Мнения высказаны. Течения выявлены. Группы оформляются. Руки подняты. Решение принято. Один этап пройден. Вперёд! Вот это я понимаю».[7]

Ленин мгновенно понял значение слов «большевик» и «меньшевик». Он никогда не отказался от этого названия для той группы, которая пошла за ним, и от того психологического преимущества, которое оно давало. В течение долгих периодов следующих нескольких лет меньшевики в действительности значительно превосходили большевиков числом — и в России, и среди революционеров в эмиграции, — и именно они составляли большинство в ряде последующих голосований на разных съездах и конференциях. Однако они всё равно приняли имя, которое дал им Ленин, и сами называли себя меньшевиками. Это стало их «брендом», и Ленин умел извлекать из этого выгоду. «Он знал, что имя — это программа, сгусток сущности, по своему воздействию на необученный ум более сильный, чем десятки статей в учёных журналах», — сказал один из его товарищей. Со стороны меньшевиков было глупо навсегда оставить за собой это название. Это показывало, насколько они были тактически беспомощны. Мартов был порядочным, эрудированным, очень умным человеком, но совершенно никудышным политиком — не соперник Ленину. Если бы Ленин оказался в меньшинстве, он немедленно заменил бы это название на какое-нибудь другое — Истинные искровцы, Подлинные марксисты, Ортодоксальные марксисты, Революционное крыло социал-демократии — что угодно, только не «Меньшинство».

После съезда 1903 года злобное шельмование продолжилось и стало в партии обычной практикой. Для Ленина мартовцы были попросту «предателями», а нередко, ещё более грубо, — «cunts». Меньшевиков клеймили как «дезорганизаторов», «оппортунистов», «жирондистов», «реформистов». Меньшевики, в свою очередь, обвиняли Ленина в том, что он «Робеспьер», «якобинец», «террорист», «деспот» и — что в марксистском лексиконе считалось особенно дурным — «бюрократ» или «формалист». Мартов написал в «Искре» язвительную статью под заголовком «Вместо надгробного слова», назвав Ленина «политическим трупом». В другом месте он сказал об одном из ленинских текстов, что, «читая его строки, дышащие мелкой, порой бессмысленной личной злобой, поразительным нарциссизмом, слепой и глухой бесчувственностью… бесконечным повторением одних и тех же “боевых” и “сокрушительных” словечек, убеждаешься, что перед тобой человек, роковым образом обречённый скатываться всё

[7] Съезд 1903 года хорошо описан у Rappaport, с. 165–171; Service, с. 156–162; и Ulam, с. 173–179. Цитата Глебу Кржижановскому: письмо от 11 октября 1903 года, Собр.соч., т. 44, с. 128. Ленин о «великолепном съезде»: цит. по Clark, с. 149.

ниже по наклонной плоскости… которая приведёт его прямо к полной политической порче и к разрушению социал-демократии».

Обе стороны прибегали к сатире и карикатуре. Меньшевики составили пародийную конституцию Всероссийской социал-демократической рабочей партии, первый пункт которой гласил: «Партия делится на тех, кто сидит, и тех, на ком сидят». Лепешинский, художник-карикатурист-любитель, но весьма способный, создал историю «Как мыши кота хоронили». Плеханов там выступал как «всеведущая крыса», а Мартов и Аксельрод — как мыши. Ссоры приобретали глубоко личный характер и нередко сопровождались скандальными историями о сексе и деньгах. Ходили слухи о Николае Баумане: говорили, что он «жесток с любовницами» и избивает их в припадках неуправляемой ярости. Про Мартына Лядова, пылкого большевика, утверждали, что он спустил небольшое состояние из партийных средств в роскошном борделе. Ленин не гнушался никакими грязными приёмами: он пытался перетянуть на свою сторону Фёдора Дана, предложив показать ему тайное досье, будто бы содержавшее пикантные слухи о частной жизни видных меньшевиков. Уловка не удалась.[8]

Ленин потерял многих товарищей, на которых, как ему казалось, мог положиться, и многих талантливых людей, которыми восхищался. После съезда 1903 года он разошёлся с Троцким, и в течение следующих тринадцати лет они только и делали, что осыпали друг друга оскорблениями. Ленин неизменно называл его «Иудой Троцким», «этим мерзавцем», «грязным карьеристом» или «свиньёй, гулко звенящей пустыми фразами и напыщенностью». После одного столкновения он писал одному из своих сторонников: «Вот он, Троцкий! Всегда одно и то же: уклончивый мошенник, который рядится в левого, а сам при первой возможности помогает правым». Троцкий отвечал тем же. Почти через десятилетие после раскола он сказал одному меньшевику-другу: «Гнилая склока, систематически разжигаемая тем мастером подобных дел, Лениным, этим эксплуататором всякой отсталости в русском рабочем движении… Вся ленинская постройка возведена на лжи и фальсификации и носит в себе ядовитый источник собственного разложения». Ленин, говорил он, «просто насквозь беспринципен». Его самое едкое замечание оказалось и самым пророческим: «Когда Ленин говорит о диктатуре пролетариата… он имеет в виду диктатуру над пролетариатом».

Вражда достигала нелепых размеров. Большинство ведущих фигур по обе стороны раскола жили бок о бок в Женеве, тогда ещё небольшом городе с населением не более 75 000 человек. Если член одной фракции видел бывшего товарища из другой, предписанный Лениным порядок действий состоял в том, чтобы перейти на другую сторону улицы и избежать встречи: «когда у тебя на пути вонючая куча, тебе не нужно её трогать, чтобы понять, что это. Нос подскажет, что это дерьмо, и ты проходишь мимо», — говорил он. Соперничающие лагеря ели свои колбаски и пили кофе в разных комнатах кафе Landolt.

Этот спор изматывал Ленина. «Нередко во время наших прогулок он только и делал, что изрыгал злобные и бранные тирады», — говорил Валентинов. «Когда он говорил о меньшевиках, Ленин едва владел собой. Он вдруг останавливался прямо посреди тротуара, засовывал пальцы в прорези жилета (даже когда был в пальто), откидывался назад, а затем прыгал вперёд, осыпая врагов ругательствами. Его ничуть не смущало, что прохожие с некоторым изумлением глядели на его жестикуляцию. Эти его вспышки, произносившиеся с такой страстью… несомненно, изматывали его и отнимали у него огромные запасы энергии… За этим бешеным состоянием

[8] Партийные расколы превосходно изложены у Valentinov, с. 178–181; Service, с. 160–166; Fischer, с. 197–201; и Rappaport, с. 173–176.

ярости и крайнего нервного напряжения следовали истощение, упадок сил, вялость и подавленность».

Когда Ленин в это время говорил о «враге», он имел в виду не царя и не самодержавный режим. Он имел в виду своего прежнего «друга» и товарища Мартова и меньшевиков.[9]

[9] Ленинские «ярости»: Valentinov, с. 189.

ГЛАВА 16. Взлеты и падения

«Мне не нужны люди с неопределёнными взглядами и мямли. Лучше маленькая рыбка, чем большой жук. Лучше два или три энергичных и совершенно преданных человека, чем дюжина копуш».
Ленин — Наде, 1904

Вернувшись в Швейцарию, Ленин стал искать успокоения и утешения привычным для себя способом. Он отправился в горы. «Мы с Надей чудесно съездили», — писал он матери вскоре после возвращения из Лондона. «Внизу, в Женеве, всё было затянуто туманом и мраком, а там, в горах [на высоте около 1200 метров] над уровнем моря, было великолепное солнце... снег. А у подножия горы — la mer du brouillard, настоящее море тумана и облаков, скрывающее всё, кроме пиков, выступающих над ним, и то лишь самых высоких. Даже маленький Салев (почти 1000 метров) был окутан туманом».

Через несколько дней он снова шёл вместе с Надей по длинному меловому хребту Салева в одно из своих любимых времён суток — смотреть восход. На этот раз, среди красоты природы, успокаивавшей его дух, он сделал политическое замечание. «Случилось так, что мы поднимались вместе с двумя рабочими, но, добравшись до вершины, потеряли их из виду... На обратном пути мы снова встретили их и сказали: “Восход был очень красив, не правда ли?” Они ответили: “К сожалению, мы ничего не увидели. Вчера мы работали весь день и так устали, что, присев немного подождать солнца, заснули”».[1]

Нет сомнения, что именно Ленин стал причиной раскола в революционной партии, — и его противники сговаривались заставить его заплатить за это. Плеханов поддержал его на Лондонском съезде, но почти сразу же об этом пожалел. Он повернулся против него и добился того, что Ленина вывели из редакции Искры — с той позиции, которая была его опорной точкой власти. Ленин вышел из всех организационных комитетов РСДРП и оказался почти полностью изолирован. За ним осталось гораздо меньше сторонников, чем он ожидал. Он потерял друзей, хотя, по-видимому, это его не особенно заботило. Он лишь пожал плечами, когда Потресов, которого он хорошо знал ещё по временам петербургских радикальных салонов начала 1890-х годов, порвал с ним, заявив, что он «не мог найти с Лениным никакой середины. Всё у него сводилось к крайностям: ты либо с ним, либо против него. Он сводит человеческое состояние к чему-то монолитному, однотонному». Глеб Кржижановский отчаянно пытался добиться примирения, но Ленин и слышать об этом не хотел. Он говорил Ленину, что раскол «бесплоден», и спрашивал его, как он может настаивать на своей правоте, когда все прочие партийные вожди и старшие товарищи его покинули. «Мы умоляем старика оставить свою ссору и начать работать на благо партии. Мы ждём от него листков, брошюр и всякого рода советов». Вместо этого они получили гневное, ожесточённое и обращённое внутрь оправдание всех его действий — полемический труд Шаг вперёд, два шага назад, классический образец «ленинистской» воинственности и брани против предполагаемых врагов. «Только наивные простаки могут не понимать, что делу мартовцев нужно противопоставить максимальный нажим», — говорил Ленин.[2]

Его вера в себя и уверенность были непоколебимы. Для маленькой группы, почти лишённой широкой поддержки, раскалывать партию, а затем раскалывать её вновь, уходя в политическую

---

[1] Прогулки в Альпах: Ленин — матери, 6 сентября 1903 года, Собр.соч., т. 44, с. 372.
[2] Попытки примирения в партии: Кржижановский у Ulam, с. 204.

пустыню, казалось бы, означало выбрать безнадёжный путь. Но в долгосрочной перспективе — а Ленин всегда смотрел на более широкую картину и на дальний срок — эта тактика себя оправдала. По его расчёту, не так уж важно было, сколько у него сторонников. Важно было иметь группу людей, партию, преданную лично ему, — дисциплинированных и самоотверженных сторонников, которые будут распространять истинное слово. «Мне не нужны люди с неопределёнными взглядами и мямли. Лучше маленькая рыбка, чем большой жук. Лучше два или три энергичных и совершенно преданных человека, чем дюжина копуш», — говорил он Наде. Те немногие, кто всё же следовал за ним, «почитали его в какой-то приторной форме культа героя, — замечал один из них, позднее покинувший лагерь Ленина, — никогда в нём не сомневаясь. Это казалось нездоровым».[3]

Ленинские «приступы ярости», бешеный темп и напряжённость, с которыми он работал, а также постоянные политические кризисы подтачивали его здоровье. На протяжении всей жизни, когда он испытывал напряжение, его мучили изнурительные головные боли, спазмы желудка и бессонница, оставлявшие его распростёртым в состоянии нервного истощения.[4] Он стоял на грани срыва, и Надя это знала: «глаза у него были тяжёлые, потухшие, веки опухли от недосыпания… Иногда, работая дома, он ходил на цыпочках, словно боялся, что его собственные мысли могут быть потревожены». Его состояние ухудшилось ещё и после того, как в марте 1904 года он на велосипеде врезался в заднюю часть трамвайного вагона и получил болезненные порезы лица и ушибы рук и ног. Он ходил по Женеве с повязками на щеках. Мать и сёстры беспокоились о нём и регулярно писали Наде о своих тревогах.

Ему нужен был отдых, чтобы восстановить здоровье и душевное равновесие, — и Наде тоже. «В конце июня мы с Владимиром Ильичом надели рюкзаки и, не имея никакого плана, ушли на месяц в горы». Они договорились в течение всего этого времени не говорить ни о работе, ни о политике: «Работа — не медведь, в лес не убежит», — сказал он ей.

Через неделю она писала Марии Александровне: «Мы оставили нашу работу и тревоги в Женеве… спим по десять часов в сутки, купаемся и гуляем. Володя даже газет как следует не читает. Мы взяли с собой самый минимум книг, да и те завтра отошлём обратно в Женеву, нераспечатанными, а сами отправимся в пешее странствие по горам… в Интерлакен, а потом в Люцерн… Уже через неделю мы заметно оправились и снова начали выглядеть здоровыми… Мы

---

[3] Анатолий Луначарский был преданным большевиком, боготворившим Ленина, но временами всё же способным видеть некоторые недостатки своего героя. Он говорил, что в эту пору в Женеве Ленин «работал главным образом пером… Мне стало казаться, что Ленин не тот подлинный революционный вождь, каким я его считал. Мне стало представляться, будто эмигрантская жизнь в известной мере его умалила, что внутренняя партийная борьба с меньшевиками оттеснила для него на задний план могучую борьбу против монархии и что он скорее журналист, нежели настоящий вождь».

[4] Он, несомненно, страдал гипертонией, как и его отец: он был, так сказать, человеком, у которого удар лишь ждал своего часа, как это позднее подтвердил артериосклероз сосудов головного мозга. Примерно в это время он обращался к врачу по поводу желудочных недомоганий, и тот сказал ему, что подлинная проблема его здоровья — вовсе не кишечник: «дело в мозге» — диагноз удивительно точный, которого ни один другой специалист не поставил вплоть почти до конца его жизни. Врач предположил, что его лихорадочная жизнь и распорядок окажутся для него крайне вредны. По-видимому, Ленин никому об этом не рассказал, даже Наде.

были под таким напряжением, что нас нельзя винить за то, что мы взяли месячный отпуск». [5], [6]

В первую часть этого отдыха их сопровождала Мария Эссен, молодая большевистская активистка и одна из двух лишь членов Центрального комитета РСДРП, поддержавших Ленина в партийном расколе. Она приходилась также дальней родственницей ленинской матери по её скандинавской линии. «Во время ходьбы Ленин, казалось, никогда не уставал», — вспоминала она позднее.[7] «Я собиралась возвращаться в Россию, и на прощание мы решили, что мы втроём — Владимир Ильич, Надежда Константиновна и я — отправимся в горы. Мы сели на пароход до Монтрё. Мы посетили мрачный Шильонский замок и камеру Бонивара, так прекрасно описанную Байроном. Мы увидели камень, к которому был прикован Бонивар… Как только мы вышли из тёмных сводов, нас тотчас ослепило яркое солнце и потрясающий пейзаж… Мы решили взойти на одну из вершин». (Это были Роше-де-Не — слишком трудный подъём для Нади, которая осталась в ближайшей гостинице.)

«Поначалу подъём был лёгким и приятным, но чем выше мы поднимались, тем труднее становилось. Мы сошли с тропы и полезли прямо вверх по склону. С каждым шагом подъём делался всё тяжелее. Владимир Ильич шагал быстро и уверенно, посмеиваясь над моими попытками не отставать от него. Через некоторое время я уже карабкалась на четвереньках, хватаясь за снег, таявший у меня в руках, но всё же продолжая не отставать от [него]… Наконец мы достигли вершины. Внизу расстилалась беспредельная панорама, неописуемая игра красок. Перед нами лежали… все виды растительности; рядом с нами — ослепительная белизна снега; чуть ниже — богатые альпийские луга… Я была в таком настроении, что мне захотелось чего-то высокого из литературы, и я уже собиралась начать декламировать Шекспира или Байрона, когда посмотрела на Владимира Ильича. Он сидел, глубоко задумавшись. Вдруг он воскликнул: “Гм, и кашу же заварили нам меньшевики”. Когда мы отправлялись в путь, мы условились не говорить о меньшевиках, “чтобы не портить пейзаж”, и пока он шёл, он был полон веселья и радости жизни, явно выбросив из головы все мысли о меньшевиках или бундовцах. Но стоило ему только присесть на минуту, как его ум возвращался к привычному ходу мыслей».

После того как Эссен покинула их — через несколько дней после приезда в Россию её арестовали, — Ленин и Надя продолжили своё путешествие по Бернскому Оберланду. «Мы всегда выбирали самые дикие тропы и уходили подальше в глубь гор, как можно дальше от людей. Мы странствовали целый месяц; каждый день мы не знали, где окажемся назавтра. К вечеру мы всегда были так утомлены, что падали в постель и засыпали мгновенно… Денег у нас было очень

---

[5] Отпуска занимали важное место в жизни Ленина. Несколько дней в горах или у моря неизменно восстанавливали его, как бы он ни был изможднён и измучен. Двумя годами ранее он провёл трёхнедельный отдых с матерью и сестрой Марией в Логиви, на побережье Бретани, без Нади. Он сам всё устроил и распланировал заранее до мелочей, вплоть до железнодорожной станции, на которой им следовало сдать багаж. «Хорошо бы летом побыть на Волге, — писал он Марии Александровне. — Ну, если мне нельзя приехать на Волгу, то волжане могут приехать сюда. Здесь тоже есть хорошие места, хотя и иного рода».

[6] Пеший отдых 1903 года и потребность Ленина в отпусках: Крупская, Воспоминания, с. 149.

[7] Несмотря на все симптомы нездоровья, внешне Ленин производил впечатление чрезвычайно крепкого человека. Он плавал, катался на коньках и регулярно занимался физическими упражнениями. «Он говорил мне, что каждое утро раздевается и делает по меньшей мере десять минут разные гимнастические упражнения», — вспоминал Валентинов. «Среди них были прежде всего круговые движения руками, приседания и наклоны вперёд, с прямыми коленями, чтобы коснуться пола». Валентинов сказал Ленину, что никогда не ходит к врачу и не может себе этого позволить. «Ленин посмотрел на меня с отвращением — другого слова я не нахожу, — как смотрят на грязного или дурно пахнущего человека. “Это просто показывает отсутствие культуры, — сказал он мне. — Это настоящее поведение глуши. Нужно ценить и беречь своё здоровье. Быть физически сильным и здоровым, обладать выносливостью — всегда благо, но для революционера это ещё и долг”».

мало, и питались мы главным образом яйцами, сыром и тому подобным, запивая это вином или родниковой водой. За настоящий обед мы садились редко. В одной маленькой гостинице, которую держал социал-демократ, какой-то рабочий посоветовал нам: “Не обедайте с туристами, а ешьте с извозчиками, шофёрами и рабочими. Это обойдётся вдвое дешевле и насытит вдвое лучше”. Так мы и сделали». Ленин регулярно посылал матери и Марии бодрые письма — «привет от бродяг», — писал он из Кандерштега, близ Фрутигена.

Они завершили своё путешествие у озера Брет в начале сентября. Они прошли пешком более четырёхсот километров и не испытывали ни малейших угрызений совести из-за столь долгого отпуска. Как всегда, свежий воздух и горы восстановили его здоровье и оживили дух. «Как будто горные потоки смыли всю паутину мелких интриг», — писала Надя.[8]

[8] Восхождение на Rochers de Naye с Марией Эссен: цит. по Fischer, с. 169–171.

ГЛАВА 17. Самодержавие без самодержца

«Что будет со мной и со всей Россией? Я не готов быть царём. Я никогда не хотел им становиться. Я ничего не знаю о деле управления. Я не знаю, как исполнять эти обязанности». Николай II — своему двоюродному брату Сергею в день восшествия на престол, 19 октября 1894 года

Первая, изначальная «коммунистическая шутка» — жанр мрачного юмора, впоследствии прославившийся во всём мире, находившемся под господством Советского Союза, — заключалась в замечании одного большевистского комиссара в 1918 году, что царя Николая следовало бы наградить высшей советской наградой, Красным Знаменем, за его «заслуги перед Революцией».

Царь сделал не меньше, чем кто бы то ни было, включая Ленина, для того чтобы приблизить гибель династии Романовых и обеспечить коммунистический захват власти в России. Он никогда не задумывался о законах непредвиденных последствий. В тот момент, когда России было необходимо мудрое и творческое руководство, ей достался правитель, совершенно непригодный для этой роли. Без преувеличения можно сказать, что каждое крупное решение Николая II было ошибочным — от выбора жены, Александры, лишь усугублявшей его собственные заблуждения, до его роковых решений по вопросам войны и мира.

Он никогда не ставил под сомнение свою жёсткую веру в принцип самодержавия. В январе 1895 года, через несколько недель после того как стал царём, он заявил собранию губернских дворян, что всякие надежды на политическую либерализацию — это «бессмысленные мечтания», и что он поклялся считать своим долгом «поддерживать… самодержавие столь же твёрдо и неуклонно, как хранил его мой незабвенный покойный отец». Он хотел быть самодержцем, но ни видом, ни голосом не походил на него, и ему недоставало ни характера, ни ума, ни силы воли, чтобы им быть. Он, возможно, стал бы удачным церемониальным монархом. Манеры у него были безупречные, банальности он произносил с изяществом и в мундире выглядел прекрасно. Но не так правили Романовы. Хотя однажды подсчитали, что по крови он был русским лишь на 1/128, а в остальном преимущественно немцем, по складу ума и по образу мыслей, как сказал один из его самых долго служивших министров, «наш царь — восточный человек, на сто процентов византиец». Он по-средневековому верил в своё божественное право властвовать, но не имел никакого понимания природы власти.

Его никогда не «учили» царствовать и вообще мало чему учили в делах управления. Его главный наставник, генерал Григорий Данилович, полагал, что «таинственные силы, нисходящие во время таинства коронации, дают правителю все необходимые практические сведения». Его преподаватель права и истории Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода, был невысокого мнения о своём царственном воспитаннике. Однажды он заметил, что главное, что он может о Николае припомнить, — это то, что «он, казалось, был целиком поглощён ковырянием в носу».[1]

---

[1] Из огромного числа книг о последнем царе и его жене — и о позднем этапе династии Романовых — лучшими являются: Simon Sebag Montefiore, The Romanovs 1613–1918, London, 2016; Dominic Lieven, Nicholas II: Emperor of All the Russians, London, 1993; и Edvard Radzinsky, The Last Tsar, London, 1992. Письма Николая II и Александры за 1914–1918 годы представляют собой бесценный источник, доступный онлайн по адресу: www.alexanderpalace.org/letters .Прекрасный общий фон о царе и революции 1905 года содержится у Figes, A People's Tragedy, и Пайпс, Русская революция.

Николай, поглощённый ковырянием в носу: Figes, с. 172.

Его отец, Александр III, огромный человек-медведь с неуёмной страстью к еде и спиртному, дурно обращался с «Ники», не давая ему вовсе никакой роли в управлении империей. Когда граф Сергей Витте, тогдашний министр финансов, предложил предоставить Николаю скромную должность с местом в Комитете по сооружению Транссибирской магистрали, царь недоумённо посмотрел на него: «Вы когда-нибудь пытались обсуждать что-нибудь серьёзное с Его Императорским Высочеством Великим Князем Цесаревичем? Не говорите мне, что вы никогда не замечали, что Великий Князь — … совершенный тупица».

Когда Александр умер от болезни почек в ноябре 1894 года, его старший сын разрыдался — не от скорби по отцу, а от жалости к самому себе. Рыдая в покоях, где лежал умерший отец, он проклинал свою судьбу и спрашивал кузена Сандро (Сергия): «Что будет со мной и со всей Россией? Я не готов быть царём. Я никогда не хотел им становиться. Я ничего не знаю о деле управления». [2]

Он не был полным идиотом. Он свободно говорил по-английски, по-немецки и по-французски и прилично знал итальянский. О нём говорили, что «он мог безупречно говорить на нескольких языках, но ни на одном из них ему нечего было сказать умного или интересного». [3] Другие, знавшие его, судили мягче. «Это был самый воспитанный человек, какого я когда-либо встречал», — говорил Витте. У него были некоторые прекрасные качества — он был предан долгу и тяжёлой работе, глубоко любил семью, — «однако его способности были ограничены крайней узостью его воспитания и взглядов». Даже многие ультрароялисты были им разочарованы. «Он понимает значение только одного факта за раз, не связывая его ни с какими другими, — говорил Победоносцев. — Он цепляется за несущественное… у него мелочный взгляд на вещи».[4]

Николай тратил несоразмерно много времени на пустяки, с которыми мог бы справиться любой младший чиновник, — например, на распоряжения о ремонте сельскохозяйственного училища, на личное назначение губернских повивальных бабок, на утверждение железнодорожных расписаний. Но, как показывают его скучные и ничего не проясняющие дневники, о широкой картине и великих государственных делах он почти не думал. Он стравливал министров друг с другом и обычно обращался с ними дурно, вместо того чтобы сплачивать их в одну команду под своим руководством. В правительстве были умные и способные администраторы — особенно выделялись граф Витте и Пётр Столыпин, — но он им никогда не доверял. В то время как огромной и всё ещё растущей империи были необходимы эффективные и творчески мыслящие «технократы», люди, знавшие, что делают, он полагался в советах на узкий кружок реакционных придворных.

А когда примерно через десять лет своего царствования он всё же принял одно крупное решение, то это оказалась катастрофическая ошибка, придавшая дополнительную силу революционному вихрю, который впоследствии его смёл. Он начал войну с Японией за господство в Южно-Китайском море, желая усилить русское влияние на Востоке. Русские, с присущим европейским империалистам расовым высокомерием, полагали, что быстро одержат победу и тем самым

---

[2] Людовик XVI, чья судьба была столь сходна с судьбой Николая, сказал нечто подобное, когда ему сообщили о смерти отца: «Какое бремя. А меня ничему не научили! Весь мир сейчас обрушится на меня»

[3] Его английский был настолько безупречен, что с ранней юности Александр III заставлял его писать личные письма королеве Виктории. В некотором отношении он был англофилом — особенно потому, что состоял в родстве с британским королевским домом, — но в действительности англичан он не слишком любил и уж certainly не любил, как говорил советникам, их политику или «цивилизацию». Он часто говорил председателю Совета министров Витте, что «англичане — совсем как жиды», а это слово служило у него ругательством

[4] «Самый воспитанный… однако крайне ограниченный узостью своего кругозора»: Sebag Montefiore, The Romanovs, с. 526.

расширят своё присутствие в Маньчжурии и на Корейском полуострове — в конце концов, как говорил Николай, им ведь противостояли всего лишь «жёлтые люди, не вполне цивилизованные». Но русские военные были плачевно не готовы и почти вовсе не учитывали, что Япония быстро модернизируется и её военные возможности соответствуют её имперским устремлениям. Россия потерпела унизительное поражение и потеряла почти весь свой Тихоокеанский флот. Ей пришлось просить мира. Николай был раздавлен. Обладай он хоть некоторой долей воображения, он, возможно, понял бы, насколько шатко держится его трон.[5]

Историки в целом были довольно снисходительны к Николаю II, главным образом из-за ужасного характера его смерти и убийства его семьи. Но в собственной гибели он был виновен в значительной степени сам. Он не был благонамеренным человеком, которого смели приливы истории. Если бы в начале своего царствования Николай II предпринял хоть какие-то усилия для установления конституционной монархии, проведения либеральных реформ и допуска к свободной политической жизни, как это было в других странах Европы, он, возможно, спас бы Россию от катастрофы — и жизнь себе и своей семье. Он вполне заслужил своё место, как выражались марксисты, на свалке истории.

В Женеве около 9:30 утра в понедельник 10 января 1905 года Ленин и Надя, «направляясь в библиотеку, встретили Луначарских, которые шли к нам. Жена Луначарского [6] была так взволнована, что не могла говорить, только размахивала перед нами своей муфтой… Мы пошли в эмигрантский ресторан Лепешинских. Нам хотелось быть вместе. Люди, собравшиеся там, почти не разговаривали друг с другом — так все были возбуждены». [7]

Русские жадно впитывали новости из Петербурга, где накануне совершенно мирная демонстрация в центре города обернулась бойней. «Мы были потрясены», — говорила Надя. «Почти всё утро никто не произнёс ни слова. Мы начали петь революционный похоронный марш “Вы жертвою пали в борьбе роковой” с мрачно сжатыми лицами. На всех сразу нахлынуло ощущение, что Революция началась, что оковы веры в царя разорваны».[8]

Сообщения из России были ужасающими. С начала года ряд стачек остановил несколько петербургских фабрик, хотя они ни разу не парализовали город и ни в один момент не выглядели как восстание. Вождём стачечников был харизматический священник, отец Георгий Гапон, который верил, что если царю рассказать о тяжёлой жизни русских рабочих и обратиться к нему непосредственно, то он вмешается и заставит фабрикантов улучшить условия труда и повысить заработки. Это было безнадёжно наивно, но показывало, насколько, по-видимому, публика верила царю. Гапон призвал стачечников и их семьи выйти на демонстрацию в воскресенье 9 января. Он составил петицию, которую предполагалось вручить Николаю. Она была смиренной, простой по языку и, как показало дальнейшее, исполненной трагического пафоса. «ГОСУДАРЬ: Мы, рабочие и жители Санкт-Петербурга, различных сословий, наши жёны, дети и наши старые беспомощные родители, приходим к ТЕБЕ, ГОСУДАРЬ, искать справедливости и защиты. Мы обнищали; нас угнетают, изнуряют чрезмерным трудом, с нами обращаются с презрением… мы задыхаемся в деспотизме и беззаконии… у нас не осталось сил,

---

[5] Война с Японией: Пайпс, Русская революция, с. 188–193.

[6] Это была первая жена Анатолия Луначарского, Анна Малиновская, сестра большевистского философа и давнего интеллектуального оппонента Ленина Александра Богданова. Вскоре после революции 1917 года, уже будучи немолодым и находясь у власти как нарком просвещения, он оставил её ради Натальи Розенель, актрисы, которой не было и половины его лет.

[7] Новое кафе, недавно открытое друзьями Ленина и его товарищами по сибирской ссылке, Пантелеймоном и Ольгой Лепешинскими; теперь туда ходили большевики, в то время как меньшевики по-прежнему предпочитали заднюю комнату соседнего заведения Ландольта

[8] Реакция Ленина на революцию 1905 года: Крупская, Воспоминания, с. 184.

и терпение наше на исходе. Мы дошли до того страшного момента, когда смерть лучше продолжения наших невыносимых страданий».

В пятницу, накануне намеченного шествия, Гапону было приказано отменить демонстрацию, иначе последуют «решительные меры».[9] Разные влиятельные лица — от нескольких либеральных министров до Максима Горького — уговаривали правительство вступить в переговоры с протестующими. Но Николай покинул Петербург и уехал в Царское Село, приказав военным рассеять толпу, если она приблизится к правительственным зданиям.

Это было прекрасное зимнее утро с крепким морозом. Солнце сияло «ослепительно на бледно-голубом небе над белым простором Невы, над покрытыми снегом крышами и улицами». Основную массу безоружного шествия вели группы женщин и детей, «одетых в свои лучшие воскресные платья». Во главе одной из колонн шёл отец Гапон, «в длинной белой рясе, с крестом в руках. Сразу за ним несли большой портрет царя». Когда процессия подошла к Нарвским триумфальным воротам, на неё налетел кавалерийский отряд с обнажёнными саблями. Большинство участников разбежалось. Но некоторые продолжали идти к шеренге пехоты — и были скошены огнём. Гапон упал на землю, потом поднялся, увидел вокруг себя снег, ставший красным от крови, и, как слышали, повторял: «Бога больше нет… царя больше нет».[10]

Некоторые демонстранты подошли совсем близко к Зимнему дворцу. Один очевидец видел, как солдаты стреляли в них, «сбивая маленьких мальчиков, сидевших на деревьях в соседнем саду… По Невскому быстро мчались сани, за ними бежали с голыми руками полдюжины рабочих, крестясь, некоторые — плача. В санях сидел юноша, державший в объятиях студента — мёртвого, с лицом, превращённым в одну зияющую рану. Три-четыре казака подскакали верхом, натянули поводья, посмотрели на сани, а потом поехали дальше с издевательским смехом».

Горький, находившийся среди демонстрантов у Троицкого моста, видел, как офицер убил одного молодого участника шествия: «Драгун кружил вокруг него и, визжа… размахивал саблей в воздухе. Ринувшись с коня вниз, он полоснул его по лицу, рассёк от глаз до подбородка. Помню странно расширившиеся глаза рабочего и… лицо убийцы, раскрасневшееся от холода и возбуждения, с крепко стиснутыми зубами и усами, вставшими дыбом на приподнятой губе. Размахивая своей стальной полосой, он снова издал крик и… плюнул сквозь зубы в мёртвого».[11]

К вечеру настроение сменилось: потрясение уступило место гневу. Британский журналист Гарольд Уильямс видел «лица вокруг меня и различал на них не страх и не панику… а враждебность и ненависть. Я видел эту ненависть на каждом лице — у молодых и старых, у мужчин и женщин. Революция родилась. Народный идеал — мифический или нет — доброго царя, поддерживавший режим в течение веков, был внезапно разрушен». В действительности армия и прежде на протяжении многих столетий использовалась царями для удержания

---

[9] Гапон, в такой же степени авантюрист, как духовный вождь или политический деятель, был агентом охранки и стал главой полулегального профсоюзного движения, тайно созданного полицией для противодействия социалистическим движениям. Таков был заговорщический, перевёрнутый мир русской политики, где ничто не было тем, чем казалось. Однако Гапон вышел из повиновения и обманул своих полицейских кураторов, вдохновив шествие, приведшее к Кровавому воскресенью. Вскоре после этого он бежал из России и отправился в Европу, где французские левые дали ему убежище в Париже, анархист князь Кропоткин — в Лондоне, а затем он оказался и в Женеве, где Ленин с ним встретился. Ленин заинтересовался священником и пытался привлечь его к большевистскому делу, но Гапон предпочёл примкнуть к партии социалистов-революционеров. В начале 1906 года он вернулся в Россию и возобновил контакты с охранкой, однако его двойная игра вскоре была раскрыта. В марте 1906 года он был убит эсеровскими вождями, которых собирался предать.

[10] Описание Кровавого воскресенья: Figes, с. 246–248

[11] Горький во время Кровавого воскресенья: цит. по Figes, с. 249

власти, но теперь, в двадцатом веке, это поразило даже верных сторонников режима как варварское излишество.

От прежних зверств это отличалось и в других отношениях. Всё произошло в столице России, где на месте событий находились иностранные журналисты, а скорость коммуникаций была такова, что уже на следующий день новость оказалась на первых полосах газет всего мира. Иностранные правительства были обеспокоены перспективой хаоса в России. Американский посол Роберт Маккормик через три дня докладывал в Вашингтон: «Эти события… ослабили, если не разрушили, ту непоколебимую верность и глубокое почтение, которые всегда отличали подданных царя всея Руси. Я получил свидетельства этого от людей самых разных сословий, от высших до низших, и особенно ясно это выражено в письме, которое я получил… от мистера Хинэна, нашего консула в Одессе. Он пишет: "За все восемнадцать лет, что я провёл в России, я никогда не видел, чтобы русская публика была так едина… Все классы осуждают власти и, более всего, императора. Он совершенно утратил любовь русского народа, и каково бы ни было будущее династии, сам царь уже никогда не будет в безопасности среди своего народа". Я разделяю мнение мистера Хинэна: император уже никогда не сможет восстановить своё прежнее исключительное положение».[12]

Официальная цифра, объявленная правительством, говорила примерно о 200 убитых и 800 раненых, но действительное число было куда выше — вероятно, вчетверо больше. В Женеве, за тысячу миль от происходящего, Ленин был убеждён, что Кровавое воскресенье — это начало конца царизма и что сам конец уже недалёк.

Ленин теоретически предсказывал восстание против монархии. За две недели до Кровавого воскресенья он напечатал статью в новой социалистической газете, которую запустил, — Vyperod (Вперёд). «Военный крах [в войне с Японией] неизбежен, а вместе с ним в десять раз возрастут волнения, недовольство и мятеж… К этому моменту мы должны готовиться всеми силами. В этот момент одна из таких вспышек… разовьётся в грандиозное народное движение. В этот момент пролетариат поднимется, чтобы стать во главе восстания». [13], [14]

Но когда «этот момент» настал, Ленин оказался захвачен им совершенно врасплох и был самым жалким образом не готов и не вооружён для того, чтобы с ним справиться. То же самое относилось почти ко всем марксистским и эсеровским вождям. Позднее он назовёт революцию 1905 года Генеральной репетицией, как если бы всё это было заранее задумано и расписано по ролям. Ещё позднее коммунистическое переписывание истории отвело ленинской РСДРП ведущую роль в этих событиях. Но партия почти не участвовала в первых стачках и волнениях. На демонстрации в Кровавое воскресенье присутствовала лишь горстка партийцев — и стояли они в самом хвосте шествия, помещённые туда почти как второстепенная деталь.

Ленин почти не произнёс ни слова в течение всего дня у Лепешинского и, по словам Нади, после возвращения домой тоже. На следующее утро он сделал то, что обычно делал: отправился в Женевскую центральную библиотеку. В следующие несколько дней он читал всё, что только мог найти, о партизанской войне и военной тактике исторических восстаний, особенно о Парижской

---

[12] Посол США Маккормик, Foreign Relations of the United States (FRUS), http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1905

[13] Уже больше не связанный с «Искрой», которая стала меньшевистским органом и после партийного раскола просуществовала недолго, Ленин основал газету «Вперед» при щедрой финансовой поддержке Горького. Но это была гораздо менее влиятельная газета, у неё не было организованной сети «агентов» для переправки экземпляров в Россию, и распространялась она главным образом среди русских эмигрантов в Западной Европе

[14] Ленин о войне с Японией: Собр.соч., т. 6, с. 274.

Коммуне 1870 года. Он писал пламенные письма товарищам в России, требуя создавать вооружённые революционные отряды, «с ружьями, револьверами, бомбами, ножами, кастетами, тряпьём, пропитанным бензином, верёвками или верёвочными лестницами, лопатами для постройки баррикад, динамитными патронами, колючей проволокой, гвоздями против кавалерии…». Это были совершенно нереалистические советы, написанные журналистом, а не бойцом, почерпнутые из только что прочитанных книг, — типичный голос кабинетного генерала. «Дайте каждой группе краткие и простые рецепты бомб… они должны немедленно начать военную подготовку в прямой связи с практическими боевыми действиями. Одни немедленно убьют шпиона или взорвут полицейский участок. Другие организуют нападение на банк, чтобы конфисковать средства для восстания». За всю свою жизнь он ни разу не имел никакого прямого опыта участия в боевых действиях, однако это не мешало ему писать леденящим кровь тоном, будто он военный специалист.[15]

Спорадические бои между рабочими и армейскими частями продолжались в Петербурге пять дней, а в Москве — с ещё большей ожесточённостью, где были убиты десятки мирных жителей. Стачки тянулись месяцами на фоне атмосферы правительственного паралича и политического кризиса, какого Россия не знала целое столетие.

Из безопасной Женевы Ленин продолжал призывать к насилию против режима. Через несколько недель после Кровавого воскресенья он написал статью под заголовком: «Вооружение народа стало непосредственной задачей». Плеханов, получивший военное образование, прямо сказал Ленину, что «людям не следовало браться за оружие» — это ошибка, и больше всех пострадают рабочие. Ленин ответил: «вздор, напротив. Они должны были действовать решительнее, энергичнее и наступательнее… тех, кто не готовится к вооружённому восстанию, следует беспощадно изгнать из рядов сторонников Революции и отослать назад в ряды её врагов как предателей или трусов. Угнетённый класс, который не стремится научиться обращаться с оружием, добыть оружие, заслуживает того, чтобы с ним обращались как с рабами». [16], [17]

Цинизм Ленина поражает воображение. На этом этапе у вооружённого восстания не было абсолютно никаких шансов на успех, и он это знал. Он ожидал жертв — возможно, смерти — от своих сторонников. Прежде всего, их было слишком мало, чтобы что-либо изменить. В 1905 году большевики внутри России были слабы: раскол деморализовал партию. Члены партии не понимали, из-за чего вообще идут споры, и отчаянно хотели, чтобы руководство, находившееся в безопасной эмиграции за границей, отложило личные разногласия и объединилось против настоящего врага — царского режима.

---

[15] Письма Ленина об уличных боях: Собр.соч., т. 44, с. 337–338

[16] Из своей женевской «штаб-квартиры» Ленин придумывал порой, казалось бы, совершенно безумные военные планы. Один из драматических эпизодов революции 1905 года — мятеж матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» в одесской гавани. Ленин пытался убедить двадцатидвухлетнего большевистского студента-активиста, не имевшего никакой военной подготовки, подняться на корабль и любой ценой убедить экипаж присоединиться к рабочей революции, обстрелять правительственные здания и помочь местным крестьянам захватить соседние усадьбы. Ничто не указывало на то, что матросы вообще интересовались партией; они просто ненавидели своих жестоких морских офицеров. Не смущаясь этим, Ленин настаивал: «Потом мы должны захватить флот в свои руки… большинство кораблей примкнёт к команде “Потёмкина”. Но вы должны действовать смело и решительно». Молодой человек, как ему было приказано, вернулся в Крым, рискуя и пользуясь фальшивым паспортом, но к тому времени, когда он туда добрался, «Потёмкин» уже ушёл из Одессы, а то немногое, что существовало на месте от партии, уже не было расположено к восстанию. В следующий раз, когда Ленин попытается спровоцировать мятеж во флоте, в 1917 году, он подготовит почву гораздо основательнее — и это станет важнейшей частью большевистской победы.

[17] Ленин о вооружении масс, «непосредственная задача»: Собр.соч., т. 6, с. 328.

В декабре 1904 года, всего за несколько недель до Кровавого воскресенья, Максим Литвинов, один из самых старших ленинских сподвижников, находясь с тайным визитом в Петербурге, послал в Женеву мрачный отчёт. Он писал, что внутри России большевики «почти не имеют сил… На местах люди, если не везде против нас, то почти нигде не за нас. Масса партийных работников по-прежнему смотрит на нас как на горстку "дезорганизаторов", не имеющих собственной опоры. Никакая конференция, тем более тайная, не изменит этого широко распространённого взгляда. Повторяю, наше положение невозможно шатко и непрочно… [меньшевики] находятся в несравненно лучшем положении… у них есть тридцать–сорок молодых женщин из-за границы, преданных делу до истерики». Сергей Гусев, бывший тогда самым высокопоставленным большевиком внутри России, говорил, что, когда началась революция 1905 года, в столице насчитывалось 215 большевиков, из них 109 студентов. «Только теперь мы можем понять всю степень дезорганизации партии, — говорил он Ленину. — Петербургская партийная организация… беспомощна перед лицом… рабочего протеста. Достаточно выйти на улицу, чтобы увидеть, насколько мы слабы. И что мы можем сделать? Раздать несколько сотен листовок, которых никто не заметит, и отправить нескольких ораторов».

Ленина это не останавливало. Он продолжал требовать всё более решительных действий. «Меня ужасает — даю вам слово, ужасает — обнаружить, что о бомбах говорят уже месяцами, а не сделана ещё ни одна. Повсюду создавайте боевые дружины», — говорил он петербургским большевикам.

Один молодой активист, видевший много крови в родной Казани — городе, хорошо знакомом Ленину, — приехал в Женеву и спросил, что теперь делать партийцам, если, по-видимому, восстание уже подавлено. «Ну, это просто, — сказал Ленин. — Готовить новое вооружённое восстание». — «Но, Владимир Ильич, ведь шансов на победу так мало». — «Победа? Для нас это вовсе не главное. Что нам до победы? Не надо питать иллюзий. Мы реалисты, и пусть никто не воображает, что мы обязаны победить. Для этого мы ещё слишком слабы. Речь не о победе, а о том, чтобы встряхнуть режим и привлечь массы к нашему движению. Важно само восстание. Говорить, что раз мы не можем победить, то и поднимать восстание не следует, — это просто речи трусов».

Позднее, в 1905 году, московские рабочие объявили забастовку. Чтобы заставить их вернуться к работе, были направлены солдаты элитного Семёновского гвардейского полка. Они окружили боевиков в рабочем районе города, убив десятки человек. Полевая артиллерия три дня обстреливала этот район, оставив после себя сотни мёртвых, в том числе восемьдесят шесть детей. Ленин же не стал оплакивать погибших. Он сказал, что главное — революционеры сражались на улицах, а поражение научит их ненавидеть врагов: «один битый стоит двух небитых».[18]

После Кровавого воскресенья прокатилась волна арестов. Горького схватили через два дня и обвинили в организации революционного заговора, хотя всё, что он сделал, — это был свидетелем бойни и написал о ней. Мультимиллионер Савва Морозов увеличил свою субсидию партии, а другие промышленники тоже начали давать деньги социалистическим и либеральным группам — «это стало модным, и если это облегчало им совесть, мы не возражали против такой помощи», — говорил Леонид Красин, большевистский казначей и технический специалист, ведавший многими из этих «пожертвований». Он признавал, что в этом было нечто вроде перевёрнутого снобизма — поддерживать дело, столь глубоко враждебное их собственным

[18] «Победа… не в этом суть»: цит. по Ulam, с. 253

интересам. «В то время считалось признаком bon ton в… радикальных или даже либеральных кругах давать деньги революционным партиям, — и среди тех, кто регулярно платил взносы от 5 до 25 рублей… [в месяц], были не только известные адвокаты, инженеры и врачи, но и директора банков и чиновники правительственных учреждений». Одной из больших ошибок царя было то, что он сделал своими врагами богатых промышленных магнатов, таких как Морозов, Павел Рябушинский и Александр Гучков. Он считал ниже своего достоинства иметь дело с людьми «из торговли» и не понимал, насколько важными они станут. Значительная часть делового мира поддержала либералов, добивавшихся реформ по западному образцу. Один из богатейших русских промышленников, Алексей Путилов, на чьих громадных инженерных заводах на окраине Петербурга работали 27 000 человек и производилась значительная часть оружия для русской армии, говорил: «Царизм погиб, для него нет надежды». [19], [20]

Волнения продолжались — и на фабриках, и в деревне, где были сожжены десятки усадеб, а их владельцы подверглись нападениям. Многие помещики-дворяне — или, точнее, наиболее умные из них — говорили, что самое значительное в «смуте» 1905 года было то, что отношение крестьян «словно внезапно изменилось». Хозяин большого имения под Самарой, недалеко от Алакаевки, где когда-то имела усадьбу Мария Александровна, говорил, что «вместо прежней вежливости, дружелюбия и покорности в их лицах была одна лишь ненависть, а манера их приветствий… подчёркивала их грубость». Другой крупный землевладелец в Тульской губернии, одной из самых богатых в сельскохозяйственном отношении областей России, отмечал, что «внешне всё как будто было по-прежнему. Но в народе произошло нечто существенное, нечто непоправимое. Общее чувство страха подорвало всякое доверие. После целой жизни в безопасности — когда по вечерам никто не заботился запирать двери и окна — дворяне занялись оружием и лично обходили усадьбу, проверяя меры безопасности».[21]

Некоторые эмигранты вернулись из европейского изгнания, в том числе Мартов, Вера Засулич и, что стало настоящей сенсацией, Троцкий, который сразу по возвращении из Австрии весной с головой ушёл в политическую деятельность, прославившись как блестящий оратор и — что ещё неожиданнее — как организатор. Именно он стал лицом Петербургского Совета, который ненадолго вспыхнул как мощный символ оппозиции режиму, пока не был закрыт к концу года. [22]

Многие большевики пытались убедить Ленина вернуться и возглавить Революцию изнутри России. Но вместо того чтобы ехать в Петербург, он отправился в Лондон организовывать очередной партийный съезд — «говорильню», как называли это некоторые меньшевики, — чтобы выработать линию в ответ на Кровавое воскресенье. В начале мая туда прибыло тридцать восемь делегатов, и это, вероятно, был самый бесполезный из всех левых съездов до 1917 года. Вскоре после его окончания царь, уступая нарастающему давлению со стороны либералов и

---

[19] Накануне Первой мировой войны он с известной точностью предсказал, что произойдёт в России. Будет буржуазная революция во главе с умеренными, которые «будут думать, что спасают Россию… но их сметёт бесконечная анархия, и революцию подхватят рабочие и крестьяне».

[20] Леонид Красин о дарах богатых людей большевикам: цит. по Roy Medvedev, *Let History Judge*, London, 1972. Путилов: «Царизм погиб»: цит. по Ulam, с. 259.

[21] Помещики боятся нападений: Figes, с. 282–284.

[22] Это был первый случай употребления слова «Совет» — которое по-русски просто означает «council» — в том революционном смысле, в каком оно впоследствии стало столь известно: как собрание представителей рабочих. Троцкий в 1905 году сделался чрезвычайно модной фигурой в высшем обществе Петербурга как остроумный оратор. Он описывал первый случай, когда его пригласили выступить в богатом доме: «Дворецкий ждал моей визитной карточки, но, увы, какую карточку мог предъявить человек, живущий под конспиративным именем?» Ему аплодировали с восторгом, когда он говорил аудитории из «дворян, дам в драгоценностях и гвардейских офицеров», что их долг — «передать арсеналы народу».

советников из государственного аппарата, предоставил некоторые из тех реформ, которые прежде клятвенно утверждал, что никогда не даст: политические партии были впервые легализованы, а некое подобие парламента — Дума — учреждено; царь ослабил цензуру, и печать стала более свободной, хотя и далеко не вполне свободной. Режим сохранил реальную власть в своих руках — и Генеральная репетиция дошла до второго акта.

ГЛАВА 18. Возвращение домой

«Царизм уже не в состоянии подавить революцию; революция ещё не в состоянии уничтожить царизм».
Ленин, Новая жизнь, 1905

Когда Ленин решил, что это безопасно, он наконец вернулся в Россию. Одной из уступок, на которые пошёл царь в своём Манифесте 17 октября об усовершенствовании государственного порядка, была амнистия для некоторых, но не для всех, политических заключённых. Ленин полагал, что ничем не рискует, возвращаясь «домой» месяц спустя, и, хотя ему было законно дозволено находиться в России, он въехал по подложным документам на имя Уильяма Фрея — старые конспиративные привычки умирали трудно. Он и Надя добирались до Петербурга порознь — через Германию, Швецию и Финляндию. Она вернулась через десять дней после него, вместе с матерью, и, воссоединившись, они сперва остановились у подруги сестры Ленина Марии, а позднее сняли квартиру на Невском проспекте.

С того самого момента, как Ленин 18 ноября сошёл с поезда на Финляндском вокзале, за ним следила Охранка, причём делала это демонстративно, не скрывая слежки. Он зарегистрировался в местной полиции, однако политическая работа при таком уровне надзора была невозможна. При так называемом новом либеральном порядке деятельность Охранки на самом деле лишь усилилась. Каждый раз, выходя из квартиры, Ленин рисковал привести полицию к «разыскиваемым» товарищам или к подпольным оперативникам, всё ещё скрывавшимся от властей. Ленин и Надя ушли в подполье — сначала на ряде явочных квартир в Петербурге, затем в разных маленьких деревнях Финляндии — по фальшивым документам. Поочерёдно он был доктором Вебером, Ирвином Вейхофом и Владимиром Карповым.

Именно под именем Карпова Ленин впервые встретился со Сталиным — 25 декабря 1905 года. Оба присутствовали на Первой Всероссийской большевистской конференции в финском городе Таммерфорсе (Тампере). Сталин, делегат от Кавказа, жаждал подольститься к Ленину и показал «старику» статьи, которые печатал в подпольных журналах и в которых поддерживал его против меньшевиков. Сталин ожидал увидеть человека более очевидно харизматического: «Я надеялся увидеть горного орла нашей партии. Я надеялся увидеть великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, потому что в моём воображении Ленин рисовался гигантом, величавым и внушительным. Каково же было моё разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, буквально ничем не отличающегося от обычных смертных. Принято, чтобы “великий человек” являлся на собрания с опозданием, так чтобы собрание ожидало его появления, затаив дыхание; а потом, как раз перед тем, как великий человек войдёт, раздаётся предупреждение: “Тише!” “Молчание!” “Идёт!” Этот ритуал не кажется мне излишним, потому что он создаёт впечатление, внушает уважение. Каково же было моё разочарование, когда я узнал, что Ленин прибыл на конференцию раньше делегатов, уселся где-то в углу и непритязательно беседует, ведёт самый обыкновенный разговор с самым обыкновенным делегатом… Не скрою, в то время мне это показалось своего рода нарушением некоторых существенных правил».[1]

Позднее Ленин оценил Сталина и станет называть его «чудесным грузином». Но младший человек — моложе на семь с половиной лет — при их первой встрече почти не произвёл на него впечатления. Сталин в ту пору был лишь одним из подпольных псевдонимов будущего советского диктатора — наряду с другими, такими как Сосо, Коба и Иванович. Когда они

[1] Первая встреча Сталина с Лениным: цит. по Simon Sebag Montefiore, The Young Stalin, London, 2007, с. 213.

встретились вновь восемнадцать месяцев спустя, Ленин не мог вспомнить ни одного из этих имён.[2]

Была и другая важная первая встреча в ту пору, когда Ленин жил в подполье. Ленин был труден, властен и всегда знал, что прав. Но он также умел быть обаятельным и льстить другим, когда это было нужно. Несколько лет он уже состоял в переписке с Максимом Горьким. Писатель и драматург был щедрым жертвователем социал-демократам и имел богатых знакомых с тугими чековыми книжками. Их связывали сложные отношения, которые и сами претерпевали революционные перемены. В течение многих лет Ленин был просителем и нуждался в финансовой помощи Горького и в его политической поддержке: слава Горького как писателя и его репутация на левом фланге были огромны. Со временем они стали настоящими друзьями, хотя Горький утверждал, что любит Ленина как человека, но ненавидит как политика. После захвата власти Лениным Горький сделался критиком большевиков, но при этом нередко лично просителем у Ленина; он заступался за писателей, художников и учёных, попавших в немилость у советских властей. В ту самую неделю, когда Ленин вернулся в Россию в конце 1905 года, Горький и его давняя возлюбленная, актриса Мария Андреева, основали первую легальную большевистскую газету — Новая жизнь. Ленин регулярно писал для неё, и в эти несколько месяцев появилась часть его лучшей публицистики, включая уничтожающую атаку на «косметические реформы Николаши», призыв продолжать революцию путём восстания и статью о том, почему большевики должны бойкотировать «недемократическую Думу».[3]

Иногда он появлялся в Петербурге инкогнито. Прошло шесть месяцев, прежде чем он выступил публично в России где-либо, кроме тайных большевистских партийных собраний. Когда же это произошло — 9 мая 1906 года, — он говорил перед самой большой аудиторией в своей жизни на тот момент. Назвавшись «Карповым», он выступил перед тремя тысячами человек в петербургском дворце графини Софьи Паниной, филантропки и хозяйки известного «прогрессивного» салона, где собирались главным образом либералы и умеренные социалисты. По словам Нади, в начале он был «очень взволнован и нервен». «Минуту он стоял молча, ужасно бледный, и казалось, будто вся кровь отлила к сердцу». Но затем он разразился пламенной речью, обрушившись на «буржуазных кадетов» (коалицию правоцентристских конституционных демократов) и на «фиктивную Думу», и вскоре «волнение оратора передалось аудитории». Пока он говорил, по бальному залу графини разнёсся слух, что «Карпов» — это на самом деле большевик Ленин, и его наградили бурными аплодисментами. Сразу после этого, опасаясь за свою безопасность, он покинул город и снова отправился в Финляндию.[4]

Несколько раз он навещал, переодевшись, свою мать, жившую в маленькой деревне под Петербургом. В конце июля он и Надя провели долгий уик-энд с Марией Александровной и его сёстрами в Саблине, неподалёку от города, где было озеро и живописный водопад. «Володя пошёл купаться, а мы сидели под беседкой, разговаривали и ели», — вспоминала Анна. «Они собирались провести у нас неделю, но в понедельник утром газеты показались ему настолько интересными, что он и Надя собрались и уехали».

---

[2] Надя возненавидела Сталина очень рано и говорила об этом Ленину, убеждая его не доверять грузину. Иногда она делилась своими чувствами и с другими товарищами, хотя, разумеется, становилась тем сдержаннее, чем выше он поднимался в партии и чем большее влияние приобретал на Ленина. Однажды она всё же пожаловалась доверенному эмигранту, писателю Виктору Шкловскому, на грубость Сталина и на то, что, как ей казалось, некоторых старших большевиков выбирают «наугад… среди них есть нежелательные — вроде Сталина, который нам гадит [предаст нас]».

[3] Отношения Горького с Лениным: Gorky, My Days with Lenin, London, 1933, с. 27–29, и Figes, с. 257–259

[4] Ленин выступает на вечере у графини Паниной: Крупская, Воспоминания, с. 195.

Царь никогда и не собирался выполнять обязательства, которые, по его словам, «были вынуждены у меня насилием». Забастовки и демонстрации продолжались — как и убийства чиновников, совершаемые главным образом эсерами. Только за два года после Октябрьского манифеста их было около 2 500.[5] Режим прибегал к крайним мерам для подавления беспорядков в то самое время, когда некоторые государственные чиновники утверждали, будто правительство вводит нечто сродни парламентскому строю. За семь месяцев между Манифестом и открытием Думы было убито более 15 000 человек, по меньшей мере 70 000 арестованы и 45 000 сосланы в Сибирь, хотя официальные цифры оценивали число погибших примерно в 1 200. «Террору следует противопоставить террор», — говорил Николай.

Царь отправил в отставку графа Витте, либерального премьер-министра, убедившего его подписать Октябрьский манифест, возложив на него вину за продолжающиеся волнения. Его сменил Пётр Столыпин, умный и способный администратор, сочетавший первые за многие поколения серьёзные экономические реформы — он предложил радикальные планы по расширению частного землевладения среди крестьян — с жёсткими полицейскими мерами против «подрывных смутьянов». Тысячи были повешены на том, что стали называть «столыпинским галстуком», после того как «полевые суды», заседавшие под открытым небом, приговаривали их к смерти без сколько-нибудь надлежащего разбирательства. К середине 1906 года восемьдесят две из восьмидесяти семи губерний России находились на военном положении. Несчётное число людей было увезено в ссылку в «столыпинских вагонах». Целые деревни сравнивались с землёй — «царь пошёл войной на собственный народ», как выразился отвергнутый Витте. «Это сплошная вакханалия арестов, обысков, налётов», — говорил Сталин, знавший толк в подобных вещах. Министр внутренних дел Пётр Дурново говорил губернским губернаторам: «Одними арестами наших целей не достичь. Невозможно судить сотни тысяч людей. Я предлагаю стрелять в бунтовщиков, а в случае сопротивления сжигать их дома».

Национальные восстания в балтийских республиках, на Кавказе и на Украине были жестоко подавлены. Есть множество свидетельств того, как царь поощрял кровавые расправы, от которых даже военные порой уклонялись. Генерал Владимир Бекман донёс 14 декабря 1905 года, что решил не сжигать дотла город Тукумс в Латвии, как это уже было сделано в других районах Прибалтики. Жители уверили его, что изгнали мятежников и передадут ему всё имевшееся у них оружие. Кроме того, у него не хватало боеприпасов, и он приказал своим людям не нападать. Жители встретили его солдат обычным «хлебом-солью» и сдали шестьдесят две винтовки и сорок пять револьверов. Царь прочёл донесение, подчеркнул объяснения генерала и написал на полях: «Это не причина. Город следовало уничтожить». Когда той зимой царю подавали новые

[5] Ленин не верил в индивидуальные убийства и в устранение отдельных представителей режима посредством покушений; он утверждал, что это бессмысленные формы «единоборства». Возражал он не по принципиальным, а по практическим соображениям: «Помогают ли они достичь наших желаемых целей — или, напротив, отвлекают от них?» Большевики были ответственны за очень немногие убийства, хотя некоторые чиновники были убиты во время демонстраций, переходивших в беспорядки.

донесения о карательных экспедициях против восставших крестьян, он говорил придворным: Cela me chatouille — «это меня щекочет».[6], [7]

Задолго до того, как после Первой мировой войны фашистские головорезы Муссолини и Гитлера стали устраивать уличные побоища со своими противниками, Николай поощрял крайние националистические группировки, чтобы те поддерживали его в борьбе против демократов, либералов и социалистов. Он с энтузиазмом покровительствовал недавно созданному Союзу русского народа, выступавшему в защиту «Царя, Веры и Отечества». Он приглашал его вождей к себе во дворец в Царском Селе, носил его знаки на мундире и субсидировал его газеты. К 1906 году в нём состояло 300 000 человек — почти в сто раз больше, чем у ленинских большевиков.

Если на этом этапе у Николая и была какая-то идеология, то это был антисемитизм, обычный и губительный порок всей Российской империи. Но ненависть царя к евреям была инстинктивной, имперской по своему размаху и воздействию — от мимоходных антисемитских замечаний за обеденным столом до поощрения полномасштабных погромов. Она уходила гораздо глубже, чем у типичного европейского аристократа того времени, и он сознательно использовал антисемитизм как способ объединения «верноподданных» вокруг престола. Он находил это необычайно забавным, как писал своей матери, когда «один придворный развлекал нас смешными еврейскими историями — удивительно хорошо изображал евреев, и даже лицо у него сразу становилось еврейским». Газету он определял как «место, где сидит какой-нибудь еврей… делая своим занятием разжигать страсти людей друг против друга».

В 1905–1906 годах в погромах от Балтики до Крыма было убито более 3 000 евреев. Большинство из них были совершены экстремистами, называвшими себя черносотенцами, вооружённым крылом Союза русского народа. Власти не организовывали погромы, но ничего не делали, чтобы их остановить. Самый страшный произошёл в Одессе в дни сразу после Октябрьского манифеста. Более 800 евреев были убиты, 5 000 ранены, а 100 000 остались без крова после того, как еврейские дома были сожжены.[8] Через несколько дней после одесской резни царь направил телеграмму Александру Дубровину, вождю черносотенцев: «Да будете вы моей надёжной опорой, служа всем и во всём примером законности и лицом гражданского порядка».

Как это часто бывает у антисемитов, он возлагал вину за погромы на самих евреев. 27 октября он писал матери: «Положение в России всё ещё очень тяжёлое и серьёзное. В первые дни после Манифеста дурные элементы населения подняли голову очень высоко, но скоро наступила

---

[6] Несмотря на общую жестокость «этих лет реакции», с некоторыми заключёнными обращались поразительно хорошо. Самым знаменитым из социалистических узников был Троцкий, арестованный после разгрома Петербургского Совета в начале 1906 года. Его заключили в Петропавловскую крепость, считавшуюся самым суровым застенком в Российской империи. Позднее он вспоминал, что условия были мягкими. «Днём камеры не запирались, и мы могли гулять все вместе. Часами напролёт мы приходили в восторг от игры в чехарду. Жена навещала меня дважды в неделю. Дежурные чиновники смотрели сквозь пальцы на то, как мы обменивались письмами и рукописями. Один из них, человек средних лет, был к нам особенно расположен. По его просьбе я подарил ему экземпляр своей книги и фотографию с надписью. “Все мои дочери — студентки”, — шепнул он мне, когда я её передавал. Позже я встретил его [уже после революции]». Троцкому удалось написать в тюрьме большую часть своей истории Петербургского Совета, и, когда его освободили, он «почувствовал оттенок сожаления».

[7] Террор после революции 1905 года: Пайпс, Русская революция, с. 217–220; Salisbury, с. 191–194; Sebag Montefiore, The Romanovs, с. 493–495. Царь Николай хотел суровых мер: Salisbury, с. 195.

[8] Следствие, назначенное Витте в одном из последних его действий на посту премьер-министра, установило, что полиция вооружала толпу, снабжала её оружием и водкой и помогала черносотенным громилам разыскивать евреев. Типография полицейского управления печатала антисемитские листовки: «Евреи пытаются уничтожить Россию… убивайте их. Рвите их на куски». Когда Витте потребовал привлечь к ответственности и отдать под суд начальника полиции, отвечавшего за это, царь вмешался, чтобы его защитить.

сильная реакция, и вся масса верного народа дала себя знать. Результат был понятен и таков, какого и следовало ожидать у нас. Народ возмущён дерзостью и наглостью революционеров и социалистов, а так как девять десятых из них — евреи, то вся ненависть направлена против них. Отсюда и еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и как одновременно они произошли во всех городах России и Сибири. В Англии, разумеется, пишут, будто эти беспорядки были организованы полицией. Но это… басня. Пострадали не только евреи, но и инженеры, адвокаты и всякие другие дурные люди. То, что произошло в Томске, Симферополе, Твери и Одессе, ясно показывает, что может случиться во время бури ярости: дома революционеров окружали и поджигали. Те, кто не сгорал заживо, были убиты, когда выбегали наружу. Я получаю отовсюду очень трогательные телеграммы с благодарностью за дар свободы, но также с ясными заявлениями о желании сохранить самодержавие».[9]

Черносотенцы часто обращали своё внимание и на социалистов. Многих избивали в уличных драках, сходных с теми, что в 1920-х годах устраивали нацистские штурмовики.

Как обычно, там, где было насилие, Ленина не было. Его личная храбрость вновь подверглась сомнению. В кругу его доверенных лиц и партийного руководства аксиомой считалось, что он слишком важен для революции, чтобы рисковать его безопасностью. Но другие были настроены куда критичнее. «Он никогда не вышел бы на улицу сражаться на баррикадах или стоять под огнём, — замечал Валентинов. — Не он, а другие, более скромные люди, должны были делать это… Ленин сломя голову убегал с эмигрантских собраний, если казалось, что дело может кончиться дракой. Его роль состояла в том, чтобы “смыться, пока ещё можно”, как он сам выражался, — то есть уйти от всякой угрозы опасности. Во время пребывания в Петербурге в 1905–1906 годах он до такой степени преувеличивал грозившую ему опасность и доходил в заботе о самосохранении до таких крайностей, что невольно возникал вопрос: не был ли он попросту человеком, лишённым личного мужества?»

Татьяна Алексинская, жена одного из самых высокопоставленных большевиков в Петербурге, была глубоко разочарована, когда увидела, как он бежит с мирной демонстрации, внезапно атакованной царской кавалерией и группой черносотенцев в пригороде летом 1906 года. «Мне бы не хотелось вспоминать об этой встрече. Ленин казался мне легендарным героем… я полагала, что он революционер без страха и упрёка. Но не тогда, когда увидела его вблизи… Неприятное впечатление на меня произвела не его внешность… а его поведение на демонстрации. Когда кто-то в толпе, заметив кавалерию, крикнул: “Казаки!”, Ленин первым бросился бежать. Он перепрыгнул через заграждение. Его котелок свалился, обнажив лысый череп, вспотевший и блестевший. Он упал, снова поднялся и продолжал убегать. Я испытала странное чувство. Я понимала, что никому из нас не оставалось ничего другого… но всё же он был вождём…»[10]

---

[9] Антисемитизм царя и поддержка им Союза русского народа: Sebag Montefiore, The Romanovs, с. 497–498, и Letters of Tsar Nicholas to [his mother] Empress Marie (ed. Edward Bing), London, 1930. Погромы: Figes, с. 271–273.

[10] Физическая трусость Ленина: Пайпс, Русская революция, с. 283.

ГЛАВА 19. Экспроприировать экспроприаторов

«Да, мы воруем… Но мы воруем то, что уже было украдено».
Ленин, Лондон, май 1907 года
Ленин: «Чтобы взять власть, нужно пользоваться всеми средствами».
Анжелика Балабанова: «Что… даже бесчестными?»
Ленин: «Всё, что делается в интересах пролетарского дела, — честно».
Разговор в Лондоне, май 1907 года

Пока одни критики обвиняли Ленина в трусости перед лицом врага, другие революционеры клеймили его «грабителем», немногим лучше «обыкновенного вора» и «гангстера». Если между большевиками и меньшевиками было немного серьёзных политических расхождений или принципиальных разногласий, то уж в вопросах тактики острых споров хватало.

Партия не могла целиком полагаться на пожертвования миллионеров-магнатов — русских олигархов ушедшей эпохи, — чтобы финансировать революцию. Деньги нужно было добывать иными путями, и Ленин создал, по существу, преступную организацию, которая воровала в пользу партии, — быть может, изначальную модель русской мафии. Он сам непосредственно не отдавал приказов ни об одном налёте и, вторя Марксу, называл их «экспроприациями», но каков бы ни был избранный им эвфемизм, речь шла о бандитизме. Ленин назначил Леонида Красина главой «технического комитета». Красин избрал своим главным «налаживателем» и правой рукой Сталина, который планировал и участвовал в ряде «эксов», все — в пределах Российской империи. Различные банды, которыми они пользовались, грабили банки, похитили крупную сумму наличными и золотом из сейфа на борту парохода «Николай I», стоявшего в бакинской гавани, и нападали на почтовые отделения и кассы государственных железных дорог. Красин задумал крупную операцию по печатанию фальшивых денег на подпольной типографии, но не сумел найти достаточно искусного фальшивомонетчика.

Мартов, Плеханов и меньшевики были потрясены и не желали «иметь никакого отношения к уголовным деяниям — по очевидным нравственным причинам и по практическим тоже; это может иметь тяжёлые последствия для любого из нас. Мы не хотим, чтобы нас считали ворами». Ленин ответил презрительно. Он сказал Мартову: «революцию не делают в лайковых перчатках».[1]

Спор достиг высшей точки на Пятом партийном съезде весной 1907 года, снова в Лондоне. Первоначально его предполагалось провести в Копенгагене, но датские власти, сперва дав разрешение, передумали и запретили съезд в Дании, когда большинство из 303 делегатов уже прибыло. Его в спешке перенесли в Лондон, и с самого начала всё пошло на разлад. «Заседания были затяжными, бурными, многолюдными и хаотическими», — вспоминал Троцкий. Анжелика Балабанова, эмигрантка, которую Ленин высоко ценил и которую впоследствии сделает первым секретарём Коммунистического интернационала (Коминтерна), сочла всю атмосферу чудовищной и была подавлена «всепоглощающим, почти фанатическим духом фракционности».

Ленин пригласил Горького присутствовать в качестве особого гостя, и когда они встретились накануне первого заседания 1 мая, он сказал писателю: «О, я так рад, что вы приехали. Я слышал, вы любите хорошую драку. Тут у нас будет славная потасовка». Он оказался прав.[2]

---

[1] «Революция — не институт благородных девиц», Ленин — Мартову: 12 марта 1902 года, Собр.соч., т. 44, с. 278, и у Valentinov, с. 196.

[2] Ленин заботился о том, чтобы для Горького в Лондоне всё было «как следует». Он заказал для писателя и Марии Андреевой номер в гостинице Imperial Hotel в Блумсбери. Когда они прибыли, Ленин поднялся в

Дебаты были столь же ожесточёнными и полными яда, как и на Лондонском съезде четырьмя годами раньше, когда раскол партии только обозначился. Несколько раз заседания прерывались, когда между меньшевиками и большевиками, казалось, вот-вот начнутся кулачные драки. Многие делегаты просто вставали и уходили, как ушёл и Горький спустя несколько дней, жалуясь, что «праздничное настроение вначале быстро испортилось… ярость споров охладила мой пыл».

Самым разделяющим вопросом были ленинские «экспроприации», которые Мартов называл «кражами Владимира Ильича… предпринятыми с целью собрать деньги исключительно для большевиков, чтобы использовать их против нас». Ленин в ответ насмехался: «Когда я вижу социал-демократов, с гордостью и самодовольством заявляющих: “Мы не анархисты; мы не воры и не разбойники; мы выше всего этого”, — я спрашиваю себя, что же в действительности говорят эти люди?» Он ставил их перед вопросом: на что они готовы ради революции. «Партизанские группы и “боевые группы” должны иметь свободу действовать… но с наименьшим вредом для безопасности обычных граждан и с наибольшим вредом для личной безопасности шпионов, полиции, войск, флота и так далее и тому подобное… вообще властей». Он выдвигал запутанные и противоречивые доводы, чтобы оправдать грабежи. Однажды Максим Литвинов, один из самых умных ранних большевиков и неизменно надёжный сторонник Ленина, спросил его: «Старик, ты всё время проповедуешь, что правильно “экспроприировать экспроприаторов”. Скажи мне, если бы ты встретил на улице Ротшильда с тяжёлым кошельком, ты сам бы его ограбил, пригрозил револьвером и отнял бы у него кошелёк?» Ленин рассмеялся и ответил: «Думаю, что нет. Но если бы мы пришли к власти, я ни минуты не колебался бы приказать национализировать банки Ротшильда и его имущество. Но это должно быть сделано законно… победившим народом и его правительством. Пока существует государство — в том числе и пролетарское государство, — необходима законность, иначе всё рухнет и на волю будут выпущены самые первобытные инстинкты». Пророческие слова.[3]

За пределами зала заседаний съезд привлёк к себе такое внимание лучших людей Флит-стрит, с каким русские революционеры прежде никогда не сталкивались. Daily Mail назвала эмигрантов «иноземной угрозой… безымянной армией из России» и окрестила собрание «Съездом нежелательных». Газета подсчитала, более или менее точно, как впоследствии выяснилось, что в совокупности делегаты отсидели свыше 650 лет в тюрьмах, лагерях и сибирской ссылке. Daily Mirror описала прибытие одной делегатки как появление «княгини… которая убила нескольких провинциальных губернаторов в России и всегда носит бомбу в муфте». Фотографы жаждали снимать, и делегаты являлись в накладных бородах и иных маскировках или закрывали лица. Репортёру, наивно спросившему, зачем они это делают, один большевик ответил: «У русской полиции длинные уши, а нам, видите ли, когда-нибудь ещё возвращаться в Россию». Тем не менее щёлкающие аппараты продолжали появляться каждый

спальню, тщательно её осмотрел и обнаружил, что простыни сырые. Он велел администрации отеля положить простыни у газового обогревателя. «Их нужно проветрить и просушить. Нельзя, чтобы вы простудились и кашляли».

[3] Отчёт о Пятом съезде Российской социал-демократической партии, Лондон, 1907: Service, с. 219. Горький: цитаты из Days with Lenin, с. 48. Забота Ленина об удобстве Горького: цит. по Wolfe, с. 237. Максим Литвинов: высказывания о Ротшильдах из John Holroyd-Doveton, Maxim Litvinov: A Biography, London, 2013, с. 135.

день почти все две недели съезда, большая часть которого проходила в Анархистском клубе на Джубили-стрит.[4]

Главной трудностью было в последний момент найти жильё для такого количества делегатов. Несколько человек были вынуждены остановиться в ночлежке в Ист-Энде, деля тесную лачугу с лондонскими пьяницами, бродягами, преступниками и опустившимися людьми. Литвинов и Сталин провели там два дня — по шесть пенсов за ночь, в закутке с матрасом на жёстких досках, — пока не нашли место поприличнее. Этот опыт ни один из них не забыл.

Перенос в Лондон обошёлся так дорого, что съезд едва не пришлось закончить раньше времени из-за нехватки средств. Некоторые богатые сочувствующие социал-демократам предложили, чтобы партийные вожди посетили благотворительный обед для филантропически настроенных промышленников и банкиров в челсийской мастерской тогдашнего модного светского портретиста Феликса Мошелеса. Ленин питал к самой мысли о таком вечере глубочайшее отвращение; он состоялся в воскресенье 13 мая. Позднее он описывал его как «почти невыносимое… глупое мероприятие». Ни у него, ни у Горького не было вечерних костюмов, но, по крайней мере, им удалось выглядеть сравнительно прилично. Плеханов, как всегда, был одет безукоризненно. Ленин просидел весь обед между миллионерами по обе стороны от себя, едва скрывая дурное расположение духа и презрение. Его английский заржавел, и, по словам слушателей, порой его было трудно понять. Поэтому он говорил по-русски. Он сказал собравшимся там «буржуа и капиталистам», что они — его «классовые враги», но, тем не менее, из соображений как корысти, так и альтруизма они должны приветствовать и «поддержать нашу революцию в России против царизма» — «вы сможете вывозить больше товаров в более культурную и свободную Россию».

Большинство других присутствовавших там большевиков, некоторые из них в надлежащем вечернем облачении, производили на состоятельных участников ужина впечатление «диких зверей в зоологическом саду». Но одна из присутствовавших ушла, глубоко впечатлённая Лениным. Констанс Гарнетт, блестящая и хорошо связанная в обществе переводчица Чехова, Тургенева, Толстого и Достоевского, среди прочих, позднее вспоминала, что, по её мнению, большевистский вождь был несомненно «человеком чрезвычайно сильного характера», хотя другие русские на этом ужине и на съезде были, по её словам, «шайкой самодовольных мошенников». Ужин почти не принёс денег, и Ленин поклялся, что больше никогда не унизится до просьб о средствах у капиталистов, — клятва, которую нарушит лишь считаные разы в последующие годы.[5]

Провал ужина означал, что Ленину нужно было откуда-то достать деньги, чтобы покрыть растущие расходы съезда и собрать средства на отправку делегатов по домам. Германская СДПГ дала 300 фунтов, но неожиданно появился щедрый благодетель. Рождённый в Германии американский мылопромышленник и филантроп Джозеф Фелс, который в течение большей

---

[4]Полиция внимательно следила за приходом и уходом делегатов. Каждый день снаружи стояли несколько «бобби», а сыщики в штатском наблюдали с соседних улиц. В какой-то момент анархист князь Кропоткин, приглашённый большевистским руководством в качестве наблюдателя, узнал Эдвина Вудхолла, детектива, который за годы лондонской эмиграции Кропоткина был приставлен его сопровождать. Они успели подружиться, и князь представил полицейского Ленину. «Это вождь большевиков, тот человек, ради которого все сюда съехались».

[5] Ленин устраивал и более приятные встречи вне рамок съезда. Он водил делегатов по некоторым из своих старых любимых мест: в Уголок ораторов, где русские изумлялись, что в Лондоне люди могут вставать и публично говорить почти всё, что хотят; к могиле Маркса на кладбище Хайгейт и в Британский музей, где показывал им мраморы Элгина — «Посмотрите на них… конечно, музей — это кладезь колоссального богатства, разграбленного Британией».

части 1900-х годов жил в Лондоне, предложил помощь, но захотел увидеть съезд в действии, прежде чем передать крупную сумму в 1700 фунтов, чтобы выручить РСДРП. Он вовсе не был социалистом, но, увидев выступление Ленина, остался под сильным впечатлением — «у этого человека есть будущее в России», — заявил он и согласился одолжить партии деньги. Ленин лично гарантировал Фелсу, что долг будет возвращён.[6]

Самая драматическая из «экспроприаций» была задумана Сталиным в июле 1907 года, всего через несколько недель после того, как Лондонский съезд прямо запретил их, а Ленин обещал больше не санкционировать подобных действий. Огромная партия наличных денег в банковской карете была захвачена среди бела дня в центре грузинской столицы Тифлиса (ныне Тбилиси). План принадлежал Сталину, и он наблюдал за происходящим издали, пока его группа во главе с большевиком-бандитом Камо (настоящее имя — Симон Аршаки Тер-Петросян) захватывала деньги, предназначенные для Государственного банка России, в центре города. Пятьдесят невинных прохожих были убиты взрывами бомб и пулевыми ранениями, и ещё около пятидесяти получили тяжёлые увечья. Это было крупнейшее из вдохновлённых большевиками ограблений и вызвало огромный международный резонанс, а также волнение в революционных партиях по всей Европе, но в то же время оказалось одним из наименее прибыльных. В долгосрочной перспективе цена оказалась высока. Государственный банк так и не был вполне уверен, сколько именно удалось унести грабителям. По его оценке — от 250 000 до 340 000 рублей, колоссальная по тем временам сумма: верхняя оценка по стоимости 2016 года превышала 4 миллиона долларов США. Проблема заключалась в том, что большая часть денег была в крупных купюрах, которые либо были помечены, либо их серийные номера были известны полиции.

Публично Ленин от преступления отмежевался. Но в частном порядке он заранее всё знал и одобрил налёт. Как и с добычей от других грабежей, Сталин передал часть денег лично Ленину — ещё один тайник ему доставил в Женеве Камо, — и именно большевистский вождь предложил использовать верных членов партии для размена этих банкнот в различных европейских городах. План с треском провалился: купюры были отслежены, и уже через несколько недель были арестованы около дюжины партийных активистов, в том числе и Камо.[7]

Менее кровавым, но столь же грязным и нравственно сомнительным было так называемое дело Шмидта. Ленин придумал план, как выманить у двух девушек-подростков их наследство — и, весьма возможно, попутно разбить им сердца. Это история, в которой Ленин предстаёт во всей своей беспринципности. В личных денежных делах он был образцом честности и вовсе не отличался жадностью, но в политике ради денежных средств в интересах большевиков он был

---

[6] И деньги действительно были возвращены — уже после революции. Фелс умер в 1914 году, но в начале 1918-го Красин поехал в Лондон как представитель Ленина, и среди прочих своих обязанностей он вернул наследникам Фелса 1700 фунтов с процентами за десять лет.

[7] Камо, грузин [армянин - прим.перев.], как и Сталин, был фигурой чрезвычайно колоритной и нередко появлялся даже в чинных швейцарских городках в полном черкесском костюме, размахивая пистолетами и саблями. Как ни странно, мать Нади — вовсе не кровожадная радикалка — к нему привязалась. Он обычно рассказывал ей истории о своих драматических приключениях на Кавказе, пока чистил револьверы. Его арестовали в Берлине при попытке разменять одну из крупных купюр, добытых при ограблении. Он избежал суда, симулируя безумие. Сбежав из психиатрической лечебницы, он вернулся в Россию, но вновь был арестован и приговорён к смерти, позже заменённой пожизненным заключением. Освобождённый после большевистской революции, он руководил бандитским отрядом в Гражданскую войну против белых, но позднее получил сравнительно незначительные должности в Грузии. Ленин считал его слишком неустойчивым для какого-либо высокого положения в партии или государстве. Он погиб при загадочной автомобильной аварии в 1922 году; подозревали, что Сталин велел его убить.

готов лгать, воровать, мошенничать и убивать. «Всё, что делается в интересах пролетарского дела, — честно», — сказал он Анжелике Балабановой.

Самый щедрый финансовый покровитель Ленина, миллионер Савва Морозов, долгое время страдал тяжёлой депрессией и покончил с собой в мае 1905 года. Хотя он и оставил РСДРП значительное наследство в своём завещании, Ленин нацелился на ещё более крупную часть состояния магната. Морозов завещал немалую долю своих денег племяннику, Николаю Павловичу Шмидту, чья семья владела прибыльной фортепианной фабрикой в Москве. У Шмидта имелось и собственное значительное состояние: его отец умер в 1902 году, а в 1904-м, когда ему исполнился двадцать один год, он вступил в права наследства и получил над ним контроль. Он также сочувствовал социал-демократам, хотя и не специально большевикам.

Шмидт был арестован в конце 1905 года за «оказание помощи мятежникам» с территории своей фабрики. Восемь суток его не давали спать, подвергали длительным допросам и угрожали немедленной казнью. Он признался в самых разных революционных деяниях, к которым не имел никакого отношения, был брошен в камеру страшной московской Бутырской тюрьмы и регулярно подвергался побоям со стороны надзирателей. Его семья жаловалась на обращение с ним, но их игнорировали. 12 февраля 1907 года он писал одной из сестёр, что пережил «ужасную ночь и боюсь следующей». На следующий день его нашли мёртвым. На шее у него было две раны, руки были изрезаны, лицо покрыто тяжёлыми кровоподтёками. Тюремные власти настаивали, что он покончил с собой, перерезав себе горло стеклом после того, как разбил окна своей камеры. Но семья была убеждена, что его убили. Что бы ни произошло на самом деле, обстоятельства его смерти в возрасте двадцати трёх лет были подозрительны.

Когда Ленин услышал, что молодой человек умер, он увидел в этом возможность. Он знал, что у Шмидта есть две младшие сестры — Екатерина, девятнадцати лет, и Елизавета, семнадцати, — которые тоже проявляли интерес к революционной политике. Теперь они были наследницами — и весьма заманчивой «добычей» для золотоискателей с беспощадными намерениями. Ленин завербовал двух красивых молодых партийных активистов, чтобы те соблазнили и женились на девушках, которые, унесённые романом и восторгом от участия в помощи революции, отдали бы своё состояние большевикам.

Поначалу план шёл хорошо. Екатерина Шмидт влюбилась в эффектного и гладкоречивого Николая Андриканиса; младшая сестра, Елизавета, потеряла голову от хорошенького, но властного, зловещего и грубого Виктора Таратуты.[8] В Москве состоялась двойная свадьба, в списке гостей которой были и представители высшего общества, и радикальная элита. Но затем возникла проблема: путь истинной любви не оказался гладким.

Андриканис и его жена передумали передавать деньги Ленину. Они дали партии небольшую сумму, но затем уехали в Париж, а позднее на юг Франции, увозя средства с собой. Ленин разразился гневом по поводу этого «великого предательства», но сделать мог немногое.

Таратута свою миссию выполнил. Хотя Елизавета ещё не достигла совершеннолетия и всё это было не вполне законно, она согласилась передать свою долю наследства социал-демократам. Позднее в Париже супруги передали крупное состояние непосредственно Ленину, который подписал расписку и переписал юридическое заявление: «Я получил от Екатерины Шмидт двести семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре франка» — сумму, которая по стоимости 2016 года составляла бы около 2 миллионов долларов США.

[8] Был также младший брат Шмидтов, несовершеннолетний, которому едва исполнилось пятнадцать лет. Предполагалось, что старшие сёстры «убедят» его отказаться от наследства в пользу большевиков.

Надя была потрясена этой схемой и испытывала отвращение к Таратуте, который, по её словам, вызывал у неё дрожь во всём теле. Ленин, как всегда, смотрел на дело в утилитарных категориях. Он говорил товарищам, что лично сама мысль о таком предприятии ему отвратительна и что у него самого не хватило бы духу довести его до конца, — хотя совесть не помешала ему придумать этот план с самого начала. Он восхищался «удалью и наглостью» Таратуты. «Он хорош уже тем, что ни перед чем не остановится», — признавался Ленин одному старому товарищу. «Скажи мне, смог бы ты начать ухаживать за богатой купчихой ради её денег? Нет. И я бы не смог. Я не смог бы себя пересилить. А Виктор [Таратута] смог бы… Вот это и делает его незаменимым человеком». Позднее, имея в виду Таратуту, он сказал: «Негодяй может оказаться именно тем, что нам нужно, — как раз потому, что он негодяй».[9], [10]

Но этим история со шмидтовским наследством не закончилась. Мартов и меньшевики потребовали свою долю состояния — и вполне справедливо, поскольку деньги были даны Социал-демократической партии, а не только большевикам, да и партия ещё технически оставалась единой структурой. «Почему мы должны быть обмануты Лениным-сводником и его сообщником Таратутой?» — потребовал один из их вождей. Ленин попытался удержать все деньги за большевиками, и ссора становилась всё ожесточённее, — но в споре, раздиравшем РСДРП, по крайней мере теперь было нечто вещественное и существенное, из-за чего можно было ссориться, а не одна только личная злоба. В конце концов Ленин согласился передать дело на разбор группе из трёх достойнейших — видных деятелей Германской социал-демократической партии: знаменитым марксистским теоретикам Карлу Каутскому и Фрицу Мерингу и политической организаторше Кларе Цеткин. Ленину было предписано передать деньги этому триумвирату, хотя он заранее позаботился о том, чтобы сохранить значительную сумму для исключительного пользования большевиков.

Годами спустя Ленин, в своей обычной неутомимой и изматывающей манере, изводил попечителей просьбами выделить ему ещё больше средств, писал бесконечные письма и в какой-то момент даже нанял дорогого парижского адвоката. Измученный, Каутский не мог более выносить эту грызню и ушёл с должности попечителя. «Моя работа страдает от огромной траты времени и сил на это безнадёжное дело», — говорил он Ленину. Спор так и не был удовлетворительно разрешён. Началась война, и деньги стало невозможно распределять, а после революции эти средства уже не были столь необходимы.[11]

Делать революцию было дорого, и в эмиграции Ленину деньги требовались всегда. Финансами большевиков он распоряжался лично и, верный своей скрытности, никому точно не говорил, как они расходуются, — даже Наде. Он изучал счета с огромной тщательностью и в одержимой подробности расписывал все траты до последней копейки. В Швейцарии, к примеру, он выплачивал партийные «жалованья» примерно дюжине членов большевистского руководства, своему внутреннему кругу, — от 200 до 600 франков в месяц в зависимости от их личных обстоятельств. Это были не расточительные суммы, но они помогали семьям выживать. Сам себе он брал 350 франков в месяц — примерно столько, по его словам, получал квалифицированный рабочий в Западной Европе. Это дополнялось регулярными

---

[9] Ленин часто цитировал строку из гоголевского «Ревизора», оправдывая использование жуликов, проходимцев, убийц и беспощадных негодяев: «Доброе хозяйство и из сора умеет извлечь пользу».

[10] Съезд 1907 года: Rappaport, с. 204–210. Ограбление банка в Тифлисе: Sebag Montefiore, The Young Stalin, с. 22–28. Наследство Шмидта: Volkogonov, с. 194–201, и Fischer, с. 216–219. Ленин признаёт, что сам не смог бы провести такой обман: Service, с. 182. «Негодяй… возможно, именно такой нам и нужен»: Ленин — Владимиру Бонч-Бруевичу, 8 марта 1909 года, Собр.соч., т. 44, с. 137.

[11] «Доверенные лица» по деньгам Шмидта: Volkogonov, с. 202.

вспомоществованиями со стороны его матери, которая помогала также его сестре Марии и, пока не стал на ноги как врач, младшему брату Дмитрию. Ленин никогда не был богат и не жил напоказ. Но и бедняком он не был. Журналистика и литературная работа приносили ему очень мало. И всё же каким-то образом у него всегда находились деньги, чтобы ездить, когда он хотел, — в регулярные отпуска и рабочие поездки, для лекций, исследований и участия в социалистических собраниях по всей Европе. Теперь, приближаясь к сорока годам, он всё ещё регулярно получал деньги от матери. Многие эмигранты жили в отчаянной бедности. Но, как Надя сказала своей секретарше под конец жизни, они к их числу не принадлежали. «Теперь пишут о нашей жизни так, будто мы жили в нищете. Это неправда. Мы никогда не были в таком положении, чтобы не мочь купить хлеба… Были эмигранты, у которых по два-три года не было никакого дохода и не приходило денег из России. Вот они действительно голодали. Но мы жили не так. Мы жили просто, вот это правда».[12]

В начале июня 1907 года Ленин вернулся с Лондонского съезда в Финляндию в состоянии нервного истощения, страдая от ослепительных головных болей, изнуряющей бессонницы и раздражительности. «Приступы ярости» находили на него регулярно и, казалось, без всякой причины. «Колоссальный расход энергии, которого требовала каждая кампания, за которую брался Ленин, когда он загонял себя и беспощадно гнал других вперёд, изнашивал его и истощал его силы, — говорил один товарищ из его круга. — Двигатель его воли отказывался работать, когда доходил до определённого предела бешеного напряжения… После приступа ярости его энергия начинала иссякать, и наступала реакция: вялость, упадок сил и усталость, которые валили его с ног. Он не мог ни есть, ни спать. Его мучили головные боли. Лицо становилось землистым, свет гас в глазах… В таком состоянии он был неузнаваем… И тогда самое главное было — никого не видеть, ни с кем не говорить». Горький видел его в одном из таких приступов раздражённости и испугался за него — «он выглядел ужасно… даже язык у него как будто посерел».

Надя узнавала эти симптомы и знала средство. Она увезла его куда-то в тихое и уединённое место — в Стырс-Удде (Стирсудден) на берегу Финского залива. «Здесь сосновый лес, море, великолепная погода, словом, всё превосходно», — писала она ленинской матери 28 июня. «Мы купаемся, катаемся на велосипеде, Володя играет в шахматы, носит воду, одно время мы увлекались английской игрой Donkey [карточная игра]. Мы все так располнели, что просто неприлично показываться на людях», — писала она несколько дней спустя. Ленин часами просто смотрел на воду в сторону далёкого маяка, ничего не делая. «Его всё время клонило ко сну. Стоило ему попасть в лес, как он садился под ель и тотчас засыпал. Дети из соседнего домика прозвали его “сонной головой”». Он говорил своей матери и сестре Марии: «Отдых, который я получаю, чудесен, лучший за многие годы. Ни людей, ни дел. Ни людей и ни дел — для меня лучше всего».[13]

Но вскоре он снова был в дороге — уже как представитель большевиков на конгрессе Социалистического интернационала, организации, первоначально основанной Марксом, который проходил в Штутгарте в начале августа. Одним из великих ленинских дарований, как отмечал Мартов, была способность «упаковывать съезды» — добиваться голосов, собирать вокруг себя фракцию, подробно планировать, как должно пройти обсуждение, заключать закулисные сделки. Мартов, презиравший эти политические реалии, употреблял это выражение

---

[12] Деньги Ленина от партии: Volkogonov, с. 238–240. Надя признаёт, что они не жили в нищете: Крупская, Воспоминания, с. 198.

[13] Ленину нужен отдых: письмо Нади его матери от 22 июня 1907 года, Собр.соч., т. 44, с. 423, и Ленин — матери, 24 июня 1907 года, Собр.соч., т. 44, с. 425.

как упрёк и произносил его с насмешкой. Но именно в этом и заключалась причина, по которой Ленин добивался успеха, тогда как Мартов и меньшевики терпели поражение. Ленин не только пользовался грубой бранью и не только запугивал оппонентов оскорблениями, добиваясь их подчинения. Он умел и пожимать руки другим делегатам, и проявлять интерес к их жизни, и, когда ему это было нужно, умел слушать: «он умел привлекать сторонников личным отношением». Временами он бывал прагматичен и мог поворачивать тактику на сто восемьдесят градусов, если это было ему выгодно, — те политические искусства, которые Мартов и другие ведущие меньшевики считали ниже своего достоинства, но которые были столь необходимы практическому вождю. Прежде всего, его логика убеждала, и «все были поражены очевидной мощью его ума». Даже сестра Мартова, Лидия Дан, убеждённая меньшевичка, впоследствии возненавидевшая ленинскую политику, видела, насколько он искусен. «Ленин знал — он был убеждён, что знает, — истину, и это давало ему право не только склонить вас на свою сторону, но и заставить вас действовать так, как он хочет, не потому, что он делает это ради себя, а потому, что он знает, что необходимо. У Ленина была эта способность — привлекать и повелевать».[14]

Штутгартский конгресс Ленин считал решающим, потому что, по его убеждению, он должен был установить ясную социалистическую линию в отношении войны между европейскими державами, которая, как он был уверен, скоро начнётся и которая станет, согласно пророчеству Маркса, «последним кризисом капитализма». Ленин был одним из главных двигателей знаменитой «военной резолюции» в Штутгарте: «Если война грозит разразиться, долг рабочего класса и его представителей — приложить все усилия, чтобы предотвратить её. Если же, несмотря на эти усилия, война всё же начнётся, долг рабочих и их представителей — вмешаться, чтобы добиться её скорейшего окончания, и воспользоваться экономическим и социальным кризисом для ускорения превращения капиталистического общества в социалистическое». Её поддержали все главные левые партии, включая самую крупную и влиятельную из них — по численности она была не меньше всех остальных социалистических партий Европы, вместе взятых, — СДПГ в Германии. Та же резолюция дважды подтверждалась в период между 1907 и 1914 годами — при поддержке германских социалистов. Ленин был уверен, что если война начнётся, социалисты сделают всё возможное, чтобы убедить массы — людей, которым придётся сражаться, — отказаться от участия в ней.

Две знаменитые немецкие революционерки наблюдали за Лениным в Штутгарте. Клара Цеткин и Роза Люксембург были заинтригованы и подробно обсуждали его личность и ту власть, которую он имел над большевиками. Год спустя или около того Цеткин вспоминала их разговор. «Роза… обладавшая художническим взглядом на характер, указала мне на него со словами: “Посмотрите на него. Это Ленин. Посмотрите на эту своевольную, упрямую голову. Настоящая голова русского крестьянина, с едва заметными азиатскими чертами. Этот человек попытается опрокинуть горы. Быть может, они его раздавят. Но он никогда не уступит”».[15]

Вернувшись в Финляндию, Надя говорила, что «реакция сжимала кольцо — и казалось, что это продлится годами». Вторая Дума была распущена, и это показало истинную приверженность режима парламентским реформам. Началась новая волна арестов и казней, и на арест Ленина был выдан ордер. «Владимир Ульянов, он же Ленин… писатель по экономическим вопросам… самый опасный и самый способный из всех революционных вождей», — говорилось в розыскном объявлении охранки. Технически Финляндия была автономной частью Российской империи, и

---

[14] Лидия Дан: цит. по Boris Sapir (ed.), Fyodor Ilyich Dan Prisma [Letters] 1899–1947, Amsterdam, 1985, с. 137.

[15] Clara Zetkin, Reminiscences of Lenin, www.marxists.org/archive/zetkin/1924/reminiscences-of-lenin.htm

диссиденты считали себя там в безопасности. Но больше — нет. Ленин и Надя начали искать путь назад, в Женеву.

Надя и её мать могли сравнительно легко уехать поездом и пароходом из Гельсингфорса. Елизавета Крупская уезжать не хотела, но становилась всё более немощной, и Надя говорила: «мы не могли оставить её, не зная, кто будет за ней смотреть». Для мужчины в бегах, каким был Ленин, бегство представляло гораздо большую трудность. Обе женщины с удобством отправились в Стокгольм. В начале декабря 1907 года Ленин ушёл в подполье, сбрил свою знаменитую бороду и принял ещё одну ложную личину — профессора Мюллера, немецкого геолога, изучающего известняковые отложения на юго-западе Финляндии. Он намеревался позже встретиться с ними в Швеции, — но прежде ему предстояло совершить самое физически опасное путешествие в жизни: через занесённые снегом леса и через замёрзшие озёра, с охранкой на хвосте.

У большевиков был налаженный путь бегства из Гельсингфорса, которым ведала финская партийная ячейка, организованная бывшим руководителем искровской контрабандной операции в Скандинавии Владимиром Смирновым. Он включал в себя сложную цепочку поездов до порта Або, бывшей столицы Финляндии, а оттуда — пароходом через Балтику в Швецию. Но полиция знала об этом пути, вела за ним пристальное наблюдение именно ради Ленина и едва не настигла его в поезде на подходе к Або. В какой-то момент ему пришлось выпрыгнуть из движущегося вагона, выбросив перед собой чемодан, и надеяться, что сугроб смягчит падение. Ему повезло — потому что снег оказался глубоким и потому что двое агентов охранки не решились рисковать собственной жизнью, следуя за ним. У него был адрес партийных связных в Або, и он прошёл десять километров по обледенелой просёлочной дороге, чтобы добраться до города. Замёрзший и голодный, он пришёл в дом местного предпринимателя Вальтера Борга, верного большевика. «Ленин почти не чувствовал ног, так что нам пришлось снимать с него сапоги самим». Жена Борга Ида дала ему горячего молока с коньяком и вынуждена была растирать его руки и ноги спиртом, чтобы восстановить кровообращение.[16]

Охранка следила и за портом, поэтому был составлен новый план: сесть на судно в Нагу (Науво), одном из дальних островов в Финском заливе, откуда регулярно ходил пароходный рейс в Стокгольм. Но чтобы уйти от хвоста тайной полиции, нужно было преодолеть тридцать километров по опасной местности — на конной повозке и пешком — при температуре около десяти градусов ниже нуля. «Ничего, в Сибири мне приходилось ходить и дальше, и в худших условиях», — сказал он партийным работникам, предупреждавшим его об опасностях дороги. Больше его тревожило состояние проводников — местного крестьянина и матроса из деревни близ Або: было рождественское время, и они в изрядном количестве пили местный домашний грог. Ленин опасался, что они выглядят не вполне трезвыми. Последние три километра нужно было идти пешком по замёрзшему проливу, где, по словам местных жителей, Ленину следовало быть особенно осторожным. Но для Ленина пути назад уже не было. Было сразу после рассвета в день Рождества 1907 года, и дул пронизывающий ветер, когда он ступил на лёд. В Финляндии на многие годы вперёд закрепилась легенда, будто один из проводников, матрос Густав Вальстенс, видел, как Ленин перекрестился и пробормотал молитву, прежде чем сделать это, хотя сам большевистский вождь никогда этого не признавал. В какой-то момент, когда они уже приближались к другой стороне пролива, Ленин почувствовал, как ноги у него уходят вниз, и испугался, что соскользнёт в море. Вальстенс протянул руку и вытащил Ленина в безопасное

[16] Цитата Вальтера Борга о мёрзнущих ногах Ленина: Salisbury, с. 213.

место, но всё произошло буквально на волосок. На следующий день, когда они снова встретились со Надей в Стокгольме, он сказал ей, что был уверен: конец его настал, он утонет в финской воде. «Какая дурацкая смерть».[17]

[17] Крупская, Воспоминания, с. 194.

ГЛАВА 20. Женева - ужасная дыра

«Жизнь в эмиграции и склоки неразделимы. Жить среди… этих склок и скандалов, этого ада и этой мерзкой дряни — невыносимо. Смотреть на всё это тоже невыносимо. Эмигрантская жизнь теперь в сто раз хуже, чем была до 1905 года».
Ленин — Горькому, 11 апреля 1910 г.
«Ленин не может терпеть ни одного другого человека с умом».
Николай Бухарин (1888–1938)

3 января 1908 года Ленин и Надя, следуя из Стокгольма в Женеву, прервали своё путешествие в Берлине. Планировалось остаться лишь на одну ночь, но после ужина с Розой Люксембург они вернулись в гостиницу, «чувствуя себя ужасно плохо». Причиной тому были не ожесточённые разногласия между Лениным и Люксембург в ресторане — блестящая германская феминистка и революционерка была потрясена его «жёстким централизмом… социализмом, в котором нет ничего положительного и творческого, но есть стерильный дух надсмотрщика», как она сказала ему. И Надя, и Ленин просто отравились какой-то рыбой. «У нас обоих выступила белая пена на губах, и нами овладела какая-то слабость, — рассказывала Надя. — Ночью пришлось вызывать врача… [Володя] был записан как финский повар, а я — как американская гражданка. Поэтому горничная привела американского врача. Сначала он осмотрел его и сказал, что дело очень серьёзное. Потом посмотрел на меня и сказал: “Ну, вы жить будете”. Догадавшись, что тут что-то не совсем в порядке, он взял с нас за визит возмутительно дорого. Мы проторчали… [в Берлине] ещё пару лишних дней, а потом, полубольные, кое-как доплелись до Женевы».
Они нашли «холодную, неуютную» комнату в пансионе, и, проведя в Швейцарии лишь день после возвращения, Ленин сказал Наде: «У меня такое чувство, будто я вернулся в Женеву, чтобы меня здесь похоронили». Неделю спустя он писал Луначарскому: «Возвращаться в эту проклятую Женеву чертовски тоскливо, но иного выхода нет», а на следующий день в письме к сестре Марии снова жаловался: «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Это ужасная дыра, но ничего не поделаешь. Привыкнем». [1]
Надя говорила, что никогда не видела его столь подавленным. «Он стал более замкнутым… более задумчивым, и, когда его отрывали от задумчивости, в глазах его будто мелькал отблеск печали. Нам было трудно снова привыкнуть к жизни в эмиграции. Владимир Ильич днём сидел в библиотеке, но вечерами мы не знали, куда себя деть. Нам не хотелось сидеть в этой комнате… нас тянуло к людям, и каждый вечер мы ходили в синематограф или в театр, хотя редко досиживали до конца: уходили прямо посреди представления и шли бесцельно бродить. В эти самые трудные времена… он поддерживал себя мечтами».[2]
Он был в упадке — и политически, и лично. Репрессии против социалистов продолжались; тысячи были убиты, арестованы и отправлены в ссылку. Ленин начинал понимать, насколько глубоко охранка проникла в революционные ячейки. «Работа в России… превратилась в кишащий шпионами хаос», — говорил он. К Столыпину он испытывал неохотное уважение: «очень умный политик, который понимает необходимость современного экономического развития России. Он, может быть, знает, как победить… он побеждает», — говорил Ленин. Он считал, что столыпинская политика «кнута и пряника», то есть жестокого подавления инакомыслящих при одновременных экономических реформах на земле, могла «превратить

[1] Однако спустя годы, уже после революции, он сказал на одном собрании в Петербурге, что «из всех мест, где мне довелось бывать в моих странствиях, по удобству я выбрал бы Лондон и Женеву как лучшие места для жизни».
[2] Ленин: «Я вернулся в Женеву, чтобы быть здесь похороненным»: Крупская, Воспоминания, с. 196.

Россию в монархию среднего класса, и если это будет продолжаться долго, то заставит нас совсем отказаться от всяких социалистических аграрных планов… это умно». [3]

У Ленина оставалась небольшая, но преданная группа сторонников в эмиграции, однако число их сократилось до совсем немногих, и ему пришлось почти с нуля создавать новую сеть. Столыпинский нажим на оппозицию едва не уничтожил революционные группы внутри России. В наивысший момент восстания 1905 года общая численность членов — либо партии социалистов-революционеров, самой крупной отдельной группы, либо двух крыльев социал-демократов, — достигала, по оценкам, 140 000; теперь, в 1908 году, их было менее 7 000. Многие вернулись к прежней жизни. Тысячи большевиков и меньшевиков просто отказались от политической деятельности из-за продолжающегося ожесточённого раскола внутри РСДРП. «Это были дни, когда мы проводили больше времени в ожидании писем с родины… чем в их чтении или написании», — говорила Надя.[4]

С помощью Горького Ленину удалось раздобыть средства на ещё один новый орган — Пролетарий, живую, хорошо сделанную газету, печатавшую авторов из всех частей радикального движения. Она пользовалась уважением в эмигрантской среде и имела ежемесячный тираж около 10 000 экземпляров, но внутри России читателей у неё было очень мало. Возвратилась цензура печати, и, хотя она была несколько менее суровой, чем прежде, большевистские издания запрещались, а прежней системы переправки, существовавшей для Искры, больше не было. «Жизнь снова стала такой, какой она была раньше в Женеве», — писала Надя матери Ленина. По утрам он ходил в библиотеку, днём занимался журналистикой, а всё остальное время вёл партийные дела. Он много ездил по Западной Европе, выступая с лекциями перед социалистическими кружками. Но влияние его было ограниченным. Ленин как практический политик и по своему опыту был циником. Великий парадокс состоял в том, что по натуре, как личность, он был оптимистом. Именно надежда и оптимизм питали его веру в революцию. В этот момент — «худший год в моей жизни», как он позже его назвал, — он впервые признался в сомнениях. «Доживу ли я до ещё одной революции?» — спрашивал он свою сестру Марию в состоянии почти отчаяния.[5]

Вражда с Мартовым и меньшевиками продолжалась. Не раз предпринимались попытки залечить раскол, но они ни к чему не приводили. Неизменно именно Ленин следил за тем, чтобы никакого примирения «с этими мерзавцами-мартовцами» или «вшивыми меньшевиками» не произошло. Время от времени Ленин сам делал шаг навстречу своим противникам, пытаясь прийти к какому-то соглашению, но ему никогда не доверяли. Как выразился Плеханов, «Ленин желает единства так, как человек желает куска хлеба: он его проглатывает». В какой-то момент почтенный Август Бебель, один из основателей Германской социал-демократической партии, знавший Маркса и бывший близким другом Энгельса, попытался восстановить

---

[3] Многие историки думали то же самое: что, дай Столыпину время, его реформы сработали бы и превратили бы Россию в современное буржуазное государство, тем самым предотвратив кровавую революцию. Он предлагал модернизировать местное управление и полицию, улучшить школьное образование для бедных и отменить дискриминационные законы против евреев и других меньшинств. Но это лишь контрфактическая гипотеза, и она представляется весьма маловероятной. Важнейшей частью его программы была земельная реформа, но большинство крестьян возмущали новые нормы землевладения, приносившие выгоду лишь более зажиточным хозяевам. Большинство бойкотировало его аграрную политику, направленную на введение небольших частновладельческих участков взамен «общин» — системы совместного владения землёй, существовавшей столетиями. Царь и его придворный круг архиреакционеров всё больше ненавидели Столыпина и лишили его своей поддержки. Политика Столыпина явно терпела неудачу, и его отношения с царём разрушились задолго до его убийства.

[4] Ленин: «Я вернулся в Женеву, чтобы быть здесь похороненным»: Крупская, Воспоминания, с. 196.

[5] «Доживу ли я до новой Революции»: письмо Марии Ульяновой, 3 марта 1909 года, Собр.соч., т. 44, с. 496.

дипломатические отношения между двумя сторонами. Эта попытка его измотала. В раздражении он сказал Ленину: «Что тут поделаешь? Вы дети и ни к чему не придёте, пока не повзрослеете». Реакцией Ленина было лишь пожатие плечами.[6]

Среди русских марксистов намечался новый раскол, и Ленин, вполне предсказуемо, опять был главной фигурой, старавшейся углубить и это разделение. На первый взгляд спор шёл из-за тёмного и отвлечённого аспекта марксистской теории. Но для Ленина это снова было личным делом, связанным с вопросом о руководстве. На сей раз ссора происходила внутри его собственной большевистской фракции — крохотной группки внутри группки, — но Ленину было безразлично, насколько мал его отряд, лишь бы у него оставались люди, готовые исполнять его волю. Потенциального соперника он увидел в Александре Богданове, который был на три года моложе его, высок, крепок, «мягкий великан с добрым нравом и искрящимся оригинальностью умом». Он получил образование врача и изучал философию в Московском университете. Писал любопытную научную фантастику. Его привлёк марксизм, и он вступил в радикальный «читательский кружок», связанный с РСДРП, — чего оказалось достаточно, чтобы его на три года сослали в Сибирь. Во время партийного раскола 1903 года он примкнул к большевикам.

Богданов начал развивать новые идеи, пытаясь соединить марксизм с неким мистическим спиритуализмом, рассчитанным на то, чтобы привлечь христиан и вообще религиозных людей. Этот взгляд рассматривал физический труд как религиозный обряд и превращал массы рабочих в подобия божественных существ. Ленин считал эту теорию чистейшей ахинеей, «опасным хламом», и полагал, что её необходимо оспаривать «с философской, марксистской точки зрения». Но ещё важнее было то, что он жаждал схватки, а Богданова следовало устранить как возможного соперника в борьбе за большевистское руководство. Горький интересовался теориями Богданова, а Луначарский, которого Ленин любил и ценил, уже был обращён в богдановские идеи «богостроительства». В действительности Богданов никогда не был серьёзной угрозой: как политический тактик он был столь же беспомощен, если не больше, чем Мартов, и, хотя по-своему был блестящ, оставался дилетантом и никак не выглядел правдоподобным лидером. Но Ленин не желал рисковать.

В апреле 1908 года Горький пригласил Ленина погостить несколько дней на своей вилле на Капри. Он сообщил ему, что там же будет Богданов, «человек исключительно талантливый и мягкий по характеру», и что он хотел бы, чтобы они вдвоём спокойно поговорили и обсудили свои разногласия. Ленин не хотел напрямую спорить с Богдановым на глазах у Горького и сначала сказал, что у него нет времени ехать. Но когда Горький попросил снова, он неохотно согласился, предупредив хозяина: «От этого богдановского вздора я начинаю ругаться как торговка рыбой». Надя ехать не захотела и осталась в Женеве.[7]

Горький и Мария Андреева снимали виллу Блезус — обширный особняк высоко на утёсе в южной части острова, откуда открывался вид на Марину с одной стороны и на знаменитые сады Августа — с другой. [8] Ленину отвели роскошную комнату с великолепным видом на море, рядом с прекрасной библиотекой Горького. Позже писатель рассказывал друзьям, что был поражён грубостью Ленина по отношению к Богданову. «Владимир Ильич стоял передо мной ещё более твёрдым и ещё более несгибаемым, чем на Лондонском съезде… он был довольно холоден,

---

[6] Plekhanov, My i oni [«Мы и они»], Moscow, 1907, с. 32, а также цит. по Samuel Baron, Plekhanov: The Father of Russian Marxism, Stanford, 1963. Август Бебель — Ленину: цит. у Martov в Getzler, с. 136.

[7] Ленин и Богданов: письмо Горькому, Собр.соч., т. 44, с. 263.

[8] Эта красивая вилла, построенная сравнительно недавно, принадлежала каприйскому семейству Сеттанни, однако Горький жил там большую часть времени с середины 1906 года до конца 1909 года. Позднее ею владела семья Круппов, германских стальных магнатов, помогавших финансировать нацистскую партию.

насмешливо настроен, суров в философских разговорах и вообще настороже». Горький хотел помочь создать на Капри школу, где преподавались бы духовно-марксистские теории Богданова.[9] Он надеялся, что Ленин будет там читать лекции и примет участие в сборнике эссе с новыми толкованиями марксизма, который он собирался издать. Но Ленин не желал иметь ничего общего с этой «сплошной философской чепухой… этим религиозным атеизмом». Он сказал Богданову и Горькому: «Почему нам предлагают подобную дрянь как марксистскую философию? Я предпочёл бы дать себя повесить и четвертовать, чем участвовать в каком бы то ни было издании или в какой бы то ни было группе, проповедующей подобные вещи».

Марксизм был «материалистической» философией, и для Ленина религия оскорбляла разум всякого рационального человека. «Тех, кто живёт трудом других, религия учит благотворительности на земле, тем самым предлагая им очень дешёвый способ оправдать всё своё существование как эксплуататоров и за умеренную цену купить себе благополучие на небе. Религия — опиум для людей. Религия — это своего рода духовная сивуха, в которой рабы капитала топят свой человеческий облик, своё требование жизни, более или менее достойной человека». В письме к Горькому после своего пребывания на Капри Ленин писал: «Всякая религиозная идея, всякая идея какого бы то ни было Бога, даже всякое кокетничанье с Богом есть самая невыразимая мерзость, опасная мерзость… Разве богостроительство не есть худшая форма самоуничижения? Всякий, кто принимается строить Бога или хотя бы терпит такую деятельность, унижает себя самым худшим образом… потому что на деле он занимается самосозерцанием, самолюбованием. С точки зрения не отдельного человека, а общества, всякое богостроительство есть самодовольный самообман тупоумного, мещанского, мечтательного самоунижения вульгарного буржуа».[10]

Для компромисса с Богдановым не оставалось места. Зато на Капри было достаточно времени для отдыха. Он плавал, гулял и осматривал достопримечательности. «Голубой грот красив, — писал он матери, — хотя и “театрален” в том смысле, что мог бы служить декорацией в театре. По дороге сюда я всё время думал о Волге. Там красота иного рода; она проще и дороже мне». Он играл в шахматы с Богдановым, которому однажды всё-таки удалось его обыграть. [11]

Горький увидел в Ленине и другую сторону его натуры. «В то же время на Капри был и другой Ленин — замечательный спутник и весёлый человек, с живым и неистощимым интересом к окружающему миру и очень мягкий в отношениях с людьми. Он проявлял живой интерес ко всему». В большинство дней, которые он провёл на острове, он выходил в море с местными рыбаками. Он расспрашивал их об их жизни: сколько им платят, каковы их семьи, какое у них образование, во что они верят. Мария Андреева ходила с ним в соседнюю гавань и служила ему переводчицей. По-своему Ленин обладал умением сходиться с простыми людьми и особенно подружился с двумя пожилыми братьями, Джованни и Франческо Спарадо, которые научили его ловить рыбу без удочки, ощущая пальцами на леске, взяла ли рыба наживку. «Così, drin drin, — говорили они. — Вот так. Понимаешь?» Когда после нескольких попыток он вытащил кефаль,

---

[9] Это направление было известно как махизм — по имени австрийского физика и философа Эрнста Маха, впервые высказавшего некоторые из этих идей в 1890-е годы; позднее их переработал Богданов.

[10] Ленин о религии: письмо Горькому, Собр.соч., т. 44, с. 186.

[11] Горький рассказывал, что Ленин тяжело перенёс это поражение и после был в отвратительном настроении. Но это единственное свидетельство о Ленине как о плохом неудачнике в шахматах. Другие говорили, что за доской он всегда оставался безукоризненным джентльменом — и в случае победы, и в случае поражения — и после партии охотно дружелюбно её обсуждал. В данном случае, возможно, дело было больше в личности противника, которому он проиграл.

он расхохотался и потом шесть дней подряд повторял выражение «drin, drin». Это прозвище, похоже, прижилось, и местные жители на острове стали называть его «синьор Дрин Дрин». [12]
Горький вернулся с Лениным на материк, и вместе они поднялись на Везувий и посетили Помпеи. Но, несмотря на все старания писателя, ему не удалось убедить Ленина смягчить нападки на Богданова. Почти весь следующий год Ленин потратил на написание большой книги Материализм и эмпириокритицизм, в которой громил Богданова и вёл кампанию за его исключение из Социал-демократической партии. Для Ленина религиозные взгляды Богданова были ересью — а ересь среди его большевиков следовало искоренить.[13]
В Женеве контакты с большевистскими активистами внутри России были редки и случайны — это особенно мучило Ленина и, в особенности, Надю, которая как официальный «секретарь партии» отвечала за создание сети агентов, поддерживавших связь с «большевистским центром». Это была неблагодарная работа; слишком многие были арестованы, а каналы переброски между Россией и Западом, существовавшие до 1905 года, были перекрыты охранкой. Порой они ждали неделями хотя бы какого-нибудь признака подпольной почты. В швейцарской эмиграции было много русских, но большевиков среди них было немного, а хозяева уже уставали от своих шумных, часто пьянствующих и вечно ссорящихся русских постояльцев. Однажды к Ленину домой в пригороде Женевы явился огромный, грубоватого вида товарищ из Грузии Михаил Цхакая, одетый в яркий кавказский костюм с затейливым головным убором, «похожий на настоящего разбойника», как вспоминала перепуганная хозяйка. В нескольких швейцарских городах в гостиницах и пансионах появились таблички: «Никаких кошек. Никаких собак. Никаких русских».
Эмигранты образовывали тесные сообщества, хотя большевики, меньшевики и эсеры обычно держались порознь. Новоприбывшим «с родины», которых прежде встречали с радостью, теперь не доверяли. Надя первой заподозрила, что охранка удваивает усилия по внедрению двойных агентов в революционные движения. С ней установили контакт двое членов партии из Петербурга, Комиссаровы. «В первое же мгновение меня охватило странное чувство, какая-то острая недоверчивость. Я не могла понять, откуда оно взялось, и вскоре оно прошло. Катя Комиссарова оказалась очень деловитой помощницей, всё делала быстро, точно — и с большой скрытностью». Она вместе с мужем помогала переправлять оружие в одну большевистскую ячейку на Урале и знала личности нелегальных товарищей, снабжая их паспортами. Вскоре оружие было конфисковано, а все революционеры, с которыми она поддерживала связь, были арестованы при попытке перейти границу в Западную Европу. «Все группы [внутри России] были нашпигованы осведомителями, — признавала Надя. — Не было ни одной местной организации, куда не пробрался бы какой-нибудь провокатор. Каждый человек смотрел на товарища с подозрением, остерегался ближайших к себе и не доверял соседу». [14], [15]

---

[12] Джованни Спарадо долго помнил Ленина — «так смеяться мог только хороший человек», — говорил он потом Горькому. Несколько лет подряд он спрашивал у всякого русского, не знает ли тот, что стало с синьором Дрин Дрином. «Ну, знаете… синьор Ленин. Царь его ещё не поймал?»
[13] Горький о ленинском обаянии и живости: Gorky, Days with Lenin, с. 28.
[14] Охранка добилась крупных успехов в борьбе с революционными группами, однако многие наблюдатели считали это ведомство сильно переоценённым — не в последнюю очередь им самим. Британский разведчик Роберт Брюс Локхарт, тесно работавший с охранкой несколькими годами позже, когда он был главным британским агентом в России, говорил: «Я отказываюсь верить как в её эффективность, так и в её честность. “Ужасная” охранка… была мифом, внушавшим страх скорее своим названием, чем всеведением. Это была организация, которой заправляли бездари и ловкие жулики, и в ней бездари превосходили умных в пропорции девять к одному».
[15] Осведомители охранки: Крупская, Воспоминания, с. 173–174.

Ленин и Надя, однако, доверяли двум большевикам, переселившимся на Запад ещё до 1905 года и ставшим с этого времени самыми верными сотрудниками и друзьями Ленина — и в эмиграции, и после революции, у власти. Среди других изгнанников их троих называли «Тройкой». Григорий Зиновьев был, вероятно, тем человеком, кто дольше всех оставался ближе всего к Ленину, а его напряжённая, умная и хорошенькая белокурая жена Зина Лилина стала одной из самых близких доверенных лиц Нади. На протяжении следующих девяти лет они были соседями везде, куда бы их ни заносила эмиграция, иногда даже жили в одном доме. Родившийся под именем Хирш Апфельбаум на маленькой ферме на Украине, Зиновьев, на тринадцать лет моложе Ленина, был коренаст, гладко выбрит, страдал одышкой и говорил высоким голосом. Это был совершенный подхалим, печально знаменитый своим цинизмом, исполнявший за Ленина немало грязной работы. Меньшевики называли его «оруженосцем Ленина», и, похоже, его нисколько не смущало, что ему не доверяли и его не любили.

Анжелика Балабанова, высоконравственная товарищ, которой Ленин восхищался за её «невинность», ненавидела бесконечные удары в спину среди большевиков и описывала Зиновьева как «просто самого презренного человека из всех, кого я когда-либо встречала. Всякий раз, когда нужно было провернуть нечестный фракционный манёвр или подорвать чью-то революционную репутацию, Ленин поручал это Зиновьеву». Однако на трибуне он преображался: из льстивого аппаратчика превращался в очень действенного оратора — самого сильного, после Ленина, среди большевистских лидеров до революции. Ленин считал его полезным и исполнительным, писал ему «Дорогой Григорий», а не обращался по имени-отчеству, как к большинству своих помощников. Зиновьев был Эверестом напыщенности, не отличался ни проницательностью, ни способностью сказать что-нибудь остроумное, но обычно делал то, что ему велели. Ленин не мог без него обойтись, хотя и находил его скучным.

Лев Борисович Каменев во многих отношениях был самым привлекательным человеком из ленинского круга. По сравнению с другими он был порядочным человеком и, казалось, обладал совестью и хорошим чувством юмора. Он ненавидел травлю, которая под видом спора царила среди социал-демократов. Женатый на сестре Льва Троцкого Ольге, он был плотного сложения, с густой бородой и добродушно-дядюшеским обликом, хотя, когда Ленин с Надей вернулись в Женеву в 1908 году, ему было всего двадцать пять лет. Он умел хорошо рассказать анекдот, любил сплетни и порой мог рассмешить Ленина.[16] Они часто расходились во мнениях, но Ленин его любил — даже тогда, когда ссоры становились злобными, а это в последующие годы происходило нередко. Ленина выводила из себя его «слабость», но он его уважал. Каменев был большевиком по убеждению, однако ему недоставало суровости и «инстинкта убийцы», присущего безжалостным революционерам вокруг него. Луначарский говорил, что Каменев «считался человеком сравнительно мягким, ввиду своей замечательной добродушности. Это было скорее похвалой, чем упрёком, но верно и то, что по сравнению с другими… он был склонен колебаться».[17]

К несчастью для Ленина и Нади, они доверяли и ещё одному человеку из своего тесного круга — врачу по имени Яков Житомирский, который уже много лет занимал высокое положение в партии. Ленин полагался на него как на «доверенное лицо», пригодное для деликатных поручений. Он включил его в организационный комитет брюссельской конференции 1903 года, где раскол между большевиками и меньшевиками начал впервые проступать особенно ясно.

---

[16] Но не его шурин. Троцкий терпеть не мог Каменева, несмотря на родство, и это чувство было взаимным. Троцкий считал Каменева слабым и бесхребетным.

[17] Происхождение Зиновьева: Ulam, с. 213–214; и цитаты: Balabanova, с. 139. Каменев, цитаты: Valentinov, с. 149, и Trotsky, My Life, с. 274.

Житомирский был также агентом охранки — известным полиции в Германии под именем Гартинг, где его разыскивали по делу о предполагаемой попытке взрыва в Берлине. Он перебрался во Францию, где стал кавалером ордена Почётного легиона. Ленин — как оказалось, крайне неосторожно — передал ему купюру в 500 рублей, а тот сообщил охранке, что Камо руководил ограблением банка в Тифлисе. Именно наводка Житомирского привела к аресту Камо.

Теперь Житомирский, главный русский агент в Швейцарии, сыграл заметную роль в том, чтобы убедить Ленина покинуть Женеву и перебраться в Париж: «в большом городе за вами будут меньше следить, и вы будете менее заметной мишенью», — говорил он большевистскому вождю. По словам Нади, «этот довод показался Ильичу убедительным», хотя он, конечно, должен был знать, что охранка имела сильные позиции и во Франции. 14 декабря 1908 года они покинули Женеву и отправились в Париж. «Надеемся, что большой город нас немного развеселит, — писал он матери накануне отъезда. — Нам осточертело сидеть в этом провинциальном захолустье. Жизнь в этом мелкобуржуазном городишке ужасно скучна».

Житомирский сообщил парижскому отделению охранки точное время прибытия Ленина во французскую столицу и место, где тот остановится.[18]

[18] О докторе Житомирском: Yuri Felshtinsky, Lenin and His Comrades: The Bolsheviks Take Over Russia, 1917–1924, New York, 2010. «Большой город нас развеселит»: Ленин — матери, 13 декабря 1908 года, Собр.соч., т. 44, с. 497.

ГЛАВА 21. Инесса - Ленин в любви

«Я и теперь вижу, как она выходит из квартиры Ленина. Она казалась неиссякаемым источником жизни. Она была огненным пламенем революции — и красное перо на её шляпе было словно язычок этого пламени».
Григорий Котов

Среди всех русских эмигрантов в радикальных кругах Парижа она была, безусловно, самой блистательной. Изысканная, шикарная женщина тридцати пяти лет, с тонкой фигурой, каштановыми волосами и ярко-зелёными глазами, она была жизнерадостна, необычайно умна, остроумна и почти неизменно улыбалась. Инесса Арманд была совершенно иной, более яркой и живой, более откровенно сексуальной, чем заурядные Ольги и Татьяны, посещавшие большевистские кафе и бистро на авеню д'Орлеан. Даже её имя, звучавшее по-французски, отдавало чем-то экзотическим. Она с такой же лёгкостью говорила о последних модах couture, как и о марксовой теории прибавочной стоимости, — и притом свободно, на четырёх языках. Она одевалась элегантно, неизменно носила парижскую шляпу и прекрасно играла на фортепиано. Среди товарищей Левого берега она выделялась, как никто другой; члены партии называли её «вечно весёлой» и говорили о её «счастливом динамизме». Надя говорила, что, когда Инесса появилась, «все мы очень к ней привязались… она всегда казалась в хорошем настроении… от неё словно исходило тепло». Другой современник замечал, что «Инесса, по её собственному признанию, всё в жизни делала со страстью — и революционную политику, и любовь».[1]

Впервые она встретила Ленина в конце мая 1909 года в кафе aux Manilleurs на авеню д'Орлеан, в том квартале вокруг Монпарнаса, где обычно собирались парижские левые. Она пришла на социалистическое собрание со своей старой эмигрантской знакомой Еленой Стасовой и впервые услышала, как он выступает. Она знала его по репутации и читала его книги. Она уже примкнула к большевистской фракции РСДРП. Как интеллектуалом она им восхищалась и была воодушевлена его выступлением в тот вечер, но как мужчина он поначалу её не привлёк. «Я любила тебя, но тогда не была "влюблена" в тебя… я немного тебя побаивалась», — признавалась она ему позже. Она говорила, что её удивила его странная манера встречаться с людьми, вызванная близорукостью: он глядел собеседнику прямо в глаза, а затем прищуривал один глаз. Их отношения развивались не сразу.

Прошло более полутора лет, прежде чем между ними начался любовный роман, хотя они часто виделись в парижских кафе и на партийных собраниях. За это время она стала горячей большевичкой — в последующее десятилетие едва ли кто-нибудь будет предан ему более безоговорочно, — а он начал поручать ей всё более важную политическую работу. Она переводила для него на французский, которым он так никогда и не овладел в полной мере, а иногда и на английский. Вскоре он понял, что она достаточно умна и достаточно искусна в споре, чтобы представлять его на ряде собраний во Франции и в других странах Европы. Он сделал её главой Международного бюро большевиков. Она стала большевистским представителем при Французской социалистической партии — огромная ответственность в то время, когда столь многие русские партийцы жили во Франции.[2] У Инессы был проницательный ум, она была красива, волнующа, она была опытной женщиной света и не испытывала почти

---

[1] Происхождение Инессы Арманд: Michael Pearson, Inessa: Lenin's Mistress, London, 2001, и R. C. Elwood, Inessa Armand: Revolutionary and Feminist, Cambridge, 1992.

[2] Ленин попросил её перевести на французский речь, которую он произнёс на похоронах Поля Лафарга и его жены в 1911 году и которую считал чрезвычайно важной, — Лаура Лафарг была дочерью Маркса.

никаких буржуазных предрассудков по поводу женской сексуальности, — и Ленин был покорён. Чарльз Раппапорт, английский социалист, живший в Париже и часто видевший их вместе в кафе, говорил, что Ленин «своими маленькими монгольскими глазами был заворожён Инессой… он не мог перестать смотреть на неё».[3]

До того как он увлёкся Инессой, вокруг Ленина и других женщин едва ли возникал хоть какой-нибудь намёк на скандал. Когда после революции 1905 года он вернулся в Россию, он иногда встречался с Элизабет де К., молодой белокурой светской хозяйкой с умеренно левыми взглядами, которая позволяла ему пользоваться своей большой квартирой в Петербурге для подпольных собраний. Иногда, когда собрания заканчивались, он оставался поговорить; однажды она играла для него на рояле — его любимую вещь, «Патетическую сонату» Бетховена. Но любовниками они никогда не были, как она потом не раз подчёркивала. Ленин пытался обратить её в марксизм, но не преуспел, и после этого, по-видимому, потерял к ней интерес. «Бывали дни, когда я не была уверена, человек он или машина», — рассказывала она позднее одной знакомой.[4], [5]

В отличие от Инессы, годы были немилостивы к сорокалетней жене Ленина. Она выглядела гораздо старше своих лет. Лидия Дан, обаятельная сестра Мартова, ненавидевшая Ленина, но любившая Надю, говорила, что, даже если та и не была большой красавицей, «её некрасивость озарялась её обаянием… её добротой». Теперь же она стала бесформенной и совсем перестала следить за собой. Она сильно располнела, и у неё проявлялись всё более тревожные симптомы болезни щитовидной железы, от которой она страдала уже несколько лет и которая вскоре будет диагностирована как базедова болезнь: глаза у неё выпучились, шея распухла. Но и сама она не предпринимала никаких усилий к тому, чтобы как-то улучшить свою внешность — либо потому, что считала заботу о подобном слишком буржуазным делом, либо потому, что была в столь подавленном состоянии. «Парижские годы, — говорила она позднее, — были самым тяжёлым временем нашей эмиграции».

Зимой она всегда носила одно и то же чёрное платье, а летом — другое, полегче; единственная уступка моде, которую она себе позволяла, состояла в том, что иногда меняла отделку на шляпе, вспоминала её давняя подруга Клара Цеткин. «Она походила на измученную рабочую жену, которая вечно тревожится, успеет ли сделать всё, что собиралась». Агент Охранки, следивший за ней в Париже, пожалуй, был несколько суров, но в одном из своих донесений довольно объективно описывал её так: «Ей около сорока, волосы средне-каштановые, сутулится, глаза серые, нос маленький, губы тонкие. Всегда одета неряшливо».[6]

---

[3] «Ленин был заворожён»: Jean Fréville, Lénine à Paris, Paris, 1958, с. 13.

[4] После революции некоторые белоэмигрантские офицеры подделали пачку писем, из которых следовало, будто эта мимолётная tendresse была бурным романом, но это была грубая и неумелая фальшивка. Ещё одной выдумкой было утверждение — опять-таки из белоэмигрантских источников начала 1920-х годов, — будто в парижской эмиграции Ленин посещал бордель, где напивался, болтал о женщинах и вёл себя шумно. Один русский художник-эмигрант будто бы сопровождал большевистского вождя, «и мы делили наших женщин… Ленин был очень весел и очень добродушен, но в любовных делах был совершенно ненасытен». Всё это звучит как чистейшая ложь. Даже в том крайне маловероятном случае, если бы он и бывал в подобном заведении, он уж наверняка постарался бы сделать всё, чтобы об этом никто никогда не узнал.

[5] Elizabeth de K. и Ленин: Fischer, с. 192, и Felshtinsky, с. 93–95.

[6] Донесения охранки: цит. по Ben Fischer, Okhrana: The Paris Operations of the Russian Imperial Police, Washington D.C., Center for the Study of Intelligence, 1997. Также как двойной агент: Valerian Agafonov, Zagranichnaya Okhrana, Petrograd, 1918; здесь имеются ценные свидетельства очевидца о шпионаже по всей Европе в интересах царя.

На протяжении их брака бывали периоды, когда Надя и Ленин спали в одной постели, и другие, когда спали раздельно. Значительную часть парижских лет, как говорили их друзья, например неизменно преданная большевичка Лидия Фотиева, позднее ставшая секретарём Ленина в Кремле, Надя спала в комнате своей матери. В сентябре 1911 года, через несколько месяцев после того, как Ленин и Инесса стали любовниками, Инесса переехала в квартиру в нескольких домах от них, на той же улице, на рю Мари-Роз.

Элизабет Инес Арманд родилась 8 мая 1874 года, хотя в разные годы она сама, её семья и её товарищи называли и другие даты, чтобы запутать полицию и иммиграционные власти разных европейских стран. Она появилась на свет в Париже, но почти не жила там до тех пор, пока не вернулась уже в тридцать с лишним лет как большевистская активистка. Её мать, Натали Вильд, была отчасти англичанкой, отчасти шотландкой, отчасти француженкой и отчасти русской. Она скромно зарабатывала на жизнь как актриса и преподавательница пения в Лионе, а затем в Париже. Отец Инессы, Теодор Пешё д'Эрбенвиль, был умеренно успешным французским оперным певцом, часто выступавшим под сценическим именем Теодор Стефан. Вскоре после рождения Инессы они поженились, так что формально она родилась вне брака; когда ей было пять лет, супруги расстались, а вскоре после этого отец умер.

Натали осталась с тремя маленькими дочерьми — Инесса была средней из трёх, — и они почти нищенствовали. Чтобы облегчить финансовую ношу, когда Инессе исполнилось шесть лет, сестра её матери София взяла её к себе в Россию — в ту пору французский квартал в Москве процветал. Её тётя стала учительницей музыки в семье Арманд, богатых франко-русских текстильных фабрикантов, владевших фабрикой в Москве, на которой работало более 1200 человек. Инесса проводила много времени с детьми Армандов в их имении неподалёку от деревни Пушкино, в тридцати километрах к северо-востоку от города.

Старший сын Армандов, Александр Евгеньевич, который был на пять лет старше Инессы, влюбился в неё, и, когда ей было девятнадцать, они поженились на большой светской свадьбе, на которой присутствовала московская деловая элита. Инесса зажила, казалось бы, обычной, привилегированной жизнью верхнего слоя среднего класса. Александр был порядочнейшим человеком либеральных взглядов, щедрым, любящим мужем. За восемь лет она родила четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. С виду она была довольна, но, как говорила друзьям, в её жизни чего-то недоставало. Ей нужно было дело, ради которого стоило бы бороться, и нечто, во что можно было бы верить. Она начала серьёзно читать: классиков философии, истории и политической экономии — весьма необычные предметы для обеспеченной женщины её среды и воспитания.

Она стала убеждённой и страстной феминисткой. Она вступила в Московское общество улучшения участи женщин, которое, среди прочих благих дел, занималось попытками реабилитации проституток. На этом этапе своей жизни Инесса горячо восхищалась Толстым. Одна из других участниц их кружка предложила написать почтенному писателю и спросить, что, по его мнению, можно сделать с социальной проблемой проституции, разрушавшей жизнь столь многих русских женщин. В этой области он считался знатоком: в юности он прославился как чрезвычайно рьяный посетитель куртизанок — и столь же знаменитым стал впоследствии, когда «исправился» и превратился в нравственного арбитра национальной совести. Он ответил: «Ничего не выйдет из вашей работы. Так было до Моисея, так было после Моисея. Так было, так и будет». Инесса была возмущена и отвернулась от Толстого. Её заинтересовал социализм. Объёмистая и многословная книга Ленина «Развитие капитализма в России» входила в круг её чтения, и позднее она говорила, что именно эта книга стала одной из тех, которые обратили её в марксизм.

Её внутренняя жизнь тоже переживала революцию. Если внешне казалось, будто она живёт в согласии с мужем, то на самом деле у неё уже был любовный роман с другим мужчиной — младшим братом Александра, Владимиром. Ему было всего семнадцать, он только что поступил в Московский университет; ей было двадцать восемь, и она была матерью четверых маленьких детей. В 1903 году она ушла от мужа к деверю, забрав с собой детей.

Александр и после этого продолжал щедро содержать Инессу и детей. Он поддерживал её многочисленные начинания, выручал её, когда у неё были неприятности с полицией и когда она попадала в тюрьму; в будущем он дважды поможет ей бежать из тюрьмы и из ссылки. Он присматривал за детьми, когда она сама не могла этого делать, и всегда держал для неё открытым дом в Пушкине и квартиру в Москве. Он всегда оставался ей другом, самым терпимым из мужей и сострадательным отцом. Позднее он и сам завёл любовницу, но признавался, что всегда любил Инессу, как бы странно ни выглядело её поведение. Революционером он никогда не был, однако ни разу не жаловался на политическую жизнь Инессы и понимал её полную преданность делу.

Любовники уехали из России в поездку по Италии, Франции и Швейцарии — за счёт Александра, — и там она забеременела от Владимира. Вернувшись в Россию, она родила сына Андре и ещё активнее включилась в политику. Александру удавалось смесью уговоров и взяток удерживать тайную полицию от слишком пристального внимания к ней. Но в конце концов Охранка до неё добралась. Её арестовали за содержание библиотеки нелегальных книг. Несмотря на то что она была матерью пятерых маленьких детей, включая младенца, её заключили в тюрьму с печальной славой своей жестокости, а затем приговорили к ссылке на замёрзший север, в богом забытое место под Архангельском.

Владимир, сам также глубоко замешанный в подрывной политике, последовал за ней, но серьёзно заболел туберкулёзом. Он отправился на лечение на юг Франции. Однако болезнь зашла слишком далеко, и никакого исцеления уже не было. В начале 1909 года она бежала из ссылки, ненадолго скрылась в Петербурге и, с помощью мужа, после драматического путешествия через замёрзшие финские озёра, сумела добраться до Владимира в Ницце. Через две недели после того, как любовники вновь встретились, он умер у неё на руках.

Убитая горем и не имея возможности вернуться в Россию, она вызвала к себе детей. Она поступила в Новый университет в Брюсселе, где как раз начали читать один из самых авторитетных в Европе курсов по экономике, хотя большую часть чтения и письменной работы ей удавалось выполнять в Париже. Трёхлетний курс она окончила за восемнадцать месяцев и получила диплом с отличием. Она вошла в эмигрантский подпольный мир, в её случае весьма удобно существуя на деньги мужа, начала строить себе новую жизнь и нашла новую любовь — Ленина.[7]

Ленин говорил, что «большинство эмигрантов, едва приехав в Париж, начинали разлагаться. Выживали только самые сильные. Остальных губили мелочные дрязги, домашние ссоры, бедность — и алкоголь». Ленин выжил, но Париж ему так и не полюбился, несмотря на присутствие в его жизни Инессы. Он хотел выбраться из женевского «захолустья» и с нетерпением ждал жизни в большом городе. Но, как это с ним часто бывало, едва оказавшись в таком городе, он начал жаловаться. «Боже, какая Париж дыра», — сказал он своей сестре Анне спустя несколько дней после приезда во Францию; слово «дыра» было одним из его любимых

---

[7] Происхождение Инессы: Pearson, Elwood, Fréville, Louis Fischer и Polina Vinogradskaya, Pamyati Inessy Armand (ed. Nadezhda Krupskaya), Moscow, 1926.

6 Крупская, Воспоминания, с. 195. Посылки с едой из России: Ленин — матери, 5 июня 1909 года, Собр.соч., т. 44, с. 479. Опрятная парижская квартира: Ilya Ehrenburg, People and Life: Memoirs 1891–1917, London, 1961.

ругательных обозначений места, и в разные периоды своей обширной переписки он называл Париж, Женеву, Лондон, Берлин, Цюрих, Берн и Москву «дырой». Через несколько недель он писал матери: «Не могу понять, что нас, собственно, занесло в Париж. Я до сих пор так и не смог к нему приноровиться».

Прежде всего, это был тогда один из самых дорогих городов Европы. Жизнь в нём стоила гораздо больше, чем в Швейцарии, которая в то время, ещё не имея ни банковской индустрии, ни промышленной базы, была бедной страной, дешёвой для жизни. Сначала Ленин и Надя поселились в самой роскошной и затейливой квартире, которую когда-либо снимали за всю свою супружескую жизнь: четыре большие комнаты в изящном доме рядом с парком Монсури. Там была отдельная комната для матери Нади и отдельная — для его сестры Марии, прожившей с ними несколько месяцев. По меркам Ленина и Нади это было почти великолепие. Над мраморными каминными полками висели золочёные зеркала, были люстры, паркетные полы. Надя терпеть не могла эту квартиру и чувствовала себя в ней неуютно. «Он… [Володя] принимал лишь самое отдалённое участие в наших стараниях обустроить новое жильё, — говорила она его матери. — У него были более важные дела. Стоило бы вам увидеть, с каким презрением консьержка смотрела на наш белый сосновый стол, простые стулья и табуретки. В нашей “гостиной” было всего лишь несколько стульев и маленький столик. Совсем неуютно».

Цены, говорила она, были непомерные. Один гость из России, зашедший к ним на чай, спросил её, сколько в Париже стоят гусь и телятина, и её ответ был не в её обычной мягкой манере. «За всё время в Париже мы не ели ни того, ни другого. Если бы его интересовала цена конины и салата, я могла бы ему помочь». Мария Александровна посылала из России продуктовые посылки, а вместе с ними и деньги, чтобы поддержать их. Они получали лакомства, напоминавшие о родине, в том числе его любимую рыбу: копчёные ломтики осетрины, русскую сёмгу, икру. Он благодарил её с необычайной сердечностью. «Мы очень наслаждаемся этими маленькими деликатесами и, поедая их, вспоминаем Волгу».

Через полгода они переехали в более скромное жильё привычного им рода: две комнаты и кухню-столовую на втором этаже типичного парижского дома, на тихой улице недалеко от бульвара Монпарнас. Квартира была обставлена бедно, но содержалась с безукоризненной чистотой и порядком, и, как обычно, они жили в простом буржуазном укладе, несколько обособленно от прочих эмигрантов. Илья Эренбург, тогда ещё молодой студент, но уже способный репортёр, которому суждено было стать одним из самых известных журналистов Советского Союза, «был поражён тем, как всё в квартире аккуратно. Книги стояли на полках в порядке. Ленинский письменный стол был убран». Его жильё совсем не походило на квартиры других русских революционеров в эмиграции, которые он видел, да и сам Ленин тоже был на них не похож — обычно он был опрятно одет. «На нём был тёмный костюм с жёстким белым воротничком. И вид у него был очень респектабельный». Консьержка мадам Рю говорила — не вполне прозорливо, — что они «должно быть, вели мрачную жизнь. Подумать только… у них не было никаких человеческих слабостей. Господин Ульянов не пил и не курил. Он выходил в библиотеку или на собрание — и только».[8]

Ленин редко бывал в богемном мире Парижа 1900-х годов, где в золотую для живописи пору работали такие художники, как Шагал, Хуан Грис, Диего Ривера, Вламинк, Сутин, Модильяни[9]

[8] Стресс и бессонница Ленина: Крупская, Воспоминания, с. 197.

[9] Хотя с Модильяни он всё же встретился однажды. Художник поджёг бумагу, которую читал Ленин, — случайно или нет, остаётся неясным, — и Ленину пришлось тушить пламя. Художники, которые иногда приходили послушать его выступления, считали его, по словам английского пейзажиста, а впоследствии знаменитого батального художника Кристофера Невинсона, «чокнутым экстремистом».

и Леже, — и пили в кафе Rotonde неподалёку от Сен-Жермен-де-Пре. Однажды он играл в шахматы с французским поэтом и художником Гийомом Аполлинером.

В целом в Париже ему трудно было по-настоящему сосредоточиться на серьёзной литературной работе; ни одной значительной книги он там не написал, и хотя, как всегда, с бешеной скоростью штамповал журналистские тексты, мало что из этого запомнилось. Он ненавидел Национальную библиотеку — «во всём уступает Британскому музею… вот уж действительно замечательное учреждение, лучшая в мире библиотека для работы». В отличие от неё, парижская библиотека закрывалась на два часа в обед; служащие там были «грубы и бесполезны», а книги, которые он заказывал, подолгу не приносили из хранилища. «Он всё время жаловался на Библиотеку», — говорила Надя.

Они оба страстно увлеклись типично французским для того времени занятием — ездой на велосипеде. Ленин был одержим чисткой велосипедов и заботился о том, чтобы они были хорошо смазаны, шины накачаны, и они часто отправлялись в парижские леса, в Фонтенбло, Сен-Жермен-ан-Ле и, по любимому маршруту Нади, в лес Медон. Иногда Ленин уезжал гораздо дальше: вставал ни свет ни заря и возвращался поздно вечером, проехав на велосипеде километров семьдесят.

Он пришёл в ярость, когда однажды днём обнаружил, что его драгоценный велосипед — купленный для него матерью — украден. Он оставлял его в подвале одного дома неподалёку от библиотеки и платил консьержке по десять сантимов в день. Когда он увидел, что велосипед исчез, она пожала плечами и сказала, что он платил за то, чтобы держать там велосипед, а не за то, чтобы она за ним присматривала. «Он бранился и на библиотеку, и на консьержек, и на Париж». [10]

Бесконечные «зловонные дрязги», говорил он, были «невыносимы», — хотя он сам был одним из самых решительных и самых громких участников этих дрязг. «В Париже жизнь была полна смуты… Наши, члены партии, до поздней ночи сидели в кафе… пили, — говорила Надя. — Конфликт внутри большевистской фракции действовал на нервы… Часто В. И. возвращался домой очень поздно, весь на взводе… Однажды после горячего ночного спора, когда он пришёл, я его едва узнала. Лицо у него осунулось, и он едва мог говорить». Анна Ульянова, приехавшая из России через полгода после их прибытия в Париж, говорила, что её брат «стал серого цвета, выглядел исхудавшим и измождённым». Его мучили тяжёлые головные боли и бессонница.[11]

Опасаясь, что он, как и прежде, стоит на грани полного истощения, Надя увезла его на долгий отдых. Почти на шесть недель они отправились в уютный пансион в маленькой деревушке Бомбон, в районе Сены и Марны, в семидесяти километрах к юго-востоку от Парижа. «Он совсем не работал, и мы старались изо всех сил не говорить о партийных делах», — писала Надя его матери. «Мы каждый день гуляли и… ездили на велосипедах в соседний лес Клармон». Они

---

[10] Он купил другой велосипед, но и тот постигла печальная участь. Ленин увлёкся аэропланами: первый перелёт Луи Блерио через Ла-Манш состоялся в 1909 году, примерно через семь месяцев после того, как Ленин приехал в Париж. Он регулярно ходил смотреть на авиашоу, тогдашнее чрезвычайно популярное зрелище. Возвращаясь на велосипеде с одного такого представления в Жювизи-сюр-Орж, в двадцати километрах от Парижа, он столкнулся с автомобилем прямо у аэродрома. Сам он почти не пострадал — лишь несколько порезов и ушибов, — но велосипед был разбит вдребезги. «Люди были очень добры, помогли мне записать номер и вызвались быть свидетелями, — сообщал он сестре Марии. — Я выяснил, кто владелец автомобиля (какой-то виконт, чёрт бы его побрал!), и теперь подал на него в суд». Ленин выиграл дело и получил достаточно компенсации, чтобы купить новый велосипед.

[11] Надя о велосипедных прогулках: письмо матери Ленина, 19 сентября 1909 года, Собр.соч., т. 44, с. 485. Последний раз, когда Ленин видел мать: Крупская, Воспоминания, с. 201, а также цит. по Katy Turton, Forgotten Lives: The Role of Lenin's Sisters in the Russian Revolution, 1864–1937, London, 2007.

отдыхали так, как это случалось с ними редко, — каждое утро молоденькая девушка приносила им завтрак в постель и много лет спустя вспоминала его «как того очень вежливого, очень доброго русского господина, который научил меня ездить на велосипеде». Он писал Зиновьеву, что «после трёх недель начинаю приходить в себя». [12]

Отпуск был жизненно необходим для здоровья Ленина и для душевного равновесия. Временами кое-кто из его окружения поднимал брови, когда он так надолго оказывался hors de combat, но он давал этим поездкам логичное и разумное оправдание — разумеется, с политическим оттенком. И других членов партии он упрекал в том, что они не дают себе достаточного отдыха и восстановления, когда в этом есть необходимость. «Революционеры должны быть крепкими и оставаться здоровыми», — говорил он. Здоровье революционера — это «официальная, общественная собственность… Продолжать болеть и подрывать свою работоспособность — это совершенно недопустимо во всех отношениях».

Помимо собственного здоровья, единственное, о чьём здоровье он по-настоящему тревожился, было здоровье его матери. К лету 1910 года он не видел её почти пять лет, и ей было уже семьдесят пять. От сестёр он узнал, что Мария Александровна стала выглядеть старой и чувствовать слабость. Она неохотно покидала Россию, но он в конце концов убедил её поехать на семейный отдых, устроенный им в Стокгольме. Как всегда, увидев его, она первым делом встревожилась не о себе, а о том, как он исхудал. Он прервал отдых на один вечер, чтобы произнести речь перед шведскими социалистами. Это был первый раз, когда она увидела его выступающим публично. «Говорил он хорошо, так внушительно и искусно… но зачем он так напрягается, зачем говорит так громко? Это вредно. Он себя не бережёт». Она подарила ему на зиму клетчатый плед, которым он потом часто пользовался.[13]

Когда она возвращалась домой, Ленин проводил её до пристани, но подняться на русский пароход не мог — его могли арестовать. «Это был последний раз, когда он видел мать, и у него было предчувствие этого, когда он глазами провожал отходящее судно», — говорила Надя. Его сестра Мария вспоминала: «Никогда не забуду выражения его лица, когда он стоял и смотрел на мать. Сколько боли было на его лице».[14]

Во время одной из своих велосипедных поездок под Парижем в начале 1911 года Ленин проезжал через Лонжюмо, в долине Иветт, в восемнадцати километрах от города. На окраине деревни он увидел заброшенную мастерскую и несколько хозяйственных построек и сразу понял, что это — идеальное место для замысла, который он вынашивал уже некоторое время: он хотел открыть школу для рабочих членов партии из самой России, где можно было бы обучать их теории марксизма и практике конспирации. Окончив это обучение, они должны были вернуться домой как авангард движения, который поднимет восстание и зажжёт революцию во всём мире. Он сразу же снял эти помещения, нанял подрядчиков, чтобы превратить их в пригодные для

---

[12] Единственное, что Наде не нравилось в этом отдыхе, — другие постояльцы пансиона, с которыми они сидели за общим table d'hôte за обедом. Она могла быть ужасной большевистской снобкой и считала их «такими буржуа… Все они были людьми посредственными, хотя и очень любили рассуждать о собственных удобствах. Конечно, такая большая доза посредственности довольно быстро надоедала. Хорошо ещё, что мы могли держаться от них в стороне и жить по-своему».

[13] Этот клетчатый плед лежал на его постели, когда он умер, и был положен к нему в гроб.

[14] Долгое время подвергавшаяся цензуре переписка между Инессой и Лениным стала доступна после распада СССР в 1991 году — поэтапно в течение следующего десятилетия, а не сразу вся целиком. Большинство писем находится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), фонд 127, но некоторые другие — в Архиве Президента Российской Федерации (АПРФ). К 1991 году большая часть семейных документов была передана в РГАСПИ, включая большинство писем Инессы к её детям. Это письмо — «Я тогда не была влюблена в тебя»: РГАСПИ, ф. 127, оп. 17, д. 12.

лекций классы, разработал программу, отобрал восемнадцать молодых активистов, которые должны были тайно прибыть во Францию в качестве первых слушателей, — и выбрал преданную, надёжную и исполнительную большевичку, чтобы открыть школу и руководить ею. Он назначил Инессу.

Эта школа задумывалась как ленинский ответ летним курсам, которые Горький открыл на Капри и которыми руководил Богданов, незадолго до того, по инициативе Ленина, исключённый из партии в конце 1909 года. Инесса вложила в успех школы всю душу. Школа открылась весной 1911 года, и первую лекцию — о «Коммунистическом манифесте» — прочитал Ленин. В течение следующих двух месяцев он прочёл ещё тридцать лекций: по экономике, по организации политической партии и по теории социализма. Инесса заведовала школой и читала лекции по экономике и феминизму; Зиновьев и Каменев время от времени вели занятия по культуре. Надя регулярно читала лекции о ведении нелегальной газеты и об организации сети подпольных агентов. Когда погода улучшилась, Ленин «работает на открытом воздухе, много ездит на велосипеде, ходит купаться и вообще очень доволен сельской жизнью», — писала Надя его матери. «Он чрезвычайно любит экскурсии, которые начинаются в шесть или семь утра и продолжаются до позднего вечера».

Наиболее веские свидетельства указывают, что именно примерно в то время, когда открылась школа, Ленин и Инесса стали любовниками. В откровенном письме к нему позже — она была единственной женщиной вне его семьи, с которой он переписывался на интимное ty — она снова говорит, что сначала «ужасно боялась тебя видеть». Но затем продолжает: «Желание видеть тебя было, но казалось, что лучше тут же на месте умереть, чем войти к тебе; и когда ты почему-нибудь заходил в комнату Н. К. [Нади], я тотчас теряла всякое самообладание и вела себя как дура. Только в Лонжюмо… (а потом и позже) я к тебе привыкла. Я так любила не только слушать тебя, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, у тебя такое живое лицо… а во-вторых, это было удобно, потому что ты этого не замечал. Я любила тебя, но не была “влюблена”… А потом всё-таки влюбилась».

В этом романе не было ничего богемного; всё было очень сдержанно и осторожно. Старшие большевики вокруг Ленина в Париже знали об этом, но сплетничали об этом крайне редко.[15] Как и следовало ожидать, Охранка и французская полиция прекрасно были осведомлены об их связи. И те и другие не раз упоминают её — под её псевдонимом «Попов, София» — совершенно ясно как la maîtresse de Lénine. В одном из донесений говорится, что она была послана в Париж «par son amant, Lénine». Делалось это не для того, чтобы скомпрометировать Ленина; в ту пору само собой разумелось, что у революционного вождя, живущего в Париже, вероятно, есть любовница. Это была просто обычная разведывательная работа.

Надя, несомненно, знала об этом, как и её мать. Елизавета Крупская заметила, каким «оживлённым становился Ленин, когда разговаривал с Инессой, и ей это не нравилось». Именно тогда Надя писала семье Ленина самые мрачные письма за всё время. Она не упоминала Инессу и не звучала ревниво — только безысходно печально. «Я в состоянии полной меланхолии… теперь время как будто просто уходит впустую», — писала она Марии Александровне. Объясняя

---

[15] Многие предполагали, что соперница Инессы в состязании за звание «самой блистательной большевички», Александра Коллонтай, положила историю этого романа в основу своей повести «Большая любовь» (впервые опубликованной в 1923 году, когда Ленин был ещё жив, а Инессы уже не было в живых). В ней рассказывается о русском революционере (Сеня), который носит суконную фуражку и у которого есть больная жена (Анюта); у него возникает любовная связь с красивой и богатой товарищем-революционеркой (Наташа), которая к тому же прекрасно знает языки. Но с равным основанием эта повесть могла быть и автобиографической. Сама Коллонтай была богатой революционеркой, свободно говорившей на нескольких языках и имевшей многочисленные романы с другими революционерами.

задержку с письмом своей золовке Марии, она в конце концов призналась: «Я была не в состоянии писать… мы просто кое-как тащимся».

Ни в какой момент она не вела себя как обманутая жена и не показывала своих истинных чувств. По словам Александры Коллонтай, которая была в положении, позволявшем ей знать правду, Надя определённо была au courant происходящего. Позднее, уже после революции, когда Коллонтай назначили советским послом в Норвегии, она рассказывала близкой подруге, что «Надя предлагала уйти от него и позволить ему уехать с Инессой, но он велел ей остаться».[16]

Возможно, Ленин просто хотел и рыбку съесть, и в воду не лезть. Инессу, казалось, вовсе не смущал традиционный ménage à trois, который, как она говорила ему, «никому не причинит боли». А может быть, он понимал, что, сколь бы волнующей и страстной ни была их любовная связь, Инесса во всех отношениях была человеком куда более требовательным, чем Надя. Она была эмоционально более взыскательной, более склонной к манипуляции, и у неё было пятеро детей, которые для неё всегда оставались на первом месте. Кроме того, как он видел, две женщины в его жизни и в самом деле становились хорошими подругами. «Когда рядом была Инесса, жизнь всегда казалась веселее, уютнее, радостнее», — говорила Надя. «В Париже в моих отношениях с Надей было столько хорошего», — говорила Инесса Ленину. «Я сблизилась с нею». Ей удалось даже очаровать порой суровую и вспыльчивую мать Нади. «Инесса подолгу с ней разговаривала; они часто сидели, беседовали и курили вместе… мать к ней очень привязалась».[17]

Похоже, в дореволюционные годы очень немногие могли сказать об Инессе что-нибудь дурное. «Я и теперь вижу, как она выходит из квартиры Ленина. Она казалась неиссякаемым источником жизни. Она была огненным пламенем революции — и красное перо на её шляпе было словно язычок этого пламени», — говорил Григорий Котов, русский эмигрант в Париже. «Она была… из тех людей… [кто] готов поделиться с товарищами последней коркой», — говорил другой. Почти единственной, кто не переносил её, была Анжелика Балабанова, считавшая Инессу «совершенной — почти пассивной — исполнительницей ленинских приказаний… она была настолько пропитана авторитетом и непогрешимостью хозяина, что сама возможность какого-либо расхождения с ним была для неё немыслима. Она была прообразом… большевика жёсткого, безусловного повиновения… Я не прониклась к Инессе. Она была педантична, стопроцентно большевичка… и в том, как думала, и в том, как говорила. Она свободно говорила на нескольких языках, и на каждом из них дословно повторяла Ленина».

Надя оставалась терпеливой и твёрдо решала извлечь из этого лучшее. Возможно, она ревновала, но своей главной задачей она видела роль помощницы Ленина, обязанной обеспечивать ему душевный покой. Если для этого нужно было окружать Инессу теплом и дружбой, то, вероятно, это казалось ей ещё одной жертвой, которую она готова была принести ради Революции.[18]

---

[16] Надя в «состоянии полной меланхолии»: письма матери Ленина и сестре Марии от 12 апреля 1910 года и 3 мая 1910 года, Собр.соч., т. 44, с. 496 и 513. Коллонтай утверждает, что Надя предлагала уйти от Ленина: Marcel Body, «Alexandra Kollontai», Preuves, No. 14, April 1952, Paris.

[17] «Жизнь… становилась веселее, когда рядом была Инесса»: Крупская, Воспоминания, с. 198.

[18] «горячий костёр революции»: цит. по Rappaport, с. 201. Инесса была «педантична… повторяла Ленина дословно»: Balabanova, с. 185.

ГЛАВА 22. Предательства

«Этот человек… он годами водил всех нас за нос. Я так и не раскусил этого мерзавца. Вот свинья!»

Ленин — Зиновьеву, 1917

Способность Ленина политически лавировать, менять курс всякий раз, когда он считал это своевременным, постоянно удивляла большевиков, которые были менее гибки в тактическом отношении, чем он. Он был фанатиком, идеологом, но в погоне за властью оставался прагматиком — «теория в нашей работе жизненно важна, но это не Священное Писание», — говорил он своим сторонникам, большинство которых полагало, что именно так и следует относиться к марксистской теории. «Марксист должен признавать живую жизнь и считаться с действительностью… а не цепляться за теорию. Теория сера, а вечно зелено древо жизни». Когда обстоятельства менялись, менялся и Ленин.

Несмотря на убийство Столыпина в сентябре 1911 года, режим полагал, что жестокими расправами над инакомыслием он разгромил революционеров.[1] Десятки тысяч людей были посажены в тюрьмы или казнены, и теперь правительство предпринимало скромные попытки сделать некоторые жесты в сторону реформ. В шагах, напоминавших конфликты Карла I с парламентом накануне гражданской войны в Англии XVII века, царь распустил две Думы, которые, по его мнению, посягали на его царские прерогативы. Затем он создал третью, с такими избирательными ограничениями, которые гарантировали консервативное, промонархическое большинство.

Ленин бойкотировал Думы с 1905 года и настаивал, что большевики не должны иметь с ними ничего общего. Он нападал на социал-демократов, главным образом меньшевиков, которые хотели идти на компромисс с парламентскими реформами царя, называя их наивными. Заключать сделки с «буржуазными демократами» и «мягкотелыми либералами» — для революционеров путь предательский, утверждал он. Но в мае 1912 года он изменил своё мнение, выставил большевиков на места на предстоящих выборах в Четвёртую думу и написал несколько статей в пользу парламентов вообще и думской системы Николая II в частности. В Невской звезде — легальной газете в России — он прямо contradicted линию, которой придерживался годами: «Там, где представительных учреждений не существует, гораздо больше обмана [курсив Ленина], политической лжи и всевозможного мошеннического плутовства… чем выше степень политической свободы в стране и чем устойчивее и демократичнее её представительные учреждения, тем легче массам народа ориентироваться в борьбе между партиями и учиться политике». Немного позже он заявил, что «ни один социалист не отказывается от демократии… разве только он решит, что вопросы политической свободы не имеют значения, — в таком случае он перестаёт быть социалистом… Кто хочет подойти к социализму каким-либо иным путём,

[1] Никогда не было окончательного доказательства, но наиболее убедительные данные указывают на то, что убийство в Киевском оперном театре в действительности было организовано врагами Столыпина внутри правительства и царского двора, хотя сам царь, безусловно, в этом замешан не был. Человек, который нажал на курок, Дмитрий Богров, двадцатичетырёхлетний адвокат из зажиточной киевской семьи, был социалистом-революционером, но возможность совершить это убийство ему дали высокопоставленные фигуры в Министерстве внутренних дел. И именно полиция достала ему труднодоступный билет в оперу на тот вечер, на представление Сказки о царе Салтане Римского-Корсакова. Ещё днём он умолял полицию добыть ему билет. Это был террористический акт — но террористами, по-видимому, были государственные чиновники.

кроме пути политической демократии, тот неизбежно придёт к нелепым и реакционным выводам как в экономическом, так и в политическом отношении».[2]

Маловероятно, что он действительно всё это имел в виду: в государстве, которое построит Ленин, не будет никаких «демократических учреждений» и мало будет разговоров о демократии. Но как политическая тактика этот ход казался идеально рассчитанным: одним ударом он ставил в неловкое положение меньшевиков, либералов и сам царский режим; делал Ленина человеком разумным и конструктивным; и приводил к большевикам новых членов в тот момент, когда они были им отчаянно нужны. Елена Стасова, старший ленинский агент в Петербурге, примерно в это время писала ему, что партия была «почти уничтожена» и что, вероятно, в столице оставалось не более 800 верных большевиков, а, может быть, примерно столько же — и во всей России. Организация, говорила она, «разрезана на ленточки. Нет прочных областных центров. Местные организации отрезаны друг от друга и в большинстве случаев везде состоят только из рабочих; профессионалы [профессиональные революционеры] давно исчезли. Нигде нет конспиративных адресов [явочных квартир], как и вообще подобной конспиративной практики».

Резкий поворот Ленина по вопросу о парламентах выглядел хитрым манёвром и ещё более укрепил его репутацию внутри революционного движения как мастера тактики. В тот момент это казалось удачной идеей. Но это была одна из его крупнейших ошибок: она обернулась тяжёлым личным ударом и нанесла серьёзный ущерб партии в целом.

Ленин выбрал в руководители большевистской группы из семи человек в Думе — фактически в главу партии в России — тридцатишестилетнего обрусевшего поляка по имени Роман Малиновский. Некоторое время Малиновский был одним из его любимцев, доверенным лицом, молодым человеком, которого Ленин собирался превратить в одну из звёзд Революции.

Ленин восхищался им главным образом потому, что тот был человеком рабочего происхождения, из крестьянской среды, но также и потому, что он был энергичен, необыкновенно умен, обладал сильным личным обаянием, был красноречивым оратором — Надя говорила, что у него был «прекрасный голос», — и прирождённым вожаком. Его не смущало, что Малиновский мог быть грубым, невоспитанным, много пил и обнаруживал резкие перепады настроения. «Наконец-то, впервые у нас есть выдающийся рабочий, настоящий вождь, представляющий нас», — говорил о нём Ленин. «Плоды, может быть, будут видны не сразу, но они непременно окажутся выдающимися».[3]

Портной, ставший токарем по металлу, Малиновский был трижды арестован и в конце концов сидел в тюрьме с 1899 по 1902 год за «кражу со взломом и проникновением». На нём также висело обвинение в попытке изнасилования. Полиция отмечала в его деле, что он тратит много денег и его заработка никогда не хватает на его дорогие вкусы.

Вскоре после выхода из тюрьмы он устроился токарем по металлу и вступил в Союз металлистов. Его приняли в Социал-демократическую партию. Одновременно его завербовала Охранка — как шпиона и агента-провокатора. Отчасти его двигала самая обычная жадность; отчасти тайная полиция угрожала вновь дать ход делу о попытке изнасилования.

Сначала он просто получал небольшие денежные суммы в дополнение к своей зарплате. Но по мере того как он поднимался в рабочем движении, для Охранки он становился всё важнее. Он выдавал настоящие имена агентов, шифры и адреса явочных квартир. Три года, начиная с 1906-

---

[2] «Теория — не Священное Писание»: цит. по Ulam, с. 235. Ленин в пользу парламентов, в Nevskaya Zvezda: 13 мая 1912 года, Собр.соч., т. 7, с. 257–258.

[3] Малиновский — «выдающийся рабочий, представляющий нас»: Ленин — Александру Шляпникову, 16 октября 1912 года, Собр.соч., т. 43, с. 186.

го, он стоял во главе союза, осторожно удерживая ровный курс между большевиками и меньшевиками. Он стал центральной фигурой в главной политике режима по отношению к социал-демократам: держать партию расколотой и заставлять её фракции бороться друг с другом. Часть стратегии состояла в том, чтобы усиливать позиции Ленина, который по-прежнему яростно выступал против примирения с меньшевиками и залечивания партийного раскола.

Вскоре Малиновский перестал быть случайным осведомителем на сдельной оплате и перешёл на содержание Охранки, получая регулярное жалованье — 100 рублей в месяц плюс расходы, то есть значительно больше среднего заработка металлиста. У него было кодовое имя — Портной. «Малиновскому был дан приказ делать всё возможное, чтобы углублять раскол в партии», — говорил директор полиции Сергей Белецкий. «Вся цель моего руководства сводилась к одному: не дать партии никакой возможности объединиться. Я действовал по принципу divide et impera».[4]

Ему также было приказано «объявить себя» большевиком и при первом удобном случае познакомиться с Лениным. Когда в январе 1912 года они впервые встретились на партийном съезде в Праге, большевистский вождь был им настолько очарован, что Малиновского повысили до члена Центрального комитета — высшего руководства — и убедили выставить свою кандидатуру в депутаты Думы. Тайная полиция была не менее довольна своим протеже. Ему предоставили личную телефонную линию прямо в штаб-квартиру Охранки. Встречи с шефом полиции Белецким проходили в отдельных кабинетах самых модных ресторанов. Его знакомили с товарищем министра юстиции, начальником Охранки и генерал-губернатором Москвы.

И большевики, и режим сделали всё, что могли, чтобы обеспечить ему лёгкое избрание. Полиция арестовала всех его наиболее популярных соперников, чтобы расчистить ему путь, а также выдала ему свидетельство о благонадёжности, очищавшее его уголовное прошлое. В благодарность полиция повысила ему содержание до 5000 рублей в месяц, с премиями за особенно ценную информацию — это была, безусловно, самая крупная сумма, какую когда-либо получал кто-либо из её шпионов.[5]

Малиновский отрабатывал свои деньги. Он знал всех старших большевиков в России и предал многих из них, включая Якова Свердлова, который после революции стал одним из важнейших большевистских лидеров. В феврале 1913 года Ленин послал Свердлова на секретное задание в Петербург из швейцарской эмиграции. Тот остановился в столице у сочувствующего большевика, но был арестован, когда перебирался оттуда «в более безопасное место». Немногие, кроме Малиновского, могли знать все детали. Месяц спустя Сталина схватила полиция на концерте, устроенном для сбора средств в пользу большевистских депутатов Думы. Он спросил

---

[4] Происхождение Малиновского: Service, с. 220–228; Felshtinsky, с. 25–27; Ulam, с. 237–240; и Rappaport, с. 225–229.

[5] Охранка была не столь всеведуща и не столь эффективна, как это часто изображали. В художественной литературе шпионы традиционно выступают блестящими «гениями интриги». В действительности дело обстоит куда скромнее. В целом, за редкими выдающимися исключениями, шпионы бывали довольно ограниченными людьми. Но в одном Охранка действительно преуспела — в вербовке двойных агентов и провокаторов. Примерно в то же время, когда Малиновский начал свою двойную жизнь, Евно Азеф, вождь социалистов-революционеров, крупнейшей террористической организации России, стоявшей за сотнями убийств правительственных чиновников, тоже был агентом Охранки. Почти разоблачённый своими товарищами, он в последний момент успел бежать в Германию. Умер он в Берлине в 1918 году, своей смертью.

у Малиновского, безопасно ли туда идти, и услышал в ответ: «Да, совершенно безопасно». Оба были отправлены в Сибирь, где оставались до февраля 1917 года.[6]

У Ленина в отношении Малиновского была слепая зона. Некоторые предупреждали его, что этот молодой человек ненадёжен, но он не желал слушать. Николай Бухарин был арестован в Туле в 1911 году, на следующий день после того, как виделся с Малиновским. Он написал Ленину о своих подозрениях, но Ленин пришёл в ярость из-за того, что клевещут на его доверенное лицо. После побега из сибирской ссылки Бухарин явился к Ленину лично и сказал ему прямо, что убеждён: Малиновский — двойной агент. Ленин решил, что им движет ревность. «Владимиру Ильичу казалось совершенно невозможным, чтобы Малиновский был агентом-провокатором», — говорила Надя. «Слухи… [о нём] шли из меньшевистских кругов… Только однажды тень сомнения мелькнула у него в голове». Они гуляли после вечера, проведённого у Зиновьевых. «Вдруг он остановился на маленьком мостике, по которому мы переходили, и сказал: “А может быть, это правда…” — и на лице его выразилась тревога. “Да что ты говоришь, вздор это”, — ответила я. Ильич успокоился и принялся ругать меньшевиков… Больше у него сомнений по этому поводу не было».

Сам Ленин говорил просто, что тогда он не верил обвинениям не только из-за их происхождения, но и потому, что «если бы Малиновский был провокатором, Охранка не выиграла бы от этого столько, сколько выиграла наша партия». Это похоже на рационализацию и едва ли правдоподобно, учитывая тот ущерб, который причинил Малиновский, но Ленин искренне в это верил.[7]

Главный агент Охранки становился слишком трудным для контроля, и его полицейские кураторы начинали от него уставать. Он произносил в Думе поджигательные речи, рассчитанные на то, чтобы рассеивать подозрения большевиков, но полиции казалось, что этим он вредит режиму. Ему выплатили 6000 рублей и дали билет из России.

Ленин не мог понять, почему в мае 1914 года Малиновский ушёл из Думы, по-видимому, находясь в зените своего влияния, оставив большевистские ряды внутри России в полном расстройстве. Сначала Ленин был разгневан. Но потом его убедили, что Малиновский пережил нервный срыв, и он смягчился. На самом деле Малиновский боялся, что его двойная жизнь будет раскрыта.

Ленин продолжал верить в него до тех пор, пока после отречения царя и упразднения Охранки не были открыты архивы тайной полиции. Для человека беспощадного, глубоко скрытного, вся жизнь которого была связана с конспирацией и заговором, Ленин мог быть поразительно доверчивым. После того как правда о Малиновском всплыла наружу, он почти никогда о нём не говорил, хотя летом 1917 года всё же признался Зиновьеву: «эта сволочь, этот человек,

---

[6] Свердлов был самым ожесточённым врагом Сталина — ещё более ожесточённым, чем позднее станет знаменитый Троцкий, — и эта взаимная неприязнь началась тогда, когда они вместе находились в ссылке в Курейке, далёком посёлке в ледяных пустынях Сибири, чуть южнее Полярного круга. Через некоторое время Свердлов уже едва мог выносить близость грузина. «Со мной здесь товарищ, но мы слишком хорошо знаем друг друга», — писал он другу. Он не называл «товарища» по имени, но это, несомненно, был Сталин. «Самое печальное в условиях ссылки или тюрьмы… человек обнажается, и проступают все его мелкие стороны. Хуже всего, что становятся видны все пустяки… [его] жизни».

[7] Ленин не верил, что Малиновский — двойной агент: Крупская, Воспоминания, с. 219.

Малиновский. Он годами водил всех нас за нос. Я так и не раскусил этого мерзавца. Вот свинья!»[8], [9]

И тут, как нельзя более кстати, появился ещё один миллионер, чтобы укрепить положение большевиков. Весной 1912 года цензура печати была смягчена, и, поскольку большевики решили участвовать в выборах в Думу, им впервые позволили издавать легальную газету. Ленин пришёл в возбуждение и увидел в этом большую возможность привлечь в партию массовое членство. Замыслы у него были широкие. Он хотел выпускать ежедневную газету, полную не только пропаганды, но и новостей, опирающуюся на корреспондентов со всей России, но направляемую им самим, главным редактором в отсутствии. Хотя большевики были частично легализованы, ордер на его арест всё ещё оставался в силе, и вернуться в Россию он не мог. Формат газеты Ленин уже продумал. Название он выбрал — Правда; подобрал команду журналистов, которые должны были её делать и в ней писать. Не хватало только достаточных денег на выпуск издания. Решающие средства пришли в виде пожертвования Виктора Тихомирова, который только что унаследовал состояние после смерти своего отца, казанского купца. Он состоял в кружке радикальной интеллигенции, тайно собиравшейся в Казани, но, переехав в Петербург после восстания 1905 года, вступил в социал-демократическую партию, был убеждён ленинской книгой Что делать? и стал большевиком. Тихомиров пожертвовал Ленину 100 000 рублей — огромную сумму — на запуск того, что станет одной из самых знаменитых, а вернее сказать, самых печально известных газет в мире.

По распоряжению Ленина Правда старалась осторожно держаться в пределах закона, время от времени всё же выходя за них, и тогда очередной номер конфисковывался. Тираж её составлял 60 000 экземпляров, и в большинстве случаев весь выпуск расходился за несколько часов. Из множества газет, начавших выходить в это время и выражавших почти все оттенки мнений, она была одной из наиболее профессионально сделанных. Несмотря на постоянные притеснения со стороны режима, она пережила целый ряд кризисов. Её запрещали девять раз — лишь для того, чтобы на следующий день она появлялась снова, под слегка изменённым названием. Новое имя всегда содержало слово «Правда». Так что едва режим закрывал одну газету, как возникало её новое воплощение — Рабочая правда, Ежедневная правда, Вечерняя правда, Правда труда, Путь правды, Пролетарская правда и так далее.

Должность редактора была не самой безопасной, хотя газета считалась легальной. За первые тридцать восемь номеров Правды сменилось тридцать шесть редакторов, и все они были арестованы. В общей сложности они провели в тюрьме сорок семь месяцев. К тому времени, когда режим окончательно запретил газету вскоре после начала Первой мировой войны, вышло 636 номеров Правды, а Ленин писал в неё чрезвычайно много — 280 материалов под собственной подписью и ещё гораздо больше без подписи. Он вникал во все стороны газетного дела — от «партийной линии» до советов по типографике. Нет никаких оснований думать, что он был знатоком шрифтов и кеглей, но он писал одному из редакторов, Владимиру Карпинскому, что на двух страницах можно уместить больше материала, если газета перейдёт

---

[8] Малиновский был исключён из партии в 1914 году, но не потому, что оказался предателем, — эти обвинения так и не были доказаны против него на «суде расследования», который в 1914 году возглавлял сам Ленин. Ему поставили в вину то, что он самовольно оставил свой пост в Думе. После войны он решил вернуться в Россию из Германии. Его судили тайно, и он до конца утверждал, будто Ленин знал, что он работает на Охранку, но это, безусловно, неправда. Его приговорили к смерти, однако он верил, что если сумеет поговорить с Лениным, то будет помилован или смертный приговор заменят тюремным заключением. Ленин не пожелал ни слушать его, ни вмешиваться, и в ноябре 1918 года Малиновского расстреляли.

[9] «Этот ублюдок… годами водил нас за нос»: Ленин — Зиновьеву, цит. по Rappaport, с. 228.

на более мелкий бревьер и поместит более компактную шапку в угол страницы; «тогда нашлось бы место ещё для двух статей».[10]

Надя говорила сёстрам Ленина, что «после выхода первого номера Правды он стал совсем другим человеком». Он сам добавил в постскриптуме: «теперь наконец есть настоящая живая работа». Но из Парижа он не мог достаточно тесно руководить Правдой; ему нужно было перебраться ближе к России. Он решил переехать в Краков, всего в десяти километрах от русской границы. «Как бы ни был провинциален и варварски неустроен наш городок, в общем и целом мне здесь лучше, чем в Париже», — писал он матери в середине июня 1912 года, вскоре после приезда. Впоследствии это оказался один из его самых любимых городов в Европе.

Традиционно русские эмигранты предпочитали Англию, Швейцарию и Францию. Австрийская часть Польши была чем-то новым, но у неё было много достоинств, и, как думала Надя, «во многих отношениях она гораздо удобнее Парижа». «Тогда как французская полиция всеми возможными способами помогала русской, поляки… враждебно относились ко всему русскому правительству. В Кракове мы могли быть уверены, что наши письма не будут перехватываться и что за приезжими никто не станет шпионить».

Когда Горький написал ему, спрашивая, что он делает в «буржуазной» Австрии, тот ответил, что это удобно: «граница тут совсем близко, и мы хорошо этим пользуемся. До Петербурга гораздо ближе. Газеты оттуда приходят к нам уже на третий день. Отсюда стало гораздо легче писать в [них]. Сотрудничество и связь с ними идут куда проще. Здесь меньше склок, а это преимущество».[11]

Они вместе с Зиновьевыми сняли дом в Звежинце, состоятельном предместье неподалёку от Вислы и леса. «Улицы были немощёные и чрезвычайно грязные», — писала Надя матери Ленина. «Но в пяти километрах отсюда находится Ляс-Вольский, прекрасный лес, куда мы часто ездим на велосипедах». Ещё дальше виднелись предгорья целой цепи вершин. Они были меньше любимых Лениным Альп, но он был счастлив уже тем, что горы рядом. «Володя в Польше очень весел», — говорила Надя.

Впоследствии Ленин часто с удовольствием рассказывал о горном походе, который он совершил с краковским приятелем Сергеем Багоцким. Однажды они отправились покорять спокойную Бабью гору — известную достопримечательность Татр. Обычно маршрут был такой: дойти до середины склона после полудня, переночевать в хижине и встретить рассвет на вершине. Но в тот день, который они выбрали, погода была переменчивой. Они оставили велосипеды у подножия горы и двинулись по пологой тропе. «Скоро мы вошли в лес, — вспоминал Багоцкий. — Становилось всё темнее. К несчастью, фонари мы оставили при велосипедах. Тропа вилась вверх зигзагами… но потом исчезла. Мы стали искать её во всех направлениях, но тщетно. Было темно, мы двигались медленно, натыкаясь на кусты и пни. Возникала опасность, что нам придётся ночевать в лесу. Вдруг мелькнул огонёк… и мы увидели окна хижины». Они остались там на ночь и попросили сторожа разбудить их в четыре утра. «Сквозь сон я услышал голос Владимира Ильича: “Уже семь, а нас не разбудили. Мы пропустили восход”. Мы позвали сторожа. “Да посмотрите, господа, в окно… такой туман, что в двух шагах ничего не видно. Я решил, что вам лучше поспать”… Он сказал, что раньше завтрашнего дня перемены не будет. Так что наша затея была обречена на неудачу. Ждать до следующего дня мы не могли, потому что вечером Владимир Ильич должен был быть в Кракове. Эта неудача его не обескуражила. “В первый же свободный день я приеду снова”, — сказал он. Не прошло и двух недель, как мы снова

---

[10] Запуск Pravda: Louis Fischer, с. 278–280

[11] Ленин — Горькому о переезде в Австрию: 12 мая 1912 года, Собр.соч., т. 44, с. 104.

отправились туда… сторож встретил нас как старых друзей и пообещал разбудить рано, несмотря ни на какую погоду. Настало четыре часа; был туман, но не такой густой, как в прошлый раз… Мы дошли до вершины, но туман держался. Впереди было видно не более чем на несколько ярдов. Мы решили подождать и позавтракать… через полчаса туман стал подниматься… и перед нами начал раскрываться чудесный вид. Вдали, озарённые яркими лучами солнца, тянулись длинной грядой Татры, словно парящие в воздухе; внизу всё было окутано мглой, как покрывалом из густой пены. Владимир Ильич сиял: “Вот видите, наши усилия не пропали даром”, — сказал он».[12]

Галиция была чудовищно бедна, но Ленину она представлялась «почти Россией», как он говорил матери, — «она напоминает мне родину». Крестьяне были похожи на тех, кого он видел в базарные дни в Симбирске или Казани: «женщины с загнутыми носами, в ярких платьях… совсем как в России». Еврейский квартал Казимеж выглядел как штетл в любой из западных областей царской империи — как в русской Польше, что была всего в нескольких километрах отсюда. «Каждый из нас тайно думал о России, — говорила Надя. — У всех нас было сильное желание поехать туда… Мы избегали говорить об этом, но каждый про себя думал именно об этом. Краков… был только полуссылкой».[13]

[12] Восхождение на Бабью гору в Татрах: цит. по Clark, с. 219

[13] Галиция — «почти Россия»: Ленин — матери, 3 сентября 1912 года, Собр.соч., т. 44, с. 496. Тоска по родине: Крупская, Воспоминания, с. 198.

ГЛАВА 23. Любовный треугольник - две превратятся в трех

«Владимир Ильич никогда не мог бы полюбить женщину, с чьими взглядами он полностью не соглашался и которая не была товарищем в его работе».
Надежда Крупская, Воспоминания (1930)

«Я инвалид и очень быстро устаю», — писала Надя матери Ленина 3 мая 1913 года из Кракова. Десять дней спустя Ленин сообщил Марии Александровне, что он «серьёзно тревожится о здоровье Н.… ей не становится лучше». Она страдала сердцебиением, у неё бывали обмороки, шея распухала, глаза отекали, её мучили изнурительные головные боли. Она могла пройти не более нескольких сотен метров, после чего совершенно выбивалась из сил. Выглядела она на шестьдесят с лишним, а не на сорок четыре. Ленин советовался с несколькими «товарищами-докторами», большевистскими эмигрантами в Польше, но никто из них не мог с уверенностью сказать, что с нею, ограничиваясь диагнозом какого-то эндокринного расстройства. Его брат Дмитрий, врач, практиковавший в Крыму, ознакомился с новейшими медицинскими исследованиями в Европе. Ставя диагноз на расстоянии, он уверял Ленина, что, чем бы ни была вызвана болезнь, операция не потребуется и может лишь ухудшить её состояние, — к великому облегчению Нади, которая панически боялась хирургического вмешательства.[1]

Наконец Ленин повёз её к одному из лучших неврологов Польши, доктору Яну Ландау из Краковского университета. «Обнаружилось, что у меня неладно со щитовидной железой, — писала она своей золовке Марии. — Доктор меня напугал, и теперь я каждый день езжу в клинику на электрическое лечение [одну из форм электросудорожной терапии]. Это занимает три часа, а потом я полдня брожу как помешанная. Меня пичкают бромидами, от которых мне очень дурно».[2]

Лечение не помогало, и Ленин стал искать другие средства. Его польский друг Багочкий, невролог, порекомендовал, чтобы Надя обратилась к швейцарскому хирургу и эндокринологу, профессору Теодору Кохеру, получившему Нобелевскую премию по медицине в 1909 году за новаторские работы по патологии, физиологии и лечению щитовидной железы. Багочкий предупредил, что профессор, вероятно, посоветует операцию, но Надя не хотела ложиться под нож, и потому они решили, что летний покой и тишина пойдут ей на пользу.

Они отправились в Татры и сняли большой бунгало с красивой террасой в крошечном селении Бялы-Дунаец, неподалёку от деревни Поронин, на высоте 700 метров над уровнем моря. Дом был окружён лесом, предгорьями и ручьём; «воздух здесь чудесный, а вид на горы прекрасный», — говорила Надя. Ленин тоже любил «нашу деревенскую жизнь. Встаём рано и ложимся почти вместе с петухами и курами», — писал он матери. «Поронин почти что русский: соломенные крыши и бедность, женщины и дети босиком. Мужчины ходят в “гуральском” костюме [традиционной польской народной одежде]: белые суконные штаны и белые суконные полуплащи-полупиджаки».

---

[1] Ленин часто критиковал «товарищей-докторов» и вообще советовал своим друзьям, в том числе многим большевистским активистам, не слишком им доверять. Когда он узнал, что Горького лечит от болезни бывший член партии, он написал, предлагая — и вовсе не в шутку — обратиться к кому-нибудь другому. «Известие о том, что вас лечит большевик, новым методом, пусть даже это лишь бывший большевик, меня тревожит… Упаси вас Бог от товарищей-врачей вообще и врачей-большевиков в особенности. Но в самом деле, в девяноста девяти случаях из ста товарищи-врачи — ослы… Уверяю вас, если речь не идёт о пустяках, лечиться следует только у людей первоклассной репутации».

[2] Надя больна и нуждается в лечении базедовой болезни: письмо Марии Ульяновой, цит. по Clark, с. 285.

Это была сельская идиллия, но здоровье Нади не улучшалось; приступы сердцебиения и головокружения случались всё чаще. Наконец Ленин убедил её поехать к профессору Кохеру в его клинику в Берне. Он поставил диагноз — болезнь Грейвса, также известную как базедова болезнь или токсический зоб, — и рекомендовал операцию по удалению половины щитовидной железы Нади. Это была новая, чрезвычайно сложная и потенциально опасная операция, но Кохер уже провёл более двух тысяч подобных вмешательств. Она поборола свой ужас и согласилась пройти через эту процедуру.[3]

Гонорары Кохера были чрезвычайно высоки, однако Ленин не испытывал ни малейших колебаний, обращаясь к самым лучшим врачам — и для себя, и для Нади, — какова бы ни была цена. Поскольку его мать хворала, он на этот раз не хотел тревожить её просьбой помочь оплатить счёт профессора, хотя совершенно спокойно считал возможным попросить денег у партии. Он полагал совершенно естественным, что большевики должны заботиться о таких жизненно важных активах, как значимые партийные работники вроде Нади. Он написал редакторам *Правды*, прося их выделить средства на операцию. «Прошу вас не опаздывать», — писал он 10 июня. Газета согласилась помочь, хотя деньги шли медленно. Несколько дней спустя он написал снова, уже с большей настойчивостью: «Моей жене будут делать операцию. Деньги крайне нужны».

Ленин и Надя прибыли в Берн 12 июня. Но Кохер был чем-то вроде примадонны и пользовался таким спросом, что у него была длиннейшая очередь. Когда им сообщили, что придётся терпеливо ждать своей очереди и торчать в Берне, неся значительные расходы, Ленин пришёл в ярость. «С Кохером вышел большой скандал — человек капризный, — писал он Каменеву. — Он знаменитость и любит, чтобы его упрашивали».[4]

В последующие недели было несколько отсрочек, но 10 июля операция всё же состоялась. Через три дня Ленин писал матери: «Наконец в среду Надю прооперировали. Операция, по-видимому, прошла успешно, потому что уже вчера [в пятницу] она выглядела довольно хорошо и начала с удовольствием пить и есть. Операция, видимо, была довольно трудной. Около трёх часов её мучили без наркоза, но она перенесла это героически. В четверг ей было очень плохо — высокая температура и бред, — и я страшно перепугался. Вчера же, однако, дело явно пошло лучше».[5]

Надя оставалась в больнице ещё две недели после операции, восстанавливаясь. Ленин воспользовался этим временем, чтобы между заботами о жене выполнить кое-какие политические задачи. «Пока я лежала в больнице, — лаконично вспоминала она, — Владимир Ильич читал в Женеве, Лозанне, Цюрихе и Берне лекции по вопросу о национальных меньшинствах».[6]

Ленин не был человеком с особенно развитой совестью. Но незадолго до переезда в Краков он прекратил физическую сторону своей связи с Инессой — или, по крайней мере, попытался прекратить. Они на несколько дней поехали в Аркашон, на юго-западе Франции, и там он сказал ей, что не может и дальше причинять боль Наде. Инесса была сердита и несчастна и сказала, что не считает, будто их отношения «причиняют боль кому-то ещё», но Ленин настаивал: ему

---

[3] Операция Нади в Берне: Louis Fischer, с. 284–287. Ссора Ленина с хирургом: письмо Каменеву, 15 июня 1913 года, Собр.соч., т. 44, с. 138.

[4] Надя об операции: там же, с. 213.

[5] В долгосрочной перспективе, однако, операция имела лишь частичный успех. Непосредственные симптомы на некоторое время исчезли после того, как Ленин и Надя вернулись в Польшу после операции. Но затем они вновь проявлялись на протяжении всей её жизни, порой причиняя ей острую боль и сильный дискомфорт.

[6] Надя об Инессе в Галиции: Крупская, Воспоминания, с. 219

становится слишком трудно «управляться» с этой связью. Однако из её писем следует, что роман продолжался — с перерывами — ещё несколько лет.

Его отношения с Инессой занимали центральное место в эмоциональной жизни Ленина и были для него чрезвычайно важны в профессиональном отношении. Начиная с 1912 года он часто ей писал; если не считать кратких открыток, которых сохранилось много, уцелело около 150 писем. Несомненно, он написал и ещё несколько, но они исчезли или были уничтожены. В какой-то момент в 1914 году Ленин попросил её вернуть все его письма: «Посылать их заказным письмом неудобно; заказное письмо легко может быть вскрыто друзьями… и так далее… Пожалуйста, привези все письма, приезжай сама, и мы поговорим об этом».[7] Их письма соединяют личное и политическое, почти незаметно переходя от одного к другому, и показывают, насколько тесной была их связь. Они также раскрывают бурные отношения, в которых любовники, безусловно, устраивали пламенные ссоры. Инесса была страстной, но могла быть требовательной и трудной. Нетрудно понять, почему Ленин в неё влюбился, — и почему он не хотел жить с ней.

Менее чем через полгода Инесса со своими пятью детьми последовала за ними в Краков, сняв квартиру на той же улице. Все трое проводили вместе много времени — «В. И. писал речь и произносил её перед нами, Инесса её стенографировала», — писала Надя Марии Ульяновой. В другом месте она вспоминала: «Часами мы гуляли по лесным дорожкам, усыпанным листвой. Обычно нас было трое: В. И., Инесса и я… иногда мы сидели на солнечном склоне, заросшем кустарником. Он набрасывал планы своих речей, оттачивая текст, я учила итальянский… Инесса шила юбку или просто грелась на солнце». Инесса хорошо играла на пианино, и, несмотря на слова Ленина, что он не может слишком много слушать Бетховена, потому что «от него становишься слишком мягким», она часто играла ему Сонату *Appassionata*.[8]

Ленин и Надя сблизились с детьми Инессы, особенно с младшими. Надя полюбила двух дочерей Инессы, Инну и Варвару, и эта привязанность была взаимной. Было ли тому причиной некое неназванное гинекологическое заболевание, возникшее после её сибирской ссылки и потребовавшее двухмесячного лечения, или же проблемы со щитовидной железой, вероятно существовавшие годами и оставшиеся нераспознанными, — у Нади не было детей от Ленина. Она редко упоминала о каком-либо разочаровании, но время от времени проскальзывал намёк на сожаление. Иногда она писала о боли других бездетных женщин. Вероятно, она думала и о себе, когда говорила о своей большой подруге, вечно одинокой Вере Засулич, что та «испытывала огромную потребность в семье. Стоило только посмотреть, как любовно она играла с белокурым сынишкой Димки [младшего брата Ленина Дмитрия]».

Ленин тоже любил детей — до известного предела. Он был привязан к сыну Зиновьевых Степану, родившемуся в 1909 году. В Кракове Ленин часто носил его на плечах и ласково играл с ним, даже боролся с мальчиком на полу. «Иногда Владимир Ильич и Стёпка переворачивали в комнате всё вверх дном», — писала позже его мать Зина Лилина. «Когда становилось очень шумно, я пыталась их унять, но он настаивал: “не мешайте, мы играем” ». Однажды, когда они

---

[7] Почти вся эта переписка была подвергнута цензуре советскими властями после смерти Ленина. Если не считать немногих совершенно будничных писем о пустяковых делах большевистской партии, ничего не публиковалось до распада СССР в 1991 году, а многие письма появились лишь ещё через несколько лет. Вероятно, Ленин уничтожил часть тех писем, которые она ему вернула, но наверняка этого не знает никто.

[8] Любовь Ленина к детям: Zina (Zinoviev) Lilina, «Tov: Lenin edet v Rossiyu», Leningradskaya Pravda, 16 April 1924

шли по одной из улиц Кракова, он вздохнул, погрустнел и сказал Зине: «Жаль, что у нас нет такого Стёпки».[9], [10]

Отделить личные отношения Инессы и Ленина от политических было почти невозможно. Одно было тесно связано с другим. Он безоговорочно доверял ей, поручая и крупные, и мелкие дела, которые не дал бы никому другому. Ленин обладал такой уверенностью в себе, что редко думал, будто кто-либо способен сделать лучше него всё, что требовало политического суждения и мастерства. Но однажды он признал, что Инесса смогла. Он убедил её представлять его на конференции в Брюсселе, где требовались значительный такт и политическая ловкость. Там должны были присутствовать известнейшие фигуры международного социализма — Карл Каутский, Мартов, Роза Люксембург и Плеханов; ей было не по себе, она боялась выступать голосом Владимира Ильича. В конце концов, после того как он едва ли не умолял её поехать, она уступила и, по многим свидетельствам, проявила себя замечательно, неизменно сохраняя самообладание и дипломатичность. После этого он писал ей: «Вы оказали нашей партии очень большую услугу. Я особенно благодарен, потому что вы заменили меня… вы справились с этим гораздо лучше, чем мог бы я… Я, вероятно, взвился бы на воздух, обозвал бы их негодяями. А именно на это они и старались меня спровоцировать. Вы же провели всё спокойно. Тысячу раз вас приветствую».[11]

После трёх месяцев в Кракове Ленин послал её с опасной и безрассудной миссией обратно в Россию, где она находилась в розыске. Её задачей было установить связь с большевистской ячейкой в Петербурге, от которой Ленин давно не получал известий. Она поехала под видом старой крестьянки, с фальшивыми документами на имя Франтишки Янкевич. С того момента, как она пересекла границу России, за ней следила охранка. Она нашла тех товарищей, которых ей велели разыскать. Но вся петербургская партийная организация была настолько пронизана двойными агентами, что её выдали, арестовали и посадили в тюрьму.

Из тюрьмы её вызволил муж. Он внёс за неё залог в 5500 рублей и помог ей бежать обратно в Польшу. Младших детей она оставила с ним в Москве и с сентября 1913 года сняла комнату в доме Каменевых, неподалёку от квартиры Ленина, вернувшись к привычному укладу этого ménage. «Вся наша краковская группа сблизилась с Инессой… мы жили вместе тесным и дружеским кружком».

Совершенно неожиданно, в декабре, она удивила всех и внезапно уехала из Кракова обратно в Париж. Почему именно, не вполне ясно, хотя представляется вероятным, что после ещё одной короткой совместной поездки в Швейцарию Ленин снова решил прекратить связь. Возможно, он испытывал вину перед Надей, которая всё ещё восстанавливалась после операции. Инесса была глубоко уязвлена и подавлена. Вскоре после приезда в Париж она написала ему письмо, не делая ни малейшей попытки скрыть ни свои чувства, ни характер их отношений.

---

[9] Позже Ленин сблизился с приёмным сыном своей сестры Анны и Марка Елизарова, Горой, — ребёнком-вундеркиндом, о котором супруги услышали в 1911 году, когда жили в Саратове. Его настоящее имя было Георгий Лозгачев, и в возрасте всего шести лет он сам научился читать по-русски, а по Библии — на церковнославянском и немного на иврите. Анна Ульянова и её муж предложили усыновить его и дать ему лучшее образование, и его родные родители согласились. В последние годы жизни Ленин очень его полюбил. Однако другие свидетельства по-разному говорят о ленинской любви к детям. Пантелеймон Лепешинский, хорошо знавший его по сибирской ссылке и эмигрантской жизни в Женеве, вспоминал, что Ленину было глубоко неприятно присматривать за его маленькой дочерью Ольгой, «потому что она дразнила его за лысину».

[10] Ленин благодарит Инессу за то, что она представляла его в Брюсселе: РГАСПИ, ф. 127, оп. 16, д. 19.

[11] Надя о том, как она сблизилась с Инессой: Крупская, Воспоминания, с. 223.

«Воскресное утро…

Мой дорогой,

Вот я и в Ville Lumière, и первое моё впечатление — отвращение. Всё здесь раздражает — серость улиц, чересчур разодетые женщины, случайно услышанные разговоры, даже французский язык… Печально, что Ароза оказалась такой временной, какой-то переходной. Ароза была так близко к Кракову, тогда как Париж — это, ну, нечто окончательное.[12] Мы расстались, расстались, ты и я, мой дорогой! И это так больно. Я знаю, я просто чувствую: ты сюда не приедешь. Глядя на знакомые места, я с небывалой прежде ясностью поняла, какое огромное место ты занимал в моей жизни — здесь, в Париже, так что вся наша здешняя деятельность тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Тогда я была вовсе не влюблена в тебя, хотя уже и тогда любила тебя. И теперь я обошлась бы без поцелуев, если бы только могла тебя видеть, иногда говорить с тобой — какая это была бы радость, и ведь это не могло бы причинить боли никому. Зачем же я должна была и от этого отказаться? Ты спрашиваешь, сержусь ли я на то, что именно ты “осуществил” разрыв. Нет, я не думаю, что ты сделал это ради себя. В Париже в моих отношениях с Н. К. [Надеждой Константиновной] было много хорошего. В одном из наших последних разговоров она сказала мне, что лишь в последнее время я стала ей дорога и близка».

Остальную часть письма она датирует уже воскресным вечером, и большая её часть посвящена партийным делам и политике:

«Когда будешь писать мне по деловым вопросам, дай мне понять, о чём КЗО [Комитет русских социал-демократов за границей] может говорить, а о чём — нет.

Ну вот, мой дорогой, на сегодня довольно. Хочу это отправить. Вчера от тебя не было письма! Я уже начинаю бояться, что мои письма до тебя не доходят, — я послала три письма (это четвёртое) и телеграмму. Неужели ты их не получил? Когда я думаю об этом, мне приходят в голову самые невероятные мысли. Я написала также Н. К., твоему брату и Зине [Лилиной, жене Зиновьева]. Неужели никто ничего не получил? Крепко тебя целую.

Твоя Инесса».[13]

Он написал ей в ответ, столь же ясно давая понять, насколько важна была для него эта связь — и что она для него значила: «Дорогой друг… Ваши последние письма были так полны печали, вызвали во мне столь мрачные мысли и такое чувство вины, что я не могу опомниться».

---

[12] Ароза, швейцарский альпийский курорт, — то место, где, по-видимому, Инесса и Ленин провели несколько дней осенью 1913 года. Несомненно, оба в одно и то же время находились в Швейцарии, хотя окончательно не установлено, были ли они там вместе. Наилучшие имеющиеся свидетельства указывают, что были.

[13] Письмо Инессы из Парижа, 14 декабря 1913 года: РГАСПИ, ф. 127, оп. 13, д. 15; ответ Ленина: РГАСПИ, ф. 127, оп. 13, д. 18

ГЛАВА 24. Катастрофа - мир в состоянии войны

«Война между Австрией и Россией была бы для Революции весьма полезной вещью, но едва ли Франц-Иосиф и Николаша доставят нам это удовольствие».
Ленин — Горькому, 25 января 1913 г.

«Царизм в сто раз хуже кайзеризма… С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс России меньшим злом было бы поражение царской монархии и её армии».
Ленин — Александру Шляпникову, 17 октября 1914 г.

Ленин в течение дюжины лет после 1900 года предсказывал мировую войну между великими державами. «Война приближается… война, ведущаяся ради раздела колоний, борьбы за рынки и свободы грабить чужие территории. Воры перессорятся». За пять лет до начала войны он говорил: «война неизбежна. Капиталистический мир дошёл до стадии гниения. Люди уже начинают отравлять себя наркотиками национализма и шовинизма. Я думаю, что мы вскоре увидим всеобщую европейскую войну… и рабочий класс не сумеет найти в себе силы предотвратить эту бойню… они недостаточно организованы и недостаточно классово сознательны для этого… а в войне именно рабочие будут страшно страдать. Но враги рабочих будут ослаблять друг друга. Рабочие заплатят тяжёлую цену, но в конце концов выиграют».[1]
С течением лет он изменил своё мнение и перестал считать неминуемым скорый конфликт, — впрочем, тут он был не одинок: очень немногие в то время предвидели приближение войны. Ленин полагал, что великие державы могут избежать войны в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В ноябре 1912 года он писал матери и сестре Марии: «Здесь, как вы можете видеть из газет, много говорят о войне. Если война всё же начнётся, мне, вероятно, придётся ехать в Вену или, быть может, в тот город, где мы виделись в последний раз [зашифрованное выражение; он имел в виду Стокгольм], но я не верю, что война будет». Месяц спустя он сказал Горькому: «Войны, вероятно, не будет, и мы пока останемся здесь, пользуясь отчаянной ненавистью поляков к царизму». Он, как всегда, был уверен в правильности своего суждения. Если бы он действительно считал, что война между Австрией и Россией неизбежна, он не остался бы в Галиции, где с началом боевых действий его немедленно сочли бы подданным вражеского государства. Очевидно, он думал о переезде из австрийской Польши в Скандинавию; но полагал, что шведы или датчане могут под давлением выдать его России. Оставаться в Поронине было серьёзным просчётом, который вскоре повлёк за собой личные и политические неприятности. Во-первых, он был арестован, заключён в тюрьму и на короткое время всерьёз поверил, что его могут линчевать как шпиона. Во-вторых, когда представилась возможность вернуться в Россию, единственным способом попасть туда оказалось обращение за помощью к Германии, что делало его уязвимым для обвинений в государственной измене.[2]
Когда война всё же началась, он просчитался снова. Он был уверен, что Германская социал-демократическая партия — старейшая в мире и самая крупная, та самая партия, которую большинство марксистов считало силой, способной зажечь и возглавить мировую революцию, — проголосует против войны в германском парламенте. «Они не могут поддержать империалистическую и династическую войну… они не такие мерзавцы», — сказал он Зиновьеву за несколько дней до того, как немецкие социалисты, подхваченные волной национализма,

[1] Ленин предсказывает войну, Vyperod: октябрь 1907 года, Собр.соч., т. 7, с. 142
[2] Ленин говорит матери, что войны не будет: 13 ноября 1912 года, Собр.соч., т. 44, с. 499; и Горькому, 9 декабря 1912 года, Собр.соч., т. 44, с. 178.

проголосовали за предоставление правительству любых средств, необходимых для ведения войны. То же сделали соответствующие партии во Франции, Австрии и Британии, и Ленин пришёл в ярость. «Они предали социализм… С этого момента я не могу называть себя социал-демократом. Я — коммунист». [3]

Рано после полудня 7 августа 1914 года, через шесть дней после того, как австрийцы объявили войну России, полиция явилась с обыском в дом Ленина в Поронине. Истерическая «шпиономания» захлестнула Галицию, даже отдалённый район у подножия Татр, куда Ленин, Надя и Зиновьевы уехали на лето. Прежде они пользовались симпатией местных жителей. Теперь же местный католический священник подстрекал деревенских опасаться «московской шайки», живущей среди них. В одной из проповедей он предупредил, что русские могут попытаться отравить колодцы. Один крестьянин сказал жандарму, что видел Ленина сидящим на вершине холма и «пишущим в блокноте — точь-в-точь как шпион». Служанка, которую Надя наняла для уборки дома, распускала в деревне сплетни о них. Её уволили и дали ей билет на поезд, чтобы она могла поехать к своей семье в Краков.

Ленин слишком беспечно относился к угрозе ареста. Он даже не потрудился спрятать старый пистолет «Браунинг» — незаряженный, — прежде чем полиция начала перебирать его вещи. Они нашли также тетради, исписанные плотными рядами статистики и цифр, — исследовательский материал для статьи, которую он писал о зерновом производстве в русских земледельческих общинах. Полиция конфисковала их как возможные улики шпионажа. Ленину велели на следующее утро, пораньше, явиться в полицейский участок в соседнем городке Новы-Тарг «для допроса». В течение дня он, Надя, Зиновьев и его друзья увидели, что опасность потенциально весьма серьёзна. Он нашёл местного врача, согласившегося внести за него залог. Он написал правительственным чиновникам и начальнику полиции в Кракове, употребив своё настоящее имя, что делал очень редко. Он ясно дал понять, что является непримиримым врагом русского режима. «Местная полиция в Новы-Тарге подозревает меня в шпионаже. Я жил в Кракове два года… я лично сообщил сведения о себе комиссару полиции в Звежинце… [район, где он жил]. Я эмигрант, социал-демократ. Прошу телеграфировать в Поронин и бургомистру Новы-Тарга во избежание недоразумений… В. И. Ульянов».

Когда на следующее утро он прибыл в полицейское управление Новы-Тарга, снаружи уже стояла толпа угрожающего вида, желавшая взглянуть на «русского шпиона». Его посадили в тюрьму вместе с разного рода мелкими ворами, пьяницами и бродягами. Это был уже четвёртый раз, когда он оказывался в заключении, так что условия его не смутили. Он быстро произвёл впечатление на других заключённых. Хотя по-польски он не говорил и не имел права выступать в качестве адвоката в габсбургских землях, он пытался помогать им с их делами — он был «популярен и настоящим здоровенным быком», как позднее вспоминал один из его сокамерников.

Требования освободить его усиливались, в том числе и обращения к местной полиции со стороны чиновников из Кракова. Но жандармы Новы-Тарга противились этому давлению, и Ленин томился в провинциальной тюрьме. [4]

---

[3] И он говорил это всерьёз. Одним из первых шагов Ленина после захвата власти в России было переименование РСДРП в Коммунистическую партию.

[4] Главная местная поддержка исходила от галицийских евреев, видевших в Ленине важного врага царя. Он подружился с владельцем лавки общего товара Менделем Зингером, который собирал деньги на его юридическую защиту. Они наняли уважаемого местного адвоката, доктора Бернарда Коэна, и передали деньги Наде. Весной 1918 года Зингер с удивлением получил письмо с московским штемпелем. «Примите мои извинения за то, что в 1914 году я уехал, не расплатившись с вами, по известным обстоятельствам. Деньги прилагаю». В 1920 году Ленин направил двух советских чиновников разыскать документы и книги,

Зиновьев и другие большевистские активисты в Галиции посоветовали Наде обратиться за помощью к Виктору Адлеру, ветерану — лидеру австрийских социалистов, с которым Ленин несколько раз встречался на различных конференциях в прежние годы, а также к видному социал-демократу, депутату австрийского парламента Герману Диаманду. Адлер, почтенная фигура европейских левых, имел глубокие разногласия с Лениным, который казался ему слишком крайним; однако он отправился к министру внутренних дел в Вене, Карлу барону Гейнольду, и стал доказывать, что освобождение большевистского лидера отвечает интересам Австрии. «Ульянов — не какой-нибудь обычный русский подданный и уж точно не шпион. Он решительный противник царизма и человек, посвятивший всю свою жизнь борьбе против русского правительства. Если бы он оказался в России, его тотчас же арестовали бы». «Но уверены ли вы, — спросил министр, — что этот Ульянов действительно враг царского правительства?» — «О, да, — ответил Адлер, — враг более непримиримый, чем даже ваше превосходительство. Он был врагом царизма тогда, когда ваше превосходительство было его другом. Он — его враг теперь. И он останется его врагом тогда, когда ваше превосходительство, быть может, снова станет его другом».

19 августа, после одиннадцати дней в тюрьме, Ленин был освобождён, и ему позволили проследовать через Австрию в Швейцарию. Он и Надя вместе со всё более немощной Елизаветой Крупской решили не селиться в Женеве в третий раз и выбрали Берн. Как обычно, уже через несколько дней он называл своё новое убежище «дырой». Он писал сестре Марии: «Это скучный маленький городок, но всё же лучше Галиции и теперь лучшего не найти. Ничего, приспособимся».[5]

Для царя, а особенно для императрицы, 1913 год казался высшей точкой их царствования. Это была трёхсотая годовщина правления династии Романовых, и восторженные толпы приветствовали царскую чету во время их поездок по стране. Юбилейные торжества обманули тех, кто был готов обмануться относительно прочности монархии и популярности государя: «Теперь вы можете сами убедиться, какие трусы эти государственные министры… [которые] беспрестанно пугают императора угрозами революции, а здесь, сами видите, стоит нам только показаться, и сердца их тотчас принадлежат нам», — писала императрица Александра одной из своих фрейлин ближе к концу года. Царю сообщали, что на деле толпы были далеко не столь велики и восторженны, как ожидал двор; охранка докладывала о множестве беспорядков и антиправительственных вспышек во время юбилейных торжеств. Но император и его двор поверили, будто годовщина укрепила монархию. [6]

Иностранцы были убеждены в том же. В записке британского Министерства иностранных дел кабинету министров летом 1913 года уверенно говорилось, что «ничто не может превзойти любовь и преданность к особе императора, проявляемые населением всюду, где появлялось Его Величество. Нет сомнения, что в этой сильной привязанности масс к особе императора и заключается великая сила русского самодержавия». В феврале 1913 года лондонская The Times

---

которые он и Надя оставили в Польше. Они нашли тайник с ленинскими бумагами, бережно спрятанный на чердаке у Зингера.

[5] Арест в Галиции и помощь Виктора Адлера: письмо Ленина Зиновьеву, Собр.соч., т. 44, с. 258–259, и Clark, с. 195.

[6] Торжества требовали чрезвычайно жёстких мер полицейского контроля, и большую часть охраны обеспечивала армия. В некоторых местах, куда должна была прибыть царская чета, толпы вообще запрещались, чтобы они не превратились в антиправительственные демонстрации. В Петербурге солдаты были повсюду. «Город был буквально превращён в вооружённый лагерь», — говорил начальник корпуса жандармов. Самодержец не чувствовал себя в безопасности в собственной столице.

выпустила специальный номер, посвящённый юбилею в России, и предсказала, что для царя Николая и его страны «ни одна надежда не кажется ни слишком смелой, ни слишком светлой».[7]
Именно тогда, когда ему казалось, что его династия достигла вершины могущества, император совершил самое катастрофическое из всех своих дурных решений — ошибку, которая, быть может, более всего другого стоила ему трона и жизни. Война стала для России бедствием, куда более тяжёлым, чем для любой другой из воюющих стран. Как признавал Ленин, если бы не война, «Россия могла бы жить ещё годы, может быть десятилетия, без революции против капиталистов».
Даже некоторые историки, мало сочувствующие царю Николаю, утверждали, что в августе 1914 года он мало что мог сделать, чтобы предотвратить войну, что стремительное движение к конфликту уже обрело собственную инерцию. Это кажется упрощением. Ведь в том и состоит смысл самодержавия — или, по крайней мере, самодержавия, которое действительно действует, — что самодержец отвечает и в данный момент, и перед историей за свои решения. У Николая был выбор. Он мог решить не вступать в войну, спасти свою жизнь и уберечь свою страну от столетней катастрофы.
Многие из его советников предостерегали против войны. Граф Сергей Витте сказал царю, что Россия «не может позволить себе риск поражения, потому что армия — главная опора режима и вполне может понадобиться для поддержания порядка внутри страны». Его поблагодарили — и велели перестать быть таким мрачным. Тогда Витте сказал Морису Палеологу, французскому послу в России, что война между Россией и Тройственным союзом — Германией, Австро-Венгрией и Турцией — будет для России «безумием… она может привести лишь к пагубным последствиям».
В феврале 1914 года министр внутренних дел Пётр Дурново, крайний правый, который, будучи директором полиции, после революции 1905 года отдавал приказ о разрушении целых деревень, написал Николаю прозорливую записку, предупреждая, что Россия и монархия слишком слабы, чтобы выдержать долгую войну на истощение, почти неизбежную в случае конфликта с Германией. Он с поразительной точностью предсказал, что может произойти: «Смуты начнутся с возложения на правительство вины за все бедствия. В законодательных учреждениях начнётся ожесточённая кампания против правительства, за которой последует революционная агитация по всей стране, с социалистическими лозунгами, способными поднять и сплотить массы, начиная с раздела земли и переходя затем к разделу всех ценностей и имущества. Разбитая армия, потерявшая своих наиболее надёжных людей и увлечённая волной первобытного крестьянского стремления к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы служить оплотом закона и порядка. Законодательные учреждения и интеллигентские оппозиционные партии, не имея в глазах народа подлинного авторитета, окажутся бессильны остановить народную волну, поднятую ими же самими, и Россия будет ввергнута в безнадёжную анархию, исход которой невозможно предвидеть». Любимый мистик царя, Григорий Распутин, которому царица доверяла больше, чем кому-либо, как «Нашему Другу, посланному Богом», также предостерегал от войны и предсказывал, что если вспыхнет конфликт с Германией, «это будет конец для вас всех». Но и его не послушали.[8]
В России война началась на волне патриотического подъёма, как и во всех воюющих странах. Царя неистово приветствовали с балкона Зимнего дворца, когда в Петербурге было объявлено о войне; сам город уже переименовали в Петроград, чтобы название звучало менее по-немецки.

[7] Переезд в Берн: Ленин — сестре Марии, 21 августа 1914 года, Собр.соч., т. 44, с. 513
[8] Министр внутренних дел России Дурново предупреждает против войны: Figes, с. 387.

Панславистские националисты и шовинистическая пресса давно уже требовали битвы. Они были убеждены, что война будет короткой, «закончится к Рождеству» и завершится победой — с Россией, господствующей на Балканах и осуществившей заветную романовскую мечту о захвате Константинополя у турок.

Первые наступления для русских складывались удачно. Они быстро захватили обширные районы Галиции у Австро-Венгрии. Но как только им пришлось столкнуться с хорошо обученной, профессиональной германской армией, посланной на помощь австрийскому союзнику, они оказались совершенно ей не под силу и потерпели поражение за поражением. Они потеряли целый армейский корпус на Мазурских озёрах — более 120 000 человек убитыми и ранеными. Битва при Танненберге, произошедшая всего через четыре недели после начала войны, стала одним из самых тяжёлых поражений в русской истории: вся 2-я армия была уничтожена, а потери превысили 160 000 человек. Победивший генерал Пауль фон Гинденбург позднее говорил, что «нам приходилось убирать груды вражеских трупов перед нашими окопами, чтобы очистить поле огня против новых волн наступавших русских. Воображение может пытаться восстановить размеры их потерь, но точный подсчёт навсегда останется невозможным». Побеждённый генерал Александр Самсонов ушёл в лес за своим командным пунктом и застрелился. Уже через три месяца русские лишились всякой реальной возможности вести наступательную войну и сражались лишь за выживание.[9]

Ленин не был военным человеком, но очень метко назвал русскую армию «прекрасным яблоком, сгнившим в сердцевине». В XIX веке Российская империя расширялась на восток и на юг, на Кавказ; в Балканских войнах 1900-х годов она показала себя хорошо, хуже — против британцев и французов в Крыму и совсем плохо — против японцев в 1904–1905 годах. Её тактика почти не изменилась со времён Наполеона; армия была совершенно не готова к войне на истощение.

Русские потери были ужасающими, гораздо большими, чем кто-либо ожидал, а резервов было так мало, что армия вскоре была вынуждена отправлять на фронт необученных людей второго призыва. К концу октября 1914 года Россия потеряла 1,2 миллиона человек убитыми, ранеными или пропавшими без вести, причём значительную часть составляли обученные младшие офицеры и кадровые унтер-офицеры. Командующий 8-й армией генерал Алексей Брусилов, который позднее станет верховным главнокомандующим, говорил, что сражение под Перемышлем в октябре было последним, в котором он командовал «армией, как следует обученной и подготовленной ещё до войны… Уже после едва трёх месяцев войны большая часть наших кадровых, профессиональных офицеров и обученных солдат исчезла, оставив лишь скелетные части, которые приходилось поспешно пополнять скверно обученными людьми, присылаемыми мне из запасных частей… С этого времени профессиональный характер наших войск исчез… многие не могли даже зарядить винтовку. Таких людей вообще нельзя было считать солдатами… регулярная армия исчезла, а на её место пришла армия невежд». Резервисты в тылу были людьми, которые «стали рассадником массового дезертирства, недовольства и, наконец, мятежа, породившего Революцию». Именно эти люди станут добровольными сообщниками Ленина.[10]

---

[9] Самые полные труды на английском языке о катастрофической для России Первой мировой войне и Восточном фронте 1914–1918 годов — Dominic Lieven, Towards the Flame: Empire, War and the End of Tsarist Russia, London, 2015; Norman Stone, The Eastern Front, 1914–1917, London, 1975; и Max Hastings, Catastrophe: Europe Goes to War 1914, London, 2013. Я опирался на все три.

[10] Цитаты Брусилова, «армия невежд»: Figes, с. 398.

Армия исчерпала снаряжение быстрее, чем людей. В октябре 1914 года под ружьём стояло 6,5 миллиона человек, а винтовок было выдано лишь 4,6 миллиона. Когда началась война, во всей русской армии имелось всего 679 автомобилей и две моторизованные санитарные машины. Снаряжение, включая тяжёлую артиллерию, старших офицеров и раненых, перевозилось от железнодорожных станций на крестьянских телегах по грязным дорогам. Примитивное состояние связи лежало в самой основе военной катастрофы. На всём длинном западном фронте России имелось лишь двадцать пять телефонов и несколько аппаратов Морзе, а телеграфная связь постоянно выходила из строя. Командирам и их адъютантам приходилось разъезжать верхом, чтобы выяснить, что происходит на фронте, — почти так же, как во времена, описанные в «Войне и мире».

Промышленность производила недостаточно боеприпасов, в том числе снарядов для тяжёлых орудий, отчасти потому, что царь и придворная знать возражали против того, чтобы деловые люди слишком наживались на войне. Генералы полагали, что запасов хватит на короткую войну, которую им обещали, и не сделали никаких приготовлений к производству оружия после нескольких месяцев боёв. Многие батальоны оставались без боеприпасов уже через несколько недель сражений. К середине октября 1914 года некоторым солдатам приказывали ограничиваться всего десятью выстрелами в день даже во время боя. Во многих случаях, когда германская тяжёлая артиллерия обстреливала их окопы, русским артиллеристам запрещалось отвечать огнём. В битве под Перемышлем русские части шли в атаку на немцев почти с голыми руками, а когда их косили пулемёты, безоружным солдатам в тылу велели заполнять бреши, отбирая оружие у павших. «Их бросали в огневую линию, вооружив штыком в одной руке и чем-то вроде бомбы/гранаты — в другой».

Боевой дух быстро падал, чем большевики воспользовались в своих интересах. Брусилов говорил, что после того как в первые недели войны были уничтожены профессиональные солдаты, большинство резервистов видело не дальше своей деревни или губернии и не имело никакого понятия, ради чего ведётся эта война. «Новые пополнения, прибывавшие из внутренних губерний России, не имели ни малейшего представления о том, какое отношение эта война имеет к ним», — говорил он.[11]

Огромное число русских солдат предпочитало плен бою. За первый год войны в плен попало в четыре с половиной раза больше русских, чем было убито в бою, — 1,2 миллиона против 270 000. В британской армии соотношение было обратным: убитые превосходили военнопленных примерно в пять раз. По мере продолжения войны число русских пленных превысило число убитых в шестнадцать раз. «Угрожающие признаки нарастающей деморализации становятся всё более и более очевидными», — говорил царю генерал Алексей Поливанов, военный министр, чуть более чем через шесть месяцев после начала войны. Некоторые из высших командиров понимали, что надвигается катастрофа, но ничего не могли с этим поделать.[12]

Находясь в швейцарской эмиграции, Ленин видел в непопулярности войны прекрасную возможность для распространения большевизма в русской армии. Но у него были и собственные битвы. Для него война, которая действительно имела значение, шла не в окопах и на полях сражений Галиции и западной Украины. Он более или менее безразлично относился к кровавым столкновениям, в которых миллионы молодых мужчин из рабочего класса шли на убой. Война Ленина была войной за руководство революционным движением.

---

[11] Низкий боевой дух в армии: Hastings, с. 277.

[12] Полянов, военный министр, — царю: цит. по Figes, с. 400.

ГЛАВА 25. В пустыне

«Как смешно и как досадно. Посмотрите на мою судьбу. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, банальностей, оппортунизма… Так продолжается с 1893 года. И такова же плата — ненависть пошлых людей. Но всё же я не променял бы эту судьбу на "мир" с филистерами и опошлителями».
Ленин — Инессе Арманд, 5 декабря 1916 года

Ленин вновь обосновался в швейцарской эмиграции, хотя Берн наводил на него скуку и, что ещё хуже в его глазах, там не было сколько-нибудь приличных библиотек. Он изучал гегелевскую диалектику, чтобы твёрже овладеть философскими основаниями марксизма, Аристотеля (в подлиннике, на греческом), и пытался написать крупную книгу, которая впоследствии выйдет под названием Империализм как высшая стадия капитализма. Но ему не хватало значительной части нужных материалов, и это приводило его в глубокое раздражение.

Жизнь вернулась к тому, чем была до войны. Они нашли небольшую квартиру на окраине города, возле живописного леса. «Через дорогу жила Инесса, в пяти минутах ходьбы — Зиновьевы. Мы бродили… втроём часами по лесным тропинкам», — вспоминала Надя. Правда была закрыта в начале сентября 1914 года, как только она, по указанию Ленина, решительно выступила против войны, но он в изобилии публиковал журналистские статьи в других местах. Он неутомимо читал лекции в Швейцарии, а иногда и во Франции. И, как всегда, ожесточённо враждовал со своими противниками в революционном движении — именно их он и считал настоящим врагом. Хотя на европейском левом фланге он был в известной мере знаменит, в собственной стране, за пределами революционной среды, его почти не знали. Даже читающая публика в России не особенно им интересовалась. За два года до начала войны петербургский издатель Михаил Кедров выпустил три тома его собрания сочинений. Подписчиков оказалось всего 200. Тираж был 3000 экземпляров, но за год продали меньше половины, а остальное пошло в макулатуру.

В первые военные годы, когда он уже вступил в средний возраст — ему было теперь за сорок, — Ленин становился всё более нетерпеливым, раздражительным и тяжёлым в общении. Как обычно в периоды напряжения, его мучили бессонница, сильные головные боли и желудочные спазмы. Те самые несдержанные «припадки ярости», о которых писала Надя, случались всё чаще.

Он ссорился почти со всеми, даже со своей сестрой Анной — едва ли не единственный раз, когда в семье звучали резкие слова. После его письма осенью 1915 года, в котором он резко жаловался на что-то написанное ею в том смысле, что война идёт плохо, Анна, глубоко задетая, ответила: «Володя… у меня такое чувство, что ты меня терроризируешь… до того, что я боюсь всякого неосторожного выражения». Она всегда его поддерживала, без устали работала для него и с готовностью выполняла всякое поручение, о котором он просил, а между тем он ворчал Наде и близким товарищам, что его сестра «в политике никогда ничего не понимала». Анна услышала об этих словах и предположила, что, быть может, её брат «не умеет владеть собой». Вскоре они помирились, но этот эпизод показывал, в каком лихорадочном состоянии он тогда находился.[1]

Лишь в своём маленьком ménage с Надей и Инессой он мог обнаружить истинные чувства. «Если наблюдать за ним внимательно… он стал более замкнутым, более задумчивым, и, когда его прерывали в минуты задумчивости… в его глазах мелькал отблеск печали», — говорила Надя. В целом он был не склонен к жалости к себе, но в письмах к Инессе мог звучать печально. «Как я

[1] Ссора Ленина с сестрой Анной: Turton, с. 96

устал от этой затхлой задней комнаты революционной политики», — писал он ей. «Я устал от собраний; нервы у меня слабы; голова болит; я совершенно изнемог».

Бесконечные внутренние распри изматывали его, хотя он и признавал — по крайней мере перед Инессой, — что нередко сам же и был их причиной. Только ей одной он мог так изливаться: «О, до чего же эти “мелкие делишки” — подделка настоящего дела, суррогаты дела, подлинное препятствие делу, ибо я вижу всю эту суету, хлопоты, мелочи — и то, как я связан с ними неразрывно и навсегда!… Это признак того, что я ленив, устал и в дурном настроении. Вообще я люблю свою профессию — и всё же почти ненавижу её». Он воспринимал всякое пренебрежение к себе, всякое несогласие или мелкую неудачу как личное оскорбление. Когда во время войны его вывели из редакционной коллегии немецкого социал-демократического журнала Vorbote, он в ярости писал Инессе: «Тот, кто прощает такие вещи в политике, — осёл или подлец, — наглый, нахальный, глупый, — и я никогда не прощу… [их]. За такое либо бьют по физиономии, либо отворачиваются. Давать равенство маленьким свиньям и дуракам — никогда. Но, разумеется, всё это entre nous, и я не могу писать иначе, когда говорю откровенно, хотя, может быть, язык у меня слишком скверный».[2]

Смерть матери Нади стала ударом по их спокойной, пусть и скучноватой, жизни в Берне. Елизавета Васильевна уже некоторое время хворала; она исхудала до опасной худобы и в течение нескольких лет страдала слабоумием.

Ранней весной 1915 года она заболела гриппом и была слишком слаба, чтобы оправиться. В ночь на 20 марта она умерла во сне, рядом с Надей, в возрасте семидесяти пяти лет. Ей хотелось вернуться в Россию, чтобы умереть там, но это было непрактично. «Там у нас не было никого, кто мог бы за ней смотреть», — говорила Надя. Она и её зять порой ссорились, но прожили вместе в целом мирно почти двадцать лет.

Надя попросила кремировать тело матери — тогда это ещё было сравнительно новым обычаем и в Швейцарии узаконено лишь на рубеже века. «Мы с Владимиром Ильичом сидели на кладбище, и через два часа нам принесли металлический кувшин, ещё тёплый от её праха, и показали, где его похоронить», — рассказывала она подруге.[3], [4]

Через месяц, ещё глубоко скорбя, Надя перенесла болезненный повторный приступ токсического зоба, базедовой болезни, которая, как предполагалось, была излечена операцией двумя годами раньше. Симптомы были знакомые: сердцебиение, распухшая шея и жутко выпученные глаза. Она выглядела и чувствовала себя ужасно. Врачи велели ей пройти курс отдыха, и хотя она любила Альпы, всё же написала своей подруге Александре Коллонтай, находившейся в эмиграции в Скандинавии, с просьбой посоветовать что-нибудь иное. «Мне нужно в горы… между 1100 и 1300 метрами. Не знаешь ли, есть ли такие горы в Швеции или Норвегии? Я была бы рада выбраться из Швейцарии; здесь какое-то сонное захолустье. Спроси,

---

[2] Ленин жалуется Инессе на ссоры в партии: цит. по Service, с. 296.

[3] Елизавета Васильевна всё же в конце концов вернулась в Россию. 21 февраля 1969 года, в брежневские годы, советское правительство распорядилось перевезти её прах в Ленинград, как тогда назывался город, где она родилась. Белая пропаганда во время Гражданской войны распространяла совсем иной рассказ о смерти ленинской тёщи, и некоторые люди в него широко верили. История была такова. Во время последней болезни матери Надя ночами сидела у её постели. 20 марта, обессиленная, она попросила Ленина сменить её на несколько часов, «но непременно разбуди меня, если мама будет нуждаться во мне». Ленин сидел с книгой, пока Елизавета мирно умирала ночью. На следующее утро Надя, потрясённая, спросила его, почему он не разбудил её, как обещал. «Но я действовал в строгом соответствии с вашими указаниями, — будто бы ответил он. — Вы хотели, чтобы вас разбудили, если вашей матери понадобится ваша помощь… [она умерла] так просто и логично, что вы ей больше были не нужны». Этот рассказ — популярный антикоммунистический миф, целиком вымышленный. Верна именно версия Нади, что она была рядом с матерью.

[4] Мать Нади умирает и её кремируют: Крупская, Воспоминания, с. 224.

пожалуйста, у кого-нибудь, есть ли там такие горы… и дёшево ли там жить». Но добраться до Скандинавии они не могли. География была против них. Насколько иначе могла бы сложиться история революции, окажись Ленин во время войны в эмиграции в Норвегии или Швеции? Ему не пришлось бы заключать соглашение с немцами, которое едва не погубило его репутацию на родине и могло стоить ему жизни как предполагаемому изменнику.[5]

Вместо этого своеобразная революционная троица выбрала Альпы и стала регулярно ездить в Бернское Оберланд. В одну из таких поездок во время войны Ленин, Надя и Инесса пробыли почти четыре месяца на курорте в Зёренберге, между Берном и Люцерном. Один посетитель вспоминал, как видел Ленина, работавшего в саду гостевого дома, где они остановились, в то время как Инесса играла на рояле в гостиной. Каждое утро в 8:30 он поддерживал связь с Зиновьевым и другими революционерами телефонным звонком. По вечерам они гуляли, обычно втроём. Они «возвращались вечером с букетами рододендронов и полевых цветов и корзинами грибов. Нам там было хорошо… вокруг были леса и высокие горы — а на вершине Ротхорна даже лежал снег. Почта приходила со швейцарской пунктуальностью. Мы обнаружили, что даже в такой глухой деревушке можно бесплатно получить любую книгу из Бернской или Цюрихской публичной библиотеки». Однажды Ленина заметили купающимся нагишом в реке Кляйне-Эмме.[6]

Надя поправила здоровье среди гор. Но затем пришла новая семейная утрата. Ленин знал, что почти наверняка никогда больше не увидит мать, но когда 25 июля 1916 года, в возрасте восьмидесяти одного года, после ряда болезней она умерла, он был безутешен. Мария Александровна была постоянной величиной в его жизни, хотя в последние двадцать лет он видел её редко. Его терзало, что он не мог быть рядом в час её смерти и не мог поехать на похороны, на лютеранский участок Волкова кладбища в Петрограде. Гроб несли его зять Марк Елизаров и Владимир Бонч-Бруевич, друг семьи и убеждённый большевик, ставший личным секретарём Ленина после его возвращения в Россию.

Непримиримая позиция Ленина против войны многим из его верных сторонников казалась рискованной ошибкой. Партийные активисты, особенно в России в первые месяцы воодушевления войной, полагали, что это выставляет большевиков крайними и непатриотичными. Поддержка ослабевала, и «последствия для нас очень серьёзны», — предупреждал Ленина один из его сторонников из Петрограда. Даже Инесса, ненавидевшая германский и австрийский империализм, не соглашалась с Лениным по вопросу о войне — и часто говорила ему об этом.

Ленин не извинялся. В краткосрочной перспективе он признавал, что большевикам придётся заплатить за это цену. Но в стратегическом смысле Ленин был прав. В долгосрочном плане его последовательная антивоенная линия стала решающим фактором, помогшим ему захватить власть — и удержать её. Когда настроение в России переменилось и начала расти усталость от войны, поддержка большевиков усилилась. Ленин мог вполне убедительно утверждать, что раз он всегда был против этой войны, то именно он и большевики могут принести мир. Это и было главным обещанием народу в 1917 году.

Ленинская линия была проста. Он хотел, чтобы его страна проиграла войну; поражение должно было стать искрой революции. «Царизм в сто раз хуже кайзеризма», — говорил он Александру Шляпникову, одному из ведущих большевиков в Скандинавии, который позаботился о том, чтобы это заявление было переправлено из Швеции в Россию. «С точки зрения рабочего класса

---

[5] Надя снова больна и нуждается в отдыхе: письмо Коллонтай, www.marxists.org/kollontai

[6] Отдых Нади, Инессы и Ленина в Зёренберге: Крупская, Воспоминания, с. 231

и трудящихся масс России меньшим злом было бы поражение царской монархии и её армии». Он не был пацифистом — совсем напротив. «Такие разговоры о мире — для попов и филистеров». Он хотел превратить войну между нациями в классовую войну против капиталистических угнетателей. «Вся сущность нашей работы (настойчивой, систематической, возможно, длительной) должна состоять в превращении национальной войны в гражданскую. Когда это произойдёт… неясно. Мы должны дать моменту созреть — заставить его созреть… но мы обязаны работать в этом направлении, сколько бы это ни продолжалось». В следующем месяце он повторил ту же мысль Александре Коллонтай в Швеции. «Превращение нынешней империалистической войны в гражданскую — единственно правильный пролетарский лозунг». Социалистическое движение, добавлял он, только выиграет от войны: она его «очистит». «Европейская война оказала международному социализму великую услугу тем, что ясно обнаружила всю гнилость, низость и свинство оппортунистов… тем самым дав великолепный толчок к очищению рабочего движения и избавлению его от той грязи, которая накопилась за долгие годы мирного времени».[7]

Левые, включая социал-демократов, раскололись на три группы с разными позициями по вопросу о войне. Оборонцы поддерживали собственные страны «в защиту отечества». Интернационалисты сохраняли нейтралитет и придерживались традиционного социалистического довода, что рабочие не должны убивать друг друга ради выгоды капиталистов. Пораженцы желали поражения собственной страны как меньшего из двух зол, потому что «победа» укрепила бы их собственные капиталистические режимы и отсрочила бы революцию. Ленин был архи-«пораженцем», но и интернационалистов готов был поддержать, когда компромисс с ними имел тактический смысл.

На протяжении всей войны он находился в ожесточённом конфликте с оборонцами — «паразитами, предавшими социализм», как он их называл. Его противниками в основном были привычные подозреваемые — меньшевики и «буржуазные либералы, наряженные в социалистов». Главным изменником был Георгий Плеханов, который в начале войны заявил, что «если бы я не был стар и болен, я пошёл бы добровольцем в армию. С наслаждением колол бы германских товарищей штыком». Ленин ответил кратко: «Первейшей задачей социал-демократов в каждой стране должна быть борьба с шовинизмом собственного народа». После этого они почти перестали общаться напрямую, хотя на протяжении всей войны беспрестанно полемизировали в печати.

Неоднократно предпринимались попытки объединить левых, но это оказалось невозможным. Между Лениным, Плехановым и немецкими социал-демократами компромисса быть не могло. На одной из ключевых конференций в сентябре 1915 года, на швейцарском горном курорте, Троцкий (интернационалист) составил то, что стало известно как вдохновенный антивоенный Циммервальдский манифест: «Рабочие и работницы! Матери и отцы! Вдовы и сироты! Раненые и увечные! Ко всем, кто страдает от войны или вследствие войны, мы взываем через границы, через дымящиеся поля сражений, через разрушенные города и деревни: РАБОЧИЕ ВСЕГО МИРА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ». Ленин его поддержал, но документ был провален коалицией меньшевиков и немцев. Ленин не удивился. Он и не принимал эту конференцию всерьёз, заранее зная, что потерпит поражение. Большую часть времени он проводил вне зала заседаний, играя с собаками хозяина гостиницы «Циммервальд», где проходили заседания. В Кинтале, другом альпийском курорте, семь месяцев спустя Ленин снова потерпел поражение, и прямого осуждения войны не последовало. Но Манифест стал боевым кличем большевиков.

---

[7] Ленин против войны: письмо Коллонтай, 12 ноября 1914 года, Собр.соч., т. 44, с. 199

Ленин написал десятки статей о политике войны и о том, что она будет значить для левых. Но о человеческом измерении конфликта, об индустриальном масштабе бойни, которая происходила, он почти не упоминал. Он утверждал, что исход каждой отдельной битвы не имеет значения. Провозглашать победу в тот или иной момент за одной стороной против другой, «за одну шайку воров против другой шайки воров», было, по его мнению, несущественно. То, что главным образом погибал европейский рабочий класс, было кровавой реальностью, которая его, по-видимому, мало трогала. Мартов был пацифистом, занимал нейтральную позицию в войне и вёл собственные ожесточённые споры с Лениным, но был прав, когда говорил в кругу друзей, что Ленина «не интересуют… ни мир, ни война. Единственное, что его интересует, — революция. И единственная настоящая революция для него — та, в которой власть захватили большевики».[8]
Инесса и Ленин бурно ссорились, и в этих ссорах личное всегда смешивалось с политическим. В одной беседе в Берне вскоре после начала войны он сказал ей, что за всю жизнь испытывал близкую дружбу и уважение только к «двум или трём женщинам», — явно намекая, хотя и не говоря прямо, что она входит в их число. Несколько дней о замечании больше не было слышно, но затем, совершенно неожиданно, он получил от неё возмущённое письмо, где она обвиняла его в «крайнем высокомерии» за то, что он якобы сказал, будто знает только двух или трёх женщин, достойных уважения. Ленин был оскорблён и не захотел оставить это без ответа. Он сказал ей, что она намеренно исказила его мысль. «Никогда, никогда я не писал, что ценю только трёх женщин. Никогда! Я писал, что моя безусловная дружба, абсолютное уважение и доверие посвящены только двум или трём женщинам. Это совершенно другое».
Вскоре после этого между ними возникло ещё одно серьёзное разногласие, в котором граница между социалистической теорией и их собственными отношениями явно была перейдена, — по вопросу о «свободной любви». После долгого разговора с дочерьми, Инной и Варварой, о любви и браке в начале 1915 года Инесса принялась за брошюру о правах женщины по закону — о браке, разводе, любви и сексе в новую эпоху революции. Она написала конспект, который очень хотела показать Ленину, полагая, что он отнесётся к этой теме с тем же энтузиазмом, что и она, и поддержит её. Но ответ, который она получила, был холодным, жёстким, грубым и педантичным — как лекция о Марксе, которую он мог бы прочесть в бернской ратуше, а не женщине, с которой состоял в близких отношениях. Её конспект охватывал широкий круг феминистских тем, но он ухватился только за один вопрос — её призыв к тому, чтобы женщины обладали «свободой любви». Фрейду, несомненно, нашлось бы что сказать не меньше, чем Марксу, о том, почему он сосредоточился именно на этом предмете, но его бездумные замечания глубоко ранили Инессу. Требование свободной любви, назидательно объяснял он ей, политически неверно — это буржуазное понятие, а не пролетарское; «вам следует учитывать объективную логику классовых отношений в вопросах любви». К тому же своекорыстное и «безнравственное стремление к любви любой ценой» приведёт к распущенности и супружеской измене.
Инесса, вполне понятно, пришла в ярость — и от самой его мысли, и от бестактной формы, в которой она была высказана. Это было ханжески, без воображения и полностью игнорировало её собственное положение. Разве Инесса не оставила мужа ради любви? Разве он сам не любил её — прелюбодейно? Она ответила, что этот вопрос не имеет ничего общего с классовыми отношениями и что он «путает свободу любви… со свободой прелюбодеяния. Разве даже мимолётная страсть не… поэтичнее и чище, чем поцелуи без любви между мужем и женой?»

[8] Циммервальдская конференция: Service, с. 246–248. Мартов о ленинской антивоенной позиции: Getzler, с. 197.

Ленин по-прежнему её не понимал и оправдывался так, словно речь шла исключительно об академическом споре, словно у них не было любовной связи и он не продолжал жить с женой. «Поцелуи без любви между пошлыми супругами — грязь. Согласен. Этому нужно противопоставить… что? Казалось бы: поцелуи с любовью. Но вы противопоставляете мимолётную (почему мимолётную?) страсть (почему не любовь?) — и тогда логически выходит, будто поцелуям без любви… противопоставляются супружеские поцелуи без любви». Разве не достойны осуждения и те и другие?[9], [10]

Они согласились остаться при своём мнении — что для Ленина было редкостью, — но обмен мнениями явно оставил Инессу неудовлетворённой. На некоторое время она отдалилась от Ленина и Нади, медлила с ответами на его письма и проявляла всё большую независимость. И не было сомнения в том, насколько он нуждался в ней, когда она не была рядом, — это слышится в его оправдательном письме любовника: «Дорогой друг,… По-видимому, отсутствие ответа на несколько моих последних писем указывает — в связи с ещё чем-то — на некое изменившееся настроение, решение, ваше положение. В конце вашего последнего письма одно слово было повторено дважды. Я пошёл и проверил. Ничего. Я не знаю, что и думать, обижены ли вы чем-то или просто были слишком рассеяны… Мне страшно спрашивать, потому что я знаю, что вы не любите вопросов, и потому я решил думать, что вы не любите, когда вас расспрашивают, и всё. Так что простите…»[11]

Немцы следили за Лениным не менее пристально, чем Охранка. Ленин знал, что немецкие шпионы следуют за ним по пятам, и в эмиграции старался избегать всяких очевидных контактов с немцами или их агентами. Если бы на родине, в России, стало известно, что он имеет дело с кем-либо, представляющим Тройственный союз, — но особенно с немцем, — это серьёзно повредило бы его репутации и нанесло бы урон большевикам. Он высматривал провокаторов и держался подальше от незнакомцев. В Берне он регулярно встречался с Карлом Моором, швейцарским банкиром и социал-демократом, помогавшим финансировать большевиков. Ленин начал подозревать его, когда Моор захотел познакомить его с другими левыми, которых Ленин не знал. Он написал доверенным швейцарским радикалам и попросил их проверить Моора. «Что за человек Моор? Совершенно и абсолютно ли доказано, что он честен? Не было ли у него в последнее время прямых или косвенных связей с германскими социал-империалистами [новое ленинское обозначение провоенных социал-демократов]… Я настоятельно прошу вас проверить его самым тщательным образом — по возможности с документальными

---

[9] Надя была гораздо более ханжеской, чем Ленин, и никогда не верила в ту «свободную любовь», которую отстаивали Инесса и, ещё громче, Александра Коллонтай. Надя любила Коллонтай, они стали хорошими подругами, но она признавалась, что была «глубоко шокирована» знаменитой фразой Коллонтай о том, что, когда наступит женская эмансипация и между полами установится равенство, для женщины любовь будет «не более значительна, чем выпить стакан воды», как, утверждала та, это уже бывает у большинства мужчин. Надя была буржуазно-среднеклассовой в вопросах пола и относилась к браку — своему собственному и чужому — с куда большим почтением, чем другие феминистки её радикального круга. Она никогда не высказывала одобрения какой-либо альтернативе моногамии и уж, конечно, после замужества с Лениным ни с каким другим мужчиной не флиртовала. Его замечание о «стакане воды» Коллонтай было вполне в ленинском духе: «Да, конечно, у всех есть потребности. Но кто же станет пить из лужи?»

[10] Спор Инессы и Ленина о «свободной любви»: Rappaport, с. 236; Pearson, Inessa Armand, с. 176–178; Service, с. 276; Инесса — Ленину, РГАСПИ, ф. 127, оп. 17, д. 9; и Georges Bardawil, Inès Armand, Paris, 1993, с. 187.

[11] Ленин — Инессе, РГАСПИ, ф. 127, оп. 15, д. 14

доказательствами. Не должно оставаться ни малейшей тени сомнения или слуха». Моор испытание выдержал, и Ленин остался доволен.[12]

Но при помощи хитрости, тайны и сложных уловок — а всё это Ленин чрезвычайно любил — он всё же поддерживал некоторые связи с Германией, оказавшиеся жизненно важными для успеха революции. Если бы не тучный, развязный, продажный мультимиллионер-социалист по имени Александр Гельфанд — чаще известный под псевдонимом Парвус, — Ленин, возможно, никогда не захватил бы власть в России. Из всех негодяев, мошенников, шарлатанов, убийц и беспощадных циников — равно как и идеалистов, тонких мыслителей и искусных политиков, — которые появляются на этих страницах, Парвус был самой странной и гротескной фигурой.

Родившийся в 1867 году под Минском, сын еврейского ремесленника, Гельфанд/Парвус учился в школе в Одессе, а в университете — в Берне, где защитил докторскую степень по философии. Он вернулся в Россию и сделался успешным журналистом и оратором; он был «ослепительно остроумен, и парадокс почти всегда вертелся у него на языке». В серии статей 1904 года он предсказал, почти в точности так, как это и произошло, поражение России в войне с Японией и революционную возможность внутри страны. Он умел быть серьёзным мыслителем. Идея «перманентной революции», центральная теория того, что впоследствии станет троцкизмом, была разработана именно им. Он играл заметную роль в революции 1905 года вместе с Троцким, с которым был близок и политически, и лично. Но затем они разошлись. В конце 1905 года их арестовали — по отдельности — и сослали в Сибирь. Оба бежали: Парвус — в Германию, где сколотил состояние на самых разных делах — от издательского бизнеса до продажи химикатов, фармацевтических товаров и презервативов германской армии. Парвус обожал политические интриги, быть «в курсе» и в центре событий; но деньги он любил ещё больше.

На короткое время он стал агентом Горького и представлял его литературные интересы в Германии, в то время когда На дне шла при полных залах. По словам Горького, Парвус брал себе 20 процентов прибыли, четверть обещал отдавать Горькому, а остальное — Германской социал-демократической партии. Парвус накопил более 100 000 марок, но вместо того чтобы отдать Горькому его долю, откровенно написал ему, что всё истратил на роскошное путешествие в Италию с одной дамой. Горький добродушно ответил, что «это, должно быть, был очень приятный отпуск». Однако всё же пожаловался германским социал-демократам. «Суд», составленный из партийных тяжеловесов Каутского, Бебеля и Цеткин, «осудил Гельфанда морально», и тот уехал из Германии в Константинополь, где стал политическим советником движения младотурок, стремившегося модернизировать Османскую империю. Там он нажил ещё одно огромное состояние на торговле с турецкими военными.

В молодости он был красив и строен, но потом разжирел до уродства. «Его живот колыхался, как мешок зерна», — заметил один из его близких друзей. «Это была массивная, гигантская фигура… широкое, бычье лицо с высоким лбом, крошечным носом и аккуратно подстриженной бородой, и дряблый двойной подбородок, за которым шея совершенно исчезала. Маленькие, красивые глаза глубоко утопали в жире. Его короткие ноги едва выдерживали тяжесть тела, и, когда он стоял или шёл, казалось, что он поддерживает себя руками, чтобы не потерять равновесия».

---

[12] Моор был странной птицей. Он был очень богат, но и впрямь являлся радикалом — и, кроме того, двойным агентом германской военной разведки. Ленина он, однако, никогда не предавал; Ленин ценил его ум и полезные сплетни о швейцарской политике. Удивительно, что после революции, когда его роль германского агента была раскрыта, он переехал в Советскую Россию и время от времени продолжал общаться с Лениным.

Он видел в войне возможность нажить громадные деньги, но также и способ ускорить революцию в России. Несмотря на свои завтраки с шампанским и череду молодых любовниц, шокировавших пуританских товарищей, он верил, что революция в России неизбежна, и хотел быть тем человеком, который ускорит её наступление. Он был убеждён, «что интересы германского правительства тождественны интересам русских революционеров. Русские социал-демократы могут достигнуть своих целей только при уничтожении царизма. С другой стороны, Германия не сможет добиться полного успеха, если не удастся разжечь крупную революцию в России». В марте 1915 года он составил восемнадцатистраничный меморандум, представленный германскому министерству иностранных дел, в котором подробно излагал, как можно дестабилизировать Россию изнутри силами революционных групп, организовав серию армейских мятежей, забастовок и актов саботажа. Германское правительство поверило, что план может сработать, и выделило Парвусу миллион марок — эквивалент более чем 4 миллионов долларов США по курсу 2016 года, — чтобы он вызвал революцию в России. Парвус перенёс свои деловые операции в Копенгаген, где мог выглядеть более нейтрально и действовать свободнее.[13]
Он приехал в Берн в мае 1915 года с единственной целью — встретиться с Лениным и предложить ему крупную сумму денег в помощь большевикам. Ленин не был бы единственным получателем германской щедрости: деньги предлагались и многим другим радикальным группам, в том числе меньшевикам и эсерам. Но Ленин был ключевой фигурой плана. Как Парвус говорил германскому министру иностранных дел Артуру Циммерману, Ленин был «куда более безумным фанатиком», чем остальные революционеры, и самым громогласным противником войны.
Парвус прибыл в Швейцарию со своей очередной пассией Екатериной Громан и снял апартаменты в самом дорогом отеле Берна. Однажды вечером он вошёл в ресторан, где обычно собирались русские эмигранты, и направился прямо к столу, за которым обедали Ленин, Надя, Инесса и группа большевиков. Ленин много знал о Парвусе, но они никогда прежде не встречались. Они коротко поговорили, а затем вдвоём вышли из ресторана. Ленин повёл Парвуса к себе на квартиру, где они несколько часов беседовали наедине. Ленин никому не рассказал подробностей этой встречи. Всё, что позднее сообщил сам Гельфанд, сводилось к тому, что он пытался убедить Ленина: без германской помощи большевики победить не смогут. Ленин с первого взгляда не доверял Парвусу. Если бы когда-нибудь стало публично известно, что он принял деньги от «этого развратного человека», его политическая карьера могла бы закончиться. Он отверг всякую сделку — «Парвус ел без соли», говорил Ленин, то есть ничего из этой встречи не вынес. Но он сохранил линию связи с «этим толстяком» через одного из самых доверенных и полезных своих помощников, Якова Фюрстенберга, также известного как Ганецкий (Ханецкий) или Борель, жившего в Копенгагене и поступившего на службу к Парвусу.[14] Политически Ленину было выгодно отмежеваться от Парвуса, но он и в самом деле его ненавидел — всё в нём: от внешности до расточительного образа жизни и лицемерия. До

[13] Роза Люксембург, этот маяк социалистической чистоты, презирала его. Гельфанд, язвила она, был «первым, кто сумел нажить состояние во время войны, в которой гибнут миллионы пролетариев, а затем в безопасности сидеть в Клампенборге в Дании и оттуда руководить акционерным обществом по эксплуатации… двух национальных пролетариатов — в этой “высшей” революционной роли мы мало что понимаем».

[14] Ленин отказался также и от работы в качестве автора в социалистической газете, которую основал Парвус, Die Glocke («Колокол»), — воинственно-провоенном издании, ратовавшем за германскую победу. Он описывал её как «орган ренегатов и грязных лакеев… клоаку германского национализма… ни одной честной мысли, ни одного серьёзного довода, ни одной прямой статьи там нельзя было найти».

самого возвращения Ленина в Россию в 1917 году никакие деньги от Парвуса к большевикам не поступали. Позднее он станет куда менее щепетилен.[15]

[15] Общие сведения о Гельфанде: Zbyneˇk Zeman, The Merchant of Revolution, London, 1965.

ГЛАВА 26. Последнее изгнание

«Как мог этот упрямый маленький человек… Ленин вообще стать столь важной фигурой?»
Стефан Цвейг, Поворот судьбы, *1927*

В начале 1917 года Надя и Ленин ещё никогда не были так бедны. Они больше не получали денег из России после смерти его матери. Щедрые жертвователи большевикам иссякли; доступа к запятнанным средствам из наследства Шмидта больше не было, а Ленин зарабатывал сущие гроши писанием и лекциями. Он по-прежнему назначал себе ту же партийную «зарплату», что и прежде, но на двоих её едва хватало. Надя бралась за переписку и давала частные уроки русского языка, но учеников было мало. Ей досталось небольшое наследство в 4000 рублей от тётки — сестры её матери, которая была учительницей в Новочеркасске, маленьком городе под Ростовом. Австрийский банкир перевёл деньги из Галиции, но удержал комиссию в 50 процентов. В отличие от мужа, Надя редко жаловалась на деньги, но писала своей золовке Марии: «Мы скоро исчерпаем прежние средства к существованию, и вопрос заработка станет серьёзным. Здесь трудно что-либо найти. Придётся подумать о литературном доходе.[1] Я не хочу, чтобы эта сторона наших дел была только заботой Володи. Он и без того работает так много. Вопрос о доходе его очень тревожит».[2]

Вскоре после этого Ленин писал Марии в том же духе. «Должен сказать, мне нужен доход. Иначе я просто погибну. Право! Чёртовски высокая дороговизна жизни — жить не на что. Деньги надо как-нибудь выжать силой. Шляпников должен сам поговорить об этом с Горьким, если это не слишком неловко… и с издателем “Летописи” [левого журнала], которому посланы две мои статьи… пусть платят немедленно — и как можно больше. Если это не устроится, я не смогу продержаться. В этом я уверен. Это очень, очень серьёзно». Ленин был склонен хныкать из-за денег, даже когда его мать была жива и посылала ему пособия. Но прежде он редко писал в столь отчаянных выражениях. Он не был до конца нищим, как многие другие русские эмигранты, — «мне никогда не приходилось беспокоиться о хлебе… этого в моей жизни не бывало», признавал он. Но всё же столкнулся с непривычными лишениями.

В марте 1916 года они переехали в Цюрих, в самое скромное из всех своих жилищ за долгие годы изгнания. «Мы опустились… в самые низы города», — как призналась Надя.[3]

Сначала они снимали одну комнату в пансионе в древнем, обветшалом центре Цюриха. Обедали они в маленькой харчевне неподалёку, которую держала белокурая женщина средних лет, фрау Перлог. Там было темно, грязно и «пахло скорее затхлым погребом, чем рестораном», но Ленин, как водится, и тут усматривал политический смысл: ему нравилась её «плебейскость», и он с удовольствием бывал в месте, «где чай подавали в щербатых чашках». В столовой они сидели вместе с проституткой по прозвищу Рыжая Мария — речь шла о цвете её кудрявых волос, а не о политических взглядах. Она рассказывала Ленину и Наде о своих бедах, объясняя, что вынуждена заниматься этим ремеслом, чтобы содержать стареющую мать и младших братьев и сестёр. Её австрийского возлюбленного отняла у неё война, которая, по её словам, была «не чем иным, как похищением мужчин, грязной проделкой… богачей». Фрау Перлог вторила ей. Она

---

[1] Надя вела переговоры с издателем о вознаграждении за составление популярного педагогического словаря о детском развитии и методах преподавания. Но до их возвращения в Россию договор так и не был окончательно заключён.

[2] Денежные затруднения Ленина: Надя — Марии Ульяновой, 16 декабря 1916 года, и Ленин — Марии, 13 января 1917 года, Собр.соч., т. 44, с. 512.

[3] Скромное жильё в Цюрихе: Крупская, Воспоминания, с. 231.

говорила Ленину, что не понимает, почему солдаты просто не перестреляют своих офицеров и не разойдутся по домам. Ленин улыбался и соглашался.

Через несколько недель они переехали в маленькую комнату на втором этаже пятиэтажного дома по адресу Шпигельгассе, 14, в средневековом центре Цюриха, окнами во двор, «от которого часто тянуло запахом соседней колбасной фабрики».[4] Квартиру им пересдал сапожник Титус Каммерер, державший мастерскую на первом этаже соседнего дома. Комната была мрачная и тёмная, но они привыкли к ней, несмотря на плохое отопление зимой и удушливые запахи летом. Там стоял один стол — и для еды, и для работы, — пара стульев и две железные односпальные кровати. Каммерер вспоминал, что Ленин и Надя «жили очень просто… но он казался славным малым… с бычьей шеей… она была доброй душой, только часто выглядела нездоровой. Из неё вышла бы хорошая хозяйка, но мысли её всё время были заняты другой работой».

Ели они крайне просто, и блюда редко выигрывали от поразительной способности Нади поджигать картошку или овсянку, которые они почти неизменно ели на обед. Ленин смотрел на господина Каммерера и шутил: «Вот видите, мы живём на широкую ногу». Мясо они позволяли себе как особое угощение по воскресеньям. Фрау Каммерер дала Наде первые в жизни уроки кулинарии, показывая, как можно готовить в собственной крошечной комнате простую, дешёвую, но питательную еду.[5]

Как всегда, Ленин держался строгого распорядка. Каждое утро к девяти часам он уже был в Центральной библиотеке на Церингерплац и возвращался домой к обеду. Потом ещё на два часа шёл в библиотеку, а затем читал газеты либо в кафе «Адлер», либо в кафе «Одеон» на Лимматкваe у озера. Собрания своей маленькой большевистской фракции он проводил в задней комнате кафе «Цур Айнтрахт», ещё одного заведения в старом городе. Один-два вечера в неделю он читал лекции о социализме. Как всегда, они регулярно занимались ходьбой. По четвергам, когда Цюрихская центральная библиотека закрывалась в полдень, он и Надя поднимались на Цюрихберг высотой 700 метров, «брали шоколад на закуску и находили любимое место в гуще леса, где не было толпы». В хорошую погоду они оставались там до вечера. По выходным гуляли вдоль берега озера.

За шесть месяцев Ленин завершил одну из своих самых больших и интересных книг — Империализм как высшая стадия капитализма. Многое в ней устарело, но некоторые его идеи звучат и сегодня: «Капитализм… уже не является той прогрессивной силой, которую описывал Маркс»; эпохе свободного рынка «пришла на смену новая, в которой производство сосредоточено в гигантских синдикатах и трестах, стремящихся к монопольному контролю». Гигантские многонациональные технологические компании «вытесняют всякую иную конкуренцию, чтобы пресечь независимые технологические новшества». Финансовый контроль «перешёл от самих промышленников к горстке банковских конгломератов — созданию банковской олигархии».

Для восходящих держав вроде США почти не оставалось территорий, которые ещё можно было бы эксплуатировать. У них не было иного выхода, кроме как прибегнуть к милитаризации и войне. «Движения за национальную независимость… придётся подавлять в бесконечном цикле, чтобы сохранять свои рынки. Это движение за национальную независимость угрожает… капиталу в его самых ценных и многообещающих сферах эксплуатации, и капитал может удерживать своё господство лишь путём постоянного наращивания военной силы». В 2017 году

[4] Это был дом по соседству с пансионом, где драматург Георг Бюхнер писал Войцека

[5] Titus Kammerer, «We rented to the Lenins», Partisan Review, Vol. 6, No. 3, New York, 1939.

такие мысли звучали и справа, и слева — особенно рассуждения об угрозе «банковской олигархии» для экономики и о монопольных стремлениях технологических корпораций.

Зиновьев находился в Цюрихе, Инесса делила время между Берном, Цюрихом и редкими поездками в Париж, и по мере усиления усталости от войны к Ленину понемногу тянулись меньшевики и «оборонцы». Но число их было невелико. Швейцарская полиция почти не обращала внимания на большевиков, хотя русские и германские шпионы по-прежнему внимательно следили за ним: «они знали, что он читает, что он пишет, что у него на завтрак», — как выразился Зиновьев.[6] Надя и Ленин почти никогда не встречались ни с кем вне тесного круга русских эмигрантов, хотя Цюрих кишел изгнанниками из разных европейских стран, пережидавшими войну. Изредка в кафе «Одеон», где часто собирались большевики, — меньшевики предпочитали «Адлер», — он встречал великого австрийского писателя Стефана Цвейга, пацифиста и противника войны. Цвейг не был впечатлён и в последующие годы задавался вопросом: «Как мог этот упрямый маленький человек… Ленин вообще стать столь важной фигурой?»[7]

Ленин не отчаивался: «Сейчас торжествует реакция… но наш день ещё придёт», — писал он Инессе в письме в начале 1917 года. Когда именно — он не знал, хотя, похоже, не думал, что это произойдёт скоро. В конце 1916 года он подал заявление на продление вида на жительство в Швейцарии ещё на год и должен был приложить доказательство того, что у него есть банковский счёт (он был, на нём имелось 100 франков кредита). Он писал Инессе о своём новом замысле — основать маленькое издательство для выпуска серии памфлетов о задачах европейских левых, пока война будет тянуться дальше. Через несколько дней он снова писал ей, и ясно, что падение Романовых и возвращение в Россию вовсе не занимали тогда первое место в его мыслях. Он почему-то — так никогда и не объяснив почему — был убеждён, что западные державы вот-вот вторгнутся в Швейцарию, и беспокоился о партийных деньгах. «Если Швейцария будет втянута в войну, французы немедленно займут Женеву. Быть тогда в Женеве — значит быть во Франции, значит быть на связи с Россией. Поэтому я думаю передать партийные средства тебе, чтобы ты носила их при себе, зашитыми в специальный маленький мешочек». Ничего из этого плана не вышло, но в какой-то момент он и правда воображал, что Инесса будет всю войну ходить по Швейцарии с большевистской казной, спрятанной в одежде. Для очень умного человека, которому вскоре предстояло возглавить одну из самых могущественных империй, какие видел мир, у Ленина бывали весьма странные идеи.[8]

22 января 1917 года в цюрихском Фолькхаусе он выступал перед группой швейцарских студентов и молодых рабочих с лекцией об уроках революции 1905 года. «Ближайшие годы, именно вследствие этой хищнической войны, приведут к народным восстаниям рабочего класса… и эти потрясения приведут к победе социализма. Мы, люди старшего поколения, возможно, не доживём до решающих битв грядущей революции. Но я могу с уверенностью выразить надежду, что молодёжь, столь замечательно работающая в социалистическом движении, будет достаточно счастлива не только сражаться, но и победить в этой революции». Молодой румынский левый деятель Валериу Марку спросил его, когда, по его мнению, в России

---

[6] Местные власти, по-видимому, больше тревожила группа дадаистских поэтов и художников, собравшихся в Цюрихе во время войны. Авангардный художник и один из первых кинематографистов Ханс Рихтер говорил, что полиция считала, будто «мы способны в любой момент учинить какое-нибудь новое безобразие, чтобы потрясти провинциальную чувствительность швейцарцев. Всё, чем занимались все эти тихие и усердные русские, — это в своей ненавязчивой манере планировали мировую революцию»

[7] Цитата Стефана Цвейга: из Zweig, The Tide of Fortune: Twelve Historical Miniatures, London, 1927.

[8] План Ленина передать большевистские средства Инессе: см. Service, с. 270.

может начаться революция. Тот ответил: «Может быть, через два, может быть, через пять, самое позднее — через десять лет». Революция была его главной мыслью каждый день на протяжении последних двух десятилетий, но когда она наконец пришла всего через несколько недель, он оказался к ней совершенно не готов и был удивлён не меньше всех остальных.

ГЛАВА 27. Революция - Часть первая

«И над Россией я вижу, как тихий, широко разливающийся огонь всё пожирает».
Александр Блок (1880–1921)

«Мы танцевали последнее танго на краю окопов, наполненных забытыми трупами».
Василий Шульгин (1878–1976)

В Петрограде состоятельные люди пировали так, словно завтра не наступит, — а для многих из них его и впрямь не должно было быть. Это был закат так называемого Серебряного века русской культуры, необычайного расцвета искусства, литературы, музыки, дизайна и науки. Среди необузданной творческой энергии революционного момента такие писатели, как Александр Блок и Николай Гумилёв, создавали свои лучшие стихи, а Василий Кандинский, Марк Шагал и Казимир Малевич писали поразительные картины. Великий тенор Фёдор Шаляпин находился в зените своих сил; «Русские балеты» Сергея Дягилева поражали публику по всей Европе. Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев каждый по-своему переворачивали музыку. Русские учёные, такие как химик Дмитрий Менделеев и пионер современной психологической науки Иван Павлов, получали Нобелевские премии. Но оборотной стороной этой медали была «бессмысленная тоска», как выразился писатель Дмитрий Мережковский, и всеобщее ощущение надвигающейся гибели. В знаменитом стихотворении Анна Ахматова уловила дух времени:

Мы все бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам.

Эпический, бездумный размах этого вакханального пьянства и разврата выходил за пределы декаданса. Это было отчасти истерией, отчасти выражением безнадёжности. «До какого состояния довели нас Романовы? До пятого акта трагедии, разыгрываемой в публичном доме», — говорил Мережковский, чьи политические взгляды были правыми. Его жена Зинаида Гиппиус, замечательная поэтесса, писала в дневнике: «Россия — это огромный сумасшедший дом. Если попасть в сумасшедший дом в день открытых дверей, можно и не понять, что ты в нём. С виду всё кажется вполне нормальным, но все обитатели безумны».[1]
Водка была запрещена с начала войны, хотя вино и ликёры под запрет не попали, что, конечно, не привело к согласию между сословиями.[2] Бедные прибегали к самогону или чёрному рынку, чтобы утопить свои печали; богатые же предавались запоям на бесчисленных запасах вина и шампанского. Огромные состояния проигрывались за одну ночь, тогда как продовольственные нехватки били по обычным семьям, а инфляция стремительно росла. Цена на большинство продуктов, включая русский основной продукт — хлеб, выросла на 500 процентов с лета 1914

[1] Цитата Дмитрия Мережковского: из дневников Зинаиды Гиппиус, Peterburgskie dnevniki 1914–1919, New York, 1982, с. 45; и её утверждение, что Россия — это «большой сумасшедший дом», с. 49.
[2] Глупый запрет, оставивший в бюджете гигантскую чёрную дыру. Продажа водки была государственной монополией и имела такой размах, что налог с неё приносил почти 20 процентов доходов государства. Чтобы восполнить потери, правительству пришлось ещё больше занимать, увеличивая и без того колоссальные военные долги, а также печатать деньги, что разгоняло инфляцию. Хотя об этом редко упоминают, запрет водки был важным фактором падения царского режима; и семьдесят лет спустя, когда последний советский лидер Михаил Горбачёв попытался запретить алкоголь, результат оказался схожим. Это помогло довести СССР до банкротства и сыграло большую роль в распаде Советского Союза.

года по январь 1917-го. Инфляция на лекарства была ещё выше: килограмм аспирина в 1914 году стоил два рубля, а к концу 1916-го — уже 200. Цена хинина выросла с четырёх рублей за кило до 400. Спекуляция и грубое наживание процветали. Длинные очереди у продовольственных лавок стояли с осени 1915 года и становились всё длиннее по мере продолжения войны. Возле некоторых крупных булочных и мясных лавок были устроены лагеря с койками. В январе 1917 года средняя работница в Петербурге трудилась десять часов в день — и ещё сорок часов в неделю проводила в очередях за едой.

Показная роскошь военного времени шокировала иностранцев и отечественные средние слои. Сэр Сэмюэл Хор, руководитель британской разведки в Петрограде, возненавидел русские высшие классы: «их богатство и та расточительность, с которой они им пользовались, ослепили меня после суровых условий военной Англии». Один гость на пышном приёме, устроенном в Петрограде в честь приехавшего японского принца, сообщал: «слишком много блеска, серебра и посуды, еды и музыки, слишком много цветов и слуг». Уровень самоубийств в России за годы войны утроился — эпидемия, поразившая главным образом молодёжь моложе двадцати восьми лет.

Сексуальная распущенность достигла прежде невиданного размаха, а среди богатых развод — редкость ещё около 1910 года — стал обычным делом. Миллионерша мадам Зимина каждое воскресенье играла в бридж в своей роскошной петроградской квартире со своими «тремя мужьями — двумя бывшими и одним настоящим». Александр Блок неистово преследовал женщин, а его жена-актриса Люба была лишь немного менее распутной. «У меня было сто женщин — 200 — 300 (может быть, больше?), — писал он. — Но в сущности только две: одна — Люба; другая — все остальные».[3]

Боевой дух в армии пал. К концу 1916 года пять миллионов солдат были убиты, ранены или взяты в плен. Дезертирство приняло массовый характер. Председатель Думы Михаил Родзянко говорил друзьям, что «симптомы разложения армии ощущались уже на втором году войны… Пополнения из запасных батальонов прибывали на фронт, потеряв по дороге четверть людей из-за дезертирства… бывало, эшелоны, направлявшиеся на фронт, останавливались, потому что в них не оставалось никого, кроме офицеров и прапорщиков. Все остальные разбегались». Офицеры задерживались в отпусках, зачастую на многие недели, и проводили время в игорных домах и шикарных ресторанах. «Гостиницы переполнены офицерами, которые должны быть на фронте. Нет больше стыда ни в уклонении от службы, ни в поиске тёплого местечка в тылу».[4]

Солдаты всё сильнее уставали от войны. Именно они и стали той средой, из которой черпали силу большевики и другие радикальные группы. По традиции в Петрограде всегда стоял большой гарнизон, главным образом на случай, если его понадобится использовать для подавления возможного восстания. Старшие генералы тревожились, что в городе сосредоточено слишком много солдат — более 250 000 человек, и многие из них, как выразился один генерал, «выглядят опасно и угрожающе». «Это всё равно что складывать растопку рядом с пороховым погребом». Он отмечал, что 4000 человек из элитного Преображенского полка были втиснуты в казармы, рассчитанные на 1200. «Если Бог не пощадит Россию и допустит революцию… начнёт её не народ, а армия».[5]

Предсказания близкой революции были у всех на устах — в среде интеллигенции, среди высших классов России и у наиболее проницательных иностранцев. «С каждым днём признаки беды

---

[3] Александр Блок о распущенности: цит. по Figes, с. 159

[4] Офицеры самовольно покидают части: Major-General Sir Alfred Knox, With the Russian Army 1914–1917, London, 1921

[5] Революцию «начнёт армия»: цит. по Пайпс, Русская революция, с. 374

множились всё больше и больше — и всё же ничего не было сделано, чтобы избежать неминуемого кризиса», — записала в дневнике Мэриэл Бьюкенен, дочь сэра Джорджа Бьюкенена, британского посла в России. Британский фельдмаршал сэр Генри Уилсон, бывший начальник Имперского генерального штаба, провёл почти весь январь и начало февраля 1917 года в Петрограде, Москве и на Восточном фронте во главе союзнической миссии, изучавшей, как другие державы Антанты могут помочь России. Он докладывал в Лондон, что «здесь преобладает мнение… будто Император и Императрица представляют опасность для страны и, весьма вероятно, будут убиты». Его дневниковая запись от 16 февраля гласит: «Кажется столь же несомненным, сколь вообще что-либо может быть несомненным, что Император и Императрица идут к падению. Все — офицеры, торговцы, дамы — открыто говорят об абсолютной необходимости избавиться от них».[6] Более успокоительный взгляд выразил британский министр кабинета лорд Милнер, также находившийся в России примерно в то же время. В начале февраля он сообщил своим коллегам по министерству: «У меня сложилось мнение, что разговоры о революции сильно преувеличены».[7]

Охранка знала общественные настроения и неоднократно направляла предупреждения в самые высокие правительственные инстанции. В донесении министру внутренних дел Александру Протопопову в октябре 1916 года в предельно жёстких выражениях говорилось, что режиму следует бояться не революционных групп: «опасен народ». Агент сообщал, что «теперь гнев направлен не против правительства вообще, а против Царя». В донесении министру, если он и без того этого не знал, говорилось, что Александру неизменно называют «немкой» и что широко ходят скандальные слухи о её связи с Григорием Распутиным, «чрезвычайно вредящие правительству». Не имело значения, были ли эти рассказы правдой, — а правдой они, конечно, не были, — но им широко верили. Страна стояла на краю пропасти, «по сравнению с которой 1905 год — детская игра. Тревожное настроение усиливается день ото дня. Оно проникает через все слои населения, и существует весьма серьёзная угроза крупных потрясений, вызванных… главным образом экономическими причинами, голодом и неравномерным распределением продовольствия, а также чудовищным ростом цен на предметы первой необходимости. До сих пор это недовольство имело экономическую основу и не было связано с политическим движением. Но стоит лишь появиться чему-то конкретному и определённому, как оно примет политическую форму. Если хлеб станет ещё более редким, это вызовет сильнейшие беспорядки… и бесконечные уличные бунты».

Через несколько недель донесение Охранки от агентов, внедрённых в части действующей армии и резервы, предупреждало армейское начальство, что если «произойдёт революция, её поддержат две трети… действующих солдат».

5 января 1917 года Петроградская охранка сообщала в Министерство внутренних дел, что члены царской семьи и влиятельные деятели умеренно правого крыла в Думе замышляют свергнуть Царя, утверждая, что «надо спасать монархию от монарха». В донесении говорилось, что «настроение в столице приняло исключительно угрожающий характер. В обществе

---

[6] Фельдмаршал слышал о последней аудиенции, которую сэр Джордж Бьюкенен получил у Царя в начале января 1917 года. Посол сказал ему, что между ним и народом теперь стоит барьер и что если Россия всё ещё едина как нация, то лишь в противостоянии его нынешней политике… «Ваше Величество, если мне позволено будет сказать, у Вас есть лишь один безопасный путь… а именно — разрушить барьер, отделяющий Вас от народа, и вновь обрести его доверие». Император, который был заметно ниже ростом, чем томный и элегантный Бьюкенен, выпрямился во весь свой рост и холодно ответил: «Вы хотите сказать, что я должен вновь обрести доверие моего народа, или что это он должен вновь обрести моё доверие?»

[7] Мериэл Бьюкенен: цитата из M. Buchanan, Ambassador's Daughter, London, 1958. Лорд Милнер: цит. по Louis Fischer, c. 297

циркулируют самые дикие слухи о том, что правительство намерено предпринять различные реакционные шаги... население открыто, на улицах, в трамваях, в театрах и в магазинах ждёт какого-то чрезвычайного события, кризиса, вызванного той или иной стороной».[8]

На своих диких, декадентских вечеринках интеллигенция знала: так продолжаться не может. «Мы знаем, что что-то надвигается, — говорила Зинаида Гиппиус. — Но будет ли это "Революция" или какое-то чудовище с ещё неизвестным именем?»[9]

В Цюрихе, ранним днём 2 марта, Ленин собирался вернуться в Центральную библиотеку после обеда с Надей. Она мыла посуду, он надевал пальто, когда они услышали быстрые шаги по лестнице к их комнате. Запыхавшись, молодой польский член большевистской партии Мечислав Бронский выпалил: «Вы что, не слышали новость? В России произошла революция». Сначала Ленин ему не поверил. «Мы уже слышали подобные слухи. Это может быть германская пропаганда». Но все трое пошли на Бельвю-плац на берегу озера, где газеты вывешивались на стендах. Новость подтвердилась в Neue Zürcher Zeitung, Züricher Post и некоторых иностранных газетах, хотя сообщения из Петрограда почти не содержали подробностей. Ленин знал, что в армии произошло массовое восстание, что в России взяло власть Временное правительство и что на улицах столицы и в Москве идут беспорядки. На той стадии ещё не было ясно, что Царь отрёкся. Как и в 1905 году, Ленин был совершенно не готов к этим известиям, хотя сразу же понял значение происходящего.

Первым человеком, с которым он связался, была Инесса, отдыхавшая несколько дней на курорте в Кларане, близ Монтрё. Он написал ей из ближайшего кафе: «Сегодня мы в состоянии величайшего возбуждения. Я вне себя оттого, что не могу отправиться в Скандинавию. Я никогда себе не прощу [курсив Ленина], что не рискнул этой поездкой в 1915 году... Россия, должно быть, уже несколько дней стояла на грани революции... Я так взволнован».[10]

Затем он выработал политическую линию поведения. Он не ожидал столь скорого падения старого режима, но, как неоднократно повторял, «революционеры не ждут революции... они делают революцию». Это, возможно, был его единственный шанс на власть — и он был полон решимости его использовать. Немедленно он изложил, как большевики должны относиться к новым правителям в России. В течение нескольких часов после известия о революции он телеграфировал Александре Коллонтай в Норвегию, самому высокопоставленному большевику в Скандинавии. «Такова наша тактика. 1) Никакого доверия и никакой поддержки новому правительству. 2) Александр Керенский особенно подозрителен. 3) Вооружить пролетариат как единственную гарантию его безопасности. 4) Немедленные выборы в Петроградскую городскую думу. 5) Никакого сближения ни в каком виде с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград». По существу, это была та политика, которой он будет следовать вплоть до переворота, приведшего его к власти семь месяцев спустя: никаких компромиссов; никакого признания «правительства, поддерживающего империалистическую войну»; никаких сделок с другими социалистическими партиями, особенно с меньшевиками. Большинству его сторонников в эмиграции и в России это казалось крайностью, не соответствующей духу времени. Но прав был он, а не они. Репутация Ленина как мастера момента и сверхискусного тактика, его понимание природы власти, будут основаны на том, как он поведёт себя в ближайшие месяцы.[11]

---

[8] Донесения охранки: см. Alexander Rabinowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, Bloomington, Ind., 1968.

[9] Gippius, с. 165.

[10] Ленин — Инессе, РГАСПИ, ф. 127, оп. 17, д. 11.

[11] Указания Ленина Коллонтай: 2 марта 1917 года, Собр.соч., т. 12, с. 165.

На этот раз, в отличие от 1905 года, он отчаянно стремился вернуться в Россию как можно быстрее, но перед ним стояли огромные препятствия. Как туда попасть? «С того мгновения, как пришли вести о Революции… он не спал по ночам, и строились самые невероятные планы: можно лететь аэропланом! Но о таком можно было думать лишь в ночном бреду. Стоило только произнести это вслух, как становилось ясно, насколько всё это неосуществимо», — говорила Надя.

Одной из идей было достать поддельный шведский паспорт, что было вполне возможно. Но Ленин не говорил по-шведски. «Надя, неужели я не смогу легко выучить несколько слов?» — «Не говори глупостей. Ты в какой-нибудь момент заснёшь и начнёшь во сне видеть меньшевиков повсюду, ругаться и выкрикивать “мерзавцы” или что-нибудь в этом роде — и выдашь себя с головой».

Планы становились всё нелепее. Он писал Ганецкому в Стокгольм: «Ждать больше невозможно. Все надежды на легальную поездку тщетны. Найдите шведа, похожего на меня. Но так как я не знаю шведского, он должен быть глухонемым. Во всяком случае, я пришлю фотографию». Вячеславу Карпинскому, главному большевику в Женеве, он велел «взять документы на своё имя для поездки через Францию, Голландию и Англию, которыми воспользуюсь я. Я поеду по ним через Голландию и Англию, а затем в Россию. Я надену парик, приду с вашими документами в консульство в Берне, но в парике, и там смогут меня сфотографировать». При такой уловке выбраться из Швейцарии ему едва ли удалось бы.[12]

Через несколько дней после Революции группа революционеров обсуждала своё положение в кафе. Одна уважаемая большевичка, Ольга Равич, первая жена Зиновьева и храбрая женщина, которую арестовывали и сажали за попытку сбыть одну из 500-рублёвых купюр, похищенных при тифлисском ограблении банка, сказала, что может выйти замуж за швейцарца, получить паспорт и через Германию проехать в Россию. «Блестящая мысль, — ответил Ленин, — но мне от неё немного пользы».[13]

Он продолжал обдумывать путь через Англию, хотя это было делом маловероятным и рискованным. Он позвонил Инессе в Кларан и попросил её поехать от его имени в Лондон и выяснить у британского правительства, дадут ли ему разрешение на проезд. Она отказалась: чувствовала себя плохо, а шансы на успех были столь ничтожны, что она не видела смысла пытаться. В тот же вечер он написал ей сердитое письмо. «Должен сказать, я крайне разочарован. По-моему, сейчас у каждого должна быть одна единственная мысль: как можно скорее попасть в Россию. Я был уверен, что вы броситесь в Англию, так как только там можно было узнать, как пробраться и насколько велик риск». Через несколько дней он написал снова: «Мои нервы, разумеется, напряжены до крайности… И неудивительно! Просто сидеть здесь как на иголках…»[14]

Революция началась почти в точности так, как и предсказывали донесения Охранки. Зима 1916–1917 годов в России оказалась самой холодной в этом столетии на тот момент — важный и часто недооценённый фактор в том, что должно было произойти. Температура в Петрограде в конце января и почти весь февраль держалась в среднем на уровне минус 15 градусов по Цельсию. Транспортное сообщение с городами, включая железные дороги, почти остановилось, и ни

---

[12] Планы выехать из Цюриха под видом переодевания: Крупская, Воспоминания, с. 225.

[13] Но эта мысль его развеселила. Он предложил ей найти «подходящего старика для этой цели» и рекомендовал Павла Аксельрода, давнего меньшевистского противника, который, хотя и был натурализованным швейцарцем и вдовцом, имел шестьдесят семь лет. Равич — ей было чуть за тридцать — это предложение отвергла

[14] «Мои нервы перенапряжены»: Ленин — Инессе, РГАСПИ, ф. 127, оп. 18, д. 19.

зерно, ни другие продовольственные припасы не поступали в Петроград и Москву. Городской голова столицы А. П. Балк докладывал 19 февраля, что за предыдущую неделю в город поступило всего 5000 пудов муки (старинная русская мера веса, примерно 16 килограммов), тогда как обычно поступало 30 000 пудов, а городским пекарям позволили использовать лишь 3500 пудов вместо обычных 9000. Тысячи женщин — и это были главным образом женщины — стояли за хлебом всю ночь. А затем 23 февраля арктический холод спал, «и температура стала почти весенней — около 5 градусов». Именно тогда в Петрограде началась волна забастовок и демонстраций — около 130 000 человек 23-го числа, в Международный женский день, и более 180 000 на следующий день. Уже к полудню первого крупного уличного выступления люди кричали не только «Хлеба!» и «Мы голодны!», но и «Долой Царя!», «Дайте нам мир!» и «К чёрту немку!». Полиция не могла сдержать толпы, а войска отказывались стрелять в мирных жителей. Толпы линчевали полицейских — начальника Петроградского жандармского управления забили камнями до смерти — и начали захватывать правительственные здания. Они «освободили» Петропавловскую крепость и выпустили немногих заключённых, находившихся внутри, большинство из которых были арестованы лишь за несколько предшествующих дней. Значительная часть города оказалась в руках протестующих.[15]

Царя уже не было в столице и не было в Царском Селе — он находился в своей военной ставке в Могилёве, неподалёку от фронта. В списке его губительных ошибок ещё за восемнадцать месяцев до этого было и то, что он, вопреки советам всех министров и Имперского генерального штаба, принял на себя личное командование армией. Это означало, что, когда дела пошли плохо, он не мог свалить ответственность на полевых командиров, а сам отвечал за ведение войны.[16] О уличных демонстрациях ему сообщили, но он не понял всей серьёзности положения и полагал, что обычные способы борьбы с беспорядками в столице — ввод войск — сработают и теперь.

Александра самодовольно писала ему: «Это хулиганское движение. Молодёжь бегает и кричит, что нет хлеба, просто чтобы поднять шум, а вместе с ней рабочие, мешающие другим работать. Если бы стояли сильные морозы, они, вероятно, все сидели бы дома. Но всё это пройдёт и успокоится…»[17]

Он предпочёл проигнорировать более реалистические предупреждения председателя Думы Родзянко: «Положение серьёзное. В столице анархия. Правительство парализовано. Подвоз продовольствия и топлива совершенно расстроен. Общее недовольство растёт. На улицах беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, образование нового правительства. Медлить нельзя. Всякое промедление — смерть». Не получив ответа, несколькими часами позже он послал ещё одну телеграмму: «Положение

---

[15] Это, однако, не помешало княгине Екатерине Радзивилл устроить 25 февраля свой вечер, о котором весь петроградский свет говорил уже несколько недель. В своём дневнике Морис Палеолог, французский посол, писал, что её великолепно освещённый дворец на Фонтанке и роскошь вечера напомнили ему Париж 1789 года.

[16] Офицеры умоляли Царя не назначать себя главнокомандующим армией, но Николай утверждал, что его присутствие поднимет боевой дух и что если войска не захотят сражаться за Россию, то будут сражаться за него. Как же он ошибался. Генерал Брусилов, командовавший на фронте, говорил, что это решение было страшной ошибкой. «Все знали, что Николай почти ничего не понимает в военном деле и, хотя слово “Царь” всё ещё имело над войсками магическую власть, ему совершенно не хватало харизмы, чтобы оживить эту магию. Оказавшись перед строем солдат, он терялся и не знал, что сказать». Совет министров, редко критиковавший Царя, был единодушен в несогласии. «Решение, которое Вы приняли, грозит России, Вам и Вашей династии самыми тяжкими последствиями».

[17] Письмо Александры, где революционеры названы «хулиганским движением»: www.alexanderpalace.org/letters

ухудшается. Необходимо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии». Единственная реакция Царя заключалась в том, что он взглянул на телеграмму, повернулся к своему главному адъютанту, выжившему из ума семидесятидевятилетнему, обросшему бакенбардами придворному графу Владимиру Фредериксу, и сказал: «Этот толстяк Родзянко опять написал мне всякий вздор. Я и отвечать ему не стану».[18]

Николай послал роковой приказ командующему Петроградским военным округом генералу Сергею Хабалову: «Повелеваю вам употребить все необходимые силы, чтобы завтра прекратить беспорядки в столице, недопустимые в это тяжёлое время войны с Германией и Австрией».

Позднее Хабалов говорил, что был подавлен распоряжением Царя. Он знал, если Николай и не знал, что войска не станут повиноваться. Революция вспыхнула из-за хлебных бунтов, но победила потому, что каждый полк Петроградской гвардии — те самые блестящие полки, которые веками были яростно преданы Романовым, — взбунтовался. Именно знаменитые гвардейцы Преображенского, Волынского, Павловского и Литовского полков, известные как преторианцы Царя, решили судьбу Императора.

Через полтора дня после царского приказа петроградский начальник полиции в своём последнем донесении министру внутренних дел описал происходящее в столице. «В шесть часов утра зазвонил телефон. Градоначальник сообщил мне, что унтер-офицер Волынского полка гвардии по фамилии Кирпичников только что убил своего старшего офицера… убийца скрылся, и настроение в полку было угрожающим… [по отношению к другим офицерам]. Теперь я увидел, до какой степени анархия распространилась и заразила казармы. Вскоре градоначальник позвонил снова с ещё худшими вестями. Бригадный генерал Добровский, командир сапёрного батальона гвардии, был убит своими солдатами. События развивались стремительно. Волынцы… выгнали почти всех своих офицеров из казарм. Эти мятежники присоединились к Преображенскому полку, чьи казармы находились поблизости. Им удалось захватить арсенал на Литейном мосту. Солдаты носились по улицам, вооружённые винтовками. Разъярённая толпа ворвалась в Дом предварительного заключения и открыла камеры. Вскоре то же самое произошло во всех городских тюрьмах. Полицейские участки были захвачены толпой. Полицейских, не успевших переодеться в штатское, рвали на куски. Остальное довершили пожары».

Историки часто писали, будто это было в целом мирное восстание. Это популярный миф, получивший авторитет главным образом потому, что Февральская революция действительно пользовалась поддержкой подавляющего большинства населения. Но она была насильственной. В феврале погибло куда больше людей, чем погибнет во время большевистского переворота в октябре, — 1433 человека в Петрограде и около 3000 в Москве, где вооружённые банды несколько дней бродили по улицам. По сравнению с этим октябрьский переворот был почти бескровным.[19]

После приказа войскам подавить демонстрации Царь распустил Думу. И снова, оказавшись в беде, он инстинктивно попытался запретить политику. Но думские политики не пожелали разойтись тихо, и когда на следующее утро депутаты вошли в Таврический дворец,[20] некому уже

---

[18] «Этот толстяк Родзянко»: цит. по Sebag Montefiore, The Romanovs, с. 489.

[19] Мятеж полков и число жертв революции: Figes, с. 486–492.

[20] Огромный дворец был первоначально построен государственным деятелем и военачальником князем Григорием Потёмкиным, любовником Екатерины Великой (а, как некоторые считают, и её тайным мужем). В его правом крыле, если смотреть со стороны Невы, размещалась Дума, а с момента Революции в левом крыле заседал Петроградский совет.

было обеспечить исполнение воли Императора. Без правительства, при анархии на улицах, открытом мятеже армии и толпах по всему городу, кричавших «Смерть Царю», они заполнили вакуум власти — или попытались это сделать — создав «Временный комитет Государственной думы». Во-первых, Дума учредила Временное правительство во главе с пожилым либералом князем Георгием Львовым, который быстро сформировал коалицию из некоторых кадетов — правоцентристских конституционных демократов, — других либералов и умеренных социалистов, таких как Александр Керенский; это правительство должно было управлять страной до выборов в Учредительное собрание. Во-вторых, необходимо было решить, что делать с Царём. Все единодушно сошлись на том, что Николай должен уйти, но монархисты хотели, чтобы он отрёкся в пользу сына Алексея и сохранил конституционную монархию. Либералы и левые переубедили их, настроив против Романовых и самой идеи монархии: «это не только неприемлемо, но и утопично, учитывая всеобщую ненависть народа к монархии». Было решено, с благословения кадетов, заставить Царя отречься в пользу его брата Михаила, который пообещал им, что уже на следующий день откажется от притязаний Романовых на престол.

Только когда высшие армейские чины посоветовали Николаю отречься — особенно начальник его штаба генерал Михаил Алексеев, — он согласился уйти. Он сказал, что его сын слишком болен, чтобы быть Царём, «и я не в силах с ним расстаться». Достоинство его ухода и его джентльменские манеры не должны скрывать, насколько безнадёжным правителем был Николай II и в каком ужасном состоянии он оставлял свою страну. Дума послала двух правых политиков, Александра Гучкова и Василия Шульгина, получить от него акт об отречении. Царь возвращался в Петроград из своей военной ставки в императорском железнодорожном вагоне. Они встретили его на глухой станции близ Пскова в 9:45 вечера 1 марта. Царь был «совершенно спокоен, почти непроницаем», вспоминал Гучков. «Я даже спрашивал себя, имеем ли мы дело с нормальным человеком. В такую минуту можно было бы ожидать хоть какого-то проявления чувства, но ничего подобного не было». На листе бумаги набросали несколько слов. «Передаём престол Нашему Возлюбленному Брату Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление». Фредерикс положил документ на царский письменный стол. «Затем, склонив голову на несколько мгновений, он обмакнул перо и… в последний раз поставил свою подпись как Царь всея Руси под актом Отречения». Позднее Николай признавался, что кипел от гнева и испытывал глубочайшую боль, но, как заметил вскоре один из его приближённых, это чрезвычайное событие выглядело столь же буднично, «как если бы он сдавал командование кавалерийским полком».[21]

Радикальные группы почти не сыграли роли в Революции, как признавал Сергей Мстиславский, ведущий эсеровский деятель в Петрограде. «Мы, эсеры, спали крепким сном, как неразумные девы из Евангелия», — говорил он, прибегая, пожалуй, к не вполне уместному сравнению. «Правда же состоит в том, что вне мелких революционных фракций… варившихся в собственном соку, социалистические партии были совершенно банкротами». Большевики неохотно присоединились к уличным демонстрациям, но не возглавляли их. «Мы не думали, что это выльется в революцию, и потому шли на протесты с тяжёлым сердцем, считая, что Царь жестоко их подавит», — говорил Владимир Каюров, один из руководителей партийного подполья в России. Находившийся тогда в Петрограде самый высокопоставленный большевик Шляпников, прибывший в столицу вскоре после Революции, позже признавал, что в феврале 1917 года большевики были слабы, насчитывали в России максимум 3000 членов и были почти без денег. За два предыдущих месяца, по его словам, в партийную кассу поступило жалкие 1117

[21] Отречение царя: Sebag Montefiore, The Romanovs, с. 528–529

рублей 50 копеек. Петроградские большевики не могли позволить себе посылать агитаторов в провинцию и полагались на активистов, которые выезжали из города к родственникам или по обычным рабочим делам.[22]

Революция была совершенно стихийной, взрывом гнева — классическим примером народного восстания против некомпетентного и обанкротившегося режима. Царская тайная полиция разгромила большевиков и другие революционные группы; но она забыла о народе. Британский журналист Артур Рэнсом начал свой репортаж для Daily News от 3 марта так: «Да не будет здесь никакой ошибки… Это не была организованная революция. Невозможно будет воздвигнуть статую в память её организатору, если только эта статуя не будет изображать простого русского крестьянина-солдата». [23]

В первые дни казалось, будто «произошло чудо, и мы вправе ожидать новых чудес», как писал Александр Блок своей матери. Было головокружительное чувство свободы — но и предчувствие беды. «Есть необычайное ощущение, что ничто не запрещено, что может случиться всё что угодно». После 300 лет абсолютной власти династия Романовых рухнула за считанные дни — «как крушение поезда в ночи, как мост, обрушивающийся у тебя под ногами, как дом, падающий наземь».

---

[22] Большевики не были готовы к революции и испытывали нехватку денег: Rabinowitch, Prelude to Revolution, с. 129.

[23] Приключенческие истории, которые Рэнсом писал позднее, создав целый ряд романов, были далеко не так захватывающи, как его собственная жизнь. Он был одарённым журналистом и писал яркие репортажи с переднего края русских революций. Левый по убеждениям, но, судя по его статьям, не коммунист, он, безусловно, был британским шпионом и, весьма возможно, двойным агентом. Он оставил свою первую жену в Англии и сбежал с Евгенией Шелепиной, доверенной секретаршей Троцкого. До сих пор не вполне ясно, как утверждают некоторые его биографы, соблазнил ли он её ради работы на британскую разведку, или наоборот. Или, возможно, ни то ни другое.

ГЛАВА 28. Запломбированный поезд

«Немцы обратили против России самое жуткое из всех оружий. Они перевезли Ленина в запломбированном вагоне, словно чумную бациллу, из Швейцарии в Россию».
Уинстон Черчилль, The World Crisis, том второй, 1929

Мысль эта первоначально исходила от бывшего друга Ленина, а затем его ожесточённого врага, Юлия Мартова. Последние десять лет он томился в швейцарской эмиграции вместе со своей группой сторонников, все они с одинаковым отчаянием стремились вернуться в революционную Россию.

Вечером 6 марта 1917 года в кафе Zur Eintracht собралось большое собрание левых эмигрантов, чтобы обсудить, каким образом они могли бы попасть домой. Редко случалось, чтобы большевики, меньшевики и эсеры находились вместе в одной комнате, но в этот исключительный раз обычай враждовать был нарушен. Один немецкий социалист, присутствовавший там, говорил, что в начале собрания он «никогда не видел Ленина столь возбуждённым и столь яростным». Он едва мог усидеть на месте, ходил взад и вперёд по залу «как сгусток нервной энергии» и беспрестанно повторял: «Нужно ехать во что бы то ни стало, пусть даже через ад».

Предложение ехать через Германию было выдвинуто Мартовым в самом начале собрания. Временное правительство в Петрограде освободило всех политических заключённых. Быть может, говорил он, удастся заключить соглашение, по которому русские репатриируют часть немецких и австрийских военнопленных в обмен на гарантированный безопасный проезд через Германию для русских изгнанников, застрявших в Швейцарии?

Ленин тотчас проявил интерес и, что случалось нечасто, сказал Мартову, что тот напал на «превосходную мысль». Но большевистский вождь был слишком нетерпелив, чтобы вести переговоры через правительство князя Львова, которое он именовал «десятью капиталистами и одним заложником демократии». Это заняло бы слишком много времени и было бы чрезмерно громоздко. Не желал он иметь дело и с новым Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, который быстро утвердился в столице России как соперничающий центр власти. Как всегда, Ленин был исполнен решимости действовать тайно. Он сказал одному из большевистских помощников: «Надо бы заняться превосходным планом Мартова… только мы не можем действовать прямо. Нас заподозрят… Беспартийные русские и русские патриоты должны обратиться к швейцарским министрам с просьбой, чтобы через представителей швейцарского правительства в Берне были начаты переговоры. Мы не можем участвовать ни прямо, ни косвенно. Наше участие всё погубит. Но сам план очень хорош и совершенно правилен».[1]

Тайна была для Ленина жизненно необходима: «Я лично не могу сделать ни шага, если только не приняты совершенно особые меры», — писал он Инессе. Он привлёк швейцарского социалиста Роберта Гримма, редактора радикальной Berner Tagwacht, чтобы тот вёл переговоры от его имени — и вёл их незаметно. Ленин ему не доверял: «омерзительный центрист», — говорил он группе товарищей. Но Гримм мог оказаться полезен и имел обширные связи как со швейцарским правительством, так и с социалистами по всей Европе. В то же время Ленин открыл второй фронт и начал другие конфиденциальные переговоры с человеком, который был

[1] Ленин одобряет план Мартова с «запломбированным вагоном»: письмо Радеку, 7 марта 1917 года, CW, т. 44, с. 216.

ему столь же отвратителен: через своего надёжного представителя в Скандинавии, Ганецкого, он вступил в контакт с Гельфандом, таинственным Парвусом. Два года назад, когда Парвус предлагал ему «запятнанные» кайзеровские деньги, Ленин от них отказался. Теперь он уже не мог позволить себе подобную щепетильность. Он был готов заключить сделку с немцами, если условия окажутся подходящими.[2]

С немецкой точки зрения вложение средств в Ленина представлялось вполне оправданным военным приёмом и риском, на который стоило пойти, — хотя и они тоже были заинтересованы в том, чтобы сохранить соглашение в тайне от собственного народа и, если возможно, от западных союзников. Генерал Эрих Людендорф, в качестве генерал-квартирмейстера один из двух высших командиров германской армии, впоследствии признавал, что до Февральской революции в Петрограде понятия не имел, кто такой Ленин, и ничего не понимал ни в ленинской политике, ни в марксизме. Для него это было пустое колдовство слов. Но если Ленин мог содействовать дестабилизации России, то попытка склонить его на свою сторону имела военный смысл. Теперь эта цель становилась ещё соблазнительнее: в феврале 1917 года германское верховное командование было уверено, что Соединённые Штаты вот-вот вступят в войну на стороне Антанты (что и произошло 6 апреля). Важно было избежать продолжения войны на два фронта. Позднее Людендорф говорил, что «раз уж мы отправили Ленина в Россию, наше правительство взяло на себя особую ответственность. С точки зрения войны его поездка была оправдана. Россию нужно было разбить». Генерал Макс Гофман, командующий германскими армиями против России, выражался столь же откровенно: «Точно так же, как я бросал гранаты в вражеские окопы и выпускал против наших противников ядовитый газ, я имею право использовать и пропаганду против наших врагов».[3]

Как только Гельфанд/Парвус убедился, что Ленин серьёзно настроен на сделку, он склонил германского посла в Дании графа Ульриха фон Брокдорф-Ранцау обратиться в Берлин с мыслью помочь Ленину добраться до Петрограда. Он с поразительной прозорливостью предсказал, что, если Ленин вернётся в Россию, он свергнет Временное правительство, возьмёт власть вооружённым восстанием и без промедления заключит сепаратный мир. Он говорил, что Ленин обладает такой «жаждой власти», что непременно согласится принять помощь Германии, лишь бы добраться до родины.

Посол немедленно телеграфировал в германское министерство иностранных дел. «Теперь мы должны решительно стремиться к созданию в России величайшего возможного хаоса. Ради этой цели мы должны избегать всякого вмешательства, которое можно было бы проследить, в ход русской революции. Но мы должны тайно делать всё, что можем, чтобы обострить различия между умеренными и крайними партиями… ибо мы заинтересованы в победе последних. Ибо тогда новое потрясение станет неизбежным, и примет такие формы, которые потрясут российское государство до самых оснований. Наша поддержка крайних элементов в России предпочтительнее, потому что таким образом дело делается более основательно и результаты достигаются быстрее. По всем расчётам мы можем ожидать, что через три месяца или около того разложение зайдёт так далеко, что наше военное вмешательство обеспечит крушение русской силы». Это был прогноз чересчур оптимистический, но германский министр иностранных дел Артур Циммерман согласился, что в интересах Германии — «чтобы победило

---

[2] Сообщает Инессе, что ему необходимо действовать тайно: письмо от 8 марта 1917 года, РГАСПИ, ф. 127, оп. 18, д. 13.

[3] Германские генералы Людендорф и Гофман: цит. по Clark, с. 269; см. также Hastings, с. 253.

радикальное крыло русской революции». Кайзеру Вильгельму лично изложили общий замысел, и он его одобрил.[4]

Первое предложение немцев Ленин отверг. План состоял в том, чтобы Ленина и Зиновьева сопровождал через Германию в Россию германский коммерсант Георг Скларц, который уже распорядился оплатить им железнодорожные билеты и направлялся в Швейцарию, чтобы с ними встретиться. Ещё до его прибытия Ленин пресёк этот замысел как политически слишком компрометирующий. Его не заботила нравственная сторона сделки; он желал иметь возможность «отрицать» всякую связь, если когда-либо будет заявлено, что он сидит у Германии в кармане. Скларц немедленно вернулся в Берлин.

В течение нескольких дней от немцев не поступало никаких известий; Ленин выходил из себя от гнева и страха, что ему никогда не удастся покинуть Швейцарию. Он писал Инессе, что не готов рисковать, отправляясь на пароходе из Франции в Скандинавию, «чтобы быть потопленным подводной лодкой», как несколькими днями ранее случилось с пароходом Zara, на борту которого находилось несколько русских эмигрантов. «Но для нас это — пытка, — жаловался он. — А что, если никакого проезда не дозволят — ни Германия, ни Англия? Это возможно!»[5]

Гримм не добивался ничего и по другой линии переговоров с германскими представителями в Берне. 20 марта Ленин, раздражённый медлительностью переговоров, заменил его и назначил другим посредником Фрица Платтена, секретаря Швейцарской социалистической партии. Именно он в конце концов и заключил соглашение с германским послом в Берне графом Гисбертом фон Ромбергом. У Ленина имелся список требований. Он настаивал, что купит все билеты «по обычным тарифам» — группа швейцарских социалистов собрала значительную сумму на поездку, — и что возвращающиеся эмигранты должны ехать в вагоне, который будет «пользоваться правами экстерриториальности» (отсюда и возникло представление о том, что поезд был «запломбирован»). Насколько возможно, «путешествие должно совершаться без остановок и прямым поездом. Паспорта проверяться не будут». Они не должны были покидать вагон на всём протяжении пути и не должны были разговаривать ни с кем, кроме друг друга. Ромберг высокомерно заметил, что «не в обычае, чтобы путешественники предлагали условия правительству той страны, через которую намерены следовать». Однако он переслал текст соглашения в Берлин. У немцев тоже были свои требования. Они настояли, чтобы все отправлявшиеся в путь подписали заявление, что понимают условия соглашения и принимают на себя полную ответственность за тот приём, который ждёт их в России. Не исключалось, что их немедленно арестуют и будут судить за государственную измену. Ленин принял условия от имени большевиков. Как всегда, даже если у них и были сомнения, его последователи делали то, что велел им «старик».

Через два дня фон Ромберг сообщил Платтену, что министерство иностранных дел в Берлине одобрило план и вскоре пришлёт к швейцарской границе вагон, чтобы встретить их. Мест в нём будет для шестидесяти пассажиров.[6]

Соглашение недолго оставалось тайной. История просочилась к цюрихским репортёрам и быстро распространилась по эмигрантским кафе, где журналисты, писатели и художники почти ни о чём ином уже не говорили. Левая пресса была возмущена и с трудом верила, что Ленин, самый радикальный из всех революционеров, способен заключить сделку с ультраправыми

---

[4] Германское оправдание использования Ленина: Volkogonov, с. 216

[5] Ленин в отчаянии стремится попасть в Россию: письмо Инессе, 10 марта 1917 года, РГАСПИ, ф. 127, оп. 18, д. 13.

[6] Переговоры с немцами: Fritz Platten, Lenin iz emigratsii v Rossiyu, Moscow, 1925.

германскими милитаристами и империалистами. Когда пошли первые слухи, «в кафе Plauen в Цюрихе поднялся настоящий ад», — писал левый журналист Й. Лей, проводивший там большую часть дня. «Артур Грумбах, знаменитый корреспондент l'Humanité, и Отто Поль из венской Arbeiterzeitung были вне себя от ярости». Стефан Цвейг громогласно выражал своё неодобрение Ленина, а французский писатель-пацифист Ромен Роллан, получивший двумя годами раньше Нобелевскую премию, пришёл в исступление. «Он считал крайне дурным поступком со стороны Ленина вступать в соглашение с Людендорфом… и тревожился из-за того, какие последствия это будет иметь для международного движения за мир». В какой-то момент Роллан вынул из внутреннего кармана сюртука телеграмму, полученную от Ленина, в которой тот просил его прийти проводить его на вокзал. Он отказался. Джеймс Джойс, услышавший об этом позднее в тот же день, заметил: «Мне это напоминает Троянского коня. Должно быть, Людендорф в самом отчаянном положении».[7]

Ленин никогда не считал нужным оправдывать свои поступки. Для него принятие помощи от немцев — а как впоследствии выяснилось, и крупных денежных сумм от них тоже — представлялось бы шагом рациональным и разумным. К этому времени своей жизни Ленин перестал мыслить в общепринятых нравственных категориях и, несомненно, счёл бы вполне допустимым принять помощь от кого угодно, если это ускоряло бы социалистическую революцию — сперва в России, а затем и во всём мире.[8]

О «запломбированном вагоне» он говорил редко и письменно защищал свои действия лишь однажды. «Никто не просил немцев о помощи… но произошло совпадение интересов. Мы были бы глупцами, если бы этим не воспользовались», — сказал он. Но он понимал, что всё это выглядит дурно, и именно потому тщательно заметал следы и держался как можно дальше от прямого личного участия во всех денежных и организационных подробностях, особенно в каких-либо тёмных деталях, которые можно было бы проследить до Парвуса.

Британцы знали о переговорах Ленина с немцами ещё до того, как сделка о запломбированном вагоне была заключена, задолго до того, как известие просочилось в прессу. Правительство даже обдумывало мысль противопоставить немцам иной ход: подкупить Ленина, чтобы он агитировал за продолжение войны Россией. Ясно, что они совершенно не знали человека, с которым имели дело, и не понимали, на что Ленин на самом деле делает ставку. Лорд Милнер передал премьер-министру Дэвиду Ллойд Джорджу записку разведывательных служб, где предлагался возможный подход к большевистскому вождю. В сопроводительном письме Милнера говорилось: «Даже Ленина можно купить взяткой… в России, Турции или Греции при помощи взяток можно сделать всё… прилагаемая записка, безусловно, заслуживает вашего личного внимания». Ллойд Джордж не стал развивать эту мысль.[9]

После того как все подробности были улажены, события пошли стремительно. «У нас было всего два часа, чтобы собраться и… [ликвидировать] всё наше хозяйство», — вспоминала Надя. «Нужно было расплатиться с хозяйкой, вернуть книги в библиотеку и так далее».

Не было времени, сокрушалась она, забрать прах её матери из крематория и увезти его в Россию, чтобы похоронить в Петрограде, как, Надя знала, того желала бы Елизавета Васильевна. Пришлось оставить его в Швейцарии.

---

[7] Реакция в Цюрихе на запломбированный вагон: Rappaport, с. 228–230; Michael Pearson, The Sealed Train, London, 1975, с. 49–51; Catherine Merridale, Lenin on the Train, London, 2016, с. 73–79; Karl Radek, «Lenin's "Sealed Train"», New York Times, 19 February 1922; J. Ley, «A Memorable Day in April», New Statesman, 19 April 1958; Olga Ravich, «The Journey Across Germany», Pravda, 10 April 1922.

[8] Ленин считал оправданным принять германскую помощь: Clark, с. 214.

[9] Британцы пытались подкупить Ленина: Clark, с. 217.

Господин Каммерер пришёл на Шпигельгассе проститься с ними. Он сказал Ленину, что надеется, «что в России вам не придётся работать столь же тяжело, как здесь, в Цюрихе». Ленин, «с классической сдержанностью, ответил и сказал: "Думаю, господин Каммерер, что в Петрограде у меня будет ещё больше работы"». Хозяин выразил надежду, что он и Надя найдут в Петрограде хорошее жильё. Ленин сказал, что уверен: сумеет устроиться где-нибудь удобно, «но не знаю, будет ли там так же спокойно, как было здесь, у вас».

Когда они покидали своё последнее место изгнания, у Нади и Ленина почти ничего не было за душой после почти семнадцати лет жизни в Западной Европе. Он вышел из квартиры с заплечным мешком, где лежали несколько особенно дорогих ему книг, бумаг и документов, с потёртым чемоданом, в котором было немного одежды, и с несколькими постельными принадлежностями. Некоторые вещи они оставили у Каммереров, но, как Надя позднее рассказывала друзьям, весь их багаж состоял из «корзины с домашними вещами, корзины с книгами, ящика, полного газетных вырезок, и другого — с архивным материалом… а ещё шведской керосиновой печки». Последний предмет предназначался для того, чтобы кипятить в дороге чай.[10]

Около 11 часов утра в понедельник 27 марта Ленин и Надя встретились с группой из тридцати человек на обеде в гостинице Zähringer Hof в центре Цюриха. Когда он составил список пассажиров, отправлявшихся в путь, и передал его Фрицу Платтену, имя Инессы Ленин поставил первым в этом списке.[11] Там были почти все близкие к нему члены большевистской группы, ещё остававшиеся в Швейцарии: Зиновьев с женой и девятилетним сыном Степаном, Ольга Равич, которая нашла иное средство попасть в Россию, нежели выйти замуж за пожилого швейцарского господина, Анатолий Луначарский и Карл Радек, польский большевик, формально считавшийся дезертиром из австро-венгерской армии и потому, потенциально, шедший на большой риск, садясь в поезд.

Ленин прочёл воинственное «Прощальное обращение к швейцарским рабочим». Он повторил свой обычный призыв к «гражданской войне» по всей Европе — войне рабочих против их правителей. «Мы не пацифисты… Мы против империалистических войн из-за дележа капиталистической добычи… но мы всегда считали нелепым, чтобы пролетариат отказывался от революционных войн, которые могут оказаться необходимыми в интересах социализма». Но, говоря со своей собственной группой большевиков наедине, он был менее бодр, ибо некоторые из них уже начали праздновать — по ленинскому мнению, слишком преждевременно. «Русский пролетариат в одиночку не может довести социалистическую революцию до победоносного конца», — предостерёг он. Затем в 2.30 пополудни вся группа направилась к цюрихскому Hauptbahnhof.

На вокзале царил хаос. Группу русских революционеров встретила разъярённая толпа, собравшаяся проводить их. Одни кричали: «Предатели!», «Немецкие шпионы!», «Свиньи!», «Мошенники!», другие несли плакаты: «Позор тем, кто берёт золото кайзера!» Среди общей враждебности явились и несколько доброжелателей. Молодой швейцарский знакомый Зигфрид

---

[10] Вещи Ленина, когда он покидал Цюрих: Kammerer, «We rented to the Lenins»; Rappaport, с. 229.

[11] Почти ни в одном современном свидетельстве не упоминается присутствие Инессы в поезде, и впоследствии советская власть неуклюже пыталась цензурно скрыть тот факт, что она там была. В официальных советских историях вплоть до 1970-х годов её имя в списке пассажиров не упоминалось. Хотя мысль о «запломбированном поезде» первоначально принадлежала Мартову, ехать с Лениным он отказался. Он хотел дождаться официального приглашения вернуться от Петроградского Совета и уверения, что его впустят обратно в Россию. Это был медленный и громоздкий процесс. Он добрался туда на месяц позже. Плеханов же вернулся неделей раньше, через Францию и Англию, и был встречен в Петрограде как герой

Блох сумел приблизиться к Ленину и сказать: «Мы надеемся, что ещё увидим вас среди нас». Ленин засмеялся и ответил: «Что ж… это был бы не очень хороший политический знак».

На платформе, откуда отходил местный поезд к швейцарско-германской границе, в Шаффхаузен, Ленин некоторое время стоял один, нервный и неловкий, каждые несколько секунд поглядывая на часы. Луначарский славился своей склонностью преувеличивать и романтизировать, но временами бывал наблюдателен. Он говорил, что в эту минуту Ленин выглядел человеком, думающим: «Наконец-то, наконец-то совершается то, для чего я был создан». Ленин поднялся в вагон, и когда он искал своё место, Радек спросил, что он чувствует. Ленин свистнул и сказал: «Через полгода мы либо будем болтаться на виселице, либо будем у власти».

Произошла потасовка, когда германский революционный журналист Оскар Блюм прорвался сквозь толпу и попытался вскочить в поезд, чтобы присоединиться к русским. Ленин собственноручно выкинул его из вагона, будучи убеждён, что этот незваный человек — полицейский шпион.

Ровно в 3 часа 10 минут, под свист, насмешки и гул толпы, выстроившейся вдоль платформы, поезд медленно отошёл от станции. Впереди Ленина ожидало семидневное путешествие, прежде чем он достигнет родины.[12]

«Запломбированный поезд» ждал на станции Готтмадинген, крошечной станции уже на германской стороне границы. Он состоял из паровоза, зелёного вагона с тремя купе второго класса и пятью купе третьего класса с жёсткими деревянными скамьями, а позади шёл багажный вагон. В каждом конце пассажирского вагона имелся клозет, но спального вагона не было. Два германских офицера сопровождали их через всю Германию до балтийского порта Засниц. Они заняли купе в хвостовой части вагона, и прежде чем поезд тронулся, один из них провёл мелом черту по одной стороне коридора, обозначив место, с которого начиналась «германская» половина вагона. Правило было таково: ни словом не обмениваться между германскими солдатами и русскими. Три из четырёх дверей вагона были заперты. Согласно соглашению, ни в один момент не должны были проверяться их паспорта или какие-либо другие документы. Их лишь пересчитали при въезде в Германию.

Ленин и Надя потребовали себе отдельное купе второго класса, чтобы он мог немедленно приступить к работе наедине. Он правил брошюру, писать которую начал и почти закончил; позднее она станет известна как Апрельские тезисы — один из самых резких его «отходов» от марксистской ортодоксии, после смерти Ленина сделавшийся обязательным чтением в советской школе. В немногим более чем десяти тысячах слов Ленин полностью переворачивал марксово учение о том, что всякое общество должно сперва пройти через «буржуазный», капиталистический период как первую стадию, прежде чем может совершиться социалистическая революция. Он провозглашал, что отсталая, преимущественно аграрная, крестьянская Россия может перескочить через индустриальную, капиталистическую фазу развития и дать толчок социалистической революции, которую вскоре повторит вся Европа. И он более или менее точно намечал, каким образом большевики захватят власть в России и установят «диктатуру пролетариата». Это были мысли опьяняющие, и, как он говорил, записывать их было нелегко. Сосредоточиться в поезде ему удавалось с трудом.

Делиться длительным железнодорожным путешествием с Лениным в столь тесной близости, должно быть, было мукой для остальных пассажиров. И в лучшие времена он был суровым и

---

[12] Отъезд со станции в Швейцарии: Karl Radek, «V plombirovannom vagone», Pravda, 20 April 1924; Platten, с. 19; и Rappaport, с. 232–233.

придирчивым наставником, но в этой поездке, при столь огромных рисках и столь высоких возможных наградах, его возбуждение и частые вспышки нервной энергии были доведены до крайнего напряжения. Ощущение драматизма и восторг от того, что находишься рядом с ним в минуту, когда творится история, — это одно. Но он был властен, груб и любил командовать, а выносить его беспрестанные брюзгливые жалобы — это уже совсем другое.

Поезд покинул Готтмадинген вскоре после 10 часов вечера. Не прошло и часа, как Ленин уже говорил Наде, что не может выносить шум из соседнего купе и что работать в таких условиях невозможно — «это просто нестерпимо». В соседнем купе стоял громкий смех и царило всеобщее приподнятое настроение. Он слышал пронзительный, скрипучий смешок Равич и басово-баритональный голос низкорослого, волосатого и необыкновенно учёного поляка Радека — «маленького революционного гнома, блестящего мима, полного остроумия и забавных парадоксов», — который рассказывал одну шутку за другой. Ленин признавал, что Радек может быть полезен как популярный журналист и агитатор, но всегда считал его «несносным дураком». Он сказал Наде, что больше терпеть этот шум не станет, решительно вошёл в соседнее купе, взял Равич под руку и пересадил её в более тихое купе дальше по коридору. Некоторые товарищи пытались протестовать; Ленин попросту не обращал на них внимания.

Затем его стал раздражать густой табачный дым, быстро наполнивший едва ли не весь вагон. Ленин ввёл в поезде запрет на курение и разрешил курить только в двух уборных. Как и следовало ожидать, немедленно образовалась длинная очередь, и между пассажирами начались шумные и ожесточённые ссоры — большинство русских революционеров той эпохи были заядлыми курильщиками. Ленин нашёл, как ему казалось, социально справедливое решение: он достал бумагу и аккуратно нарезал её на полоски для употребления в виде «билетов», один комплект — для курения, другой — для обычного пользования уборной. Естественно, распорядителем этих билетов стал сам Ленин. Это был самый ранний известный пример ленинской, коммунистически устроенной системы нормирования: навязанной сверху, не допускающей возражений и вызывающей у многих максимальное угрюмое недовольство.[13]

Путь был долгим и медленным. Поезд редко шёл быстрее сорока километров в час, но немцы соблюдали свою часть договора. В одном месте они задержали воинский поезд, на котором находился кронпринц Вильгельм, чтобы дать Ленину преимущество. И всё же в Берлине партия простояла почти двадцать часов — мучительное ожидание, в течение которого им не позволяли покидать вагон. Продовольствие подходило к концу. Многие русские привезли с собой кое-какие припасы — хлеб, сыр, шоколад, — но всё давно было съедено, а выйти и купить еду никому не позволяли.[14]

В какой-то момент группа германских социал-демократов попыталась встретиться с русскими и переговорить с Лениным. Они уже достигли ступенек вагона, но им сказали, что если они

---

[13] Ленин как суровый педант в пути: Radek, «Lenin's "Sealed Train"»; Merridale, с. 82–86; и Rappaport, с. 231–234.

[14] Было множество догадок о том, почему поезд так долго простоял в Берлине. Самое очевидное объяснение состоит в том, что во время войны вся германская железнодорожная сеть была страшно перегружена — она была подчинена обеспечению быстрой переброски войск и снаряжения, и множество поездов задерживалось. Но различные историки утверждали, будто истинной причиной было стремление дать Ленину возможность провести тайную встречу с германскими чиновниками. Говорили, что ночью он встречался в министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе с высокопоставленными генералами и министрами и что ему были переданы миллионы марок золотом. Нет никаких доказательств того, что подобная встреча вообще состоялась, и это представляется крайне маловероятным. Немцы, несомненно, давали деньги большевикам, но делали это более тонкими путями и через посредников. И едва ли Ленин, предпринявший столь большие усилия, чтобы германская помощь оставалась «отрицаемой», пошёл бы на риск личной встречи с германскими официальными лицами.

двинутся хоть ещё шаг, их попросту сбросят с поезда. Ещё один день ушёл на то, чтобы добраться до Засница. Ленин, по словам Нади, за весь путь едва ли хоть раз взглянул в окно, чтобы своими глазами увидеть условия военной Германии. Он был поглощён переписыванием своих Тезисов. Когда группа добралась до крошечного порта, около 6 часов вечера, они уже опоздали на последний паром через Балтийское море в Треллеборг. Им пришлось провести ещё одну неудобную ночь в запломбированном вагоне. Когда же на следующее утро они вышли в море, день был ледяной, а море бурным. Всех страшно мутило, кроме Радека, Зиновьева и Ленина, который все пять часов без устали ходил по палубе, озабоченно глядя вперёд. Пока он писал Апрельские тезисы, он уже выработал стратегию свержения Временного правительства в Петрограде, но выпадет ли ему возможность? В какой-то момент он спросил Зиновьева: «Арестуют ли нас, едва мы достигнем России?» Зиновьев не нашёл, что ответить.[15]

На пристани ранним вечером в пятницу их встретил Ганецкий, и ему пришлось спешно вести их на поезд до Мальмё, который должен был отправиться через пятнадцать минут. Примерно через час социал-демократы Мальмё встретили голодных эмигрантов шведским столом, который русские — даже Ленин — «уничтожили с невероятной быстротой… они напоминали шайку варваров», по словам одного из служащих ресторана. Поздно ночью они сели в ночной спальный поезд до Стокгольма.

История о запломбированном поезде и странствиях «экзотических» русских радикалов стала в Швеции большой новостью. Впервые где бы то ни было в газете появился портрет Ленина, а солидная шведская ежедневная газета Politiken поместила очерк о человеке, обещавшем революцию в России и, после прихода к власти, окончание войны. В Стокгольме его чествовали повсюду, куда бы он ни являлся. На вокзале его встречал Карл Линдхаген, бургомистр города, угостивший его завтраком; а днём шведские социалисты устроили в гостинице Regina приём в его честь. Он отказался давать интервью, но написал пресс-релиз, объясняя, почему согласился ехать через Германию: немцы ему не «помогали», это было лишь дорожное соглашение, утверждал он. И он категорически отрицал, что он сам или большевики приняли какие-либо немецкие деньги.

Парвус специально приехал из Копенгагена и просил о встрече, но Ленин отказал ему наотрез. Он позаботился о том, чтобы рядом были два большевистских свидетеля, которые слышали этот отказ и могли позднее о нём рассказать.

Пять дней отрезанный от новостей, Ленин внимательно читал газеты. Он, как вспоминал один из его спутников, «впал в бешенство», когда увидел доказательства того, что Малиновский был двойным агентом. Временное правительство упразднило охранку и частично раскрыло её архивы, из которых неопровержимо следовало, что Малиновскому выплачивались огромные суммы как полицейскому осведомителю. «Как этот мерзавец мог так долго водить нас за нос?» — риторически спросил он Надю.

Весь день был занят встречами с социалистическими политиками и большевистскими эмигрантами в Скандинавии, но всё же он нашёл время и для покупок. С неохотой, поддавшись уговорам Радека и Нади, он согласился купить себе новую одежду. «Я ведь не собираюсь открывать в Петрограде лавку готового платья для господ», — ворчал он. Но его убедили, что человек, возвращающийся, чтобы взять власть в России, должен и внешне выглядеть соответствующе. Пальто и костюм, в которых он ехал, были совсем заношены; единственной обувью при нём были подбитые гвоздями башмаки, сшитые ему господином Каммерером в Цюрихе, а дерби потеряло всякую форму. «Он походил на рабочего, отправившегося в

[15] Ленин — Зиновьеву: цит. по Louis Fischer, с. 317, а также у Radek, «V plombirovannom vagone».

воскресный загородный выезд при ненадёжной погоде», — говорил один из шведов, видевших его.

В сопровождении Радека он отправился в самый фешенебельный стокгольмский универмаг, Bergström's, и купил хороший новый костюм и приличные чёрные башмаки. «Скорее всего, именно опрятный вид наших невозмутимых шведских товарищей пробудил в нас страстное желание, чтобы Ильич хоть сколько-нибудь походил на человеческое существо», — говорил Радек. Ленин купил также котелок и ещё одну вещь, которой прежде никогда не носил, — тёмно-серую рабочую кепку с козырьком. Вскоре она станет его отличительным головным убором.[16]

Вскоре после 6.30 вечера группа Ленина собралась, чтобы сесть на ночной поезд в Финляндию, на последнем отрезке пути к Российской империи. На станции собралось около сотни человек проводить их, и на этот раз в руках у них были букеты цветов и корзины с фруктами, а не оскорбления и насмешки, какие они встретили в Цюрихе. «Ленин был в центре всеобщего внимания», — говорил один из шведов, присутствовавших в тот вечер. Он улыбался и сиял, махая из окна вагона, когда поезд отошёл от платформы.

У британцев была возможность не допустить Ленина в Россию, и они всерьёз раздумывали, не воспользоваться ли ею. Они рассматривали возможность надавить на нейтральную Швецию, чтобы она отказала ему в выездной визе и задержала его на границе. Британский министр в Стокгольме сэр Эсме Говард позднее писал: «На одно лихорадочное мгновение министры союзных держав обсуждали, нельзя ли, разумеется, при содействии шведских властей, задержать архиреволюционера на его пути через страну. Но план этот показался неосуществимым. Он грозил лишь усугубить положение… к тому времени революция в России зашла так далеко, что казалось разумнее дать событиям идти своим чередом, нежели вмешиваться».[17]

Однако британское министерство иностранных дел всё же телеграфировало Керенскому, тогдашнему министру юстиции Временного правительства, спрашивая, «не была ли допущена ошибка, позволив Ленину вернуться». Ответ пришёл быстро: в нём настаивалось, что новое правительство России «покоится на демократическом основании… группе Ленина следует позволить въехать». Британцы контролировали тот отдалённый пограничный пункт, к которому теперь направлялся Ленин: Торнео, в мрачной местности болот и топей, мимо которой история в течение многих столетий проходила стороной. Теперь же это был оживлённый железнодорожный узел и главный маршрут, по которому западные союзники отправляли в Россию жизненно важные военные материалы и военных советников. Вся местность кишела британскими солдатами, торговцами, заключавшими сомнительные сделки, — и шпионами самых разных держав.

Путешествие поездом из Стокгольма заняло два дня по кружному пути вокруг Ботнического залива. Но по крайней мере у Ленина и Нади было купе со спальными полками, которое они делили с Инессой и молодым большевиком из Грузии Давидом Сулиашвили. Ленин не мог спать. Он находился в состоянии крайней тревоги, всё ещё бился над Апрельскими тезисами и опасался, что британцы не позволят ему пересечь границу, а если и пропустят, то Временное правительство арестует его, едва он ступит на финляндскую землю.

И ещё он был в ярости из-за последних известий о том, чем занимались в Петрограде большевики в его отсутствие. Ему попались русские газеты, и он прочёл несколько последних

---

[16] Ленин в Стокгольме: Platten, с. 35; Radek, «V plombirovannom vagone»; и Rappaport, с. 236–237.

[17] Цитата Эсме Говарда, «let things take their course»: Louis Fischer, с. 286.

номеров Правды. Большевистская газета была легализована в первый же день после Февральской революции и совместно редактировалась Каменевым и Сталиным, которых освободили из ссылки в то же время. Когда Ленин увидел, что газета — от имени партии — утверждает, что войну следует продолжать, он, по словам Нади, впал «в один из своих гневов» и почти весь путь оставался в этом состоянии. «Эти идиоты могут всё погубить», — сказал он. Лишь спустя несколько часов он немного успокоился.[18]

Но главной заботой было всё же добраться до России. Конечной станцией на шведской стороне была Хапаранда. Ленину и его спутникам пришлось сойти с поезда и пересаживаться в конные сани, по двое, чтобы преодолеть последние полтора километра через замёрзшую реку до Торнео. Когда его сани достигли пограничного поста, Ленин размахивал красным шарфом, привязанным к альпенштоку, и, как он и подозревал, пост этот был занят британскими войсками, предупреждёнными о том, что к ним направляется опасный революционер. У солдат был приказ пропустить их, но устроить им суровый допрос и унизительную, неприятную процедуру.

Молодой британский контрольный офицер Гарри Грунер был одним из сотрудников MI5, дежуривших там. В ледяную ночь он задержал их на посту на долгие часы, пока каждого поодиночке не обыскали донага. Жена Зиновьева Зина никогда не забыла этого унижения. «Нас раздели донага, — вспоминала она. — Меня и сына заставили снять чулки… Все наши документы, равно как детские книги и игрушки, которые сын взял с собой, были отобраны». Ленин был обыскан и допрошен. Что именно неопытный молодой разведчик надеялся узнать от такого человека, как Ленин, — остаётся тайной. Вещи всей группы были тщательно перерыты; в конце концов Грунеру не осталось ничего иного, как пропустить их. Годами спустя товарищи поддразнивали его за то, что он отпустил «Ленина, самого опасного человека в мире, на свободу». Ему говорили: «Светлая у тебя голова — запирать конюшню после того, как лошадь уже выскочила, или, точнее, уже вскочила внутрь». [19]

Напряжение спало в ту минуту, когда они пересекли границу. Ленин улыбался и сиял, входя в вагон третьего класса финляндского поезда, который Шляпников отправил в Торнео. Когда поезд тронулся, он встал, поднял правую руку, сжал кулак и обратился к спутникам: «Теперь мы на родной земле. Мы покажем им, что являемся достойными хозяевами будущего».[20]

.

---

[18] Ленин в ярости из-за статей в Pravda, поддерживавших войну: Krupskaya, Reminiscences, с. 239.

[19] Писатель Уильям Герхарди, его коллега, полушутя высказывал мысль, что, быть может, один лишь Грунер и несёт ответственность за то, что привёл к большевистской революции. «Будь он японцем, он совершил бы харакири».

[20] Женщины, подвергнутые обыску с раздеванием британскими солдатами: Zina Lilina, «Tov: Lenin edet v Rossiyu», Leningradskaya Pravda, 16 April 1924. Британский агент Гарри Грунер, пропустивший Ленина в Финляндию: Giles Milton, Russian Roulette: How British Spies Thwarted Lenin's Global Plot, London, 2013

ГЛАВА 29. Финляндский вокзал

«Люди, воображавшие, что они совершили революцию, всегда уже на следующий день убеждались, что сами не знали, что делают, и что совершённая ими революция совсем не походила на ту, какую они хотели совершить».
Фридрих Энгельс (1820–1895)

«Всё так ужасно хорошо и так по-русски», — восторженно сказала Надя одному из своих спутников, когда поезд мчался сквозь знакомые берёзовые леса, озёра и маленькие финляндские городки — Таммерфорс, Куоккала, Териоки, все места, хорошо знакомые ей и Ленину. Более шести часов они ехали в «обшарпанном, неудобном купе» с деревянными реечными сиденьями, но были счастливы — «почти дома, мы прильнули лицами к окнам». С ними в вагоне ехала группа русских солдат, и Ленин принялся читать им наставления о «хищнической» войне и о том, как социалистическая революция принесёт мир, — «пока он доказывал достоинства “пораженчества”, солдаты таращились на странного философа, разинув рты». Это был пасхальный понедельник, 3 апреля по григорианскому календарю, и многие пассажиры ели пасху, традиционный русский пасхальный кулич, которого большинство изгнанников не пробовали уже много лет.

Под вечер, под моросящим дождём, они прибыли на железнодорожный узел Риихимяки и пересели там на главный путь Гельсингфорс—Петроград. Перед ними оставалось ещё одно, последнее препятствие, прежде чем они действительно окажутся «дома». Примерно через час им предстояло достичь границы собственно России, и всё ещё оставалась возможность, что Временное правительство распорядится арестовать большевистских эмигрантов. Теперь это казалось менее вероятным, но Ленин всё ещё нервничал и, как заметил Радек, «явно выглядел напряжённым».[1]

Но вместо правительственных солдат или полиции в пограничном городке Белоостров около девяти часов вечера Ленина встретил приветственный комитет из десятков ликующих местных жителей и нескольких высокопоставленных большевиков. Из Петрограда приехала повидать его сестра Мария. К ней присоединились Шляпников, Лев Каменев и Фёдор Раскольников, молодой офицер с военно-морской базы в Кронштадте, поднявший мятеж во время революции и ставший главным большевистским агитатором на флоте. Александра Коллонтай преподнесла Ленину букет промокших и увядающих цветов. Она должна была произнести речь, но — странное дело для неё, обычно она была весьма искусной ораторшей — она занервничала, запнулась и застыла. Вместо этого она поцеловала его в щёку; Ленин отпрянул и выглядел изумлённым.

Пока паспортные и таможенные чиновники проверяли документы возвращавшихся эмигрантов, паровоз № 293 Финляндской государственной железной дороги был украшен большим красным флагом и революционными гирляндами. До Петрограда оставался короткий переезд, не более часа. Ленин мог бы употребить это время на размышление о чрезвычайной, драматической неделе своей жизни и с удовлетворением подумать о том, что его не увели в тюрьму. Или же мог бы попытаться немного расслабиться. Но вместо этого он разыскал Каменева и начал отчитывать его за статьи, которые тот публиковал в Правде и которые, казалось, свидетельствовали о большевистской поддержке войны. «Что за идиотизм», — сказал он. Каменев побледнел и выглядел встревоженным, когда Ленин обратил его внимание на одну конкретную статью, где было написано: «Лозунг “Долой войну” абсолютно непрактичен. Когда армия стоит против армии, было бы самой глупой политикой предлагать одной из них сложить

[1] Финляндия показалась Наде и Ленину знакомой: Krupskaya, Reminiscences, с. 245.

оружие и разойтись… это была бы не политика мира, а политика рабства. Пока германская армия повинуется приказам кайзера, русский солдат должен твёрдо стоять на своём посту, отвечая пулей на пулю, снарядом на снаряд». Ленин сказал Каменеву, «что когда мы читали эту чепуху, мы вас по-настоящему ругали. Это вздор. Для нас главное — прекратить войну… чего бы это ни стоило».[2]

Для Ленина было весьма характерно, что первым делом по возвращении домой после почти семнадцати лет изгнания он обрушился с бранью на одного из своих подчинённых за политическое отступление от линии.

В Петрограде большевики устроили Ленину торжественную, шумную встречу. В последующие годы граждане коммунистических государств привыкли к большим постановочным церемониям и массовым митингам по великим дням и праздникам социалистического правления — например, в Первомай или в годовщину Октябрьской революции. Это составляло важную часть советского образа жизни. Даже когда некоторые коммунистические режимы оказывались совершенно беспомощны почти во всём прочем, они всё же всегда умели устроить хороший парад. Это возвращение Ленина, Вождя из-за воды, было первообразом всех подобных зрелищ, и ранние большевики были полны решимости провести его как следует. С самого утра партийные активисты разъезжали по казармам и рабочим кварталам Петрограда, расклеивая афиши: «Ленин приезжает сегодня. Встречайте его». Заводы были закрыты по случаю Пасхи, был праздничный день, и, возможно, многих соблазнил ложный слух, ходивший по городу, будто всякий, кто явится, получит бесплатное пиво. И всё же странно, что так много людей пришло поздним часом, в пронизывающий холод, к Финляндскому вокзалу встречать его, — особенно если учесть, что почти никто не имел ни малейшего представления, как Ленин выглядит. Его фотография никогда не появлялась в русской печати, даже в Правде.

Однако уже с половины десятого вечера, в жгуче холодную и сырую ночь, тысячи людей стекались к неприметному Финляндскому вокзалу, в ту пору тусклому на вид провинциальному зданию, а не великому узлу международных сообщений, достойному современной столицы. «Толпа перед вокзалом запрудила всю площадь, делая движение почти невозможным и едва пропуская трамваи», — записал Николай Суханов, видный петроградский меньшевик, чья неуёмная энергия и обширные связи сделали его превосходным историком революции. В «императорском зале ожидания» играл полковой оркестр, а на привокзальной площади были выставлены три бронеавтомобиля. Огромные красные флаги драпировали здание станции. Для пущего драматического эффекта большевики убедили гарнизон Петропавловской крепости одолжить им громадный установленный на лафете прожектор, который был включён ещё в сумерках и озарял всю сцену эффектным светом.

Поезд Ленина прибыл в 11 часов 10 минут вечера. Почётный караул с Кронштадтской военно-морской базы в красно-синих мундирах и фуражках с красными помпонами был готов встретить высокого гостя. Оркестр заиграл «Марсельезу», ещё не умея исполнять «Интернационал». Но поначалу немногие из матросов и солдат — да и из рабочих и разнообразных любопытствующих, толпившихся на станции, — узнали в коренастом человеке в потёртом пальто, с остроконечной бородкой и в котелке, сошедшем на платформу, Ленина. Лишь спустя несколько мгновений, когда распространилась весть о том, кто именно из вернувшихся изгнанников был Ленин, поднялся хор приветственных криков, но эта реакция запоздала. Позднее Надя говорила, что

[2] Провоенный редакционный текст Каменева: Pravda, 31 March 1917.

всё, чего Ленин «на самом деле хотел, — это чашку чаю». Но возбуждение минуты овладело и им.

Его официально приветствовал Николай Чхеидзе, меньшевик и председатель Петроградского Совета, но Ленин демонстративно его проигнорировал. Ни один из них не выносил другого. Ленин считал меньшевика «отвратительным оппортунистом»; его соперник видел в Ленине опасного экстремиста и «смутьяна». Чхеидзе произнёс многословную речь о необходимости сотрудничества между социалистами. Ленин всё время теребил лацкан пальто и выглядел скучающим. Где-то к этому моменту он успел переменить головной убор, сняв свой котелок и надев фуражку, купленную в Стокгольме.

Он взобрался на стул, который для него раздобыл один из солдат, начал говорить — и пренебрёг всем, что только что сказал умеренный Чхеидзе. Теперь не время для компромиссов и дипломатических фраз, заявил он. Теперь время двигаться к созданию социалистического государства. «Разбойничья империалистическая война есть начало гражданской войны по всей Европе… Недалёк час, когда народ обратит оружие против капиталистических эксплуататоров. Всемирная революция уже занялась. Германия кипит… Со дня на день весь европейский капитализм может рухнуть. Я ещё не знаю, верите ли вы всем обещаниям Временного правительства. Но одно я знаю наверняка: когда они расточают вам сладкие обещания, вас обманывают точно так же, как обманывают всё русское население. Народу нужен мир. Народу нужны хлеб и земля. А вам дают войну и голод — и помещики по-прежнему владеют всей землёй. Матросы, товарищи, мы должны бороться за социалистическую революцию, бороться до конца. Да здравствует всемирная социалистическая революция». Большая часть толпы приветствовала его с восторгом, но Суханов услышал, как небольшая группа солдат сердито ворчала. «Такому бы штык в бок», — пробормотал один из них. «Спустился бы он сюда, мы бы ему показали. Должно быть, немец», — сказал другой.

Было уже почти за полночь, когда Ленину удалось наконец покинуть вокзал. Группа матросов подняла его на броневик, и тот, сверкая фарами, помчал его по улицам Петрограда в штаб-квартиру большевистской партии.[3]

Кто-то, наделённый тонким чувством иронии, во Временном правительстве отвёл большевикам в качестве базы роскошный особняк Кшесинской. Талантливая балерина Матильда Кшесинская была любовницей Николая II ещё до его женитьбы и восшествия на престол. С тех пор ей пришлось довольствоваться чередой великих князей, в том числе и нынешним её поклонником, двоюродным братом императора великим князем Андреем Владимировичем. Царь подарил ей огромную неоклассическую виллу в центре города, и она обставила её в самом пышном вкусе русского великолепия той эпохи — бархатные шторы, расписные потолки, люстры в виде лебедей, громадные зеркала и обилие позолоты. Большую часть мебели вывезли, когда правительство реквизировало особняк «именем революции», заменив её простыми стульями и несколькими безобразными голыми столами. Но, как признавал Шляпников, даже после этого он всё ещё оставался странным местом для собрания радикалов. «Он больше подходил для отправления профессии Кшесинской, чем для ведения дел большевистской партии, — там было полно ванных комнат, бассейнов и тому подобного», — говорил он. Троцкий ненавидел этот

[3] Прибытие Ленина на Финляндский вокзал в пасхальный понедельник 1917 года лучше всего описано у Sukhanov, с. 86–90, и Robert Payne, The Life and Death of Lenin, New York, 1965, с. 288–292.

особняк. По его словам, даже когда в нём толпились десятки большевистских рабочих и солдат, он всё равно пах «сатиновым гнездом придворной балерины».[4], [5]

На последнем отрезке пути Ленин не спал двое суток. Как говорила Надя, он был слишком взвинчен, но, должно быть, его держал на ногах прилив адреналина. Он поужинал чаем и бутербродами в обществе шестидесяти ведущих петроградских большевиков и нескольких случайных прилипал. Около часу ночи, в обширной приёмной на первом этаже, он встал у мраморного камина с позолоченными подпорами в виде чернокожих фигур и произнёс двухчасовую речь, в которой доказывал необходимость немедленного захвата власти Советами. Это было выступление поистине чрезвычайное — ясное, непреклонное изложение большевистских целей, в котором сама мысль о компромиссе и переговорах не прозвучала ни разу. Крестьяне, говорил он, должны захватывать землю в деревне, не дожидаясь никакого дозволения; вооружённые рабочие должны патрулировать улицы и вершить «революционное правосудие» над эксплуататорским классом; русские войска должны добиться мира, братанием с германскими солдатами на фронте. «Нам не нужна буржуазная демократия. Нам не нужна парламентская республика. Нам не нужно никакое правительство, кроме власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Меньшевик Суханов оставил единственное описание того, как Ленин выглядел в ту ночь. По его словам, он был поражён — если и ужаснулся. «Я никогда не забуду этой громоподобной речи, которая поразила и изумила не только меня, еретика, случайно забредшего сюда, но и самих правоверных. Я уверен, никто не ожидал ничего подобного». В этой речи не было ни остроумия, ни пафоса, она была упрощённой, «но Ленин умел вколачивать, вколачивать и вколачивать свои идеи в головы слушателей, пока не овладевал ими всецело. Мне казалось, будто меня били по голове цепами».

Аплодисменты были восторженными, а вскоре за ними последовало бурное пение революционных песен. Когда Ленин кончил, он выглядел совершенно измученным, но выбраться оттуда ему удалось лишь на рассвете.[6]

---

[4] После большевистской революции Матильда Кшесинская встретилась с Шляпниковым, умоляя вернуть ей её вещи. Она пустила в ход все средства, включая слёзы, но аскетический революционер остался непреклонен. Она потеряла почти всё, в том числе особняк и чемодан драгоценностей, подаренных ей царём. Однако ей позволили покинуть Россию, и она уехала в свой дом на Кап-д'Антибе, который тоже был подарком Николая. В конце концов она вышла замуж за своего великого князя Андрея.

[5] Троцкий о дворце Матильды Кшесинской и его истории: цит. по Trotsky, History of the Russian Revolution, и Barbara Allen, Alexander Shlyapnikov, 1885–1937: The Life of an Old Bolshevik, Leiden, 2015.

[6] Речь Ленина к большевикам в партийной штаб-квартире: Sukhanov, с. 91–93.

ГЛАВА 30. Междуцарствие

«Революция была совершена на улицах, а правительство — в салонах».
Николай Суханов (1882–1940)

«И кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране».
Марина Цветаева, об Александре Керенском,
Лебединый стан, *июль 1917 года*

Ленин наконец немного поспал. Оставив поющих большевиков в особняке Кшесинской, он в реквизированном автомобиле был отвезён в квартиру своей сестры Анны на Широкой улице, в зажиточном, буржуазном районе Петрограда, где и прожил два месяца после своего возвращения. Утром он и Надя в полной мере осознали, что их изгнание подошло к концу. «Когда мы остались одни… мы оглядели комнату, — рассказывала Надя. — Это была самая обыкновенная городская квартира. И мы тотчас почувствовали, что теперь и впрямь находимся в Питере и что все эти Парижи, Женевы, Берны и Цюрихи уже действительно ушли в прошлое». Это была первая его встреча с племянником Горой, которому теперь было двенадцать лет и которого Анна и Марк Елизаровы усыновили шестью годами ранее. Между ними быстро установилась близость, и почти сразу они уже непринуждённо играли вместе. В какой-то момент они шумно боролись и подняли в квартире настоящий грохот. Сестра рассердилась: «Володя! Ну вот, ты совсем его замучил, оставь бедного мальчика в покое. Смотри… ты стол сломал».

Первым его выходом из квартиры тем утром было посещение могилы матери и сестры Ольги на Волковом кладбище. Владимир Бонч-Бруевич, старый друг семьи и преданный большевистский функционер, который девять месяцев назад нёс гроб Марии Александровны на её похоронах, отвёз его туда, но тактично держался в стороне, когда Ленин подошёл к могиле с простым надгробием. «Всегда спокойный, всегда вполне владеющий собой, Владимир Ильич никогда, особенно в присутствии посторонних, не раскрывал всей глубины и сокровенности своих чувств. Но все мы знали, как нежно и сердечно он относился к своей матери, и, зная это, понимали, что путь к маленькому холмику на Волковом кладбище был одной из самых трудных дорог, которыми он когда-либо шёл».[1]

Не имея более времени для сентиментальности, Ленин вернулся к политике. Весть о его зажигательной речи накануне вечером уже разнеслась повсюду. Даже ближайшие его сторонники были озадачены его тактикой и крайним радикализмом, его призывом к восстанию и требованием революции немедленно. Его оптимизм — «если мы нажмём… победа нам обеспечена», как он сказал, — казался многим в его кругу опрометчивой, утопической мечтой. Поздним утром на следующий день после приезда в Петроград он присутствовал на совместном собрании большевиков и меньшевиков в великолепном Таврическом дворце. Его встретили свистом, криками и улюлюканьем с обеих сторон. Один из видных большевиков, Павел Лебедев, земляк Ленина по Поволжью, прямо сказал ему, что они «сбиты с толку, большинство из нас… Думаю, товарищ Ленин, это можно объяснить только вашим слишком долгим отрывом от

[1] Ленин у могилы матери: Vladimir Bonch-Bruevich, Vospomonanii o Lenine, Moscow, 1985, c. 43.

русской жизни». Другие были гораздо менее вежливы. «Всё, что вы говорите, похоже на бред сумасшедшего», — крикнул ему меньшевик Борис Богданов, один из руководителей Совета. «Слушать эту чепуху просто омерзительно». Иван Гольденберг, некогда входивший в Центральный комитет большевиков и хорошо знавший Ленина, заявил, что проповедь гражданской войны — это «опасная бессмыслица, но, разумеется, бесполезно говорить о единстве с человеком, лозунг которого — раскол. Ваша программа означает восстание, а оно приведёт нас… к анархии. Это тактика, от которой веет чем-то старым — первобытным анархизмом».[2]

Когда шум утих, Ленин был спокоен и повторил те же непреклонные положения, которые высказал накануне вечером и которые вскоре будут напечатаны в Петрограде как Апрельские тезисы. «Никаких компромиссов с Временным правительством быть не может, ибо оно всё равно не в состоянии удержаться. Вся власть должна перейти к Советам», — заявил он. Войну следовало немедленно прекратить; армию, полицию и гражданскую службу — упразднить; банки и «командные высоты» экономики — национализировать. Всё надлежало разрушить прежде, чем строить заново уже при социализме.

Министры Временного правительства поздравляли себя с тем, что проявили предусмотрительность, разрешив Ленину вернуться в страну, будучи уверены, что его крайности лишь облегчили им жизнь. Лидер эсеров Виктор Чернов, министр земледелия, говорил, что идеи Ленина столь радикальны и столь «безумны», что «опасность большевиков останется ограниченной и локализованной». Князь Львов, председатель правительства, сказал Владимиру Набокову — отцу писателя, своему ближайшему помощнику и управляющему делами Кабинета, — «Не тревожьтесь из-за Ленина. Этот человек не опасен, а кроме того, мы можем арестовать его, когда захотим». Во вторник вечером, уже после прибытия Ленина, министр иностранных дел Павел Милюков, глава кадетов и прежде, до ухода в либеральную политику, высоко ценимый историк, уверенно говорил друзьям за обедом, что идеи большевистского вождя «совершенно неприемлемы… Теперь, оказавшись в России, он лучше разберётся». Хотя Ленин находился в стране менее суток, министр уже списывал его со счетов. «Ленин — человек совершенно погибший».[3]

За одну ночь революция принесла в Россию политические свободы, каких страна прежде не знала — и едва ли потом ещё когда-нибудь знала. Люди могли говорить, писать и читать то, что хотели, — то, чего не могли делать уже год спустя, да и их правнуки сто лет спустя тоже. В считаные дни на улицах Петрограда, Москвы и других городов появились десятки газет, выражавших самые разные оттенки мнений. Но вместе с этими свободами пришли анархия, насилие и распад законности и порядка, который правительство было не в силах предотвратить.

Сразу после революции падение династии Романовых вызвало бурное ликование. Статуи исторических царей свергались, имперские эмблемы, вроде двуглавого орла, уничтожались среди стихийных празднеств по всей стране. Особенно радостно это происходило на окраинах империи, от Варшавы до Тифлиса, где многие надеялись, что революция вскоре приведёт к национальной независимости. Повсюду республика была делом чрезвычайно популярным. Пошлые, полупорнографические анти-монархические брошюры с названиями вроде Тайны Романовых, Ночные оргии Распутина и Лживая злоба немки расхватывались мгновенно. Все учреждения прежнего режима подверглись нападкам.

---

[2] Ленин в Таврическом дворце: Sukhanov, с. 103.

[3] Ленинский «экстремизм», цитаты князя Львова и Павла Милюкова: Figes, с. 487.

Но торжество очень скоро уступило место чему-то более мрачному: жажде мести, которую Ленин и большевики поспешили использовать, тогда как другие социалисты были убеждены, что она погубит идеалы, за которые они боролись многие десятилетия. «Самосуд, разрушение домов и лавок, глумление и нападения на чиновников и посторонних лиц, самочинные аресты, обыски и избиения без всякого повода — всё это ежедневно отмечается», — с тревогой признавал один восторженный революционер уже через две недели после Февральской революции.

Горький поддерживал восстание 1905 года и свержение царя, но ненавидел бездумное «разрушение толпы… анархическая волна плебейского насилия и мести… [привела] страну к новому тёмному веку варварского хаоса», — говорил он. Другие интеллигенты ужасались тому, что уничтожаются все символы старого порядка и все следы прежней русской цивилизации: национальные памятники, старые здания, библиотеки, произведения искусства. «Это борьба культуры с анархией», — писал Горький в мрачной статье в своей газете Новая жизнь. И он же писал жене Екатерине о своём любимом Петрограде: «Это уже не столица, а помойная яма. Никто не работает; улицы грязны; во дворах груды вонючего мусора. Мне больно говорить, до чего всё дошло. В народе нарастает праздность и трусость, и все эти низменные и преступные инстинкты… кажется, губят Россию».[4]

Однако не все соглашались с этим. Александр Блок полагал, что насилие будет «очистительным», катарсическим, но необходимым способом исцеления вековых ран. Троцкий видел в этом всплеске насилия нечто предсказуемое, понятное и оправданное. «Естественно, что люди, не привыкшие к революции и её психологии, или те, кто прежде переживал всё происходящее лишь в сфере идей… могут смотреть с печалью, если не с отвращением, на ту анархическую дикость и жестокость, которые выступили на поверхность революционных событий. И всё же в этой буйной анархии, даже в самых отрицательных её проявлениях, когда солдат, вчерашний раб, вдруг очутился в вагоне первого класса и разорвал бархатную обивку, чтобы сделать себе портянки, — даже в таком акте вандализма выражалось пробуждение личности. Этот забитый, преследуемый русский крестьянин, которому били по лицу и осыпали самыми гнусными ругательствами, впервые, быть может, в своей жизни оказался в вагоне первого класса и увидел бархатные подушки, тогда как на ногах у него были зловонные тряпки, — и он разодрал бархат, говоря, что и он имеет право на кусок хорошего шёлка или бархата». Ленин был полон решимости раздуть это стремление к мести и разрушению, будучи убеждён, что оно поможет вознести его к власти.[5]

С самого начала политическое устройство, сложившееся сразу после Февральской революции, заключало в себе роковую слабость. Были учреждены два соперничающих центра власти — а это был готовый рецепт хаоса. Дума образовала Временное правительство во главе с князем Львовым, которое якобы должно было стать плавным продолжением прежнего царского режима. Но уже в первый день правительство признало Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов своим партнёром и согласилось с тем, что все правительственные меры должны утверждаться Советом прежде, чем будут проводиться в жизнь. Советы представляли собой наспех избранных представителей фабрик, армейских полков и сельских общин, выбранных в считаные дни после революции, обычно без тайного голосования. Петроградский Совет насчитывал свыше шестисот человек. Они не были представительными и не были демократическими ни в каком современном смысле. Но и Дума, назначившая коалиционное

[4] Горький: «это уже не столица; это выгребная яма»: Горький, колонка «Несвоевременные мысли», Novaya Zhizn, 13 June 1917.

[5] Троцкий об анархии: Trotsky, My Life, с. 183.

правительство, также таковой не была: это был перекроенный и фальсифицированный так называемый парламент, устроенный царём и основанный на ничтожном электорате из числа собственников. В течение следующих месяцев они постоянно вступали в столкновение, и оба пытались присвоить себе ложную легитимность. Часто небрежно повторяют, будто Временное правительство обладало властью без авторитета, а Советы — авторитетом без власти. Но в действительности ни у тех, ни у других не было ни власти, ни авторитета. Ленин сумел раз за разом вскрывать эту слабость в последующие месяцы и выставлять всю систему как нежизнеспособную. Как заметил один из его сторонников, «по части одной только политической некомпетентности и благонамеренной неумелости история знает немного более ярких примеров», чем это междуцарствие между падением царя и большевистским переворотом.

Советы меньше всего походили на обычные парламентские палаты. «Всякий, кто хочет, встаёт и говорит, что ему вздумается», — сказал один из членов Петроградского Совета, заседавшего в Таврическом дворце, уже после двух недель работы. «Сначала… депутаты сидели на стульях, скамьях… и столах. В зале стояли люди всякого рода, создавая сумятицу и мешая делу. Потом толпа стоящих стала столь густой, что передвигаться по залу стало трудно. Через несколько часов стулья совершенно исчезли… и люди, обливаясь потом, стояли тесно, прижавшись друг к другу. На следующий день или через день исчезли и столы, кроме председательского, и собрание стало похоже на митинг».[6]

В последующие недели всё становилось всё более хаотичным, так как Советы возникали в городах и губерниях по всей стране. В столичном Совете, вспоминал умеренный Владимир Станкевич, «вопросы приходилось решать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходоков — из петроградского гарнизона, с фронта, из глухих углов России». Многие делегаты были едва грамотны. «Самые важные решения нередко принимались совершенно случайным большинством. Не было времени обдумывать дела, всё делалось наспех, после множества бессонных ночей, в неразберихе. Все были физически истощены. Не спали. Бесконечные заседания. Отсутствие нормальной пищи; жили на хлебе и чае».

Дума была таким же сумасшедшим домом: «депутатами владело одно-единственное чувство — страх перед массами, и кто мог их за это винить?» В особенности они боялись солдат, чей мятеж низверг царя и чей гнев мог обратиться против них. Через три недели после революции военный министр Гучков, присутствовавший при отречении императора, писал главнокомандующему русской армией и начальнику Генерального штаба генералу Алексееву, что «правительство не имеет никакой реальной власти и его распоряжения исполняются лишь постольку, поскольку это дозволяется Советом, который держит в своих руках важнейшие элементы действительной власти — войска, железные дороги, почту и телеграф… Временное правительство существует лишь до тех пор, пока это разрешает Совет». Ленин быстро понял, как можно использовать этот вакуум власти. Уже через несколько дней после возвращения в Россию он говорил верным сторонникам: «Очень скоро правительство уже не в состоянии будет удержаться». Многие всё ещё считали его безумцем.[7]

Владимир Набоков, самый высокий по положению государственный служащий в России, видел, насколько слабым и беспомощным оказался князь Львов. «Я не припомню ни одного случая, чтобы… [он] говорил властным тоном либо высказывался решительно и окончательно. Он был

---

[6] «О политической некомпетентности история знает немного лучших примеров»: Zinoviev, History of the Bolshevik Party, www.marxists.org/archive/zinoviev/works/history/ch01.htm

. Хаос на заседаниях Петроградского Совета: Pipes, The Russian Revolution, с. 448–449.

[7] «Скоро правительство уже не… сможет себя сохранить»: Bonch-Bruevich, с. 63.

самым воплощением пассивности». Порядочный, благонамеренный либерал, которому теперь было пятьдесят пять лет, Львов совершенно не соответствовал революционному времени 1917 года. Он был богатым помещиком из старого дворянства, с долгим опытом работы в земском движении местного самоуправления и глубокой верой в умеренные, постепенные реформы. Он сыграл значительную роль в финансировании сотен больниц, школ и сельскохозяйственных училищ для крестьян. После освобождения крепостных в 1860-х годах Львов в жесте щедрости, почти беспримерном среди русских помещиков, передал крестьянам на своих имениях землю. Это был добрый человек, но не деятель. Один из его ближайших союзников, Александр Бубликов, влиятельная фигура в Думе, любил его — да, в сущности, почти все его любили, — однако был раздражён «его постоянным выражением смятения и непрерывными усилиями быть со всеми любезным… он был ходячим символом бессилия Временного правительства». Один из его старых друзей говорил, что навсегда запомнит его выражение «торжественной скуки».[8]

Его добрые намерения вели к плачевным заблуждениям относительно революционной России. Он любил рассуждать о «душе русского народа… которая по самой своей природе есть душа всечеловеческая, демократическая», и говорил скептически настроенному Набокову, что, едва только крестьянство будет освобождено от ига царской тирании, оно научится управлять собой в либерально-демократическом духе Западной Европы и Соединённых Штатов, которыми он глубоко восхищался. Коллеги по правительству поражались безмерности его нерешительности. Когда перед ним вставала череда трудных вопросов, он неизменно предпочитал ждать и смотреть, что будет дальше. Один министр вспоминал, как он говорил: «Господа, нам надо быть терпеливыми. Мы должны верить в здравый смысл, государственную мудрость и верность русского народа» — и затем переходил к следующему вопросу.[9]

Львова совершенно заслонил более молодой и харизматический человек, который в начале лета сменил его на посту председателя правительства и стал олицетворением всего дурного, что было связано с Временным правительством: Александр Керенский. Ему было тридцать шесть лет, хотя выглядел он гораздо моложе; лицо его было мертвенно-бледным, почти желтоватым, и в нём было нечто «нервное, лихорадочное, хрупкое на вид, с какой-то исступлённой напряжённостью, из-за которой он казался человеком, постоянно испытывающим боль». Глаза у него были ярко-зелёные, слегка прищуренные, и многие из знавших его отмечали, что он двигал руками и ногами порывисто, резкими, энергичными толчками. Его кодовое имя в досье охранки было: «Скорый».

В отличие от Ленина, который со временем возненавидел провинциальный Симбирск, Керенский часто писал, что в юности был там счастлив — среди «замирающих песен соловьёв». Но ему не терпелось вырваться оттуда. Он получил вполне достойное юридическое образование в Петербургском университете и, как столь многие студенты, втянулся в радикальную политику. Однако марксизм его никогда не соблазнял — он говорил, что ненавидит «его суровую завершённость и стройную логику, заимствованные извне», — как не соблазнял его и революционный террор. Он вступил в умеренную трудовую группу — трудовиков, а позднее, когда началась война, — к эсерам.

Во время революции 1905 года он провёл четыре месяца в тюрьме «Кресты», где здоровье его было подорвано. После освобождения он выступал общественным защитником в ряде громких

---

[8] Даже в молодости он обнаруживал пресыщенность жизнью. Во время посещения Ниагарского водопада его спутник восторженно распространялся о великолепии зрелища. Львов ответил: «Ну что тут, право? Река течёт и падает. Вот и всё».

[9] Князь Львов: цит. по Figes, с. 482.

политических процессов. Он прославился страстными речами о помиловании против смертных приговоров. В Думу он был избран в 1912 году и вскоре стал знаменит своими крайне эмоциональными театральными выступлениями, после которых «он оставался совершенно измождён… всё тело дрожало, пот струился по его бледным щекам». Его обожали на галёрке, если не в более традиционных думских кругах. В молодости он хотел стать актёром, но его убедили избрать более прочную профессию; однако его речи, особенно в годы войны, когда он обладал поразительным даром воодушевлять войска, были большими сценическими актами, иногда сопровождавшимися обмороками.[10] Они были отчасти подлинны. Большую часть жизни он оставался больным человеком: страдал тяжёлыми заболеваниями лёгких и почек. Но появлялись они удивительно вовремя.

Он превратился в необыкновенного оратора, способного гипнотизировать толпы. Выступление Керенского «напоминало прохождение урагана. Люди часами собирались, чтобы хотя бы мельком его увидеть. Весь его путь был усыпан цветами. Солдаты бежали милями за его автомобилем, стараясь пожать ему руку или поцеловать край его одежды. На его митингах в огромных залах… аудитории доводили себя до пароксизмов восторга и обожания. После речи трибуна, на которой он стоял, бывала завалена часами, кольцами, браслетами, воинскими медалями и денежными билетами, принесёнными поклонниками в жертву общему делу».[11]

Но Керенский не был одним лишь актёром. Он умел быть храбрым. Он обличал антисемитизм везде, где встречал его, — в придворных кругах и в низших слоях армии. Однажды он отправился в Кужи, маленький городок близ фронта, в западной Украине, где евреев линчевали за якобы — но совершенно ложно — оказанную помощь германским войскам, и умолял солдат и местных жителей прекратить свои «варварские и контрпродуктивные» действия. Его вмешательство предотвратило то, что могло бы обернуться гораздо более кровавым погромом.

В личном общении он неизменно был добр. С Лениным он знаком не был, но узнал его сестру Анну на пароходе на Волге, незадолго до начала войны, в июле 1914 года. Они разговорились, и он, как передавали, сказал ей: «Вот увидите, вы скоро увидитесь с Владимиром». — «Почему вы так говорите?» — спросила она. «Война всё изменит в России», — ответил он с воодушевлением. «И ваш брат сможет вернуться».[12]

Керенский был единственным открыто называвшим себя социалистом в первом составе Временного правительства и единственным, кто одновременно состоял и в Думе, и в Петроградском Совете. Но социалистом он был лишь по имени, скорее, как выразился один его знакомый, «вечным студенческим радикалом». На улицах он за все девять месяцев существования Временного правительства почти не появлялся. Он метался между правым и левым крылом Таврического дворца, стараясь быть полезным — или хотя бы правдоподобным — для обеих сторон. В Думе он всегда носил безукоризненно отглаженный визитный сюртук с накрахмаленной манишкой и воротничком. Когда же он произносил пламенные речи в Совете, то срывал воротничок и снимал пиджак, чтобы казаться более пролетарским. Он не был

---

[10] Один из учителей Керенского, наблюдавший, как тот играл главную роль — Хлестакова — в школьной постановке гоголевского Ревизора, ядовито заметил, что «образ этого обаятельного дамского угодника и… мошенника как будто был создан именно для него».

[11] Керенский выступает: Sukhanov, с. 91–93, и Albert Rhys Williams, Through the Russian Revolution, New York, 1921.

[12] Этот рассказ исходит от друзей Керенского, но имеет подтверждение и со стороны знакомых Ленина, хотя не непосредственно от Анны Ульяновой или её семьи.

революционером, но, как выразился Троцкий, был «человеком, который лишь околачивался около революции».[13]

После Февраля 1917 года он выставлял себя «бесспорным вождём народа», и некоторое время его популярность действительно была огромна. Он был любимцем либеральной интеллигенции, а также тех кругов армии, которые желали продолжать войну. Он был убеждён в собственном величии и сумел убедить в этом ещё некоторых. Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Есть только одно имя, которое всех соединяет, — и это… Керенский. Мы любили его. В нём было что-то живое, что-то птичье и детское. Он — человек на своём месте и в своё время».[14] Ленин ненавидел его как тип буржуазного либерала, к которому испытывал одно только презрение, несмотря на то, что отец Керенского так великодушно пытался помочь его семье. С первого же дня после Февральской революции Ленин увидел в нём самого непримиримого врага большевиков и величайшую личную угрозу для себя. Поэтому и самые яростные свои ругательства он приберегал именно для него. Он называл Керенского «этим дряблым пустозвоном» и «всего лишь балалайкой, на которой они… [другие министры Временного правительства] играют, чтобы обманывать рабочих». То, что Керенский провозглашает социализм, было оскорблением для подлинных социалистов. «Таких людей надо прижимать к стене, а если и тогда не уступят — втоптать в грязь».

[13] Зимой 1916 года он был смертельно болен после операции по удалению почки, поражённой туберкулёзом. В течение месяца он находился при смерти. Пока он выздоравливал, у него начался роман с Лилей Барановской, двоюродной сестрой и близкой подругой его жены Ольги, оставившей своего мужа — армейского офицера. На протяжении многих месяцев, между двумя революциями, все они вместе жили под одной крышей, со своими разными детьми.

[14] Гиппиус, с. 193.

ГЛАВА 31. Мир, земля и хлеб

«Мы знаем по опыту, что в наше время великие дела совершались лишь теми, кто, однажды дав слово, не стремился его держать и умел, когда требовалось, обводить других вокруг пальца».

Никколо Макиавелли, Государь, *1532*

На публике Ленин избрал в высшей степени популистский стиль политики, который и сто лет спустя был бы вполне узнаваем — и подражаем многими демагогами, — даже в давно сложившихся, изощрённых демократиях. Он предлагал простые решения сложных проблем. Он лгал без малейшего стыда. Никогда он не был блистательным оратором, каким по-своему были Керенский и Троцкий. Но он был поразительно искусен в том, чтобы излагать свою позицию прямым, ясным языком, понятным всякому, и объяснять, как можно изменить мир, если только люди пожелают слушать его и его большевиков. Экономическая несправедливость и полуфеодализм веками задерживали Россию в развитии? Ответ его был прост: «Народу нужно всего лишь экспроприировать тысячу банковских и промышленных воротил… и сломить сопротивление нескольких десятков миллионеров», — говорил он. Народ жаждал земли? И тут всё просто. «Крестьяне должны захватывать имения у своих прежних хозяев-помещиков. Теперь хозяевами должны стать они». Рабочие, возможно, не понимают, как управлять промышленными предприятиями? У Ленина было готовое решение: «Арестуйте пару десятков капиталистов, держите их в том же положении, в каком теперь живёт Николай Романов, — и они откроют вам все нити и тайны своего обогащения». Ленин понимал, что революционному государству для продолжения своего существования потребуются специалисты, профессионалы в различных областях. Но он утверждал, что люди уже слишком наслушались специалистов. «Любой рабочий за несколько дней освоит любое министерство; никаких особых навыков не требуется… и знать технику дела не нужно, это работа бюрократа, а мы можем принудить их работать точно так же, как их принуждают трудиться теперь».[1]

С бесстыдным цинизмом он обещал людям всё и вся. Он обещал крестьянам землю, — хотя в действительности вовсе не верил в передачу поместий крестьянам; он хотел национализировать землю, на которой крестьяне трудились бы в крупных государственных коллективных хозяйствах. Он говорил, что рабочие должны управлять своими фабриками. Но на деле он не верил ни в рабочий контроль над предприятиями, ни в другое своё обещание — установить кооперативы под управлением профсоюзов. Он стремился сосредоточить управление трудом в центре, под руководством своей партии. Когда Временное правительство отложило выборы в Учредительное собрание, первоначально назначенные на начало сентября, Ленин обрушился на него с обвинением в «предательстве» демократии. Разумеется, сам он не верил в «буржуазную демократию» — в свободные выборы между соперничающими политическими партиями, и в созданном им государстве их не будет в течение семидесяти лет. Своим помощникам он говорил, что в пропаганде важно сохранять простоту. «Мы должны говорить о мире, земле и хлебе, именно об этом. Тогда мы засияем, как маяк во тьме». Он защищал заведомую ложь тем основанием, которым оправдывал почти всё: цель — социалистическая революция — оправдывает средства.[2]

---

[1] Ленин говорил, что специалисты не нужны: Александру Шотману, в Shotman, «Lenin nakanune Oktyabrya», O Lenine: Sbornik vospominaniy, Leningrad, 1925.

[2] «Надо говорить о мире, земле и хлебе, об этом»: Ленин — Каменеву, 13 мая 1917 года, CW, т. 44, с. 134.

Изо дня в день, в течение первых трёх месяцев после возвращения Ленина в Россию, он выступал на десятках собраний и стал популярной фигурой, на которую шли слушать. Он был ясен, логичен, прям, искренен, казался честным и был убедителен. Он не обладал мощным физическим присутствием, «но люди чувствовали, что в нём есть нечто необыкновенное», — как признавал Горький, пришедший к тому времени в отвращение от того, как Ленин вёл политику той весной. Но главное было в том, что он звучал оптимистично, бодро, положительно и дарил слушателям надежду. В этот период он много улыбался и смеялся. Революция была ему явно в радость. Однако некоторые из тех, кто знал его до войны, в том числе многие, проводившие с ним время в эмиграции, отмечали заметную перемену в его манере держаться. «Как он постарел», — заметил Роман Гуль, старый товарищ по социал-демократическому движению, много видевший его в Швейцарии. «Весь внешний облик Ленина изменился. И не только это. В его отношении к другим людям уже не было ни прежней приветливости, ни дружелюбия, ни товарищеского юмора. Новый Ленин, приехавший сюда, был циничен и груб, заговорщик против всех и вся, решившийся начать своё наступление к власти».

Это был первый раз, когда Ленин говорил перед большими группами рабочих. До сих пор его опыт ограничивался небольшими собраниями партийных активистов и социалистическими конференциями — главным образом интеллигентов, в общем и целом с ним согласных. Но он обнаружил, что выработал в себе голос, способный дойти до простого рабочего. Однако это произошло не сразу, и ему пришлось немало потрудиться, упрощая своё послание. Первоначально, по его собственному признанию, он «очень нервничал перед толпой». На своём первом большом собрании, через несколько дней после прибытия на Финляндский вокзал, он ужасно боялся, что совершенно оцепенеет. Он делил трибуну с Александрой Коллонтай; перед самым выходом лицо его побледнело, и, как он сам признался, он «испугался и попросил её произнести речь». Коллонтай была поражена тем, что ему словно недоставало уверенности в себе, и старалась его приободрить, уверяя, что, разумеется, он выступит превосходно и ему совершенно нечего бояться перед многочисленной публикой. Он поднялся на трибуну, произнёс речь, сорвал бурные аплодисменты — и больше никогда не признавался в сценическом страхе.

Светская дама графиня Ирина Скариатина рассказывала друзьям, что, несмотря на первоначальный шок и негодование, Ленин произвёл на неё впечатление. «Я была там дважды… Он лыс, ужасно безобразен, одет в мятый старый коричневый костюм, говорит без всякой ораторской силы, скорее как профессор, спокойно читающий свою ежедневную лекцию… И всё же то, что он говорит, приводит людей в исступление. Нет, положительно не то, как говорит этот человек, а именно то, что он говорит, электризует слушателей сильнее, чем любой другой оратор, какого мне доводилось слышать».

Он писал безостановочно — только за май вышло сорок восемь его статей в Правде, хотя некоторые из них были длиной всего в несколько сот слов. Это была поразительная работоспособность, но и он, и другие политики удовлетворяли тогда жажду политики, совершенно неведомую прежде России. Весной 1917 года в языке даже возникло новое слово: митингование, то есть посещение политических собраний. «День и ночь, по всей стране, с февраля до осени тянулось непрерывное, беспорядочное собрание», — говорил писатель Константин Паустовский, видевший также жизнь на фронте и знавший, как политизируются солдаты. В Петрограде недели после Февральской революции были «праздником освобождения», писал американский корреспондент Альберт Рис Уильямс. «Невозможно купить шляпу или пачку папирос, чтобы вас не втянули в политический разговор… Прислуга и дворники требуют совета, за какую партию голосовать на местных выборах в Совет. Все стены оклеены объявлениями о митингах, лекциях… и извещениями не только на русском, но и на

польском, литовском, идиш… Двое заспорят на углу — и тотчас вокруг собирается возбуждённая толпа. Даже на концертах теперь музыка перемежается политическими речами известных ораторов. Невский проспект превратился в своего рода Латинский квартал. Книгоноши выстроились вдоль тротуаров». Джон Рид выразился просто: в течение многих месяцев «в Петрограде каждый уличный угол был народной трибуной».[3]

Временное правительство металось от кризиса к кризису и всегда выглядело неустойчивым. Оно пережило ряд уличных демонстраций в конце апреля, которые большевики не начинали, но с энтузиазмом возглавили. В одном шествии участвовало более 150 000 человек, многие несли плакаты с требованием: «Долой правительство», — однако дело так и не вышло из-под полицейского контроля. Противники Ленина справа, а также меньшевики и эсеры обвиняли его в попытке возглавить путч. Он категорически это отрицал — и на этот раз говорил правду. Большевики не строили никаких планов свержения правительства и никоим образом ещё не были готовы к перевороту. «Всё могло бы обернуться иначе, если бы мы увидели, что массы… [на демонстрациях] резко качнулись в нашу сторону, — говорил он позднее Зиновьеву и Каменеву. — Но этого не произошло. Мы готовили мирную демонстрацию, хотя некоторые товарищи, это правда, зашли слишком далеко… Лозунг “Долой Временное правительство” — авантюристический. Мы не можем свергнуть правительство в данное время. Мы хотели лишь произвести мирную разведку сил наших врагов».[4]

За восемь с половиной месяцев произошло четыре коалиции и семь крупных перестановок в кабинете. Ни одна из них не смогла обеспечить закон и порядок, удержать армию в повиновении или остановить инфляцию, которая росла с ужасающей быстротой. Правительство уже не имело возможности занимать ещё что-либо на Западе; его кредит ничего не стоил, и потому ответом стало печатание всё новых денег. Казённая печатня за пределами Петрограда едва поспевала: ей не хватало «гильотин» для разрезания листов банкнот, выходивших из машин, и потому во многих случаях банковские клиенты сами отрезали себе отдельные купюры. Средняя промышленная заработная плата за три месяца после февраля утроилась, но в реальной покупательной способности упала на две трети.

Армия представляла собой мрачную массу побеждённых и подавленных людей. Солдаты — и не без основания — полагали, что именно их мятеж перевёл Революцию на новый уровень и сверг старый режим. Министры правительства опасались, что войска могут поступить с ними точно так же. Сразу после Революции солдаты выдвинули ряд требований, чтобы ввести «демократию» в армии и получить гарантию, что за отказ исполнять приказы во время февральского восстания их не будут преследовать.

Достигнутое соглашение дало Ленину огромнейшее влияние в армии и стало одним из важнейших факторов, позволивших большевикам завоевать достаточную поддержку среди солдат и матросов, чтобы несколько месяцев спустя захватить власть. Приказ № 1, как его называли, произвёл глубокое действие в вооружённых силах. Он делал армию подотчётной Петроградскому Совету, а не Временному правительству; войска и матросы должны были избирать собственные комитеты, которые посылали бы делегатов в Совет. Солдаты становились «гражданами», не подлежащими действию военно-полевых законов. Комитеты брали под контроль оружие, «которое ни в каком случае не должно быть сдаваемо старшим офицерам». Солдатам более не надлежало отдавать честь офицерам вне службы; офицерам запрещалось бить нижних чинов, как это вошло в обычай в царской армии. Офицеры обязаны были

---

[3] Rhys Williams, с. 74.

[4] «Мирная разведка сил наших врагов»: Ленин — Зиновьеву и Каменеву, 2 мая 1917 года, CW, т. 44, с. 201.

обращаться к солдатам на «вы», а не на «ты». Солдаты же обращались к офицерам как «господин генерал» или «господин полковник», а не «ваше благородие» или «ваше превосходительство». Ленин направил в казармы множество вербовщиков, и солдаты начали вступать в большевистскую партию. Он усилил свою кампанию за сепаратный мир с немцами и за прекращение войны.

«Это конец армии», — воскликнул умный и влиятельный правый политик Василий Шульгин, услышав о Приказе № 1. Но армия уже была мертва. Более миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек уже дезертировали: в апреле и мае около 10 000 солдат в день покидали свои полки. «В армии исчезла всякая дисциплина», — доносил в Париж французский посол Морис Палеолог. «Офицеров оскорбляют… а если они жалуются — убивают… Дезертиры бродят по всей России, заполняя станции, штурмуя вагоны и парализуя транспортные пути, как военные, так и гражданские. На крупных узлах солдаты прямо кишат. Подходит поезд: солдаты выгоняют пассажиров, занимают их места и заставляют начальника станции изменить направление поезда туда, куда они требуют. Это может быть поезд, полный войск для фронта. Люди сходят на какой-нибудь станции, устраивают митинг, совещаются час или два, а затем требуют, чтобы их отвезли назад в исходный пункт».

Полковник Альфред Нокс, британский военный атташе в Петрограде, был потрясён состоянием русских сил. В конце апреля он вместе с группой других британских офицеров посетил Северный фронт, «где части превращены в общества политических прений… и ежедневно происходят переговоры с неприятелем, который смеётся над доверчивостью русского солдата. В тылу, в сельской России, военнопленные были освобождены крестьянами и работали на помещичьих усадьбах, тогда как в Москве немецкие и австрийские офицеры свободно разгуливали по улицам… наверное, ещё не бывало другой страны, ведущей войну, где военнопленные объявляли бы забастовку, требуя лучшей платы и лучших жизненных условий».

Правительство перестало даже подсчитывать число дезертиров, и, даже если удавалось настигнуть некоторых из них, «что мы могли сделать?» — недоумевал генерал Клембовский, помощник начальников штабов в Ставке. «Смертная казнь? Но не вешать же целые дивизии. Военный суд? Но тогда половина армии окажется в Сибири. Солдат не испугаешь ни тюрьмой, ни каторгой. “Ну и что? Вернёмся через пять лет — зато с целой шкурой”, — говорят они».[5]

Войска радикализировались, но не обязательно в том направлении, какого желал Ленин. Генерал Брусилов, назначенный летом 1917 года главнокомандующим армией, позднее говорил, что «солдаты хотели одного: мира — чтобы можно было вернуться домой… [в свои деревни], грабить помещиков и жить вольно, не платя налогов и не признавая никакой власти. Солдаты тяготели к большевизму, потому что думали, будто это и есть его программа. Они не имели ни малейшего понятия, что такое коммунизм и что означает Социалистический интернационал, но воображали себя дома, живущими без законов и без помещиков. Именно эту анархическую “свободу” они и называли большевизмом».

Писатель Иван Бунин провёл первую часть 1917 года в деревне на Волге и вёл дневник того времени. Он был яростным антибольшевиком, но с Лениным соглашался в одном — в отношении к войне. Крестьяне просто до крайности устали от этого конфликта и «поняли, как должны были понять и их господа, что победа невозможна… Народ не хочет воевать. Он устал от войны и не понимает, за что мы воюем. Война — не его дело. С каждым днём люди всё более ярятся».

---

[5] Разложение дисциплины в армии и цитаты генералов: бумаги барона Алексея Будберга, Hoover Institution, Stanford, California, Box 1; Knox, с. 109–110; и у Louis Fischer, с. 284.

Критики Ленина были потрясены его решимостью разжигать классовую ненависть ради политических целей. Но для него социализм и был классовой войной; а сопровождающее её насилие — неизбежным. Как он столь часто повторял, «ни один великий вопрос… ещё не решался в истории иначе, как силой». Хаос в России, говорил он ближайшим товарищам, следует приветствовать, исходя из того, что «всё, что плохо для них, для буржуазного правительства, хорошо для нас». Но даже некоторые из его почитателей были шокированы грубым, толпу возбуждающим популизмом, который он демонстрировал весной и летом 1917 года, в том числе своим лозунгом, звучавшим почти в каждой речи: «Грабь награбленное». Страстный социалист Горький был в отчаянии. «С каждым днём моя тревога растёт, — писал он жене 14 июня. — Безумная политика Ленина скоро приведёт к гражданской войне».[6]

Гражданская война уже шла на земле, охваченной хаосом. Власть Временного правительства не распространялась на значительную часть провинциальной России, где закон и порядок полностью распались. Сотни крупных имений по всей стране были захвачены крестьянами, которые изгоняли, истязали, а во множестве случаев и убивали своих помещиков. Этот процесс начался задолго до большевистского захвата власти, почти сразу после Февральской революции. «Походы на усадьбы» были стихийным движением, целью которого было принудить помещиков передать свои владения арендаторам — в большинстве случаев бывшим крепостным. В прежние времена барина защищала армия, которая веками подавляла крестьянские и крепостные волнения суровыми мерами. Но теперь, после Революции, именно солдаты нередко становились вожаками и подстрекателями насилия, а во многих местах полиция попросту перестала существовать. Помещик остался один.

Ярость против владельцев имений была давней и неистребимой традицией среди мужиков. В самой глубине общины — мира — ещё со времён крепостного права жила убеждённость, что земля не должна принадлежать частным образом дворянам, которые на ней никогда не работают, а только тем, кто пашет поля и ходит за скотом. «Мы ваши, а земля наша», — гласила пословица. Общепринято было верить, что однажды царь вновь разделит землю и передаст помещичьи имения крестьянам-земледельцам в совершенно ином порядке вещей. Царя больше не было, но многие думали, что именно теперь пришёл час великого передела земли, который принесёт крестьянству справедливость.

С начала лета, главным образом в районах с лучшими сельскохозяйственными угодьями, крестьянские сходы собирались по деревням и голосовали за конфискацию барских владений. Группы людей — среди них встречались и женщины, но чаще всего это были мужчины с ружьями, вилами и мотыгами — шли к усадьбе, требовали помещика и изгоняли всю семью, обычно давая на сборы лишь несколько часов. Часто всё это сопровождалось страшным насилием, оправдываемым как расплата за жестокости столыпинского периода 1905–1907 годов, когда тысячи крестьян были убиты солдатами, действовавшими в интересах дворян-помещиков. Подобных примеров было множество — как тот, что произошёл в июне 1917 года в прекрасной усадьбе Бор-Полянищина близ Саратова. Толпа, ведомая группой армейских дезертиров, зарубила старого князя Владимира Сабурова топорами, мстя за ту роль, которую его сын играл в качестве местного «земского начальника» в 1906 году, когда двенадцать крестьян были повешены на глазах их жён и детей. После кровавого убийства они сожгли дом, в котором находилась одна из лучших частных библиотек Европы. Они двинулись и на усадьбу Толстого в Ясной Поляне, в двухстах километрах к югу от Москвы, хотя великий писатель боготворил русское крестьянство и всегда боролся за его права. Его престарелая и полуслепая вдова Софья

[6] Горький в отчаянии: архив Максима Горького, www.marxists.org/archive/gorky-maxim/

умоляла Временное правительство о помощи, но помощи не получила. Она и дочери сложили книги и ящики в одной комнате и стали на страже с револьвером и топором. В ту ночь, когда толпа подошла к усадьбе, в доме не горел свет, и пришедшие решили, что его уже разграбили, после чего двинулись дальше, к другому поместью неподалёку.

Князь Львов был бессилен восстановить порядок в деревне, и по его реакции не вполне ясно, хотел ли он этого вообще. Он лишь пожимал плечами и с небрежным видом говорил, что «вполне понимает… революцию на земле». В начале июня, за обедом, он сказал министрам, что это «месть крепостных как следствие — и я говорю это как помещик — нашего первородного греха. Если бы только Россия была благословлена настоящей земельной аристократией, как в Англии, которая имела хотя бы приличие обращаться… [с крестьянами] как с людьми, а не как с собаками. Тогда у нас всё, быть может, сложилось бы иначе».[7]

В конце мая вновь созданное Всероссийское собрание крестьян, самочинно образованная группа делегатов от местных земельных сходов, объявило, что все произведённые до сих пор захваты собственности законны и что все их так называемые законы правомерны. Ленин поддержал это собрание, поскольку готов был обещать крестьянам что угодно, лишь бы заручиться их поддержкой. Но всё это было лишь комедией. Он невысоко ценил русских мужиков, которых считал варварскими и полуфеодальными. И всё же пока он был готов идти с этими сходами заодно. Как выразился большевистский вождь в Нижнем Новгороде, едва скрывая своё презрение, «местное крестьянство имеет… твёрдое мнение, что все гражданские законы потеряли силу… [с февраля] и что все правовые отношения должны отныне регулироваться крестьянскими организациями».

Князь Борис Вяземский отказался признать решение одного из таких сходов, постановившего, что он должен передать Лотарёво, своё родовое поместье в плодородной тамбовской чернозёмной губернии, с прекрасным барским домом, конным заводом и больницей. Его брат Дмитрий был одним из самых жестоких армейских офицеров, в 1906 году повесивших сотни крестьян во время волнений, и с тех пор вся семья вызывала ненависть. Когда летом 1917 года толпа пришла выселять его с палками и дубинами, один деревенский староста сказал, что, хотя лично его уважают, они хотят навсегда покончить с Вяземскими и «взять землю, которая по праву принадлежит нам». Князь не пожелал покинуть поместье в собственной карете. Крестьяне устроили самосуд и постановили отправить его на фронт. Но он едва успел добраться до ближайшей железнодорожной станции, как другая толпа — армейские дезертиры и крестьяне — подняла его на штыки. Когда он был уже мёртв, ему отрубили голову.

Крестьяне совершили свою революцию — прежде, чем Ленин впоследствии отнял её у них и навязал им собственное представление о том, какой должна быть революция.[8]

---

[7] Революция в деревне, разгром помещичьих усадеб: Figes, с. 493–499; Pipes, The Russian Revolution, с. 423–426; и Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd, London, 1979, с. 286–289.

[8] Убийства помещиков: Figes, с. 498.

ГЛАВА 32. Военная добыча

«Ленин — человек больших способностей, но ненормальные условия подпольной жизни самым чудовищным образом искалечили и изуродовали их. О себе он мог бы сказать: "Я не знаю, куда иду, но иду туда с решимостью". Преданность Ленина революционному делу пронизывает всё его существо. Но для него… не существует различия между личной политикой и интересами Партии… социализма. Ленин обладает выдающимся умом, но это ум одномерный. Он человек абсолютно честный, но с мышлением, движущимся по одной колее… а следовательно, человек с притуплённой нравственной чувствительностью».
Виктор Чернов, очерк о Ленине в Деле народа*, апрель 1917 года*

Ленин и Керенский никогда не разговаривали друг с другом. Но однажды они всё же говорили друг в друга, когда оба появились на Первом Всероссийском съезде Советов 17 июня.[1] Главный зал Морского кадетского корпуса на Васильевском острове был переполнен до отказа, однако большевики находились в подавляющем меньшинстве. Там было около 900 эсеров и меньшевиков и 105 большевиков. Это был драматический момент, который едва не обернулся для Ленина неудачей, но он оказался достаточно находчив, чтобы спасти положение.
В какой-то момент утреннего заседания ведущий меньшевик из Грузии Ираклий Церетели сказал, что политика в России зашла в тупик и ни одна партия не может самостоятельно сформировать дееспособное, правдоподобное правительство и не готова взять власть на себя. Ленин поднялся, прочистил горло и сказал: «Нет, такая партия есть. Мы, большевики, готовы. Ни одна партия не должна отказываться от этого, и наша партия, конечно, не отказывается. Она готова в любой момент взять всю полноту власти». Несколько большевиков не слишком горячо его поддержали. Но почти весь зал разразился хохотом и начал над ним глумиться. Он выглядел невозмутимым и остался стоять. Когда шум в зале стих, хотя выкрики ещё продолжались, он продолжил: «Смейтесь сколько угодно, но, в отличие от других, у нас есть программа в отношении экономического кризиса. Посмотрите, что вы делаете, продолжая войну, — сказал он, презрительно указывая пальцем на Керенского и других министров. — Капиталисты, получающие 800 процентов военной прибыли, как и прежде, разгуливают по стране. Почему бы вам не опубликовать цифры их доходов, не арестовать каких-нибудь пятьдесят из них и не запереть их на время, даже если вы будете держать их в тех же роскошных условиях, в каких держите Николая Романова. Вы говорите о мире без аннексий и контрибуций. Осуществите это на практике в нашей собственной стране… Вы говорите нам о наступлении на фронте. Мы не против войны в принципе. Мы только против капиталистической войны ради

[1] Вскоре после возвращения Ленина в Россию Керенский захотел с ним встретиться. Ему казалось, что это могло бы помочь Временному правительству заручиться поддержкой левых, но он так и не понял своего противника. Секретарь кабинета министров Владимир Набоков отмечал, что министры едва ли вообще упоминали Ленина — ни на официальных заседаниях, ни в частных разговорах. Поэтому он удивился, «когда услышал, как Керенский говорит, что хотел бы встретиться с Лениным и побеседовать с ним. В ответ на последовавшие недоумённые вопросы… он объяснил, что большевистский вождь "живет в совершенно изолированной атмосфере, ничего не знает и всё видит сквозь призму собственных фантазий, а рядом с ним нет никого, кто помог бы ему сориентироваться в происходящем"». Возможно, на самом деле Керенский говорил о самом себе? Как бы то ни было, Ленин отказался с ним встречаться.

капиталистических целей, и пока всё правительство и буржуазия не будут сметены, социалисты вашего типа — всего лишь орудия тех, кто навлёк это бедствие на мир». [2]

В зале воцарилась тишина, и Керенский поднялся, чтобы ответить. Теперь он был военным министром и носил коричневую военную тужурку и краги, хотя никогда не служил в армии. Рука его висела на перевязи у шеи, хотя никакой раны или повреждения, о котором кто-либо знал, у него не было. «Лицо его было бледно от нервного напряжения, а глаза горели, как огненные бусины», — вспоминал один наблюдатель, стоявший рядом с ним. Он начал тихим, размеренным голосом.

«Наш долг — укрепить только что завоёванную свободу, чтобы наши товарищи, вернувшиеся из сибирской ссылки, не отправились туда снова, чтобы тому товарищу, — тут он указал пальцем на Ленина, — который всё это время с удобством жил в Швейцарии, не пришлось снова бежать туда. Он предлагает нам новый и чудесный рецепт для нашей революции: мы должны арестовать горстку русских капиталистов. Товарищи, я не марксист. Но, думаю, я понимаю социализм лучше, чем брат Ленин, и знаю, что Карл Маркс никогда не предлагал подобных методов восточного деспотизма».

Продолжая, и по мере того как «лицо его заливалось краской, а голос становился всё резче от возбуждения», он впадал во всё большую мелодраматичность, что вообще было свойственно его ораторской манере. «Вы говорите нам, что боитесь реакции. Вы говорите, что хотите укрепить нашу новую свободу, и в то же время предлагаете нам идти путём Франции 1792 года. Чем кончилось во Франции после 1792 года? Это кончилось падением республики и возвышением диктатора. Задача русских социалистических партий — не допустить такого конца, какой произошёл во Франции… вместо созидания вы требуете нового разрушения. Из хаоса, который вы хотите создать, поднимется диктатор». Он сделал паузу и театрально прошёл через зал к группе большевиков, окружавших Ленина. «Я не стану тем диктатором, которого вы пытаетесь создать. Кто же станет?» И, повернувшись к Ленину спиной, он оставил того сидеть с улыбкой, спокойно поглаживая подбородок. Это было эффектное выступление.[3], [4]

Ленин был полон оптимизма — отчасти потому, что был уверен: его идеи доходят до людей, но главным образом потому, что в его распоряжении оказался огромный новый источник средств. Членство в большевистской партии росло. С максимума примерно в 23 000 человек в начале марта оно к июлю достигло 200 000. Но ещё важнее было то, что большевики быстро создали процветающую газетную империю — безусловно крупнейшую среди всех политических организаций страны.

«Правда» была легализована в конце февраля. К середине апреля в Петрограде она печаталась — и продавалась — тиражом в 85 000 экземпляров в день. Существовали провинциальные издания газеты и версии для различных национальностей, выходившие, среди прочих языков,

---

[2] Британский журналист Морган Филипс Прайс, который позднее стал депутатом парламента от Лейбористской партии, освещал это событие для левого журнала Common Sense и был единственным иностранным корреспондентом, присутствовавшим на съезде. Ленин не произвёл на него особенно сильного впечатления: «невысокий человек с круглой головой, маленькими, поросячьими глазками и коротко остриженными волосами… Его власть над языком и страсть его обличений завораживали, но, когда всё заканчивалось, оставалось желание почесать в затылке и спросить: о чём, собственно, всё это было».

[3] По словам Керенского в его мемуарах, никогда не отличавшихся надёжностью как свидетельство событий, но столь же мелодраматичных, как и его речи, Ленин «схватил свой портфель, с опущенной головой… и почти незаметно вышел из зала». Но это было лишь желаемое, выдаваемое им за действительное. Ленин остался сидеть на месте и находился в зале дольше, чем Керенский.

[4] Июньский Всероссийский съезд Советов: Sukhanov, с. 186; Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, с. 123; и Morgan Philips Price, Manchester Guardian, 19 June и 20 June 1917.

на грузинском, латышском, польском, армянском и идише. Большими тиражами выходили выпуски для солдат — Солдатская правда для передовых частей печаталась ежедневным тиражом в 70 000 экземпляров, — и специальное издание для матросов. Внезапно большевики смогли позволить себе совершенно новую, дорогую, передовую типографскую машину, получили деньги на крупные запасы газетной бумаги, на систему распространения, требовавшую участия значительного числа людей, и нашли способных журналистов, умевших писать доступно, а в некоторых случаях и блестяще. Всего к началу июля они выпускали сорок одно издание общим тиражом почти в 350 000 экземпляров. Это был «поразительный организационный подвиг» — так быстро наладить выпуск газет, говорил Троцкий, — и он произвёл для большевиков огромный пропагандистский эффект. Люди, которые прежде едва о них слышали, теперь знали, на чём те стоят, — особенно в вопросе войны.

Операцией руководил Ленин, но она не могла бы состояться без крупных денежных средств, поступавших от немцев, как части той сделки, в которую входила и поездка в «пломбированном вагоне». Несомненно, Ленин знал все подробности, хотя лично организацией не занимался, и не сохранилось никакой документальной цепочки, напрямую связывающей его с этими переводами. Лишь спустя некоторое время после распада Советского Союза в 1991 году хоть какие-то свидетельства вышли на свет; Коммунистическая партия тщательно скрывала доказательства более семидесяти лет. И даже теперь детали остаются отрывочными. Никто точно не знает, сколько именно денег было переправлено из Германии большевикам в период с февраля 1917 года по крайней мере до марта 1918-го. Одним из первых, кто публично выдвинул такие обвинения, был немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн. Но он был хорошо известен как давний враг Ленина и сам признавал, что не может ничего доказать, опираясь лишь на свои «несомненно надёжные источники». Кроме того, сумма, которую, по его словам, немцы дали Ленину, была совершенно фантастической — «целых пятьдесят миллионов золотых марок», утверждал он, что в нынешних деньгах составляло бы около 100 миллионов долларов США. Какова бы ни была истинная цифра, до такой величины ей было далеко, хотя речь, безусловно, шла о весьма значительной сумме.

Слухи о том, что Германия финансирует большевиков, начали циркулировать вскоре после возвращения Ленина в Россию. Их всегда отрицали. Когда в апреле Временное правительство начало расследовать эти обвинения, намереваясь привлечь его к ответственности за шпионаж в пользу вражеского государства, ему удалось собрать лишь частичные сведения, но не твёрдые доказательства, и оно совершило ошибку, попытавшись кое-что из улик попросту выдумать.[5]

Позднее немцы признали, что финансово поддерживали большевиков, не уточняя, в каком размере. Когда большевики взяли власть, они поздравляли себя с удачной стратегией. Германский министр иностранных дел Рихард фон Кюльман едва ли не хвастался: «Разрушение

[5] Американское правительство направило Эдгара Сиссона, бывшего редактора журнала Cosmopolitan и в тот момент главу Американского комитета общественной информации, расследовать обвинения Временного правительства против Ленина. Его доклад The German-Bolshevik Conspiracy, вышедший в 1918 году, ясно показывал, что деньги действительно переходили из рук в руки в значительном количестве, но выражал сомнения относительно части правительственных доказательств и относительно того, выдержат ли они проверку как доказательства шпионажа. Один из самых известных американских специалистов по России и дипломатов, Джордж Кеннан, впоследствии посол США в Москве, автор политики «сдерживания» СССР времён холодной войны и уж никак не друг большевизма, позднее отверг большую часть правительственных доказательств как подделку. «Положение дел, которое вырисовывается из основного корпуса документов, настолько исторически неправдоподобно, что можно поставить вопрос: не следует ли вообще объявить их мошенническими… на каждом шагу обнаруживаются серьёзные расхождения между обстоятельствами, на которые указывают документы, и установленными историческими фактами».

Антанты… составляет важнейшую военную цель нашей дипломатии, — говорил он своим коллегам по правительству. — Россия была самым слабым звеном в цепи врага. Наша задача состояла в том, чтобы ослабить его и, когда возможно, удалить вовсе. Именно в этом заключалась цель нашей “подрывной” деятельности в России [через революционные группы]… Только после того как большевики стали получать от нас постоянный поток средств по различным каналам и под разными обозначениями, они оказались в состоянии создать свой орган, “Правду”, вести энергичную пропаганду и заметно расширить узкую базу своей партии… Это полностью отвечает нашим интересам».[6]

Немецкие деньги шли через Гельфанда/Парвуса, который находился в регулярной и прямой связи с главным ленинским распорядителем в Скандинавии — Ганецким. Деньги вносились в скандинавские банки, а Ганецкий переводил их одной из своих родственниц, Евгении Маврикиевне Суменсон, которая на первый взгляд казалась почтенной, хорошо одетой дамой средних лет из приличного среднего класса, но на деле была надёжным и давним большевистским агентом. Она открыла несколько счетов в русских банках, хотя даже через сто лет удалось проследить лишь некоторые из них. Весной 1917 года документы показывают, что на имя Суменсон в Сибирском банке находился миллион рублей, и примерно такая же сумма — в Азовско-Донском банке. Она передавала деньги другому деятелю большевистского подполья, Мечиславу Козловскому, который распределял их между «Правдой» и связанными с ней изданиями, а также на иные пропагандистские нужды. «Я давала ему деньги всякий раз, когда он просил, ни разу не беря никаких расписок, так как была уверена, что он заместитель Ганецкого», — сказала позже Суменсон.

8 июля Суменсон была арестована разведывательными службами Временного правительства и призналась в своей части операций, но имя Ленина в это дело не втянула. Ленин просто солгал и заявил, будто у него нет никаких финансовых связей с Ганецким и он ничего не знает о какой-либо связи между Ганецким и Парвусом.[7]

Придя к власти, Ленин быстро замёл следы. После революции новый режим уничтожил все доказательства, какие смог отыскать, когда чиновники начали разбирать бумаги Временного правительства. Ленин и Троцкий, несомненно, знали об этом сокрытии и, более чем вероятно, сами его приказали. Они были полны решимости не оставить никаких следов, но по меньшей мере одна уцелевшая записка наводит на мысль, что действовали они не слишком осторожно. Фёдор Залкинд и Евгений Поливанов, два сотрудника Народного комиссариата иностранных дел при Троцком, сообщили, что обнаружили некий «относящийся к делу материал, который был конфискован». Они писали Ленину, что «в архиве Министерства юстиции из дел по так называемой “измене” товарищей Ленина, Зиновьева, Коллонтай и других нами изъято распоряжение Германского Имперского банка № 27433 от 2 марта 1917 года, санкционировавшее выплату денежных сумм». Далее они сообщали, что «просмотрели все книги Нового банка в

---

[6] Германские деньги Ленину: Volkogonov, с. 167–173; Zeman, Zbyneˇk (ed.), Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918, Oxford, 1953, с. 101–103; Merridale, с. 106–115.

[7] Парвус написал следователям Временного правительства, отрицая какую бы то ни было причастность, — в своей обычной высокопарной манере, не убедившей никого. «Безумцы… Почему вас так волнует, давал ли я деньги Ленину? Ленин и другие никогда не требовали и не получали от меня никаких денег ни в качестве займа, ни в качестве дара. Но я дал им — и многим другим — нечто гораздо более действенное, чем деньги или динамит. Я принадлежу к числу тех людей, которые дали духовную пищу революционной решимости русского пролетариата…» Придя к власти, Ленин отказался от всяких контактов с Парвусом и в 1918 году запретил ему возвращаться в Россию, когда тот попросил об этом. «Ни в коем случае», — сказал Ленин своему личному секретарю Бонч-Бруевичу. «Революция не должна быть запятнана такими людьми, как он».

Стокгольме… там обнаружилось распоряжение № 2704 из Имперского Германского банка», которое они также изъяли. Эти документы всплыли лишь семьдесят лет спустя.[8]

Большой военный фонд из Германии стал серьёзным подспорьем для большевистской удачи. Но ещё более значительным фактором была некомпетентность противников Ленина — а он не упускал случая воспользоваться возможностями, которые они ему раз за разом предоставляли.

[8] Подробности германских выплат большевикам: Volkogonov, с. 170–175; Merridale, с. 105–109; и Pearson, The Sealed Train, с. 116–119. Долгое время подвергавшиеся цензуре доклады, подробно описывающие сокрытие этих фактов: письмо Троцкому и Ленину, РГАСПИ, ф. 32, оп. 14, д. 12.

ГЛАВА 33. Отчаянная ставка

«Мне известны случаи, когда солдаты в полках, обещавших пойти в наступление после речи Керенского… меняли своё решение и отказывались наступать, когда приходило время действовать».
Генерал Антон Деникин, командующий армией на Западном фронте, июнь 1917 года

«Те, кто делает революции наполовину, просто роют себе могилу».
Франсуа-Рене де Шатобриан (1768–1848)

Писатель У. Сомерсет Моэм, время от времени подрабатывавший агентом британской разведки, провёл весну и лето 1917 года в Петрограде. Его задача состояла в том, чтобы сделать всё возможное для удержания России в войне и тем самым обеспечить, чтобы Германия и дальше была вынуждена сражаться на два фронта. «Меня опьяняла ответственность моего положения, — писал Моэм позднее. — Я отправился как частный агент, от которого при необходимости можно было отречься, с указанием вступить в связь с партиями, враждебными правительству… и не допустить захвата власти большевиками». Моэм хвастался, что в его распоряжении были «неограниченные средства», но когда он предложил передать 50 000 фунтов стерлингов меньшевикам и эсерам, большинство которых всё ещё поддерживало войну, британское министерство иностранных дел испугалось и суммы, и рискованности всего предприятия. Поскольку немцы давали Ленину и большевикам эквивалент миллионов, это выглядит несколько близоруко и мелочно, однако сомнительно, что план Моэма в любом случае мог увенчаться успехом.

Политика союзников, заключавшаяся в том, чтобы оказывать на измученную войной Россию максимально сильное давление и заставлять её продолжать боевые действия, была Ленину только на руку. Весь май и июнь он говорил товарищам, что единственное, чего он по-настоящему боится, — это что Временное правительство сделает «разумную вещь», присвоит себе большевистскую программу и пойдёт на сепаратный мир с Германией. «Это выбило бы у нас почву из-под ног», — говорил он Троцкому. В какой-то момент в мае ему показалось, что именно так и произойдёт, но он не понял логики других министров правительства, некоторые из которых полагали, что если Россия сумеет продержаться ещё немного, западные союзники выиграют войну и за неё, и Россия от этого только выиграет.

Публично западные союзники приветствовали Февральскую революцию. Президент США Вудро Вильсон заявил, что «новое и либеральное правительство в России, сменившее тиранического и коррумпированного» царя, является желанным партнёром для Америки. «Теперь, когда пугающее самодержавие России сброшено и великий, щедрый русский народ присоединился к силам, сражающимся за свободу… за справедливость и за мир… перед нами достойный партнёр для Лиги чести». Услышав о речи президента, Ленин пробормотал: «Ну и лицемер, ну и пустозвон». Британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж послал князю Львову послание через два дня после революции: «Мы убеждены, что революция, посредством которой русский народ поставил свою судьбу на прочное основание свободы, есть величайшая услуга, какую он до сих пор оказал делу, за которое союзные народы сражаются с августа 1914 года».

Но за этими публичными заявлениями западные лидеры всерьёз опасались, что Временное правительство уступит давлению слева и станет добиваться сепаратного мира с Германией. Англичане посылали в Россию шпионов, вроде Сомерсета Моэма и Роберта Брюса Локкарта, —

как это делали французы и американцы, — чтобы тайно вмешиваться в русскую политику, тогда как дипломаты более открыто пытались укрепить решимость Временного правительства. Это вмешательство союзников напрямую привело к военной катастрофе, которая ускорила вторую революцию 1917 года и помогла приблизить именно тот исход, которого они менее всего желали: приход большевиков к власти и выход России из войны.[1]

Военный министр Керенский и кадетские члены правительства хотели показать, что Россия по-прежнему предана военным усилиям. Они убедили высшее армейское командование подготовить планы летнего наступления — крупного удара, который должен был выбить немцев и австрийцев с Украины, значительная часть которой уже два года находилась под оккупацией. Ещё до начала наступления начальник штаба армии Брусилов предупредил Керенского о своих растущих сомнениях. Уже произошли десятки мятежей даже в частях, считавшихся верными и хорошо обученными, и тысячи солдат отказывались выдвигаться на фронт. До трёх четвертей войск, говорил он Керенскому, могли попросту разбежаться, — «но он не обратил ни малейшего внимания на мои слова».

Это наступление было отчаянной ставкой, причём шансы были изначально против русских. 16 июня оно началось двухдневной мощной артиллерийской бомбардировкой германских окопов в северо-западной Украине. Через два дня войска двинулись вперёд, и поначалу германская линия была прорвана — патриотические газеты уже возвещали о «Триумфе свободы». Но на третий день продвижение остановилось; немцы перегруппировались и перешли в контратаку. Русские в панике бежали. Коммуникации растянулись, многие части остались без оружия и боеприпасов. Но главной причиной провала наступления было то, что солдаты отказывались воевать. Только за одну ночь один отборный батальон 11-й армии задержал 12 000 дезертиров под украинским городком Волочиск. Имели место сотни случаев, когда солдаты перед бегством стреляли в своих офицеров. За несколько недель русские потеряли почти 200 000 человек убитыми и ранеными и лишились миллионов квадратных миль территории. Барон Алексей Будберг, выходец из знаменитой дворянской семьи, был полковником в одном из полков на передовой и совсем не походил на типичного реакционного офицера старой школы. Он говорил, что уже и до этого момента армия «перестала существовать как военная организация… восемьдесят процентов солдат, офицеров и нижних чинов, охотно согласились бы с лозунгом “Долой войну”. Для офицера ужасно отдавать приказ без всякой уверенности — а часто и без малейшей надежды, — что он будет исполнен». Провал наступления стал смертельным ударом для Временного правительства и авторитета его руководителей — и крупной пропагандистской удачей для Ленина, который усилил большевистскую кампанию против Керенского; тот, несмотря на катастрофическое военное поражение, в начале июля стал премьер-министром.[2]

Керенский задумался о перемирии с Германией вскоре после того, как стал премьером, но отверг эту мысль. Он утверждал, что это сделало бы его «ответственным за национальное унижение».[3]

---

[1] Anthony Curtis, Somerset Maugham, London, 1977, хорошо освещает роль Моэма как шпиона в Петрограде, как и собственная книга Моэма Ashenden: Or the British Agent, London, 1928. Memoirs of a British Agent, London, 1932, и Diaries: Volume 1, London, 1973, Роберта Брюса Локкарта весьма увлекательны (хотя и не всегда вполне надёжны) в том, что касается шпионажа в России между 1917 и 1921 годами; столь же увлекательна и книга Robert Service, Spies and Commissars, London, 2011.

[2] Катастрофическое июньское наступление: Hastings, с. 293–297; Figes, с. 483–486; и Budberg Papers, Box 1.

[3] В 1931 году британско-канадский газетный магнат лорд Бивербрук, обедая с Керенским в Лондоне, спросил его, можно ли было остановить большевиков, если бы Временное правительство добилось мира с немцами. «Разумеется», — ответил он. Удивлённый Бивербрук спросил, почему же, ради всего святого, он этого не сделал. «Мы были слишком наивны», — ответил Керенский.

Однако, хотя западные союзники знали, под каким давлением он находится, они не сделали его положение легче. Они не дали ему ни новых займов для облегчения российского экономического кризиса, ни подкреплений, ни сколько-нибудь значительного дополнительного военного снабжения. В дипломатическом отношении они попросту вынуждали Временное правительство продолжать войну — политика печально близорукая. Британский посол сэр Джордж Бьюкенен докладывал в Лондон в июле: «Сегодня утром я видел Керенского. Я сказал ему, что, хотя я один из немногих, кто ещё не оставил всякую надежду на то, что Россия сумеет взять себя в руки, я не могу брать на себя ответственность за отправку благоприятных донесений… [на родину], если только он не даст мне удовлетворительных заверений относительно поддержания порядка в тылу, а также в вопросах продовольствия и транспорта. Я сказал ему, что более всего меня занимает то, что социалистические [не коммунистические] члены правительства боятся сделать армию по-настоящему боеспособной силой из опасения, как бы однажды её не использовали против Революции… Я не мог скрыть, насколько мучительно мне наблюдать происходящее в Петрограде. Пока британские солдаты проливают кровь за Россию, русские солдаты слоняются по улицам, ловят рыбу в реках и ездят в трамваях, а германские агенты повсюду».

Однажды, после того как Керенский подвергся нажиму и со стороны Бьюкенена, и со стороны американского посла Дэвида Фрэнсиса, он встретился с Сомерсетом Моэмом и попытался объяснить ему положение правительства: «Я не смогу удержать армию в окопах. Не понимаю, как мы вообще можем продолжать. Разумеется, народу я этого не говорю. Я всегда заявляю, что мы будем продолжать при любых обстоятельствах, но если мне нечего будет сказать своей армии, это невозможно». Холодный и невозмутимый агент разведки не проявил особого сочувствия.[4]

[4] Некоторые из агентов и сами сомневались в своей миссии. Брюс Локкарт писал начальству, что они проводят заведомо бесплодную политику. «Союзники были ослеплены своим стремлением любой ценой сохранить военное сотрудничество России, — писал он. — Они совершенно не понимали, что возможно, а что невозможно… они попросту играли на руку Ленину и отталкивали Керенского от русского народа».

ГЛАВА 34. Июльские дни

«Вот когда они собираются нас расстрелять. Для них это был бы самый выгодный момент».
Ленин — Троцкому, 4 июля 1917 года

«Революция невозможна без революционной ситуации; но при этом не всякая революционная ситуация приводит к революции».
Ленин, Крах Второго интернационала, 1915

К середине лета Надя уже видела у мужа все признаки переутомления, перенапряжения и нервного истощения, которые так часто подводили его к грани полного срыва. Он плохо спал и «страдал ужасными головными болями, лицо у него было белое, а в глазах читалась крайняя усталость». Его воодушевляло возбуждение революционного момента — «наконец-то мы заняты настоящим делом», — говорил он товарищам. Но бесконечные выступления и непрерывная журналистская работа, не говоря уже о руководстве такой сварливой политической партией, как большевики, брали своё. В швейцарской эмиграции его поддерживали в форме регулярные прогулки по горам, купание в озёрах и реках, и это же действовало на него успокаивающе. Но с тех пор как он вернулся в Россию, он почти не занимался физическими упражнениями и плохо питался. После одного из выступлений, вспоминала Надя, «когда он вернулся домой, он был не возбуждён и счастлив, а утомлён, совершенно изнурён. Даже наши прогулки не помогали и не приносили пользы. Однажды мы поехали на Елагин остров [излюбленное местное место для прогулок, с лесами и озером], но там было так людно, что гулять так, как нам хотелось, мы не могли. Тогда мы стали ходить по пустынным улицам Петроградской стороны». Эти улицы находились неподалёку от квартиры Анны и Марка Елизаровых, где они всё ещё жили, но спокойных городских прогулок было недостаточно, чтобы вернуть Ленину силы. «В это время он выглядел ужасно, — говорил другой товарищ. — Лицо у него было землистое. Язык серый». Инесса через несколько дней после прибытия в Россию уехала в Москву к своим детям, особенно к сыну Андре, у которого подозревали туберкулёз. По меньшей мере один раз, а возможно и чаще, пока она была в Петрограде, она встречалась с Лениным в квартире его сестры, что ясно из его записки к ней: «Мой дорогой друг… У нас жизнь всё та же, какую вы здесь сами видели. Изнурению нет конца…»[1]

Надя знала лекарство: отдых как можно дальше от стресса и работы. Она отправила Ленина вместе с его сестрой Марией на несколько дней в отдалённое место на финском побережье, где он мог бы отдохнуть и прийти в себя. Но прежде чем он уехал, предстояло принять серьёзные политические решения. Большевики объявили о проведении в Петрограде ряда демонстраций в конце июня и начале июля — в знак протеста против войны и с целью оказать максимальное давление на шаткое Временное правительство. 20 июня Ленин на спешно созванном поздним вечером заседании Центрального комитета большевиков сказал своим ближайшим соратникам, что замысел состоит в том, чтобы «прощупать почву и посмотреть, что из этого выйдет», но не допустить, чтобы протесты вышли из-под контроля. «Мы должны особенно остерегаться того, чтобы не поддаться на провокацию. Один неверный шаг с нашей стороны может всё погубить.

[1] Теперь Ленин стал осторожнее в том, как именно им следует переписываться. В двух последовательных письмах он дал ей точные указания. Она должна была адресовать свои письма его сестре Марии в редакцию Правды и помечать их: «Для В. И.». Он также назвал ей имена двух посредников, которыми они могли пользоваться, — «наших вполне надёжных товарищей».

Даже если бы мы сейчас и смогли захватить власть, удержать её мы не в состоянии… в Советах обеих столиц [Петрограда и Москвы], не говоря уже о прочих по всей стране, мы составляем ничтожное меньшинство. Это основной факт… Нельзя опережать события. Время работает на нас». Неделей позже он снова встретился со своим ближайшим кругом и сказал, что демонстрации должны состояться, но «мы должны вести себя осторожно».

29 июня Ленин вместе с сестрой Марией покинул Петроград и отправился на дачу Владимира Бонч-Бруевича и его жены Веры, врача, в маленькую рыбацкую деревушку Невьола на Карельском перешейке. Надя осталась в городе. Он подолгу сидел на веранде, глядя в небо и на окрестный пейзаж — суровый, но по-своему прекрасный. Он много гулял. Читал английские романы и беседовал с сестрой. Купался в соседнем озере, чем весьма тревожил Бонч-Бруевича — добродушного, пузатого, рыжебородого великана, больше похожего на респектабельного биржевого маклера или адвоката, чем на опасного революционера. «Владимир Ильич был сильным пловцом, но любил заплывать слишком далеко… мы всё время предупреждали его, что это может быть опасно; холодные течения могут образовать водовороты. Мы говорили, что совсем недавно в этом озере неподалёку утонули люди. “Ну, обещаю, что не утону”, — сказал он. А потом просто рассмеялся и исчез под водой». Отдых возымел обычное действие и восстановил его силы.[2]

До сих пор находятся те, кто утверждает, будто это был «дипломатический отпуск», удобно выбранный для того, чтобы Ленин мог отстраниться от происходившего в Петрограде. Демонстрации приняли насильственный характер, и на улицах произошли кровавые столкновения. Город погрузился в хаос, и даже некоторые большевики и их сочувствующие сочли, что происходит попытка переворота. Серго Орджоникидзе, один из ведущих организаторов партии и в то время близкий друг Сталина — впоследствии он станет руководителем большевиков в Грузии, — говорил, что, по его мнению, демонстрации были «первой серьёзной попыткой покончить с властью Временного правительства». Другие не были в этом столь уверены, в том числе большая часть меньшевистского руководства и главный чиновник разведки Временного правительства Борис Никитин, признавший, что это было скорее «сумятицей, чем заговором».

Даже теперь единственное, что ясно относительно Июльских дней, как их стали называть, — это то, что в них не было ничего заранее спланированного и организованного. Крайне маловероятно, что Ленин санкционировал бы путч, если бы сам не находился в Петрограде, чтобы руководить им. Он мечтал о революции большую часть своей жизни, почти ни о чём другом не писал последние двадцать пять лет, сделал себя специалистом по «искусству» восстания. Если это был центральный момент его жизни, то неужели Ленин оставил бы всё настолько на волю случая? Это совершенно не в его характере.

С другой стороны, именно большевики призвали к демонстрациям, и всегда существовала вероятность, что они выйдут из-под контроля. Казалось, они хотели и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Когда начались беспорядки, а Ленин находился «в отпуске», оставшееся в Петрограде руководство запаниковало, не знало, что делать, и растеряло самообладание. Некоторые воинские части — 1-я стрелковая бригада и крупный отряд матросов с военно-морской базы в Кронштадте — взбунтовались, заявили о своей верности большевикам и хотели штурмовать Таврический дворец, чтобы свергнуть правительство и Думу. В течение нескольких часов 3 июля они контролировали Петроград и могли бы без труда войти в Таврический и

---

[2] Ленин настаивает на осторожности во время демонстраций: Nikolai Podvoisky, «Lenin in October». «Отпуск» перед Июльскими днями: Bonch-Bruevich, с. 72.

Зимний дворцы, если бы пожелали. Но большевистское руководство колебалось и так и не отдало приказа.

Позднее в тот же день войска, верные правительству, нанесли ответный удар. В уличных боях погибли около 300 человек — солдат и мирных жителей. Петроград пребывал в полном замешательстве. Никто не знал, кто вообще возглавляет правительство; Керенский находился в Киеве после серии пламенных выступлений перед войсками на Украинском фронте. Разъярённые солдаты с обеих сторон патрулировали улицы, где в течение всего дня продолжались отдельные вспышки беспорядков. Матросы и солдаты, поддерживавшие большевиков, не могли понять, почему партийные вожди не захватили власть, когда казалось, что она уже сама идёт в руки: «Бери власть, сукин сын, коли её дают», — крикнул один солдат в сторону Троцкого поздно вечером того дня.[3]

В Невьоле в шесть утра в среду, 4 июля, Ленина разбудил отчаянный стук в дверь деревянного домика Бонч-Бруевичей. Это был нервный на вид Максимилиан Савельев, член редакционной коллегии Правды, которого остальное руководство большевиков послало умолять Ленина немедленно вернуться в Петроград. «Демонстрации совершенно вышли из-под контроля, началось насилие, в городе хаос». Ленин впал в один из своих припадков ярости. «Что они делают? Они погубят всё дело», — сказал он. Бонч-Бруевич подошёл к двери, и Ленин сказал ему: «Это совершенно не то время. Нам придётся что-то быстро предпринять. Ничего не выйдет. Мы не можем сейчас захватить власть».

Он бросился к ближайшей железнодорожной станции, Мустаамяки, чтобы сесть на первый поезд до Петрограда. Некоторые пассажиры уже слышали новости и винили в беспорядках «этих проклятых большевиков» или «того самого Ленина», но никто его не узнал. В тот момент едва ли кто-нибудь в России — даже давние большевики — знал, как выглядит Ленин. В поезде ему попались утренние газеты. Чтение было малоприятным. Меньшевистская Рабочая газета назвала происходящее «ударом в спину Революции». Эсеровское Дело народа писало, что беспорядки приведут к гражданской войне. Газета кадетов Речь просто вышла с заголовком «Анархия». Ленин пришёл в ярость, увидев в Правде пустую белую полосу. Позже он узнал, что статью, которая должна была призвать к осторожности, в последнюю минуту сняли, потому что большевистское руководство не имело ни малейшего представления, какую политическую линию занять.

На Финляндском вокзале Ленин взял извозчика и поехал в особняк Кшесинской. В отдельных частях города продолжалась беспорядочная стрельба. Он взбежал в зал заседаний на третьем этаже, где собралась большая часть Центрального комитета большевистской партии, а также лидеры кронштадтских матросов. Он ни с кем не поздоровался. Только посмотрел на них и сердито прорычал: «Вас всех за это надо выпороть». Затем он начал искать такой выход из положения, который позволил бы сохранить лицо и ему самому, и большевикам. Мятежники всё ещё удерживали под контролем некоторые районы Петрограда, а снаружи особняка тысячи демонстрантов ждали, когда он заговорит. Его выступление было уклончивым и вялым; он призывал прекратить демонстрации — «мы всегда хотели, чтобы всё прошло мирно, без насилия». Но одновременно он пытался оставить себе пути к отступлению. Большевистский призыв «передать власть Советам когда-нибудь победит, несмотря на зигзаги истории, но, может быть, не сегодня», — сказал он. Суханов, стоявший в первых рядах толпы, назвал это «самым двусмысленным зрелищем». Толпа была озадачена. Небольшая группа солдат и рабочих двинулась к Таврическому дворцу, но была остановлена правительственными войсками

[3] Описание Июльских дней: Figes, с. 472–474, и Rabinowitch, Prelude to Revolution

из Измайловского полка и отрядом казачьей конницы. Непосредственная опасность миновала, и Керенский уже возвращался с фронта в Петроград. Ленин всегда утверждал, что в тот момент никакого заговора с целью свержения правительства не существовало: «это было немного больше, чем демонстрация, но гораздо меньше, чем восстание», — говорил он позже. Но именно это было низшей точкой в ленинском движении к власти.[4]

Вернувшись в особняк, Ленин уже успокоился. Он был сдержаннее и сказал товарищам, что им необходимо подготовиться к ответному удару правительства — «периоду реакции» — и что «нам придётся извлечь урок из этой неудачи, которая нам повредит». Он решил, что большевики должны отказаться от крупных уличных демонстраций, которые никогда не принесут им победы, а лишь сделают их непопулярными и придадут им вид анархистов. Им нужно было лучше организовываться на заводах и в казармах, формируя вооружённые группы, преданные большевистскому делу, а более конкретно — его центральному руководству. Это и были те самые «Красные гвардейцы», которые поведут восстание, когда придёт время.

Во время беспорядков того дня никто из большевиков не имел ясного представления о том, что происходит в городе. «Дайте мне точный отчёт о ваших силах, — требовал Ленин от товарищей. — Назовите части, которые определённо пойдут за нами. Кто против нас? Взяты ли под контроль мосты через Неву?» Никто не мог дать ему ответов. Он сказал, что, когда большевики предпримут серьёзную попытку захватить власть, она должна быть организована эффективно и беспощадно, а не отдана на волю случая и толпы. Они должны создать «военно-революционный орган, способный планировать» восстание с точностью.[5]

Ещё более неотложной задачей было позаботиться о собственной безопасности и подготовиться к контрудару сил Временного правительства. Ленин сказал, что уйдёт в подполье и будет скрываться, пока не окажется в безопасности. «Вот когда они собираются нас расстрелять. Для них это был бы самый выгодный момент», — сказал он Троцкому.[6] В ту ночь он вместе с Надей провёл в конспиративной квартире на Петроградской стороне, неподалёку от квартиры Анны и Марка Елизаровых.

На следующий день сенсационная, правая, проправительственная газета Живое слово обвинила Ленина в том, что он является вражеским агентом, а большевиков — в получении огромных денежных сумм от немцев. «Ужасы! Петроград вчера едва не был захвачен немцами», — начиналась её передовая статья. Если по существу эта история и содержала долю правды, то почти все её подробности были вымышлены, однако им широко верили.

Тем же вечером Керенский распорядился арестовать Ленина и его ближайших соратников по обвинению в «государственной измене и организации вооружённого восстания». Большевистский вождь ушёл ещё глубже в подполье. В течение следующих пяти дней он скрывался по пяти разным адресам в Петрограде, иногда меняя место дважды в день. Рано

---

[4] «Немного больше, чем демонстрация, но меньше, чем восстание»: Ленин — Троцкому, у Trotsky, The History of the Russian Revolution, с. 296.

[5] Ленин требует объяснений от планировщиков восстания: Podvoisky, «Lenin in October».

[6] На этом этапе Троцкий ещё официально не присоединился к большевикам, но после возвращения в Россию уже несколько раз встречался с Лениным, и оба они пришли к примирению. С меньшевиками он разошёлся несколькими годами ранее и был, по собственному выражению, «вольным революционером», не хранившим верности ни одной из сторон. Но теперь он увидел реальную перспективу власти и понял, что союз с Лениным — единственный путь к её достижению. Он был готов идти за ним — пусть и не к слепому повиновению. Он признавал, что Ленин — человек действия, а не просто «один из тех революционеров, которые только говорят, говорят, говорят». С этого момента он с полным воодушевлением связал свою судьбу с Лениным и большевиками. Вместе с ним пришли и несколько сотен его собственных сторонников, в том числе некоторые из тех, кто после 1917 года займёт высокие посты в советском режиме.

утром 6 июля вооружённые милиционеры совершили обыск в квартире Елизаровых. «Жандармы! Совсем как при старом режиме!» — закричала Надя, когда они ворвались внутрь. Ленина там не было, но они арестовали его шурина — высокого, массивного человека, который внешне меньше всего мог походить на Ленина. Но они понятия не имели, как Ленин выглядит, и потому на всякий случай забрали Елизарова, несмотря на его протесты.[7]

Армия совершила налёт на особняк Кшесинской, но ни одного из старших большевиков там уже не было. Все скрылись. Здание реквизировали для правительственных нужд и выбросили оттуда всех членов партии. Одновременно полиция налетела на редакцию Правды, где Ленина разминулась с ним всего на несколько минут. По распоряжению правительства всё было перевёрнуто вверх дном: телефоны вырваны, готовые к печати рукописи испорчены. Были уничтожены дорогие, почти новые ротационные машины и разбиты линотипы.

Некоторые из фигурировавших в правительственном списке «разыскиваемых» уже находились под замком. Троцкий добровольно сдался. Каменева опознали на дорожном блокпосту, когда он пытался уехать из города на автомобиле. Александру Коллонтай арестовали у неё в квартире. Ленина укрыли на сутки в зажиточной части Петрограда, в квартире квалифицированного рабочего и надёжного большевистского активиста Сергея Аллилуева. Он занял комнату, в которой обычно останавливался Сталин, когда бывал в городе.[8]

В тот же день после полудня Ленин, Надя и Зиновьев находились в этой квартире вместе с остатками большевистского руководства, которым не грозил немедленный арест. По поручению Ленина были сделаны запросы членам Петроградского Совета: если он сдастся им, смогут ли они гарантировать ему безопасность? Те ответили, что ничего обещать не могут, поскольку правительство твёрдо намерено предать его суду. И всё же он вдруг посмотрел на Надю и сказал ей: «Я решил, что мы с Григорием явимся сами и предстанем перед судом. Мы должны проститься. Мы можем больше никогда не увидеться». Они коротко обнялись — один из очень немногих случаев нежности, которые они когда-либо проявляли при свидетелях. Затем она вернулась в квартиру Елизаровых.[9]

Сразу после ухода Нади состоялось быстрое официальное заседание — то есть с ведением протокола — пяти других членов Центрального комитета большевиков, в том числе Сталина, Свердлова и Елены Стасовой, на котором решение Ленина было отменено. Они убедили его, что сдаваться слишком опасно, справедливого суда не будет, а его безопасность слишком важна для общего дела. Именно доводы Стасовой оказались самыми вескими. Она сказала, что по городу и в самом Совете распространяется слух, будто правительство обнаружило документы, доказывающие, что Ленин был шпионом охранки. Он криво усмехнулся и совершил тот тактический отход, которым был знаменит. «Вы правы, я не могу этого сделать. Для других всё будет в порядке. Они посидят какое-то время в тюрьме, а потом их выпустят. А меня повесят». На следующий день он изложил свои доводы просто и ясно в опубликованном заявлении. «В России в настоящий момент нет никаких гарантий справедливого суда… отдать себя в руки властей означало бы капитулировать перед контрреволюционерами, для которых эти обвинения против нас — лишь часть небольшой стычки в гражданской войне».

---

[7] Позднее в тот же вечер его освободили, когда тюремным властям было подтверждено, что он «определённо не Ленин»

[8] Комната по соседству принадлежала шестнадцатилетней дочери Сергея и Ольги Аллилуевых, Надежде, которая немного позже вышла замуж за Сталина (и покончила с собой в 1932 году). Об этой первой встрече с большевистским вождём она почти ничего не запомнила, кроме шума из соседней комнаты — «скрежета пера день и ночь

[9] Ленин и Надя обнимаются и прощаются; свидетели — Зиновьев, Стасова и Каменев: Bonch-Bruevich, с. 84

И вновь среди его собственных сторонников раздались обвинения в трусости. «Многие члены Совета были возмущены, — писал Суханов, — в том числе и несколько большевиков, выражавших “безоговорочное негодование и осуждение Ленина с политической и моральной точки зрения. Бегство пастыря не могло не нанести тяжёлого удара по стаду… какой же генерал оставляет армию, своих товарищей и ищет личного спасения в бегстве?”» В то время не существовало смертной казни, как и каторжной тюрьмы. «Ленину не грозило решительно ничего, кроме заключения, и в тюрьме у него, возможно, было бы не меньше свободы действий, чем в подполье… остальные продолжали работать и писать, а через несколько недель вышли из тюрьмы с мученическими ореолами».

Но Ленин действительно боялся смерти, если останется в Петрограде. В тот же день он писал Каменеву, беспокоясь о своих заметках к книге, над которой работал. «Entre nous, если меня прикончат, непременно позаботьтесь о публикации моей синей тетради “Марксизм и государство”». Это была не паранойя, а точная оценка собственной ценности для большевиков. Троцкий высказывался вполне определённо. «Если бы им [Временному правительству] удалось его арестовать, весьма вероятно, что они расправились бы с ним так же, как германские армейские офицеры расправились с Розой Люксембург», — писал он позднее.[10] «В этом случае весьма вероятно, что никакой большевистской революции не произошло бы». К такому же выводу пришёл и ожесточённый идеологический противник Ленина, американский посол Дэвид Фрэнсис, который постоянно советовал правительству арестовать Ленина. «Если бы Временное правительство предало Ленина суду… осудило и казнило… Россия не была бы вынуждена пережить ещё одну революцию, была бы избавлена от террора и от потери миллионов своих сыновей и дочерей от голода и убийств», — писал он позднее.

Скрываясь от преследования, Ленин решил уйти ещё глубже в подполье и найти как можно более безопасное убежище в Финляндии — «почти в России», — где правительственным органам было бы куда труднее выследить его. Он сменил костюм на более простую одежду и с помощью Сталина сбрил усы и бороду. «Вот теперь хорошо, — сказал он, осмотрев себя в зеркале. — Я похож на финского крестьянина, и едва ли кто-нибудь меня узнает». Так началось ещё одно спешное бегство Ленина из России. Немногие из его товарищей-большевиков знали, где он находится, и в течение следующих трёх месяцев почти никто из них его не видел.[11]

---

[10] Люксембург была вдохновительницей берлинского социалистического восстания в июне 1919 года, которое продержалось несколько недель, прежде чем было подавлено германской армией. Она была зверски убита, а её тело сброшено в Ландвер-канал.

[11] Ленин уходит в подполье: Trotsky, On Lenin. Бритьё с помощью Сталина: Service, Lenin, с. 272.

ГЛАВА 35. В бегах

«Когда есть государство — нет свободы; когда будет свобода — не будет государства».
Ленин, Государство и революция, 1917

Незадолго до одиннадцати вечера 9 июля Ленин вместе с Григорием Зиновьевым покинул квартиру, где их прятал Аллилуев. План их бегства был поручен ветерану-большевику, рабочему-металлисту Николаю Емельянову, у которого была маленькая хижина на берегу Финского залива, в тридцати километрах от центра города; там они должны были быть в безопасности — по крайней мере на время. Но то, удастся ли добраться туда без помех, сильно тревожило обоих беглецов. Ленин находился в крайне нервном состоянии — «он был в отчаянном настроении», вспоминал Емельянов. Финляндский вокзал был густо оцеплен полицией, поэтому они решили идти пешком от дома Аллилуева в центре Петрограда до пригородной станции Новая Деревня, откуда можно было сесть на поезд по небольшой ветке до Сестрорецка. Пеший путь считался безопаснее, чем поездка на автомобиле или извозчике; транспорт регулярно останавливали патрули.

Ленин не хотел стоять на платформе, боясь, что его узнают. Все трое спрятались под цепочкой ожидавших товарных вагонов. Когда их поезд около часа ночи уже должен был отправиться, они вскарабкались в последний грузовой вагон. Ленин настоял на том, чтобы сидеть на ступеньках, держась за поручень, — на случай, если придётся поспешно спрыгнуть. «Но это опасно, ты можешь упасть», — сказал Емельянов. «Не беспокойся, я умею держаться», — ответил он.

На одной из станций группа солдат заметила Ленина, и двое из них уже двинулись было спросить, что происходит, — но они были сильно пьяны и вместо этого решили вернуться к своей бутылке самогонки. После сорока тревожных минут, уже почти в конце линии, все трое сошли в Разливе и прошли полтора километра до хижины Емельянова, где им предстояло спать на сеновале, который два подростка — сыновья хозяина — приготовили для именитых большевистских гостей.

Зиновьев позднее оставил лирическое описание их пребывания в сарае. «Прохладные ночи, отмеченные звёздами; запах скошенного сена… дымок от маленького костра, на котором в небольшом котелке томилась оленина. Мы ложимся рано… Холодно. Мы укрываемся старым одеялом… но оно узкое, и каждый из нас старается оставить бóльшую его часть другому… Иногда я долго не могу уснуть, лежа в совершенной тишине. Я слышу, как бьётся сердце Ильича. Мы спим, тесно прижавшись друг к другу…»

Ленин же наслаждался этой передышкой куда меньше. Он всегда ощущал себя человеком, стоящим отдельно от своих последователей, и едва ли ему было приятно делить сенную постель с Зиновьевым. Он жаловался на мошкару — «ненасытные комары не давали покоя», — жаловался на то, что получает недостаточно сведений из Петрограда, и беспокоился о безопасности. Хижина была окружена другими домами и находилась рядом с кемпингом, переполненным дачниками. Поблизости проходила тропа, по которой в течение дня ходило множество людей. За его голову была назначена награда в 200 000 рублей, и его могли случайно узнать, несмотря на маскировку. Газеты верно сообщили, что он покинул Петроград и ушёл в подполье. Ленин настаивал, что им нужно перебраться в место понадежнее. Емельянов нашёл другое убежище — маленькую крытую соломой хижину в трёх километрах оттуда, на поляне в

глубине леса у озера. Поблизости жило лишь несколько крестьян. Следующие три недели именно здесь будет планироваться грядущая большевистская революция.[1]

Это второе, более уединённое убежище Ленину понравилось. Он и Зиновьев кипятили чай или варили картошку в жестяном котелке, подвешенном на рогатинах над маленьким костром. В дневную жару они купались в озере, а в долгих вечерних сумерках Ленин ловил карпа и леща. По кружному пути, чтобы не привести за собой полицейских шпиков, из Петрограда к ним приходили посыльные по меньшей мере раз в день, а последний отрезок пути переплывали на лодке через озеро. Надя приехала к ним однажды на день, несколько раз пересаживаясь с поезда на поезд, чтобы сбить со следа людей, следивших за нею.

На блокноте у костра он яростно писал статьи для партийной печати и всерьёз засел за работу над Государством и революцией — исследованием того коммунистического идеала, который хотел построить. Ни в «буржуазной демократии», ни в государстве, утверждал он, не было нужды. После революции, когда пролетариат станет свободным, рабочий класс будет управлять собой сам: тогда-то государство, как сказал Энгельс, и «отомрёт». Самое известное афористическое место книги сформулировано изящно: «Когда есть государство — нет свободы; когда будет свобода — не будет государства». Какое-то время это произведение считалось одной из важнейших работ Ленина, полной прозрений о грядущей земле обетованной. Однако с течением времени, уже при его преемниках, книга, по понятным причинам, вышла из моды и в Советском Союзе цитировалась редко, ибо государство решительно не собиралось отмирать, а, напротив, становилось всё более сильным, централизованным и свирепым. Спустя столетие она звучит удручающе пусто, хотя и сохраняет ценность как своего рода утопическая мечта: «Мы не знаем, когда… [государство] отомрёт, но мы знаем, что оно отомрёт».[2]

Эта сельская идиллия не могла продолжаться долго. Однажды Зиновьев едва не попался, когда вышел охотиться за дичью на прогалину среди леса. Его обнаружил лесник, заподозрил неладное и спросил, кто он и откуда пришёл. Зиновьев прикинулся простаком и сделал вид, будто он финский крестьянин, не говорящий по-русски. Затем от большевиков в Петрограде пришло известие, что полиция полагает, будто Ленин скрывается где-то в районе Финского залива. Ленин решил, что ему нужно уходить дальше — уже в собственно Финляндию. Зиновьев меньше опасался, что его повесят, и решил инкогнито вернуться в Петроград.

Чтобы пересечь русско-финляндскую «административную границу», Ленину понадобился поддельный паспорт. Это был последний из бесчисленных фальшивых документов, которыми он пользовался в своей жизни заговорщика; на сей раз он числился машинистом по имени Константин Петрович Иванов. Сохранилась любопытная фотография безбородого Ленина — единственная в своём роде, — на которой он выглядит решительно ничтожной фигурой, лишённой всякой властности, совершенно неузнаваемой как человек, возглавивший первую в мире коммунистическую революцию.

Наспех составленный план заключался в том, что 8 августа они оба должны были уйти вместе с Емельяновым и двумя новыми проводниками-курьерами, финскими большевиками Эйно Рахья и Александром Шотманом. Им предстояло пройти десять километров на восток через лес, от озера до крошечной железнодорожной станции Левашово, обратно по направлению к Петрограду. Оттуда Зиновьев должен был отправиться в столицу. Ленину предстояло двинуться дальше, на север, в Финляндию: сначала задержаться в деревне Удельная у сторонника

---

[1] Бегство из Петрограда вместе с Зиновьевым: Service, Lenin, с. 274–276; Bonch-Bruevich, с. 82; и Clark, с. 296–298.

[2] Ленин, The State and Revolution, CW, т. 12

большевиков Эмиля Кальске, а затем пересечь границу, выдавая себя за кочегара на паровозе. Ленину этот план казался хорошо продуманным. Но всё обернулось катастрофой, и он чудом ушёл целым — а не в тюрьму.

Сначала они заблудились в лесу. Емельянов был местный и должен был знать дорогу, но пошёл незнакомой короткой тропой и вскоре был вынужден признаться, что понятия не имеет, где они находятся. Вдобавок, с наступлением сумерек их начал душить дым: на соседней поляне местный крестьянин поджигал торфяник. Они блуждали в лесу в наступившей темноте, изнемогая от голода. Шотман взял с собой на весь путь лишь три маленьких огурца на пятерых. Когда они подошли к ручью, то не смогли найти мост и были вынуждены переходить его вброд по пояс в воде. Наконец, по счастливой случайности, они увидели мерцание фонаря. Это оказалась маленькая станция, но не Левашово, хотя, по крайней мере, она лежала на той же линии Петроград—Финляндия. Усталые, голодные и мокрые, они должны были часами ждать в темноте поезда. Ленин был в ярости на Емельянова и Шотмана за безнадёжную неразбериху, в которую превратился план побега. На карту ставилась вся революция. «Нервы Ленина были натянуты до предела. Он поносил нас с крайней яростью, — вспоминал Шотман. — Разве нельзя было достать подробную карту местности? Почему мы не изучили маршрут и так далее? Досталось нам и за “разведку”; почему станция только казалась подходящей? Почему мы не знали точно?»[3]

Дальше всё запуталось ещё больше. Станция, к которой они случайно вышли, — Дибуны, — охранялась корпусом армейских юнкеров. Ленин и Зиновьев спрятались в канаве, а когда поезд наконец подошёл, около часа ночи, «проводники» отправились осмотреться. Один из солдат заподозрил Емельянова, которому не поверил, что он местный житель. Его арестовали. Другому юнкеру показалось странным поведение Шотмана. Пока их допрашивали, остальные трое проскользнули мимо отвлёкшихся караульных и проникли в одно из задних купе поезда. Это не входило ни в какой план, но оказалось счастливой случайностью. В конце концов они добрались до Удельной, с большим опозданием.

На следующий день Зиновьев вернулся в Петроград. Ленин переоделся в одежду кочегара и вечером забрался в будку паровоза № 293, которым управлял Хуго Ялава, шедшего через границу в приморский городок Териоки. Его настроение поднялось, хотя ему ещё предстояло решить трудную задачу — перейти в Финляндию. Ялаве сказали, будто Ленин — журналист, пишущий статью о паровозах. Он не вполне поверил этой истории, однако всё же пустил Ленина на борт и заметил, что пассажиру, по-видимому, нравилось «не сидеть без дела, подбрасывая дрова в топку… перелезая через поленья».

На пограничном посту в Белоострове, где четырьмя месяцами ранее Ленина встречали как героя, когда он возвращался в Россию, на платформе было больше милиционеров, чем обычно. Правительство всё ещё полагало, что Ленин скрывается где-то в Финляндии. Поезд простоял более двадцати минут, пока проверяли паспорта, но в будку паровоза солдаты не заглянули.

Два дня Ленин прожил у родственников Рахьи в маленькой деревне близ Териоки, но чувствовал себя отрезанным от всего. Он твёрдо решил добраться до Гельсингфорса, где смог бы наладить хорошую связь с большевиками в Петрограде, — и, как он полагал, находился бы достаточно близко, чтобы руководить партией.

Он жил поочерёдно в нескольких конспиративных квартирах, устроенных Шотманом. За исключением коротких отрезков пути, когда ему приходилось передвигаться, меняя обличья, он ни разу не выходил на улицу. Однажды ночью его поселили в доме ветерана финского

[3] Поездка от Финского залива до Гельсингфорса: Shotman, «Lenin nakanune Oktyabrya», с. 24.

социализма Карла Вийка; позже он рассказывал Наде, что там перечитывал яркое, прекрасно написанное описание Террора времён Французской революции у Жюля Мишле. Он нередко видел в якобинцах вдохновляющий пример для большевиков. [4]Но большую часть времени в финской столице Шотман держал его у одного из своих близких друзей, Густава Ровио, ревностного большевика, который к тому же был начальником полиции Гельсингфорса. За голову Ленина была назначена награда, но прятался он в самом безопасном месте города. «Наши будут хохотать до упаду, когда я вернусь в Петроград и расскажу товарищам, где поселил Ленина… Никому из людей Керенского и в голову не придёт искать Владимира Ильича там, у полицейского».[5]

Кампания ненависти против Ленина и «предателей-большевиков» достигла в августе своего апогея. Газеты, верные правительству, печатали скабрёзные истории, будто, находясь в Петрограде, он поселился в роскошном будуаре Кшесинской, где большевики устраивали развратные оргии. Карикатуры изображали Ленина на виселице (хотя одним из первых шагов Временного правительства была отмена смертной казни). В печати он был врагом народа номер один. Но в действительности полиция лишь делала вид, что его ищет; большинство из примерно восьмисот «подрывных элементов», арестованных после июльских беспорядков, были освобождены уже через несколько недель. Керенского Ленин тревожил куда меньше, чем угрозы справа. Кадеты, некоторые монархисты и реакционные газеты требовали «положить конец анархии», и он боялся контрреволюции, которую возглавила бы армия.

Керенский не обладал реальной властью. Его правительство едва дотягивало изо дня в день. Во многом он был человеком порядочным, не способным управлять великим ходом событий, разворачивавшихся в России. Но его истинной слабостью было тщеславие: сама видимость власти ударила ему в голову. Став премьер-министром, он дал понять, что намерен оттеснить Петроградский Совет, переведя его в Смольный институт. Правительство же вернулось в традиционную резиденцию власти — Зимний дворец. Значительная часть литературного мира Петрограда по-прежнему обожала Керенского — такие люди, как Станиславский, Марина Цветаева, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Он начал жить в Зимнем дворце и занял апартаменты Александра III. Он спал в постели покойного царя и поселил у себя любовницу. Он сфотографировался за огромным письменным столом Александра и рассылал снимок поклонникам. Он велел вновь установить в одном из парадных залов бильярд Николая II, который после отречения так и стоял в упаковке. При нём состояла такая же многочисленная челядь, как при царе. Когда он приезжал и уезжал, флаг на крыше дворца поднимали и спускали, как это делали при Николае.

Керенский был убеждён, что правые готовят переворот против Временного правительства и хотят поставить диктатором популярного генерала Лавра Корнилова, настоящего героя войны первых её лет, 1914–1915 годов, а после Февральской революции — командующего Петроградским военным округом. Даже десятилетия спустя существуют разные толкования Корниловского дела; многие до сих пор придерживаются версии, которую советские историки повторяли поколениями: будто генерал стремился стать диктатором. Однако ясно, что Корнилов вовсе не собирался свергать правительство, а хотел лишь принудить Керенского

---

[4] «Пример якобинцев поучителен, — писал он в Государстве и революции, — но якобинцы двадцатого века не стали бы гильотинировать капиталистов; следовать хорошему образцу — не значит копировать его. Достаточно было бы арестовать 50–100 магнатов и королев банковского капитала, главных рыцарей казнокрадства и банковского грабежа; достаточно было бы арестовать их на несколько недель, чтобы вскрыть их грязные дела… чтобы показать всем эксплуатируемым, кому в действительности нужна война».

[5] В укрытии в квартире начальника полиции Гельсингфорса: Volkogonov, с. 274

действовать жёстче против большевиков и обойти Совет — «совет крыс и собак», как он его называл. Но Керенский видел в нём серьёзного соперника. Корнилов, сухощавый сорокасемилетний казак, был политически наивен и не отличался особым умом в интригах: «у него сердце льва, но мозги барана», — по словам его бывшего командующего, генерала Алексеева. Он окружил себя кружком промонархических советников и сомнительных авантюристов, которые использовали его в своей собственной игре за власть. Когда в середине августа Корнилов предъявил ряд политических требований, призывая Керенского ужесточить курс против левых, премьер-министр ухватился за возможность и начал готовить падение генерала. Он обвинил Корнилова в попытке переворота, сфабриковал «доказательства» и приказал арестовать генерала по обвинению в государственной измене. Корнилов по глупости ответил введением военного положения и отправкой войск на Петроград, чтобы «поддержать правительство и укрепить его решимость». Керенский обратился за помощью к левым — большевикам, меньшевикам и эсерам, — и большевики с энтузиазмом откликнулись.

Так называемый корниловский переворот закончился, не произведя ни единого выстрела; верные правительству войска нашли генерала, арестовали и посадили в тюрьму. Но большевистское мифотворчество на протяжении последующих семи десятилетий утверждало, будто именно они сыграли решающую роль в разгроме серьёзной попытки захвата власти. Они действительно отправили несколько красногвардейцев на случай, если понадобится оборонять Зимний дворец. Они выставили несколько заграждений на дорогах. Вот и весь объём их боевой деятельности. Однако Корниловское дело превратилось для Ленина в пропагандистскую победу: он сумел представить его так, будто большевики «остановили» контрреволюцию и возвращение царя. Это стало ещё одной катастрофой для Керенского. Теперь он оказался в полной изоляции. Правые и умеренные либералы ему не доверяли. Они считали его слабым. Ленин же выжидал своего часа, чтобы свергнуть его.

Ленин всё сильнее раздражался из-за того, что застрял в Гельсингфорсе, тогда как «революционный момент в России зреет», как он сказал Каменеву. Он поддерживал связь с тайными курьерами из Петрограда два-три раза в день. Большевики наладили безопасный маршрут, который люди Керенского так и не сумели раскрыть. Газеты он видел в то же утро, когда они выходили. И всё же Ленин чувствовал себя оторванным от событий и терзался нетерпением оттого, что не находится в Петрограде и не может сам направлять ход дел.

В Петрограде каждая новая коалиция, которую образовывало Временное правительство, оказывалась слабее предыдущей; очереди за продовольствием становились всё длиннее, а уличная преступность достигла масштабов эпидемии — «власть наверху и на местах остановилась», как говорил Суханов. Инфляция опасно росла. Правительство печатало деньги с беспрецедентной скоростью — 429 миллионов бумажных рублей в апреле, 729 миллионов в июне, 1,1 миллиарда в июле. Цены на некоторые основные продукты питания с февраля по сентябрь выросли вчетверо. Более 500 фабрик в Петрограде и Москве закрылись, а свыше 100 000 рабочих в столице с февраля потеряли работу. На конец сентября была назначена серия забастовок. Дезертирство из армии, по выражению Брусилова, «превратилось в безоглядное бегство солдат с фронта».

Ленин не был столь изолирован, как это иногда изображают. Численность большевистской партии выросла более чем до 350 000 человек. 1 сентября большевики впервые получили небольшое большинство в Петроградском и Московском Советах. «Это большой шаг вперёд и будет значить очень многое… массы нас слушают», — сказал Ленин Шотману, одному из своих постоянных связных с партийным штабом в Петрограде.

Керенский номинально стоял во главе правительства и неплохо изображал, будто власть принадлежит ему. Но после Корниловского дела даже некоторые из его давних почитателей в интеллигентской среде начали отчаиваться в нём. «Керенский продолжает падать, а большевики уже хозяева в Совете. Троцкий — председатель», — записала в дневнике Зинаида Гиппиус. «Когда именно начнётся в Петербурге бойня, канонада, восстание, погром — ещё неизвестно. Но это будет».

С середины сентября Ленин уверился, что время удара по правительству настанет скоро и, если большевики упустят свой шанс, другой может не представиться ещё многие годы — когда его самого уже не будет в живых, чтобы это увидеть. Он по-прежнему верил, что Керенский может заключить мир с немцами — или перенести правительство в Москву, подальше от фронта и армейских гарнизонов. И то и другое сделало бы большевистское восстание куда более трудным. Из своего финского убежища он посылал товарищам в Петроград одно за другим всё более отчаянные письма, требуя немедленного восстания. 12 сентября: «Мы должны тотчас же начать разрабатывать практические подробности второй революции. Большинства… [в Советах] показывают, что народ с нами, если мы немедленно пообещаем хлеб, мир и землю».

На следующий день он был ещё более резок. «Нет никакой причины ждать таких событий, как Съезд Советов [намеченный на 25 октября]. Ждать — безумие, ибо съезд ничего не сделает. Он не может ничего сделать. Прежде всего мы должны разбить Керенского, а затем уже созвать съезд. Как сказал Маркс, восстание есть искусство… Было бы наивно ждать формального большинства за большевиков. Ни одна революция этого не ждёт. История никогда не простит нам, если мы не возьмём власть теперь».

Остальные большевики в руководстве «были ошеломлены, потрясены», вспоминал Бухарин. Они решили сжечь все экземпляры этих писем — кроме одного; [6] официально же ограничились тем, что «приняли к сведению взгляды товарища Ленина». С июля, в отсутствие Ленина, прочее партийное руководство придерживалось более примирительной линии. Они даже участвовали в совместных заседаниях с помощниками Керенского, чтобы выработать законодательство для выборов в Учредительное собрание, намеченных на ноябрь и декабрь. Если бы правительство или кадеты получили доказательства того, что Ленин готовит немедленный переворот, они могли бы уничтожить большевиков.

Следующие несколько недель показали выдающиеся способности Ленина как вождя. Если что-либо и опровергает марксистскую идею о том, что историю творят не отдельные люди, а широкие социальные и экономические силы, так это революция Ленина. Он тащил за собой своих колеблющихся и напуганных товарищей к восстанию, которого большинство из них не хотело. Он пользовался смесью хитрости, логики, напора, угроз и спокойного убеждения, чтобы навязать им свою волю. «Остальное руководство затупило растущую революцию, играя в бирюльки… это жалкие изменники пролетарскому делу», — говорил он Наде. Без подталкивания со стороны Ленина большинство других, по словам Троцкого, удовольствовались бы одними разговорами о революции.

Он сделал ещё одну попытку — в очередном «письме издалека», как он это называл. «Победа большевиков при восстании обеспечена… если мы нанесём внезапный удар из трёх пунктов: Питер [Петроград], Москва и Балтийский флот. У нас есть техническая возможность и вооружённая поддержка. Если мы захватим Зимний дворец, Генеральный штаб, телефонные станции, железнодорожные вокзалы… то на девяносто девять процентов несомненно, что мы

[6] Ни одно из этих писем не всплывало до 1925 года, уже после смерти Ленина.

победим при малых потерях… я глубочайше убеждён, что, если мы будем ждать и упустим настоящий момент, мы погубим Революцию [курсив Ленина]».

Он сказал товарищам в руководстве, что, если они не одобрят его план, он выйдет из Центрального Комитета и понесёт свои идеи «в партийные массы». Эта угроза заставила их задуматься вновь: «другой лидер в тот момент был немыслим — и для нас, и для рядовых членов». Одновременно он требовал, чтобы ему позволили вернуться в Петроград, дабы лично возглавить их. Ему отказали. Его безопасность была слишком важна. Но ему разрешили перебраться в более близкое убежище — в Выборг, небольшой город, всё ещё находившийся в Финляндии, но всего в девяноста километрах от Петрограда.[7]

[7] Gustav Rovio, «Kak Lenin skryvalsya u gel'singforskogo politseimeistera», в N. L. Meshcheryakov (ed.), O Lenine: Sbornik vospominanii, Moscow, 1924.

ГЛАВА 36. Революция - часть вторая

«Ленину было глубоко наплевать на то, что думают другие».
Николай Бухарин (1888–1938)

«Я скажу вам, что делать с такими людьми, как Ленин. Их надо расстреливать».
Полковник Альфред Нокс, британский военный атташе в Петрограде, 21 октября 1917 года

Пока Ленин в течение трёх месяцев скрывался, публичным лицом большевиков был Троцкий, хотя формально он лишь совсем недавно вступил в партию. Внутри России он был известен гораздо лучше Ленина и чрезвычайно наслаждался светом рампы: «Тогда как Ленину нужен был кабинет, Троцкому нужна была сцена», — говорили о нём. После освобождения из тюрьмы в середине августа Троцкий по нескольку вечеров в неделю выступал при переполненных залах в огромном Cirque Moderne на окраине Петрограда, вмещавшем 2500 человек. Он одновременно завораживал и устрашал средние классы; он был «самим воплощением революционера… его огромный лоб, увенчанный густыми массами чёрных волнистых волос… тяжёлые, выступающие губы… весь он был темперамент, художническая индивидуальность». Он производил сенсацию. Голос у него был резкий, немного скрежещущий, высокий. Но в удачный день он был блистательным исполнителем — остроумным, прямым, изобретательным и вдохновляющим.[1] Суханов, меньшевик, пошедший из любопытства, был среди слушателей на первом выступлении Троцкого после выхода из тюрьмы. «Во всём зале царило возбуждение. Тишина в публике выдавала ожидание. [Там] были главным образом солдаты и рабочие, хотя среди толпы имелось и несколько буржуа, мужчин и женщин. Троцкий сразу начал накалять атмосферу… С необычайной силой он изображал страдания солдат в окопах… Троцкий знал, что делал. Власть Советов, говорил он, предназначена не только для того, чтобы положить конец страданиям солдат на фронте. Она даст землю и прекратит внутренний беспорядок. “Советское правительство отдаст бедным и солдатам всё, что есть у страны. Вы, буржуа, —” тут он указывал на хорошо одетых людей на более дорогих местах. — “У вас два пальто? Отдайте одно солдату, который мёрзнет в окопах. У вас тёплые сапоги? Сидите дома. Ваши сапоги нужны рабочему”. Настроение вокруг меня было близко к экстазу. Казалось, что толпа в любую минуту самопроизвольно разразится каким-нибудь религиозным гимном. “Мы будем защищать дело рабочих и крестьян до последней капли крови”, — сказал он. — “Кто за?” Толпа… как один подняла руки. Я видел поднятые руки и горящие глаза мужчин, женщин, подростков, рабочих, солдат, крестьян. Они соглашались. Они клялись. Я смотрел на это поистине грандиозное зрелище с необычайно тяжёлым сердцем».[2]

---

[1] Несмотря на почти полтора десятилетия взаимного недоверия и враждебности, в недели, предшествовавшие революции, — и после неё — Ленин в большой степени опирался на Троцкого. Лично они никогда не были близки, но оба признавали, что в политическом отношении между ними имелось мало расхождений. Троцкий говорил, что ему было трудно «сдаться ленинской партии», пока он не увидел, что партия Ленина — единственный правдоподобный путь к власти. Анжелика Балабанова, ненавидевшая Троцкого, однажды спросила Ленина, что держало их порознь с 1903 по 1917 год. «Ну разве вы не знаете? Честолюбие, честолюбие, честолюбие». Он, разумеется, имел в виду честолюбие Троцкого, а не своё собственное.

[2] Речь Троцкого: изложение у Sukhanov, с. 284

Ленин был полон решимости форсировать события и как можно скорее добраться до Петрограда. Он утверждал, что «вождь должен быть там, где решаются великие вопросы». Но товарищи снова отказали ему в разрешении. Шотман передал ему это решение и стал мишенью ленинского гнева. «Я этого так не оставлю, уверяю вас. Предатели… они ещё услышат обо мне». Но прежде всего ему нужно было найти способ выбраться из финской столицы. Вместе с начальником полиции Ровио он отправился к театральному парикмахеру, чтобы заказать парик по мерке. Однако ему сказали, что на это могут уйти недели, а маскировка была нужна немедленно. В наличии имелся лишь один «готовый» парик, который ему подошёл, — седой, и он делал сорокасемилетнего революционера похожим на шестидесятисемилетнего отставного канцелярского служащего. Сначала хозяин лавки не хотел его продавать, так как в нём Ленин выглядел слишком непримечательно; в конце концов он уступил, и Ленин его взял. 30 сентября он уехал в Выборг, остановившись у друзей Ровио. Его проводником был Эйно Рахья, полюбившийся Ленину ещё во время драматического июльского пути в финскую столицу. Из Выборга он должен был тайно строить планы, как добраться до Петрограда, — без одобрения товарищей. Он купил ещё один парик, раздобыл сюртук с пасторским стоячим воротником и чёрную шляпу и теперь переоделся лютеранским пастором из Финляндии. 7 октября он сел на дневной поезд до Петрограда. На этот раз он пересёк границу без происшествий, по документам, которыми уже пользовался прежде. Из России он уже никогда больше не выезжал.

Немногие знали, что он вернулся в город: Надя, Яков Свердлов, партийный секретарь, сёстры Ленина и подруга Анны Ульяновой Маргарита Фофанова, согласившаяся приютить его в своей квартире неподалёку от Финляндского вокзала. На следующий день остальная часть руководства узнала, что он возвратился, и настояла на немедленной встрече. Поначалу некоторые из внутреннего круга партии колебались. Но Ленин запугал их и добился согласия собраться через два дня, поздно ночью.

По словам Фофановой, гостем он был нелёгким. «Он велел мне каждый день, не позже 8.30 утра, доставать все петроградские газеты, включая буржуазные. Время завтрака и обеда он очень твёрдо установил заранее: “В первую неделю будет трудно, всё ляжет на вас”, — сказал он мне». Он был прав. Первые три дня Ленин вообще не выходил из квартиры. Надя навещала его ежедневно, осторожно, чтобы за ней не следили. Он непрестанно ярился на своих товарищей: «они колеблются, их охватывает страх перед борьбой за власть».[3]

В 10 часов вечера в среду, 10 октября, всё ещё в священническом переодевании, Ленин пришёл в респектабельный петроградский доходный дом на Карповке, 32, с видом на реку. Он знал, что квартира на третьем этаже, куда он собирался войти, будет надёжным убежищем: это было жилище известного меньшевистского журналиста и убеждённого критика большевистского вождя Николая Суханова; именно здесь шпионы Керенского в последнюю очередь стали бы его искать. Однако жена Суханова, Галина Флаксерман, была верной большевичкой и ласково предложила мужу, чтобы, может быть, в ту ночь он переночевал где-нибудь поближе к редакции, как он иногда делал, вместо того чтобы проделывать утомительный девятикилометровый путь домой ночью, когда трамваи ходили плохо.[4]

---

[3] Ленин возвращается в Петроград: Margarita Fofanova, «V. I. Lenin na Vyborgskoi Sytorone vy 1917 godu», в VoVIL (Vospominaniya o V. I. Lenin), т. 4, Moscow, 1989–91.

[4] Позднее Суханов оценил шутку судьбы: одно из важнейших заседаний в русской истории произошло в его собственной квартире, в то время как он сам в другом месте спал. Вероятно, это была одна из самых крупных историй, которые когда-либо упустил журналист, находившийся так близко к событию. «О, причудливые шутки весёлой музы истории», — сказал он, осознав это.

История может быть драматичной и исполненной захватывающего, воодушевляющего действия на полях сражений и на баррикадах, — а иногда она вершится на заседаниях комитетов. В Центральный комитет большевиков входил двадцать один человек, но лишь двенадцать сидели за круглым столом под единственной лампой в гостиной Суханова, где было принято решение привести в действие русскую революцию. Это было меньшинство уже и без того небольшого меньшинства.

Ленин говорил целый час и повторял свои требования немедленно поднять переворот. Он был нетерпелив и постоянно находился на грани вспышки, но, как позже заметил Троцкий, «он явно сдерживал себя».

Временами он ударял кулаком по столу, чтобы подчеркнуть мысль. «С начала сентября наблюдается некоторое равнодушие к идее восстания», — начал он. Затем ясно и подробно изложил, почему «мы должны захватить власть сейчас и не ждать ни Советов, ни каких-либо съездов… Время именно сейчас, и момент решения настал. Массы устали от слов и резолюций. Большинство теперь с нами. Успех русской и мировой революции зависит от борьбы в два-три дня».

Спор продолжался семь с половиной часов. Иногда делались короткие перерывы, когда Флаксерман приносила чай или подавала острые колбаски, а также чтобы дать передышку секретарю заседания — молодой конторщице по имени Варвара Яковлева. В полночь свет погас, как это обычно бывало тогда в Петрограде; ток подавали всего на несколько часов в день. Дальше они продолжали при свете керосиновой лампы и свечей.[5]

Ленин убедил большинство сомневавшихся. Первоначально Троцкий хотел подождать до окончания Съезда Советов, который он сам и председательствовал. Но Ленин убедил его, что тогда будет слишком поздно. «К тому времени съезд уже начнёт работать, а большой, организованной массе людей трудно действовать быстро и решительно. Мы должны действовать 25-го, в день открытия съезда, чтобы можно было сказать ему: “Вот власть! Что вы собираетесь с ней делать?”»

Только старейшие товарищи Ленина, Каменев и Зиновьев, продолжали упорствовать. Они были против переворота и по принципиальным, и по практическим соображениям. «Народ не требует восстания», — сказал Каменев. Гораздо больше можно выиграть, «подождав несколько недель до Учредительного собрания, где у нас есть превосходные шансы завоевать крупное легальное большинство. План товарища Ленина означает поставить на одну карту судьбу не только нашей партии, но и судьбу русской и мировой революции». Зиновьев согласился и сказал просто: если они потерпят неудачу, «нас всех расстреляют».

Почти на рассвете было проведено голосование. Оно дало желанный для Ленина результат: десять против двух; только Зиновьев и Каменев голосовали против. Ленин протянул руку через стол и взял карандаш. Бумаги не оказалось, и потому — ставший знаменитым жест — он нацарапал в детской тетради важнейшее решение, когда-либо принятое большевиками: «Признавая, что вооружённое восстание неизбежно и время для него вполне назрело,

[5] Остальными одиннадцатью людьми за столом были профсоюзный деятель Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, который позднее станет грозным главой разведывательного ведомства ЧК, Каменев, Коллонтай, Георгий Ломов, большевистский руководитель в Москве, Григорий Сокольников, соредактор Правды, Сталин, Свердлов, Троцкий, Моисей Урицкий, которому также предстояло стать одним из советских шефов тайной полиции, и Зиновьев.

Центральный комитет предлагает всем организациям партии действовать соответственно и обсуждать и решать с этой точки зрения все практические вопросы».[6]

Решение не осталось тайной. Каменев и Зиновьев открыто выступили со своим несогласием. Через несколько дней они распространили среди партийных членов в Петрограде обращение, в котором говорилось: «Перед историей, перед международным пролетариатом, перед русской революцией и русским рабочим классом мы не имеем права поставить всё будущее в настоящий момент на карту вооружённого восстания». Совместно они написали резкое письмо в горьковскую газету Новая жизнь, хотя подписано оно было только Каменевым. «Не только Зиновьев и я, но также и ряд практических товарищей считают, что брать на себя инициативу вооружённого восстания в настоящий момент… есть шаг недопустимый, губительный для пролетариата и революции. Поставить всё на восстание в ближайшие дни означало бы акт отчаяния. А наша партия слишком сильна, у неё слишком великое будущее впереди, чтобы идти на такой шаг».

Ленин пришёл в ярость и назвал их «предателями». Одним из кардинальных правил среди заговорщиков, как предполагалось, должна быть тайна, а тут два ведущих, давних кадра «обманывают своих товарищей бесконечной клеветнической ложью… это хуже штрейкбрехерства». Он хотел исключить их из партии: «С этого момента я более не считаю их товарищами».

Троцкий был согласен, но он вообще редко поддерживал что-либо из того, что делал его шурин Каменев. Сталин рекомендовал более мягкую реакцию — выговор, при условии, что они пообещают больше не высказываться. В конце концов Ленин успокоился и ограничился простым нагоняем.

Весь Петроград говорил о близящемся перевороте. Новая жизнь гадала о дате и почти угадала, предсказав 20 октября. Керенский был столь же оторван от реальности и самодоволен, как прежде царь, и фактически приветствовал попытку восстания. За несколько дней до восстания он сказал британскому послу Бьюкенену: «Я только и хочу, чтобы они выступили… тогда я их раздавлю». 20 октября он сказал Набокову, что, когда восстание начнётся, «это будет как в июле… Я готов молиться о мятеже. У меня больше сил, чем необходимо. Они будут совершенно разгромлены». 21 октября, после разговора с премьер-министром, американский посол Фрэнсис телеграфировал в Государственный департамент: «Начинаю думать, что большевики не предпримут никаких выступлений; если так, буду сожалеть, ибо, по моему убеждению, настроение обращается против них и… [сейчас] благоприятный момент, чтобы преподать им полезный урок». Некоторые видные фигуры крайнего правого лагеря тоже с удовольствием ожидали переворота. Стальной и металлургический промышленник Степан Лианозов — «русский Рокфеллер» в популярной прессе — сказал Джону Риду, что большевистское восстание не продержится и дня. «Правительство объявит осадное положение… военные начальники могут расправиться с этими господами без всяких юридических формальностей».

И потому правительство не предприняло никаких усилий, чтобы предотвратить переворот. Большевиков не арестовывали. Не пытались захватить Смольный институт. Не усиливали

---

[6] Заседание 10 октября было описано несколькими из присутствовавших на нём, но не самим Лениным. Лучший рассказ — у Trotsky, The History of the Russian Revolution, с. 291–299, но и рассказ Зиновьева живой (www.marxists.org/archive/zinoviev/); позднейшие интересные версии — у Sukhanov, с. 331–335 (там присутствовала его жена), Louis Fischer, с. 345–34, Figes, с. 468–470, и Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, с. 286–290.

оборону мостов через Неву и каких-либо центров связи. Они не верили, что большевики могут победить.[7]

Троцкий, официально назначенный 12 октября главой большевистского Военно-революционного комитета, не особенно скрывал, чем тот занимается. Одним из первых его шагов было издание «программного заявления» — довольно странного поступка для конспиративной революционной группы, собиравшейся устроить путч. «В интересах защиты революции и её завоеваний от нападений контрреволюции нами назначены комиссары в воинские части и на стратегические пункты столицы и её окрестностей. Комиссары как представители Совета неприкосновенны. Противодействие комиссарам есть противодействие Совету рабочих и солдатских депутатов. Совет принял все меры к защите революционного порядка от нападений контрреволюционеров».

21 октября он выступил с одним из самых драматических своих появлений в Cirque Moderne. Он довёл аудиторию почти до исступления. После пламенной речи он потребовал: «Если вы без колебаний поддерживаете нас… и хотите довести революцию до победы, если вы отдаёте делу все свои силы… давайте все поклянёмся в верности революции. Если вы поддерживаете эту священную клятву, которую мы сейчас даём, поднимите руки». Весь зал поднялся и закричал: «Клянёмся».[8]

Керенского теперь ненавидели те самые люди, которые ещё несколько месяцев назад его боготворили. 24 октября, в канун революции, Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Большевиков не хочет никто. Но и за Керенского никто тоже не готов сражаться».[9]

---

[7] На этом этапе была предпринята последняя отчаянная попытка со стороны некоторых министров изучить возможность отдельного мира с Германией, — что, быть может, даже на этой стадии ещё могло спасти Временное правительство. 20 октября военный министр генерал Александр Верховский сказал Керенскому, что армия «непригодна к бою», и рекомендовал, что наилучшим способом подорвать позиции большевиков было бы хотя бы начать переговоры с немцами — «и выбить почву из-под ног крайних». Керенский отверг эту мысль — и отправил Верховского в отставку.

[8] Речь Троцкого в Cirque Moderne: Sukhanov, с. 494.

[9] «Никто не хочет большевиков»: Gippius, с. 183.

ГЛАВА 37. Власть-наконец

«Всякий, кто испытал власть и безудержную возможность унижать другого человека, автоматически утрачивает собственные чувства. Тирания — привычка. У неё есть своя органическая жизнь; в конце концов она развивается в болезнь… кровь и власть опьяняют».
Фёдор Достоевский, Записки из Мёртвого дома, 1862

«Сначала мы должны захватить власть. А потом уже решим, что с нею делать».
Ленин — Троцкому, 24 октября 1917 года

С самого первого момента Совнарком — так назывался Совет Народных Комиссаров, и Ленину это название, как он говорил, «пахло революцией», — чувствовал себя неуверенно. Ленин знал, что власть может ускользнуть в любую минуту, и этим объясняется очень многое в семидесятичетырёхлетней истории Советского государства. С 25 октября 1917 года, завоевав власть нелегитимным путём, Ленин до конца своей жизни заботился в сущности только об одном: удержать её, — и эту одержимость он передал своим преемникам. На всём протяжении своего существования Советский Союз отождествлял себя с основателем государства — живым или мёртвым. Режим, который он создал, во многом был вылеплен его личностью: скрытной, подозрительной, нетерпимой, аскетической, неумеренной. Лишь немногие из более достойных сторон его характера проникли в публичную сферу его Советского Союза.

Всю свою жизнь революционера Ленин был поглощён изучением одного предмета более всех прочих: природы власти — того, как ею овладевают и как ею пользуются, как она меняет тех, кто ею обладает, и тех, кто ею не обладает. Он хотел власти ради неё самой, как того хотят эгоисты. Но он и впрямь верил, что употребит её на то, чтобы улучшить жизнь большинства людей. Так он и оправдывал ту ложь, тот обман и тот террор, которые последовали затем: в погоне за социалистической мечтой допустимо было всё. Как выразилась Анжелика Балабанова, которая уважала его, восхищалась им, но со временем стала бояться и ненавидеть, трагедия Ленина состояла в том, что, «по слову Гёте, он желал добра… но творил зло».

Его не интересовали внешние атрибуты власти, и наслаждения они ему не доставляли. Его целью было навязать другим свои идеи и свою личность; подчинить людей своей воле. Он не любил показной роскоши и жил с Надей скромно, скучно, по-мещански. Горький однажды сказал, что эта простота в столь властном человеке была проявлением ленинского «нарциссизма». Мартов думал так же, хотя в то же время часто повторял, что «в Ленине не было тщеславия», — парадокс, заметный лишь у немногих сильных мира сего.

Ленин не стремился к власти ради роскоши, денег или женщин. Инесса была единственным известным его романтическим увлечением вне брака. Власть доставляла ему удовольствие, но насилие само по себе — нет. Садистом он не был. Он никогда не носил ничего, хотя бы отдалённо напоминавшего военный мундир, столь любимый многими диктаторами. Обычно на нём был поношенный костюм и галстук. Он знал, что большевики будут применять террор, и принимал это, неизменно оправдывая его необходимостью. Но он никогда не присутствовал при казни и не проявлял к подобным зрелищам ни малейшего интереса. За всю жизнь он видел только три мёртвых тела: отца, сестры Ольги и тёщи. Для Ленина кровь, которую ему предстояло пролить, была по большей части понятием отвлечённым.

Никто в Петрограде не верил, что большевики продержатся долго. Это было «правительство журналистов и памфлетистов», не имевших ни малейшего понятия о том, как управлять государством, — по словам журналистов одной либеральной газеты. Наутро после переворота в

другой газете появился остроумный заголовок, называвший большевиков «халифами на час». Ведущий меньшевик Церетели отводил им «не более трёх дней». Горький, который накануне бродил по улицам, с тяжёлым сердцем наблюдая революцию, говорил, что Ленин продержится самое большее две недели, хотя вскоре пересмотрел своё мнение. Владимир Набоков, лишившийся должности после свержения правительства, но не арестованный, в отличие от министров, на которых он работал, «ни на минуту не верил в прочность большевистского режима… и ожидал его скорой кончины». Зинаида Гиппиус говорила: «Это правительство шайки мошенников долго не продержится». Некоторые иностранные посольства поспешно сообщали то же самое своим правительствам. Помощник британского посла уже через несколько дней телеграфировал в Форин-офис, что «можно считать несомненным: большевистское правительство уже стоит на последнем издыхании». Американский посол, прежде уверявший Государственный департамент, что большевистский переворот невозможен, теперь называл захват власти «омерзительным делом» и заверял Вашингтон, что большевиков скоро свергнут.[1]
Некоторые из старших большевиков чувствовали себя не более уверенно. Бонч-Бруевич говорил, что они жили «сидя на чемоданах», готовые в любую минуту бежать. Луначарский написал жене всего через четыре дня после своего назначения народным комиссаром просвещения — пышный титул, который он сам себе выбрал для обозначения ведомства, ведавшего образованием и культурой: «Всё так неустойчиво. Каждый раз, когда я прерываю письмо, я не знаю, не будет ли оно последним. Меня в любую минуту могут посадить в тюрьму». Вечно практичный Свердлов успел прибрать к рукам более 100 000 золотых рублей, кое-какие драгоценности и семь фальшивых паспортов — в том числе для себя, Ленина и других ведущих большевиков, — и всё это поместил в несгораемый сейф на случай, если придётся срочно скрываться. Надя откровенно говорила товарищам, что Ленин боится, как бы «власть не выскользнула у него из пальцев… и потому он полон решимости не проявлять излишней мягкости».[2]
Этим объясняется одно из его первых действий на посту председателя Совнаркома — во второй половине дня сразу после переворота. На рассвете, после его появления в Смольном, когда он уже знал, что Зимний дворец взят и Петроград находится в руках большевиков, он отправился в квартиру Бонч-Бруевича, чтобы хоть немного поспать. Он мог проспать не более двух-трёх часов и вскоре снова вернулся в Смольный, который на ближайшие пять месяцев станет средоточием власти в России. За те немногие часы, что Ленин отсутствовал, Каменев исполнял обязанности временного председателя Совнаркома. Он издал постановление об отмене смертной казни для войск на фронте — меры, вновь введённой летом правительством Керенского.
Реакция Ленина была предсказуема, — и Каменев, как он позже говорил товарищам, именно её и ожидал, но всё же объявил этот декрет. Ленин разыскал Каменева и сказал: «Чепуха. Как глупо. Это была бы серьёзная ошибка, непростительная слабость. Как можно делать революцию без расстрельных команд? Если вы думаете, что мы можем победить без казней… чтобы добиться своего, — значит, вы наивно заблуждаетесь. Какие ещё средства подавления у нас есть? Вы не понимаете серьёзности тех трудностей, с которыми мы столкнёмся». По словам Троцкого, он предложил немедленно отменить декрет, но «кто-то сказал, что в первый день революции это произведёт дурное впечатление, и он немного подумал, а потом сказал: “да… будет лучше

---

[1] Революция не продлится: Gippius, с. 175, и Gorky, Novaya Zhizn, 26 October 1926. Владимир Набоков: цит. по Pipes, The Russian Revolution, с. 469. Посол США Фрэнсис: цит. по FRUS,
[2] Луначарский: цит. по Figes, с. 492.

просто прибегнуть к расстрельной команде, когда станет ясно, что иного выхода нет, но не кричать об этом", — и вопрос был тихо снят». Уже в первые часы своего пребывания во главе России он закладывал основы правления через террор. «С самого начала он по многу раз в день говорил что-нибудь вроде: "Ну и что это за диктатура, покажите-ка мне её", — вспоминал Троцкий. — Владимир Ильич не питал никаких иллюзий».

На второй день он начал вводить цензуру в печати и пригрозил закрыть оппозиционные газеты. Как поступали Романовы, так будут поступать и большевики. За несколько недель до этого, 15 сентября, в одной из партийных газет, Рабочий путь, Ленин называл цензуру «феодальной… азиатчиной» и восхвалял свободную прессу как «в принципе гораздо более демократичную, чем любая альтернатива». Он обещал «несравненно большую свободу печати», если власть перейдёт к большевикам. Однако 27 октября Ленин написал Декрет о печати, учреждавший систему цензуры, которой управляли партийные аппаратчики. «Любой орган печати может быть… [закрыт], если он призывает к сопротивлению декретам Совнаркома… или если будет признан сеющим смуту путём заведомо клеветнического искажения фактов». Эти меры объявлялись «временными» и направленными против «явных контрреволюционеров… необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы остановить поток грязи и клеветы против новой власти. Как только новый порядок будет твёрдо установлен, все административные меры, касающиеся печати, будут отменены, и печати будет предоставлена полная свобода».

Государство должно было взять в свои руки типографии и весь запас газетной бумаги. Новое правительство обязалось распределять эти ресурсы «справедливо». Политические партии получили бы свою долю, а любые группы граждан получили бы гарантированный доступ к национализированной типографии, если сумели бы собрать определённое число подписей в поддержку собственной газеты. «Это обеспечит подлинную свободу печати для всех, а не только для богатых. Это будет служить просвещению народа, а не его оглуплению и обману». Когда в его тесном кругу послышались робкие возражения, он сказал: «Стоит сплошной хор этих шакалов. Неужели мы не приструним эту свору? Буржуазная пресса — оружие не менее опасное, чем бомбы или ружья, нацеленные на нас. Почему мы должны отдавать его им в руки?» Примерно в то же время он потряс Эмму Гольдман, заявив ей, что «свобода слова — буржуазный предрассудок, успокаивающий пластырь для общественных язв. В рабочей республике экономическое благосостояние говорит громче, чем речь».[3]

С 28 октября кадетские газеты начали закрывать. Красногвардейцы разбивали некоторые их печатные станки и линотипы, остальные конфисковывали. Несколько редакторов и известных журналистов были арестованы. Была закрыта и самая распространённая эсеровская газета Воля народа. На следующий день она вышла уже под новым названием — Воля, а ещё через день, после ареста редактора, — как Народ, — совсем так же, как это бывало при царизме с запрещёнными изданиями. Когда же она окончательно умерла, её прощальная передовица эхом повторила Маркса: «История повторяется…»

Когда была запрещена социалистическая газета День, она превратилась в вечернее издание Ночь, затем в Полночь, затем в Самую тёмную ночь. Оппозиционная пресса ушла в подполье.

Некоторая критика в печати всё ещё допускалась, — неохотно и ненадолго. Горького заставить замолчать не удалось. Изо дня в день, вплоть до закрытия его газеты следующим летом, он с пугающей прозорливостью предупреждал в своей колонке «Несвоевременные мысли» о намерениях большевиков. Сразу после Декрета о печати он писал: «Ленин и Троцкий не имеют

[3] «Буржуазная пресса — это оружие. Зачем отдавать его им в руки»: Ленин — Троцкому, у Trotsky, On Lenin, с. 158.

ни малейшего представления о значении свободы и прав человека. Они и их спутники уже опьянены мерзким ядом власти, что видно из их позорного отношения к свободе слова, к личности и ко всем тем правам, за которые боролась демократия… Рабочий класс не может не понять, что Ленин производит лишь некий опыт на его коже и на его крови… Ленин — не всесильный волшебник, а хладнокровный фокусник, не щадящий ни чести, ни жизни пролетариата».

Через несколько дней он писал: «Ленин — один из тех людей, которые обладают совершенно исключительной силой характера… это человек многих дарований, и у него есть все качества "вождя" — прежде всего полное отсутствие нравственности, столь необходимое для подобной роли, и аристократическое презрение к массам. Жизнь во всей её сложности Ленину неведома. Он не знает масс. Он никогда не жил среди них, но из книг узнал, как поднять массы на дыбы, как легко разжечь их инстинкты. Для Ленина рабочий класс — то же, что железная руда для металлурга. Можно ли при нынешних обстоятельствах отлить из этой руды социалистическое государство? Очевидно, нет. Но почему бы не попробовать? Чем рискует Ленин, если его опыт провалится?… Я не доверяю русским, когда они при власти: ещё вчера сами рабы, они, едва представится возможность стать господами своих соседей, тотчас превратятся в необузданных деспотов».[4]

Ленин не скрывал своего намерения закрыть оппозиционную прессу. Через несколько недель после переворота на заседании Петроградского Совета он жаловался на критику в газетах, и один меньшевик поднялся с места и под громкие аплодисменты крикнул ему: «Что вы называете критикой? Какие газеты? Где? Вы ведь их все закрыли». — «Нет, ещё не все, — ответил Ленин. — Но скоро закроем».

Старая левая среда была раздавлена. Почтенный отец русского марксизма Георгий Плеханов, которому теперь было шестьдесят один год и который был уже серьёзно болен, много лет назад разошёлся с Лениным, но пришёл в ужас от того, что его бывший товарищ захватил власть для себя и своей партии, оттеснив других социалистов. На следующий день после переворота он опубликовал открытое письмо к петроградскому рабочему классу, в котором писал, что большевистская «революция есть величайшее историческое бедствие, которое перечеркнёт все завоевания, достигнутые Россией с февраля». На следующий день солдаты и матросы ворвались в его петроградскую квартиру, когда он пил чай с женой, Розалией Марковной. Один солдат выхватил пистолет и, наставив его ему в грудь, потребовал: «Ты, дрянь, сдавай оружие. Сейчас будем обыск делать. Найдём — тут же расстреляем». Плеханов выпрямился во весь свой рост — 184 сантиметра — и ответил: «Вероятно, вы всё равно это сделаете. Что ж, валяйте… но оружия у меня нет». Они перевернули квартиру, но его не тронули, и всё же Плеханову пришлось уйти в подполье.[5]Через неделю после революции Вера Засулич, шестидесяти восьми лет, в отчаянии сказала товарищу: «У меня такое чувство, будто всё, за что я боролась, всё, что было мне так дорого всю жизнь, рассыпалось в прах».[6]

---

[4] Горький: «Для Ленина рабочий класс — то же, что железная руда для металлурга»: Novaya Zhizn, 17 November 1917.

[5] Его тайно, под вымышленным именем, поместили в клинику в Петрограде, а затем он бежал в Финляндию, где умер в деревне близ Терийоки 30 мая 1918 года. Вскоре, однако, он был политически реабилитирован. В советские годы его выпады против Ленина и большевиков подвергались цензуре, но его философские труды по марксизму вызывали восхищение — даже у самого Ленина — и преподавались в школах как обязательный предмет вплоть до распада СССР

[6] Нападение на Плеханова: Volkogonov, с. 248. Цитата Засулич: Jay Bergman, Vera Zasulich: A Biography, Stanford, 1983, с. 249.

Керенский бежал на фронт и попытался собрать армию, чтобы отбить столицу и вернуться в неё с триумфом. Но большая часть армии отказалась его поддержать, и всё, что он сумел собрать, — это несколько сотен казаков под командованием генерала Петра Краснова, начальника 3-й кавалерийской дивизии. 28 октября они заняли Гатчину, в сорока пяти километрах к югу от Петрограда, — стратегическую базу, откуда можно было овладеть городом. Ленин всерьёз опасался, что они пойдут на Петроград и он будет свергнут всего через три дня после прихода к власти. Около полудня он отправился в петроградский военный штаб и лично принял на себя руководство обороной. Он придирчиво расспрашивал о каждом приказе, отдаваемом членами его Военно-революционного комитета, большинство которых, кроме Троцкого, были бывшими военными. Переворот, пусть и удавшийся, был настолько хаотичен, что Ленин не доверял никаким сведениям, которые ему сообщали.

Он сел за аппарат Хьюза — ранний прообраз телекса, которым прежде никогда не пользовался. Ни имени своего, ни должности он не назвал. Разговоры ясно показывают, насколько он был тревожен и напряжён.

Сначала он связался с Александром Шейнманом, председателем Гельсингфорсского Совета.

«Можете ли вы немедленно двинуть в Петроград как можно больше миноносцев и других военных судов?» — спросил он.

Шейнман ответил, что должен узнать у командующего Балтийским флотом, так как сам не знает. «Это морское дело. Что у вас там в Петрограде?»

«Дело в том, что войска Керенского пришли в движение и заняли Гатчину… крайне необходимо, чтобы как можно скорее подошли самые сильные подкрепления».

«Что-нибудь ещё?»

Он услышал в ответ типично ленинское: «Вместо вашего вопроса “Что-нибудь ещё?” я ожидал бы услышать, что вы готовы тотчас выступить и сражаться».

Шейнман: «Мне кажется, нет нужды это повторять. Мы уже приняли решение, и… всё будет сделано».

Ленин: «Есть ли у вас запасы винтовок и достаточно ли патронов, чтобы помочь нам?»

Затем к аппарату подошёл Иван Михайлов, глава военного отдела Гельсингфорсского Совета.

«Сколько людей вам нужно?»

«Как можно больше, но только надёжных, готовых сражаться».

Ему обещали 5000 человек в течение двадцати четырёх часов — «и они готовы драться».

«Сможете ли вы их прокормить?»

«Да. Продовольствия у нас много. Есть также тридцать пять пулемётов. Мы можем отправить их вместе с расчётами без ущерба для нашего положения здесь, а также несколько полевых орудий».

«От имени Правительства Республики настоятельно прошу вас немедленно начать отправку этих сил. Известно ли вам, что образовано новое правительство? Как относится к нему ваш Совет?»

«Да, мы узнали из газет. Здесь все с воодушевлением встретили переход власти в руки Советов».

«Итак, я полагаю, силы выступят немедленно».

Наконец на связь вышел Николай Измайлов, представитель Балтийского флота в Совете. Он сообщил, что отправит линейный корабль Республика и два миноносца. Они должны прибыть в Петроград в течение восемнадцати часов. Ленин сказал, что хочет, чтобы судно стояло в Морском канале как можно ближе к берегу. Измайлов, прежде бывший морским офицером, раздражённо объяснил Ленину, что корабль нельзя поставить у самого берега и что, кроме того,

«его орудия бьют на двадцать пять вёрст… словом, пусть этим занимаются матросы и их командиры».

Ленин попросил прислать все наличные запасы винтовок и боеприпасов. «До свидания, удачи вам», — сказал он.

«До свидания. Скажите, пожалуйста, с кем я говорил?»

«Ленин».

«До свидания… Мы сейчас всё приведём в движение».

Но и после этого Ленин, по-видимому, не испытал облегчения и не был уверен, что подкрепления действительно прибудут.

У него возникла большая проблема с тем, чтобы убедить солдат петроградского гарнизона выступить против войск Керенского. Позднее в тот же вечер Николай Подвойский, бывший армейский офицер, сыгравший важную роль в подготовке переворота, имел неприятный разговор с Лениным.

«Волынский и другие надёжные полки просто отказываются выступать… мы не можем заставить двинуться ни одну воинскую часть», — доложил он.

«Значит, вы должны их вывести, — ответил Ленин. — Они обязаны выступить сию же минуту, чего бы это ни стоило».

«Но мы ничего не можем поделать с полками».

По словам Подвойского, «Ленин пришёл в страшную ярость. Черты его лица стали неузнаваемы. Он впился в меня глазами и, не повышая голоса, хотя казалось, будто кричит, сказал: “Вы лично ответите перед Центральным Комитетом, если полки немедленно не покинут город. Вы меня слышите? Немедленно, в эту самую минуту”».

Подвойскому удалось собрать несколько человек, но только после того, как он объяснил им, что Ленин, скорее всего, сделает с ними, если они упрямо останутся в казармах.[7]

Если бы немногочисленные казаки Краснова в тот день быстро двинулись из Гатчины на город, они, возможно, вернули бы власть Керенскому. Но они были так же неохочи до боя, как и солдаты гарнизона. Троцкий — не меньше Ленина — сыграл роль в защите города. Он заявил, что если войска ненадёжны, большевики вооружат рабочих. Весь день он объезжал заводы, произнося страстные речи и призывая рабочих «превратить Петроград в крепость». В тот вечер на заседании Совета он призвал всех идти на фронт спасать революцию. Хриплый голос перебил его: «А почему вы сами не там с Красной гвардией?» Он ответил с драматической выразительностью: «Я иду сейчас», — и покинул трибуну. Это был, как описывал присутствовавший там Джон Рид, совершенно верный революционный жест. Но ни гарнизонные войска, ни линкоры Балтийского флота, ни рабочая милиция в итоге не понадобились.

От поражения большевиков спасли подкуп и обман. 30 октября войска Керенского вышли на Пулковские высоты, в двадцати пяти километрах от Петрограда. Крупных боёв не было, только несколько мелких стычек под проливным дождём. Поздно ночью Павел Дыбенко, лихой бывший морской офицер, а теперь комиссар по морским делам в новом режиме, был тайно доставлен в их лагерь и заключил соглашение, пообещав казакам свободный проход на Дон и автономию в их степной области. Они не видели причин воевать за Керенского и сдались большевикам, которые сдержали слово и отпустили их. Троцкий прибыл на место поздно ночью

[7] Обмен телеграммами с Хьюзом, 26 октября: РГАСПИ, ф. 201, оп. 21, д. 15

31 октября и утвердил условия соглашения. [8]В 2 часа ночи он отправил Ленину телеграмму: «Эта ночь… войдёт в историю. Попытка двинуть контрреволюционные войска против столицы революции решительно отражена. Керенский отступает; мы наступаем. Отныне вся страна убедится, что власть Советов — не мимолётное явление, а факт. Возврата к прошлому не будет. Впереди у нас борьба, препятствия и жертвы. Но дорога открыта, и победа несомненна».[9], [10]

Поздним вечером 29 октября новый народный комиссар государственного призрения Александра Коллонтай прибыла в своё министерство — в величественное неоклассическое здание на Казанской улице. У входа её встретил пикет служащих. Пожилой лакей в полной ливрее отказался впустить её, заявив, что понятия не имеет, кто она такая. Она назвала свой титул и потребовала позвать самого старшего чиновника, находившегося в здании. Лакей ответил, что просителей впускают только с часу до трёх, а поскольку теперь уже было после пяти, ей лучше уйти и прийти в другой день. Когда она попыталась пройти силой, он захлопнул дверь у неё перед носом. На следующее утро пораньше она вернулась с конвоем из солдат, но обнаружила снаружи тот же пикет, а внутри — почти пустое здание. Вся гражданская служба, служившая сперва царскому режиму, а потом Временному правительству, объявила массовую забастовку в знак протеста против новой власти. На местах оставались только повара, уборщицы, швейцары, носильщики и прочий обслуживающий персонал.

Коллонтай вышла к пикету и пригрозила арестовать всех, если кто-нибудь из них не найдёт ключи от сейфа в её кабинете. Как она и опасалась, сейф оказался пуст; её предшественница, кадетка графиня Софья Панина, забрала с собой средства министерства и отказалась возвращать их, пока не получит на то указания от Учредительного собрания, выборы в которое должны были состояться в следующем месяце.[11]

В тот же день Шляпников, комиссар труда (и бывший любовник Коллонтай), попытался войти в своё ведомство. Дворник сообщил ему, что в здании находятся лишь некоторые уборщицы, а все остальные бастуют. Он вернулся в Смольный, где ещё работали партийные чиновники и служащие-большевики. Он попытался переманить откуда-нибудь сотрудников, чтобы хоть как-то наладить работу канцелярии. Но к нему явился чиновник среднего ранга и сказал: «Ну уж вы-то никого не найдёте — уж точно не для себя. Всю жизнь тред-юнионист, а теперь нанимаете штрейкбрехеров. Должны бы стыдиться».

---

[8] Но донских казаков вскоре обманули и в вопросе об их «независимости». Несмотря на все обещания, они были включены в состав высокоцентрализованного СССР, как и в конце концов все прочие так называемые автономные области.

[9] На протяжении последовавшей Гражданской войны Керенский скрывался то в России, то в Финляндии, надеясь однажды торжественно вернуться в Петроград. В конце концов он признал, что это едва ли возможно, и в 1922 году уехал в Берлин, а затем в Париж — тем же путём, которым пошли сотни тысяч русских эмигрантов. Когда в 1940 году Франция пала перед немцами, он перебрался в США. Он жил в Нью-Йорке, хорошо зарабатывая публичными лекциями. Затем переехал в Калифорнию и присоединился к Гуверовскому институту. Умер он в 1970 году в возрасте восьмидесяти девяти лет

[10] Цитата Троцкого: Trotsky, My Life, с. 325, а также в The Trotsky Papers 1917–1922, тт. 1–2, The Hague, 1967–1971: т. 1, с. 145.

[11] Эти две женщины знали друг друга с детства — и ненавидели одна другую, хотя графиня однажды всё же признала, что Коллонтай «очень хорошо одевается — для революционерки». Панина, в чьём дворце Ленин в 1906 году произвёл сенсацию как оратор, была арестована и обвинена в присвоении 93 000 рублей из средств министерства/комиссариата. По приказу Ленина в начале декабря она предстала перед первым советским «показательным процессом» — перед Революционным трибуналом. Всё это было фарсом: приговор заранее определили большевистская партия и Совнарком — как впоследствии столь часто бывало в советские годы. Ей было велено вернуть деньги; она отказалась и была заключена в Петропавловскую крепость. Освободили её только после того, как некоторые из её богатых друзей собрали сумму залога. Ей разрешили покинуть Петроград, и в Гражданскую войну она примкнула к белым, а затем бежала сперва в Германию, потом в США. Умерла в Нью-Йорке в 1956 году, в возрасте восьмидесяти четырёх лет.

Троцкий попробовал явиться в отведённое ему ведомство в качестве комиссара по иностранным делам только почти две недели спустя. Рано утром 9 ноября, одетый с иголочки, он появился в величественном здании Главного штаба напротив Зимнего дворца. Несколько любопытных чиновников, желавших посмотреть на знаменитого революционного вождя, вышли ему навстречу, как вспоминал один из них. «Новый "министр" явился и сказал: "Я — Троцкий, комиссар". Его встретили ироническим смехом. Он вовсе не обратил на это внимания и просто велел нам всем приступить к работе. Мы ушли — но по домам, с намерением не возвращаться в учреждение, пока Троцкий будет стоять во главе министерства». Троцкий принял это спокойно. Как он в хорошем настроении сказал знакомому, вернувшись тем же утром в Смольный, какие, в сущности, внешние сношения нужны большевикам? «Всё, что я сделаю, — это выпущу несколько революционных прокламаций для иностранцев, а потом закрою лавочку». В комиссариат он приходил только ради одного: найти экземпляры так называемых тайных договоров, которые царское правительство заключило с союзниками, вступая в войну. Он не смог их отыскать, и ему сказали, что накануне революции один из секретарей Временного правительства унёс их с собой.[12], [13]

Ленин называл забастовки «саботажем… ничем иным как шантажом» и многократно приказывал чиновникам вернуться к работе. Впрочем, по поводу большинства из них он особенно не тревожился. Он понимал, что какое-то время революция сможет прожить и без сотрудников комиссариатов иностранных дел или государственного призрения. Но деньги ей были нужны немедленно. Если большевики не смогут платить сторонникам, закупать припасы и реквизировать продовольствие, у неё не будет ни малейшего шанса продержаться сколько-нибудь долго. Ленин сказал Вячеславу Менжинскому — которому пост комиссара финансов достался главным образом потому, что много лет назад он недолгое время служил мелким банковским клерком: «Без денег мы бессильны. Жалованье железнодорожникам, телеграфистам и прочим должно быть выплачено».

Чтобы добыть их, пришлось снова прибегнуть к ограблению банка. В первый же день после революции Ленин лично — а затем и Совнарком официально — потребовал от управляющего Государственным банком Ивана Шипова выдать правительству десять миллионов рублей. Тот отказался, заявив, что это было бы незаконно. Он не признавал большевистский режим и Совет законной властью; служащие Государственного банка присоединились к забастовке гражданских чиновников. Три дня спустя Ленин снова потребовал деньги и вновь получил отказ. Курьеров, которых Смольный посылал с ассигновками, подписанными комиссарами, в банке не принимали, и Совнарком вскоре мог остаться без средств. И без кого бы то ни было, кто понимал, как работает банковская система. «Среди нас были люди, которые понимали… по книгам и руководствам», — признавал один партийный работник. — «Но не было ни одного… [человека], который знал бы технические процедуры русского Государственного банка».

7 ноября Менжинский, в сопровождении отряда красногвардейцев и небольшого подразделения солдат, явился в банк, который был пуст, если не считать Шипова и нескольких его ближайших помощников. Им предъявили ультиматум. Если деньги не будут выданы в течение двадцати минут, все «белые воротнички», стоящие выше должности простого клерка, лишатся и мест, и пенсий, а все мужчины призывного возраста будут мобилизованы в армию и отправлены на

[12] Позднее они всё же нашлись, и когда Троцкий опубликовал их, как мы ещё увидим, это вызвало крупный дипломатический скандал.

[13] Первый день Троцкого как наркома иностранных дел: Trotsky, My Life, с. 297.

фронт. Но они по-прежнему стояли на своём. Шипова взяли под стражу и заперли в Смольном, в комнате Менжинского, которую комиссар вынужден был делить со своим заместителем.

Ленин пришёл в ярость из-за неудачи Менжинского и через три дня приказал заместителю комиссара Николаю Горбунову и недавно назначенному комиссару Государственного банка Николаю Осинскому «пойти и взять деньги, по меньшей мере пять миллионов, и не сметь возвращаться без них».

Красногвардейцы оцепили банк, а двое большевиков вошли внутрь и под дулами револьверов приказали младшим служащим открыть хранилища. Пять миллионов рублей поспешно набили в мешки — точно в фильме об ограблении. Горбунов и Осинский, взвалив эти мешки на плечи, сели в ожидавший их броневик и доставили добычу прямо в кабинет Ленина. Его там не оказалось; тогда оба переложили деньги в красные бархатные мешки и остались сторожить добычу. Осинский всё время держал взведённый револьвер. Когда Ленин вернулся, он сиял. Мешки убрали в старый шкаф в соседнем кабинете, а возле него поставили постоянного часового. Так возникла первая советская казна.[14]

[14] Налёт на Государственный банк России: Richard Pipes (ed.), The Unknown Lenin: From the Secret Archives, New Haven and London, 1996, с. 86; Louis Fischer, с. 347–349; Alexander Rabinowitch, The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in Petrograd, Bloomington, Ind., 2007, с. 92–94.

ГЛАВА 38. Человек у власти

«Во внешности Ленина не было ничего, что хотя бы отдалённо напоминало сверхчеловека… на первый взгляд он походил скорее на провинциального бакалейщика, чем на вождя. И всё же в этих стальных глазах было нечто, что приковывало внимание, нечто в этом испытующем, полунасмешливом, полуулыбающемся взгляде, говорившее о безграничной самоуверенности и сознании собственного превосходства».
Роберт Брюс Локкарт, при встрече с Лениным, весна 1918 года

«То обстоятельство, что все его… [Ленина] силы и энергия сосредоточены на одном, позволяет ему казаться в глазах масс человеком необыкновенным и становиться вождём, точно так же, как те, кто действительно сосредоточен на Боге, становятся святыми, а те, кто живёт только ради денег, становятся миллионерами».
Иньяцио Силоне (1900–1978)

Почти каждый вечер, вплоть до следующего Нового года, Ленин и Надя ходили гулять — как и в годы эмиграции. «Тогда никто ещё не знал его в лицо, и потому мы часто прогуливались возле Смольного», — вспоминала она. Понадобилось несколько недель, чтобы у него снова отросла борода, и даже те, кто мог бы его узнать, путались. В первые месяцы большевистского правления Петроград был беззаконным городом, и случайные преступления стали обычным делом. Но Ленину так ни разу и не понадобилось вмешательство единственного телохранителя, который следовал за ним на почтительном расстоянии.[1]
Ленину и Наде отвели двухкомнатную квартиру с кухней на первом этаже Смольного. Она была удобной, хотя и вовсе не роскошной. Для Ленина главное заключалось в её безопасности: она выходила в коридор, ведший во двор, через который в случае необходимости можно было быстро скрыться, — и он говорил Наде, что такая необходимость может возникнуть в любой момент. Никому не позволялось входить без особого пропуска с подписью Ленина. Наде это жильё нравилось, и время, проведённое в Смольном, она вспоминала с удовольствием. «Наша комната прежде принадлежала какой-то даме из высшего общества. В ней стояла ширма, по одну сторону которой помещалась кровать… входить нужно было через умывальную».
Много лет Надя работала при нём как секретарь и одновременно занимала положение партийного работника и личной доверенной. Теперь у него было всё необходимое содействие. Перемена далась ей тяжело, и, как она говорила друзьям, ей отчаянно нужна была какая-нибудь работа, чтобы приносить пользу. Луначарский дал ей должность одного из своих заместителей-комиссаров. Единственное, о чём она жалела, — что больше не может быть рядом с Лениным, заботиться о нём и следить за его здоровьем. Ел он плохо — перехватывал что придётся, «жил кое-как» и совсем не берег себя. «Он был запущен. Желтышев [Юрий, его телохранитель] приносил ему обед — хлеб, полагавшийся ему по пайку. Иногда Мария Ильинична [сестра Ленина] приносила ему какую-нибудь еду из дома, но меня самой часто не бывало дома, и о его

[1] Однако жертвой преступления он стал уже через несколько дней после большевистского переворота. Его первый служебный автомобиль — роскошный и прекрасный Turcat-Méry, изготовленный в 1915 году для Царя, — был украден, когда стоял у Смольного. Его угнала группа пожарных, намеревавшихся продать машину за большие деньги частному покупателю в Финляндии. Степан Гиль, бывший одним из шофёров Николая II, но ставший преданным большевиком и личным водителем Ленина, организовал её розыски и нашёл автомобиль прежде, чем тот покинул Петроград.

питании никто не заботился». Вскоре, вполне предсказуемо, он начал жаловаться на боли в желудке, несварение и бессонницу.[2]

«Каждое заседание Совнаркома было импровизацией грандиозного масштаба», — сказал Троцкий одному из своих ближайших помощников после нескольких дней на посту наркома иностранных дел. «Всё только начиналось… всё нужно было строить заново. Бесполезно искать прецеденты, потому что история их нам не оставила». Ленин не раз повторял: «мы должны разрушить всё… всё, чтобы создать новое», — и поначалу режим и вправду напоминал продолжение революционного подполья, где заговорщики собирались, укрывшись в углу, пока пара вооружённых сообщников караулила, не появятся ли полицейские шпионы. Несмотря на старания секретаря придать происходящему хотя бы видимость торжественности, «мы не могли отделаться от чувства, что присутствуем на очередном заседании… революционного комитета», — вспоминал один старый партийный активист, бывавший на нескольких первых заседаниях. «Годами мы состояли в различных подпольных организациях. Все комиссары оставались сидеть в пальто или шинелях… [на случай, если придётся спешно бежать]… многие были в угрожающих кожанках».[3]

Вскоре, однако, возобладало ленинское чувство порядка, и заседания стали гораздо более упорядоченными. Он был одержим секретностью, и крупные, трудные, наиболее грязные решения часто принимались узкой кликой его доверенных помощников. Вначале он больше всего полагался на Свердлова и Троцкого, которые тщательно следили, чтобы не оставалось никакого бумажного следа. Но Ленин с педантичной настойчивостью требовал, чтобы основная часть формальных дел Совнаркома велась именно так, как он укажет. Заседания обычно начинались около пяти вечера, часто тянулись шесть или семь часов почти без перерыва, и весь первый месяц Ленин присутствовал на каждом из них.

Проходили они в удивительно маленькой и мрачной комнате на третьем этаже, «тёмной даже в солнечные дни», — вспоминал один из постоянных посетителей. «Свет с трудом пробивался внутрь, и занавески было трудно раздвигать. Вдоль стен стояло несколько кресел. Мебель была разномастная, собранная из разных мест здания. Пол покрывал потёртый, выцветший ковёр. Всё это напоминало приёмную провинциального адвоката».

Ленин терпеть не мог опозданий и ввёл систему денежных штрафов за непунктуальность. Как обычно, правила он написал сам. Любой комиссар или чиновник, опоздавший не более чем на полчаса, платил штраф в пять рублей; если же опоздание доходило до часа, сумма возрастала до десяти. «От штрафа освобождаются лишь те народные комиссары, которые заранее представят надлежащее уведомление и объяснение причин опоздания». Подобные постановления он ввёл и для всех остальных правительственных учреждений. «Опоздание на десять минут без уважительной причины на заседание влечёт за собой выговор; вторичное нарушение — лишение дневного жалованья; в третий раз — публичный выговор в печати… Всякий, опоздавший более чем на пятнадцать минут, подлежит выговору в печати или принудительным работам в выходные дни».

Он жёстко ограничивал время выступающих, сверяясь с карманными часами, которые лежали перед ним на столе, покрытом зелёным сукном. Большинство комиссаров прежде были писателями, агитаторами, организаторами профсоюзов, «конспираторами». Очень немногие имели хоть какое-то представление об управлении, и ленинское утверждение, что «любой рабочий может за несколько дней научиться управлять министерством», тут же подверглось

---

[2] Ленин пренебрегал своим здоровьем: Krupskaya, Reminiscences, с. 269.

[3] Члены Совнаркома всё ещё считали себя заговорщиками: Figes, с. 489

проверке. Вскоре он понял, что это, разумеется, вздор. Как признавал Троцкий, комиссары нередко почти ничего не знали о сложных предметах. «Обсуждение всегда было кратким. Докладчику… отводилось не больше пяти-десяти минут, и всё же Ленин каким-то образом, нащупывая, всегда находил верную линию, по которой следовало направить спор. Когда происходило заседание, где присутствовало много людей, в том числе специалисты или лица, незнакомые Ленину, он прибегал к своему любимому жесту: подносил правую руку ко лбу и глазам и смотрел сквозь растопыренные пальцы. Играя таким образом в прятки, он чрезвычайно пристально и внимательно наблюдал за выступающим и за всеми участниками и видел именно то, что ему было нужно. Он смотрел на говорящего из-под руки, словно ощупывал его и взвешивал каждое слово; это был особый, вопрошающий взгляд. Одним глазом он следил за часами… и время от времени напоминал оратору, что отведённое время вышло».

В течение всего заседания он делал записи или яростно строчил записки, которые передавал выступающему, требуя сведений или делая замечания. Часто это были сердитые упрёки, если он замечал, что кто-то шепчется на заседании или недостаточно сосредоточен. Однажды он послал записку одной из своих любимиц, Лидии Фотиевой, своей верной и деятельной личной секретарше на многие годы, когда увидел, что она разговаривает с одной из стенографисток. «Если будете болтать, клянусь, я вас выставлю». Через пару недель, в другой раз, он не смог её найти, когда она понадобилась ему, чтобы что-то отыскать. «Объявляю вам выговор. Вы должны не спать, а устроить дело так, чтобы вас всякий мог легко найти [курсив его] и всегда [трижды подчеркнуто] в тех случаях, когда это касается меня». Он вообще чрезвычайно любил курсивы и подчёркивания для усиления смысла.

Ленину выделили маленький отдельный кабинет на первом этаже здания, по коридору от его квартиры; Коллонтай считала его «тесным… стол был втиснут вплотную к стене под единственной лампой, и места оставалось совсем мало». Уже на второй день после Революции его привело в ярость, что такое множество незнакомых ему людей, в том числе вовсе не по срочному делу, врывались внутрь без стука и без доклада. Карандашом он собственноручно набросал инструкцию для главного швейцара здания: «Членов “Кабинета” впускать, если дежурный их узнаёт; если нет — требовать удостоверение личности. Все прочие должны написать своё имя и цель визита не более чем в двух словах на клочке бумаги. Этот клочок дежурный обязан отнести Председателю [Ленину], и без его разрешения никому не позволяется входить в кабинет. Если кабинет пуст, держать дверь открытой, чтобы один из секретарей мог отвечать на телефон. Если в комнате председателя кто-нибудь находится, дверь всегда держать закрытой».[4]

Назначения на ответственные посты производились наугад; они часто доставались людям совершенно неопытным — по политическим соображениям или просто тем, кто оказался в нужное время в нужном месте. Однажды, во время противостояния нового режима с Государственным банком, сравнительно малозаметный большевистский активист Михаил Песковский беседовал с наркомом финансов Менжинским, своим старым товарищем. В разговоре он небрежно упомянул, что несколько лет назад учился в Лондоне и что среди прочего какое-то время занимался и финансами. «Менжинский посмотрел на меня и сказал: “Ну, в таком случае мы должны назначить вас директором Государственного банка”. Я испугался и сказал ему, что не желаю этой должности, это не моё дело и я ей не подхожу. Менжинский… попросил меня подождать и вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся с бумажкой. Под

[4] Ленин на заседаниях Совнаркома и пунктуальность: Trotsky, On Lenin, с. 173–174. Приказы Ленина сотрудникам Смольного: РГАСПИ, ф. 301, оп. 32, д. 9.

подписью Ильича моё назначение на этот пост было утверждено, и я попросил Менжинского отменить его, но он остался непреклонен». [5]

Николай Горбунов, двадцати пяти лет, который много лет занимал ключевой пост секретаря Совнаркома и был личным помощником Ленина, пережил нечто подобное. По образованию инженер, он попался на глаза Владимиру Бонч-Бруевичу, начальнику личной канцелярии Ленина. ББ, как его звали, вызвал его в Смольный в начале ноября — «и меня повели к Ленину, который сообщил мне, что я назначен на эту должность». Никакого опыта административной работы у него не было, «и поначалу мне не дали никаких указаний, в чём именно состоят мои обязанности. Я не имел ни малейшего понятия о работе вообще и о секретарских обязанностях в частности. Я не умел печатать, но каким-то образом конфисковал пишущую машинку и кое-как, двумя пальцами, стучал на ней документы, потому что долгое время нельзя было найти машинисток». Однажды ему пришлось вести подробный протокол заседания Совнаркома, не владея никакой стенографией. Ленин был «суровым хозяином… он очень мало что спускал и был чрезвычайно требователен. Он любил говорить: “работа в моём секретариате — настоящая каторга: ни отдыха, ни праздников”, — и был прав». Но Ленин всё же внимательно относился к тем, кто работал рядом с ним. Своему персоналу он говорил, что это вовсе не от «мягкости» с его стороны. Напротив, это было холоднее и расчётливее. «Те из вас, кто работает в Смольном, — государственный материал… ценная государственная собственность».[6]

Ленин выказывал и собственную неопытность. В целом он умел назначать на высшие посты людей талантливых и деятельных, выбирая их по способностям, политической смётке и положению в партии. Но он не всегда понимал, что именно предполагают эти должности. Адольф Иоффе, один из самых умных ранних революционеров, которого Ленин назначил на важнейший пост посла в Германии, а позднее — странствующим дипломатом советской власти, был поражён разговором с Лениным в Смольном через несколько дней после Революции, о чём он писал в письме своему близкому другу Троцкому. «На следующий день после того, как Леонид Красин был назначен наркомом путей сообщения — пост, для которого, при всех его многочисленных достоинствах, он совершенно не годился, — я уезжал из Петрограда. Перед отъездом я зашёл к Владимиру Ильичу. Он спросил, когда я выезжаю, и я ответил, что точно не знаю, когда отправляется поезд. “Позвоните Красину”, — сказал он. В его представлении нарком путей сообщения должен был знать всё железнодорожное расписание целиком, даже если он занимал этот пост всего один день и прежде никогда не имел никакого отношения к железным дорогам. Так было и во всём остальном».[7]

Зато Ленин проявил ум, выбрав Якова Свердлова человеком, который должен был надзирать над всем аппаратом власти; формально его должность называлась председатель Исполнительного комитета Центрального комитета. Это был блестящий организатор, беспощадно эффективный, печально известный своей бесчувственностью и чрезвычайно быстро обучавшийся. Тридцати двух лет, он провёл семь лет в царских тюрьмах и сибирской ссылке, где жадно читал всё, что попадалось под руку. Он обладал фотографической памятью, соединённой с неутолимой любознательностью. Невысокий, жилистый, смугло красивый, с

---

[5] В конце концов ему удалось убедить старших товарищей, что он действительно не годится для этого дела, и он вернулся в безвестность на другой должности в одном из комиссариатов, но на день-другой всё же успел прославиться

[6] Николай Горбунов: Clark, с. 324.

[7] Адольф Иоффе, цитаты из неопубликованных дневников и воспоминаний: «Kanun Oktyabrya. Zasedanie v Lesnom», в Izvestiya Tsetral'nogo Komiteta Kommunisticheskoi Partii Sovetskogo Soyuza (1989–1991), или ITsKKPSS, корпус советских партийных документов 1920-х годов. Материалы Иоффе находятся в корпусе 4.

копной густых чёрных волос, пронзительными ореховыми глазами, эспаньолкой и пенсне. Обычно он носил комиссарскую кожанку, но часто добавлял к ней что-нибудь своё, слегка богемное, — например, мягкий чёрный шарф. Голос у него был глубокий, гулкий; одни находили его привлекательным, другие — когда он пребывал в мрачном настроении — пугающим. По словам Луначарского, он был «как алмаз», выбранный «за свою абсолютную твёрдость, чтобы стать осью какого-то тонкого, непрестанно вращающегося механизма». Если Ленин был мозгом Революции, её теоретиком, а Троцкий — её блестящим оратором и лицом, то Свердлов был её главным операционным распорядителем. Ленин говорил просто: «Свердлов… он незаменим… чтобы заменить его, понадобилось бы шесть человек».[8]

В первые дни своего пребывания у власти в России Ленин правил декретами. Из Смольного один за другим, целой бурей, выходили десятки постановлений, большинство из которых Ленин писал собственноручно. Помимо Декрета о печати были декреты о мире, обещавшие скорое окончание войны; о земле, намечавшие грандиозную аграрную реформу, предоставлявшую крестьянам право владеть и распоряжаться имениями; и о правах рабочих, гарантировавшие «свободу от капиталистической эксплуатации» и контроль над фабриками. Отдельный декрет устанавливал восьмичасовой рабочий день — то, за что профсоюзы боролись десятилетиями. Всем народам Российской империи — от Армении до прибалтийских государств и Польши — предоставлялось право на независимость. Женщинам гарантировались равные права в труде, браке и распоряжении семейным имуществом. Русским было обещано вероисповедное равноправие. При старом режиме православная церковь была государственной религией, многие другие были запрещены, а церковные суды всё ещё обладали значительной властью. Декретами национализировались банки и крупная промышленность.

Когда Ленин не председательствовал на заседаниях, он яростно писал эти декреты, и многие из них выглядят так, будто были наспех набросаны почти без размышления. Другие, как признавал один из старых ленинских товарищей, которому поручили их проводить в жизнь, были всего лишь «упражнениями в пропаганде, а не в управлении». С самого начала в этих декретах проступали две характерные черты его правления: диктаторский тон и та лёгкость, с какой Ленин мог отвлекаться на мелочи. Человек, мысливший нередко грандиозными историческими категориями и убеждённый, что начинает мировую революцию, мог быть одержим пустяками. Так, например, в тот момент, когда ещё было совершенно неясно, выживет ли его революция, когда продовольственные запасы в Петрограде иссякали и Россия всё ещё находилась в состоянии войны, он часами занимался вопросом, близким ему по сердцу, но всё же таким, который вполне мог бы решить чиновник среднего звена. Собственной тонкой рукой он написал Декрет о библиотеках; его назидательный тон был типично ленинским: «1. Публичная библиотека [бывшая Императорская библиотека] должна немедленно наладить обмен книгами со всеми библиотеками Петрограда и провинции, а также с иностранными библиотеками (Финляндия, Швеция и т. д.). 2. За пересылку книг из одной библиотеки в другую не должно взиматься никакой платы. 3. Читальный зал Библиотеки должен быть открыт ежедневно, не исключая воскресений и праздников, с 8 часов утра до 11 часов вечера. Таков порядок в частных библиотеках и читальнях, которыми пользуются богатые в цивилизованных странах. 4. Следует немедленно перевести в Публичную библиотеку соответствующее число служащих из Комиссариата просвещения… и шире использовать труд женщин, поскольку мужчины мобилизуются в армию… девять десятых нынешнего персонала министерства заняты

[8] Цитата Ленина: «Свердлов незаменим»: письмо Марии Ульяновой, 19 апреля 1918 года, CW, т. 45, с. 134.

работой не только бесполезной, но и вредной…» И так он продолжает ещё несколько пунктов в том же духе.[9]

Неистовый темп издания декретов был отчасти следствием ленинской решимости двигаться вперёд стремительно. Но главная причина крылась в чувстве неуверенности: если его режим не выживет, он хотел, чтобы эти декреты остались свидетельством для истории о том, чего он намеревался добиться. Декреты утверждались Совнаркомом, но Советами, от имени которых он захватил власть, почти не обсуждались вовсе. Очень скоро Совет превратился в тот послушный орган, каким ему предстояло оставаться следующие семь десятилетий, — «жалкую пародию на революционный парламент».

Несколько большевиков взбунтовались, но Ленин быстро с ними расправился. Через неделю после Революции Каменев и Зиновьев попытались вынудить Ленина согласиться на коалиционное правительство с другими социалистическими партиями — меньшевиками и эсерами. Трудно поверить, чтобы, проработав рядом с Лениным последние пятнадцать лет, они только теперь вдруг осознали, что он и в самом деле намерен создать однопартийное государство. Скорее, они рассчитывали, что Ленина оттеснят в сторону и тогда они сами возглавят большевиков. 4 ноября они пригрозили выйти из правительства, и когда Ленин принял их вызов, они покинули Совнарком и Центральный комитет партии вместе с тремя другими комиссарами — Николаем Милютиным, Виктором Ногиным и Алексеем Рыковым. Они выступили публично — в глазах Ленина это было тягчайшим преступлением. «Мы полагаем, что только создание правительства всех советских партий сможет закрепить результаты героической борьбы рабочего класса и Революции», — написали они в Известиях, газете, находившейся под контролем Совета. «Иной путь означает лишь сохранение чисто большевистского правительства, действующего средствами политического террора. Мы не можем и не хотим идти этим путём… мы не можем брать на себя ответственность за эту гибельную политику, проводимую вопреки воле большинства рабочих и солдат, которая… приведёт к установлению безответственного режима и к гибели Революции и страны». Ленин назвал их «предателями и дезертирами… двое из которых ещё до восстания выступали штрейкбрехерами». Но он не тревожился; они не представляли собой ни серьёзного раскола в партии, ни угрозы лично для него. Он дал им уйти — временно — в изоляцию. И действительно, через несколько недель они покорились и вернулись в лоно партии.

Первым, как и следовало ожидать, скользнул обратно Зиновьев, сказав Ленину с характерной для него скользкой уклончивостью: «Мы предпочитаем ошибаться вместе с миллионами рабочих и солдат и вместе с ними погибнуть, чем стоять в стороне в этот решительный исторический момент».

На этом этапе Ленин ещё не был диктатором и в последующие годы ему предстояло столкнуться с серьёзным сопротивлением и колоссальными испытаниями, но, как выразился Троцкий, «с того самого момента, как было низложено Временное правительство, Ленин действовал в делах больших и малых как правительство».[10]

---

[9] Ленинский Декрет о библиотеках: РГАСПИ, ф. 32, оп. 3, д. 22.

[10] Каменев и Зиновьев, письмо с возражением против «однопартийного государства»: Izvestia, 4 November 1917. Зиновьев отрекается от своей позиции: Izvestia, 1 December 1917.

ГЛАВА 39. Щит и меч

«В каждом революционере скрыт жандарм».
Гюстав Флобер, Воспитание чувств, *1869*

Секретным декретом, написанным Лениным, была учреждена ЧК, главный краеугольный камень советского полицейского государства. На протяжении лет её название неоднократно менялось — ГПУ, ГПРУ, НКВД, МГБ и, наконец, в наиболее известном своём воплощении, КГБ. Как бы она ни называлась, задачи её оставались теми же: защищать Партию и её руководство от всякой предполагаемой угрозы подрывной деятельности и вершить «революционное правосудие». [1] По словам Ленина, это был «меч и щит Партии», и оба эти образа составили её эмблему. Большинство сотрудников называли себя чекистами вплоть до того дня, когда она была распущена в 1990-х годах. Президент России через сто лет после Революции, Владимир Путин, долгое время служивший офицером КГБ вплоть до распада СССР, любил говорить, что он был чекистом. То же говорили и тысячи людей, служивших в тех подражательных учреждениях, которые ЧК породила по всему коммунистическому миру, — в восточногерманской Штази или в Секуритате в Румынии Николае Чаушеску. [2]

Она была учреждена 7 декабря 1917 года как Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Официально предполагалось, что ЧК будет действовать рука об руку с отдельной комиссией, созданной тремя днями ранее для борьбы с «винными погромами» — то есть с людьми, грабившими погреба царя и богачей, которые либо были арестованы, либо бежали из Петрограда. «Попытки взлома винных погребов, винных лавок, складов, магазинов и частных домов будут пресекаться пулемётным огнём без всякого предупреждения». Но круг полномочий ЧК изначально мыслился куда шире.

По словам Ленина, задачей ЧК было «расследовать и ликвидировать все попытки и действия, связанные с контрреволюцией или саботажем, от кого бы они ни исходили, по всей России». Но её функции и полномочия не были обнародованы вплоть до середины 1920-х годов, и с самого начала она действовала вне закона, руководствуясь совершенно секретными протоколами, почти не подлежав никакой политической ответственности. Совет над нею не имел власти, не имел её со временем и Совнарком. Она отвечала только перед Лениным.

Вскоре ЧК стала самым страшным из государственных «органов», а её глава — самым ненавидимым человеком в России. Ленин говорил, что во главе ЧК нужен «стойкий пролетарский якобинец», хотя сорокалетний «безжалостный, холодный, застенчивый и глубоко пуританский» Феликс Дзержинский был не совсем уж пролетарий. Он происходил из богатой польской помещичьей семьи, которая, как и семья Ленина, имела притязание на дворянство. Его называли «Железный Феликс» или «Железный граф».

Родившийся в Вильно, он учился в одной из лучших польских гимназий, но в подростковом возрасте был исключён за то, что упорно говорил с одноклассниками по-польски — занятие, считавшееся при царях весьма мятежным. Он питал к режиму Романовых и к русской буржуазии глубокую ненависть, не покидавшую его никогда. Для Дзержинского революция была делом личным. Он был одним из основателей первой марксистской революционной группы в Польше и почти сразу после этого был арестован, в возрасте двадцати лет. Его пытали и целый год держали в одиночном заключении. Он пережил две ссылки в Сибирь, но оба раза сумел бежать. Вскоре после того как он женился на своей товарищице по РСДРП, Софье Мушкат, её арестовали за контрабанду подрывной литературы; он остался один с младенцем-сыном. В 1912 году его

[1] Как и обещал, Ленин — единолично — в марте 1918 года изменил название партии с Социал-демократической рабочей партии, которой, несмотря на все расколы, она оставалась с 1895 года, на Российскую коммунистическую партию (большевиков).

[2] Нынешняя ФСБ, внушающая в России большой страх преемница КГБ, сохраняет мотив меча и щита в качестве своего «логотипа».

арестовали снова, и на этот раз с ним обращались с исключительной жестокостью. Его регулярно били и на долгие сроки держали в кандалах — на запястьях и лодыжках навсегда остались шрамы. Из тюрьмы его освободили только после падения царя.

Двигался он неловко — «худой и измождённый, с длинными тёмными волнистыми волосами, лицом неестественно тонким и угловатым, с выступающими усами и сатанинской остроконечной бородкой», как описывал его один из коллег по Совнаркому. «Манеры у него были весьма правильные, говорил он тихо… с устрашающей сосредоточенностью… и без единого луча юмора в характере». Он был мрачно фанатичен и совершенно неподкупен. Юзеф Пилсудский, будущий военный диктатор Польши, помнил Дзержинского ещё по школьным годам как человека «измученного… но такого, который не умел лгать». Один товарищ, хорошо его знавший, ненавидел его чопорный аскетизм: «он не мог понять или стерпеть нравственную слабость в других». Впрочем, он не всегда умел распознать её там, где она была. Под самым его носом, хотя и без его ведома, более двух лет организация, которой надлежало бороться со спекуляцией и «наживой», сама стала одним из крупнейших спекулянтов страны. Склады были полны товаров, отобранных у «буржуазии» как государственная собственность, но распродававшихся чиновникам или друзьям чиновников. «Искали контрреволюционеров, а брали ценности», — говорили в народе.1

Поначалу Дзержинский пытался отказаться от поста главы ЧК и сказал Ленину, что не подходит для него. Ленин сперва пустил в ход убеждение, а когда это не подействовало, приказал ему принять должность. Вскоре большевистский вождь понял, что сделал, со своей точки зрения, мудрый выбор. Дзержинский был абсолютно предан, но не был лакеем. Временами он был готов спорить с Лениным, хотя в главном они были согласны, особенно в необходимости бдительности ради спасения Революции и террора против врагов — реальных или мнимых.

На заседании, на котором учреждалась ЧК, Дзержинский ясно определил свою задачу: «вести беспощадную войну против всех врагов Революции. Мы должны послать на этот фронт — самый опасный и самый жестокий из всех фронтов — решительных, твёрдых и преданных товарищей, готовых на всё ради защиты Революции. Я не ищу форм правосудия. Правосудие нам не нужно. Сейчас идёт война — лицом к лицу, борьба до конца. Жизнь или смерть».

Поначалу в ЧК было менее сорока сотрудников, помещавшихся в ветхой конторе на четвёртом этаже неопрятного дома на Гороховой, недалеко от Невского проспекта. Дзержинский носил все имевшиеся у ЧК дела в своём портфеле и повесил на стене возле двери объявление: «Смерть буржуазии».[3] Уже через три месяца в ней насчитывалось 600 сотрудников, не считая собственных охранных частей в синих мундирах, число которых к весне 1918 года достигло примерно 300 человек. Первоначально, согласно ленинскому декрету, «Комиссия будет производить лишь предварительное расследование, постольку поскольку это необходимо в предупредительных целях». Но почти сразу же она вышла далеко за пределы этих полномочий и, не имея никакого законного на то права, перешла от расследования к казни. ЧК могла легко это делать, потому что за ней стояла защита Ленина, а почти никто не знал, каковы её полномочия. Её чиновники могли попросту выдумывать их по ходу дела. Вскоре она стала государством в государстве.

Во многих отношениях Дзержинский сделался правой рукой Ленина, столь же близким к нему в первые дни красного режима, как Свердлов и Троцкий. До сих пор трудно установить точные цифры того, сколько людей было убито ЧК сразу после Октябрьской революции. Дзержинский

---

[3] Русская тайная полиция навсегда будет связана с тем зданием, куда ЧК переехала в следующем марте в Москве, — бывшей штаб-квартирой Всероссийского страхового общества на Лубянке, дом 22, адресом, который очень скоро сделался одной из самых страшных тюрем в мире. Это было — и остаётся — огромное здание, занимающее почти целый городской квартал. Дзержинский говорил коллегам, что одной из главных причин, по которой он выбрал его, были обширные подвальные помещения, где шум можно было легко заглушить. Так и оказалось. Лозунг о буржуазии позднее был написан ещё более крупными буквами в комнатах для допросов, когда ЧК перебралась в Москву

докладывал Совнаркому о 884 казнях в период с декабря 1917 по июнь 1918 года, но несомненно, что истинное число было гораздо больше. [4]

Ленин внимательно следил за ЧК и всегда её защищал. Когда в первые месяцы её существования критики в большевистском руководстве выражали тревогу, что она ведёт себя как власть, сама себе закон, он говорил: «без такого учреждения рабочий режим существовать не может». После революции некоторые комиссары предпринимали попытки ограничить её полномочия, но он неизменно добивался того, чтобы ЧК отвечала лишь перед ним одним; то же делали и его преемники. Через несколько месяцев после учреждения ЧК он сказал Дзержинскому: «Меня поражает, что так немногие [из критиков] способны оценивать работу ЧК широко… Вы должны действовать твёрдо, быстро и преданно. Когда я сопоставляю её достижения с её ошибками, последние тонут в ничтожестве… Для нас важно то, что ЧК сделала диктатуру пролетариата живой реальностью… её работа бесценна. Есть только один путь освободить массы — сокрушить эксплуататоров. В этом задача ЧК, и за это она заслуживает благодарности пролетариата».

ЧК была более беспощадна, чем охранка, но различие здесь — в степени, а не в категории. Во многом они были зеркальным отражением друг друга. Охранка действовала как частная полицейская сила короны, меч и щит царя. Роль ЧК была сходной, сходными были и её методы. Большинство ранних большевиков имели долгий опыт знакомства с методами охранки, и ЧК переняла многие из них, такие как внедрение в оппозиционные группы, использование агентов-провокаторов и вербовка двойных агентов. Тогда как Красная армия позднее охотно зачисляла в свои ряды бывших царских офицеров, ЧК не делала того же с бывшими агентами охранки. Дзержинский, Ленин, Свердлов и Сталин все утверждали, что доверять им невозможно. ЧК должна была начинать с нуля и учиться организации шпионской службы. Маркс и Энгельс не оставили никакого руководства; охранка — оставила.

Ленина интересовали технические подробности её операций. Именно он, в записке к Дзержинскому вскоре после учреждения ЧК, предложил, что «полезно было бы производить аресты ночью». Стук в дверь в малые часы ночи стал классическим modus operandi «органов» на всём протяжении коммунистических лет.2

[4] В том числе и двоюродный брат Ленина, Виктор Ардашев, арестованный и расстрелянный ЧК в Екатеринбурге в январе 1918 года. Убийцей почти наверняка был Яков Юровский, один из тех людей, которые несколькими месяцами позже убили царя и его семью. О гибели Ардашева Ленин узнал лишь тогда, когда попросил одного из помощников передать привет его кузену, но услышал в ответ, что тот уже казнён. Ленин любил Ардашева, с которым в детстве проводил лето в Кокушкине, хотя это чувство, вероятно, не было взаимным. Ардашев был известным кадетом, адвокатом, помогавшим организовывать забастовку чиновников в Екатеринбурге

ГЛАВА 40. Война и мир

«Без мира, и притом в самом скором времени, Революция не сможет уцелеть».
Ленин — Троцкому, 7 ноября 1917 года

Война ещё не кончилась. Ленин знал, что должен исполнить свои обещания мира, если не хочет разделить участь Керенского. Он был готов заключить мир почти любой ценой.

Его первой тактикой — в самый день Революции — было воззвание к общему миру между всеми воюющими державами. Он потребовал немедленного созыва конференции для прекращения конфликта: «Мы бросили вызов империалистическим грабителям всех стран», — говорил он. Он никогда всерьёз не рассчитывал, что его призыв возымеет действие, и, как и следовало ожидать, все стороны с ходу отвергли это предложение.

Затем Ленин стал добиваться отдельного, временного перемирия с Германией и попытался выиграть время. Он искренне верил, что его революция тотчас вызовет восстания в Западной Европе и двинет вперёд мировую революцию — символ веры для большевиков. При каждом небольшом армейском мятеже или стачке в Германии, Британии и Франции он ожидал восстания рабочих, вдохновлённых большевиками, которое низвергнет их правительства. Всё, что ему оставалось, — ждать и призывать рабочих всего мира к единению. Троцкий, в качестве народного комиссара иностранных дел, ежедневно выступал с речами, призывая «рабочих повсюду подняться против своих хозяев и прекратить войну».

Отдельный мир России с Германией вызвал первое столкновение между западными державами и режимом Ленина — первую холодную войну с Советами. «Отвратительно!» — телеграфировал в Вашингтон американский посол Дэвид Фрэнсис. Два дня спустя он доносил в Государственный департамент: «У меня имеются серьёзные подозрения, что Ленин и Троцкий действуют в интересах Германии; но верно это или нет, их успех, несомненно, приведёт к выгоде Германии». На другой день после Революции он записал в дневнике: «Разумеется, мы не могли бы — и я не стал бы — признавать какое бы то ни было министерство, в котором Ленин является премьером, а Троцкий — министром иностранных дел».[1] Президент Вудро Вильсон выражался мягче и говорил, что надеется, «что нам, возможно, будет дано содействовать народу России в достижении его надежд на свободу и упорядоченный мир». Но он добавлял, что «правительство в Петрограде установлено силой и не признано русским народом. Оно, разумеется, не может быть признано… [Соединёнными Штатами], особенно если оно заключит сепаратный мир с Германией».

Роберт Сесил, второй по значению министр в британском Форин-офисе, говорил: «Действия экстремистов в Петрограде будут нарушением соглашений между нами… это поставит их практически вне обычного круга европейских совещаний. О признании такого правительства не может быть и речи». Французы были столь же непреклонны. «Как? Говорить с Лениным… после того, как он нарушил заключённые с нами договоры? После того, как он оставил нас посреди войны? Никогда…» — говорил Гюстав Эрве, один из ведущих социалистических политиков страны. Французский министр иностранных дел Стефан Пишон указывал, что «что бы ни делал Ленин, мы всё равно будем продолжать войну». [2]

---

[1] Фрэнсис, возвращаясь в Вашингтон через несколько недель после Революции, был одним из гостей на завтраке, который дал Георг V в Букингемском дворце. Король спросил его, что следует делать с Россией и с большевиками, и тот ответил: «Следует свергнуть Ленина». Король сказал: «Что ж… я согласен, но, по-видимому, ваш президент так не думает».

[2] Неофициально, однако, все союзные правительства направили своих агентов для переговоров с большевистским режимом, стараясь убедить Ленина и Троцкого остаться в войне. Британия использовала в качестве посредника Роберта Брюса Локхарта; американцы отправили Рэймонда Робинса под видом председателя Комитета Американского Красного Креста, но в действительности как тайный канал Вудро Вильсона к большевикам, имевший прямой доступ к Ленину, который часто с ним беседовал и даже восхищался им — «честный и порядочный человек… он мне всегда нравился», — говорил он позднее. Французы использовали шпиона капитана Жака Садуля, который свёл на нет цель своей миссии, поскольку

Во всех союзных странах находились советники, убеждавшие правительства, что наилучший способ обращения с новым режимом — вести переговоры с Лениным. Брюс Локхарт советовал британскому правительству поступить именно так, и среди членов кабинета были люди, желавшие вступить в переговоры с большевиками. Но маловероятно, чтобы это могло увенчаться успехом: для Ленина первейшей задачей было вывести Россию из войны, а вскоре для западных правительств стало политически невозможно иметь дело с большевиками.

Уже самые сепаратные мирные переговоры были достаточно тяжёлым обстоятельством. Но союзники были потрясены и поставлены в неловкое положение, когда Троцкий опубликовал «секретные» договоры, заключённые царём с Британией и Францией ещё до начала войны. Из них следовало, что были заключены соглашения о разделе послевоенной добычи после поражения Германии: Ближний Восток предполагалось расчленить, Россия должна была получить Константинополь — мечту Романовых на протяжении трёх столетий, — а Франция вернуть себе Эльзас и Лотарингию. Для Ленина это служило доказательством того, что война была «империалистической авантюрой, целиком связанной с колониями и грабежом». Для союзников эти разоблачения положили конец всякой возможности соглашения с большевистским вождём. [3]

Британский премьер-министр Ллойд Джордж говорил, что хотел было вести переговоры с Лениным, — но уже не после утечки этих договоров. После этого, признавал он, «трудности… в убеждении некоторых членов правительства вступить в какие бы то ни было отношения с Петроградом, которые предполагали бы признание большевиков, значительно возросли».1

Русско-германские мирные переговоры начались 1 декабря в мрачном и безобразном городке Брест-Литовске, в тогдашней Белоруссии (ныне Беларусь), на границе с Польшей. Во время войны он неоднократно подвергался обстрелу с обеих сторон, и значительная его часть была разрушена. Ежедневные заседания, проходившие в военной крепости, были зрелищем необычайным — «достойным кисти какого-нибудь великого исторического живописца», как вспоминал один из русских делегатов. Со стороны Центральных держав сидели «старомодные господа в чёрных сюртуках, увешанные лентами и орденами, изысканно вежливые», большей частью графы или бароны, а в худшем случае — хотя бы какой-нибудь «фон». По другую сторону сидели оборванные революционные коммунисты, многие из которых недавно вышли из тюрьмы или сибирской ссылки и всю жизнь боролись против аристократического строя.

Принц Макс Баденский вспоминал официальный обед при открытии переговоров: «Мой кузен, принц Эрнст фон Гогенлоэ, был посажен рядом с мадам [Анастасией] Биценко, которая заслужила своё место на переговорах тем, что убила министра. 5 декабря 1905 года она совершила покушение на генерала и бывшего военного министра Виктора Сахарова».

Генерал Макс Гофман, командующий германской армией на Восточном фронте, оставил живописное личное описание. «Я никогда не забуду тот первый обед с русскими. Я сидел между [Адольфом] Иоффе и [Григорием] Сокольниковым [редактором Правды и с марта 1918 года народным комиссаром финансов]. Напротив меня сидел рабочий, который, по всей очевидности, был поражён обилием серебряной посуды на столе. Он пытался подцеплять то одно, то другое на своей тарелке различными столовыми принадлежностями, но вилку употреблял исключительно для чистки зубов. Прямо напротив меня… сидела мадам Биценко, а прямо напротив неё — крестьянин, [Роман] Сташков, вполне русский тип с длинными седыми

оказался фанатическим коммунистом и горячим сторонником Ленина. Британцы, как теперь доказано вне всякого сомнения, не ограничивались шпионажем за большевиками и попытками на них влиять. Различные тайные агенты вступали в заговоры с оппозиционными группами, желая свергнуть режим Ленина, поскольку тот заключал мир с Германией (см. превосходную книгу Джайлса Милтона Russian Roulette и книгу Роберта Сервиса Spies and Commissars).

[3] Керенский знал, что эти договоры потенциально взрывоопасны. Когда летом 1917 года он стал премьер-министром и впервые с ними ознакомился, он приказал чиновникам «спрятать их». Именно поэтому Троцкий не мог сразу их найти, когда стал народным комиссаром иностранных дел, и был вынужден послать группу надёжных агентов на их поиски.

космами и огромной бородой. Ординарец не мог скрыть улыбки, когда спросил Сташкова, хочет ли он к одному из блюд красного или белого вина. “Какое из них крепче?” — спросил тот». [4]

Тактика Ленина состояла в том, чтобы тянуть переговоры как можно дольше, — и он знал человека, который умел затемнять суть бесконечно долго. Сначала русскую делегацию возглавлял Иоффе. Через несколько дней его сменил Троцкий. Никто не умел произносить более длинные речи, не ведущие никуда, чем Троцкий. Перед отъездом в Брест Ленин сказал ему: «Нам нужен человек, который будет затягивать дело… а вы сделаете это лучше всех. Тяните переговоры, пока в Германии не произойдёт революция, — или как можно дольше».

Троцкий отправился туда и, будучи мастером словесного многословия, говорил без конца. Целый день он читал германским и австрийским дипломатам длинную лекцию о первом томе Капитала Маркса. В другой день он проходил каждый пункт возможного договора по-немецки и по-русски, настаивая на двух отдельных переводчиках, удваивая тем самым требуемое время. Немцы начинали скучать и подозревать недоброе, хотя пышные обеды и светские мероприятия продолжались. В какой-то момент, в середине декабря, Троцкий сообщил, что, по его мнению, «время на переговорах, возможно, начинает истекать», а в постскриптуме спросил Ленина, следует ли ему надеть вечерний костюм на одном из приёмов. «Хоть в юбке идите, если хотите, только добудьте нам мир».

Немцы устали от русской тактики затягивания и незадолго до Рождества предложили мир на своих условиях. Они настаивали на сохранении за собой занятых земель: Польши, Литвы, Курляндии и большей части Западной Украины. В конце декабря Троцкий добился перерыва и возвратился в Петроград для переговоров с Лениным и другими комиссарами.

Мирный договор с Германией стал первым большим испытанием положения Ленина как вождя Революции. Он вызвал раскол внутри партии, который едва не низверг его и мог уничтожить большевистский режим спустя всего несколько недель после его установления. Ленин хотел принять германские условия. Но он ещё не был диктатором даже в собственной партии и поначалу оставался в меньшинстве. Чтобы добиться своего, ему пришлось бороться изо всех сил. Сначала большинство товарищей отказалось одобрить столь унизительный, постыдный мир. Оппозицию против него возглавлял Бухарин, но в неё входили также Каменев, Коллонтай и Дзержинский. Полностью поддерживали его лишь Сталин и Зиновьев. Инесса жила в Москве, но занимала там высокий пост в Совете и посылала ему письма с мольбами ещё раз обдумать своё решение, прежде чем заключать «позорный мир». Они хотели вести «революционную войну» против Германии, утверждая, что именно это скорее всего вызовет восстание в Западной Европе. «Мы должны смотреть на социалистическую республику с международной точки зрения», — говорил Бухарин на драматическом заседании большевистского Центрального комитета 11 января 1918 года. «Пусть немцы наносят удар, пусть продвинутся ещё на сто километров; для нас важно лишь, как это подействует на международное движение».

Ленин заявлял, что мысль о революционной войне — «самоубийственна» и безнадёжно наивна. Армия — «нуль как боевая сила. Её почти не существует. Мы можем не продержаться и нескольких дней. Я готов уступить территорию нынешнему победителю, чтобы выиграть время, получить передышку. В этом всё дело, и только в этом. Подписание договора после поражения — это способ собрать силы. Если бы мы начали революционную войну, как того хочет Бухарин,

---

[4] Сташков оказался там случайно, по словам Иоффе. Руководители делегации в последнюю минуту обнаружили, что среди рабочих, солдат и партийных аппаратчиков у них нет ни одного представителя крестьянства. Это было вполне в духе большевистского мышления, — но могло поставить в неловкое положение режим «рабочих и крестьян». Когда они ехали из Смольного на Варшавский вокзал, Иоффе и Каменев вдруг увидели старика в типичном крестьянском армяке с котомкой за плечами. Каменев приказал остановить машину, вышел и спросил старика, куда тот направляется. «На вокзал, барин, то есть товарищ». — «Садитесь, — сказал Каменев. — Мы вас подвезём». Сперва крестьянин обрадовался, но потом заметил, что они едут не к Николаевскому вокзалу, откуда уходили поезда в центральную Россию, к его родной деревне. Он попросил двух большевиков выпустить его, но Каменев сказал: «Вам нет нужды ехать в свою деревню… поедемте с нами мириться с немцами». Старик не имел ни малейшего понятия, где находится Брест-Литовск и что там происходит. Но когда ему предложили некоторое вознаграждение, он согласился ехать. Так он и стал делегатом и «полномочным представителем русского крестьянства» на переговорах

то это был бы лучший способ избавиться от нас прямо сейчас. Для нас — равно как и с международной точки зрения — сохранение советской республики стоит превыше всего».
Он говорил, что нет никакого смысла ставить Революцию на карту ради возможного восстания в Германии, в близость которого он уже начинал сомневаться. «Германия ещё только беременна революцией, тогда как мы уже родили вполне здорового ребёнка». Однако убедить остальных ему не удалось.
Троцкий выдвинул другую формулу, звучавшую бессмысленно, но принятую остальными. Его тактика состояла в том, чтобы выиграть ещё больше времени под привлекательным лозунгом «Ни войны, ни мира». Он должен был вернуться на переговоры, объявить войну оконченной, но отказаться подписывать «аннексионистский мир». Если же немцы вторгнутся, — чему Россия всё равно не сможет помешать, — всему миру станет ясно, что Германия совершает акт агрессии против «миролюбивой страны».
Ленин сказал ему, что речь идёт о выживании Революции. «Равновесие в партии мы сможем восстановить потом, — говорил он. — Спасти Революцию мы можем только подписанием мира. Лучше раскол, чем свержение… Допустим, ваш план принят, и мы отказываемся подписывать мирный договор. Немцы тотчас нападают. Что вы тогда станете делать?» — «Мы подпишем мир под штыками», — ответил Троцкий. «Тогда картина станет ясна рабочим всего мира». Ленин назвал идею Троцкого «международным актёрством», но вынужден был согласиться, зная, что она потерпит крах. Как позднее вспоминала Надя, Ленин находился «в совершенно разбитом состоянии», постоянно впадал в ярость, почти не спал, выглядел больным и всерьёз опасался, что мечты его о социалистической Революции будут погублены глупостью собственных товарищей.
Немцы решили, что более не потерпят никаких отсрочек. Пока переговоры были прерваны, в Берлине начальник армии Людендорф спросил Гофмана: «Скажите, неужели с этими людьми в самом деле возможно вести переговоры?» Гофман ответил: «Да, пока ещё возможно. Вашему превосходительству нужны войска на Западном фронте, а это самый быстрый способ их получить».
Троцкий вернулся в Брест-Литовск и вновь попытался тянуть время при помощи своей тактики «Ни войны, ни мира». Через несколько дней Гофману это надоело. «На этот раз товарищам придётся просто проглотить то, что им подадут», — записал он в дневнике. 9 февраля он сообщил Троцкому, что если договор не будет подписан к следующему дню, немцы вторгнутся в Россию. Когда срок истёк, Троцкий объявил, что русские «выходят из войны», но отказался подписывать мирный договор — понятие новое в дипломатии. Наступило молчание. Немцы, по-видимому, не поняли услышанного и не знали, что с этим делать. Наконец Гофман встал и громко, но просто произнёс: «Unerhört» — «Неслыханно».
Неделю спустя немцы объявили, что возобновят военные действия против России 18 февраля. Но и тогда большинство большевистского руководства отказывалось принять условия мира. Предложение Ленина в Совнаркоме о немедленном подписании было отвергнуто шестью голосами против пяти.
Через пять дней немцы предъявили последний ультиматум: русским давали срок до 7 часов утра 24 февраля, чтобы принять условия, или же им грозило сокрушительное вторжение. Ленин сказал товарищам: «Мы должны подписать. Если вы этого не сделаете, вы подписываете смертный приговор советской власти в течение трёх недель». Он пригрозил уйти в отставку как с поста главы правительства, так и вообще из большевистской партии — к такому средству он прибегал и прежде. Никто не был готов принять его вызов и проверить, исполнит ли он угрозу. В течение трёх дней немцы продвинулись вперёд и захватили больше территории, чем за предыдущие три года войны. Ленин полагал, что они пойдут на Петроград. [5]
18 февраля произошло ещё три заседания. Ленин произнёс последнюю речь: «Я понимаю, что первым нашим порывом является сопротивление этому постыдному, грабительскому миру. Но в минуты более спокойные разум скажет нам простую истину: Россия не в состоянии оказать сопротивление, мы истощены после трёх лет войны. Возможно, найдутся люди, готовые

[5] Именно тогда он решил, что если удержится у власти, то как можно скорее перенесёт столицу в Москву.

сражаться за великое дело. Но это романтики, которые принесут себя в жертву без всякой реальной надежды на успех. В наше время войны не выигрывают одним только воодушевлением». Троцкий наконец склонился на сторону Ленина и обратил голосование — семь против четырёх — в его пользу.

Но гнев против него был велик. На более широком партийном собрании четыре дня спустя Ленина встречали криками «Предатель!» и «Немецкий шпион!» — даже среди его ближайших соратников. Спор был горяч, а нервы натянуты. В какой-то момент Карл Радек вскочил со своего места и крикнул Ленину: «Если бы у нас в Петрограде было пятьсот смелых людей, мы посадили бы вас в тюрьму».

Ленин улыбнулся и устало ответил: «Возможно, после этого кое-кто и окажется в тюрьме, но если вы подсчитаете вероятности, то увидите, что гораздо вероятнее, что я посажу вас, чем вы меня».

В полночь 23 февраля Ленин лично отправил в Берлин телеграмму о принятии мирных условий. К тому времени немцы уже выдвинули значительно более тяжёлые требования. Русским следовало принять сделку, предложенную ещё в декабре. Теперь же, как говорил Ленин своему «кабинету», мир означал ещё более «расчленение, порабощение, унижение». Помимо уже потерянных территорий, они вынуждены были уступить Центральным державам Прибалтику, Финляндию и почти всю Украину, а туркам — порты Карс, Ардаган и Батум, — в общей сложности 1,8 миллиона квадратных километров, шестьдесят два миллиона человек, около 32 процентов лучших сельскохозяйственных земель, 54 процента промышленности и 89 процентов угольных шахт. Уже находясь перед лицом страшной экономической катастрофы, они должны были уплатить ещё и огромную «контрибуцию». В Германию было отправлено около 120 миллионов золотых рублей. Цена мира была высока.

Договор был наконец подписан 3 марта. Ни один из большевистских вождей не хотел ставить свою подпись под таким «позорным миром». Троцкий сам вывел себя из числа возможных подписантов, подав в отставку с поста народного комиссара иностранных дел. Иоффе наотрез отказался, как и новый комиссар иностранных дел Георгий Чичерин. Сокольников предложил ехать Зиновьеву, а Зиновьев — Сокольникову, который сперва заявил, что не станет этого делать, но затем по приказу Ленина всё же поехал. Подписал он, как скажет позднее, с отвращением к самому себе.2

ГЛАВА 41. Однопартийное государство

«Никто ещё не был сделан счастливее силой».
Владимир Медем (1879–1923)

«Я с недоверием отношусь к русским у власти: ещё недавно сами рабы, они, едва им представится случай стать хозяевами своих ближних, превращаются в необузданных деспотов».
Максим Горький, *Новая жизнь*, 17 ноября 1917 года

Первый в России свободно избранный парламент — Учредительное собрание — просуществовал около двенадцати часов. Другого не будет ещё почти семьдесят пять лет.

Введение представительной демократии было самым важным обещанием, данным Временным правительством после свержения царя. Первоначально выборы были назначены на сентябрь; затем перенесены на октябрь и, наконец, на середину ноября. Голосование должно было проходить поэтапно в течение двух недель — из-за размеров страны и колоссальных трудностей, связанных с подсчётом голосов.

Всякий раз, когда выборы откладывались, большевики жаловались, что правительство намерено «задушить демократию» и собирается лишить народ «свободного парламента, за который он боролся». Но Ленин, придя к власти, вовсе не собирался допускать свободный парламент. Возможно, прежде он иной раз и писал с похвалой о выборах. Но он не верил в «буржуазную демократию» ни в принципе, ни, тем более, на практике — во всяком случае, для революционного государства. Диктатура пролетариата и власть Совета были «не только более высокой формой демократии… [но] единственной формой демократии».1

Уже в первый день после переворота, в течение нескольких часов после захвата власти, Ленин захотел отложить выборы на неопределённый срок. «Их нужно отложить, — сказал он своему кругу товарищей. — Они могут стоить революции головы. Нам нужно получить возможность пересмотреть избирательные списки. С нашей стороны списки кандидатов никуда не годятся. Туда попало множество интеллигентов по случайности, тогда как нам нужны рабочие или крестьяне». И он вовсе не хотел, чтобы правые партии вообще допускались к выборам. «Кадетов надо объявить вне закона».

Почти всё его окружение выступило против — не только обычные возражающие, но и такие жёсткие люди, как Дзержинский и Свердлов, а также время от времени колебавшиеся, вроде тогдашнего Сталина. Свердлов сказал просто: «Нельзя, сейчас неподходящее время… это будет очень дурно выглядеть». Поначалу Ленин не был убеждён. «Почему это неудачный момент? — спросил он. — Это чепуха… вздор. А если Собрание окажется меньшевистско-кадетско-эсеровским? Хорошо это будет для нас? Это ошибка, явная ошибка… Мы уже завоевали власть… теперь нам придётся завоёвывать её заново, вероятно, военными средствами». И всё же он, хотя и неохотно, уступил и позволил выборам состояться.

Он немедленно пожалел об этом. Ленин знал, что большевики выступят неудачно. Но они выступили даже хуже, чем он ожидал, получив менее десяти миллионов голосов — около 24 процентов от общего числа, что делало бессмысленным заявление, будто их поддерживают массы. Социалисты-революционеры получили несравненно больше голосов — 39 процентов, хотя их успех осложнялся тем, что они раскололись надвое ещё до начала кампании. Во время самой кампании избирателям редко бывало ясно, является ли тот или иной кандидат «правым» эсером, выступавшим против большевиков, или «левым» эсером, более к ним благожелательным и ставшим в начале декабря единственным коалиционным партнёром, союзным ленинской партии. Меньшевики получили лишь 3 процента голосов, кадеты — 5.

Ленин задержал открытие Собрания, пока обдумывал способы вовсе его упразднить. Он рассудил, что большинству людей до него нет дела. Интеллигенцию оно занимает, говорил он, но большинство рабочих и крестьян заботятся о мире и хлебе — нехватка продовольствия становилась столь же серьёзной, как и год назад, когда был низложен царь.

Ленин подготовил свою стратегию прежде всего декретом, которым увольнялись нейтральные избирательные комиссары, обязанностью которых было наблюдать за практической стороной работы Собрания, и на их место ставился партийный ставленник большевиков Урицкий.

27 ноября, в день, когда Собрание должно было впервые собраться, Ленин издал декрет о запрещении кадетской партии. Он объявил её членов «врагами народа», и красногвардейцы арестовали всех видных кадетов, каких только смогли отыскать, — десятки людей, многие из которых только что были избраны в Собрание. Когда противники возразили, что это незаконно, он ответил: «Даже обсуждать вопрос о законности бессмысленно… Кадетская партия, размахивающая оружием демократии… составляет генеральный штаб гражданской войны против эксплуатируемого класса». Тем временем Троцкий прямо предупредил, что, по всей вероятности, последует дальше. «Мы не собираемся делить власть ни с кем. Если мы остановимся на полпути, это будет не революция, а выкидыш… ложные роды истории».2

Ленин уже не мог дольше откладывать этот день. 5 января 1918 года Собрание собралось в Таврическом дворце. Петроград с раннего утра находился «на осадном положении». Правительство объявило военное положение и наводнило город войсками и красногвардейцами. Демонстрации были запрещены, но около полудня примерно 40 000 рабочих, студентов и гражданских служащих ослушались приказа и двинулись в двухкилометровый путь от Марсова поля к Таврическому дворцу в лютый мороз и снег. Когда они достигли Литейного проспекта, красногвардейцы, укрывшиеся на крышах, открыли огонь. Демонстранты рассеялись, и два огромных знамени, которые они несли, — «Вся власть Собранию» — остались растоптанными в снежной слякоти. По меньшей мере десять человек были убиты и семьдесят тяжело ранены.

Когда зал наполнился и заседание началось в 4 часа дня, нервы у всех уже были на пределе. Многие члены Собрания сами были на той демонстрации, разогнанной пулемётным огнём, — впервые со времени Февральской революции войска стреляли в безоружную толпу. Вооружённые караульные были расставлены по всему залу, и несколько депутатов также имели при себе оружие. Карл Линдхаген, бургомистр Стокгольма, встретившийся с Лениным девять месяцев назад во время путешествия на «пломбированном поезде» и находившийся теперь в Петрограде в качестве наблюдателя, сказал: «Сегодня тут будет шоу Дикого Запада… у всех при себе револьверы». Ленин прибыл примерно за час до начала — через чёрный ход, окружённый телохранителями. Он наблюдал с мезонинной ложи, где в дни царской Думы обычно сидели правительственные министры. Он напускал на себя небрежный и скучающий вид, который, как говорил один из его приближённых, прикрывал внутреннее напряжение. Он спокойно беседовал с двумя американскими журналистами, спрашивая одного из них, Альберта Риса Уильямса, как идут его занятия русским языком. «Мне трудно, слова такие длинные», — ответил репортёр. «Ну, а вы делайте так, как я изучал языки: сперва существительные, потом глаголы, а грамматику оставляйте напоследок». Чуть позже он в какой-то момент притворился спящим, прикрыв глаза руками. Но он был начеку. Лидер эсеров Виктор Чернов был избран председателем Собрания и произнёс длинную, напыщенную речь, обличавшую революцию. Большевики были в громадном меньшинстве, но на протяжении всей его речи перебивали и освистывали его.3

Когда он закончил, началось настоящее дело. Свердлов внёс большевистское предложение, требовавшее, чтобы Собрание автоматически утверждало декреты Совнаркома, выполняя роль простого регистратора, — начиная с Декретов о правах рабочих, национализации банков и Декрета об обязательном труде «для уничтожения класса паразитов».

Оно было отвергнуто большим большинством, и большевики покинули зал. «Мы не останемся в этом контрреволюционном учреждении», — сказал вождь кронштадтских матросов Раскольников. Последовал перерыв, и тогда Ленин отдал приказ распустить Собрание: «Теперь положение ясно, и от них можно избавиться», — сказал он. Однако он приказал красногвардейцам не применять насилия. Он распорядился, чтобы, когда депутаты позже ночью уйдут, дворец был заперт и никого не пускали обратно на следующий день.

Когда депутаты вновь наполнили зал в 11.30 вечера, речи стали длиннее и скучнее: «Один матрос, сидевший в… ложе, монотонно ругал Церетели и наводил на него ружьё. Другой, ухмыляясь, развлекался тем, что целился в Чернова вдоль ствола», — вспоминал Рид. Ленин ушёл около часа ночи, сочтя ненужным быть свидетелем конца краткого опыта русской демократии.

Около 4 часов утра народный комиссар по морским делам Дыбенко приказал командиру красногвардейцев Анатолию Железнякову очистить зал. Тот подошёл к Чернову на трибуне, тронул его за плечо и сказал: «Всем здесь следует сейчас же покинуть зал, потому что караул устал». Чернов ответил ему, что «устали и мы, но это не может прервать нашей работы, на которую смотрит вся Россия». Караульные, большинство которых были пьяны, стали угрожающе перебирать оружие и один за другим выключать огни. В 4.40 утра 6 января все депутаты вышли, и ворота дворца были заперты за ними. Когда на следующий день после полудня они попытались вернуться в Таврический дворец, путь им преградили солдаты, а на воротах висел декрет о роспуске Собрания.

Позднее Ленин сказал Троцкому, что «да, это был риск, большой риск — не откладывать Собрания. Но в конце концов это оказалось к лучшему. Разогнать его… значит совершить полную и открытую ликвидацию формальной демократии во имя революционной диктатуры. Это послужит хорошим уроком. Народ хотел созвать Собрание — мы его созвали. Но народ сразу почувствовал, что это Собрание означает… [возврат к прошлому], и теперь мы выполнили волю народа».

Несколько дней спустя Владимир Медем, один из вождей еврейского Бунда, сказал другу, депутату Собрания, что «есть много нетерпеливых людей, которым кажется, будто без Учредительного собрания будет легче и быстрее сделать всех счастливыми. Но никто ещё не был сделан счастливее силой».4

Однако в своей стратегии Ленин оказался прав. Вне интеллигенции значительной поддержки Собранию почти не обнаружилось: ни крупных демонстраций, ни забастовок, ни армейских мятежей. «Среди солдат и рабочих царило равнодушие… Ленин рассчитал верно», — сказал один из его товарищей по Совнаркому.

На рассвете 6 января, через несколько часов после закрытия Собрания, два матроса с крейсера Балтийского флота «Чайка» вошли в Мариинскую больницу в Петрограде. Они сразу ворвались в палату, где под вооружённой охраной спали двое бывших министров Временного правительства, задушили их и затем выстрелили, чтобы удостовериться, что те мертвы. После этого убийцы спокойно вышли на Литейный проспект, и никто их не остановил.

Министры — известный врач Андрей Шингарёв и профессор государственного права Петроградского университета Фёдор Кокошкин, оба видные кадеты, — были переведены в больницу только накануне. После ареста сразу после большевистского переворота они содержались в Петропавловской крепости. Но оба сообщили о плохом самочувствии и были переведены в больницу, якобы под надёжную охрану.

Когда позже тем же утром Ленину донесли об убийствах, он вызвал комиссара юстиции Исаака Штейнберга. «Дело серьёзное, и его нужно расследовать срочно и как следует… а не замазывать». Штейнберг был левым эсером и принадлежал к младшему партнёру по Совнаркому, но провёл годы в сибирской ссылке ещё при царском режиме как народнический агитатор. Это был высоко уважаемый юрист. Он немедленно начал расследование, которое Ленин, по его словам, всецело поддерживал.

Поначалу следствие шло обычным порядком. Начальник Балтийского флота заявил, что будет содействовать, а Дыбенко торжественно объявил на заседании Совнаркома: «Я напишу матросам строгое воззвание, чтобы они впредь такого не делали, и мы скажем, что намерены предать виновных суду». Затем он помедлил, и тон его переменился. «Но, разумеется, они будут смотреть на это дело лишь как на акт политического террора». Именно тогда, по словам комиссара юстиции, он понял, что при большевиках выражение «политический террор» станет оправданием для широчайшего круга преступлений.

Штейнберг настаивал на продолжении расследования и полагал, что убийцы уже установлены. «Естественно, их следует арестовать», — сказал он Ленину. Но всё оказалось не так просто. «Вы хотите, чтобы мы пошли против матросов? Это может быть щекотливо». — «Да, — ответил Штейнберг. — Если мы не сделаем этого сейчас, потом будет труднее обуздать насилие и утолить жажду крови. Это убийство, а не политический террор».

Ленин пожал плечами. «Неужели? Не думаю, чтобы народ такими делами интересовался. Спросите любого рабочего или крестьянина. Они и не слыхали о докторе Шингарёве». Штейнберг ответил, что сможет пойти за виновными матросами, «только если мне дадут отряд красногвардейцев, чтобы окружить их казармы и взять их». Людей ему не дали, и убийцы так никогда и не были арестованы.[1]

Волна преступности и анархии, разливавшаяся по Петрограду и другим крупным городам, ставила Ленина в затруднительное положение. Кое-что из этого он сам увидел 1 января, сразу после возвращения с рождественских каникул в Финляндии, проведённых с Надей. В начале дня, когда Ленина везли после выступления обратно в Смольный, по его автомобилю были произведены случайные выстрелы. Фриц Платтен, швейцарский социалист, помогавший организовать проезд «пломбированного поезда» через Германию, находился тогда в кратком визите и ехал вместе с ним. Услышав выстрелы, он прикрыл собой тело Ленина, чтобы защитить большевистского вождя. Платтен получил лёгкое касательное ранение руки; Ленин не пострадал. Но на одном борту машины осталось несколько пулевых пробоин. Никто не знал, что Ленин находится в автомобиле, так что это не было покушением — лишь случайное проявление насилия. Но этот эпизод показал, до какой степени беззаконной стала Россия за прошедший год. Хаос нужно было обуздать.

С другой стороны, Ленин и сам по политическим причинам поощрял значительную часть этого насилия — как народную месть буржуазии за «века вопиющего неравенства» и как «революционное правосудие против эксплуататоров». Поначалу его риторика пользовалась значительной притягательностью: разве не в этом и состояла революция — уничтожить привилегии? Сведение счётов с буржуазией, по любимому выражению Дзержинского, началось ещё до того, как ЧК взяла под свой контроль террор.

Квартиры богатых подвергались грабежу и разгрому, на улицах на них нападали, их постоянно оскорбляли. Люди сами брали месть в свои руки, а Ленин их подстрекал. В середине декабря 1917 года он объявил тех, кто «прячет» продовольствие или богатства, «врагами народа» и в своей обычной злобной манере призвал к «войне не на жизнь, а на смерть против богатых, лодырей и паразитов… [граждане должны] очистить русскую землю от всякой нечисти, от блох-мошенников, от клопов-богачей… в одном месте можно посадить в тюрьму десяток богачей, десяток мошенников, полдюжины рабочих, отлынивающих от дела… в другом — послать их чистить отхожие места. В третьем — после тюрьмы выдать им жёлтые билеты [какие выдавали проституткам], чтобы все знали, что это вредные люди и чтобы за ними можно было следить. В четвёртом — расстрелять каждого десятого лодыря. Чем больше разнообразия, тем лучше… ибо только практика может выработать наилучшие способы борьбы».5

Вскоре большевистские агитаторы стали натравливать случайные толпы на действие. «Вырвем у буржуазии миллионы, украденные у масс и хитро превращённые в шёлковое бельё, меха, ковры, золото, мебель и картины… мы отнимем всё это и отдадим пролетариату, а затем заставим буржуазию работать за свой паёк», — увещевал один партийный аппаратчик в Екатеринбурге в декабре 1917 года. Богатых клеймили как «бывших людей», назначали им значительно уменьшенные пайки и ставили в хвост хлебных очередей. Некоторые отпрыски великих аристократических родов умерли от голода. Буржуазные семьи принуждали делить свои квартиры с бедняками и нередко в итоге оставались в меньших комнатах большого жилища — «революция в домашнем быту, новый мир, в котором слуги и господа буквально

[1] Единственным человеком, привлечённым к ответственности в связи с этими убийствами, был комендант красногвардейцев при больнице Степан Басов, представший через несколько недель перед революционным трибуналом. Он утверждал, что убийство было оправданным, ибо «по крайней мере это значит, что на два буржуазных рта меньше приходится кормить». Ему сделали внушение.

менялись местами». Саму идею мести Троцкий оправдывал крепко и в то же время зловеще: «Веками наши отцы и деды убирали грязь и нечистоты за господствующими классами, теперь же мы заставим их убирать нашу грязь. Мы должны сделать их жизнь настолько невыносимой, чтобы у них исчезло желание оставаться буржуа».

Один из ленинских декретов кодифицировал большевистские представления о «революционном правосудии». Одним ударом он упразднил существующую правовую систему, хотя сохранил царский принцип: одна система правосудия для обычных преступлений против собственности и особые законы — для преступлений против государства. Он учредил «народные суды» для обычных уголовных дел — по существу, импровизированные суды толпы, где двенадцать «избранных» судей, большинство из которых едва умело читать, должны были выносить решения не столько по фактам дела, сколько, по ленинскому выражению, опираясь на «революционную совесть». В этом декрете во всей полноте проявилась ненависть Ленина к праву и юристам. «Судопроизводство не строилось на доказательствах, процедуры более или менее сочинялись на ходу. Бывали случаи, когда людей осуждали по “доносам” со стороны лиц, вовлечённых в многолетние семейные распри, а также случаи, когда жёны доносили на неверных мужей», — вспоминал Штейнберг. «Приговоры соответствовали настроению толпы, которая свободно выкрикивала своё мнение с галёрки».

Другим новым ленинским учреждением, заимствованным у Французской революции, был революционный трибунал. Они разбирали преступления против государства и в течение примерно года пользовались популярностью, но затем постепенно были свёрнуты. Публичные процессы заменялись закрытыми десятиминутными заседаниями «троек» из партийных членов, действовавших при ЧК.

В защиту этой системы так называемого правосудия Ленин выдвигал очень простой, прямой и, по крайней мере, честный довод: его система несравненно выше и практически, и нравственно, потому что действует в интересах эксплуатируемых классов, — а это оправдывает всё. «Для нас не существует и не может существовать старой системы морали и “человечности”, выдуманной буржуазией с целью угнетения и эксплуатации “низших классов”. Наша мораль нова, наша человечность абсолютна, ибо она покоится на идеале уничтожения всякого угнетения и всякого принуждения. Для нас всё дозволено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя порабощения или угнетения кого бы то ни было, а во имя освобождения всех от оков… Кровь? Пусть льётся кровь, если только она одна может окрасить серо-бело-чёрное знамя старого разбойничьего мира в алый цвет, ибо только полная и окончательная смерть этого старого мира спасёт нас от возвращения старых шакалов».6

Когда ему прямо задавали вопрос о масштабе пролитой им крови, он не извинялся. Американский журналист Линкольн Стеффенс спросил его: «Красный террор и убийства будут продолжаться?» Ленин ответил: «Неужели вы хотите сказать, что люди, только что устроившие бойню семнадцати миллионов человек в бессмысленной войне, так уж обеспокоены несколькими тысячами, убитыми в нашей революции, которая имеет сознательную цель — устранить необходимость будущих войн? Но неважно… Я не отрицаю террора и не преуменьшаю зол революции. Они бывают. На них нужно рассчитывать».

21 февраля 1918 года Ленин издал декрет «Социалистическое отечество в опасности» — написанный в его обычном литературном стиле, — который позволял красногвардейцам «расстреливать на месте… неприятельских агентов, спекулянтов, мародёров, хулиганов и контрреволюционных агитаторов». Прочитав его, комиссар юстиции Штейнберг пошёл к Ленину и заявил, что столь жестокие меры «погубят революцию». Ленин ответил: «Напротив… неужели вы в самом деле думаете, что мы можем победить без самого жестокого революционного террора?» — «Тогда зачем нам вообще нужен Комиссариат юстиции? Давайте прямо назовём его Комиссариатом социального истребления — и дело с концом». Лицо Ленина, по словам Штейнберга, просияло, и он сказал: «Хорошо сказано. Именно так оно и должно называться; только мы не можем этого говорить».

В строжайшей тайне, в ночь с 10 на 11 марта 1918 года, с Московского вокзала в Петрограде отправились два правительственных поезда, следовавшие в Москву. В первом ехали Ленин,

Надя, Мария Ульянова, Свердлов, Дзержинский и Сталин, а также сорок три машинистки, секретаря, телохранителя и телефониста. Во втором поезде, шедшем примерно на час позади, находились остальные вожди большевиков с разным набором партийных чиновников и гражданских служащих, а также два вагона, набитые делами и документами. Вся советская власть переносилась во второй город России и в древнюю столицу, предшествовавшую эпохе Петра Великого.

Переезд был личным решением Ленина, и многие из его ближайшего круга его не одобряли. Да и сам Ленин не одобрял его. Москву он почти не знал, а всё, что знал, терпеть не мог. Он никогда не жил в ней и не оставался там дольше нескольких дней подряд. Его ранние письма 1890-х годов полны упоминаний о Москве как о «гадком городе», «грязной дыре», а в одном месте — «кошмаре… тошнотворном». Но Ленин понимал, что Брест-Литовские соглашения не дают России никаких гарантий и что немцы могут нарушить их в любую минуту. В какой-то момент, ещё до подписания мира, они уже почти дошли до Пскова, всего в 150 километрах от Петрограда, то есть в нескольких днях марша. «Мир, которого мы добились, непрочен, — говорил он товарищам. — Передышка, которую мы получили, может быть прервана в любой день… Нет сомнения, что наше международное положение столь критично, что мы должны напрячь все силы, чтобы продержаться как можно дольше — до тех пор, пока созреет западная революция, созревающая гораздо медленнее, чем мы ожидали и хотели».

Большинство старых большевиков смотрело на Петроград как на западный город европейской традиции и видело в Москве с её луковичными куполами столицу православия и старой Руси — полуазиатскую. Переезд туда многим казался шагом назад и как будто означал разрыв с европейскими корнями социализма: «Москва, с её средневековыми стенами и бесчисленными позолоченными куполами, была полным парадоксом как крепость революционной диктатуры», — говорил Троцкий. Другие представители большевистского руководства замечали, что отъезд выглядит «трусливо» и будет казаться нравственным поражением. Большевикам следовало помнить о «славном духе Смольного». Ленин отмахнулся от всех этих доводов. Когда правительство переедет, с ним переедут и власть, и авторитет. «Если немцы одним сильным ударом захватят Петербург [он почти всегда называл его так, или Питером] — и всех нас, — революция погибнет. Если правительство находится в Москве, то падение Петербурга будет тяжёлым ударом, но только ударом. Если же мы останемся… мы увеличиваем военную опасность. Если мы уедем в Москву, искушение для немцев взять Петербург будет гораздо меньше. Какая им польза от взятия голодного и революционного города?… Что вы болтаете о символическом значении Смольного? Смольный таков, каков он есть, потому что в нём находимся мы. Когда мы все окажемся в Кремле, весь ваш символизм будет в Кремле».

Когда Ленин и его товарищи прибыли, Москва находилась в ужасном состоянии. Если переворот в Петрограде в целом прошёл мирно, то в Москве между красногвардейцами и войсками, верными Керенскому, шесть дней шли серьёзные бои. Около тысячи бойцов с обеих сторон и мирных жителей, попавших под перекрёстный огонь, были убиты, прежде чем люди Керенского капитулировали. На многих улицах ещё лежали завалы, а некоторые из лучших старинных зданий города — в том числе собор Василия Блаженного — были сильно повреждены. Штукатурка на многих дворцах была усыпана пулевыми отметинами.

Когда Ленин и Надя прибыли, они пять дней прожили в двухкомнатном номере гостиницы «Националь» у Красной площади; её былое великолепие и тогда уже несколько поблёкло. Один репортёр заметил их «сидящими в вестибюле среди тряпья и лохмотьев багажа и постели, свёрнутых в одеяло, побитого сундука, тюков книг и всевозможных корзин». На следующий день один из караульных у Троицких ворот Кремля сперва отказался пропустить Ленина, потому что никогда не видел его изображения и не узнал его.

Сам Кремль после падения царя был приведён в крайнее запустение. Некоторые здания разваливались; дворы были завалены конским навозом, и всё место страшно воняло. Первым распоряжением Ленина было заменить музыку часов на Спасских воротах, которые всё ещё играли «Боже, Царя храни». Теперь там зазвучал «Интернационал».

Ленину и Наде временно отвели практичную, но отнюдь не уютную двухкомнатную квартиру в великолепном Кавалерском корпусе Большого Кремлёвского дворца, где проживали и некоторые другие большевистские вельможи. Большинство царской прислуги по-прежнему оставалось на месте и продолжало служить.[2] Через пять недель, когда Кремль начали приводить в порядок, они переселились в удобную, но простую трёхкомнатную квартиру с комнатой для прислуги на первом этаже главного правительственного здания, которая и осталась их московским жилищем. Многие другие товарищи получили куда более роскошные квартиры в Кремле или в стоявших поблизости великолепных зданиях. Ленин пришёл в ярость из-за того, что ремонт квартиры затянулся. Он написал обычную для себя гневную записку с завуалированной угрозой заместителю заведующего государственным имуществом, когда работы продолжались уже больше месяца. «Я очень хотел бы узнать имя и адрес того лица, которому вы поручили завершить работы по квартире. Всё это тянется непомерно долго, и лицо, виновное в столь невероятной задержке, должно быть установлено».

Оказавшись снова в Москве, он стал регулярно видеться с Инессой. Ей дали высокий официальный пост — заведующей Женским отделом Центрального комитета партии. Но её влияние определялось не должностями и не титулами. Все, кто был близок к Ленину, знали о её месте в его жизни. В Москве была устроена специальная замкнутая телефонная сеть, чтобы партийные руководители могли разговаривать, минуя обычную телефонную станцию. По ленинскому распоряжению квартира Инессы была одной из первых подключена к этой линии. Он часто звонил ей по телефону. Её номер — 31436 — был одним из немногих, записанных в его личной адресной книжке. Она бывала в Кремле, а иногда и он навещал её в квартире неподалёку от Кремля — на Арбате, 3/14, квартира 12, угол Денежного и Глазовского переулков. Этот адрес он записал собственной рукой.

Переезд считался временным. Зиновьев уже на следующий день заявил: «Мы убеждены, что смена столицы продлится недолго и что тяжёлые обстоятельства, вызвавшие её необходимость, скоро минуют». Но коммунистическим вельможам пришлись по вкусу их новые жилищные условия и великолепие кремлёвских палат, и вскоре о возвращении в Петроград уже больше не было и речи.7

[2] В том числе и один старый слуга, официант Ступишин, ещё со времён Александра III, который однажды вечером прислуживал Ленину и Троцкому, подав им ужин на лучшем императорском фарфоре. Стараясь скрыть улыбку, он проследил, чтобы позолоченный двуглавый орёл был обращён к каждому сидящему за столом, хотя на ужин у них имелись только овощной суп и гречневая каша.

ГЛАВА 42. Битва за хлеб

«Если зажиточные земледельцы будут упорствовать в том, чтобы высасывать кровь из народа, мы предадим их самому народу. Если мы встретим слишком много препятствий при отправлении правосудия над этими изменниками, заговорщиками, спекулянтами, тогда мы предоставим народу расправиться с ними».
Максимилиан Робеспьер, 1792

Значительная часть России голодала, — и Ленину необходимо было найти виновного. С самого начала он полагал, что возложить вину на крестьян будет самым действенным способом накормить страну, каких бы страданий и кровопролития это ни стоило тысячам русских деревень. Большевики не создали непосредственного продовольственного кризиса; среди его причин были дезорганизация, вызванная войной, полностью разрушившаяся транспортная система и неурожаи. Но карательная политика Ленина, основанная на принуждении и жестоком терроре в деревне, сделала положение несравненно хуже.

Ленину нужен был враг. И потому он изобрёл новый разряд русских — кулаков, или богатых крестьян, — о которых утверждал, будто они прячут хлеб и сознательно морят голодом остальную страну, особенно города. [1] В действительности же богатых крестьян в России было крайне мало: лишь немногие владели сколько-нибудь значительным количеством земли, некоторые давали другим крестьянам деньги в долг, немногие имели больше одной лошади, коровы или плуга. Менее двух процентов крестьянских хозяйств нанимали кого-либо, кроме членов собственной семьи. Ленинская кампания против кулаков была продолжением той классовой войны, которую он вёл в городах. Последовательные марксисты всегда относились с подозрением к деревенской жизни и крестьянству — к «отсталому классу», всё ещё полуфеодальному, который, согласно самому германскому оракулу, стоял на пути неизбежного исторического движения к социализму. Большинство большевиков происходило из городской интеллигенции, которая в целом презирала мужиков как часть суеверной, неграмотной старой России. Большевики подозревали, и, быть может, не без основания, что крестьянство никогда их не поддержит. Поэтому его принуждали, запугивали и в конце концов покоряли террором. Первоначально к числу тех, кого объявляли кулаками, чаще всего относились деревенские старосты или главы общин. Или же наиболее удачливые, сметливые и трудолюбивые хозяева. До Революции Ленин обещал, что крестьянам будет передана земля, отобранная у крупных землевладельцев — дворян, крупных промышленников и Церкви. После переворота об этом почти перестали говорить.

Продовольственные нехватки усилились в 1918 году и тяжелее всего ударили по городам — отчасти потому, что транспортная система была столь плоха, что распределение продовольствия становилось огромной проблемой, а отчасти вследствие инфляции. После Революции деньги стремительно обесценивались, и крестьяне отказывались принимать плату наличными. Монетный двор, где в 1917 году работало около 3000 человек, год спустя имел уже 13 500 служащих: «печатание денег было единственной растущей отраслью промышленности», — говорил Суханов, не совсем в шутку. За один год количество рублей в обращении возросло с 60 миллиардов до 225 миллиардов. Возникла целая параллельная система натуральных расчётов и меновой торговли. Некоторые ортодоксальные большевики, экспериментировавшие с мнимо социалистическими экономическими теориями, полагали инфляцию благом, потому что она разрушит зависимость хозяйства от денег. Ленин был с этим не согласен и понимал, что она сделает со стоимостью всех вещей, однако, как и столь многие правители на протяжении истории, оказался бессилен совладать с инфляцией, once it had taken hold — когда она уже вошла в полную силу.

[1] Слово кулак означает буквально «кулак» и относится к людям «с крепко сжатой рукой», то есть скупердяям. Потому переход к значению «спекулянт» и «эксплуататор» был весьма лёгок

Миллионы людей покидали города в надежде, что в деревне окажется больше пищи, — и на некоторое время так оно и было. Петроград в течение восемнадцати месяцев потерял две трети своего населения. «Это умирающий город», — писал Горький своей жене. «Все уезжают — пешком, на лошадях, на поездах. На улицах валяются мёртвые лошади; их едят собаки». Вскоре их стали есть и люди — в стране, где, в отличие от тогдашней Франции, конина вовсе не считалась деликатесом. Русская эмигрантка Эмма Гольдман, вернувшаяся в 1918 году в Петроград после почти двадцати лет жизни в Америке, сравнивала «веселье, живость и блеск» прежнего города с тем, что увидела теперь, когда «он почти лежал в развалинах, словно над ним пронёсся ураган. Дома походили на обветшалые гробницы на заброшенных и забытых кладбищах… люди бродили, как живые трупы; недостаток пищи и топлива медленно подтачивал город… истощённых и обмороженных мужчин, женщин и детей хлестала одна и та же плеть — поиски куска хлеба… днём это было душераздирающее зрелище, ночью — давящий гнёт. Это преследовало меня, это страшное, гнетущее молчание, изредка нарушаемое выстрелами».

Зинаида Гиппиус писала, что у большинства её друзей, этих «бывших людей», были «вздутые животы… к весне 1919 года почти все они сделались неузнаваемыми». Некоторые из интеллигентов числились «по спискам… работая у большевиков мелкими клерками. Им дают ровно столько, чтобы они умирали с голоду, но медленно. Людям с распухшими животами советовали есть картофель неочищенным, но к весне и картофеля уже не было… он исчез, как исчезли и лепёшки из картофельной кожуры».[1]

Ленин никогда не пытался делать вид, будто никакого кризиса не существует. «Мы погибнем и погубим всю Революцию, если не победим голод в ближайшие несколько месяцев», — писал он Шляпникову в начале июня 1918 года. «Период до нового урожая — для нас самое трудное и самое критическое время». Он прекрасно знал положение в Петрограде, когда через три месяца после переезда правительства говорил Троцкому, что «город находится в катастрофическом состоянии. Хлеба нет. Населению выдаются остатки картофельных и мучных корок… Петроград на грани гибели от голода».

Ответом Ленина на продовольственный кризис стали усиленное принуждение и террор. В начале лета 1918 года он открыл «битву за хлеб» леденящей душу речью, в которой возложил вину за голод в России на кулаков и «спекулянтов». «Кулаки — бешеные враги Советской власти… эти кровопийцы разбогатели на голоде народа. Эти пауки разжирели на рабочих. Эти пиявки высосали кровь трудящихся и богатели по мере того, как рабочие в городах голодали. Беспощадная война кулакам! Смерть всем им».

Прежде всего он установил твёрдую цену, которую правительство должно было платить за зерно и другие хлеба, — по ценам середины 1916 года, то есть нелепо низким, поскольку за последние полтора года инфляция выросла по меньшей мере в семь раз. Когда крестьяне отказались продавать по таким ценам, начали прятать свои запасы и семенной фонд либо грозили пересевать культуры, не подпадавшие под твёрдые расценки, он прибег к силе. Декрет, написанный Лениным 13 мая, учреждал Народный комиссариат продовольствия, который вводил систему хлебных реквизиций, «используя вооружённые отряды рабочих и красногвардейцев… мы поведём беспощадную войну». В декрете ясно говорилось, что именно намерен делать режим и почему. «Крестьянская буржуазия, накопившая в своих денежных ящиках огромные суммы денег, вырванные у Государства во время войны, остаётся упорно нечувствительной к стонам голодающих рабочих и бедных крестьян… они не привозят хлеб к приёмным пунктам, угрожая вынудить правительство снова поднять цены, чтобы продавать зерно спекулянтам по баснословным ценам… алчному упрямству деревенских кулаков и богатых крестьян должен быть положен конец. Остаётся только один путь: ответить насилием против хлебовладельцев на насилие, которое они совершают против бедноты. Ни одного пуда хлеба не должно оставаться в руках крестьян сверх количества, необходимого для засева их полей и прокормления их семей до следующего урожая».[2]

Так называемые реквизиционные отряды были в первые же два месяца после издания декрета направлены более чем в 20 000 деревень. Обычно они состояли из семидесяти пяти человек,

вооружённых двумя или тремя пулемётами; они окружали деревню и требовали, чтобы крестьяне сдали определённое количество зерна, установленное местным большевистским партийным комитетом. «Спекулянты, пойманные с поличным на недоставке требуемого количества зерна и изобличённые ясными доказательствами, будут расстреливаться на месте», — объявлял декрет Ленина. Нередко эти отряды действовали с крайней жестокостью, подвергая подозреваемых пыткам до тех пор, пока не находилось «нужное» количество хлеба. Один большевистский чиновник, видевший, как такой отряд прошёл через деревню в чернозёмной полосе южной России, был потрясён. «Способы извлечения напоминают средневековую инквизицию. Крестьян заставляют раздеваться и становиться на колени, бьют кнутом или палками, а иногда и убивают». Ленин лично предложил ещё одну изощрённую меру для этой «классовой войны в деревне». Он заявил, что при наложении наказаний отряды «должны призывать по крайней мере шесть свидетелей, которых следует подбирать из беднейшего населения данной местности». Бывали случаи, когда отряды брали двадцать или тридцать сельчан в заложники, пока не будет выдано требуемое ими количество зерна. Первоначально Ленин настаивал, чтобы все крестьяне сдавали хлеб поимённо, а всякий, кто этого не сделает, «расстреливался на месте». Но продовольственный комиссар Александр Цюрупа и Троцкий воспротивились этой идее, и формулировку пришлось несколько смягчить, ограничившись тем, что крестьянин, «не доставивший хлеба на надлежащим образом назначенные железнодорожные станции и погрузочные пункты, должен быть объявлен врагом народа».

Даже Дзержинский предостерегал против жестокости «битвы за хлеб» и говорил Ленину, что она повредит репутации большевиков в деревенской России, «быть может, на целое поколение», однако Ленин почти не обратил на это внимания. Напротив, он требовал ещё более суровых действий. 23 августа он писал большевистским руководителям в Пензенской губернии: «Товарищи, кулацкое восстание в ваших пяти уездах должно быть подавлено без жалости. Интересы всей Революции того требуют, ибо теперь повсюду идёт последняя и решительная борьба с кулачеством. Нужно подать пример. 1) Повесить (и я именно говорю — повесить, чтобы народ видел) не менее 100 известных кулаков, богатеев, кровопийц. 2) Опубликовать их имена. 3) Назначить заложников… Сделайте так, чтобы на сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал и кричал: душат и будут душить кровопийц-кулаков. Телеграфируйте, что получили и исполнили [инструкции]. Ленин. P.S. Найдите людей потвёрже».

Несколькими днями позже, 29-го, он вновь телеграфировал, выражая «крайнее негодование тем, что от вас не получено решительно ничего определённого о том, какие серьёзные меры были приняты для беспощадного подавления кулаков и конфискации их хлеба в пяти уездах, находящихся в вашем ведении. Ваше бездействие преступно».

В первый год хлебных реквизиций было убито по меньшей мере 3700 человек, а, вероятно, и значительно больше. Целые деревни сжигались, либо изымались семена, предназначенные для посева следующего года, оставляя крестьян без всяких средств к существованию. Цюрупа, беспощадный старый большевик и уж никак не человек мягкого склада, однажды заметил, что «продовольственные отряды подражают методам царской полиции». Ленин в ответ советовал ему быть жёстче. «Битва за хлеб» оправдывалась тем, что она усмирит деревенскую Россию, и «в этом и состоит смысл диктатуры пролетариата», — говорил он.

Ленин хотел издать ещё один декрет, провозглашавший, что «в каждом хлебопроизводящем районе следует взять двадцать пять или тридцать заложников из числа богатых, которые будут отвечать своей жизнью за сбор и погрузку всех излишков». Цюрупа ответил, что не одобряет взятия заложников. На следующем заседании кабинета Ленин потребовал объяснить, почему тот не доложил, как именно намерен выполнить распоряжение о заложниках. Цюрупа выглядел смущённым и пробормотал, что не знает, как это организовать. Ленин посмотрел прямо на него и просто сказал: «Энергично». Затем он послал комиссару записку, разъясняя, что именно имеет в виду. «Я не предлагаю брать заложников, а предлагаю назначать их поимённо по каждому району. Цель назначения их состоит в том, чтобы, будучи богатыми, они, как отвечают за свой вклад, так и отвечали бы жизнью за немедленный сбор и погрузку хлебных излишков».

Сталин был направлен в июне 1918 года в Царицын (позднее переименованный в Сталинград, а затем в Волгоград) для обеспечения продовольственных поставок. Он подверг город чистке от всякого, кого подозревали в контрреволюции. Но для Ленина и этого было недостаточно: он приказал ему быть ещё беспощаднее — «будьте безжалостны», телеграфировал он. Сталин быстро ответил: «Будьте уверены, рука у нас не дрогнет».[2]

Но беспощадная война почти не влияла на снабжение России. В первый год реквизиции дали очень мало дополнительного зерна. Даже по официальным данным правительства продовольственные отряды собрали лишь около 570 000 тонн — при общем урожае в сорок девять миллионов тонн. Позднее Ленин свернул деятельность продовольственных отрядов, и на некоторое время его риторика против крестьян смягчилась. Он попытался иной тактикой склонить их на свою сторону. Но кампании против кулаков и принуждение крестьян под дулом ружья производить хлеб для государства стали чертой советской жизни на десятилетия вперёд.[3]

Хлебные реквизиции вызвали первое крупное восстание против советского режима. После большевистского переворота партия социалистов-революционеров раскололась надвое; «левые» стали младшими партнёрами в ленинском режиме, получив несколько мест в Совнаркоме и высокие посты в ЧК. «Правые», подобно меньшевикам, так и не признали новое правительство.

Вскоре левые поняли, что совершили ошибку, и с марта 1918 года начали отдаляться от коалиции. А затем, в начале июля, они сами попытались свергнуть правительство своим переворотом — и подошли к успеху весьма близко.

Во главе левых стояла Мария Спиридонова, которая после Февральской революции вышла героиней из одиннадцати лет тюрьмы. Она была единственной женщиной — лидером политической партии в истории России и могла претендовать на широкую поддержку в сельской России, где эсеры, наследники народнической традиции аграрного социализма, были сильно представлены в деревне. На выборах в Учредительное собрание эсеры получили на двадцать миллионов голосов больше, чем большевики.

Спиридонова, тридцати четырёх лет, перенесла в заключении чудовищные издевательства. Её несколько раз насиловали тюремные стражи, которые неоднократно тушили папиросы о её обнажённые руки. Она была болезненно худа, носила длинные тёмные волосы, что для того времени было необычно, свободно падавшие ниже плеч, и обладала напряжённым, жгучим взглядом синих глаз. Мужчины в описаниях её часто употребляли слово «истеричка», однако она была умна до ярости, страстна, обладала почти гипнотической силой речи и не ведала страха. По-своему она была безжалостна и не отвергала насилия — в конце концов, в двадцать один год она убила полицейского. Но к Ленину, которого видела только однажды, она питала ожесточённую вражду. Она отказывалась принять «унизительный» Брест-Литовский мир, который, по её словам, покрыл позором всю Россию.

Именно большевистская война против деревни подтолкнула левых эсеров к действию. Она говорила своим сторонникам, что вся её жизнь была посвящена благу крестьян: чиновник, которого она застрелила в январе 1906 года в Тамбовской губернии, Гавриил Луженовский, ведал жестоким подавлением крестьянского восстания. Ленин, заявляла она, почти столь же дурен, как и Луженовский. «Я обвиняю тебя, Ленин, в предательстве крестьян, в том, что ты пользуешься ими ради своих собственных целей. Для тебя… они — навоз, одно удобрение. Все прочие наши разногласия — лишь временные, но в крестьянском вопросе мы готовы принять бой. Когда крестьян будут унижать, угнетать и давить, ты увидишь меня с тем же пистолетом в руке, который однажды заставил меня встать на их защиту…»[4]

Первый выстрел в восстании левых прогремел 20 июня в Петрограде. Эсеровский террорист убил начальника городского отдела пропаганды и агитации В. Володарского (это была его партийная кличка; настоящее имя его было Моисей Гольдштейн). Ленин пришёл в ярость — меньше на эсеров, чем на партийного начальника в Петрограде, Зиновьева. Группа

---

[2] Вячеслав Молотов, в течение многих лет верный льстец и Ленина, и Сталина, уже под конец своей жизни (в 1970-е годы) без колебаний говорил, что оба вождя были «жёсткие люди… суровые и беспощадные. Но, без сомнения, Ленин был жёстче».

большевистских рабочих с фабрик намеревалась напасть на штаб-квартиру эсеров в городе. Зиновьев остановил их. На следующий день он получил от Ленина характерную телеграмму. «Позор! Это не-до-пу-сти-мо [дважды подчёркнуто]. Рабочие были правы. Я протестую против того, что вы вмешались в совершенно правильную революционную инициативу масс. Террористы примут нас за молокососов. Нужно поощрять энергию и массовый характер террора против контрреволюционеров и особенно в Петрограде, пример которого будет решающим». На эсеров в Петрограде напали, хотя убийцу Володарского сразу не нашли.

Через две недели левые ответили, действуя по указанию Спиридоновой. 6 июля одна группа убила германского посла в Москве графа Вильгельма фон Мирбаха, единственного дипломатического представителя какой-либо великой державы в России. Цель состояла в том, чтобы убить вместе с графом и Брест-Литовский договор, поставить большевиков в крайне затруднительное дипломатическое положение и, возможно, спровоцировать немцев на возобновление войны против России. Это была неуклюжая операция, совершённая двадцатилетним агентом ЧК Яковом Блюмкиным, который сначала промахнулся по послу почти в упор и попал в него лишь по счастливой случайности с третьего раза, когда на самом деле целился в одного из мирбаховских адъютантов. После этого он бежал, взорвав самодельную бомбу. [3]

Другая группа «террористов» захватила Дзержинского в заложники — вот цена собственной системы безопасности меча и щита — и заперла его в эсеровской штаб-квартире, в роскошном особняке Морозова, вместе с другими большевистскими деятелями, такими как председатель Московского Совета Пётр Смидович. Третий отряд занял Центральный почтамт в Москве и разослал две телеграммы в телеграфные конторы, губернские большевистские комитеты и правительственные учреждения по всей стране. В одной сообщалось об убийстве Мирбаха; в другой утверждалось, что произошёл захват власти в правительстве, и предписывалось задерживать все телеграммы, подписанные Лениным, Троцким и Свердловым.

У большевиков в ту пору в Москве было мало надёжных войск или красногвардейцев, и Ленин знал, что генерал Михаил Муравьёв, бывший царский офицер, затем большевик, командовавший красными силами на Украине, снова переменил сторону и примкнул к эсерам.

Переворот Спиридоновой мог бы увенчаться успехом, если бы левые в самом деле хотели власти или если бы они вступили в союз с меньшевиками и объединились с правыми эсерами. Но, как позднее говорил Штейнберг, один из руководителей восстания, «мы никогда не были по-настоящему серьёзны; нам хотелось скорее устроить демонстрацию, чем совершить настоящую революцию. Мы никогда по-настоящему не хотели свергнуть правительство». Это был «скорее не государственный переворот, а театральный переворот», — говорил другой.

Троцкому было поручено подавить восстание. Он привлёк корпус из 700 латышских солдат, чтобы штурмом взять штаб-квартиру Спиридоновой, вернуть Центральный почтамт и освободить узников. Несколько часов продолжались разрозненные бои. В Кремле около полуночи Ленин был всерьёз встревожен, и «атмосфера была как на фронте, в театре войны», — вспоминал командующий оборонявшимися войсками генерал Юкумс Вацетис. Ленин всё время спрашивал его: «Товарищ, продержимся ли мы до утра?»

Но к девяти часам утра, как доносил Троцкий, «кризис был окончен». Руководители эсеров сдались и были арестованы. Около 200 человек были расстреляны в ближайшие недели, а 600

---

[3] В то время и многие годы спустя возникали всевозможные теории заговора, будто убийство Мирбаха было организовано самим Лениным. Посол отправлял в Берлин донесения, о которых советской разведке было известно, заявляя, что большевики долго не продержатся и что Революция уже доказала свою несостоятельность: «С Лениным покончено», — писал он в письме кайзеру в середине июня. Правдоподобие этой версии усиливалось тем обстоятельством, что позднее убийца, Блюмкин, остался в ЧК, был принят в Коммунистическую партию и продвинулся по её лестнице. Тем не менее трудно понять, какую выгоду Ленин мог извлечь из убийства посла. Немцы могли прийти в такую ярость, что вновь вторглись бы в Россию, а в тот момент отнюдь не было ясно, что они не выиграют войну на Западе. Зачем же было сознательно раздражать их? За почти сто лет так и не обнаружилось никаких доказательств, которые устанавливали бы причастность Ленина к этому убийству, зато имеется немало оснований полагать, что оно лишь осложнило положение.

заключены в тюрьму. Муравьёв либо покончил с собой, либо был застрелен при попытке бегства после ареста — смотря какой версии его смерти, эсеровской или большевистской, верить. Со Спиридоновой обошлись сравнительно мягко, если принять во внимание, с какой беспощадностью Советы обычно расправлялись со своими врагами. Она была заключена в тюрьму на год, затем освобождена, но потом отправлена в психиатрическую лечебницу. В начале 1921 года её выпустили при условии, что она более никогда не будет участвовать в политике. Она это условие соблюла. [4], 5

[4] Однако пережить сталинский Большой террор ей не удалось. В 1937 году её арестовали, отправили в ГУЛАГ и в 1941 году расстреляли.

ГЛАВА 43. Цареубийство

«Решение…[убить Романовых] было не только целесообразным, но и необходимым. Оно показало всем, что мы будем продолжать борьбу, ни перед чем не останавливаясь. Это было нужно не только для того, чтобы устрашить, ужаснуть и внушить врагу чувство безысходности, но и для того, чтобы встряхнуть наши собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди либо полная победа, либо полная гибель».
Лев Троцкий, 1935

«В Англии и Франции своих королей казнили ещё несколько столетий назад, а мы со своими запоздали».
Ленин, 1919

Это жуткое дело было совершено не так, как англичане устроили смерть Карла I или французы — смерть Людовика XVI. Не было никакого суда, хотя бы самого формального или заранее срежиссированного. Не было и публичной казни, которая придала бы происходящему хотя бы видимость судебной и государственной власти. Монарху не дали никакой возможности сыграть свою последнюю роль с царственным достоинством. Царь Николай II и его ближайшие родственники были тайно зарезаны группой головорезов, некоторые из которых были пьяны, в грязном подвале; их останки сожгли и сбросили в шахту, — а затем люди, приказавшие совершить это убийство, солгали о нём.

Не существует никакой документальной цепочки, доказывающей, что приказ убить царя исходил от Ленина. Маловероятно, чтобы он когда-либо подписал подобное распоряжение, а если бы и подписал, то, несомненно, самым тщательным образом замёл бы следы. Если бы какие-либо свидетельства и существовали, советские властители, пришедшие ему на смену, уничтожили бы их. Но не подлежит сомнению, что приказ отдал именно Ленин, — почти наверняка устно, своему тогдашнему второму лицу, Свердлову, и, вероятно, на совещании в Кремле 12 июля 1918 года. Выбор времени и практические подробности были предоставлены другим — Свердлову и его подручным, — однако решение убить всех Романовых и сделать это тайно принадлежало Ленину. Вероятно, что, помимо Ленина и Свердлова, большинство красных вождей не знало, что убийства уже совершены, вплоть до двух дней спустя.

Около 4 часов дня 18 июля члены Совнаркома собрались на своё обычное заседание в комнате рядом с личным кабинетом Ленина на третьем этаже Большого Кремлёвского дворца. Председательствовал Ленин, но прежде чем комиссары перешли к повестке дня, они выслушали подготовленное заявление Свердлова. «После попытки белогвардейцев похитить семью Романовых в ночь на 16 июля Екатеринбургский Совет распорядился казнить Николая Романова. Остальная семья эвакуирована в безопасное место». Среди тридцати трёх коммунистических чиновников, сидевших за столом, это вызвало мало откликов. Затем Свердлов предложил товарищам одобрить решение, принятое местными коммунистами. Наступило молчание.

Ленин писал записку наркому иностранных дел Чичерину, но прервался и спросил: «Есть ли вопросы к товарищу Свердлову?» Лишь один товарищ поднял голос, чтобы что-то сказать, хотя имя его в протоколе не было указано. «А семью увезли?» — прозвучал вопрос. Никакого ответа в протоколе не зафиксировано.

Ленин на мгновение помолчал, а затем спросил: «Какое решение нам следует принять?» Но обсуждать было нечего. Они одобрили действия товарищей в Екатеринбурге. Краткая запись в протоколе гласит, что «доклад товарища Свердлова был заслушан и принят к сведению». Затем они перешли к остальной повестке из двадцати пунктов, куда входили реорганизация Красного Креста, проект декрета об охране здоровья и доклад о сборе правительственной статистики. Ленин снова обвёл взглядом сидящих за столом и сказал: «Теперь мы приступим к чтению проекта декрета Наркомздрава, постатейно».

На следующий день правительственная газета Известия сообщила, что «бывший император Романов расстрелян… жена и сын Николая Романова отправлены в безопасное место». Этой лжи в течение нескольких дней верили даже некоторые комиссары. Троцкого в Москве не было ещё неделю после этого заседания, и в дневнике он записал свой разговор со Свердловым, когда прибыл в Кремль. По словам Троцкого, Свердлов сообщил ему о царе «почти мимоходом».

«А где семья?»
«С ним и семья».
«Все?»
«Да, все», — ответил Свердлов.
«Почему… кто это решил?»
«Здесь решили. Ильич считал, что нельзя оставлять белым живое знамя, вокруг которого они могли бы сплотиться, особенно при нынешних обстоятельствах».1

Безопасность царя была гарантирована при Временном правительстве. «Из него нельзя делать мученика», — говорил Керенский, который несколько раз навещал его в Царском Селе, где он оставался несколько недель после отречения. «Казалось, он и в самом деле наслаждается новым образом жизни… словно тяжёлые оковы были сняты с его плеч», — добавлял Керенский, хотя из дневника Николая мы знаем, насколько он в действительности был несчастен, — если ещё не боялся тогда за безопасность своей семьи. Сначала Временное правительство полагало, что бывший царь и императрица найдут убежище в Британии. Но, поначалу заявив, что Романовы желанны, его кузен, король Георг V, постыдно изменил своё решение. Он счёл, что такой шаг будет крайне непопулярен и плохо отразится на нём самом, и потому уклонился от исполнения обещания, прибегнув к увертливым словам, и позволил Ллойд Джорджу — который вовсе не возражал против того, чтобы Романовы приехали в Британию, — взять вину на себя.

Весной 1917 года Романовых перевезли в сибирский город Тобольск. Керенский полагал, что, если они останутся близ Петрограда, на них могут напасть и причинить им вред. Они жили с удобством в бывшем губернаторском доме, «вместе с несколькими любимыми придворными, шестью горничными, двумя камердинерами, тремя поварами, виночерпием и двумя домашними спаниелями».

Ленин впервые обсуждал, что делать с царской семьёй, через несколько дней после переворота, в начале ноября 1917 года, но тогда не пришёл ни к какому окончательному решению. Большинство товарищей хотели, чтобы бывший царь предстал перед судом, и на нескольких заседаниях Совнаркома голосовали за резолюции о привлечении его к судебной ответственности. Никаких юридических мер против остальных членов семьи они не предлагали. Троцкий особенно желал устроить большой показательный процесс, наподобие суда над Людовиком XVI, причём сам, с театральностью, как главный обвинитель, мечтал сыграть центральную роль Сен-Жюста. Ленин подыгрывал этой идее, но уклонялся от окончательного решения. Всё это время и он, и Свердлов знали, какая участь ими предназначалась императору;

вопрос был в том, как и когда произойдёт его казнь и умрёт ли только Николай один. Никаких нравственных сомнений относительно цареубийства у Ленина не было. Для него царь был «совершенно особым классовым врагом», а Романовы — «трёхсотлетним позором». Его затруднение заключалось в страхе перед тем, что могут сделать немцы и кайзер Вильгельм, если большевики убьют его близких кузенов. Мнение народа внутри России его нисколько не тревожило. Он был уверен, что мало кого волнует, что станет с царём и его семьёй.

Между большевиками двух областей шла борьба за то, кому выпадет «революционная честь» расправиться с Николаем. Свердлов добился того, чтобы выбор пал на его старого друга по сибирской ссылке Филиппа Голощёкина, главу Уральского совета и коммунистического вождя Екатеринбурга. Ленин согласился. Голощёкин, сорока двух лет, провёл два года в заключении в грозной крепости Шлиссельбург (там был казнён Саша Ульянов) и познакомился с Лениным в эмиграции, в Париже. Свердлов характеризовал своего друга как человека «холодного… очень энергичного», а Ленин считал его «полезным и исполнительным».

Бывшего императора и его семью перевезли в Екатеринбург в июне 1918 года. Они жили в просторном неоклассическом доме — доме Ипатьева, — но условия жизни там уже были тяжёлыми.

Голощёкин хотел, чтобы царя убили, и чтобы именно он мог присвоить себе заслугу. Ленин хотел выждать. Но время уже поджимало, и откладывать решение он больше не мог. Екатеринбург был окружён войсками Чешского легиона, воевавшего с Австро-Венгрией. Это были солдаты, которые должны были пересечь Россию, чтобы вернуться в Западную Европу морем через Дальний Восток, но начали сражаться против большевиков. Если бы они взяли город, они могли бы освободить царя, и потому Голощёкин сказал Свердлову, что действовать надо немедленно.[1] Он отправился в Москву, чтобы получить окончательное разрешение убить всю семью, — и это разрешение было дано после того самого заседания в Кремле 12 июля.

Человека, которому предстояло выполнить это грязное дело, Голощёкин уже выбрал заранее: Якова Юровского, которого он назначил комендантом дома Ипатьева.[2], 2

Высокий, крепко сложенный сорокалетний человек, «с шапкой чёрных волнистых волос, опрятный и культурный, с аккуратно подстриженной бородкой в стиле Ван Дейка», Юровский был весьма умным, пуритански настроенным большевиком, пылавшим ожесточённой ненавистью к буржуазии и в особенности к царской семье. Один из десяти детей, он вырос в крайней нищете и испытывал притеснения из-за своих еврейских корней, в чём напрямую винил Романовых и русскую аристократию. Он жаждал мести, и как одна из главных фигур в местной ЧК имел множество возможностей её осуществить. Голощёкин хорошо знал своего человека и полагал, что Юровский «выполнит дело эффективно». Практические подробности он оставил в его руках.

За несколько дней до того Юровский уже подобрал расстрельную команду и способ казни.[3] Он обследовал окрестности города и нашёл наиболее подходящее место для сожжения тел

---

[1] Екатеринбург был взят через неделю после убийства царя

[2] Свердлов пережил Николая II всего на несколько месяцев. Он умер во время великой эпидемии гриппа в марте 1919 года. Позднее распространялись всевозможные слухи, будто на самом деле он был убит по приказу Ленина, однако никакого подлинного мотива так и не обнаружилось. Свердлов никоим образом не бросал Ленину вызова, и, если бы он остался жив, очень вероятно, стал бы естественным преемником Ленина. Ещё одно увлекательное историческое «что было бы, если…» заключается в том, что могло бы произойти в Советской России, если бы после смерти Ленина её вождём стал Свердлов, а не его великий враг Сталин

[3] Помимо самого Юровского, официально были зафиксированы ещё четыре имени. Его заместитель по комендантской части Григорий Никитин, которого бывшая императрица считала «красивым и порядочным»,

одиннадцати жертв и захоронения праха — заброшенную шахту у деревни Коптяки, в двенадцати километрах от Екатеринбурга.

В 1 час 30 минут ночи 16 июля Юровский разбудил доктора Евгения Боткина, преданного семейного врача, входившего в свиту царя уже много лет, и велел ему поднять остальных. Он сказал, что в городе «беспорядки» и что «ради их безопасности» их переведут в подвал. Объяснение звучало убедительно, так как в последние несколько ночей из своих комнат они слышали стрельбу. Чтобы умыться и одеться, узникам понадобилось полчаса. Около 2 часов ночи, в полутьме, они начали спускаться по крутой узкой лестнице. Вёл их Юровский. За ним шёл Николай, держа на руках цесаревича Алексея. Оба были в военных гимнастёрках и фуражках. Затем шла бывшая императрица, держа на руках своего любимого кинг-чарльз-спаниеля Джемми, за ней — четыре дочери, а затем Боткин. Горничная Демидова несла две большие подушки, в одну из которых спрятала коробку с драгоценностями. За ними шли камердинер Трупп и повар Харитонов. По словам Павла Медведева, оставившего подробное описание, «семья казалась спокойной, словно не ожидая никакой опасности».

Их провели через двор в подвальную комнату в противоположном конце дома, прежде служившую помещением для караула, шириной пять метров и длиной шесть. В ней было одно небольшое овальное окно, закрытое решёткой. Вся мебель была вынесена. Никто из заключённых не знал, что расстрельная команда находится в соседней комнате.

Александра спросила, почему нет стульев, и два стула принесли. Николай посадил сына на один из них; Александра села на другой. Остальным велели выстроиться вдоль одной из стен. Так они простояли несколько минут, пока Юровский вновь не вошёл вместе с палачами.

Как он рассказывал спустя несколько лет: «Я сказал Романовым, что “ввиду того, что их родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Исполнительный комитет Уральского Совета постановил расстрелять их”. Николай повернулся спиной к… [нам] и лицом к своей семье. Затем, словно собираясь с мыслями, он снова повернулся и спросил: “Что? Что?” Я быстро повторил сказанное и приказал отряду приготовиться. Его участникам заранее было сказано, кого именно стрелять, и велено целиться прямо в сердце, чтобы избежать слишком большого кровопролития и покончить со всем быстрее. Николай больше ничего не сказал. Он снова повернулся к своей семье. Остальные закричали какие-то бессвязные восклицания. Всё это длилось несколько секунд. Потом началась стрельба. Она продолжалась две или три минуты. Я на месте застрелил Николая. Императрица едва успела перекреститься, как была убита. Она умерла мгновенно. В других частях комнаты началась кровавая бойня: охранники потеряли самообладание и стреляли беспорядочно. Пули рикошетили от стен к полу и по всей комнате, словно град. Алексей упал со стула, раненый в ногу, но ещё живой. Харитонов сел на пол и умер». Охранники устроили полную неразбериху. Когда залп прекратился, шестеро жертв были ещё живы. Алексей лежал в луже крови и стонал. Юровский добил его двумя выстрелами в голову. Демидова пыталась защищаться своими подушками. Но её закололи штыками. «Когда одну из

сотрудник ЧК Пётр Ермаков, широко известный как алкоголик, Павел Медведев, сварщик с местного завода, и механик Михаил Кудрин. Но в последнее время были открыты новые архивные дела, и теперь нам известны личности ещё четверых участников: Алексей Кабанов, солдат одного из пулемётных постов снаружи дома Ипатьева, Виктор Нетребин, нервный семнадцатилетний новичок в ЧК, Степан Ваганов, постоянный собутыльник Ермакова, и латышский солдат Ян Цельмс. В течение многих лет среди белых ходила легенда, будто расстрельная команда состояла главным образом из «евреев, латышей и венгров». На самом деле латышская группа первоначально согласилась участвовать, полагая, что будет убит один только царь, но когда ей сказали, что будет истреблена вся семья, она отказалась убивать молодых девушек и женщин. Кроме одного человека, все убийцы были русскими, и все — неевреями; родители Юровского были евреями, перешедшими в другое вероисповедание.

девушек ударили штыком, штык не прошёл через корсет», — говорил Юровский. Вся эта «процедура», как он её называл, заняла более двадцати минут. Обученная расстрельная команда справилась бы за считанные секунды. Медведев вспоминал эту сцену так: «На разных частях тела у них было по нескольку огнестрельных ран; лица были залиты кровью; одежда тоже вся пропиталась кровью».

Палачи принесли из соседней комнаты простыни и, сняв с трупов ценности, которые они присвоили себе, понесли тела, с которых ещё стекала кровь, на импровизированных носилках через нижний этаж к грузовику «Фиат», стоявшему у главных ворот. Двигатель машины работал с того самого момента, как разбудили Романовых, — в попытке заглушить шум выстрелов. Тела свалили одно на другое.

Юровский был беспощаден, бессердечен, хладнокровный убийца, но всё же испытывал нравственные сомнения по поводу кражи «народного имущества». Под угрозой смерти он потребовал вернуть награбленное, похищенное с тел. Он конфисковал золотые часы, портсигар, усыпанный бриллиантами, и ещё несколько вещей.

Медведев руководил уборкой. Охранники принесли швабры, вёдра воды и песок, чтобы смыть следы крови. Один из них описывал увиденное так: «Комната была наполнена чем-то вроде порохового тумана… на стенах и на полу были пулевые отверстия… особенно много на одной стене… на полу лужи крови. Были также лужи крови и в других комнатах, через которые им пришлось проходить, чтобы добраться до двора… и до ворот».

Команда поехала к «месту захоронения», выбранному Юровским. Когда начали раздевать трупы, они нашли ещё больше сокровищ. «Девушки и женщины носили какие-то корсеты… набитые вшитыми внутрь драгоценными камнями». На Александре был жемчужный пояс, составленный из нескольких ожерелий, вшитых в полотно. Юровский сложил драгоценности в мешок, — одни только бриллианты весили более восьми килограммов. Тела сожгли и опустили в шахту.

Юровский беспокоился, что шахта слишком мелка и надолго скрыть останки Романовых там не удастся. Он обследовал более обширную местность и нашёл несколько более глубоких шахт в нескольких километрах по дороге на Москву. Следующей ночью он и группа чекистов вернулись туда с бензином и серной кислотой. Они выкопали тела, погрузили их на грузовик и перевезли на новое место — в неглубокую могилу неподалёку. На трупы вылили кислоту, а могилу забросали землёй и хворостом.[4], 3

Ленин очень высоко ценил лидера «Народной воли» и автора «Катехизиса революционера» Сергея Нечаева. До революции он порой напоминал членам своего круга взгляды Нечаева на цареубийство. Однажды он сказал Владимиру Бонч-Бруевичу: «Люди совершенно забыли, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением вырабатывать специальные навыки подпольной работы… Достаточно вспомнить его точный ответ на вопрос, кого следует убить в царской семье. Он сказал: “всю ектенью” [то есть весь перечень Романовых, зачитываемый в традиционной православной службе]. Так кого же следует убить? Весь дом Романовых… Это был чистый гений».

---

[4] На следующую ночь, в 120 километрах оттуда, в Алапаевске, сестра бывшей царицы, великая княгиня Елизавета, ставшая монахиней, её спутница сестра Варвара, великий князь Сергей и ещё пять Романовых были убиты — опять-таки руками Уральской ЧК — ещё более ужасным способом. Их глубокой ночью отвезли на телеге в лес и заставили подойти к устью заброшенной шахты. Их били прикладами, а затем по одному сбрасывали в ствол, в затопленную водой яму. Сергей умер быстро — каким-то образом ему удалось выбраться на поверхность, после чего ему выстрелили в голову. Остальных оставили умирать от голода.

И всё же, отдав приказ убить «всю ектенью», Ленин солгал об этом — тревожась главным образом о международной реакции. В течение многих лет советская власть пыталась поддерживать фикцию, будто убийства в Екатеринбурге были санкционированы местным Советом; она держалась версии, что остальные члены семьи погибли случайно, в хаосе Гражданской войны, и что их смерть была побочным ущербом.[5]

Даже если бы правда и вышла наружу, в России это, быть может, мало что изменило бы: настолько народ уже привыкал к насильственной смерти и настолько непопулярны были Романовы. Британский разведчик Роберт Брюс Локкарт записал в своём дневнике: «население Москвы приняло известие… [о смерти бывшего царя] с поразительным равнодушием. Их безразличие ко всему, кроме собственной судьбы, было полным, хотя и весьма характерным для тех необычайных времён, в которые мы живём». Бывший царский премьер-министр Владимир Коковцов ехал в трамвае в Петрограде в день, когда была объявлена эта новость. «Среди людей не было видно ни горя, ни сочувствия, — говорил он. — Известие о смерти царя было встречено ухмылками, насмешками и низкими замечаниями. Некоторые пассажиры говорили: “давно пора”».4

[5] Адольф Иоффе, русский посол в Германии летом 1918 года, был совершенно уверен, что Ленин с самого начала знал, какая участь ждёт Романовых. В своих незаконченных мемуарах он писал: «Я был в Берлине, когда… [они] были казнены. Официально мне сообщили только о казни Николая II. Я ничего не знал о… [семье] и думал, что они ещё живы. Когда ко мне приходили представители Вильгельма II, брат бывшей императрицы, герцог Гессен-Дармштадтский, и другие князья и спрашивали о судьбе Александры Фёдоровны и её детей, я всегда говорил им то, во что сам верил. Но затем меня начали одолевать сомнения: я стал слышать разные слухи. Несмотря на все запросы, которые я посылал в Москву, я не мог добиться оттуда никакого вразумительного ответа. Наконец, когда Дзержинский был в Берлине инкогнито, по пути в Швейцарию, я заставил его сказать мне правду… Он сообщил, что Владимир Ильич велел ничего мне не говорить. По словам Дзержинского, Ленин сказал: “Лучше, если Иоффе ничего знать не будет. Ему там, в Берлине, будет легче им лгать”».

ГЛАВА 44. Пули убийц

«Близок ли конец? Если да, скажите мне прямо, чтобы я не оставил дел незавершёнными».
Ленин — доктору Владимиру Розанову, 30 августа 1918 года

«Революция беспощадно пожирает своих детей».
Александр Герцен (1812–1870)

Незадолго после 10 часов утра 30 августа 1918 года Моисей Урицкий, глава Петроградской ЧК, выходил из своего кабинета в Комиссариате внутренних дел на Дворцовой площади. Когда он ступил на тротуар перед зданием и уже собирался сесть в автомобиль, раздался выстрел. Урицкий рухнул на землю в лужу крови — «дырка от пули на месте его левого глаза», по словам одного из свидетелей.

Между телохранителями Урицкого и молодым человеком в форме военного юнкера завязалась перестрелка, но тот сумел скрыться на велосипеде. Тем временем Урицкого доставили в ближайшую больницу, где он умер через несколько минут после прибытия.[1]

Ленин узнал об убийстве через час после того, как оно произошло. Он любил Урицкого, давнего большевика, который присутствовал на решающем заседании в октябре предыдущего года, где было принято решение о большевистском перевороте. Он сказал, что эта утрата станет тяжёлым ударом для Революции. Ленину сообщили, что немедленным ответом станет усиление охраны ЧК и красногвардейцев у правительственных зданий и помещений Коммунистической партии.

В полдень у него состоялась короткая встреча с сестрой Марией, которая умоляла его в тот день не покидать Кремль. Он ответил, что у него запланировано выступление позже в тот же день на заводе Михельсона, машиностроительном предприятии в рабочем районе Москвы, и он хочет его выполнить. За обедом он недолго беседовал с Бухариным, который тоже сказал, что в тот день было бы безрассудно ехать куда-либо по Москве, и посоветовал ему остаться в Кремле.

У Ленина была груда корреспонденции, которую нужно было разобрать, — в том числе телеграмма, отправленная им Троцкому в Свияжск, в Татарстан, на один из фронтов Гражданской войны, которая уже охватила огромные пространства России. Ленин сообщал ему, что против солдат, проявляющих на поле боя недостаток энергии и «силы», необходимо применять «крайние меры». «Им следует сказать, что с этого момента мы применяем образец Французской революции... и что они будут преданы суду и даже расстреляны».[1]

В пять часов вечера его отвезли на завод, и он говорил около тридцати пяти минут. Это было типичное выступление. «Революция была совершена не для того, чтобы помещики вернулись в свои имения, — говорил он. — Эти паразиты, которые столько времени сосали кровь народа, должны знать, что ни свобода, ни равенство не возвратят им утраченного богатства, которое надёжно перейдёт в руки рабочих. Везде, где господствует буржуазия, она ничего не даёт трудящимся массам... Взять хотя бы Америку... говорят, это самая свободная страна. Там существует демократическая республика. И каков же результат? Горстка миллионеров и миллиардеров нагло господствует, а весь народ пребывает в рабстве. Везде, где правят так

[1] Убийца вскоре был опознан: это был Леонид Каннегисер, двадцати двух лет; его арестовали на следующий день, подвергли чудовищным пыткам, чтобы выяснить, были ли у него сообщники, а когда выяснилось, что их нет, расстреляли. Он был сторонником эсеров, но действовал без их ведома. Это был талантливый поэт — друг Сергея Есенина и Марины Цветаевой, — и его стихи были изданы посмертно в Париже в 1920-е годы.

называемые “демократы”, вы находите самое обыкновенное, прямое воровство. Наш путь выше. У нас только один выбор: победа или смерть».

Аплодисменты были восторженными, и он, улыбаясь, помахал на прощание. Он зашагал к выходу, где ждала его машина, и на мгновение остановился, чтобы поговорить с группой женщин, которые вежливо спрашивали его о трудностях с продовольственным снабжением.

Вдруг раздались три чётких, громких выстрела. Толпа у заводских ворот бросилась врассыпную. Ленин лежал на земле, а кровь проступала сквозь его белую рубашку и тёмный пиджак. Его шофёр и телохранитель Степан Гиль склонился над ним, чтобы понять, дышит ли он ещё. Глаза Ленина были открыты, он был в сознании. Один из членов заводского комитета подбежал к Гилю и понял, что раненый — это Ленин. Он сказал Гилю: «Нужно отвезти его в ближайшую больницу. Это недалеко». Но Гиль ответил: «Нет, я повезу его домой». Должно быть, Ленин услышал это и прошептал: «Домой, домой». Двое мужчин подняли его и уложили в автомобиль, и Гиль на бешеной скорости помчался по московским улицам в Кремль.

Когда они прибыли, Ленин отказался от помощи. Он сам надел пиджак и поднялся по трём лестничным пролётам в свою квартиру. Его сестра Мария открыла дверь в состоянии тревоги. Ленин истекал кровью, испытывал сильную боль, но сказал: «В меня стреляли и слегка ранили, только в руку».

Хирургов под рукой не было, но двух людей с медицинским образованием очень быстро нашли в Кремле, всего в нескольких метрах от ленинской квартиры: Вера Величкина, жена Бонч-Бруевича, и Вера Крестинская, жена видного партийного аппаратчика Николая Крестинского, осмотрели его и устроили так, чтобы ему было удобно, пока не прибыли хирурги. Величкина сделала ему укол морфия. Надя всё ещё находилась у себя на службе в Комиссариате просвещения, и за ней уже послали автомобиль, чтобы доставить её обратно в Кремль.

В течение получаса профессора Владимир Розанов и Владимир Минц, известные больничные специалисты, очистили его раны. Они обнаружили, что одна пуля прошла через шею слева направо, разминувшись с аортой на долю сантиметра и, пробив лёгкое, застряла в шее над ключицей. Другая пуля сидела в левом плече. Третий выстрел безвредно прошёл через пиджак, который был на Ленине. Первый был самым серьёзным, поскольку затрагивал дыхание. Хирурги потребовали кислородные баллоны, марлю, дополнительные бинты, перевязочный материал и прочее оборудование, которого в Кремле нигде не оказалось. Чиновникам пришлось срочно отправляться и доставать всё это в аптеке на главной московской торговой улице — Тверской, совсем неподалёку. Хирурги решили оставить пули в теле Ленина.

Когда Надя вернулась домой, первым человеком, которого она встретила, был Свердлов, выглядевший встревоженным и мрачным. Всё, что он сказал, было: «Мы готовим всё для Ильича». Она поняла это так, что он считает Ленина умирающим, и когда вошла в спальню, которая к тому времени напоминала операционную, её охватило горе.

Руки Ленина были подняты на подвесе, он всё ещё оставался в сознании и видел всю тяжесть своих ранений. «Близок ли конец?» — спросил он Розанова. — «Если да, скажите мне прямо, чтобы я не оставил дел незавершёнными». Хирурги успокоили его, сказав, что ранения не окажутся смертельными. Но, по-видимому, он не был в этом убеждён.

Когда он увидел Надю, он несколько секунд молча смотрел на неё, а потом сказал: «Ты пришла. Ты, должно быть, устала. Иди полежи». Позднее она говорила, «что слова, которые он произнёс, не имели отношения к делу... его глаза говорили другое: “это конец”. Я вышла из комнаты, чтобы не тревожить его».

Первым человеком, за которым он послал после Нади, была Инесса; она немедленно поспешила к нему. С собой она привела свою младшую дочь Варвару, которой тогда было шестнадцать.

Надя увела девочку осмотреть Кремль, а потом семейные фотографии, «оставив её мать наедине с Лениным надолго», по словам одной из других кремлёвских жён.

Сразу после этого визита Инесса написала своей старшей дочери Инне записку, датировав её словами: «пишу с постели, среди ночи». Она говорила, что пишет второпях и в состоянии волнения и что покушение и почти пережитая смерть «снова соединили нас и ещё сильнее сблизили».[2], 2

Подозреваемую схватили немедленно. Рабочие с завода Михельсона держали её под прицелом до тех пор, пока не прибыли чекисты и не арестовали её. Это была Фанни Каплан (урождённая Фаня Ефимовна Ройтман), двадцати восьми лет, дочь сельского учителя из Волынской губернии. Она участвовала в радикальной политике с юношеских лет, сперва в анархистской группе; в 1906 году её арестовали за попытку убить царского чиновника. Покушение она провалила и сама была ранена взрывом собственной самодельной бомбы. Её приговорили к «вечной каторге». Сначала её отправили в суровую тюрьму в Мальцеве, где её часто публично секли палками — в то время это было обычным наказанием, — затем в Орёл, в центральной России, и, наконец, в печально известный Акатуйский серебряный рудник в восточной Сибири, где условия были настолько тяжёлыми, что сотни заключённых умирали. У неё начались серьёзные проблемы со зрением, и на один глаз она почти ослепла. После Февральской революции её освободили, и она уехала жить в Крым. В тюрьме она порвала с анархизмом и стала социалисткой-революционеркой. После одиннадцати лет каторги она оставалась такой же убеждённой и фанатичной, как и в тот день, когда её арестовали восемнадцатилетней.

Каплан, должно быть, понимала, что её ждёт, когда её арестовали. Её отвезли на Лубянку, где некоторое время держали в одной камере с британским разведчиком Робертом Брюсом Локкартом, которого ЧК арестовала по подозрению — ошибочному — в причастности к заговору, и с двумя другими британскими шпионами. Он наблюдал, как охранники втолкнули её в камеру. «Она была одета в чёрное. Волосы у неё были чёрные, и глаза, застывшие в неподвижном взгляде, обрамляли большие чёрные круги. Лицо было бескровным. Ей можно было дать любой возраст между двадцатью и тридцатью пятью. Без сомнения, большевики надеялись, что она подаст нам какой-нибудь знак узнавания. Её самообладание было неестественным. Она подошла к окну и, опершись подбородком на руку, стала смотреть на дневной свет. И так она стояла — неподвижная, безмолвная, по-видимому, покорившаяся своей судьбе, — пока… не явились часовые и не увели её».

Через несколько часов её перевели в другую камеру; два дня спустя её доставили в Кремль и поместили в одиночную камеру в помещении прямо под кабинетом Свердлова.

Её неоднократно допрашивали два заместителя председателя ЧК — Яков Петерс и Николай Скрыпник, комиссар юстиции Дмитрий Курский и председатель Московского революционного трибунала Станислав Дьяканов.

Следователи были убеждены, что она — часть более широкого заговора эсеров, чья попытка переворота была сорвана всего несколькими неделями раньше. Но Каплан так и не сломалась и до конца утверждала, что действовала одна, и имеющиеся наилучшие свидетельства, по-видимому, подтверждают именно это.

С полным спокойствием она многократно повторяла им: «Я не принадлежу ни к какой партии». «Почему вы стреляли в товарища Ленина?»

---

[2] Была ещё одна раненая — Мария Попова, одна из женщин, разговаривавших с Лениным после его речи на заводе. Она вспоминала этот разговор. «Я сказала ему: “Разрешение покупать муку дали, а заставы не сняли”, а Ленин ответил: “По декрету заставы снимать нельзя. Надо бороться”. И тут раздался выстрел, и я упала».

«Я считаю его предателем. Чем дольше он будет жить, тем дальше он отодвинет идею социализма. На десятки лет».
«Кто послал вас совершить это преступление?»
«Я совершила покушение по собственной воле».
Её спрашивали о её связи с эсерами и просили назвать других членов партии, которых она знала. Она отвечала, что встречала многих, пока сидела в тюрьме, но никто из них не имел отношения к её попытке убить Ленина.
«Как вы относились к Октябрьской революции?»
«Я была в Харькове, в больнице, когда она произошла. Мне она не понравилась. Я относилась к ней отрицательно. Я была за Учредительное собрание и остаюсь за него».
«Так почему же вы стреляли в Ленина? Кто послал вас это сделать?»
«Я сама давно решила стрелять в Ленина. Это я стреляла в него. Я решила… [сделать это] ещё в феврале. Мысль эта созрела у меня в Симферополе [в Крыму], и с тех пор я к этому готовилась».
На протяжении десятилетий многие сомневались, действительно ли покушение было делом одинокой женщины-стрелка, особенно такой, у которой, как у Каплан, было настолько плохое зрение. Согласно некоторым версиям, поблизости находилась другая женщина-стрелок из эсеровской террористической группы — не на каком-то «травянистом холме», а скрываясь у ворот завода Михельсона, — которая и подошла к Ленину незамеченной. Каплан добровольно взяла вину на себя, пока настоящая убийца скрылась. Другие утверждают, что ЧК знала: стрелял кто-то другой, но охотно сделала Каплан козлом отпущения как пролог к крупной волне террора против любой оппозиции.[3]
Однако никаких твёрдых доказательств участия кого-либо ещё так и не появилось, а браунинг Каплан был найден на месте преступления; было произведено три выстрела. Один эсер-отщепенец утверждал, что настоящей виновницей была другая «террористка» по имени Лидия Коноплёва, но её так и не нашли, и нет никаких доказательств, что она находилась рядом с местом преступления. Каплан действительно была тесно связана с активистами социалистов-революционеров, но к какой-либо террористической «боевой ячейке» она не принадлежала.[3]
К этому времени Ленин уже привык к тому, что в него стреляют. Был случай в Новый год в Петрограде, а в Москве уличное насилие стало повсеместным. Закон и порядок почти распались. Всего за три недели до этого в ленинскую машину стреляли три раза в течение одного дня. Утром группа юнцов — которые оказались большевиками — обстреляла его автомобиль из боковой улицы; Ленин вышел и набросился на них: «Нельзя же просто так стрелять в людей с угла улицы, не видя, в кого стреляете». Днём его машину остановила самовольная баррикада вооружённых рабочих, которые пальнули в воздух, потребовали предъявить документы и отказывались верить, что перед ними действительно Ленин. Они отпустили его, но позже этих рабочих арестовали. Вечером в него снова стреляли с угла улицы неподалёку от Кремля какой-то неизвестный человек, но промахнулся.[4]

---

[3] См. работы Роберта Сервиса, учёного, которого я глубоко уважаю, — он убеждён, что Каплан не могла стрелять из-за своего зрения и общего душевного помрачения.
[4] Через несколько месяцев его снова остановили под угрозой оружия. 19 января 1919 года он ехал навестить Надю, которая поправлялась в Сокольниках, на северной окраине Москвы, после очередного тяжёлого приступа базедовой болезни. По дороге его машину остановили шестеро вооружённых людей. Бандиты приказали ему выйти, потребовали бумажник и забрали браунинг, который он носил в кармане пальто. Его сестру Марию, ехавшую с ним, тоже обыскали, и она воскликнула: «Как вы смеете нас обыскивать? Разве вы не знаете, кто мы? Разве вы не узнаёте Ленина? Вы не имеете права так поступать». — «Мы имеем полное право», — ответил главарь банды. Шофёр Ленина, Степан Гиль, попытался вмешаться, но Ленин велел ему не двигаться. Бандиты угнали машину и уехали, оставив Ленина и его спутников добираться пешком до

Ни один из этих случаев не был покушением на его жизнь — просто обычный день в центре Москвы летом 1918 года. История с Каплан была иной — это было прямое нападение на Ленина и на сам режим.

Поздно вечером 3 сентября коменданта кремлёвской охраны Павла Малькова вызвали на Лубянку, и один из помощников Дзержинского, Варлам Аванесов, сообщил ему, что принято решение приговорить Каплан к смерти и что именно ему, Малькову, надлежит привести приговор в исполнение. «Казнить человека, тем более женщину, — дело нелёгкое. Это тяжёлая ответственность. Но мне никогда не доводилось исполнять более справедливого приговора, чем этот», — говорил он впоследствии. «Я спросил Аванесова: “Когда?”, и он ответил: “Сегодня, немедленно”. Никто не заменил Каплан смертный приговор. Он был приведён в исполнение должным образом, и именно я его исполнил».

Незадолго до казни ему велели явиться к Свердлову, который обсудил с ним детали. По инструкции Мальков должен был выстрелить Каплан в затылок — классический большевистский способ — в гараже одного из кремлёвских дворов, при заведённом моторе автомобиля, чтобы заглушить шум, «а её останки должны быть уничтожены без следа», — приказал Свердлов. Её расстреляли в четыре часа утра 4 сентября. На казни присутствовал один свидетель — выбор, несколько странный со стороны чиновников ЧК: «пролетарский поэт» Демьян Бедный находился там, как сказал Свердлов, «для революционного вдохновения».

Ленин не вмешивался в это решение. Мальков написал рассказ о казни почти сорок лет спустя. «Существовала очаровательная басня о том, будто Каплан якобы осталась жива и что в последнюю минуту Владимир Ильич попросил пощадить ей жизнь. Имеются рассказы так называемых очевидцев, будто её видели в лагере на Соловецких островах или на Колыме — в 1932 или 1938 году, — чтобы показать, что Ленин был добрым человеком, великодушно прощавшим врагам их злые дела. Но никто не отменял смертного приговора Каплан. Всё это было не более чем выдумками».[4]

К моменту казни Каплан большевики уже развязали по всем крупным городам и местечкам России оргию мстительного насилия — Красный террор в огромных масштабах. В Москве и Петрограде сразу же поползли слухи, будто Ленин умер, и на несколько дней режим оказался в состоянии паники. Врачи выпускали бюллетени о состоянии Ленина каждые три часа, но хотя они были точны, им почти никто не верил. Доктор Розанов говорил, что «Владимиру Ильичу повезло. Если бы пуля попала на один миллиметр в любую сторону, он уже был бы мёртв». В грудной полости Ленина произошло серьёзное кровоизлияние, существовала опасность инфекции, но выздоровление шло хорошо. Пятеро врачей дежурили у него круглосуточно, и уже через два дня было объявлено, что опасность миновала.

Однако задолго до этого коммунистические вожди уже начали серию жестоких расправ. В 11 часов вечера 30 августа, через несколько часов после покушения, Свердлов написал декрет, предупреждавший противников о том, что их ожидает: «Несколько часов назад было совершено гнусное покушение на жизнь товарища Ленина. Рабочий класс ответит на покушения на жизнь своих вождей ещё более тесным сплочением своих сил и беспощадным массовым террором против всех врагов Революции».

ЧК была спущена с цепи. В Петрограде 500 заключённых — Зиновьев называл их «заложниками» — были немедленно «расстреляны в результате террора, провозглашённого

ближайшего партийного штаба за помощью. Но туда их не пустили — бандиты забрали его удостоверения личности, и дежурные не поверили, что перед ними действительно Ленин. В конце концов дозвонились до Дзержинского, который узнал его по голосу и спросил, имело ли это происшествие политический мотив. «Нет, определённо нет. Иначе они бы меня добили».

после покушения на Владимира Ильича и убийства Урицкого». В следующем месяце последовали ещё 300. Бывших царских чиновников и социалистов-революционеров расстреливали публично. В Нижнем Новгороде сорок один человек был казнён уже днём после того, как ранили Ленина. Их имена были опубликованы, а местная ЧК предупредила, что «на каждое убийство коммуниста или покушение на такое убийство мы ответим расстрелом буржуазных заложников». В Кронштадте матросы уже несколько месяцев держали около 400 заключённых в крепости. На следующее утро заключённых там больше не было: все были убиты. То же происходило по всей стране. Свердлов, теперь исполнявший обязанности главы правительства, непрерывно получал сообщения от комиссаров, отправленных в провинции. Сталин, находившийся в Царицыне и руководивший войной против кулаков, уже через два дня после покушения телеграфировал в Москву, сообщая о десятках арестов и казней: «Услышав о злодейском покушении капиталистических наёмников на жизнь величайшего революционера, вождя пролетариата… мы отвечаем на это низкое нападение организацией систематического массового террора против буржуазии и её агентов». Всего за два месяца после покушения на Ленина было вынесено 6185 смертных приговоров, однако вполне вероятно, что убитых было гораздо больше. «Мы должны раз и навсегда положить конец папистско-квакерской болтовне о святости человеческой жизни», — говорил Троцкий, оправдывая террор.

С этого момента на ЧК уже почти не накладывалось никаких ограничений. Сигнал был ясен: они могли делать более или менее всё, что пожелают. В одном кабаре-цирке в Москве группа чекистов не при исполнении явилась на представление Бим-Бом — дуэта цирковых комиков, пользовавшегося огромной популярностью ещё с рубежа века благодаря смеси буффонады и политической сатиры. Туда ходили все — и состоятельные люди, и рабочие. В какой-то момент во время выступления чекисты, уже выпившие, поднялись на сцену и начали отчитывать клоунов за их «контрреволюционный» и оскорбительный материал. Зрители решили, что это часть номера, — пока один из чекистов не выхватил револьвер и не застрелил на месте клоуна, известного как «Бом».[5] Этот случай вызвал протесты; заместитель председателя ЧК Яков Петерс провёл расследование, но никаких мер против убийцы не принял, заявив, что тот просто проявил несколько чрезмерную революционную бдительность.

Покушение стало началом «культа Ленина», той преувеличенной хвалы и почти религиозного поклонения, которые на последующие десятилетия стали характерны для руководства в коммунистическом мире, — позднее этот культ довели до совершенства Сталин, Мао Цзэдун и Ким Ир Сен, но зародился он именно в дни после угрозы ленинской жизни. Через три дня после покушения Зиновьев произнёс нелепую речь, задавшую тон: «Ленин — величайший вождь, какого когда-либо знало человечество, апостол социалистической революции», — восторгался он. Хотя считался атеистом, он сравнил Ленина с Иисусом Христом и сказал, что тот — «вождь по Божьей милости», — так православные священники говорили о царях. Троцкий поспешно вернулся с фронта и на заседании Московского Совета назвал Ленина «величайшим человеком нашей революционной эпохи, нашего нового века… потеря Ленина стала бы опустошительной для Революции». Газеты выходили специальными выпусками, полными преувеличенных и часто вымышленных рассказов о ленинском героизме и личности. Это был первый случай, когда советская пресса вообще сколько-нибудь подробно писала о Ленине как о человеке.[5]

[5] Это был Иван Радсунский, основа этого дуэта, за годы выступавший с несколькими «Бимами»; в тот момент его партнёром был Мечислав Станевицкий

Ленин выздоровел и уже через три недели снова сидел за письменным столом.[6] Он понемногу двигался и прогуливался по территории Кремля, держа левую руку на перевязи. Вопреки его прямому запрету его засняла киногруппа, организованная Бонч-Бруевичем. В Москве всё ещё ходили слухи, будто он убит и похоронен; Бонч-Бруевич и Свердлов хотели доказать, что он жив. «Это что, камера, которую я видел на крыше? — спросил однажды Ленин. — Кажется, я говорил, что никаких фотографий быть не должно? » — «Да, Владимир Ильич, — признался Бонч-Бруевич, — вас снимают. Только так мы можем наверняка показать, что вы всё ещё с нами. Это очень нам поможет». Ленин некоторое время сердился, но в конце концов смягчился. «Что ж, возможно, вы и правы, но всё равно мне это не нравится». По настоянию Сталина охрану Ленина утроили, и когда он выезжал из Кремля, из ворот одновременно выезжали три одинаковые машины, чтобы ни один возможный убийца не знал, в какой именно едет Ленин.
Леонид Красин, один из старейших соратников Ленина, проницательно писал жене 7 сентября, что «как ни странно, покушение на Ленина сделало его гораздо более популярным, чем он был прежде. Слышишь… как люди, очень далёкие от всякой симпатии к большевикам, говорят, что было бы бедствием, если бы он умер от ран, как сначала все думали. И они правы… посреди всего этого хаоса и смятения он — позвоночник нового государственного организма, главная опора, на которой всё держится». Очень многие люди, возможно ненавидевшие его, говорили в те дни примерно то же самое.[6]

[6] Среди посетителей, навещавших его во время выздоровления, был Максим Горький, который всё ещё регулярно писал газетные статьи с нападками на Революцию и лично на Ленина. Большевистский вождь хотел его видеть. Горький вспоминал: «Я навестил его, когда он ещё не мог свободно пользоваться рукой и едва шевелил простреленной шеей. В ответ на мои слова возмущения он говорил неохотно, как о чём-то, что его тяготит. “Это была всего лишь стычка. Что тут поделаешь? Каждый действует так, как умеет”». Анжелика Балабанова вспоминала его через несколько дней после покушения «сидящим на балконе на солнце… Меня переполнили чувства, и я молча обняла его. Лишь когда я уходила, он заговорил о случившемся… Когда мы об этом говорили, он, казалось, был рад, что судьбу Каплан решили другие. Он сказал: “Центральный комитет решит, что с ней делать”. Но, говоря это, он, должно быть, уже знал, что Каплан мертва». Надя же, по её словам, «была глубоко потрясена мыслью, что революционеры приговаривают к смерти других революционеров… когда мы потом остались одни, она горько плакала, говоря об этом». Каждый волен понимать это как хочет, но Балабанова обычно является надёжным источником.

ГЛАВА 45. Простая жизнь

«В Ленине было то соединение в одном человеке самобичевания, которое составляет сущность всякого подлинного аскетизма, с бичеванием других людей».
Пётр Струве (1870–1944)

В то время как многие другие кремлёвские магнаты вскоре уже наслаждались атрибутами власти, Ленин и Надя жили довольно скромно. Их домашний уклад был схож с тем, как они существовали в эмиграции, — без всякой показной роскоши, хотя теперь у них всё же была прислуга-уборщица, Олимпиада Жаралова, прежде работавшая на железолитейном заводе на Урале. Вскоре после переезда в Москву с ними начала жить сестра Ленина Мария.[1] В доме были две кошки, и время от времени заходила какая-нибудь бродячая. Ленин любил кошек, и именно он неизменно оставлял для них еду и воду; Надя и Мария об этом часто забывали.

Они редко ели в кремлёвской столовой, где высшим чиновникам Коммунистической партии предоставляли приличную пищу в пору жёсткого нормирования и голода в Москве. Кремль — это огромный комплекс, почти маленький город внутри города, состоящий из множества улиц и служебных зданий, где уже через полгода после переезда из Петрограда работали 3500 человек. Надю часто видели, как она бредёт по тротуарам с чёрным хлебом под мышкой и суповой миской в руках. Ленин почти ежедневно работал изнурительные семнадцать часов, но всё же старался возвращаться в квартиру к обеду — так же, как делал это в Женеве или Цюрихе. Иногда они всё же принимали гостей. Когда через несколько месяцев после покушения на Ленина к ним пришла Клара Цеткин, она застала «Надю и сестру Ленина за ужином, и меня тут же сердечно пригласили разделить его с ними. Это была простая трапеза: чай, чёрный хлеб, масло, сыр. Потом сестра попыталась найти “что-нибудь сладкое” для “почётной гостьи” и обнаружила редкую банку варенья». Скромность и простота были отчасти продиктованы политическими соображениями: Ленин знал, что о его образе жизни станет известно, и хотел внушить другим, что именно таковы — внешне пуританские — должны быть манеры всякого доброго коммуниста. Но главным образом это было искренне; он всегда жил именно так и именно так любил жить. Он ненавидел большие, хмельные, семиблюдные ужины с бесконечными тостами за водку и мужланскими рассказами, которые стали нормой среди коммунистических вождей. Он никогда на них не ходил.1

Его единственной роскошью был гостевой дом в Горках, в двадцати километрах к юго-западу от Москвы, куда Ленин впервые приехал оправляться от ран после того, как в него стреляли. Он начал регулярно пользоваться этим местом — «совсем как маленькая Швейцария, тихо», — говорил он, — а в последние два года своей жизни более или менее постоянно жил там. Это называли «дачей», или коттеджем, но она была куда больше и удобнее любого жилья, в котором им приходилось жить прежде: изящный усадебный дом с шестью белыми колоннами по фасаду и крикливым внутренним убранством, полным зеркального стекла и люстр. Когда-то он принадлежал Савве Морозову, но был отнят царским режимом для приёма государственных гостей, а затем унаследован большевиками. Расположенный в местности, известной как «малые холмы», он был окружён пихтами и серебристыми берёзами, прекрасным садом и имел веранду с великолепными видами. И Ленин, и Надя со временем полюбили это место, хотя сперва она говорила, что оно было «таким новым и странным для нас… мы ведь никогда не жили нигде

[1] Она продолжала жить с Надей — хотя и в другой кремлёвской квартире — после смерти Ленина, вплоть до собственной смерти.

подобном, так привыкли были к скромным жилищам… нам было мучительно неловко. Мы выбрали для жизни самую маленькую из комнат».

В Горках постоянно дежурили четыре телохранителя и ещё трое служащих, в том числе повар Спиридон Путин, внук которого, Владимир, спустя десятилетия тоже станет руководителем России.2

Большинство прочих коммунистических магнатов жили куда более роскошно. Ленин представлял себе свой «авангард» революционеров как строгий, почти монашеский орден, терпящий лишения ради общего дела. Но очень быстро, как говорил Иоффе, он превратился в привилегированную касту. Коммунисты отгородились от народа.

Изнеженный образ жизни большевистской элиты — и сопутствовавшая ему коррупция — возникли очень рано. Уже через несколько недель после переворота Ленину прислали доклад Рабочей секции Смольного института, цитадели Октябрьской революции, в котором говорилось, что в то время как Петроград голодает, коррумпированные большевистские чиновники в Смольном продают еду грузовиками чёрным спекулянтам по баснословным ценам. «Голодные рабочие видят, как хорошо одетые царицы из числа жён советских партийных начальников выходят с пакетами продовольствия и уезжают в автомобилях, — говорилось в докладе. — Они говорят, что всё стало точно так же, как в старые времена при Романовых и их фрейлейнах… Они боятся жаловаться Зиновьеву [партийному начальнику в Петрограде], поскольку он окружён приспешниками с револьверами, которые угрожают рабочим, когда те задают слишком много вопросов». Ленин пришёл в ярость, хотя и не был особенно удивлён. Он пресёк этот конкретный скандал, но подобные случаи происходили постоянно. Ленин всегда опасался, что коррупция — как и бюрократия — разъест душу партии, но не мог или не хотел сделать что-либо серьёзное, чтобы покончить с этой проблемой.

Привилегии для коммунистических аппаратчиков начинались достаточно невинно. Регулярное питание для товарищей, преданно работавших на революцию за низкую плату и ценой больших жертв, казалось разумной платой за лояльность. В начале 1918 года, когда нехватка продовольствия была по всей России крайней, Ленин поддержал план открыть в Петрограде ресторан исключительно для большевистских активистов, исходя из того, что революцию не делают на пустой желудок: «Рабочие поймут необходимость этого», — говорил он.

Некоторые пуристы считали, что партийные чиновники должны строже, чем остальное население, соблюдать те же пайки, что и все прочие. Ленин их одёрнул. «Героизм личного самоотречения, составляющий основу их позиции, особенно в нынешних условиях, глубоко мелкобуржуазен, — говорил он. — Рабочий класс не может идти в авангарде Революции без своих активистов, без своих организаторов. Об активистах надо заботиться, и в настоящее время… их необходимо поддерживать физически».3

Рабочие, возможно, и поняли бы это, если бы привилегии ограничились несколькими приличными обедами. Но система быстро разрослась в целый набор льгот для коммунистической элиты, основанных на старшинстве, давности членства и преданности. Это была система, не имевшая ничего общего с марксизмом, но отражавшая сложную систему чинов царской гражданской службы с её скрупулёзно разработанной табелью о рангах, распределявшей блага с крайней жёсткостью. Коммунистическая система номенклатуры точно так же закрепляла лучшие должности за членами партии. Уже через два года 4000 большевиков и членов их семей жили в Кремле и в гостиницах, реквизированных партией, — «Метрополе» и «Национале», обе у Красной площади.

Уже через год после переезда в Москву у коммунистических чиновников насчитывалось 2000 домашних служащих, а также существовал целый комплекс специальных магазинов, спа,

парикмахерская и рестораны с поварами, обученными во Франции. В Петрограде высшие партийные чиновники жили в роскошной гостинице «Астория», недавно восстановленной в прежнем блеске царских времён. «Гришка» Зиновьев жил в просторной городской квартире, но в его распоряжении всегда находился и гостиничный номер-люкс, равно как и целый набор молодых любовниц.

Вскоре после того как Сталин был назначен в 1919 году народным комиссаром государственного контроля — на чрезвычайно влиятельную должность, которая дала ему огромную власть над государственными назначениями и вообще всей машиной управления, — Ленин распорядился, чтобы он занялся коррупцией в верхах вообще и, более конкретно, «провёл совершенно секретную инспекцию смольнинских учреждений», причём так, чтобы ни Зиновьев, ни другие петроградские чиновники об этом не знали. Сталин нечасто говорил Ленину «нет», но в этом случае отказался выполнить приказ, заявив, что шпионить за товарищами — значит подрывать работу партии и это противоречит большевистскому духу. Настоящая же причина, конечно, заключалась в том, что он не хотел, чтобы другие товарищи возненавидели его как человека, который начнёт отнимать у них привилегии. Так наверх не поднимаются.4

Ленину досталась отнюдь не самая роскошная из дач. Другим старшим магнатам выделялись более красивые и более просторные. У Троцкого некоторое время был один из самых великолепных домов в округе — Архангельское, некогда принадлежавшее княгине Юсуповой. Дача Сталина прежде принадлежала нефтяному миллионеру.

Уже через несколько месяцев после революции Горький писал жене, что «только комиссары теперь и живут хорошо. Они воруют у простого народа сколько могут, чтобы расплачиваться за своих куртизанок и свои несоциалистические роскоши». У Ленина не было ни того, ни другого, но он знал, что у многих его ведущих товарищей всё это есть. Жалобы часто исходили от старых большевиков, истинно верующих в партии, чьи ряды всё больше наполнялись карьеристами.

Один товарищ, знакомый Ленину уже много лет, писал ему из Тулы в начале 1919 года в духе «в наше время было не так»: «Мы оторвались от масс и сделали трудным привлечение их к себе. Старый товарищеский дух в партии умер совершенно. Его сменило новое единоличное правление, при котором партийный начальник всем распоряжается сам. Взяточничество стало повсеместным; без него наши коммунистические товарищи просто не выжили бы». Ленин проигнорировал и это, и несколько других подобных предупреждений.

Иоффе — один из немногих неразвращённых чиновников — вернулся из Берлина на работу в Народный комиссариат иностранных дел и был потрясён. Он писал своему большому другу Троцкому: «Существует огромнейшее неравенство, и материальное положение человека в значительной степени зависит от его поста в партии; вы, конечно, согласитесь, что это опасное положение. Мне, например, говорили, что… старые большевики страшатся быть исключёнными главным образом потому, что тогда потеряют право на проживание в гостинице “Националь” и другие связанные с этим привилегии. Старый партийный дух исчез, дух революционного бескорыстия и товарищеской преданности». Именно он придумал новое слово для карьеристской породы новых коммунистов, которое затем присвоит себе Троцкий и будет часто употреблять: «редиски — красные снаружи, белые внутри».5

Личный кабинет Ленина был столь же непритязателен, почти спартански строг, как и его жилые комнаты немного дальше по коридору в главном правительственном здании Кремля. Это была небольшая комната, не более восемнадцати квадратных метров, с потёртым коричневым ковром и комнатным растением в углу. Обставлена она была просто. Каждый предмет — оставшийся от царя — был функционален, кроме старых часов, которые ежедневно отставали на срок от трёх до пятнадцати минут. Постоянный ремонт не помогал, однако Ленин настаивал,

чтобы они оставались: «другие часы будут ничуть не лучше», — говорил он загадочно. «Это была такая комната, которая могла бы принадлежать директору провинциальной школы», — замечал один постоянный посетитель.

Ленин не позволял вешать в своём кабинете занавески, и жалюзи никогда не опускались. Его секретарь Лидия Фотиева, которой было тридцать шесть, когда правительство переехало в Москву, говорила: «Казалось, он ощущал тесноту и удушье в комнате, отгороженной от внешнего мира опущенными жалюзи». Температура должна была поддерживаться ровно в 14 градусов Цельсия, «и если её повышали хотя бы на один градус, он не мог этого выносить».[2]

На его столе стояли три телефона. Ручки и карандаши лежали аккуратно, все были остро заточены — словно до игольчатого жала. Тут же находилась чернильница с двумя маленькими подвесными лампочками. Самое заметное место на столе занимала странная статуэтка обезьяны, сидящей на груде книг и глядящей на огромный человеческий череп, — символ дарвиновской теории эволюции.

Никаких личных фотографий или семейных портретов не было. На стене напротив стола висел большой портрет Маркса. Слева от него — карта России, а ещё левее — бронзовая доска с изображением Степана Халтурина, революционера, казнённого в 1881 году за убийство царского генерала Фёдора Стрельникова. Ленин говорил, что чтит не сам поступок, а «чистое мужество молодого человека». На одной из стен висел портрет Чернышевского.

Он давно ненавидел табачный дым, а после покушения и вовсе запретил курить где бы то ни было поблизости от него. В его кабинете и в соседней комнате для совещаний висела большая табличка «Не курить».

Ленин не любил мягкие, обитые кресла. За письменным столом он сидел на простом деревянном стуле с плетёным сиденьем и спинкой. С потолка свисала люстра, и он никогда не выходил из кабинета, не выключив свет. Каждый день он отрывал листок настенного календаря. В одном углу стоял небольшой стол, заваленный картами и атласами, которые он любил разглядывать. В нескольких книжных шкафах его кабинета находилось около 2000 книг и словарей; секретарям он велел следить, чтобы посетители не присваивали книги себе. На некоторых томах он писал: «Экземпляр Ленина». Фотиева однажды сказала, что «вообще Владимир Ильич любил привычную, неизменную обстановку. Словно именно в этой тишине комнаты и вещей, которые всегда оставались теми же и всегда находились на тех же местах, он находил отдых от богатых, разнообразных событий своей жизни». Иными словами — хотя столь преданная и испытанная большевичка никогда бы так не выразилась, — он был глубоко консервативен, придирчив и работать на него было чрезвычайно трудно.

Ленин по-прежнему сохранял многие старые конспиративные привычки. Он часто отправлял письма и записки людям в Москве через велосипедного курьера и велел секретарю не отправлять пакет, не выяснив предварительно, будет ли адресат на месте, чтобы принять его. «Запечатайте письмо в конверт и, если нужно, зашейте его и запечатайте сургучом… Обязательно напишите “Никому другому не вскрывать” и предупредите посыльного, что адресат должен расписаться в получении». Расписка должна была быть показана Ленину. Однажды одно из его писем задержали, и он отправил сердитую записку Горбунову, управляющему делами Совнаркома: «Вчера я обнаружил, что срочный документ, который я передал Фотиевой, был отправлен “обычным” порядком и опоздал на несколько часов; если бы

[2] Иногда он демонстративно лишал себя удобств. Однажды в ледяную зиму 1918 года линялую овчину, положенную под его стол, чтобы ноги были в тепле, заменили прекрасной шкурой белого медведя. Он громко возмутился и потребовал вернуть старую подстилку. «Это роскошь, которая мне не нужна… совершенно ненужная в такой разорённой стране, как эта».

я снова не вмешался, он задержался бы на дни. Если это повторится, я прибегну к суровым наказаниям и увольнениям». Несколько раз он грозил «немедленным арестом» помощникам, не соответствовавшим его перфекционистским требованиям.

С другой стороны, Фотиева говорила, что в личных делах он чаще всего был добр и работал в хорошем расположении духа: «Думаю, можно сказать, что он работал весело… и много смеялся». О Ленине это говорили часто, хотя согласовать это с его требовательной, тяжёлой, властной и беспощадной натурой не всегда просто. Чувство иронии у него было острым, чаще всего за чужой счёт. Но даже некоторые его суровые критики отмечали у него и более широкое чувство юмора, даже порой склонность к дурачеству. Горький часто замечал, что «Ленин любил смеяться… и когда смеялся, смеялся всем телом. Иногда его охватывал смех, и он смеялся порой до слёз. Своему короткому характерному восклицанию “хм, хм” он мог придавать бесконечное множество оттенков — от язвительного сарказма до уклончивого сомнения. Часто в его “хм, хм” слышался тот тонкий юмор, который испытывает зоркий человек, ясно видящий глупости жизни».

Иногда он мог делать вещи, удивлявшие даже его ближайших помощников, как вспоминала Фотиева. «Однажды, после того как из его кабинета ушла делегация из Бухары в Средней Азии, в час, когда он обычно отправлялся домой обедать, дверь между его кабинетом и конференц-залом оказалась заперта изнутри. Предположив, что её запер сотрудник ЧК, охранявший другую дверь, и тревожась, поскольку Ленин оставил нам поручения, которые следовало исполнить, мы отчаянно заколотили в дверь. Через несколько минут её открыл улыбающийся Владимир Ильич. Он был одет в бухарский национальный костюм, который делегация только что ему подарила, и ему взбрело в голову его примерить». К сожалению, никакой фотографии этого не сохранилось.6

Приступы раздражительной ярости по пустякам после неудавшегося покушения на его жизнь стали у Ленина ещё заметнее. Надя всё реже оказывалась рядом, чтобы смягчать эти бури, а немногие люди были достаточно сильны, чтобы противостоять ему по мере того, как он становился всё могущественнее. Порой он совершенно терял чувство меры и тратил время на мелочи в то самое время, когда Россия и его режим переживали великие кризисы.

Летом 1918 года он буквально зациклился на том, чтобы убрать царские статуи и бюсты из общественных мест и заменить их фигурами Просвещения и социализма — Дантоном, Дарвином, Энгельсом, Герценом и многими другими. В июле 1918 года, когда шла ожесточённая борьба за хлеб и в тот самый день, когда он отдал распоряжения приступить к убийству царя и его семьи, он в середине заседания Совнаркома послал записку Анатолию Луначарскому, спрашивая, говорил ли тот недавно с Василием Виноградовым, чиновником, возглавлявшим Комиссию по памятникам. «Ещё нет», — ответил Луначарский.

В ответ пришла новая записка: «Когда вы едете [в Петроград, чтобы обсудить разные вопросы]… день, час?»

«Завтра в полночь».

«Позвоните Виноградову и немедленно назначьте ему встречу».

Затем, всё ещё во время того же заседания, он написал записку Фотиевой, велев ей позвонить Виноградову и назначить для Луначарского встречу. Всё это происходило во время обсуждения продовольственного кризиса в России. Но он не желал оставлять этот вопрос.

Через три недели последовали новые записки на ту же тему народному комиссару просвещения. «До сих пор нигде нет уличного бюста Маркса. Я поражён и возмущён тем, что этого до сих пор не сделано. Я объявляю вам выговор и браню вас за эту преступную небрежность. Требую

назвать имена других ответственных, чтобы их можно было предать суду. Позор саботажникам и лодырям».

Его вспыльчивость могла быть поразительной и совершенно несоразмерной. Осенью 1918 года в Кремле в течение трёх дней не работал лифт. Он мог бы поручить помощнику позвонить в ремонтную службу и выяснить, что происходит. Но Ленин собственноручно послал коменданту Кремля чрезвычайную записку: «Это верх позора. Есть люди, страдающие болезнью сердца, для которых подниматься по лестнице вредно и опасно. Я тысячу раз указывал, что этот лифт должен содержаться в порядке и что один человек должен нести за него ответственность. Я строго объявляю вам выговор и поручаю установить личности виновных в том, что они не предупредили надлежащим образом… [о том, что лифт не будет работать].[3] Представьте мне снова список лиц, ответственных за лифт, и перечень наказаний, наложенных на них».

Он тратил время на дела, которые вполне мог бы поручить другим, как отмечал Троцкий. «Обычай Ленина лично заниматься множеством вещей стоил колоссальной затраты энергии. Часто он сам писал письма, собственноручно надписывал конверты и сам их заклеивал».

Излюбленным способом Ленина решать многие административные проблемы было грозить кого-нибудь «поставить к стенке и расстрелять». Но немногие его угрозы были столь же нелепы и несоразмерны, как эта, даже если по большей части она была лишь капризной вспышкой. Когда Сталин находился в Царицыне, организуя революционное правосудие против кулаков, у него возникли трудности с полевым телефоном. Ленин телеграфировал ему: «Пригрозите расстрелять идиота, заведующего связью, который не умеет достать вам лучший усилитель и не умеет наладить приличную телефонную связь».

Ленин почти совсем не занимался физическими упражнениями, плохо ел, работал под крайним давлением день и ночь, да к тому же едва не был убит. В прошлом, когда на него накатывали «ярости» или когда его мучили головные боли и бессонница, Надя просто увозила его в отпуск. Теперь это было уже не так просто. Он мог уехать на несколько дней в Горки, но и там работа тяжёлым грузом нависала над ним, «и он не мог как следует отдохнуть», — говорила она. Иногда, впрочем, ему всё же удавалось вырваться на день-другой на охоту.

Одним из его постоянных спутников был Николай Крыленко, чиновник Народного комиссариата юстиции, который позднее станет главным прокурором Советского Союза и будет устраивать пламенные выступления на сталинских показательных процессах.[4] В одну из их первых поездок, под Смоленском осенью 1918 года, «мы гонялись за белой куропаткой и тетеревом», — писал Ленин своей сестре Анне. «Лучшее во всём этом было то, что целых два дня не раздалось ни единого телефонного звонка… ни одного сообщения, ни одного вопроса, на который мне пришлось бы отвечать».

Они охотились на лис — совсем иной вид охоты в России, чем в Британии или во многих других странах. В России лису просто стреляют. Смысл в том, чтобы загнать зверя в круг, из которого остаётся только один выход, где и ждёт охотник. «Лисица бежала прямо на Ленина, который сперва её не заметил, потому что рыжая шкура зверя была покрыта снегом со еловых ветвей, — вспоминал Крыленко. — Когда он всё же увидел лису, он словно оцепенел… смотрел и смотрел и не стрелял… лиса просто постояла мгновение неподвижно, а потом молнией метнулась прочь.

---

[3] В партийном языке коммунистов выговор был не просто словом. У каждого члена партии имелось письменное партийное досье, от которого зависели будущие должности и партийные посты. Формальный выговор от самого вождя был серьёзным чёрным пятном.

[4] Пока сам не был «вычищен» в 1938 году и не расстрелян — через несколько часов после своего последнего появления в суде.

“Почему вы не выстрелили?” — спросил я. “Ну… она была такая красивая и милая”, — ответил он».

Иногда он ездил охотиться всего лишь на воскресенье, вместе с Яном Рудзутаком, латышом-телохранителем, который позднее при Сталине поднимется до Политбюро. Рудзутак будил Ленина, «который уже был в валенках, в чёрной кожаной куртке для верховой езды и кожаных штанах, с пакетом бутербродов и маленькой жестяной коробкой, наполненной кусочками сахара для чая». Однажды, после совершенно безуспешного дня — а чаще всего добычи у него так и не было; власть не сделала его лучшим стрелком, — их сани сломались в сорока километрах от Москвы. Им пришлось пройти два с половиной километра по сугробам до ближайшей железнодорожной станции — изнурительное путешествие.

Охотничья поездка с Крыленко в конце 1919 года стала для него тревожным предупреждением со стороны здоровья. После ещё одного безрезультатного дня они проехали двадцать пять километров на крестьянской повозке и провели две ночи на сеновале. Он никому не позволял подавать ему чай или еду и всё доставал сам — «он никогда не жаловался, хотя и было ясно, что он утомлён». На следующее утро он пожаловался на сильную головную боль, а через несколько часов, после того как пришлось брести через болото, тяжело опустился на пень и уже не смог двигаться. Он сказал, что у него «покалывает и немеет».7

Время от времени Ленин и Надя ходили в театр в Москве, но чаще всего уходили уже после первого действия. «Мы несколько раз бывали в Московском Художественном театре, — рассказывала Надя. — Однажды смотрели… пьесу о крушении речного парохода на Миссисипи, и Ильич на сей раз она очень понравилась… На следующий вечер мы хотели снова пойти в театр, а там шли “На дне” Горького. Это его раздражало… После этого мы на время перестали ходить… последний раз мы были на “Сверчке на печи” Диккенса… уже к середине первого действия ему стало скучно. Мещанская сентиментальность Диккенса действовала ему на нервы, и в середине следующего акта он ушёл».

Вообще вкус Ленина в литературе, как и во всяком искусстве, был в высшей степени консервативен и утилитарен. Он читал для удовольствия в юности и ранней молодости, но позднее — редко. Для образованного, интеллектуально развитого и умного человека своей эпохи он был удивительно мало начитан — во всяком случае по сравнению, скажем, с такими всеядными читателями, как Сталин, Троцкий, Бухарин и Луначарский из его большевистского круга. В живописи и вообще в изобразительном искусстве он понимал мало. Музыку он любил — особенно фортепианные сонаты Бетховена и, что неожиданно, Вагнера, — но слушал редко, чтобы, как сам говорил Горькому, она не делала его «мягким».

Луначарский эвфемистически называл его вкусы «ортодоксальными». Во многом Ленин был филистером. «На протяжении всей своей жизни у него было мало времени, чтобы сколько-нибудь систематически изучать искусство, и он всегда считал себя в этих вопросах невеждой. Поскольку он ненавидел всякое дилетантство, чуждое его природе, он не любил высказываться об искусстве. Тем не менее вкусы у него были весьма определённые: он любил русскую классику, реализм в литературе и живописи».

Ленин был озадачен большей частью современного искусства и литературы и ужасался самой мысли, что поиск нового должен уничтожать старое. Однажды он сказал Кларе Цеткин, «что мне потребовалась известная смелость, чтобы признаться: я в этих вещах варвар, потому что не понимаю и не люблю произведений футуристов, имажинистов, кубистов, формалистов — и прочих “-истов”».

Как это обычно бывало, у него были твёрдо сложившиеся мнения, и, как большинство догматиков, он не особенно интересовался тем, чтобы разобраться в том, чего не понимал.

Любопытство к искусству у него иссякло, когда ему было около двадцати пяти. Первой его большой любовью был Тургенев. Ленин повсюду возил с собой в ссылке том его собрания сочинений и перечитывал его снова и снова. Ему нравились стихи Некрасова, который прекрасно писал о природе, хотя временами эти стихи, как Ленин иногда и сам признавал, были прямо-таки пропитаны сентиментальностью.8

Обычно он судил писателей не столько по художественным достоинствам, сколько по их политике.[5] Ленин признавал, что Толстой — «гигант», но ненавидел толстовское миросозерцание с его мистицизмом и пацифизмом. «Противоречия в Толстом… бросаются в глаза. С одной стороны — великий художник, гений, который не только создал несравненные картины русской жизни, но и внёс первоклассный вклад в мировую литературу. С другой — помещик, помешанный на Христе. С одной стороны — замечательно сильный, прямой и искренний протест против общественной лжи и лицемерия; с другой — пресыщенный, истерический хнычущий субъект, именуемый русским интеллигентом, который публично бьёт себя в грудь и вопит: "Я дурной, злой человек, но я занимаюсь нравственным самосовершенствованием; я больше не ем мяса, теперь я ем рисовые котлеты". С одной стороны — беспощадная критика капиталистической эксплуатации. С другой — бредовая проповедь смирения… Толстой никак не мог понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции».[6]

Достоевского он ненавидел как «грубо, опасно реакционного» и «совершенно отвратительного», хотя и признавал его гений и «живые образы действительности». Однажды он назвал *Записки из Мёртвого дома* «непревзойдённым произведением, потому что в нём столь замечательно изображена не только сибирская каторга, но и весь русский народ, живший при царях».

Большую часть современной русской литературы Ленин терпеть не мог. Он презрительно отзывался об Александре Блоке, чья длинная поэма *Двенадцать*, опубликованная весной 1918 года, сопоставляла Ленина (не без благосклонности) с Иисусом, а большевиков — с апостолами.[7] Но особое презрение Ленин питал к футуристу Владимиру Маяковскому, чьи произведения в первые советские годы пользовались огромной популярностью, причём значительная часть их — хотя далеко не вся — была хвалой Ленину и коммунистам. Услышав, что Государственное издательство печатает 5000 экземпляров маяковского *150 000 000*, а Луначарский поддерживает публикацию, он пришёл в ярость. «Вам не стыдно было голосовать за это? — писал он Луначарскому. — Это вздор, глупость, двуглазая претенциозная чепуха и

---

[5] Исключением был Тургенев, которого он любил «несмотря на то, что тот был либералом».

[6] Ленин ненавидел портрет Новодворова в последнем романе Толстого Воскресение (1899), этого наполовину идеалистического мечтателя, наполовину беспощадного оппортунистического революционера, в котором очень много от самого Ленина. «Вся революционная деятельность Новодворова, хотя он и мог объяснять её весьма красноречиво и весьма убедительно, казалась основанной не на чём ином, как на честолюбии и желании верховенства. Но, будучи лишён тех нравственных и эстетических качеств, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире положение, вполне его удовлетворявшее, — положение руководителя партии. Раз выбрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался, и потому был уверен, что никогда не ошибается… Самоуверенность его была так велика, что либо отталкивала людей, либо заставляла их покоряться ему. А так как действовал он среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубину и мудрость, большинство действительно ему подчинялось, и он имел большой успех в революционных кругах». Как проницательно и как пророчески.

[7] Блок, впрочем, вскоре разочаровался в революции и уже через три года попросил разрешения покинуть Россию. После долгих задержек ему это разрешили, но здоровье его уже было подорвано, и в 1921 году он умер, так и не успев эмигрировать.

манерничанье. Я полагаю, подобные вещи следует печатать один раз из десяти и не более чем в 1500 экземплярах — для библиотек и чудаков. Вас следовало бы высечь за ваш футуризм». Луначарский ответил, что сам поэму не любит, но другие влиятельные критики её одобряют, «а когда Маяковский читает публично, он имеет большой успех у рабочих».

Ленин не смягчился. Он написал заместителю Луначарского, историку Михаилу Покровскому, прося вмешаться. «Снова прошу вас помочь в борьбе против футуризма и т. п. Нельзя ли это остановить? Давайте условимся печатать этих футуристов два раза в год и не более чем по 1500 экземпляров. Нельзя ли найти каких-нибудь надёжных антифутуристов?» Горькому он говорил, что Маяковский «кричит, выдумывает слова и никуда не попадает… это непонятно, трудно читать, бессвязно, пустословие. Талантлив ли он? Очень талантлив даже? Хм-м. Посмотрим».

Однажды на приёме он громил футуристов и символистов вообще, а Маяковского в особенности, когда Надя его прервала. «Сколько раз я тебе говорила, Володя, что тебе надо бы достать книги Маяковского… тогда ты бы тоже его понял. Ты просто никак не можешь до этого добраться».

Так же он реагировал и на современную живопись и скульптуру. Студент-художник Михаил Горловский сопровождал Ленина на выставке и слышал его суждения об абстрактной живописи. «Мы все принадлежали к авангарду и, естественно, одобряли только конструктивизм. Среди картин на этой выставке был один художник, которого мы все презрительно называли “маляром”. Но он не смущался и продолжал писать свои реалистические картины. Именно эта работа и доставила Ленину удовольствие. “Вот это, видите ли, мне ясно. Это понимаю я, понимаете вы, понимают рабочие и все остальные. А вы объясните мне, что именно я вижу в ваших картинах? Во всех этих картинах [написанных вами] я не могу найти ни глаз, ни носов”, — сказал он».9

У Ленина были твёрдые представления о том, для чего нужно искусство в социалистическом мире. «Зачем отворачиваться от подлинной красоты и отвергать её навсегда только потому, что она “старая”? Зачем поклоняться новому как богу, которому надо повиноваться, лишь потому, что оно “новое”? Это вздор, чистейший вздор», — говорил он одному старому товарищу через два года после захвата власти. «Искусство принадлежит народу. Оно должно корениться в широкой массе трудящихся. Оно должно быть им понятно и любимо. Оно должно быть укоренено в их мыслях, чувствах и желаниях и расти вместе с ними. Оно должно пробуждать и развивать в них художника. Разве можно давать пирожные и сахар меньшинству, когда массы рабочих и крестьян до сих пор лишены даже чёрного хлеба?»

В ранние советские годы, до того как «социалистический реализм» стал предписанным жанром в литературе, живописи, кино и даже музыке, первым большим новым явлением в искусстве при коммунизме был «Пролеткульт», пролетарская культура. Смысл его заключался в том, что искусство должно отражать опыт людей на производстве, и многие художники отправлялись на фабрики, чтобы создавать произведения коллективно, в командах, а не индивидуально. «“Я” буржуазной культуры должно уступить место “мы” нового мира», — как выражался Луначарский. Огромные суммы тратились на проекты вроде создания оркестра из звуков лязгающих фабричных машин и замены старых картин в музеях зачастую абстрактными новыми вещами, создаваемыми в трудовых условиях общими усилиями рабочих и художников. Это была первая «культурная революция» при коммунизме, ставившая целью уничтожить всё старое и начать заново. «Пора пулями простреливать музеи», — говорил Маяковский. «Во имя нашего завтра мы сожжём Рафаэля», — писал другой пропагандист Пролеткульта.[8]

[8] Оперы ставились в переработанных версиях. Тоска превращалась в «Битву за коммуну», а глинкинская Жизнь за царя — в «Серп и молот».

Идейным мозгом Пролеткульта и организатором его грандиозных проектов был старый полемический противник Ленина Александр Богданов, споривший с ним в 1900-е годы о религии и теперь желавший заново изобрести культуру. На крупный бюджет, полученный от своего старого друга Луначарского.

Ленин ненавидел Пролеткульт как по эстетическим, так и по политическим причинам. Он считал, что даже если социализм уничтожает капитализм, он всё равно должен строить на его основаниях — принцип, столь же важный в культуре, как и в общественной и экономической жизни. И он полагал, что большинство пролеткультовских «художников» — позёры и подделки. Однако действовать ему приходилось осторожно. Некоторое время он не вмешивался в маленькую империю Богданова и позволял ей получать средства, пока она оставалась явно художественным движением. Но затем Богданов и Луначарский совершили политическую ошибку. В конце 1919 года они зашли слишком далеко и потребовали для Пролеткульта автономии как для ветви советского общества, равнозначной по значению Коммунистической партии. Вот тогда Ленин вмешался, отобрал деньги, потребовал подчинить Пролеткульт одному второстепенному партийному органу и запретил ему действовать в государственных музеях и на фабриках. Движение вышло из моды. «Пролеткульт как учреждение — вздор, — говорил он. — Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свой опыт и память знанием всех богатств, произведённых человечеством».[9]

Поначалу Ленин был к книгам терпимее, чем к газетам. Цензура была введена сразу после революции, но в первые три года оставалась мягкой. Государственное издательство, Госиздат, было основано Лениным в декабре 1918 года и монополизировало книжное дело. На следующий год оно получило монополию на производство бумаги; ещё через три года — на продажу всех книг. Все рукописи должны были идти к предварительному цензору, как это было и в царские времена. В первые годы, до болезни Ленина, цензура действовала сравнительно мягко. Но уже через несколько лет Россию покинули некоторые из лучших её писателей: Иван Бунин, Марина Цветаева, Алексей Толстой, Борис Зайцев, Вячеслав Иванов. В конце концов уехал и Горький.[10] Когда Евгений Замятин, автор блестящего антиутопического романа *Мы*, эмигрировал, он сказал: «У русской литературы будет только одно будущее — её прошлое».

Библиотеки — учреждение, любимое Лениным, места, где он провёл так много лет своей жизни, — тоже подверглись удару. С начала 1920 года работой Нади в Наркомпросе стала очистка российских публичных библиотек от «неприемлемых» книг — «акт интеллектуального вампиризма», как это назвал Горький. Она занимала этот пост до самой смерти Ленина. Исполняла она эту задачу с обычным для неё рвением — и с его благословения. Были изъяты произведения девяноста четырёх авторов, среди них Кант, Декарт, Уильям Джеймс, Шопенгауэр, Пётр Кропоткин и Эрнст Мах. «Это дерево неведения было посажено Надеждой Крупской при Ленине, по его указанию и совету», — позднее признавал председатель Центральной библиотечной комиссии.

---

[9] Однако однажды, когда Луначарский попросил дополнительных средств для Большого театра, Ленин в ярости отказал. «Что, деньги на это помещичье искусство? Ни в коем случае. Напротив, его следует вовсе закрыть. Рабочие туда не хотят ходить». Некоторое время он действительно настаивал на идее закрытия Большого, но его отговорили, и в конце концов он всё же утвердил увеличение бюджета, которого добивался Луначарский. Тем не менее его первая реакция ясно показала его истинное мнение.

[10] Хотя отношения у него были крайне сложные не только с Лениным, но и с самим советским государством. Несколько лет спустя при Сталине он вернулся.

ГЛАВА 46. Красные и белые

«Советская власть — это организованная гражданская война».
Лев Троцкий, июль 1919 года

«Белогвардейцы… последняя мечта старого мира».
Марина Цветаева, июль 1919 года

Ленин говорил, что Гражданская война в России началась 25 октября 1917 года. «Конечно, нас будут пытаться свергнуть», — сказал он своим ближайшим соратникам примерно в то самое время, когда в тот вечер Зимний дворец пал перед большевиками. Он не был военным человеком, не имел опыта ведения войны, никогда не носил мундира. Но оказалось, что он хорошо понимал стратегию, умел проницательно выбирать дельных генералов, был беспощадным верховным главнокомандующим и, что немаловажно, обладал даром удачи.

Ленин никогда не бывал на фронте, не произносил воодушевляющих речей перед войсками, но именно он руководил военной и политической стратегией. Он принимал важнейшие решения и предоставлял штабным офицерам разрабатывать подробности. Он часами изучал карты со своими военными помощниками, посылал десятки ободряющих или распекающих телеграмм в день, работал круглые сутки, но выигрывать его войну оставлял солдатам — вместе с тем человеком, которого выбрал, чтобы ими командовать: Львом Троцким.

Прежде всего Ленину повезло с противником. В отличие от сплочённого руководства большевиков, «белые» были раздроблены; существовали три главные армии, разделённые тысячами миль. Даже когда им удавалось поддерживать связь на таких огромных расстояниях, их вожди нередко ненавидели друг друга и резко расходились во взглядах на стратегию и тактику. Были всевозможные практические и военные причины, по которым белые проиграли войну: они контролировали менее многочисленное население, из которого можно было набирать войска, а их трудности со связью были непреодолимы. Но главная причина лежала глубже. Белые застряли в прошлом — они были «последней мечтой старого мира», как выразилась поэтесса Марина Цветаева, одна из их страстных почитательниц. Большинство русских — и национальные меньшинства в империи, от Финляндии до Кавказа, — возможно, ненавидели и боялись большевиков, но возвращения к прошлому не желали.

«Мы не выдвинули ни одной новой идеи», — признавал летом 1919 года один из их лидеров, Василий Шульгин. И когда, спустя два с половиной года, при трёх миллионах погибших от войны, болезней и голода, они потерпели поражение, большинство понимало, почему это произошло. «Психология старого режима мешала белым увидеть новый мир, созданный революциями, — говорил Пётр Струве, один из старых друзей Ленина, ставший его врагом. — Они вели себя так, как будто ничего не произошло, тогда как на деле весь мир вокруг них рухнул, и, чтобы победить врага, им самим нужно было заново родиться. Ничто так не мешало Белому движению, как это состояние психологической неподвижности… в условиях, которые перестали существовать. Люди с этим *ancien régime* мировоззрением были погружены в бушующее море революционной анархии и не могли сориентироваться. В революционной буре, обрушившейся на Россию в 1917 году, даже убеждённые реставраторы должны были стать революционерами — в психологическом смысле, потому что в революции лишь революционеры умеют найти дорогу».[1]

Непосредственной задачей Ленина было создать вооружённую силу из руин, оставшихся после поражения от немцев. Он поручил Троцкому создание Красной армии, которая быстро

превратилась в действенную боевую силу — или, по крайней мере, в силу, достаточно эффективную, чтобы отбить белых. Для ортодоксальных марксистов сама идея постоянной армии была анафемой: армии существовали для того, чтобы угнетать рабочий класс и предотвращать революцию. Но Троцкий понимал, что большевики не могут полагаться на разномастную толпу бывших рядовых солдат, только что проигравших войну, и на необученных фабричных рабочих вроде красногвардейцев — «бродячие, неустойчивые элементы», как он их называл. Им срочно нужна была боеспособная сила. Он понял, что единственный путь — использовать царских офицеров с опытом, чтобы создать новую армию, как можно скорее обучить людей, а затем и командовать ими. Многие большевики в армии и партийные члены возражали: во-первых, потому что «классовым врагам» предоставляли особое положение впереди своих же людей, а во-вторых, потому что царские офицеры, мол, предадут режим при первом удобном случае. Но Ленин безоговорочно поддержал Троцкого. Нелояльные офицеры, доказывал Троцкий, «не так опасны для революции, как потеря целых полков из-за некомпетентности полуграмотных коммунистических командиров, которые не умеют даже карту читать». Ленин был с ним согласен.

Красную армию создавал царский офицерский корпус. Сразу после революции добровольно вступили более 8 000 человек, в том числе около пятидесяти генералов. В основном это были кадровые военные, готовые служить гражданскому правительству, каковы бы ни были его политические взгляды. Многие вступили ещё до подписания Брест-Литовского договора, когда казалось, что немцы могут прокатиться по всей России, и действовали из патриотизма. Другие хотели оказаться на стороне победителей и сделали ставку на большевиков.

Когда стало ясно, что Красная армия превращается в профессиональную силу, число добровольцев возросло. Но режиму требовалось гораздо больше людей; Троцкий и Ленин прибегли к насильственному набору и к террору, чтобы удерживать их в повиновении. Всего в годы Гражданской войны к красным присоединилось более 50 000 царских офицеров, включая врачей, ветеринаров и инженеров, — причём большинство потому, что их семьи держали в заложниках. Им говорили, что за ними будет следить комиссар и, если они сделают что-либо подозрительное, их расстреляют и/или арестуют их семьи. Набирали лишь тех, у кого родственники оставались в России. В «Особом приказе № 30» Троцкого от сентября 1918 года говорилось: «Пусть перебежчики осознают, что тем самым они предают своих… отцов, матерей, сестёр, братьев, жён и детей».

Одному из своих надёжных большевистских командиров он объяснял, как держать офицеров в узде. «В случае сомнительной… [деятельности] поставьте над ними жёстких комиссаров с револьверами в руках. Перед старшими командирами поставьте выбор: Победа или Смерть. Не спускайте глаз с ненадёжных командиров. В случае дезертирства со стороны представителя командного состава комиссар отвечает головой».

Троцкий был суровым дисциплинаром. Он выносил смертные приговоры за «неоправданное отступление» и «сеяние паники», и Ленин его поддерживал. Когда другие комиссары возразили против распоряжения Троцкого расстрелять комиссара и командира за то, что они отвели свои части во время осады стратегически важного города, Ленин немедленно встал на его сторону. Он написал красными чернилами на чистом листе бумаги с печатью Совнаркома: «Товарищи: зная строгий характер приказов товарища Троцкого, я настолько убеждён, абсолютно убеждён, в правильности, целесообразности и необходимости для успеха дела… что безоговорочно утверждаю этот приказ. Ленин». Подписывая, он сказал Троцкому: «Я дам вам столько чистых бланков, сколько захотите».

Как и Ленин, Троцкий не имел военного опыта и до революции был журналистом, памфлетистом. Но он был решителен, умел добиваться своего, обходя бюрократические препятствия, и обладал ясным, логичным умом. Многие партийцы ненавидели его за высокомерие и надменность, за безукоризненно выглаженные мундиры и вызывающую манеру держаться. Но никто не мог отрицать его энергию или его театральный дар. Он колесил по России в своём особом поезде, оборудованном типографией, телеграфными аппаратами, оркестром и съёмочной группой, и устраивал электризующие выступления, чтобы воодушевлять часто усталые и не желавшие воевать войска. Он был главным агитатором Красной армии.[2]

У белых были некоторые способные военные руководители, но они ссорились между собой. Одни хотели вернуть монархию, большинство хотело возвратить имения дореволюционным помещикам, немногие мечтали о демократии западного типа. Никто не хотел независимости для народов внутри Российской империи, а именно это обещал Ленин — наряду с землёй для крестьян и большей властью для рабочих. Он не собирался выполнять эти обещания, но ради революции годилась любая ложь. «Украинцам и латышам мы можем говорить всё, что угодно… На этом этапе нам надо быть тактичными, осторожными», — говорил он Каменеву. «Позднее мы всегда сможем… [эти страны] вернуть». Белые предлагали крайне мало и всё труднее находили солдат для своих армий. Подобно красным, они были вынуждены прибегать к принудительному набору, использовали облавы и прибегали к террору.

Три белые армии так и не сумели соединиться; красные всякий раз находили способ отрезать их друг от друга. Все они заявляли о победах, но каждая оказывалась недолговечной. В течение большей части войны не существовало устойчивых фронтов. Значительную часть времени это была партизанская борьба между небольшими подразделениями, а не столкновение крупных армий на полях сражений. Некоторые города и городки за два года по пять или шесть раз переходили из рук в руки.

Лучшим из генералов был Антон Деникин, которому во время большевистской революции было сорок пять, — глава Добровольческой армии на юге России, первой из белых частей.[1] Для офицера Императорского Генерального штаба он был человеком весьма скромного происхождения: сын польской швеи и освобождённого русского крепостного. «У него было неотразимое обаяние, — признавал один из его соперников, — склонность к полноте, большая лысая голова, окаймлённая коротко подстриженными седеющими волосами, остроконечная борода и закрученные усы… его нередко упрямое выражение лица смягчалось естественной улыбкой и заразительным смехом». Его дневник показывает, что он был человеком чрезвычайно умным и с богатым воображением. Он понимал, что именно не так с белым движением и с его армией, большинство которой интересовалось скорее добычей, чем войной. «Я ничего не могу сделать со своей армией; я уже рад, если она просто выполняет мои приказы», — говорил он генерал-майору Герберту Холмену, главе британской миссии при его армии. «В некоторых районах, которые мы контролируем, правосудие служит предлогом для личной мести и… является системой организованного самосуда». Он добавлял, что порой его люди, в основном казаки, не могут быстро маневрировать, «потому что слишком перегружены награбленным».

[1] Первоначально ею командовал Лавр Корнилов, который вскоре после Октябрьской революции бежал из заключения в Быховском монастыре вместе с группой офицеров из своего окружения. Но в апреле 1918 года он был убит в бою.

На востоке белыми силами командовал сорокатрёхлетний Александр Колчак, самый молодой контр-адмирал царского флота и полярный исследователь, часто называемый «Колчаком Полярным». Двухметрового роста, гладко выбритый, он был угрюмым педантом — «человек необычайной храбрости и патриотизма, но при этом как большой, больной ребёнок… раб идеи служения России, но раздражительный и порывистый. Он живёт в мире миражей и заимствованных идей». Он называл себя — с оттенком чрезмерного оптимизма — Верховным правителем Восточной России и Сибири, но один из наблюдателей в колчаковской «столице», Омске, сообщал, что «в армии царили разложение, в штабе — безграмотность и бредовые затеи, в правительстве — моральное разложение, паника и казнокрадство». В Омске Колчак жил со своей двадцатилетней любовницей, пока его жена находилась в эмиграции в Париже вместе с их сыном. По словам его главного адъютанта, любимым чтением Колчака, которое он держал при себе, были антисемитские *Протоколы сионских мудрецов*. Дезертирство из обеих армий достигло огромных масштабов — только из Красной армии в 1918 году дезертировало более миллиона человек, а за всю войну — четыре миллиона. Но из крестьянской, набранной по мобилизации армии Колчака дезертировало около 80 процентов — это была, безусловно, самая высокая доля среди всех частей конфликта с любой стороны. В конце концов, в январе 1920 года, его предали свои же и выдали большевикам на расстрел.

Третья армия на северо-западе была самой малочисленной; ею командовал Николай Юденич, пятидесяти пяти лет, сын мелкого придворного чиновника. Почти всю Первую мировую войну он командовал русскими войсками против турок — «человек ростом 157 сантиметров, весом 127 килограммов, с телом, похожим на купе, на почти незаметных ногах». Политически он, вероятно, был самым либеральным из троих и соглашался с тем, что Россия должна стать свободной демократической республикой. Ни двое других не относились к демократии лучше, чем Ленин: Деникин называл Учредительное собрание «чем-то из тех времён, когда Россия была безумна».

Никто из них не признавал требований независимости со стороны народов империи; все соглашались, что Россия должна быть «единой и неделимой». Британия, США и Франция давили на Колчака, добиваясь обещания независимости Финляндии и Эстонии. Он отказался. «История никогда не простит мне, если я отдам то, что завоевал Пётр Великий». Прибалтийские государства и Финляндия сохраняли нейтралитет в Гражданской войне — что было большим подспорьем для большевиков.[3]

Западные союзники снабжали белых большими деньгами и оружием — и лгали об этом. Они поддерживали белых, но столь вяло, что их вмешательство ничего не изменило. У них не было ясной политики по отношению к новому режиму Ленина и не было убеждённости.

Они считали себя совершенно вправе что-то предпринять. Брест-Литовский мир нарушил договоры с Британией и Францией. Немцы перебросили полки с восточного фронта на западный. Большевики захватили иностранные активы, в том числе десятки компаний, принадлежавших американским фирмам, — от *Singer Sewing Machines* до горнодобывающих предприятий. Они конфисковали собственность отдельных западных граждан. Они отказывались выплачивать займы, взятые царским правительством. Они грозили распространять революцию повсюду, ведя кампании пропаганды и подрывной деятельности. Их считали опасными, но союзники не могли договориться, что с этим делать.

Уже через несколько недель после Октябрьской революции британцы решили, что будут помогать белым. «Для нас особенно важно, даже если мы и не сможем в конечном счёте этому помешать, как можно дольше отсрочить установление… [большевистской] власти», — сказал

лорд Милнер премьер-министру Ллойд Джорджу. «Гражданская война [в России] или даже продолжение хаоса и беспорядка были бы нам на руку».

У британцев уже находилось несколько тысяч солдат в портах Архангельска и Мурманска на севере России; они были там с начала Первой мировой войны — снабжали русскую армию и помогали как советники. После большевистского переворота они оставались там почти всю Гражданскую войну, временами вступая в стычки с Красной армией, но теперь снабжали Колчака и Деникина. Официально они утверждали, что сохраняют нейтралитет, и отрицали, будто помогают белым, но никого этим не обманывали — уж точно не Ленина. Британцы были крупнейшими финансовыми покровителями белых. В общей сложности они дали им свыше 100 миллионов фунтов стерлингов — громадную по тем временам сумму, — и направили нескольких шпионов для помощи в заговорах, направленных на подрыв большевистского правительства.

Лгали и американцы — главным образом чтобы скрыть правду от собственного народа, а не для того, чтобы обмануть русских. Государственный секретарь США Роберт Лансинг был страстным антикоммунистом, воином холодной войны ещё до появления самого этого термина. «Большевизм — это самая отвратительная и чудовищная вещь, какую когда-либо измыслил человеческий разум, — говорил он. — Он находит себе приверженцев среди преступников, развращённых людей и умственно неполноценных». Он хотел помогать белым, но тайно и полузаконным способом. Американский закон запрещал правительству выдавать займы независимым армиям или наёмникам. Лансинг писал 13 декабря 1917 года Уолтеру Пейджу, американскому послу в Британии, предлагая обойти Конгресс: «Единственным осуществимым путём представляется, чтобы британское и французское правительства финансировали… это предприятие, насколько это будет необходимо, а это правительство одолжило бы им для этого деньги. Таким образом мы могли бы соблюсти закон и в то же время усилить вооружённое сопротивление большевикам».[4]

Но американский президент и Ллойд Джордж не хотели слишком глубоко ввязываться, пока ещё продолжалась война с Германией. А когда Первая мировая закончилась, было уже поздно. Они одобрили деньги для белых и поощрили Чехословацкий корпус к борьбе против большевиков, хотя первоначально его миссия состояла в том, чтобы пройти через Россию на восток по дороге обратно в Европу и воевать против австрийцев. Дальше американцы идти не были готовы. Один из исторических вопросов в сослагательном наклонении таков: как могла бы развиваться Россия, если бы белые выиграли Гражданскую войну? Но союзники никогда не были готовы вести полномасштабную войну против большевиков — а это был единственный путь, при котором победа белых была бы возможна.

С обеих сторон царила дикая жестокость, отчасти потому, что ни красные, ни белые не могли положиться на лояльность населения на контролируемых ими территориях. В большинстве своём гражданское население, главным образом крестьяне, придерживалось позиции: «чума на оба ваши дома». Они ненавидели большевистские хлебозаготовки и войну против кулаков, но белые так и не признали, что на земле уже произошла революция, и хотели повернуть часы назад, вернув имения прежним землевладельцам. Обе стороны силой загоняли мирных жителей в армии, но крестьяне воевать не хотели. Миллионы голосовали ногами и дезертировали, рискуя смертью и каторгой, если их поймают.

Ленин с тревогой следил за событиями из своей картографической комнаты в Кремле. «Если мы не завоюем Урал к следующей зиме [1919 года], мы потеряем революцию, я уверен», — говорил он Зиновьеву, и часто писал в сходном обеспокоенном тоне. Он засыпал командиров и провинциальных партийных руководителей директивами и телеграммами, призванными либо воодушевить, либо запугать. Когда дела шли хорошо, он изредка позволял себе радоваться.

Симбирск был взят красными, когда он поправлялся после ранения, нанесённого Каплан. «Взятие Симбирска, моего родного города, — самое целительное и лучшее перевязочное средство для моих ран», — писал он Троцкому 10 сентября 1918 года. «Я почувствовал невиданный прилив мужества и сил».

Но в целом его телеграммы были исполнены страха, насилия и требовали всё более широкого применения террора. Читаются они мрачнее некуда. Слово «расстрелять» он употреблял с лёгкостью. В сентябре 1918 года он велел саратовскому партийцу «временно назначить своих собственных армейских командиров и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, не спрашивая никого и не разводя идиотской волокиты». Через несколько дней он писал руководителям Совета на Кавказе: «если начнётся наступление на Баку [где находились большие нефтеперерабатывающие заводы]… подготовьтесь сжечь Баку дотла». Когда месяц спустя был осаждён Казань, он телеграфировал Троцкому: «Ни о каком сожалении к городу и дальнейшем промедлении не может быть и речи… жизненно важно беспощадное уничтожение, как только установлено, что Казань окружена железным кольцом». Он приказал одному командиру, что «взятие заложников из буржуазии и из семей офицеров должно быть усилено ввиду учащающихся случаев измены». Другому через несколько дней было сказано: «Было бы позором не карать расстрелом неявку, уклонение от службы и уклонение от мобилизации». Подобных распоряжений были десятки.[5]

Ленин столкнулся с целым рядом стычек внутри собственного кабинета, которые после его смерти должны были перерасти в крупный раскол в Коммунистической партии. Сразу после революции Ленин быстро увидел, как Троцкий и Сталин ненавидят друг друга; вскоре их соперничество вырвалось наружу в годы Гражданской войны. Тактика Ленина состояла в том, чтобы стравливать их друг с другом.

Их взаимные чувства проявились уже на первом заседании Совнаркома в Смольном сразу после переворота. Оба пришли рано и за деревянной перегородкой услышали «разговор довольно нежного свойства» между Павлом Дыбенко и Александрой Коллонтай, почти на двадцать лет старше его, — они недавно начали роман, ставший предметом пересудов в большевистской партии. Сталин и Троцкий удивлённо переглянулись. Сталин развеселился, но Троцкий, отнюдь не пуританин в собственной жизни, был шокирован. Как потом вспоминал Троцкий, грузин «с какой-то неожиданной развязностью и, указывая плечом на перегородку, сказал ухмыляясь: “Это он, с Коллонтай, с Коллонтай”». Троцкий был оскорблён. «Это их дело», — отрезал он. «Сталин почувствовал, что ошибся… Его жест и смех показались неуместными и невыносимо вульгарными, особенно при тех обстоятельствах и в том месте… он больше никогда не пытался завести со мной разговор личного свойства. Лицо Сталина изменилось. В его жёлтых глазах мелькнула злоба».

Первый признак серьёзного трения появился, когда Сталина в июне 1918 года отправили в Царицын руководить кампанией против кулаков в южнорусском регионе. Это была партийная должность, и формально он не должен был напрямую вмешиваться в дела Красной армии, находившейся в сфере Троцкого. Но уже через несколько дней он писал Ленину, жалуясь, что в Царицыне, важной армейской базе, творится «оргия спекуляции». Он потребовал военных полномочий для ликвидации «катастрофы» на Южном фронте, чтобы жёстче распоряжаться назначениями. «Если Троцкий будет бездумно раздавать удостоверения направо и налево… можете быть уверены, что через месяц всё здесь, на Северном Кавказе, будет для нас потеряно надолго». Он хотел получить право смещать командиров, «и отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит». Услышав это, Троцкий пришёл в ярость. «Категорически настаиваю на отзыве Сталина», — телеграфировал он в Кремль. Ленин на время замял ссору. Но она

вспыхивала вновь и вновь. Через несколько месяцев Сталин попытался добиться от Центрального Комитета Коммунистической партии смещения Троцкого с поста главы Красной армии. Он проиграл, и Троцкий получил вотум доверия. Это был временный удар по Сталину, и Ленин снова попытался их примирить.

В другой раз Троцкий пожаловался, что Сталин пил вино из царских кремлёвских погребов. Сталина вызвали к Ленину на трёхстороннюю разборку. «Если на фронте пойдёт слух, что в Кремле пьют, это произведёт дурное впечатление». Сталин попытался отшутиться. «Как нам, кавказцам, обходиться без стакана вина?» — возразил он. На этот раз Ленин поддержал Сталина. «Видите, грузин не может обойтись без бокала вина время от времени». Этим разговор и закончился, и, как позже сказал Троцкий, «я капитулировал без борьбы». Ленин понимал, что распри между двумя соперниками однажды оставят шрам на созданной им партии, но ничего не сделал, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Ленин считал, что ему нужны оба.[6]

В какой-то момент в конце лета 1919 года Добровольческая армия Деникина находилась в 350 километрах от Москвы. Но это была вершина их успеха. Они слишком растянулись, не могли поддерживать линии снабжения, и, когда столкнулись с контрударом, были вынуждены отступить. Для таких сторонников, как Марина Цветаева, белые были «юностью и славой России», единственной подлинной надеждой на поражение большевиков.[2] Но для большинства русских они казались столь же жестокими, как и большевики. Их поражение было не только военным, но и политическим; они так и не получили достаточной поддержки, чтобы свергнуть режим, которым умело — хотя и беспощадно — руководили. Террор был оружием, которое Ленин всегда был готов применять, но действовал он также с помощью хитрости, проницательности и здравого суждения. У него была ясная цель, и он умел вдохновлять других на её достижение. Белые же, как выразился один американский наблюдатель войны, «редко поднимались выше уровня анархического воеводства». Керенский был с этим согласен. Летом 1919 года он говорил: «нет такого преступления, которого… [белые армии] не совершили бы. Казни и пытки происходили в Сибири… и в других местах, и нередко население целых деревень подвергалось порке, включая учителей и интеллигентов».

В одной деревне, Лежанке, близ Ростова, офицеры хладнокровно зарезали шестьдесят крестьян, в том числе стариков и женщин, в отместку за более раннее нападение красных на белогвардейцев. Сотни деревенских жителей были раздеты и высечены, в то время как другие группы офицеров Добровольческой армии стояли рядом и смотрели, многие из них смеялись. Это было рядовое нападение; подобных случаев были десятки. «Мы принесли с собой не прощение и мир, а лишь жестокий меч мщения», — признавал Пётр Врангель, один из старших белых командиров.[7]

Как это часто бывало в русской истории, именно евреи стали прямой мишенью. Когда армия Деникина отступала от Москвы, она устроила оргию кровавых погромов. Командующий ничего

---

[2] Цветаева написала цикл пронзительных стихотворений — Лебединый стан — о Гражданской войне и борьбе против большевиков. Одно из них называлось просто «Белогвардейцы» и воплощало всё то, что она искренне считала их сущностью:

Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской!
Белогвардейцы, белые грузди
Песенки русской.
Белогвардейцы! Белые звёзды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Чёрные гвозди
В рёбра Антихристу!

не сделал, чтобы их остановить, а его политические офицеры изрыгали антисемитскую пропаганду: все коммунисты — евреи, именно евреи убили царя. Троцкий — «настоящее имя Бронштейн, еврейский массовый убийца» — был выделен как главный преступник. [3] Во всём обвиняли евреев, а значит, казалось, белая пропаганда утверждала, что убивать их вполне законно.

Погромов были сотни, и офицеры Добровольческой армии участвовали в них с энтузиазмом. С 1 по 5 октября 1919 года казачьи солдаты громили еврейский квартал Киева, вымогая деньги, убивая и насилуя, пока их офицеры подзадоривали их; «жиды убивают наших людей, и все они поддерживают большевиков», — сказал один офицер своим людям.

Даже Василий Шульгин, антисемит, депутат Думы, присутствовавший при отречении царя, был потрясён. «Ночью улицы Киева охвачены средневековым ужасом. Среди тишины и пустынных улиц внезапно начинается вой, разрывающий сердце… целые улицы, охваченные страхом, воют». Один очевидец описывал этот кошмар: «Казаки разделялись на отдельные группы по три-четыре человека. Группа врывалась в еврейский дом, и первым их словом было: “деньги”… Они требовали хозяина дома и набрасывали ему на шею верёвку. Один казак брал один конец верёвки, другой — другой и начинали душить его. Если на потолке была балка, они начинали его вешать. Если кто-нибудь разражался слезами или молил о пощаде — даже ребёнок, — его забивали до смерти. Разумеется, семья отдавала всё до последней копейки. Когда денег не было, казаки душили жертву, пока та не теряла сознание, после чего ослабляли верёвку. Жертва падала на пол, а затем казаки… лили на неё холодную воду и приводили в чувство. Потом всё начиналось снова. Иногда это повторялось пять или шесть раз».

В Чернобыле евреев согнали в синагогу и подожгли здание. В Чаркане они насиловали сотни девушек и заставляли их семьи смотреть. Терпя поражение от большевиков, белые вырезали около 150 000 мирных жителей.

У красных тоже были отдельные погромы, хотя по числу они почти не шли ни в какое сравнение с организованной жестокостью Добровольческой армии. В начале 1920 года до Ленина дошли сообщения, что в Житомире, столице Волынской губернии, «новая волна погромов прокатилась по уезду… Части Первой Конной армии [большевистский корпус] нападают на еврейское население, убивают и грабят». Из Украины пришли сведения, что красные отряды убили «в Рогачёве более тридцати евреев, в Баракопве — четырнадцать. Бердичевский уезд разграблен… Горашки и Черняков полностью разорены».

Ленин распорядился провести полное расследование и пытался выступать против антисемитизма, хотя понимал, что это, вероятно, мало поможет делу большевиков. Когда он записал шестнадцать трёхминутных пропагандистских граммофонных пластинок для проигрывания в деревнях и народных домах, одну из них он посвятил теме «О погромах», а другую — «Преследование евреев». «Не евреи — враги трудящихся, — говорил он. — Это капиталисты всех стран. Подавляющее большинство евреев — сами рабочие… Это наши братья, угнетаемые капиталистами, наши товарищи в борьбе за социализм. У евреев есть свои кулаки, свои эксплуататоры и свои капиталисты, так же как и у русских. Так же как и у всех народов… Именно капиталисты разжигают ненависть к евреям».[8]

Один из ведущих деятелей среди союзников оказался достаточно честен, чтобы признать: Запад помогает белым силам — и хочет помогать им более действенно. Уинстон Черчилль, военный

[3] Когда Троцкий сказал, что, да, по происхождению он еврей, но иудаизм ненавидит и является интернационалистом, главный раввин Москвы Яков Мазе заметил: «Революцию сделали Троцкие, а расплачивались за неё Бронштейны».

министр, говорил, что большевизм «следует задушить в колыбели», и постоянно требовал полномасштабного военного вмешательства бок о бок с белыми, чтобы свергнуть Ленина. Для него коммунизм «не был учением, он был моровой язвой. Большевики — враги рода человеческого, и их необходимо подавить любой ценой». Не склонный к преувеличениям, он говорил, что Россия «низводится… до животной формы варварства. Цивилизация гаснет на громадных пространствах, тогда как большевики скачут и кривляются, как… свирепые павианы».

Он немного увеличил число британских войск в Мурманске и Архангельске до 3 000 человек, хотя кабинет постановил, что они не должны участвовать в боевых действиях. Но он нарастил поставки оружия белым. По его инициативе, в условиях строжайшей секретности, в Россию была отправлена партия *M Weapons* — баллонов с отравляющим газом, предназначенных для применения белыми силами. Было послано пятьдесят тысяч штук вместе со средствами их запуска. В общей сложности против большевистских сил использовали 2 717 единиц, хотя мирные жители тоже стали сопутствующими жертвами. «Теперь следует в полной мере использовать газовые снаряды силами ваших войск или переданные нами [белым] войскам», — писал Черчилль командующему британскими силами в России.

Некоторые старшие офицеры опасались, что сведения о применении британского химического оружия станут достоянием общественности, но Черчилль оставался убеждён, что газ — вполне допустимое оружие. Он говорил, что «очень хотел бы, чтобы большевики его [химическую атаку] получили, если мы можем позволить себе раскрытие». Он считал, что это будет самым действенным средством для сокрушения большевиков, пока не стало слишком поздно.[4] Когда другие члены кабинета возражали, он обвинял их в «излишней щепетильности». Он говорил: «Газ — более милосердное оружие, чем фугасный снаряд, и принуждает противника принять решение с меньшими потерями жизни, чем любое другое средство войны». На протяжении всего 1918 года против большевиков было совершено множество химических атак, но они оказались менее эффективными, чем надеялись Черчилль и его генералы.

Черчилль не раз писал Вудро Вильсону, требуя куда более решительного вмешательства, но президент был осторожен. Вместо этого он попытался прибегнуть к дипломатии. Он предложил в начале 1919 года провести мирную конференцию между красными и белыми на одном из Принцевых островов в Мраморном море близ Константинополя. Ленин был готов хотя бы говорить о переговорах. Он думал, что после победы над Германией союзники не ограничатся поддержкой белых, а объединят силы, чтобы уничтожить советский режим. Он был готов обсуждать сделку, при которой большевики сохраняли бы власть над большей частью Великороссии. И он сказал комиссарам, что готов вести переговоры о выплате старых западных займов и о компенсации иностранцам за конфискованную собственность. Маловероятно было, что соглашение удастся заключить, но Ленин всё равно сказал, что пошлёт делегацию на переговоры. Колчак и белые отказались: они не хотели обсуждать урегулирование, предусматривающее признание независимости национальностей.

Вильсон попытался ещё раз. Он направил в качестве мирного посланника писателя и миллионера-дипломата Уильяма Буллита, но его усилия ни к чему не привели. К концу лета

---

[4] Так же он относился и к применению газа против восставших племён в Северной Индии и Афганистане. Ллойд Джордж часто говорил ему умерить риторику против большевиков. После одной такой вспышки на заседании кабинета премьер написал ему, прося замолчать насчёт России. «Мне интересно, есть ли вообще польза в том, чтобы я предпринял ещё одну последнюю попытку склонить вас избавиться от этой навязчивой идеи, которая, простите, что говорю это, выводит вас из равновесия. Я снова прошу вас оставить Россию в покое — по крайней мере на несколько дней».

1919 года красные уже шли к победе в Гражданской войне, и Ленин был всё менее склонен к компромиссам. Белые не желали уступать в вопросе независимости других народов империи. Их позиция раздражала Вильсона в тот самый момент, когда на Версальской конференции он предлагал дать самоопределение десяткам новых стран, возникавших на руинах Австрийской и Османской империй.

Американцы и британцы бросили белых. «Мы не можем позволить себе продолжать столь дорогостоящее вмешательство в бесконечную Гражданскую войну», — сказал Ллойд Джордж осенью 1919 года. «Надо найти другие способы восстановить мир». Для белых это был сокрушительный удар, и их поражение сопровождалось массовым исходом из России. В течение двух лет после революции страну покинуло от полутора до двух миллионов человек, главным образом образованных, профессиональных людей, интеллигенции. Многие из них согласились бы с Зинаидой Гиппиус, которая в эмиграции во Франции с горечью размышляла: «Мы знаем, почему Белое движение погибло… вожди просчитались в силе врага… но главная причина была в том, что оно было полностью оставлено — и внутренне, и внешне. Оно было оставлено не только русскими, но и вчерашними вероломными союзниками».

К концу 1919 года Ленин уже не боялся внешнего нападения, хотя вокруг России всё ещё сохранялся *cordon sanitaire* и действовала экономическая блокада: его режим не был признан международно. Он был уверен, что никакая вторгшаяся армия его уже не свергнет. Внутреннее сопротивление ещё существовало, но его можно было очаровать, обмануть, запугать или, в конце концов, террором принудить к покорности. Именно с конца Гражданской войны Ленина можно назвать диктатором России, первым красным царём.[9]

ГЛАВА 47. Похороны в Москве

«Для романтиков любовь занимает в жизни человека первое место — выше всего остального. И до недавнего времени я была ближе к тому, чтобы верить в это, чем теперь. Правда, для меня любовь никогда не была единственным… Была ещё и общественная деятельность… в прошлом бывали времена… когда я приносила себя в жертву ради пользы дела… В моей жизни любовь по-прежнему занимает большое место, она заставляет меня много страдать и занимает много моих мыслей. Но всё же ни на минуту я не перестаю сознавать, что, как бы ни было мне больно, любовь и личные отношения — ничто по сравнению с нуждами борьбы».
Инесса Арманд, 11 сентября 1920 года

Когда 11 октября 1920 года в Москве занималась заря, к Казанскому вокзалу подошёл поезд, состоявший всего из двух вагонов. На платформе его ожидали почётный караул, стоявший по стойке смирно, торжественная встречающая группа из двадцати товарищей, одетых в чёрное, и катафалк, запряжённый двумя белыми лошадьми. Отряд часовых поднялся в задний вагон поезда и вскоре появился вновь, неся гроб, покрытый чёрным сукном с красной накидкой сверху. Гроб поставили на повозку, и кортеж медленно двинулся на полтора километра через центр города к громадному Дому союзов,[1] большому неоклассическому зданию в Тверском районе, неподалёку от Кремля. Похоронная процессия ранним утром, да ещё с явными знаменитостями среди участников, была в Москве зрелищем необычным, и многие люди, направлявшиеся на работу, останавливались поглазеть. Вскоре среди зевак пошёл шёпот: разве среди скорбящих не Ленин? Сотни людей присоединились к процессии, сперва даже не зная, чей гроб они сопровождают.

Закрытый гроб установили на возвышении в центре Дома союзов, где тело должно было лежать для прощания один день; ночью его охраняли четыре офицера Красной армии и группы партийных работников-большевиков, сменявшиеся каждый час.

Похоронная процессия на следующее утро, ясное и свежее, была куда многочисленнее. Тысячи людей вышли отдать последний долг, когда катафалк везли на небольшое расстояние к Красной площади, где тело предстояло предать земле у Восточной стены Кремля.

Пока оркестр Большого театра играл Шопена, Моцарта и Бетховена, к месту погребения прибыли почти все партийные вельможи-коммунисты, включая Ленина, «с непокрытой головой, в осеннем пальто». Когда тело опускали в могилу, толпа пела «Интернационал». У стены ровными рядами лежали десятки венков. Один из них, из белых гиацинтов с красной лентой, был просто надписан: «Товарищу Инессе от В. И. Ленина».

Никто прежде не видел его столь подавленным чувствами на людях. Коллонтай говорила, что он «был неузнаваем на похоронах Инессы. Он шёл с закрытыми глазами, и каждую минуту нам казалось, что он может упасть на землю». Надя плакала открыто, но изо всех сил держала Ленина под руку, стараясь поддержать его. «Я никогда не видела такого мучения. Я никогда не видела другого человеческого существа, настолько всецело поглощённого горем», — вспоминала Балабанова. «В какой-то момент я оказалась совсем рядом с Лениным. Не только его лицо, но всё его тело выражало такую скорбь, что я не решилась поздороваться с ним, даже

[1] Это великолепное здание было построено как Дворянское собрание в середине XVIII века и позднее, во время великой сталинской чистки, станет местом, где будут проходить громкие показательные процессы.

малейшим движением. Было ясно, что он хочет остаться наедине со своим горем. Он словно съёжился… глаза его казались затопленными слезами, которые он с усилием сдерживал».1

Несколько месяцев она чувствовала себя плохо: была измучена, переутомлена и жаловалась на жар. В марте 1919 года, в разгар Гражданской войны, Инесса отправилась в трудную дипломатическую миссию во Францию во главе делегации Красного Креста для переговоров о возвращении 45 000 русских военнопленных с Западного фронта. У неё было предчувствие, что она умрёт раньше Ленина. За день до отъезда она написала дочери Инне: «Я вкладываю письмо для Саши и Феди [её сыновей] и третье — для Ильича. О третьем должна знать только ты… пока никому об этом не говори. Когда мы вернёмся, я его порву. Если со мной что-нибудь случится… тогда ты должна лично передать письмо В. И. Сделать это нужно так: пойти в *Правду*, где работает Мария Ильинична. Отдай ей письмо и скажи, что оно от меня и лично только для него… А пока храни его у себя».

Миссия продолжалась два месяца. Когда она вернулась, она выглядела мучительно исхудавшей, почти измождённой и на все свои сорок пять лет. Ленин часто виделся с нею — она нередко приходила в Кремль, как и её дети, а иногда он сам навещал её в квартире неподалёку. Он тревожился за её здоровье. Когда зимой 1919–1920 годов она слегла с целой чередой недугов, он посылал к ней врачей, доставлял ей английские и французские газеты и отправлял многочисленные записки вроде той, что в феврале 1920 года: «Дорогой друг, я хотел позвонить тебе… когда услышал, что ты больна, но телефон не работает… Я велю его починить».

Через несколько недель — ещё одно письмо: «Пожалуйста, скажи, что с тобой. Времена теперь ужасные: тиф, грипп, испанка, холера. Я только что встал и никуда не выхожу. У Нади почти 39, и она хочет тебя видеть. Какая у тебя температура? Не нужно ли тебе какого лекарства? Скажи мне откровенно».

Он приказал своему канцелярскому аппарату прислать к ней врача, а спустя несколько часов написал вновь: «Был ли у тебя врач? Очень прошу тебя не выходить и скажи от меня твоей дочери, что я хочу, чтобы они присматривали за тобой и не выпускали тебя 1) пока температура не станет нормальной и 2) без разрешения врача».

Эти письма, быть может, уже не были столь страстными, как прежде, но он по-прежнему неизменно обращался к ней на «ты», и в них чувствовалась его забота. «Инесса, я звонил узнать, какого размера ты носишь галоши? Надеюсь, тебе удастся достать их. Напиши и скажи, как ты себя чувствуешь. Был ли врач?»

В августе 1920 года она сказала ему, что чувствует полное изнеможение, будто у неё «обваливаются лёгкие», что она подавлена своей работой и ей нужен полный отдых. Она всегда любила море и хотела поехать на юг Франции, где воздух был чист. В своём последнем письме к ней, датированном 20 августа, он отговорил её от Франции: «Не могу ли я что-нибудь сделать для тебя… устроить тебя в санаторий? Я с величайшей охотой сделаю всё. Если ты поедешь во Францию, я, конечно, помогу и с этим. Но я немного тревожусь, вернее — боюсь, очень боюсь, что там ты попадёшь в беду. Тебя арестуют и надолго задержат. Тебе надо быть осторожной. Не лучше ли поехать в Норвегию… или Голландию. Или Германию?… Лучше не ездить во Францию, где тебя могут посадить… Если тебе не по душе санаторий, почему бы не поехать на юг? К Серго [Орджоникидзе] на Кавказ. Серго устроит тебе отдых, солнце… он всё сможет наладить. Подумай об этом».

В тот же день он написал официальную записку «по принадлежности» как глава правительства. «Прошу вас всячески содействовать устройству наилучших условий для размещения и лечения писательницы, товарища Инессы Арманд, и её сына. Прошу оказывать полное доверие и всяческое содействие этим партийным товарищам, с которыми я лично знаком». Он также

позвонил Орджоникидзе, прося его особенно позаботиться о безопасности и размещении Инессы в Кисловодске, и велел своим секретарям помочь ей отправиться в путь и проследить, чтобы она ехала на юг с возможными удобствами.2

Почти сразу же она стала жертвой эпидемии холеры, охватившей южный Кавказ. Её последняя болезнь была ужасной. Она то приходила в сознание, то вновь впадала в забытьё, но в минуты просветления вела скорбный дневник своей болезни и болезненно честные, трогательные записи, полные признаний о своих чувствах к Ленину.

1 сентября 1920 года она записала в дневнике: «Теперь, когда у меня есть время, я буду писать каждый день, хотя голова у меня тяжёлая и я чувствую себя так, словно превратилась в желудок, который всё время требует пищи… Я ещё чувствую дикую потребность быть одной. Меня утомляет даже тогда, когда люди вокруг меня просто разговаривают, не говоря уже о том, если и самой приходится говорить… Я почти никогда не смеюсь и не улыбаюсь потому, что меня побуждает к этому чувство радости, а лишь потому, что иногда следует улыбаться. Меня также поражает моё нынешнее равнодушие к природе. Раньше она так трогала меня. И я замечаю, что теперь меньше люблю людей. Раньше я подходила ко всякому с тёплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна… Почти все мне скучны. Тёплые чувства у меня остались только к детям и к В. И. Во всём остальном моё сердце словно умерло. Словно, отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу, я иссушила в себе все источники любви, всё моё сочувствие к людям, которого прежде было так много. Ничего не осталось, кроме В. И., моих детей и немногих близких… И люди чувствуют эту мёртвость во мне и платят мне той же монетой — равнодушием или даже неприязнью (а ведь прежде люди меня любили)… Я живой труп, и это страшно!»

Из её последней дневниковой записи, сделанной 11 сентября, ясно, что она знала: скоро умрёт. Последние её слова Ленин одобрил бы всем существом. «Для романтиков любовь занимает в жизни человека первое место — выше всего остального. И до недавнего времени я была ближе к тому, чтобы верить в это, чем теперь. Правда, для меня любовь никогда не была единственным… Была ещё и общественная деятельность… в прошлом бывали времена, и не один раз, когда я приносила себя в жертву ради пользы дела. Но значение любви по сравнению с делом стало теперь совсем иным, сравнивать их нельзя. В моей жизни любовь по-прежнему занимает большое место, она заставляет меня много страдать и занимает много моих мыслей. Но всё же ни на минуту я не перестаю сознавать, что, как бы ни было мне больно, любовь и личные отношения — ничто по сравнению с нуждами борьбы».

Ленин знал, что она тяжело больна, и мучился чувством вины оттого, что сам отправил её на Кавказ, где свирепствовали болезни, а местами ещё продолжались стычки и царил послевоенный хаос. Рано утром 25 сентября он узнал, что ей стало гораздо лучше и что и она, и её сын Андре здоровы. Позднее в тот же день он получил телеграмму. «Совершенно срочно и лично. Ленину. Не удалось спасти товарища Инессу Арманд, заболевшую холерой. Она умерла 24 сентября. Отправляем тело обратно в Москву. Подписано: Назаров».

Ленин настоял, чтобы тело отправили обратно в Москву, и настоял на государственных похоронах, но возвращения пришлось ждать две недели. Ленин был в ярости из-за проволочек и посылал чиновникам одну телеграмму за другой, требуя ускорить дело. В условиях голода и эпидемий по всей южной России вовсе не просто было добыть железнодорожный вагон и гроб в отдалённых районах. Почти всех тогда хоронили без гробов. Когда Инесса была выставлена для прощания, она лежала в закрытом гробу, обитом свинцом, так как с момента её смерти в жару позднего лета прошло уже немало времени.3

После смерти Инессы её младшие дети подолгу жили в Кремле и летом бывали в Горках. Надя и Ленин неофициально усыновили их. «Владимир Ильич и Надежда Константиновна стали

опекунами моей сестры, моего младшего брата и меня», — говорила Инна. Бездетная чета, по-видимому, наслаждалась этой ролью. Варвара прожила в кремлёвской квартире много месяцев после похорон. Надя часто писала девушкам, обычно начиная письма словами «Моя любимая дочь», и постоянно суетилась из-за их здоровья и питания. Те отвечали ей той же привязанностью. Спустя годы, всякий раз, когда кто-нибудь из них жил в Москве, они навещали её каждое воскресенье.

Когда в июле 1921 года Варвара и Александр отправились в Тегеран, Ленин приказал Теодору Ротштейну, русскому послу в Иране, присматривать за ними: «Надеюсь, вы сумеете уделить немного времени детям Инессы». Ленин регулярно писал мальчикам, посылая Андре помеченные собственноручно шахматные задачи, которые сам для него составлял.[2]

Оба они старались сохранить память об Инессе. 24 апреля 1921 года он написал Каменеву, председателю Московского совета, спрашивая, нельзя ли устроить ей постоянный памятник на Красной площади и высадить цветы вокруг её могилы. Ей поставили простой гранитный надгробный камень. Вскоре после её смерти вышел сборник очерков о её жизни как социалистки и о её заслугах. Самый тёплый и самый большой текст написала Надя, которая до конца жизни держала на своём письменном столе фотографию Инессы. Единственные другие снимки там были — её матери и Ленина.4

[2] Варвара окончила Художественный институт в Москве в 1927 году. Семь лет она проработала на текстильной фабрике, затем стала преподавателем графического дизайна и художницей в собственном праве — после Второй мировой войны ей было присвоено звание «Заслуженный художник» СССР. В 1977 году состоялась ретроспективная выставка её работ, выполненных в традиции социалистического реализма. Она умерла в 1987 году. Инна жила в Берлине, где работала в Коминтерне, и вышла замуж за Гуго Эберлейна, одного из ведущих немецких коммунистов. У них родилась дочь Инесса. В 1933 году они покинули Германию. Но даже покровительство Нади не смогло спасти Эберлейна от сталинского террора. В какой-то момент, после пакта Гитлера—Сталина, он едва не был выдан гестапо. Этой участи он избежал, но погиб не менее страшно: умер в ГУЛАГе в 1941 году. До ухода на пенсию в 1961 году Инна работала в Институте марксизма-ленинизма, редактируя разделы ленинского собрания сочинений. В 1971 году она написала воспоминания, включив в них письма Инессы к детям. Её сын Фёдор поступил в авиацию инструктором — единственный из детей Инессы, кто не вступил в коммунистическую партию. Он умер (естественною смертью) в 1936 году. Андре вступил в московское ополчение; он погиб на фронте в 1944 году. Александр был мелким дипломатом и до самой своей смерти в 1960-х годах оставался апологетом Сталина.

ГЛАВА 48. Интернационал

«Политика и практика русского правительства всегда состояли в том, чтобы продвигать свои захваты так быстро и так далеко, как только позволяли апатия и недостаток твёрдости других правительств, но всякий раз останавливаться и отступать, когда оно встречало решительное сопротивление, а затем ждать следующего благоприятного случая, чтобы снова броситься на намеченную жертву».
Генри Джон Темпл, 3-й виконт Пальмерстон (1784–1865)

«Ни одна нация, порабощающая другую, не может быть свободной».
Владимир Ленин, Империализм как высшая стадия капитализма*, 1917*

В ноябре 1920 года, через месяц после похорон Инессы, в Москву приехала великая дама германского социализма Клара Цеткин, хорошая подруга Нади, и имела долгую беседу с Лениным. «Пока мы говорили, его лицо словно усыхало у меня на глазах, — рассказывала она одному берлинскому товарищу. — Большие и малые борозды всё глубже врезались в него. И каждая такая борозда была прочерчена тяжёлой заботой или грызущей болью. На его лице лежало выражение невысказанного и невыразимого страдания». Цеткин думала, что его вид как-то связан со смертью Инессы Арманд, — но, как она указывала, в ту минуту у него была и более насущная забота. Советский режим проигрывал войну Польше, и Россия терпела унижение.

Войну начали поляки, недавно обретшие независимость. Весной 1920 года, при поддержке Англии и Франции, они вторглись на Украину.[1] У поляков и украинцев за многие века накопились сложные территориальные и религиозные конфликты; но теперь дерзкий и самоуверенный польский вождь, маршал Юзеф Пилсудский, возобновил исторические притязания на земли, входившие в состав польской державы XVII века. Пилсудский был связан с братом Ленина по делу о заговоре с целью убийства царя Александра III — за это он провёл пять лет в ссылке в Сибири, — но он был польским националистом, а не социалистом, и не испытывал ни малейшей симпатии ни к Ленину, ни к большевикам.

К началу 1920 года Гражданская война в России была уже выиграна красными, хотя кое-где ещё оставались завершающие карательные операции. И вот, спустя всего восемнадцать месяцев после того, как Польша вновь обрела независимость, Пилсудский воспользовался случаем. Он повёл армию в 70 000 поляков на восток и захватил значительную часть Белоруссии и Литвы. 7 мая он взял Киев, пообещав «освободить Украину от России».

Ленин, великий марксист-интернационалист, теперь воззвал к патриотизму и к правым чувствам: «Мы дадим полякам урок, которого они никогда не забудут», — сказал он. Тысячи бывших солдат царской армии добровольно вступили в войско, чтобы нанести ответный удар по полякам и в оборонительной войне отбросить их назад, вернув Украину. Этой силой командовал новый молодой герой войны — Михаил Тухачевский, которому было всего двадцать семь лет. Новый блестящий герой революции не мог похвастаться безупречно пролетарским

[1] Хотя не все союзные лидеры поддерживали поляков. Бывший британский премьер-министр Герберт Асквит недоумевал, почему одной из первых вещей, которые делает отчаянно бедная страна, зависящая от продовольственной помощи из Америки, становится развязывание войны. В августе 1920 года он говорил: «Шесть месяцев назад… [Польша] представляла собой население, поражённое болезнями и голодом, и не будет преувеличением сказать — стоявшее на пороге национального банкротства; и именно в этих обстоятельствах она начала эту кампанию… Это была чисто агрессивная авантюра, безрассудное предприятие».

происхождением: он происходил из аристократического рода, который возводил своё происхождение к дворянскому клану XII века в Священной Римской империи, служившему правителям Киевской Руси. Но мать его была служанкой. В рядах Красной армии он пользовался огромной популярностью, и, когда он присягнул на верность Коммунистической партии, кремлёвские вельможи стали смотреть на него как на военного спасителя. Его армия оттеснила поляков, и те обратились к Западу за помощью в заключении мира.[1]

Ленин всегда верил, что мировая революция уже не за горами. В 1919 году в Берлине и Мюнхене произошли недолговечные социалистические перевороты, подавленные германской армией и милицией антикоммунистов — фрайкорами. В Венгрии в течение пяти месяцев существовало советское правительство под руководством Белы Куна, строившее себя по образцу ленинского режима, пока в августе 1919 года его не разгромил правый авторитарный деятель — адмирал Миклош Хорти.

Вера Ленина ничуть не ослабла: всемирная революция, конечно, шла несколько медленнее, чем он ожидал, но она приближалась. Восстания в Германии потерпели поражение, однако, как он говорил в июне 1919 года, через неделю или около того после похорон Розы Люксембург, вдохновительницы берлинского восстания, «только слепой может не видеть брожения в Германии». В марте 1920 года он полагал, что «недалёк тот день, когда мы пойдём рука об руку с германским советским правительством». Примерно в то же время он сказал британскому журналисту Артуру Рэнсому: «Надо быть идиотом, чтобы не понимать, что в Британии назревает социалистическая революция». Рэнсом покачал головой и заметил, что, быть может, британцы не относятся к числу революционных народов. Ленин сурово ответил ему, что тот смотрит на вещи недостаточно «широко и объективно».

В первые два года после своего переворота Ленин был убеждён, что его режим не сможет выжить, если в Европе не вспыхнут революции. Советское правительство будет «окружено, и нас задушат», — говорил он Троцкому. Он помогал венгерским коммунистам деньгами и бесконечными посланиями Беле Куну с советами, хотя напрямую помочь другим революционерам мог очень мало.

Но к созданию Коминтерна (Коммунистического интернационала) он относился вполне серьёзно. Это должна была быть группа социалистических партий по всей Западной Европе и в США, которые и разожгли бы революции — так же, как большевики сделали это в России. Идея опиралась на его версию одного из марксистских принципов: «Интересы социализма, мирового социализма, выше национальных интересов, интересов государства». Но, как и столь часто бывало, ленинская потребность всё контролировать, всё централизовать и всем господствовать перевернула этот принцип с ног на голову. Коминтерн управлялся из Москвы и вскоре превратился в одно из орудий советской внешней политики. В его учредительных правилах говорилось, что если его члены хотят считаться коммунистическими партиями, если они хотят получать помощь и поддержку из России, то все они должны быть организациями ленинского типа, построенными по образцу большевиков. Они должны были изгнать из своих рядов «умеренных и центристов»; должны были стремиться захватить профсоюзы; и почти во всём обязаны были следовать московской линии. В долгосрочной перспективе это нанесло огромный вред самой идее мировой революции и отбросило назад мечты Ленина и его преемников о распространении социализма. Представление ультралевых партий за рубежом как марионеток русских играло на руку правым.[2]

Когда поляки были отброшены за собственную границу, большинство других кремлёвских вождей полагало, что на этом война и закончится и можно будет потребовать от Пилсудского выгодную цену за мир. Британский министр иностранных дел попытался выработать мирное

соглашение и провёл новую границу между Россией и Польшей: линию Керзона.[2] Поляки чувствовали себя вынужденными принять её — по крайней мере пока. Но Ленин был полон решимости идти дальше, превратить оборонительную войну в наступательную и взять Варшаву. Троцкий был против: «Это будет самая страшная ошибка, какую вы только можете совершить», — говорил он Ленину. Сталин поначалу тоже возражал (хотя вскоре переменил мнение и стал поддерживать вождя). Дзержинский, учившийся в той же школе, что и Пилсудский, предупреждал, что поляки будут сражаться ожесточённо и русские никогда не смогут овладеть Варшавой. «Польша не созрела для революционной войны». Карл Радек, ещё один поляк, просто посмотрел на Ленина и сказал: «Вас разобьют… и жестоко». Но Ленин не хотел слушать. 22 июля он приказал Тухачевскому перейти польскую границу «и взять Варшаву в течение месяца». Это была безрассудная ставка — «порыв фантазии», как выразился один из его критиков в Совнаркоме.

Поначалу вторжение развивалось успешно, и война пользовалась популярностью. Ленин, возможно, и преследовал цель экспорта революции, но газеты, коммунистическая печать, были полны националистической злобы против «иезуитских поляков» и призывов отомстить за их «злонамеренное предательство». Символично, что уже через несколько дней был взят Брест-Литовск. Армия Тухачевского численностью в 140 000 человек продвигалась со скоростью двадцать километров в день. Появился и другой герой войны — лихой кавалерийский офицер с пышными усами, тридцатисемилетний Семён Будённый, который две недели всё сметал на своём пути, проносясь через Западную Украину в Польшу. Но армейские запасы начали иссякать, боеприпасов не хватало, и когда польские силы перегруппировались под Варшавой, русская армия была наголову разбита. За позднее лето и осень 1920 года, вынужденные отступать, русские потеряли 30 000 убитыми и 20 000 тяжело ранеными.

Ленин не думал, что Красная армия сможет вторгнуться в Германию или Венгрию, — или даже удержать советизированную Польшу. Но он хотел изменить послевоенное европейское равновесие, сложившееся после Версаля, и прорвать *cordon sanitaire* — санитарный кордон, который Запад установил вокруг России. Если бы Ленин заключил сделку в июле 1920 года, он мог бы удержать всю Украину, Литву, Белоруссию и части восточной Польши. Когда же в марте 1921 года он подписал Рижский договор, он потерял всё это.

Свои ошибки он признавал в частном порядке — перед Троцким, Дзержинским и Радеком. Но публично прибегал к изворотливым формулировкам — то ли желая обмануть самого себя, то ли собственную партию. «Не добившись международной победы… верной победы, мы всё же завоевали возможность существовать бок о бок с капиталистическими державами». Когда он встретился с Цеткин, то сказал ей, что удивлён тем, что «поляки мыслили и действовали не социально, не революционно, а как националисты и империалисты. В Красной армии они увидели врага, а не братьев, не освободителей. Будённый и другие военные вожди были блестящи… но они не могли искупить наши политические ошибки».[3]

После польской войны Ленин отказался от мысли посылать войска воевать на чужой земле: «нельзя делать революцию за границей остриём штыка», — сказал он Каменеву. Но от распространения революционных идей в попытке разрушить капиталистические державы он не отказался. Его намерением всегда было разжигать восстания в других странах. Теперь он мог оправдывать это тем, что союзники помогали белым против его режима; значит, и советское

[2] В действительности эта линия была очень похожа на старую границу, установленную ещё в 1780-х годах. Она не нравилась ни одной из сторон, и линия Керзона оставалась крупным предметом конфликта с 1920 года до самого конца Второй мировой войны, когда Сталин — вместе с Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями — вновь перекроил Польшу.

вмешательство на Западе было законным. Довод это был, возможно, слабый и лицемерный, но он пользовался им постоянно.

Он не жалел средств на пропаганду в Западной Европе и в США, а также на субсидии коммунистическим партиям и профсоюзам. Он помогал учреждать левые партии в колониях, находившихся под властью западных держав, чтобы дестабилизировать их империи, — например, в Британской Индии. В Китае он выдавал крупные суммы китайским коммунистам — и, поначалу, подстраховываясь, также и более умеренным социалистам.

В 1919 году Ленин поставил Анжелику Балабанову первым секретарём Коминтерна и отправил её в Стокгольм устанавливать связи с левыми группами на Западе. «Каждую субботу из России приходили корабли, — вспоминала она. — Они привозили мне… огромные суммы денег, которые я помещала в банк. Моему бюро не нужны были такие большие суммы, и цель этих переводов была мне непонятна. Деньги тяготили меня, и я при всяком случае просила у Ленина объяснений и указаний. В ответ я получила от него такое письмо: "Дорогой товарищ Балабанова. Превосходно. Превосходно [подчёркнуто]… Вы наш самый способный и достойный сотрудник. Но умоляю вас, не экономьте. Тратьте миллионы. Много-много миллионов". И именно этим Коминтерн и занимался».

Ленин самым непосредственным образом участвовал в подборе агентов Коминтерна и вмешивался в мельчайшие детали. Поскольку речь шла о вещах, чреватых дипломатическими последствиями, решения он принимал лично — по вопросам общей политики, бюджетов, тактики. За одну только двухнедельную пору в конце 1919 года его спрашивали, пора ли создавать новую коммунистическую партию в Афганистане (ответ был — да), следует ли учредить индийское отделение партии в Советском Туркестане (возможно) и сколько денег следует дать коммунистам в Бенгалии (много, до пяти миллионов рублей).[3] Он получил просьбу от старого финского коммуниста Эйно Рахьи, в 1917 году бывшего его проводником и телохранителем, о десяти миллионах рублей для поддержки партии в Гельсингфорсе. Просьба была удовлетворена. Он одобрил субсидию в 1 миллион долларов США для американского журналиста Джона Рида на пропаганду в Соединённых Штатах. Он одобрил и предложение выделить 200 000 рублей на оплату «агитаторов и пропагандистов в азиатских рабочих организациях… расходы на каждого из них, плюс премии по возвращении, составят… Корея — 10 000 рублей, Южный Китай — 20 000… подобные миссии предполагаются и для Персии, и для Индии». Вопросами Коминтерна он занимался лично, в самых подробных деталях, ежедневно.

Ленинская способность прагматически менять направление, когда это казалось ему тактически целесообразным, потрясала истинно верующих за границей, так же как прежде — его собственных большевиков в эмиграции до 1917 года. В конце 1919 года он сказал британским коммунистам, что им следует вступить в Лейбористскую партию и работать на дело таким образом, вместо того чтобы оставаться незначительной сектой. Эта мысль привела членов компартии в замешательство, так как до тех пор им внушали делать ровно противоположное. Теперь же Ленин говорил: «Вы должны поддерживать лейбористов так, как петля поддерживает повешенного». Лидер суфражисток Сильвия Панкхёрст, находившаяся тогда в Москве на конференции Коминтерна, была возмущена. Нужно было быть очень смелой женщиной, чтобы учить Ленина, как следует быть революционером, — но она попыталась. «Напротив… мы должны быть "левее", чем были до сих пор. Особенно в Англии не хватает

[3] Ленин проявлял огромный интерес к попыткам ослабить Британскую империю. Как говорил Брюс Локхарт, «это не слишком отличалось от Большой игры викторианской и эдвардианской эпох, только язык стал идеологическим».

смелых людей. Хотя я и социалистка, я долгое время участвовала в борьбе суфражисток и могла видеть, как важны радикализм и личное мужество в защите наших идей». Ленин презирал Панкхёрст как «скучную и буржуазную» и ожидал, что Коммунистическая партия Великобритании будет повиноваться его указаниям, если хочет признания и поддержки из Москвы.[4]

Ленин выдавал субсидии советского режима десяткам коммунистических партий за границей, — и эти выплаты продолжались при его преемниках вплоть до 1980-х годов. В первый полный год после учреждения Коминтерна, согласно отчётам, представленным на бюджетном заседании, на котором он присутствовал, Ленин утвердил следующее: «1. По бюджету Германской компартии — грант… 446 592 золотых рубля [сорок два миллиона германских марок]. 2. По бюджету Французской компартии — единогласное решение о 100 000 золотых рублей. 3. Для Итальянской компартии — 360 842 золотых рубля. 4. По бюджету Чехословацкой партии — 250 000. Для Английской компартии — единогласное решение о 200 000 золотых рублей». Деньги направлялись в США, Австрию, Голландию, Грецию и многие другие страны — всего более пяти миллионов рублей, колоссальная сумма во время голода в России, и больше, чем Ленин выделил на программы помощи голодающим.[4]

[4] Как это часто бывало, самый знаменитый революционный вождь мира мог тратить несоразмерно много времени на пустяки. Так, например, в августе 1921 года он написал длинное письмо Томасу Беллу, который собирался начать левый журнал для шахтёров Южного Уэльса: «Поначалу вам следует быть очень осторожным. Вначале газета не должна быть слишком революционной. Если у вас будет три редактора, двое из них не должны быть коммунистами… это должны быть настоящие рабочие».

ГЛАВА 49. Мятежники на море и на суше

«Кронштадтские матросы… гордость и слава Революции».
Лев Троцкий, 26 октября 1917 года

«Поверьте мне. В России возможны только два рода власти. Царизм или Советы».
Ленин, 3 марта 1921 года

Для многих старших, идеалистически настроенных социалистов в России и за её пределами событием, сильнее всего разрушившим надежды и мечты о свободе при Революции, стало жестокое подавление матросов на военно-морской базе в Кронштадте. В большевистской пропаганде им отводилась важнейшая роль передового отряда того авангарда, который завоевал власть для Ленина. Матросы из Кронштадта составляли экипаж крейсера «Аврора», обстреливавшего Зимний дворец. Десятки из них в годы Гражданской войны стали красногвардейцами. Их считали радикальными, жёсткими людьми большевистской партии, беззаветно преданными делу и руководству. Троцкий называл их «гордостью и славой Революции». Ленин говорил, что, когда Революции грозит опасность, «мы не можем потерпеть поражение, потому что с нами матросы».

Когда эти матросы проявили неповиновение, очевидно, почему их необходимо было заставить покориться. А после той свирепости, с какой с ними обошлись, уже мало кто мог сохранять какие бы то ни было иллюзии насчёт того, станет ли Ленин терпеть серьёзную оппозицию.

Внутри Коммунистической партии, даже зимой 1920 года, когда он был диктатором уже почти во всём, кроме имени, он всё ещё выслушивал некоторую критику по вопросам внутренней партийной жизни. Старого большевика Тимофея Сапронова вежливо слушали, когда на большом партийном собрании он обвинял Ленина в том, что тот превращает членов партии в «записывающие машины, повторяющие одну и ту же линию… если вы будете настаивать на слепом повиновении, Революция погибнет». Так же выслушали и Николая Осинского: «Было время, когда важные решения в партии принимались выборными органами… теперь же всё находится в руках маленькой клики. Или одного человека». Но критика звучала редко; чем старше становился Ленин, тем нетерпимее он делался и тем яростнее были его припадки гнева. Старших партийных критиков ещё не подвергали чисткам, суду и расстрелу — пока ещё. Это началось позднее, при Сталине. Но обычно их отправляли подальше, с глаз Ленина. После ряда столкновений из-за прав рабочих Александра Коллонтай была выведена из Совнаркома, отстранена в сторону и позднее назначена послом в Норвегию.[1] После разгрома белых, этих «классовых врагов», всякая оппозиция подавлялась, включая и бывших героев Революции — таких, как кронштадтцы.

Их жалобы начались с экономических требований: повысить пайки и принять меры для облегчения продовольственного кризиса, от которого страдали их семьи в деревнях и в рабочих районах городов. Поначалу с ними ничего не сделали: подобная критика ещё считалась в общем допустимой. Столкновение с режимом произошло тогда, когда они начали выдвигать политические требования.

[1] Шляпников лишился своей должности, но занялся писательством, а некоторых других отправили на второстепенные дипломатические посты. После чисток, уже после смерти Сталина, отправка за границу — подальше от центра власти — оставалась обычной «карой» для неудобных чиновников вплоть до распада СССР.

28 февраля 1921 года на массовом собрании матросов на двух линкорах, «Петропавловске» и «Севастополе», была выработана резолюция с требованием свободных выборов в новый парламент, свободных профсоюзов, независимых от Коммунистической партии, свободной печати, упразднения ЧК — и целого ряда других, в общем демократических реформ. На следующий день в центре казарменного городка Кронштадта состоялась демонстрация 16 000 матросов, на которой эти требования вновь были зачитаны молодым человеком, ставшим их вожаком, — молодым унтер-офицером с «Севастополя» Степаном Петриченко.

Небольшая группа матросов мирно захватила типографию и начала выпускать газету «Кронштадтские Известия». Ни на каком этапе они не угрожали насилием и никак не двинулись против Петрограда, который могли бы, если бы захотели, обстрелять со своих батарей или блокировать. Они не планировали никакого восстания; их выступление было стихийным выражением разочарования и гнева.

Ленин сразу же увидел в них угрозу и потребовал, чтобы они отступили, «иначе их ждёт уничтожение». Матросы продолжали издавать свою газету, и Ленин поручил Троцкому подавить их. «Это мятеж, и к ним нельзя проявлять никакой пощады. Их надо уничтожить. Никакого компромисса не будет», — сказал ему Ленин. Троцкий ответил, что если матросы не уступят, «их будут расстреливать как куропаток».[1]

Троцкий прибыл в Кронштадт 4 марта вместе с Тухачевским, командовавшим соединением из 20 000 красноармейцев. На следующее утро они выпустили ультиматум, одобренный Лениным. «Кронштадт и мятежные корабли должны немедленно подчиниться власти Советской республики. Только те, кто сдастся безоговорочно, могут рассчитывать на милость Республики». От Петриченко ответа не последовало. Через два дня береговые батареи открыли огонь, и белокрытые солдаты Тухачевского пошли на штурм военно-морской базы во время снежной бури. «Первый выстрел произвёл Троцкий… стоя по колено в крови рабочих… он открыл огонь по революционному Кронштадту, восставшему против самодержавия коммунистов», — говорил Петриченко.

Молодой матрос предпринял последнюю, исполненную чувства попытку обратиться к хозяевам Кремля. «Ещё не прошло и трёх лет, как вас — Ленина, Троцкого, Зиновьева и всех вас — клеймили как изменников и германских шпионов. Мы, рабочие и матросы, должны были прийти вам на помощь и спасли ваши шкуры от правительства Керенского. Это мы поставили вас у власти. Неужели вы забыли об этом? А теперь вы угрожаете нам мечом. Вы играете с огнём. Вы повторяете ошибки и преступления Керенского. Берегитесь, как бы вас не постигла та же участь».

Несколько дней наступающие войска удавалось отбивать, но в конце концов это была резня. Силы были неравны, противник превосходил их и числом, и вооружением. Даже Тухачевский был потрясён кровопролитием и изумлён тем упорством, с каким матросы дрались, несмотря на безнадёжность положения. «Это был не бой, а преисподняя, — говорил он позднее. — Они дрались как дикие звери. Я не могу понять, откуда у них брались силы на такую яростную злобу. Каждый дом приходилось брать штурмом». Почти все матросы, уцелевшие после последнего штурма 16 марта, были без суда расстреляны. Петриченко и около сотни других сумели бежать в Финляндию. Но тысячи погибли на льду вокруг Кронштадта. Когда всё было кончено, финское правительство потребовало, чтобы Советы убрали тела со льда. Иначе мёртвых с весенним ледоходом прибило бы к финским берегам.[2]

Террор стал настолько обыденным, что некоторых людей убивали по чудовищной ошибке. На заседании Совнаркома в октябре 1919 года комиссары обсуждали вложения в железные дороги. Посреди заседания Ленин написал Дзержинскому записку с вопросом: «Сколько у нас в тюрьме

опасных контрреволюционеров? » Глава ЧК нацарапал ответ: «около 1500», — и вернул записку Ленину, который прочёл её, поставил крестик рядом с ответом и отправил обратно Дзержинскому. В ту же ночь сотни заключённых в Москве были расстреляны. Ленин не приказывал их расстрелять, как позднее объясняла его секретарь Фотиева. Иногда он ставил крестик на документах, которые просмотрел, только для того, чтобы показать, что прочёл сообщение и принял к сведению. Настолько привычным стало осуществление революционного правосудия, что эта ужасающая ошибка почти не вызвала никакого волнения.

Ленин всегда оправдывал террор в принципе, но иногда смягчался, когда ему докладывали о конкретных случаях. Отношения Горького с Лениным сохранились, хотя «Новая жизнь» была закрыта летом 1918 года. Горький неустанно критиковал Ленина — он был одним из очень немногих русских, кому это дозволялось. И всё же они часто встречались как друзья, и ему оказывали особое снисхождение как самому знаменитому из живущих русских писателей.[2]

Он часто вмешивался, главным образом в защиту других писателей, художников и учёных. Он ненавидел ленинскую нетерпимость, которую не раз видел и прежде. В июне 1919 года он протестовал против обысков и арестов среди петроградской интеллигенции. «Это те самые люди, которые лично помогали вам, прятали вас у себя дома», — говорил он Ленину. Ленин ответил в своей обычной манере: «Да, конечно, это прекрасные, добрые люди, и именно поэтому их дома надо обыскивать. Именно поэтому иногда, contre coeur, приходится их арестовывать. Конечно, они прекрасны и добры, конечно, их симпатии всегда на стороне угнетённых, конечно, они всегда против преследований. А что они видят вокруг себя? Преследователь — наша ЧК; угнетённые — кадеты и эсеры, спасающиеся от неё. Разумеется, их долг, как они его понимают, велит им объединяться… против нас». Его принцип был прост: лучше убить сто невиновных, чем оставить на свободе одного человека, опасного для Революции и способного стать угрозой. И ЧК осуществляла этот принцип на деле, в крови. «Кто не понимает необходимости того, чтобы любой революционный класс обеспечивал свою победу, — говорил он, — тот ничего не понимает в истории революции. Диктатура означает — заметьте это раз и навсегда — неограниченную власть и применение силы, а не закона».[3]

Горький спас десятки людей от смерти или тюрьмы, обращаясь непосредственно к Ленину. После одного такого ходатайства, 12 апреля 1919 года, Ленин сообщил властям Орловского Совета: «Писатель Иван Вольный арестован. Его друг Горький настоятельно просит о величайшей осторожности и беспристрастности при расследовании. Нельзя ли освободить его под строгий надзор?» Вольный был вскоре освобождён. В том же месяце Горький просил освободить левую эсерку Нину Шкловскую, секретаря Александра Блока. В марте 1920 года Горький писал Ленину с просьбой выпустить из тюрьмы химика Алексея Сапожникова, «чтобы он мог продолжать свою ценную работу над средствами от различных болезней». Через три дня тот был освобождён. «И ещё необходимо дать [врачу Ивану] Манухину возможность

---

[2] До своей эмиграции осенью 1921 года. Дружба Ленина и Горького чрезвычайно интересна и заслужила по меньшей мере отдельную книгу. Горький был громогласным критиком, но всего за несколько месяцев до отъезда из страны мог написать: «Ошибки Ленина — это ошибки честного человека, а ни один реформатор в мире никогда не действовал без ошибок… Он всегда говорит об одном — об уничтожении социального неравенства. Его вера в это — вера фанатика, но фанатика образованного, не метафизического и не мистического… В религиозную эпоху Ленина сочли бы святым. Суровый реалист, проницательный политик, Ленин постепенно становится фигурой легендарной. Это хорошо». А когда Ленин умер в 1924 году, Горький написал ему поразительно восторженное надгробие. Самое же странное в Горьком — его готовность вернуться в сталинскую Россию в 1932 году, где он и умер четыре года спустя.

продолжать его исследования по противотифозной сыворотке», — приписал Горький в постскриптуме. Манухина освободили в течение недели.[3]

Каким-то образом 3 сентября 1920 года до Ленина дошло письмо от Надежды Никулии, семидесятичетырёхлетней бывшей актрисы Малого театра в Москве. Она писала, что с готовностью уступила несколько комнат в своей квартире ради помощи бедным. А теперь ей угрожали тюрьмой, если она не «уступит мой последний проход». Ленин переслал на полях записку Дзержинскому: «Разобраться и позвонить ей. Оставьте её в покое». Но такие случаи были подобны обращениям к государю в императорские времена. Правосудие оставалось произвольным. Для миллионов, у которых не было доступа ни к Горькому, ни к Кремлю, не существовало никакой защиты от продажных, жестоких и трусливых чиновников или от ЧК. Россия Ленина фактически была государством без закона.

Меньшевики были запрещены весной 1921 года. Поначалу их ещё не убивали. Дни бессудных массовых чисток самих коммунистов были ещё впереди. Но тысячи были арестованы, и Ленин охотно смотрел, как они покидают страну. Когда 5 января Совнарком собрался для обсуждения «меньшевистского вопроса», Юзефу Уншлихту, заместителю главы ЧК, было поручено подыскать два-три города — «не исключая и тех, что находятся на железной дороге», — где меньшевиков можно было бы поселить. Ленин велел «не чинить препятствий» меньшевикам, желающим эмигрировать за границу, и если понадобится «пособие на проезд», то на отправку их в изгнание имелись средства из партийных фондов.[4], [4]

В июле 1921 года Генри Фишер, добровольный сотрудник по оказанию помощи, описал условия на железнодорожной станции в Симбирске, городе, где родился и вырос Ленин. «Вообразите себе плотную массу грязных лохмотьев, среди которых тут и там видны исхудалые, обнажённые руки, лица, уже отмеченные печатью смерти. Прежде всего поражает ядовитый смрад. Пройти невозможно. Зал ожидания, коридор — всё сплошь, на каждом шагу, покрыто людьми… в самых немыслимых позах. Если присмотреться, видно, что эти грязные тряпки кишат паразитами. Грудные младенцы утратили голос и уже не могут плакать. Каждый день уносят более двадцати мёртвых, но всех убрать не удаётся. Порой трупы остаются среди живых больше пяти дней… Женщина пытается укачать маленького ребёнка, лежащего у неё на коленях. Ребёнок плачет… Некоторое время мать продолжает качать его на руках. Потом вдруг ударяет его. Ребёнок снова вскрикивает. Это, по-видимому, доводит женщину до безумия. Она начинает яростно избивать его, лицо её искажено яростью. Она обрушивает удары кулаком на его маленькое лицо, на голову, и наконец бросает его на пол и пинает ногой. Вокруг неё поднимается ропот ужаса.

---

[3] Одного человека, которого Горький не смог спасти, был престарелый двоюродный брат бывшего Царя, великий князь Николай Михайлович — учёный-историк, никогда не занимавший никаких официальных постов и не исполнявший придворных функций. Он хотел уйти от дел и писать. Горький встретился с Лениным в Москве; Ленин сказал, что отправит письмо в Петроградский Совет с требованием пересмотреть его дело. Но к тому времени, когда Горький вернулся в Петроград, великий князь уже был расстрелян. Горький был убеждён, что Ленин должен был знать о расстреле уже в тот момент, когда они встречались.

[4] В октябре 1920 года Ленин дал разрешение Юлию Мартову покинуть Россию. Свои последние годы он провёл в Берлине, вновь изгнанником и тяжело больным человеком. Он основал меньшевистскую газету Socialist Messenger и спорил с Лениным до конца. В одной из своих последних журнальных статей он обвинял Ленина в том, что тот ведёт «кровавый разгул… в России, совершаемый во имя социализма, во имя учения, провозгласившего братство людей, трудящихся ради высшей цели человечества… Партия смертных казней — такой же враг рабочего класса, как и партия погромов». Ленин редко выражал сожаление, но однажды, летом 1921 года, он с печалью сказал, что «жаль, что Мартова нет с нами. Какой это был удивительный товарищ… такой чистый человек». Он умер в апреле 1923 года. Когда Ленин, сам уже умиравший и не способный говорить, услышал эту новость, «он выглядел безнадёжно печальным», — говорила Надя.

Ребёнка поднимают с пола, мать осыпают проклятиями, а она, когда приступ бешенства проходит, снова становится сама собой, совершенно безразличной ко всему вокруг. Глаза её неподвижны, но, кажется, уже ничего не видят».

Голод в России не был редкостью. Неурожаи и голодные годы случались в 1906 году и вновь за год до войны. Но великий волжский голод 1921 года был самым страшным со времён того ужаса, который юный Владимир Ульянов видел в 1891–1892 годах. Неурожай 1920 года, затем сильный мороз и удушающе жаркое лето были, несомненно, тяжёлыми природными бедствиями. Однако катастрофа следующего года была вызвана скорее человеком, нежели природой.

Главной причиной стала ленинская политика продолжающихся хлебозаготовок. Крестьяне привыкли держать запасы, чтобы переживать неурожайные годы. Теперь же они выращивали ровно столько, сколько нужно было для собственного пропитания, для прокорма скота и для сохранения достаточного количества семян на следующий посев. Какой смысл производить больше, если большевики всё равно всё отберут? К 1920 году посевные площади в Поволжье сократились за три года на 25 процентов. Когда пришёл плохой урожай, никаких запасов не осталось.

Поволжье пострадало сильнее всего, но массовый голод охватил также Украину, Урал и Казахстан. В Самарской губернии, по оценкам, от голода умирали два миллиона человек — более двух третей населения; около 700 000 умерли в последующие два года. Четверть всего русского крестьянства голодала.

Огромные массы людей стекались на железнодорожные станции по всей русской железнодорожной сети, воображая, что там, возможно, найдётся еда или средство уехать куда-нибудь ещё, — отсюда и сцена в Симбирске, описанная Фишером. Людоедство стало обычным явлением. Люди хранили трупы как пищу. Одну женщину застали за тем, что она вместе со своим ребёнком ела куски тела умершего мужа. Когда полиция допросила её, она сказала: «Мы его не отдадим… он наш, родной, и никто не имеет права отнимать его у нас». Известно было несколько случаев, когда матери убивали одного из своих детей, чтобы накормить остальных.

До июля 1921 года советское правительство отказывалось признать, что происходит бедствие, — точно так же, как царь в 1890-х годах: слова «голод» и «голодание» были запрещены в печати по приказу Ленина. Начинать помощь пришлось отдельным людям — как и в 1890-х, когда Толстой и Чехов собирали деньги на бесплатные столовые и больницы. Горький обратился за международной помощью. Герберт Гувер предложил содействие со стороны Американской администрации помощи (ARA), которая кормила миллионы людей в Западной Европе.

Сначала Ленин отверг любую помощь и в ярости заявил: «надо наказать Гувера, надо публично дать ему пощёчину, чтобы весь мир это видел». Но товарищи в Кремле, прежде всего Литвинов, нарком иностранных дел Чичерин и Зиновьев, переубедили его, доказывая, что дальнейший отказ от помощи будет дурно выглядеть в международном отношении.

Ленин не проявил никакой благодарности и приказал ЧК следить за группами ARA. Он писал Вячеславу Молотову, в то время высокопоставленному чиновнику в секретариате Совнаркома: «Можно ожидать прибытия большого числа американцев. Нужно позаботиться о наблюдении и разведке… главное — выявить и мобилизовать максимальное число коммунистов, знающих английский язык, для внедрения в комиссию Гувера и для иных форм наблюдения». Сотрудники помощи Гувера накормили двадцать пять миллионов человек только в Поволжье и спасли сотни тысяч жизней, прежде чем ARA прекратила свою деятельность в России — преждевременно. Когда выяснилось, что Советы принимают иностранную помощь, но в то же время продают своё зерно за твёрдую валюту, разразился скандал, заставивший сотрудников ARA покинуть Россию в атмосфере горечи.[5]

Голод сопровождался крестьянскими восстаниями по всей стране — последней крупной волной сопротивления режиму до того, как деревенская Россия была устрашена и приведена Советами к покорности. В течение всего 1921 года Красная армия использовалась для подавления десятков мятежей[5], но больше всего Ленина тревожило восстание в Тамбовской губернии, к юго-востоку от Москвы, весть о котором распространялась по русским городам и за границей. Тысячи продотрядов подверглись нападениям, коммунистические чиновники были убиты. Чтобы раздавить восставших, Ленин прибег к любым доступным ему средствам, включая оружие массового поражения. Он говорил, что крестьянские войны «были для нас гораздо опаснее, чем все Деникины, Колчаки и Юденичи, вместе взятые».

У Тухачевского не было никаких угрызений совести при подавлении Кронштадтского восстания. Месяц спустя ему дали четыре недели, чтобы разгромить тамбовских крестьян, которых возглавлял эсер Александр Антонов, участвовавший тремя годами ранее в мятеже Марии Спиридоновой. Приказ, лично утверждённый Лениным, разрешал Тухачевскому применять отравляющий газ против крестьянских отрядов, вооружённых несколькими сотнями винтовок. «Остатки банды [Антонова]… собираются в лесу и совершают налёты на мирных жителей. Леса, где скрываются бандиты, должны быть очищены отравляющим газом. Следует тщательно произвести расчёты, чтобы облако удушливого газа распространилось по всему лесу и уничтожило всё, что там скрывается. Инспектор артиллерии должен немедленно выделить в соответствующие местности необходимое количество снарядов с отравляющим газом… и нужных специалистов. Подписал Ленин».

Даже после этих атак некоторые крестьяне продолжали сопротивление. У Тухачевского было 50 000 солдат, три бронепоезда, несколько подвижных пулемётных отрядов, семьдесят полевых орудий и эскадрилья истребителей. Они сжигали целые деревни, если встречали сопротивление, и не брали пленных. Тухачевский не уложился в отпущенный ему месяц, но восстание было подавлено — как и все прочие.[6], [6]

Единственным институтом, который продолжал сопротивляться воле Ленина, оставалась Православная церковь. Христианство и ленинская разновидность коммунизма неизбежно должны были в конце концов столкнуться. Ленин всегда намеревался вести кампанию против религии и, если сможет, уничтожить Церковь, но выжидал удобного момента. В первые три года он действовал осторожно и ограничивался пропагандой. После того как белые были побеждены, а крестьянские восстания подавлены, Ленин воспользовался моментом, чтобы нанести удар по Церкви, — выбрав вопрос, в котором надеялся встретить народную поддержку.

При царях Церковь занимала исключительное положение огромной светской, как и духовной власти. Только православная вера имела право на прозелитизм; она получала щедрые государственные субсидии, из которых оплачивалось большинство жалованья 45 000 приходских священников и содержались 100 000 монастырей. Церковь была одним из крупнейших землевладельцев в России. За десятилетие до Февральской революции посещаемость храмов резко упала, но Россия всё ещё оставалась страной преимущественно православной. Православие и царизм были соединены неразрывной связью: Церковь

---

[5] С марта по ноябрь 1921 года едва ли проходил день, чтобы где-нибудь в России подразделение Красной армии не было задействовано в подавлении «внутренних беспорядков», связанных с крестьянскими выступлениями. По собственным правительственным данным, в 1921 году в тридцати шести губерниях армейские потери составили 171 185 человек; подавляющее большинство — это лёгкие ранения, но сами цифры показывают, насколько серьёзными были эти бои.

[6] Александр Антонов бежал и попытался создать ещё один повстанческий отряд под Воронежем, в 350 километрах от Тамбова. В июне 1922 года ЧК установила его местонахождение, и он был убит вместе со своим братом Дмитрием.

фактически была государственным ведомством со своим собственным министром. Исторически её политика была ультрареакционной.

Одним из первых ленинских декретов было отделение Церкви от государства, признание гражданского брака, запрещение преподавания религии в государственных школах и лишение Церкви всего государственного финансирования — меры довольно умеренные для революции, совершённой убеждёнными атеистами. Новый патриарх, митрополит Московский Тихон, пользовался репутацией «благочестивого и незамысловатого человека… с заметной примесью русского фатализма». Он с самого начала предпочёл вступить в столкновение с большевиками. Он говорил об «этих чудовищах рода человеческого… явных и скрытых врагах… Христа, которые начали преследовать Церковь и стремятся погубить Христово дело, повсюду сея… семена злобы, ненависти и лживой розни». Несколько единичных нападений на священников действительно имели место, но на этом этапе они ещё не составляли официальной политики. Ленин вполне определённо приказывал ЧК и красногвардейцам пока не трогать Церковь. «Будьте очень осторожны в обращении с Церковью. Не делайте ничего поспешного. Придёт время и для этой битвы, но пока подождите», — писал он Дзержинскому. Когда Тихон предал анафеме его и других коммунистических руководителей, Ленин проигнорировал патриарха.

В 1919 году правительство стало конфисковывать церковные земли и имущество, как уже поступило со всеми крупными землевладельцами. Это касалось фабрик, доходных домов, молочных хозяйств, больниц, лавок, а также монастырей с большими фермами. Режим ввёл более жёсткие правила, запрещавшие преподавание религии где бы то ни было вне храмов, в том числе «в общественных местах, таких как парки». Тихон жаловался, что «это направлено на то, чтобы сделать невозможным само существование храмов, церковных учреждений и духовенства». Он был на несколько месяцев помещён под домашний арест, а около сотни священников арестовали.

Затем пришёл голод, и Ленин увидел возможность для полномасштабного наступления на веры, отличные от коммунизма. Тихон предложил передать государству значительную сумму денег и «церковные сокровища — кроме священных освящённых сосудов». Летом 1921 года Ленин начал в печати пропагандистскую кампанию, утверждая, что Церковь «прячет свои сокровища», и требуя, чтобы она отдала больше своего «скрытого богатства… чтобы мы могли превратить золото в хлеб». В случае отказа имущество подлежало конфискации.

Когда Тихон ответил, что употреблять освящённые предметы для светских целей было бы святотатством, Ленин послал сотрудников ЧК грабить церкви. В маленьком городке Шуе, в 300 километрах к северо-востоку от Москвы, в начале 1922 года пятнадцать глубоко верующих горожан были убиты, когда пытались помешать солдатам изымать ценности из храма. В отсутствие Ленина правящий партийный Политбюро решило отложить дальнейшие конфискации — по крайней мере ненадолго. Когда ему сообщили об этом решении, он впал в один из своих припадков ярости. Для него это был лучший момент, чтобы устроить решающую схватку с духовенством, и товарищи не должны были уклоняться от неё.

Ответ Ленина своим товарищам по кремлёвской верхушке — ставший доступным лишь недавно, уже спустя значительное время после распада СССР, — и теперь всё ещё поражает своей циничной жестокостью. В нём Ленин предстаёт в самом мрачном облике, и неудивительно, что его преемники десятилетиями тщательно скрывали это письмо. Его стоит привести довольно подробно. Ленин сознательно использовал голод как предлог для нападения на духовенство: «Враг [он имел в виду Церковь] совершает громадную стратегическую ошибку, стараясь втянуть нас в бой именно теперь… для нас это тот момент, когда мы с девяносто девятью шансами из ста можем разгромить их и обеспечить себе неприступное положение на многие десятилетия

вперёд. Именно теперь, когда в голодающих областях едят человеческое мясо и тысячи трупов валяются по дорогам… мы должны провести изъятие церковных ценностей с самой беспощадной энергией и подавить всякое сопротивление. Именно теперь, и только теперь, крестьянская масса будет за нас или, во всяком случае, не будет в состоянии поддержать духовенство… Мы должны изъять ценности теперь и быстро; позднее мы этого сделать не сможем, потому что никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам поддержки масс. Конфискации должны проводиться с беспощадной решимостью… чем большее число представителей духовенства и реакционной буржуазии мы сумеем за это расстрелять… [то есть за сопротивление разграблению церквей] тем лучше. Нужно дать этим людям такой урок, чтобы они десятилетиями не смели даже и думать о сопротивлении».[7]

Это было насильственным началом подавления религии, в результате которого за последующие пятнадцать лет или около того было закрыто более 97 процентов церквей, синагог и мечетей Советского Союза. В течение двух лет после ленинского распоряжения было убито более тридцати епископов и 1200 священников, а тысячи других заключены в тюрьмы. В Перми свидетели утверждали, что видели архиепископа Андроника с выколотыми глазами, изрезанными щеками и отрезанными ушами ещё до того, как его расстреляли. Епископа Гермогена Тобольского привязали к камню и бросили в реку.

С другой стороны, большевики получили огромную добычу, разграбляя церкви. Только в ноябре 1921 года, согласно докладу Ленину, они захватили 500 килограммов золота, 400 000 серебра, 35 670 бриллиантов, 265 различных драгоценных камней «и 964 прочих антикварных предмета, которые ещё предстоит взвесить».[8]

ГЛАВА 50. Предчувствия смертности

«Здоровье Ленина казалось одним из неразрушимых столпов Революции… Казалось, будто… [он] никогда не износится».
Лев Троцкий, 1924

В течение двух лет после покушения на его жизнь в августе 1918 года казалось, что Ленин полностью оправился. Для посторонних он не обнаруживал никаких очевидных и заметных признаков нездоровья. Но он плохо питался, дурно спал и не брал тех регулярных отпусков, которые прежде восстанавливали запас его сил — и сдерживали его нрав. Он находился под неослабным давлением. Нескольких случайных охотничьих выездов и воскресений в Горках было недостаточно.

Он и сам заметил возможную опасность. Будучи всегда физически крепким, он привык в деревне уходить пешком дальше почти любого спутника. Теперь — уже нет. Его мучили одышка и боли в груди и в ногах. [1] Он придумывал какой-нибудь предлог, чтобы присесть и отдохнуть. Никому он о своих симптомах не говорил — ни Наде, ни брату-врачу Дмитрию. По мелким поводам, касавшимся здоровья, он был склонен к ипохондрии, но теперь врачу не жаловался. Зато наедине читал медицинские учебники. Его здоровье тревожило его, и у него было ощущение, что жизнь его не будет долгой. Иногда он замечал, что отец умер в пятьдесят четыре года, и, когда казалось, что за этими словами последует продолжение, умолкал. Видимо, он ещё сильнее спешил завершить ту работу, которую мог успеть завершить в остававшееся ему время, — а это делало его более раздражительным, более нетерпеливым и более подверженным «яростям».

С начала 1921 года последствия бессонницы, головных болей и общей вялости стали заметны для тех, кто был с ним близок. Он уже не мог долго сосредоточиваться на работе, что было мучительно для человека столь собранного и столь одержимого делом. До тех пор окружавшие его, вероятно, согласились бы с Троцким, что «Ленин считался человеком крепкого здоровья, он всегда был деятелен, бодр… Лишь изредка я замечал тревожные симптомы. Во время первого Конгресса… [Коминтерна, в 1919 году] меня поразили его утомлённый вид, неровность голоса и улыбка больного человека. Не раз я говорил ему, что он растрачивает себя на дела второстепенные. Он соглашался, но говорил, что иначе не может. Иногда он жаловался на головные боли, всегда мимоходом и с некоторым смущением. Но двух-трёх недель отдыха было достаточно, чтобы его восстановить. Казалось, будто… [он] никогда не износится».1

С начала 1921 года он уже выглядел как больной человек и сам это понимал. «К несчастью, я очень нездоров, мои нервы kaput», — писал он Кларе Цеткин во время кризиса, связанного с восстанием в Тамбовской губернии. Группа врачей — русских и иностранных — осматривала его, но не пришла к единому мнению о том, что именно с ним происходит. Большинство диагностировали у него какое-то неврологическое заболевание, но не были уверены, какое лечение предложить, помимо отдыха и сокращения нагрузки.

8 июля он официально попросил месячный отпуск и уехал в Горки. Но отдых и восстановление не давали обычного результата. В начале августа он писал Максиму Горькому: «Я так устал, что не в состоянии делать ничего». По настоянию товарищей из Кремля он взял остаток месяца полностью свободным.

---

[1] Симптомы, при которых современные врачи быстро проверили бы больного на ишемическую болезнь сердца и/или артериосклероз.

Он всё чаще жаловался на шум в своём кабинете. Он потребовал снять звонки с телефонных аппаратов у себя на столе, так как этот звук действовал ему на нервы. Их заменили световыми сигналами на трубке. Когда в его кремлёвской квартире производили мелкие переделки, он распорядился, чтобы перегородки между комнатами были сделаны «совершенно звуконепроницаемыми, а полы совершенно лишены скрипа».

Он вернулся в Кремль с уменьшенной нагрузкой, хотя и она была бы достаточна, чтобы истощить здорового человека. В октябре у него случилось несколько обмороков — кратковременных, и, придя в себя, он выглядел вполне бодрым. Но к началу декабря он был совершенно изнурён и попросил нового больничного отпуска. 7 декабря, уезжая в Горки, он написал записку своим товарищам-комиссарам: «Сегодня уезжаю. Несмотря на уменьшение моей доли работы и увеличение времени отдыха в последние дни, бессонница усилилась дьявольски».

В новом году ему не стало лучше, и отпуск был продлён. Больше всего его мучили головные боли. В Москву вызвали двух выдающихся немецких профессоров — терапевта Георга Клемперера и хирурга общего профиля Юлиуса Борхардта. Оба считали, что головные боли вызваны свинцовым отравлением от пуль, всё ещё находившихся в его теле после покушения. Русские врачи, постоянно лечившие его, имели большие сомнения относительно этого диагноза: Ленин страдал сильными головными болями ещё за несколько лет до того, как был ранен, и не было никаких доказательств того, что пули причиняют ему вред. Но Ленин и нарком здравоохранения Николай Семашко, до революции практиковавший врач, возражали, что нет смысла вызывать немецких профессоров в Россию за немалые деньги, а затем игнорировать их советы. Было решено, что пулю в его шее можно легко извлечь при помощи сравнительно небольшой операции под местной анестезией; но другая глубоко засела в левом плече Ленина и требовала сложной и потенциально опасной операции. «Ну что ж, избавимся хотя бы от одной, чтобы люди не донимали меня и не тревожились», — сказал Ленин. Утром 23 апреля 1922 года профессор Борхардт извлёк пулю, «покоившуюся под правым грудино-ключичным сочленением». Процедура заняла пятнадцать минут, и Ленин чувствовал себя хорошо. Уже на следующий день после обеда он снова сидел за письменным столом.2

В эмиграции Ленин создал вокруг себя нечто вроде «двора», кружок преданных последователей, самое близкое подобие друзей, какое у него вообще было. Хотя он и держался отстранённо как «вождь», в отдельные периоды в Швейцарии и Польше они с Надей жили вместе с Зиновьевыми и Каменевыми. Надя была в тесной дружбе с их жёнами. Десятки других большевиков и левых входили в их жизнь и снова из неё уходили. Он регулярно обедал с ними, строил заговоры в кафе, ездил с ними в вылазки, ходил с ними в Альпы. В Кремле же у него почти вовсе не было никакой общественной жизни. Возможно, то же можно сказать о всяком диктаторе. Но Ленин был отстранён по любым меркам — не потому, что за его дверями стояли лакеи, ограждавшие его от других людей: ничего подобного он не требовал; но потому, что сам сделал себя более замкнутым. Он ненавидел церемонии, приёмы и большие обеды, столь обычные среди прочих сановников. Он, Надя и иногда Мария вместе обедали или рано ужинали тем, что она готовила (по-прежнему ужасно плохо). В остальное время он перекусывал на ходу. Даже в Горках он редко видел кого-либо вне деловых совещаний. В первые советские годы решения не принимались, как это будет позднее при Сталине, по ночам в компании других коммунистических вождей за длинными, изысканными ужинами с обилием водки и вина. Дела велись в кабинете — или в тайной клике у него в офисе.

С незнакомцами он не был холоден, но и большого внимания им не оказывал. Поток иностранных посетителей стремился увидеть человека, строившего первое коммунистическое

государство, новое общество. Он старался склонить их на свою сторону — и нередко преуспевал в этом: «Я видел будущее, и оно работает», — как известно, сказал американский журналист Линкольн Стеффенс после нескольких дней в Москве, включавших часовое интервью с Лениным. Но очаровывал он не всегда. Герберт Уэллс, на тот момент один из самых знаменитых писателей в мире и уж certainly один из самых важничающих, остался под впечатлением слабым — как и Ленин, который ненавидел Уэллса и считал его напыщенным. Философ Бертран Рассел, напротив, им восхищался: «Ленин совершенно лишён даже следа высокомерия. Если бы вы встретили его, не зная, кто он такой, вы бы не догадались, что он обладает огромной властью, или даже что он каким-либо образом очень знаменит. Я никогда не встречал человека столь свободного от чувства собственной важности». Но большевизм внушал ему ужас, а смех Ленина тревожил его, «ибо сперва он кажется дружелюбным и весёлым, но постепенно я стал чувствовать в нём нечто довольно мрачное». [2]

Ленин почти не заботился о своей внешности. «Он всегда носил один и тот же тёмный костюм, с трубкообразными брюками, которые всегда казались чуть-чуть коротковатыми для его ног, с таким же укороченным однобортным пиджаком, мягким белым воротничком и старым галстуком. Галстук этот, насколько я помню, годами оставался одним и тем же: чёрный с маленькими белыми цветочками, причём в одном месте на нём было заметно протёртое пятно. Когда он, сидя за письменным столом, принимал посетителей, можно было заметить, что каблуки его ботинок несколько выше обычного», — вспоминал Симон Либерман, старый товарищ, знавший его ещё с 1890-х годов.

Он делал мало уступок даже тогда, когда позировал художнику. В октябре 1920 года Каменев уговорил его позировать скульптору Клэр Консуэло Шеридан, двоюродной сестре Уинстона Черчилля. Она была великой красавицей, и под её чары подпали несколько видных коммунистических деятелей, в том числе Троцкий. Ходил слух, будто после того как он ей позировал, между ними начался роман. Не таков был Ленин, который почти даже не разговаривал с нею ни в один из двух их встреч.

«У него приветливые манеры и добрая улыбка, которая сразу располагает к нему», — говорила она позднее. Во время первого сеанса он сидел за письменным столом и работал. Через несколько дней, во второй раз, она уговорила его позировать на вращающемся помосте. И тогда они почти не разговаривали. В какой-то момент она спросила, действительно ли Черчилль — самый ненавидимый человек в России. Ленин «пожал плечами и сказал что-то о том, что Черчилль — человек, за которым стоит весь огонь капиталистов». Ленин сказал ей, улыбаясь, что на вращающемся помосте «я ещё никогда не сидел так высоко». Она опустилась перед ним на колени, чтобы рассмотреть его лицо под другим углом. Надев самую соблазнительную свою улыбку, она спросила: «Вы привыкли к такой позе у женщин?» В этот момент вошла секретарь (женщина), и её мгновение было утрачено. Она сказала: «Передать ли мне какое-нибудь послание Уинстону?» — на что он ответил: «Я уже передал ему послание через [британскую

[2] Рассел писал в 1919 году: «Я ехал в Россию коммунистом; но соприкосновение с людьми, не знающими сомнений, тысячекратно усилило мои собственные сомнения… относительно мудрости держаться какого-либо учения столь твёрдо, что ради него люди готовы причинять повсеместное страдание… Цена, которую человечество должно заплатить за достижение коммунизма большевистскими методами, слишком ужасна… и даже уплатив эту цену, я не верю, что результатом станет то, чего, по утверждению большевиков, они желают». Однако после встречи с Лениным он писал одной из своих возлюбленных, леди Оттолин Моррелл, что коммунизм, вероятно, подходит России — «Если вы спросите себя, как следовало бы управлять героями Достоевского, вы поймёте».

лейбористскую] делегацию, а он ответил мне не прямо, а через злобную газетную статью, где говорил, что я существо самое ужасное». [3], 3

Главный ленинский устроитель Бонч-Бруевич рассказывал, что через три недели после того, как Фанни Каплан стреляла в Ленина, тот «однажды сильно разволновался, полчаса просидев над газетами. Потом укоризненно повернулся ко мне. “Что это за дрянь? Как вы могли это допустить? Посмотрите, что они пишут… Это стыдно. Они называют меня гением, каким-то необыкновенным человеком… во всём этом есть элемент мистицизма… дойдёт до того, что начнут ещё молиться о моём здоровье. Это ужасно. Всю жизнь мы боролись против возвеличивания личности, против возвышения одного человека, и давно уже покончили с делом индивидуального героя, а тут всё появляется снова: прославление одной личности. Это вовсе нехорошо, что меня таким образом выделяют”.

Когда он кончил, я тихо сказал, что люди и в самом деле преданы ему… что в его канцелярию и лично ко мне непрерывно идёт поток запросов, писем, телефонных звонков, телеграмм с вопросами о состоянии его здоровья. “Всё это чрезвычайно трогательно… Я не знал, что вызываю повсюду столько тревоги и беспокойства. Но теперь надо положить всему этому конец. Всё это излишне и вредно”. Владимир Ильич полагал, что подобное противоречит нашим убеждениям о роли личности».4

Рассказ этот, вероятно, был правдив. И всё же Ленин не положил конца «культу», окружавшему его имя и образ, который начался ещё при его жизни и продержался весь советский период. В изменённой форме он продолжается и теперь, пока его бальзамированное тело лежит на Красной площади. Идея культа вождя, столь чуждая теориям Маркса и Ленина, определила живую практику коммунизма. Что бы ни говорил Ленин о своём отношении к коллективным восхвалениям его на парадах или к миллионам газетных строк, посвящённых его гению, он мало что делал, чтобы это остановить. Чем сильнее он, быть может, внутренне этим тяготился, тем глубже всё это входило в душу советского государства.

К его пятидесятилетию в апреле 1920 года празднества по своему размаху и вульгарности были поразительны. Газеты изрыгали статьи, восхвалявшие его личные качества — мужество, мудрость и прозорливость. Впервые в общественных местах начали появляться плакаты с его изображением, печатались открытки с его лицом, чеканились значки. В школах детей учили говорить «Дедушка Ленин». Для широкой публики были изданы две официальные биографии. Маяковский написал льстивую оду к его дню рождения, хотя прекрасно знал, насколько Ленин ненавидит его творчество:

Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Пожарами землю ды́мя,
везде,
где народ испле́нен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!

[3] Ленин, хотя это и кажется маловероятным, настаивал, что не видел готового произведения. Но Лидия Фотиева говорила, что скульптура была «довольно хороша».

Ленин!
Ленин!
И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют. —
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Никаких свидетельств того, чтобы Ленин хоть как-то отозвался об этом стихотворении, не существует.

Партия устроила огромное торжественное собрание в его честь. Один за другим его старые товарищи — Зиновьев, Каменев, Луначарский, Бухарин, Троцкий и Сталин — говорили о его величии. Самого Ленина там не было. Когда речи окончились, он явился, чтобы сказать несколько кратких слов — не о личных воспоминаниях, а прочесть лекцию по истории революционного движения. Он закончил предостережением партии против «самодовольства и тщеславия, которые могут превратить её в нечто глупое, постыдное и смешное». Вместо этого он мог бы, если бы пожелал, устроить дома простой день рождения.

ГЛАВА 51. Революция - снова

«Теперь мы идём на экономические уступки, чтобы не пришлось идти на политические».
Николай Бухарин, 14 апреля 1922 года
«Ленин отрёкся от того, в неверие во что он истребил столь многих. Оказывалось, что они всё это время были правы. Им лишь не повезло в том, что он не понял этого раньше».
Уинстон Черчилль (1874–1965)

Для фанатического идеолога, посвятившего большую часть своей жизни одному определённому кругу социалистических целей, Ленин обладал поразительно прагматической способностью гнуться по ветру. После Кронштадтского мятежа и крестьянских восстаний он на сто восемьдесят градусов изменил политику и отказался от большинства экономических мер, введённых им со времени переворота. Фабрики перестали производить, деньги ничего не стоили, царил массовый голод, Россия ничего не вывозила. Он признал, что «военный коммунизм», как он это называл, не сработал и что необходимы большие перемены — перемены революционные, хотя, разумеется, он никогда бы не согласился употребить такой термин.
Он отбросил главные экономические эксперименты предшествующих трёх лет: запрет частного производства, повальную национализацию, изъятие крестьянских «излишков», замену частной торговли натуральным обменом и частичную попытку упразднить деньги. Теперь Ленин замышлял «тактическое отступление», которое станет известно как новая экономическая политика. Продразвёрстку следовало заменить «натуральным налогом», а вскоре — сравнительно простым денежным налогом. Крестьянам разрешалось распоряжаться любыми излишками по своему усмотрению, что фактически означало возвращение к частной торговле сельскохозяйственными продуктами на открытом рынке. «Командные высоты» экономики должны были остаться в руках государства — банковское дело, внешняя торговля, крупная промышленность. Но прочие мелкие предприятия могли сдаваться государству в аренду и вестись на кооперативных началах. Людям вновь позволили использовать наёмный труд, что было запрещено с 1918 года. Деньги вернулись, и заработную плату стали выплачивать наличными, а не натурой, как это практиковалось на многих предприятиях в течение нескольких последних лет. Государственные службы и коммунальные услуги больше не должны были быть бесплатными — даже инвестиции «иностранных капиталистов» предполагалось поощрять. Самая крупная уступка была сделана крестьянам — ради того, чтобы удержать их в относительном спокойствии, или хотя бы не допустить открытого бунта. В этом и состоял главный смысл нэпа. «Теперь мы идём на экономические уступки, чтобы не пришлось идти на политические», — как признавал Бухарин, один из главных умов, стоявших за новой политикой.1
Поначалу Ленин столкнулся с бурей негодования внутри Коммунистической партии; тысячи людей рвали свои партийные билеты. Для идеалистов, истинно верующих — а такие ещё оставались, — нэп звучал как возвращение к капитализму и признание того, что все их усилия после октября 1917 года были напрасны. Для карьеристов — а их было куда больше — это был огромный риск, который, как они полагали, не сработает и уменьшит их непосредственную власть над жизнью людей. Для Ленина всё сводилось к удержанию власти. Ради политического выживания он был готов раздать некоторые экономические послабления. Он продавил нэп через не желавшую того партию — это была его последняя крупная кампания.
Он признавал, что это отступление, «но отступать должна вся армия, и отступать сообща», — говорил он Центральному комитету партии летом 1921 года. «Давайте скажем прямо. Крестьяне недовольны нынешними отношениями с государством — следовательно, так продолжаться не может… мы достаточно реалисты, чтобы прямо сказать: “Пересмотрим нашу политику”. Мы должны дать мелкому хозяину некоторый стимул, некоторый толчок».

Он признавал, что введение этого элемента «государственного капитализма» — его собственные слова — было шагом политическим, а не экономическим. «Я обращаюсь к… [партии] и говорю, что если они не хотят, чтобы русские массы поступили с ними так же, как они поступили с царскими людьми, то они должны выбросить за борт неосуществимые мечтания и быть готовыми считаться с экономическими законами».2

Нэп быстро оживил экономику, но исказил социалистический эксперимент. В городах появился новый тип «советского предпринимателя» — чрезвычайно богатого, наглого и показного, но при этом лояльного Коммунистической партии; их прозвали нэпманами. На земле крестьяне снова начали производить и — пока ещё — меньше боялись, что их запасы будут изъяты правительством.

В Москве снова можно было достать всё — за деньги. «Лавки и магазины возникали за одну ночь, каким-то таинственным образом наполненные деликатесами, которых русские не видели годами», — вспоминала Эмма Гольдман, проведшая два десятилетия в Соединённых Штатах. «На продажу были выставлены огромные количества масла, сыра и мяса; можно было купить пирожные, редкие фрукты и сладости всех видов. Мужчины, женщины и дети с осунувшимися лицами и голодными глазами стояли, глядя в витрины, и обсуждали великое чудо: то, что ещё вчера считалось тяжким преступлением, теперь выставлялось перед ними открыто и законно». Когда Ленина спрашивали, долго ли продлится это «тактическое отступление», он отвечал: «Некоторое время, я думаю… вероятно, не менее десяти лет». Отныне, в оставшееся ему время, когда Ленин говорил об экономике, он будет призывать к как можно более быстрому обновлению и индустриализации, и если для этого требуются элементы капитализма — что ж, пусть так. Его новым определением коммунизма станет: «Советская власть плюс электрификация».

И он будет яростно нападать на бюрократию, разросшуюся при коммунизме до невероятных размеров. Неважно, что в значительной мере именно он сам её и создал. В его советской системе каждая государственная должность, начиная с низших и средних ступеней и выше, имела свой партийный двойник, так что число чиновников удваивалось. В Советском Союзе эта система в основном сохранялась до 1980-х годов. Ленин видел проблему: «Нас всех следовало бы повесить за то, что мы создали всю эту ненужную красную волокиту», — сказал он Александру Цюрупе 21 февраля 1922 года. «Всё вокруг нас утонуло в грязном болоте бюрократии. Чрезмерное администрирование — безумие. Все эти декреты — сумасшествие. Нужно искать подходящих людей, следить, чтобы работа делалась как следует, — и больше ничего не требуется».

Он видел, что эта гидра бюрократии управляется людьми, которые в целом не соответствуют своей задаче. «Все бедствия и тяготы, которые мы переносим… происходят оттого, что Коммунистическая партия состоит на десять процентов из убеждённых идеалистов, готовых умереть за дело, но не способных жить ради него, и на девяносто процентов — из беспринципных приспособленцев, просто вступивших в партию ради должностей». Многие левые критики советского государства в последующие десятилетия говорили в сущности то же самое.3

Пока он освобождал экономику, Ленин ясно дал понять, что никаких политических реформ он не допустит. Если он собирался продавить нэп через не желавшую этого партию, необходимы были дисциплина, порядок и ограничения — ленинские принципы ещё со времён *Что делать?* 1902 года и далее. «Мы не можем допускать споров о уклонениях и разногласиях… этому надо положить конец», — говорил он Бухарину. Он составил резолюцию *О единстве партии*, долгие годы державшуюся в тайне. Она запрещала все независимые фракции и группировки в Коммунистической партии, не признанные кремлёвскими вельможами, под угрозой немедленного исключения из партии без права обжалования. «Никакая фракция, какого бы рода она ни была, не будет терпима», — говорилось в ней. Этой резолюции суждено было иметь самые тяжкие последствия для миллионов преданных коммунистов в последующие десятилетия. Она стала главным оружием, которым Сталин будет пользоваться против «уклонистов» и вообще против всякого, кого сочтёт противником.

После победы красных в Гражданской войне началось некоторое потепление в холодной войне между Россией и Западом.[1] Союзные державы заявили, что прекратят торговую блокаду, если Россия согласится выплатить свои долги, сделанные до 1914 года, — вопрос, особенно важный для Британии, которой были должны почти 600 миллионов фунтов стерлингов. Ленин, неохотно, согласился, хотя в частных разговорах продолжал жаловаться, что не понимает, «почему нация должна быть обязана платить за цепи, которые носила веками». Он долго тянул, прежде чем было утверждено соглашение о выплате займов. Блокада была снята зимой 1920 года. «Нам не удалось вернуть Россию к здравому смыслу силой. Я полагаю, что мы можем спасти её торговлей. Торговля в своём действии оказывает отрезвляющее влияние», — говорил Ллойд Джордж.[2]

Ленин надеялся, что это вызовет торговый подъём, и пытался привлечь американские и британские компании к инвестициям в Россию. Он писал письма некоторым фирмам, которые вели там дела до революции, умоляя их вернуться. Но откликнулись немногие. Он предлагал, как ему казалось, щедрые «концессии» в отношении доступа к разведке и освоению огромных природных богатств Сибири. Но дело обернулось иначе. Он начал переговоры с *Singer*, *Westinghouse* и *General Electric*, однако ни одна из этих компаний не вложила сколько-нибудь значительных средств. Он пытался привлечь миллионеров вроде нефтяного магната Арманда Хаммера, одного из немногих, кто клюнул на наживку. Хаммер стал советским апологетом до конца своей долгой жизни. В первые годы вести дела с советским режимом было делом рискованным: в нестабильной обстановке имущество снова могло быть конфисковано в одну ночь. Прибыли были ненадёжны. Но главная причина состояла в том, что, как бы сильно Ленин ни хотел внешней торговли и как бы ни нуждался в иностранном капитале, он никогда не заключил бы такого соглашения, которое могло бы ослабить хватку режима над экономической жизнью России.

---

[1] Британская лейбористка и деятельница мира Этель Сноуден, находясь в 1920 году в Москве в составе партийной делегации, сказала Ленину, что он должен что-то сделать с союзнической экономической блокадой: «Железному занавесу между Россией и Западом должен быть положен конец», — сказала она. Это было самое раннее употребление выражения Iron Curtain — «железный занавес» — применительно к Советам.

[2] Ллойд Джордж ненавидел коммунизм, но был высокого мнения о Ленине. По словам его приближённого лорда (Джорджа) Ридделла, газетного магната, в частных разговорах он называл Ленина «самым крупным человеком в политике». За год до введения нэпа Ллойд Джордж предсказал, что Ленин «достаточно крупный человек, чтобы признать правду и посмотреть ей в лицо, когда его великий эксперимент коммунизма потерпит неудачу… он изменит свои планы и будет управлять Россией иными методами».

ГЛАВА 52. Последняя битва

«Если человек более не может работать для Партии, он должен уметь взглянуть правде в лицо и умереть…»
Ленин — Наде, 8 декабря 1911 года

В течение месяца казалось, что Ленин хорошо оправляется после операции по извлечению пули из его шеи. Он спал, по его меркам, сравнительно крепко и не жаловался на головные боли. Но утром 26 мая 1922 года у него произошёл рецидив. В Горках, на даче, он упал, вставая с постели, и у него началась сильная рвота. В 10 часов утра его сестра Мария, находясь в крайне возбужденном состоянии, позвонила врачу, которого он любил больше всех, доктору Владимиру Розанову. «Доктор, умоляю вас, вы должны приехать немедленно». Тот прибыл вместе с Николаем Семашко, наркомом здравоохранения, братом Ленина Дмитрием и известным московским врачом общей практики доктором Леонидом Левиным. Они сразу увидели, что он перенёс тяжёлый инсульт. Правая сторона его тела была парализована, речь затруднена.[1]

По словам Марии, Ленин испытывал сильную боль. Он спросил одного из врачей: «Это паралич? Скажите мне. Если это паралич, значит, это может быть конец». Розанов попытался его успокоить: «Владимир Ильич, вы скоро поправитесь». Но тот ответил: «Это, несомненно, первый тревожный сигнал». Он посмотрел на Надю и сказал: «Это тревожный звонок».

В последующие несколько дней его осматривали группы выдающихся профессоров из России и из-за границы и проводили ряд исследований, в том числе на сифилис (результат оказался отрицательным, хотя врачи уже назначили ему стандартное на то время профилактическое лечение — слабую дозу мышьяка).[2]

Врачи уверяли семью Ленина и кремлёвских вельмож, что умственные способности его сохранились, хотя в этом утверждении, по-видимому, была некоторая логическая несообразность. Невропатолог профессор Крамер отметил, что «он не способен выполнять простейшие арифметические действия и утратил способность воспроизводить в памяти даже несколько коротких фраз, сохранив, однако, интеллект в полной мере». Угнетающий диагноз.

---

[1] Согласно невропатологу профессору Виктору Крамеру, в докладе в Кремль, сохранявшемся в тайне до 1935 года, лишь теперь врачи поставили истинный диагноз его болезни. Предсмертная болезнь Ленина продолжалась в общей сложности около двух с половиной лет, и её общие признаки «содержали симптомы, на которых останавливались все неврологи, как русские, так и иностранные, как на чём-то, не соответствующем обычным болезням центральной нервной системы». Он говорил, что «в основе его болезни лежит не перенапряжение мозга… а тяжёлое поражение кровеносных сосудов мозга».

[2] До сих пор находятся историки, убеждённые, что последняя болезнь Ленина была вызвана сифилисом, которым он будто бы заразился от проститутки, возможно, в Париже, и что ряд выдающихся врачей, а вместе с ними и советский аппарат по понятным причинам пытались это скрыть. Иначе зачем, спрашивают они, ему в этот момент делали такие анализы? Ответ в том, что некоторые из его врачей полагали, будто у него может быть дегенеративное заболевание мозга, вызванное сифилисом. Но результаты анализов были ясны. Так же, как и результаты посмертного вскрытия, и не существует никаких иных свидетельств, что это вскрытие было подделано. Сифилис, протекающий долгое время, вызвал бы изменения в мелких сосудах у основания мозга. У Ленина же были тяжело поражены крупные сосуды, что почти наверняка и вызвало серию перенесённых им инсультов. Ещё одним явным признаком его артериосклероза было сужение сосудов сердца и аорты. Это далеко не так интересно, как теории заговора, но, по-видимому, наиболее вероятно, что у него была наследственная предрасположенность к артериосклерозу, который и стал главной причиной его сравнительно ранней смерти. Отец его умер от того же самого примерно в том же возрасте, и его сёстры и брат страдали той же болезнью.

Сестра Ленина Мария вспоминала, что через три дня после инсульта врачи попросили его умножить двенадцать на семь. «Он не смог этого сделать и был очень подавлен. Но затем вновь проявилось его прежнее упрямство. Когда врачи ушли, он три часа бился над этой задачей и решил её через сложение (12+12=24, 24+12=36) и так далее». Надя терпеливо учила его писать. В течение нескольких недель он исписывал листы бумаги неразборчивыми каракулями. В состоянии подавленности Лениным овладела мысль покончить с собой.1

В 1911 году он выступал на похоронах в Париже Поля Лафарга и его жены Лауры. Его сильную надгробную речь перевела для него на французский Инесса. Когда Лафарг приблизился к семидесяти годам, он решил, что его социальная полезность исчерпана, что он более не может внести ничего значительного в Дело, и заключил с женой договор о самоубийстве. После церемонии Ленин сказал Наде, как глубоко он это одобряет. «Если человек больше не может работать для Партии, он должен уметь взглянуть правде в лицо и умереть, как Лафарги».

По словам Марии, Ленин просил Надю достать ему яду. Она пыталась дать ему цианистый калий, но не смогла довести дело до конца. Именно Ленин предложил обратиться к Сталину, и жена согласилась. «Это человек твёрдый и устойчивый, лишённый сентиментальности», — сказала Мария. Через три дня после инсульта, в тот день, когда он провалил врачебную арифметическую проверку, Ленин «решил, что для него всё кончено… и просил послать за Сталиным», — говорила Мария.

Сталин приехал в Горки на следующее утро, 30 мая. Они оставались наедине чуть больше пяти минут, и что именно между ними было сказано, точно неизвестно. Сталин определённо обещал Ленину исполнить его желание «если это станет необходимо». Но, по словам Марии и Бухарина, который также находился тогда в Горках, Сталин, по-видимому, отнёсся к этой мысли «скептически». Он сообщил в Кремль, что Ленин просил яду, но сам он не желает давать его лично, да и момент пока неподходящий. Ему сказали, что он поступил совершенно правильно. Придёт время, когда Сталин захочет смерти Ленина. Но ещё не теперь. Было слишком рано, чтобы он мог использовать это в полной мере.2

С момента первого инсульта и до самого дня смерти истинное состояние здоровья Ленина оставалось строго охраняемой тайной. Общество систематически вводилось в заблуждение. Его личный авторитет считался товарищами настолько существенным для большевистского режима, что всё, что могло бы его поколебать, расценивалось как опасность. Троцкий объяснял их ход мыслей так: «Мы с подлинной тревогой спрашивали себя, как примут эту весть вне Партии, — ибо там верили прежде всего в Ленина».

Лежа на одре болезни, сам Ленин знал о лжи, которую распространяли. Когда через неделю после инсульта из Кремля был выпущен бюллетень, в котором говорилось, что он страдает желудочным недомоганием, он заметил: «Я думал, что лучшие дипломаты находятся в Гааге, а оказывается — в Москве; это врачи, сочинившие сообщения о моём здоровье». Всё лето газеты были полны статей за подписями Каменева, Бухарина и Сталина о том, как быстро Ленин поправляется и как, хотя и в несколько ограниченном объёме, он трудится столь же напряжённо, как прежде, прежде чем вскоре полностью вернётся к норме. Однако новых его фотографий не было.

Последняя великая битва Ленина была с его врачами и с окружавшей его группой большевиков, которые, как он был убеждён — и справедливо, — замышляли после его смерти занять его место. Он был полон решимости удерживать контроль над режимом так долго, как только возможно.

Он поправлялся — медленно. В течение нескольких недель речь его улучшилась, и он кое-как снова мог ходить и двигать правой рукой. Он пытался вернуться к работе, но был способен выдерживать лишь два-три часа в день, прежде чем совершенно изматывался. Он не мог

сохранять сосредоточенность, и мысли его уходили в сторону. И всё же номинально страной по-прежнему управлял он. Он хотел поехать на Генуэзскую конференцию — первое крупное международное совещание, на которое была приглашена Советская Россия и которое, как он надеялся, изменит изгойное положение его режима. Но был слишком болен.

Даже будучи больным, он всё ещё отдавал распоряжения Дзержинскому и «органам».[3] «По вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Это нужно проводить более основательно», — писал он 22 июля, с копией Сталину. «Комиссия… должна представить список из нескольких сотен… которые подлежат высылке за границу. Мы очистим Россию надолго». Примерно в то же время он вместе с наркомом юстиции Дмитрием Курским заново переписывал значительную часть нового уголовного кодекса. Именно ему принадлежала мысль сделать преступлением «непризнание права коммунистической системы собственности заменить капитализм и попытку её свержения». Это стало основой печально знаменитой статьи 58 советского уголовного кодекса, по которой в последующие десятилетия миллионы людей были убиты, заключены в тюрьмы или брошены в ненасытную пасть ГУЛАГа.3

Но другие вельможи уже начинали оттеснять его в сторону, и Ленин понимал, что происходит. Никто не понимал власть и способы её действия лучше него. Важные решения принимались на совещаниях без него; складывался «триумвират» Сталина, Каменева и Зиновьева — без Троцкого, — который собирался до официальных заседаний правительства и Партии, чтобы заранее согласовать линию поведения. Ленин думал, что его отстранят раньше, чем пройдёт много времени. Ему присылали бумаги, но важнейшие документы нередко лежали внизу стопки — чиновники рассчитывали, что до них он, возможно, не доберётся, прежде чем слишком устанет.

До инсульта он сам писал важные письма и терпеть не мог диктовать секретарю. Теперь же, когда переутомлялся, выбора у него почти не оставалось. «Он говорил, что привык видеть перед собою то, что сам написал, и что ему трудно диктовать, — вспоминала Фотиева. — Ему было неприятно, когда стенографистка сидела перед ним с наготове поднятым карандашом и ждала, пока он после некоторой паузы сообразит, что именно хочет сказать дальше. Однако ему пришлось к этому привыкнуть, и он решил, что будет легче, если стенографистка во время пауз станет читать книгу, но и это мало помогало. В конце концов стенографистку помещали в соседней комнате и давали ей наушники, так что Владимир Ильич мог диктовать ей по телефону».

К октябрю он достаточно оправился, чтобы сделать несколько публичных появлений. Печать и кремлёвские чиновники превозносили его, но для всех, кто хоть сколько-нибудь хорошо его знал, он представлял жалкое зрелище. 13 ноября, после короткой речи на Четвёртом конгрессе Коминтерна, он был весь в поту и позже признался Наде: «Я забывал, что уже сказал… и что ещё должен был сказать».

Неделю спустя, после выступления в Большом театре, его встретили бурными овациями, продолжавшимися несколько минут, но обмануть удалось немногих. Французский коммунист Альфред Месмер, знавший Ленина ещё по парижским временам, с грустью говорил: «Те, кто видел его впервые, могли сказать: “Это всё тот же старый Ленин”. Но для других такая иллюзия была невозможна. Вместо того живого Ленина, которого они знали, перед ними теперь стоял

[3] В феврале 1922 года, в качестве пиар-инициативы, ЧК сменила название на ГПУ, Государственное политическое управление, в слабой надежде, что русские дадут себя обмануть и вообразят, будто террор окончен. Однако оно по-прежнему подчинялось непосредственно Ленину, а впоследствии его преемникам. Единственное реальное отличие состояло в том, что знаменитые кожаные мундиры чекистов были заменены ярко-синими.

человек, тяжело поражённый параличом, с застывшими чертами лица и общим видом автомата. Его обычная простая, быстрая, уверенная речь сменилась нерешительной, прерывистой манерой. Порой слова ускользали от него».4

13 декабря у него случились два инсульта, и с этого времени его жизнь, как выразился один из врачей его медицинской группы, «превратилась в лоскутную запись колебаний между болезнью и выздоровлением». Два дня спустя последовал ещё один, крупный инсульт; «состояние его значительно хуже», — записал профессор Крамер. «Писать он может лишь с трудом, и написанное им неразборчиво, буквы заходят одна на другую. Он не мог кончиком пальца дотронуться до кончика собственного носа». Собственной рукой он уже больше никогда не писал.

22 декабря Ленин продиктовал Сталину отчаянное письмо, умоляя его сдержать слово и дать ему яд «из гуманитарных соображений». Сталин отказал и сообщил старшим товарищам о своём отказе. «У меня нет сил исполнить просьбу Владимира Ильича», — сказал он.5

Через два дня его врачи,[4] вместе со Сталиным, Каменевым, Бухариным и Зиновьевым, навязали Ленину систему правил, чтобы держать его в изоляции от всех, кроме семьи, персонала в Горках и самих себя, теперь уже в качестве правителей России. Они приняли резолюцию, сохранявшуюся в тайне до 1950-х годов, что «Владимир Ильич может ежедневно диктовать в течение пяти-десяти минут, но это не может носить характера переписки и… [он] не должен ожидать получения каких-либо ответов. Ему запрещается принимать каких-либо политических посетителей… никому из окружающих не дозволяется сообщать Владимиру Ильичу какие бы то ни было политические новости». Сталин был непосредственно поставлен во главе режима, касающегося здоровья Ленина. В известном смысле Ленин стал политическим узником большевиков, а главным его тюремщиком — Сталин. Но у него не было оснований жаловаться, что большевистское руководство вмешивается в установленный для него медицинский режим. Он сам не раз говорил, что здоровье революционера — дело Партии и «общественное достояние».

Одной из крупнейших ошибок Ленина было то, что он не сделал никаких распоряжений относительно собственного преемства. Как и столь многие могущественные, господствующие вожди, он полагал, что никто не способен его заменить. Никто не знает в точности, что он предполагал для советского руководства после своей смерти. Ясно лишь, что всерьёз он стал думать об этом слишком поздно. Вероятнее всего, Ленин хотел какой-то формы коллективного руководства, но не оставил никакой процедуры, по которой могли бы выдвинуться преемники.

Немногие вещи в советской истории остаются столь туманными, как истина, скрывающаяся за так называемым Последним Завещанием Ленина — несколькими фрагментами его пожеланий относительно эпохи после Ленина, которые он, насколько мог тайно, диктовал в последние месяцы своей жизни. Если этот документ и должен был разрешить соперничество между Троцким и Сталиным, которое, как он понимал, могло расколоть Партию, то он заблуждался.

---

[4] В лечении Ленина за последние два с половиной года его жизни участвовала целая группа врачей — всего двадцать шесть человек, в том числе по меньшей мере пятнадцать профессоров и множество выдающихся иностранных специалистов. Разумеется, иностранцам нужно было платить — и в твёрдой валюте. Стоило это огромных денег, как показал строго секретный доклад, опубликованный лишь после распада Советского Союза. Они назначали колоссальные гонорары, и советская власть всё выплачивала незамедлительно: 11 900 фунтов стерлингов (громадная по тем временам сумма) профессору Отфриду Фёрстеру, 4 400 — Оскару Минковскому, 220 000 германских марок — Борхардту, 29 000 долларов США — профессору Освальду Бумке, 9 500 долларов — Клемпереру и 4 500 фунтов — Адольфу Штрюмпфелю, причём вперёд, — и товарищи платили без жалоб

Документ скорее напоминает записки больного, несколько сбитого с толку и озлобленного человека.

Ленин не желал, чтобы верховную власть взял в свои руки кто-либо из двух наиболее вероятных претендентов. Он продолжал сталкивать Троцкого и Сталина друг с другом, полагая, что оба, каждый по-своему, чрезвычайно талантливы. За последние полтора года или около того, с тех пор как гражданская война была выиграна, он возвысил Сталина до верховного партийного поста, создав специально для него должность генерального секретаря. Сталин был готов выполнять будничные, неувлекательные задачи, которые были необходимы. Троцкий оставался главным правительственным распорядителем, и Ленин на него полагался. Он восхищался его умом и организаторскими способностями. Но товарищеской фигурой тот не был. Нередко он попросту не удосуживался являться ни на правительственные, ни на партийные заседания. Внутри Коммунистической партии у него не было никакого поста, и он успел в то или иное время нажить себе врагов среди большинства вельмож из-за собственного высокомерия.

Новое положение Сталина давало ему колоссальную опору власти внутри Партии, откуда он мог раздавать покровительство и покупать верность; кроме того, он оставался наркомом по делам национальностей, что обеспечивало ему влияние в коммунистических партиях по всей империи.

После того как Ленин оказался прикован к постели и отрезан от политики, он продиктовал Завещание, главным образом одной из дежурных секретарей, Марии Володичевой, между 22 декабря 1922 года и 4 января 1923 года. Он вернулся к своей старой конспиративной привычке, чтобы документ, как он надеялся, остался тайной до самой его смерти.[5] «По его просьбе было напечатано пять экземпляров, — рассказывала она. — Один… он оставил себе, три экземпляра [предназначались] Надежде Константиновне и один — в секретариат с пометой “совершенно секретно”. Его экземпляр был перепечатан набело со всеми окончательными поправками и передан Марии Ильиничне. Те три экземпляра, которые получила НК, также были исправлены. Черновики были сожжены мной. Он просил, чтобы на запечатанных конвертах, в которых хранились эти экземпляры… было отмечено, что они могут быть вскрыты только В. И. Лениным либо после его смерти — Надеждой Константиновной».

Первый фрагмент был продиктован 24 декабря: «Товарищ Сталин, сделавшись генеральным секретарём, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий… отличается не только выдающимися способностями — лично он, пожалуй, самый способный человек в нынешнем Центральном Комитете [Партии], — но и слишком большой самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух самых выдающихся вождей нынешнего ЦК могут, совершенно невольно, привести к расколу, и если наша Партия не примет мер к его предупреждению, раскол может возникнуть неожиданно.

Я не буду далее характеризовать других членов ЦК с точки зрения их личных качеств. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не был случайностью, но, конечно, это нельзя ставить им в такую же вину, как и небольшевизм Троцкого». В течение последующих дней он продолжал рассматривать некоторых менее известных деятелей руководства — отвергая их всех — и делал общие замечания о партийном управлении.

---

[5] Хотя, весьма вероятно, Сталин прекрасно знал всё о Завещании. Формально именно он ведал уходом за Лениным, а все секретари впоследствии работали уже на него. Ясно, что секретари напрямую ему докладывали.

Затем, 4 января, он вызвал Фотиеву, чтобы добавить к Завещанию взрывное послесловие: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в нашей среде и в сношениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генерального секретаря. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на него другого человека, который во всех прочих отношениях отличается от товарища Сталина только одним преимуществом, именно: большей терпимостью, большей лояльностью, большей вежливостью и большей внимательностью к товарищам, меньшей капризностью».6

Последняя ссора между Лениным и Сталиным была личной, а не политической. Ленин не вдруг, умирая, открыл для себя истинную природу Сталина. Он знал её и прежде и не слишком-то тяготился безжалостной безнравственностью «чудесного» грузина. Ленин сам создал чудовище, и величайшее его преступление состояло теперь в том, что он оставлял Сталина с хорошими шансами стать советским диктатором.

В начале марта 1923 года партийный секретариат сократил количество официальных бумаг, посылавшихся в Горки, — очевидно, по приказу Сталина, хотя никакого письменного следа не сохранилось. Каким бы беспомощным он ни был, Ленин всё ещё отчаянно пытался удержаться хотя бы за остатки власти и влияния. Он хотел разрешить «национальный вопрос»: каким государством станет Советский Союз? К концу жизни Ленин склонялся к федеративному союзу с известной автономией для каждой национальности. Сталин же хотел жёстко централизованное государство, где вся власть сосредоточена в Москве. Полем их столкновения должна была стать родная область Сталина — Грузия.

Ленин узнал, что Орджоникидзе, теперь глава грузинской коммунистической партии и один из сталинских исполнителей, развернул кампанию по подавлению грузинского национализма и ввёл войска для подавления всякого инакомыслия. На одном партийном совещании в Тбилиси это привело даже к рукопашной между высшими чиновниками. Ленин решил поддержать противников Сталина и в середине января 1923 года продиктовал через Надю — не через одного из секретарей — записку Троцкому с просьбой вмешаться в «это грузинское дело». Троцкий отказался, но Сталин узнал о письме. 25 января он позвонил Наде и по телефону обрушил на неё поток брани, обвиняя её в нарушении врачебных предписаний — ведь она позволила Ленину написать «политическое письмо», — и предупредил, что внутри Партии это повлечёт суровые дисциплинарные последствия. «Она разрыдалась… впала в полную истерику», — говорила Мария, слышавшая часть этого разговора. Но Надя рассказала Ленину о происшествии лишь шесть недель спустя.

Вместо этого она написала Каменеву: «Лев Борисович! Сталин вчера подверг меня буре самой грубой брани. Из-за коротенькой записки, которую Ленин продиктовал мне с разрешения врачей. Не вчера я вступила в Партию. За все последние тридцать лет я не слышала от товарища ни одного грубого слова. Интересы Партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину… Я лучше всех врачей знаю, что можно и чего нельзя говорить Ильичу, потому что я знаю, что его тревожит, а что нет, и во всяком случае знаю это лучше, чем Сталин».

Когда Надя в конце концов рассказала Ленину о поведении Сталина, муж её отреагировал скорее как аристократический герой пушкинской повести, нежели как радикальный большевик. 5 марта он вызвал Володичеву и продиктовал Сталину «Совершенно секретную и личную» записку, с копиями Зиновьеву и Каменеву. «Вы были настолько грубы, что позволили себе вызвать к телефону мою жену и обругать её», — начиналась она. «Хотя она и сказала вам, что готова забыть это… я вовсе не намерен так легко забывать то, что сделано против меня, и само собой разумеется, что то, что сделано против моей жены, я считаю сделанным и против меня.

Поэтому прошу вас подумать, готовы ли вы взять назад сказанное и принести свои извинения, или же вы предпочитаете, чтобы отношения между нами были порваны». В иную эпоху, и не будь он прикован к постели, Ленин, возможно, был бы расположен вызвать Сталина на дуэль.

К этому времени Сталин уже открыто говорил другим вельможам: «Ленин — капут», и часто позволял себе грубые высказывания о нём перед другими. Но он сохранил самообладание и принёс извинения, если и в весьма уклончивой форме. Через два дня он послал Ленину записку, в которой писал: «Здесь нет ничего, кроме пустякового недоразумения. Но если вы полагаете, что для сохранения “отношений” я должен взять назад сказанные мною слова… я могу их взять назад, хотя отказываюсь понимать, в чём тут дело, в чём состоит моя “вина” и чего, собственно, от меня хотят».

Ранним утром 10 марта, через три дня после получения сталинской записки, Ленин перенёс ещё один тяжёлый инсульт. Правая рука и нога были парализованы, он не мог говорить, и врачи отметили «затемнённость сознания… Он всё пытался что-то сказать, но выходили лишь бессвязные звуки», — говорил профессор Крамер.7

Последние десять месяцев Ленина были мучительны — и для него, и для окружающих. Надя терпеливо старалась снова научить его говорить, но после мартовского инсульта он так и не смог произнести больше нескольких слов. С помощью специальных ортопедических ботинок он — едва-едва — мог снова ходить, в хорошие дни. В плохие он сидел в инвалидном кресле. Иногда обнаруживались признаки улучшения; 19 июня Надя писала Кларе Цеткин, что «бывают дни, когда я начинаю надеяться, что выздоровление не невозможно».

Её настроение менялось изо дня в день в зависимости от состояния Ленина, и её письма дочерям Инессы Арманд — особенно старшей, Инне — раскрывают это куда яснее, чем тот очищенный и приглаженный мемуар, который она позднее написала о последних месяцах его жизни. 23 мая 1923 года она писала Инне: «Живу я только тем, что Володя радуется, когда видит меня по утрам; он берёт меня за руку, и иногда мы без слов говорим о разных вещах, у которых и названий-то нет». 2 сентября: «Я теперь провожу с Володей целые дни, и он быстро поправляется, а по вечерам схожу с ума и совершенно не в силах писать письма». Десять дней спустя она сообщает Инне, что ленинское «улучшение продолжается, но всё это идёт дьявольски медленно». 28 октября она звучит усталой и побеждённой: «Каждый день он что-нибудь завоёвывает, но всё это микроскопическое, и мы по-прежнему висим между жизнью и смертью. Врачи говорят, что все факты указывают на выздоровление, но я теперь наверняка знаю, что они ни черта не знают, просто не могут знать».

Иногда он проявлял некоторый интерес к газетам. Но в тяжёлые дни казался почти вегетативным. Его племянник Гора после июльского посещения был в отчаянии. «Я увидел его сидящим в инвалидном кресле, в белой летней рубашке с расстёгнутым воротом… голову его покрывала довольно старая кепка, а правая рука как-то неестественно лежала на коленях. Он едва заметил меня, хотя я совершенно явственно стоял посреди поляны».

Художник Юрий Анненков написал портрет Ленина в 1921 году. Он снова увидел его в декабре 1923-го. «Каменев повёз меня в Горки, чтобы написать портрет, вернее, набросок больного Ленина. Нас встретила Надежда Константиновна. Она сказала, что о портрете не может быть и речи. И действительно, Ленин, лежавший на кушетке, укрытый пледом и смотревший мимо нас беспомощной, перекошенной, младенчески-беззащитной улыбкой человека, впавшего во второе детство, уже не мог служить натурой для портрета».8

В новом году врачи давали благоприятные прогнозы,[6] но Надя слишком хорошо знала цену подобным предсказаниям, чтобы верить им. «С четверга, 17 января, я начала чувствовать, что надвигается что-то… [очень дурное], — писала она. — Он выглядел ужасно усталым и измученным. Он часто закрывал глаза, бледнел, но главное было то, что как-то изменилось выражение его лица, взгляд его как-то ослеп».

Она продолжала каждый день читать ему, и он обычно слушал внимательно. В начале вечера 19 января 1924 года она читала ему рассказ Джека Лондона, написанный в 1905 году, — «Любовь к жизни», о золотоискателе в канадской глуши, который борется за выживание, удушив волка и питаясь его кровью. Надя говорила, что рассказ ему понравился.

Пока она в тот вечер читала у его постели, в нескольких милях оттуда, в Москве, советские вожди выступали на заседании Центрального Комитета и с оптимизмом докладывали о здоровье Ленина, намекая, что он скоро снова впряжётся в работу и вскоре опять поведёт страну. Формальный глава советского государства Михаил Калинин заявил, что Ленин выигрывает «тяжёлую борьбу с болезнью». Делегаты поднялись и зааплодировали. «Да здравствует вождь мирового пролетариата, товарищ Ленин».

Через два дня стояла ясная, солнечная, яркая, хотя и леденяще холодная погода. Врачи решили, что Ленину пойдёт на пользу свежий воздух. Бухарин, приехавший навестить его, описывал, как Ленина «усадили на подушки в санях, и он смотрел, как группа рабочих в имении отправляется на охоту. Он был в хорошем настроении, и, по-видимому, всё это доставляло ему удовольствие. Немногие вещи радовали его больше, чем охота. Когда ретривер принёс одну птицу работнику неподалёку от саней, Ленин поднял здоровую руку и сумел сказать: “Вот собака” [Good dog]».

Вернувшись в комнату к середине дня, он, по-видимому, устал, но выпил немного овощного бульона. «Он пил жадно и почувствовал себя чуть лучше, но потом… [я услышала] клокотание в его груди, — писала Надя. — Глаза его становились всё менее и менее осмысленными… он порой тихо стонал, и по телу у него проходила дрожь. Сперва я держала его горячую, влажную руку, а потом только смотрела, как полотенце… [под ним] краснеет от крови и как печать смерти ложится на его лицо. Профессор Фёрстер и доктор Елистратов распыляли камфору и пытались делать ему искусственное дыхание, но тщетно — спасти его было невозможно». Он был объявлен умершим в 6 часов 50 минут вечера 21 января 1924 года.9

[6] Некоторые врачи, читавшие записи посмертного вскрытия Ленина и исследовавшие его мозг после смерти, удивлялись, как он вообще прожил так долго. Нарком здравоохранения Семашко сообщал: «склероз сосудов мозга Владимира Ильича зашёл так далеко, что… [они] обызвествились. При ударе пинцетом они звенели, как камень. Стенки многих сосудов так утолстились, а сами сосуды так заросли, что в отверстия невозможно было просунуть даже волос. Таким образом, целые участки мозга были лишены притока свежей крови».

ГЛАВА 53. Взрыв шума

Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей...
Он, как вы
и я,
совсем такой же...
Слезы снега
с флажьих
покрасневших век..

Владимир Маяковский, «Владимир Ильич Ленин », январь 1924 г.

В покое тело Ленина, одетое в тёмно-коричневый пиджак и чёрный галстук, сохраняло спокойное выражение — человека, обрётшего мир, — а не лицо, искажённое болью и болезнью, как того страшилась Надя. Его руки покоились на груди: одна была крепко сжата в кулак, другая расслаблена, пальцы слегка согнуты. Он лежал в багряном гробу.

Утром 23 января, в одну из самых холодных русских зим за всю историю наблюдений, его повезли в Москву. На протяжении четырёх километров люди несли катафалк на плечах от дачи в Горках через занесённый снегом лес к ближайшей железнодорожной станции. На остановках поезда вдоль всего пути тысячи людей собирались, чтобы отдать ему последние почести.

Около часа дня поезд прибыл на Павелецкий вокзал в южном предместье Москвы. Тело Ленина было установлено на катафалке, и длинная процессия сановников, во главе с семьёй Ленина, прошла шесть с половиной километров по городу к Дому союзов, где он должен был лежать в гробу для прощания, как Инесса тремя годами ранее. Во время всего этого долгого шествия Надя выглядела измученной и убитой горем, но держалась с достоинством.

Солдаты стояли плечом к плечу на всём протяжении процессии — вдоль заснеженных улиц при температуре двадцать градусов ниже нуля по Цельсию. «Москва превратилась в вооружённый лагерь», — вспоминал американский корреспондент Уильям Резвик. «Я ехал на санях к вокзалу по улицам, по обеим сторонам которых стояли сплошные ряды пехоты». Развевались красные знамёна, с окон свисали ленты с чёрной каймой. Транспаранты возвещали: «Ленин умер… его дело живёт». Когда процессия пересекала Москву-реку, над ней пролетел строй аэропланов, разбрасывая листовки с надписью: «Могила Ленина — колыбель свободы человечества».

Смерть Ленина вызвала подлинную скорбь, хотя вопрос о том, насколько она была стихийной и в какой мере её присвоил режим, остаётся предметом спора. Сотни тысяч людей — быть может, до миллиона — стояли в леденящем холоде и хлеставшем снегу, чтобы хоть мельком увидеть его тело. Все четыре дня, пока он лежал для прощания, при нём неотлучно находился почётный караул. Сначала это были восемь солдат, сменявшихся каждые десять минут. Но желающих нести эту службу оказалось так много — партийных работников, сотрудников ГПУ, а также военных, — что караул был удвоен до шестнадцати человек, затем увеличен до двадцати четырёх, и смена стала происходить каждые пять минут.

Смерть царей по традиции сопровождалась широкими публичными проявлениями траура. Но ни одно из них не было столь огромным, как это. Советские вельможи сделали всё, что могли, чтобы его поощрить: именно ленинское руководство, сама его личность, легитимировали их режим. Но, без сомнения, Ленин внушал и настоящее уважение. Николай Валентинов, разошедшийся с ним, пришёл «проститься с ним», как и столь многие его соотечественники. «Стоял мороз, который невозможно было вытерпеть. Люди… простужались, и всё же как-то выстаивали часами, дожидаясь своей очереди увидеть гроб… [быть может] у русского народа мистическое любопытство куда сильнее, чем у некоторых других, — некая тяга смотреть на покойника, особенно если умерший стоял выше обычного уровня. В паломничестве к гробу Ленина было и это любопытство, но, несомненно, был и иной побудительный мотив; огромная часть населения отозвалась на смерть Ленина несомненной скорбью».[1]

Была объявлена неделя национального траура. Все театры и прочие места развлечений были закрыты, как и магазины, кроме булочных и тех, где продавались портреты Ленина и чёрная с красным траурная материя. Шесть дней газеты почти ни о чём не писали, кроме Ленина.

В воскресенье, 27 января, температура в Москве упала до минус 33 градусов — «бороды, воротники и брови побелели от снега». Сотни тысяч людей запрудили Красную площадь, «и их застывшее дыхание превращалось в туман в морозном воздухе», как вспоминал один из скорбящих. На прилегающих улицах стояли ещё десятки тысяч — под траурными знамёнами, выстроенные в длинные ряды. На углах площади солдаты разжигали костры из брёвен, и вокруг них каждое отделение, сменяемое ежечасно, топало ногами и колотило руками по телу в попытке хоть немного согреться.

Похоронные приготовления были устроены Сталиным и Зиновьевым, которые накануне вечером произнесли надгробные речи на специальной сессии Съезда Советов, созванной для того, чтобы почтить память умершего вождя. Единственным заметным отсутствующим был Троцкий, находившийся на Кавказе, где он поправлялся после болезни, когда Ленин умер. [1]

В десять часов утра тело Ленина было вынесено из Колонного зала Дома союзов на Красную площадь, расположенную в километре оттуда. Команды солдат, партийных работников, советских представителей и крестьянских делегатов добровольно вызвались нести гроб на части пути — как особую честь. Процессия снова шла во главе с Надей, сёстрами и братом Ленина. Почти полтора часа потребовалось, чтобы дойти до восточной стены Кремля, где в спешке был возведён деревянный мавзолей: последнее место упокоения Ленина. Всё это время оркестры играли «Интернационал», похоронный марш Шопена и военную музыку. Речи были бесконечны, однако множество людей не покидало Красной площади.

Ровно в четыре часа дня несшие гроб — Каменев, Зиновьев, Сталин, Молотов, Бухарин, (Михаил) Томский, Дзержинский и спутник Ленина по охоте Ян Рудзутак — спустили его по четырём ступеням в неглубокий склеп. Наверху же, над землёй, жутко волнующий, по всей Красной площади, Москве и другим крупным городам России прокатился необыкновенный звук. Всё, что только можно было привести в действие, было приведено в действие: сирены тысяч фабрик, паровозные свистки, туманные горны, сигналы тревоги и залп за залпом орудий слились в единый взрыв шума.[2]

---

[1] Троцкий всегда утверждал, что его умышленно дезинформировали — Сталин — о дате похорон. Но у него было время вернуться, если бы он действительно этого захотел. Впрочем, он написал сильный некролог в газете. Его отсутствие было тщательно отмечено и стало для него крупным политическим просчётом. Несомненно, это повредило его притязаниям на наследование власти.

ГЛАВА 54. Ленин жив

«Не давайте вашей скорби об Ильиче исчерпаться внешним почитанием его личности. Не воздвигайте ему памятников и мемориалов, не называйте его именем дворцы. Не устраивайте пышных торжеств в его память. При жизни он придавал этим вещам мало значения».
Надежда Крупская, 29 января 1924 года

«Для русских величайшим несчастьем было рождение Ленина; следующим по тяжести — его смерть».
Уинстон Черчилль, The World Crisis*, том второй, 1929*

Ленин хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью и сестрой Ольгой на Волковом кладбище в Петрограде. Надя и остальные члены его семьи полагали, что именно так и будет: в частной церемонии, вскоре после государственных похорон. Они хотели, чтобы на его могиле стоял простой и скромный надгробный камень.

Но за кулисами, в Кремле, начался спор о ленинских останках. Не вполне ясно, кто первым высказал необычайную мысль — сохранить тело Ленина и выставить его, подобно мощам святого. Позднее несколько вождей приписывали эту заслугу себе, но Сталин и Дзержинский продавили этот план — вопреки воле Нади, сестёр Ленина и его брата Дмитрия.

Первоначально доктор Алексей Абрикосов, патологоанатом, проводивший вскрытие на следующий день после смерти Ленина, забальзамировал тело, чтобы сохранить его на шесть дней, до похорон. Однако 24 января Похоронная комиссия, сопредседателем которой был Сталин, распорядилась, чтобы патологоанатом забальзамировал его на сорок дней — желание не столь уж необычное в православной России, где по традиции молитвы по усопшему читались, нередко у тела, в течение сорока дней. Сначала Надя наотрез отказалась это позволить, но смягчилась, когда Зиновьев сказал ей, что, если она согласится, через месяц они смогут снова обсудить этот вопрос.

Но к этому времени вожди уже решили, что, если это окажется возможным, они сохранят тело, помещённое в мавзолей на Красной площади, «на неопределённый срок… навсегда, если сможем». Дзержинский, который некогда короткое время готовился к католическому священству, прежде чем обратиться к марксизму, говорил: «Если наука может сохранить человеческое тело на долгий срок, то почему бы не сделать этого? Царей бальзамировали только потому, что они были царями. Мы же сделаем это потому, что Ленин был великим человеком, ни на кого не похожим». Сталин, в прошлом воспитанник православной семинарии, бормотал на одном из заседаний правительства: «Мы должны показать, что Ленин жив».

Многие из старых товарищей были потрясены, в том числе Каменев и Бухарин. Владимир Бонч-Бруевич, вероятно, самый близкий к Ленину человек в последние годы его жизни, говорил, что знал: сам Ленин был бы ужаснут этой идеей. Троцкий заметил, что бальзамирование ленинского тела напоминает средневековые религиозные культы: «Раньше были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского; теперь их хотят заменить мощами Владимира Ильича». Но решение было принято: большевикам требовалось святилище для культа Ленина, и его забальзамированное тело, неподвластное тлению, покоящееся у Кремля, должно было стать местом паломничества.

Надя не знала до следующего дня после похорон, что решения относительно останков Ленина будут принимать товарищи, а не его вдова. Утром 28 января она писала Инне Арманд: «Моя

любимая дочь… Сейчас его могилу ещё не засыпали, так что ещё можно увидеть Володю», — следовательно, в тот момент она явно думала, что его похоронят надлежащим образом. Позднее в тот же день она узнала о кремлёвских обсуждениях и о шагах, уже предпринятых высокопоставленными чиновниками.

Она попыталась протестовать. На следующий день Правда поместила на видном месте «Послание Надежды Крупской. Товарищи, рабочие и крестьяне, мужчины и женщины… У меня к вам большая просьба. Не давайте вашей скорби об Ильиче исчерпаться внешним почитанием его личности. Не воздвигайте ему памятников и мемориалов, не называйте его именем дворцы. Не устраивайте пышных торжеств в его память. При жизни он придавал этим вещам мало значения. Они тяготили его. Они были ему в тягость. Помните, сколько ещё бедности и неустройства у нас в стране. Если вы хотите почтить имя Владимира Ильича, стройте ясли, детские сады, дома, школы и — самое главное — исполняйте его завет».

Ей не удалось настоять на своём. 26 февраля 1924 года, через четыре недели после ленинских похорон, марксисты-атеисты, управлявшие Советской Россией, учредили, без всякой иронии, величественно названную Комиссию по увековечению.[1], [2]

«Тройка» — Сталин, Каменев и Зиновьев, теперь стоявшие во главе России, — позаботилась о том, чтобы одно из ленинских наследий «никогда не было увековечено», как с грустью заметил один из старых большевиков. Они сговорились похоронить Завещание о преемстве, которое Ленин продиктовал в последние месяцы своей жизни. У Нади было четыре копии, у Марии Ульяновой — одна, но большинство партийных вождей знало его потенциально взрывоопасное содержание. Надя хотела, чтобы документ получил как можно более широкое хождение — в коммунистической партии и по всей стране, — надеясь унизить Сталина. Она добивалась того, чтобы ленинская воля была исполнена. Но силы у неё для этого не было.

На деле все претенденты на руководство имели что терять, если бы Завещание стало достоянием гласности, хотя Сталин, разумеется, больше всех. Оно показывало, что Ленин, в сущности, не испытывал подлинной веры ни к одному из окружавших его товарищей. Политбюро и недавно созданный Совет старейшин — старшие партийные деятели — всё устроили так, чтобы причинить руководству наименьший возможный вред. «Тройка» была создана как заговор против Троцкого, но и в его интересах вовсе не было опубликование Завещания, поскольку оно отнюдь не содержало безоговорочного одобрения его качеств как лидера. Совместными усилиями они подстроили голосование так, чтобы, насколько возможно, не допустить утечки подробностей ленинского завещания.

Когда партийный съезд собрался через две недели после ленинских похорон, выдержки из Завещания — но не ленинское послесловие, где он требовал сместить Сталина с поста генерального секретаря, — были зачитаны Каменевым. Никому не разрешалось делать записи. Никому не разрешалось рассказывать кому-либо вне зала, что содержится в документе. Было проведено голосование — единогласно принятое — об «одобрении» его содержания.

Позднее на Центральном Комитете правила были теми же, хотя на этот раз было зачитано всё Завещание целиком. Несколько мгновений стояла тишина, а затем поднялся Зиновьев. «Для нас каждое слово Ильича — закон. Мы поклялись исполнить всё, что умирающий Ленин повелел нам сделать. Вы знаете, что мы эту клятву сдержим. Но мы с радостью можем сказать, что в одном пункте ленинские опасения оказались напрасными. Я имею в виду пункт о нашем генеральном секретаре. Все вы были свидетелями нашего согласного сотрудничества в

---

[1] Полное название — Комиссия по увековечению памяти В. И. Ульянова (Ленина).

[2]

последние месяцы». Каменев предложил оставить Сталина на этом посту, и предложение было принято единогласно. Троцкий голосовал за.[3]

До того времени, когда Сталин обретёт власть диктатора, оставалось ещё около семи лет, хотя именно здесь началось угасание роли Троцкого в большой политике. Никому не известно, кого Ленин хотел видеть во главе Советского Союза после своей смерти. Но именно такого исхода он, несомненно, не имел в виду.[4]

Из всей бессмыслицы и гипербол, написанных в культе обожествления Ленина, мало что может сравниться с утверждением Анатолия Луначарского, будто ленинский гений объясняется формой его головы: «Строение… [ленинского] черепа поистине поразительно. Нужно некоторое время его изучать, чтобы оценить его физическую мощь, очертания колоссального купола лба и ощутить нечто, что я могу описать лишь как физическое излучение света от его поверхности». Кропотливая наука последующих десятилетий доказала, что в его черепе — и в том, что находилось внутри него, — не было ничего необычайного. Через два года после смерти Ленина Советы создали Институт мозга, чтобы при помощи разума и научного исследования раскрыть тайны гениальности вождя. Во главе был поставлен выдающийся немецкий невролог доктор Оскар Фогт, и он начал сравнивать мозг Ленина с мозгами «обыкновенных людей», как объяснял один из его помощников, а также с мозгами других выдающихся личностей — Маяковского, прежнего ленинского оппонента, бывшего «богостроителя» и соперника Александра Богданова, писателя Андрея Белого и французского писателя Анри Барбюса.[5]

Ленинский мозг был сохранён в растворе формальдегида и спирта. Одну его половину разрезали на четыре части, каждую из которых нарезали на 7500 крошечных пластинок, подвергнутых микроскопическому анализу на основе теории Фогта (дискредитированной в 1930-х годах), согласно которой строение мозга влияет на интеллект. Потребовалось десять лет исследований, прежде чем преемник Фогта, доктор Семён Сассиков, представил Сталину «совершенно секретный» доклад объёмом в 153 страницы с более чем 700 иллюстрациями, где говорилось, что ленинский мозг «неизмеримо превосходит другие, поскольку обладает исключительно высокой степенью организации», чем якобы и объясняется его гениальность.[6]

Почему этот доклад хранился в тайне вплоть до распада Советского Союза — загадка; во времена сталинских чисток врач едва ли мог прийти к какому-либо иному выводу, кроме «ленинский мозг был необыкновенным». Причина, возможно, заключалась в том, что внутри доклада скрывался и тот факт, что ленинский мозг был вполне заурядным. Средний мужской мозг весит от 1300 до 1400 граммов; ленинский весил 1340 граммов. Размер не имеет значения в контексте интеллекта. Но Советы никак не могли признать, что ленинский мозг был лишь средних размеров. Самому Ленину, возможно, было бы любопытно узнать, что его мозг гораздо меньше

---

[3] Содержание Завещания появилось в New York Times в 1926 году. Тогда высказывалось предположение, что его, возможно, передала наружу Надя, но эта версия была впоследствии отвергнута. В России подробности появились лишь в 1956 году, в «секретной речи» Никиты Хрущёва, обличавшей Сталина.

[4]

[5] Так и не стало ясно, одобряли ли их семьи это или хотя бы знали ли, что мозги их близких используются для подобных целей.

[6] Самое любопытное в ленинском мозге заключалось в том, насколько он был поражён болезнью. Художнику Юрию Анненкову, приглашённому через несколько месяцев после смерти Ленина отбирать фотографии и рисунки для памятного тома, показали стеклянную банку. «В ней находился ленинский мозг, сохранённый в спирту. Одно полушарие было здоровым и полноразмерным, с чётко выраженными извилинами. Другое, как бы свисавшее лентой, было сморщено, сжато, раздавлено и не больше грецкого ореха».

мозга его великого литературного героя, которого он с удовольствием читал всю жизнь: мозг Тургенева весил целых два килограмма. Ленинский же был просто нормальным мозгом.[7]

Сначала Комиссии по увековечению доктор Абрикосов сообщил, что тело Ленина можно сохранять «многие, многие годы» посредством охлаждения, если оно будет находиться в крипте, в специально устроенном саркофаге, при тщательно регулируемой температуре. Но, несмотря на самое дорогое и сложное холодильное оборудование, закупленное в Германии, уже через два месяца на лице и туловище Ленина появились тёмные пятна, а глазницы деформировались. Вожди тревожились, что их план может не удаться, тем более что погода становилась теплее.

В конце марта 1924 года два известных химика, Владимир Воробьёв и Борис Збарский, предложили вновь забальзамировать тело химической смесью, которая, по их словам, «может продержаться сотни лет». Они изучили древнеегипетские приёмы мумификации, но, как утверждали, могли сделать гораздо лучше — «и сохранить телу Владимира Ильича естественный вид». Они работали день и ночь, отбеливая ленинскую кожу и подбирая правильную бальзамирующую жидкость, под сильнейшим давлением, отчитываясь непосредственно перед Сталиным и Зиновьевым. Они проводили опыты на нескольких трупах мужчин около пятидесяти лет, доставленных им из московских моргов и научных учреждений. Через четыре месяца они нашли правильную формулу: глицерин, спирт, ацетат калия, хлорат хинина и ещё один компонент, который к моменту написания книги всё ещё оставался строго секретным.

1 августа мавзолей был открыт для посетителей. «Тело находится в превосходной сохранности», — сказал один из первых людей, увидевших его. Учёные хвастались, что сумели сделать то, чего не могли египтяне для Тутанхамона: «бальзамировщикам удалось даже придать ему улыбку».[8],[9]

Надя всегда поклонялась своему собственному культу Ленина, но ненавидела то публичное зрелище, которое развернулось вокруг неё. В особенности ей была отвратительна мысль о том, что забальзамированное тело Ленина покоится в полукилометре от её дома. Она лишь однажды пошла посмотреть мавзолей, за несколько месяцев до своей смерти в 1939 году, и была заметно потрясена. Она некоторое время смотрела на тело и сказала Илье Збарскому, первому хранителю мумии, который её сопровождал: «Он всё тот же… но посмотрите, как я постарела». Она говорила, что не хочет идти туда снова. Она резко осудила то, что через пять дней после смерти её мужа Петроград был переименован в Ленинград. Она продолжала называть город «Питер», как делала всегда.

Её последние годы были печальны. Она продолжала жить в Кремле, деля квартиру с Марией, которая умерла за два года до неё, но уже в другой квартире, дальше от правительственных учреждений. После того как ей не удалось добиться распространения ленинского Завещания, она ещё четыре года работала в Наркомпросе, очищая российские библиотеки от опасных книг, таких как труды Канта и Шпенглера.

Она превратилась в марионетку Сталина, которого всегда ненавидела. Ей внушали, что именно она, со всей своей преданностью делу и наследию мужа, более всех должна думать прежде всего

---

[7]

[8] За последние девяносто лет над телом Ленина работали многие сотни учёных; оно требует постоянного ухода. В 2016 году в этой работе были заняты двенадцать человек на неполной ставке и три или четыре — на полной, отвечавшие за поддержание ленинского тела как одновременно святыни и туристической приманки.

[9]

о партийной верности, а Сталин — непререкаемый вождь. Во время чисток 1930-х годов она любила говорить: «если бы Володя был сейчас жив… он сидел бы в тюрьме», но дальше этого её несогласие не заходило.

Она знала, каков был бы взгляд её мужа на мавзолей, и время от времени напоминала людям вступительные страницы «Государства и революции»: «При жизни великих революционеров угнетающие классы постоянно травили их и… встречали их учение самой бешеной ненавистью, самыми бесстыдными кампаниями лжи и клеветы. После их смерти предпринимаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать канонизировать их и окружить их имена известным ореолом… с целью обманывать массы, одновременно выхолащивая и притупляя подлинную сущность их революционного учения, опошляя его».

Для кремлёвских вождей забальзамированное тело и раздутый культ Ленина несли в себе различные послания, помимо причудливого смешения религиозного и политического ритуала. Ленин был провозглашён светским святым, которого народ обязан почитать. Но крипта на Красной площади была не просто святыней. Это было вещественное напоминание о том, что и после ленинской смерти русские не освобождались от него. Им всё так же предстояло повиноваться его заповедям — через его помазанных преемников.

Деревянный мавзолей был заменён в 1930 году мраморно-гранитным зданием, которое сохранилось и спустя сто лет после Ленинской революции. Именно его старый друг Леонид Красин придумал включить в сооружение трибуну, с которой в большие дни и праздники Советского Союза последующие поколения коммунистических царей обращались к массам. По оценкам, за восемьдесят пять лет после открытия крипты для посетителей мавзолей посетили около двадцати миллионов человек и видели забальзамированного, жутковато воскового Ленина.

Советские вожди, пришедшие ему на смену, верили, что ленинские достижения узаконивают их власть. Через столетие Ленина использовал уже новый род автократов — крайние националисты, которые, возможно, и отказались от коммунизма, но всё же чтили Ленина как сильного правителя в русской традиции.

Основные действующие лица

Антонов-Овсеенко, Владимир (1884–1939)
Офицер царской армии в годы Первой мировой войны, примкнувший к Ленину. Один из военных организаторов большевистского переворота. Именно он возглавил отряды Красной гвардии, вошедшие в Зимний дворец в кульминационный момент революции и арестовавшие оставшихся членов Временного правительства. Позднее стал одним из самых беспощадных ленинских исполнителей, подавляя крестьянские восстания в 1920–1921 годах. Был расстрелян после показательного процесса во время сталинского Большого террора.

Арманд, Инесса (1874–1920)
Одна из самых известных большевистских феминисток вплоть до смерти Ленина, после чего её вычеркнули из официальных советских историй из-за её связи с Лениным. Она была его любовницей в прерывавшемся и возобновлявшемся любовном романе — и в то же время в теснейшем рабочем союзе, — продолжавшемся с 1910 года до самой её смерти. Единственный раз, когда Ленина видели публично сломленным, был на её похоронах. От мужа у неё было четверо детей; мужа она оставила ради своего деверя. В 1917 году ехала в «пломбированном вагоне» из Цюриха в Петроград. После её смерти Ленин и его жена стали опекунами дочерей Инессы — Инны и Варвары.

Балабанова, Анжелика (1878–1965)
Сторонница большевиков и поклонница Ленина, впоследствии в нём разочаровавшаяся. В 1900-е годы находилась вместе с ним в эмиграции. После революции стала первым секретарём Коммунистического интернационала (Коминтерна), созданного для содействия коммунистическим партиям по всему миру и подготовки марксистских революций. Написала одну из первых — и одну из лучших — книг о Ленине и его характере.

Богданов, Александр (1873–1928)
Врач, философ, журналист и ранний марксист. Поддержал Ленина в расколе между большевиками и меньшевиками, но разошёлся с ним из-за философских споров о религии. В начале 1900-х годов Ленин видел в нём соперника в борьбе за руководство большевиками и исключил его из партии. Октябрьскую революцию 1917 года не принял, но затем занимал высокие посты в советской системе искусства и медицины. Основал советскую службу переливания крови; умер после медицинского эксперимента, проведённого на самом себе.

Бонч-Бруевич, Владимир (1873–1955)
Большевистский деятель в Петрограде и старый друг семьи Ленина. До революции был издателем, а после неё стал личным секретарём Ленина и заведующим его частной канцелярией вплоть до 1920 года. Позднее — чиновник в Советской академии наук и директор Государственного литературного музея.

Бухарин, Николай (1888–1938)
Большевистский деятель и ведущий коммунистический идеолог после Ленина, которого тот опекал как одарённого журналиста и оратора. После революции занимал целый ряд руководящих постов в Коммунистической партии, в том числе много лет был редактором партийной газеты *Правда*. Последний из советских вождей, видевший Ленина живым: он навестил его в день смерти. В 1930-е годы поссорился со Сталиным, был судим и расстрелян в ходе чисток.

Чернышевский, Николай (1828–1889)
Писатель и политический деятель, проведший двадцать пять лет в тюрьме, на каторге и в сибирской ссылке. Литературный герой Ленина. Ленин признавал, что роман Чернышевского *Что делать?*, написанный им в тюрьме, повлиял на его социалистические взгляды не меньше, чем любое из сочинений Маркса. Ленин почти всю взрослую жизнь носил в бумажнике портрет Чернышевского.

Дзержинский, Феликс (1877–1926)
Первый глава ЧК, тайной полиции Коммунистической партии, которая позднее превратилась в НКВД, а затем в КГБ. Крайний аскет. Потомок мелкой польской знати, известный как Железный граф или Железный Феликс. Провёл годы в царских тюрьмах за самые разные проступки — от разговоров по-польски в школе до попытки создать коммунистическую партию в Польше. Подвергался жестоким пыткам и до конца жизни носил следы ран на запястьях и щиколотках. Создал ЧК как «меч и щит» Коммунистической партии — орган, действовавший с самого начала вне закона и подчинявшийся только Ленину.

Фотиева, Лидия (1881–1975)
Большевичка, находившаяся с Лениным в эмиграции в Париже и Швейцарии в 1900-е годы. После революции стала личным секретарём Ленина в Петрограде, а позднее — в Москве. Много писала о жизни Ленина и его рабочих привычках, а с 1930-х годов работала в музее Ленина.

Горький, Максим (настоящее имя Алексей Пешков, 1868–1936)
Драматург, романист, социалистический политический деятель. Стал самым известным — и самым высокооплачиваемым — писателем благодаря книгам о своём сиротском детстве и жизни в крайней нищете. После неудачной революции 1905 года оказался в эмиграции, жил на Капри и в США. Был сторонником Ленина и щедрым финансовым покровителем Ленина и большевиков. После революции стал жёстким критиком Ленина, хотя личную дружбу с ним сохранил. Помогал многим писателям и художникам, подвергавшимся преследованиям. Покинул Россию, но при сталинской диктатуре вернулся.

Каменев, Лев (настоящее имя Лев Розенфельд, 1883–1936)
Много лет был революционным заговорщиком вместе с Лениным в эмиграции. Был женат на сестре Троцкого, Ольге. Выступал против большевистского переворота, но после революции занял высокие посты в партии. После переворота Ленин посылал его на целый ряд личных сверхсекретных и дипломатических миссий. Один из членов «тройки» — вместе со Сталиным и Зиновьевым, — взявшей власть после того, как в 1922 году здоровье Ленина резко ухудшилось. Сталин организовал против него показательный процесс и добился его казни.

Керенский, Александр (1881–1970)
Юрист, журналист, умеренный социалист. Прославленный своей мелодраматической манерой оратор, собиравший огромные толпы слушателей. Главная фигура Временного правительства, пришедшего к власти в России после Февральской революции 1917 года и отречения царя Николая II, но оказался слабым и нерешительным премьер-министром. Был свергнут Лениным в ходе Октябрьской революции. Ушёл в изгнание — сначала во Францию, затем в США, где и прожил последние четыре десятилетия своей жизни.

Коллонтай, Александра (1872–1952)
Революционная феминистка, начавшая свою общественную деятельность с борьбы за просвещение женщин-работниц. Талантливая писательница и автор. В эмиграции была

главным большевистским деятелем в Скандинавии и пользовалась доверием Ленина. Соперничала с Инессой Арманд как феминистская пропагандистка. После революции стала первым народным комиссаром социального обеспечения. Вступила в конфликт с Лениным по вопросу о правах рабочих, была удалена с высших партийных постов и отправлена советским послом в Норвегию. Считалось, что её книга *Большая любовь* основана на романе Ленина и Инессы Арманд. У неё самой было несколько любовных связей с видными большевистскими революционерами.

Красин, Леонид (1870–1926)
Инженер-электрик и один из немногих большевиков, когда-либо работавших в бизнесе. Главный сборщик средств для партии, умевший уговаривать миллионеров жертвовать деньги на революционное дело. Руководитель «технического отдела» партии, организовывавшего банковские ограбления в России. После революции занимал высокие должности в советских торговых и экономических комиссариатах.

Крупская, Надежда (1869–1939)
Дочь армейского офицера и школьной учительницы; оба происходили из мелкого дворянства. Получила профессию учительницы и учила рабочих читать и писать. Страстно преданная революционная социалистка. Жена Ленина с 1898 года — они поженились, когда оба находились в сибирской ссылке за политические преступления. Почти двадцать лет жила с Лениным в эмиграции и занимала высокие посты в большевистской партии, организуя подпольные сети и курируя агентов. После революции занимала высокий пост в Комиссариате народного просвещения. Возражала против идеи бальзамировать тело Ленина после его смерти и выставлять его напоказ, но проиграла эту борьбу. Несколько лет после смерти Ленина выступала против Сталина, однако в последние двенадцать лет жизни превратилась в неохотную сторонницу сталинского режима.

Луначарский, Анатолий (1875–1933)
Революционер со школьных лет и сторонник Ленина после раскола между большевиками и меньшевиками в 1903 году. Плодовитый и одарённый писатель, литературный критик, близкий друг Горького. Ненадолго порвал с Лениным, но затем вновь примкнул к большевикам. В 1917 году ехал в «пломбированном вагоне» из Швейцарии в Россию. После революции стал первым народным комиссаром просвещения, отвечавшим за советскую культуру и образование. После смерти Ленина был снят Сталиным с должности и отправлен на дипломатическую службу вдали от России.

Малиновский, Роман (1876–1918)
Рабочий-металлист, сидевший в тюрьме за кражу и обвинявшийся в попытке изнасилования. После освобождения стал активистом профсоюзов и Социал-демократической партии. В 1909 году привлёк внимание Ленина как необычайно умный и подлинно рабочий вождь. Ленин сделал его самым важным большевиком внутри России. В действительности он был двойным агентом царской тайной полиции, Охранки, у которой стал самым высокооплачиваемым агентом-провокатором и шпионом за всю её историю. Он предал десятки большевистских активистов, которые были арестованы и сосланы, — в том числе Сталина, Свердлова и Бухарина. Несмотря на улики, Ленин отказывался верить, что он предатель. В начале Первой мировой войны он бежал в Германию, а после Февральской революции документы Охранки раскрыли его двойную жизнь. В 1918 году вернулся в Россию и был расстрелян.

Мартов, Юлий (урождённый Юлий Осипович Цедербаум, 1873–1923)
Основатель и главный теоретик меньшевиков. Два десятилетия провёл в сибирской

ссылке и в эмиграции в Западной Европе. Некогда был самым близким другом Ленина среди мужчин; они были неразлучны, когда вместе создавали первую русскую марксистскую партию, социал-демократов, и начинали газету *Искра*. Но затем они разошлись в ожесточённом споре, навсегда расколовшем партию в 1903 году. Человек очень популярный, превосходный писатель и остроумный оратор, он вернулся в Россию в 1917 году, но выступил против ленинского захвата власти. Ленин позволил ему покинуть Россию, и в 1920 году он вновь ушёл в эмиграцию — в Германию, где умер от туберкулёза.

Плеханов, Георгий (1856–1918)
«Отец» русского марксизма. Покинул Россию в 1880 году, как раз накануне своего ареста. Его книги *Наши разногласия* (1885) и, несмотря на название, *К вопросу о развитии монистического взгляда на историю* стали классическими марксистскими текстами, известными по всей Европе. Вместе с Лениным основал Социал-демократическую партию и *Искру*, но неоднократно вступал с ним в столкновения. Поддерживал Первую мировую войну — в отличие от Ленина. Вернулся в Россию в 1917 году и возражал против большевистского переворота. Вскоре после этого ушёл в подполье, опасаясь за свою жизнь. Умер от естественной болезни.

Столыпин, Пётр (1862–1911)
Самый способный государственный деятель и администратор позднецарского периода. Провёл ряд аграрных и экономических реформ, но одновременно прибегал к драконовским мерам против «подрывных элементов», в ходе которых были убиты тысячи людей. Ленин восхищался им как умным политиком и противником. Был убит в Киеве социалистом-революционером, но имеющиеся данные указывали на то, что убийство было организовано его соперниками в царской полиции и при дворе.

Свердлов, Яков (1885–1919)
Впервые арестован едва достигнув восемнадцати лет, до 1917 года многократно сидел в тюрьмах. Верный сторонник Ленина и второй человек в административной машине после большевистской революции. Ленин говорил, что «для замены [Свердлова] понадобилось бы шесть человек». Он был главным организатором и распорядителем в режиме, выполнявшим большую часть той грязной тайной работы, которую Ленин не доверял никому другому, — например, организацию убийства царя и его семьи. Когда после покушения на Ленина тот на короткое время выбыл из строя, Свердлов взял управление в свои руки. Умер во время послевоенной эпидемии гриппа.

Троцкий, Леон (урождённый Лев Бронштейн, 1879–1940)
Марксистский мыслитель и плодовитый писатель. Поначалу был сторонником Ленина и сотрудником *Искры*, но во время партийного раскола встал на сторону меньшевиков, а затем занял нейтральную позицию. В течение последующих двенадцати лет находился с Лениным в ядовито-враждебных отношениях. Блестящий оратор, прославившийся в неудавшейся революции 1905 года, когда он возглавил Петроградский Совет. В 1917 году примирился с Лениным, поддержал его и стал публичным лицом революции — гораздо более известным, чем сам Ленин. Организовал большевистский переворот и возглавил Красную армию во время Гражданской войны. После смерти Ленина был оттеснён Сталиным и вынужден уйти в изгнание. Убит по приказу Сталина.

Ульянов, Александр (1866–1887)
Старший брат Ленина — на четыре года. Одарённый студент-естествоиспытатель Петербургского университета. Участвовал в неудачном заговоре революционной

организации «Народная воля» с целью убить царя Александра III. Был арестован, тайно судим и повешен почти через четыре недели после своего двадцать первого дня рождения.

Ульянов, Илья (1831–1886)
Отец Ленина. Видный царский чиновник, инспектор народных училищ, получивший дворянство благодаря своему служебному рангу администратора. Умеренный либерал в политике. Умер от удара, когда его сыну Владимиру было пятнадцать лет.

Ульянова, Мария Александровна (1835–1916)
Мать Ленина, которую он часто называл «святой — в самом прямом смысле слова». Она никогда не была марксисткой или вообще какой-либо социалисткой, но финансировала его революционную деятельность и неизменно поддерживала всех своих радикально настроенных детей. На протяжении двух десятилетий его эмиграции он непрерывно писал ей письма.

Ульянова, Мария Ильинична (1878–1937)
Младшая сестра Ленина. За свою политическую деятельность регулярно подвергалась арестам и ссылкам. Иногда жила с Лениным и Надей в Швейцарии и Польше, а после революции делила с ними квартиру в Кремле. После революции брат дал ей высокий пост в Коммунистической партии, а также ответственную должность в партийной газете *Правда*.

Ульянова-Елизарова, Анна (1864–1935)
Старшая сестра Ленина, революционная социалистка, неоднократно арестовывавшаяся, сидевшая в тюрьме и бывавшая в ссылке за свою радикальную политическую деятельность. Была замужем за агентом по судоходству Марком Елизаровым и усыновила сына Гору. В 1930-е годы написала историю семьи Ульяновых, где, среди прочего, рассказала о еврейском происхождении своей матери; Сталин подверг это цензуре.

Зиновьев, Григорий (урождённый Гирш Апфельбаум, 1883–1936)
Самый преданный ленинский спутник и помощник в годы эмиграции с 1903 года — в Париже, Женеве, Польше и Цюрихе. Вернулся в Россию вместе с Лениным в «пломбированном вагоне». Выступал против Октябрьского переворота и поначалу — против установления однопартийного государства, но после революции занял руководящие посты: стал главой большевистской партии в Петрограде, а позднее — секретарём Коминтерна. Популярный оратор и после смерти Ленина — главный пропагандист «культа Ленина», основанного на массовом героическом поклонении. Один из членов «тройки» руководителей, унаследовавших власть после Ленина, но затем поссорился со Сталиным, который изгнал его из Коммунистической партии. Был осуждён вместе с Каменевым на первом из показательных процессов в годы сталинского Большого террора и расстрелян.

Избранная библиография

Ричард Абрахам. *Александр Керенский: первая любовь революции*. Лондон, 1987.

Сергей Аллилуев. *Мои воспоминания*. «Красная летопись». Москва, 1923.

Архив Президента Российской Федерации (АПРФ). Москва.

Варвара Арманд. «Живая нить». *Новый мир*, № 4, 1967.

Абрахам Ашер. *П. А. Столыпин: поиски стабильности в позднеимперской России*. Стэнфорд, 2001.

Абрахам Ашер. *Революция 1905 года*. Лондон, 1988.

Карл Бедекер. *Россия Бедекера*. Лондон, 1914.

Сергиуш Багочкий. «В. И. Ленин в Кракове и Поронине». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине* (VoVIL), т. 1, с. 438–456.

Анжелика Балабанова. *Впечатления о Ленине*. Энн-Арбор, 1964.

Жорж Бардавиль. *Инесса Арманд*. Париж, 1993.

Самуэль Барон. *Плеханов: отец русского марксизма*. Стэнфорд, 1963.

Дэниел Бир. *Мёртвый дом: сибирская ссылка при царях*. Лондон, 2016.

Ю. Бернов, А. Манусевич. *Ленин в Кракове*. Москва, 1972.

Пол Блэксток, Берт Хозелиц (ред.). *Русская угроза Европе. Карл Маркс и Фридрих Энгельс: сборник статей, речей, писем и газетных корреспонденций*. Лондон, 1953.

Сесилия Бобровская. *Двадцать лет в подпольной России*. Сан-Франциско, 1934.

Марсель Боди. «Александра Коллонтай». *Preuves*, № 14, апрель 1952, с. 12–24.

Владимир Бонч-Бруевич. *Избранные сочинения*. Москва, 1934.

Владимир Бонч-Бруевич. *Воспоминания о Ленине*. Москва, 1985.

Алан Брайен. *Ленин: роман*. Лондон, 1987.

Хью Броган (ред.). *Сигналы с Марса: письма Артура Рэнсома*. Лондон, 1998.

Луиза Брайант. *Шесть красных месяцев в России*. Нью-Йорк, 1918.

Сэр Джордж Бьюкенен. *Моя миссия в Россию и другие дипломатические воспоминания*. Лондон, 1923.

Мериел Бьюкенен. *Дочь посла*. Лондон, 1958.

Николай Бухарин. *Азбука коммунизма*. Энн-Арбор, 1966.

Николай Бухарин. *Как всё начиналось*. Нью-Йорк, 1998.

Э. Х. Карр. *Большевистская революция* (в 3 т.). Лондон, 1950.

Элен Каррер д’Анкосс. *Ленин*. Нью-Йорк, 2001.

Николай Чернышевский. *Что делать?* Санкт-Петербург, 1863; английский перевод: *What Is to Be Done?* / пер. Laura Beraha. Лондон, 1983.

Уинстон Черчилль. *Мировой кризис*. Т. 2: *Последствия*. Лондон, 1929.

Рональд У. Кларк. *Ленин: человек под маской*. Лондон, 1988.

Барбара Клементс. *Женщины-большевички*. Кембридж, 1997.

Роберт Конквест. *Между Марсом и Венерой*. Лондон, 1962.

Роберт Конквест. *Большой террор*. Лондон, 1973.

Роберт Конквест. *Тираны и пишущие машинки*. Лондон, 1989.

Л. О. Дан. *Из архива Дан*. Амстердам, 1957.

Исаак Дойчер. *Детство Ленина*. Лондон, 1970.

Исаак Дойчер. *Вооружённый пророк: Троцкий, 1879–1921*. Нью-Йорк, 1954.

Исаак Дойчер. *Безоружный пророк: Троцкий, 1921–1929*. Нью-Йорк, 1959.

Тамара Дойчер. *Не одной политикой: другой Ленин*. Лондон, 1973.

Илья Эренбург. *Люди, годы, жизнь: воспоминания 1891–1917*. Лондон, 1961.

Ральф Картер Элвуд. *Инесса Арманд: революционерка и феминистка*. Кембридж, 1992.

Ральф Картер Элвуд. *Негеометрический Ленин: очерки о развитии большевистской партии в 1910–1914 гг*. Нью-Йорк, 2011.

Барбара Алперн Энгель, Клиффорд Розенталь (ред.). *Пять сестёр: женщины против царя*. Лондон, 2013.

Мария Эссен. «Встречи с Лениным». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине*, т. 1, с. 244–262.

Юрий Фельштинский. *Ленин и его товарищи: большевики захватывают Россию, 1917–1924*. Нью-Йорк, 2010.

Орландо Файджес. *Народная трагедия: Русская революция 1891–1924*. Лондон, 1996.

Бен Фишер. *Охранка: парижские операции русской императорской полиции*. Вашингтон, Центр изучения разведки, 1997.

Луис Фишер. *Жизнь и смерть Сталина*. Лондон, 1953.

Луис Фишер. *Жизнь Ленина*. Лондон, 1965.

Л. Фомичева. *Н. К. Крупская: жизнь и деятельность в фотографиях и документах*. Москва, 1988.

Лидия Фотиева. *Страницы из жизни Ленина*. Москва, 1960.

Дэвид Фрэнсис. *Россия глазами американского посольства*. Нью-Йорк, 1921.

Жан Фревиль. *Крупная фигура русской революции: Инесса Арманд*. Париж, 1957.

Жан Фревиль. *Ленин в Париже*. Париж, 1968.

Якуб Ганецкий (фон Вурстенберг). «В. Ленин». *Вопросы истории*, № 3, Москва, 1970, с. 92–101.

Анна Гейфман. *Ты должен убить: революционный терроризм в России, 1894–1917*. Принстон, 1993.

Анна Гейфман (ред.). *Россия при последнем царе: оппозиция и подрывная деятельность, 1894–1917*. Оксфорд, 1999.

Израиль Гецлер. *Мартов: политическая биография русского социал-демократа*. Кембридж, 1967.

Израиль Гецлер. *Николай Суханов: летописец Русской революции*. Кембридж, 2011.

Степан Гиль. *Шесть лет с В. И. Лениным: воспоминания*. Москва, 1957.

Зинаида Гиппиус. *Петербургские дневники 1914–1919*. Нью-Йорк, 1982.

Эмма Гольдман. *Проживая свою жизнь*. Лондон, 1932.

Эмма Гольдман. *Моё разочарование в России*. Лондон, 1925.

Георгий Голиков. *В. И. Ленин: биографическая хроника, 1870–1924* (12 т.). Москва, 1970–1982.

Георгий Голиков. *Воспоминания о В. И. Ленине* (5 т.). Москва, 1968–1970.

Максим Горький. *Мои дни с Лениным*. Лондон, 1933.

Цуёси Хасэгава. *Февральская революция в Петрограде, 1917*. Лондон, 1981.

Макс Хейстингс. *Катастрофа 1914: Европа идёт к войне*. Лондон, 2013.

Роберт Хендерсон. «Ленин и библиотека Британского музея». *Solanus*, т. 4, Лондон, 1990, с. 3–15.

Анна Хилльяр, Джейн Макдермид. *Женщины-революционерки в России, 1870–1917*. Лондон, 2000.

Макс Гофман. *Военные дневники и другие материалы*. Лондон, 1929.

Джон Холройд-Доветон. *Максим Литвинов: биография*. Лондон, 2013.

А. И. Иванский (ред.). *Комета в ночи: история героической жизни и трагической смерти Александра Ульянова в рассказах современников*. Гонолулу, 2004.

Надежда А. Иоффе. *Назад во времени: моя жизнь, моя судьба, моя эпоха*. Оук-Парк, Мичиган, 1995.

Лев Каменев. *Между двумя революциями: сборник статей*. Москва, 1923.

Джордж Кеннан. *Россия и Запад при Ленине и Сталине*. Бостон, 1961.

Джордж Кеннан. «Документы Сиссона». *The Journal of Modern History*, т. 28, № 2, июнь 1956, с. 130–154.

Александр Керенский. *Распятие свободы*. Нью-Йорк, 1934.

Александр Керенский. *Мемуары Керенского: Россия и поворотный момент истории*. Нью-Йорк, 1965.

Генерал сэр Альфред Нокс. *С русской армией, 1914–1917*. Лондон, 1921.

Александра Коллонтай. *Большая любовь* / пер. Lily Lore. Лондон, 1981.

Александра Коллонтай. *Любовь пчёл трудовых* / пер. Cathy Porter. Лондон, 1971.

Стивен Коткин. *Сталин*. Т. 1: *Парадоксы власти. 1878–1928*. Лондон, 2014.

Надежда Крупская. «О Владимире Ильиче». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине*, т. 2. Москва, 1975.

Надежда Крупская. *Воспоминания о Ленине*. Нью-Йорк, 1970.

Глеб Кржижановский. «О Владимире Ильиче». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине*, т. 2. Москва, 1924.

Владимир Ильич Ленин. *Биографическая хроника* (12 т.). Москва, 1970–1982.

Владимир Ильич Ленин. *Собрание сочинений* (45 т., на английском языке). Москва, 1963–1970.

Владимир Ильич Ленин. *Неизвестные документы. 1891–1922* / ред. Юрий Амиантов. Москва, 1999.

Ольга Лепешинская. *Встречи с Ильичом*. Москва, 1966.

Пантелеймон Лепешинский. *На повороте: от конца 80-х годов к 1905-му*. Москва, 1922.

Марсель Либман. *Ленинизм при Ленине*. Лондон, 1975.

Доминик Ливен. *Николай II: император Всероссийский*. Лондон, 1993.

Доминик Ливен. *Правители России при старом режиме*. Лондон, 1989.

Доминик Ливен. *Навстречу пламени: империя, война и конец царской России*. Лондон, 2015.

Ларс Ли. *Ленин*. Лондон, 2011.

Зина Лилина (Зиновьева). «Тов. Ленин едет в Россию». *Ленинградская правда*, 16 апреля 1924.

Анатолий Луначарский. *Революционные силуэты*. Нью-Йорк, 1968.

М. Лядов. *Из жизни партии. Воспоминания*. Москва, 1926.

Шон Макмикин. *Величайшее ограбление в истории: разграбление России большевиками*. Нью-Йорк, 2009.

Шон Макмикин. *Июль 1914: обратный отсчёт до войны*. Лондон, 2014.

Шон Макмикин. *Русские истоки Первой мировой войны*. Кембридж, Массачусетс, 2011.

Роберт Макнил. *Невеста революции: Крупская и Ленин*. Лондон, 1973.

Иван Майский. *Путешествие в прошлое*. Лондон, 1960.

Валериу Марку. «Ленин в Цюрихе: воспоминание». *Foreign Affairs*, апрель 1943.

Marxist Internet Archive — www.marxists.org

Владимир Маяковский. *«Владимир Маяковский» и другие стихотворения*. Лондон, 2016.

Рой Медведев. *Пусть история рассудит: происхождение и последствия сталинизма*. Лондон, 1972.

Владимир Мельниченко. *Я тебя очень любила: правда о Ленине и Арманд*. Москва, 2002.

Кэтрин Мерридейл. *Ленин в поезде*. Лондон, 2016.

Н. Л. Мещеряков (ред.). *По воспоминаниям, переписке и документам*. Москва, 1935.

И. К. Михайлов. «Воспоминания о В. И. Ленине». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине*, т. 3. Москва, 1960, с. 130–141.

Джайлс Милтон. *Русская рулетка: как британские шпионы сорвали ленинский план мировой революции*. Лондон, 2013.

Павел Милюков. *Русская революция*. Нью-Йорк, 1978.

Л. Муравьёва, Л. Сиволап-Кафтанова. *Ленин в Лондоне: памятные места*. Москва, 1983.

В. Новиков. *Ленин и деятельность искровских групп в России, 1900–1903*. Москва, 1978.

Фердинанд Оссендовский. *Ленин: бог безбожников*. Лондон, 1931.

Роберт Пейн. *Жизнь и смерть Ленина*. Нью-Йорк, 1965.

Майкл Пирсон. *Инесса: любовница Ленина*. Лондон, 2001.

Майкл Пирсон. *Запломбированный вагон*. Лондон, 1975.

Морис Пьянцола. *Ленин в Швейцарии*. Женева, 1965.

Юзеф Пилсудский. *Мемуары польского революционера и солдата*. Лондон, 1931.

Ричард Пайпс. *Русская революция. 1899–1919*. Лондон, 1990.

Ричард Пайпс. *Россия при большевистском режиме. 1919–1924*. Лондон, 1994.

Ричард Пайпс (ред.). *Неизвестный Ленин: из секретных архивов*. Лондон; Нью-Хейвен, 1996.

Фриц Платтен. *Ленин из эмиграции в Россию*. Москва, 1925.

Николай Подвойский. «В. И. Ленин в 1917 году». В кн.: *Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине*, т. 4. Москва, 1960.

Филип Помпер. *Брат Ленина: истоки Октябрьской революции*. Нью-Йорк, 2010.

Кэти Портер. *Александра Коллонтай: биография*. Лондон, 2014.

Штефан Поссони. *Ленин: революционер по необходимости*. Лондон, 1966.

Александр Потресов / ред. Б. Николаевский. *Посмертный сборник произведений*. Париж, 1937.

Александр Рабинович. *Большевики приходят к власти: революция 1917 года в Петрограде*. Лондон, 1979.

Александр Рабинович. *Большевики у власти: первый год советского правления в Петрограде*. Блумингтон, Индиана, 2007.

Александр Рабинович. *Прелюдия к революции: петроградские большевики и июльское восстание 1917 года*. Блумингтон, Индиана, 1968.

Карл Радек. «Ленинский “запломбированный вагон”». *New York Times*, 19 февраля 1922.

Карл Радек. «В пломбированном вагоне». *Правда*, 20 апреля 1924.

Карл Радек. *Портреты и памфлеты* (в 2 т.). Москва, 1927.

Эйно Рахья. «Мои воспоминания о Владимире Ильиче». *Правда*, 21 января 1927.

Артур Рэнсом. *Автобиография Артура Рэнсома*. Лондон, 1976.

Артур Рэнсом. *Шесть недель в России в 1919 году*. Лондон, 1919.

Хелен Раппапорт. *Заговорщик: Ленин в изгнании. Становление революционера*. Лондон, 2009.

Хелен Раппапорт. *Екатеринбург: последние дни Романовых*. Лондон, 2008.

Шарль Раппопорт. «Ленин в Париже». *Russie d'aujourd'hui*, № 70, январь 1938.

Фёдор Раскольников. «Приезд тов. Ленина в Россию». *Пролетарская революция*, № 10, 1923, с. 220–226.

Джон Рид. *Десять дней, которые потрясли мир*. Нью-Йорк, 1919.

Эндрю Ротштейн. *Ленин в Британии*. Лондон, 1970.

Владимир Розанов. «Из воспоминания о Владимире Ильиче». В кн.: Н. Л. Мещеряков (ред.), *По воспоминаниям, переписке и документам*. Москва, 1935.

Бертран Рассел. *Практика и теория большевизма*. Лондон, 1920.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Москва.

Российская государственная библиотека (Библиотека имени Ленина). Москва.

Российская государственная библиотека литературы и искусства (РГАЛИ). Москва.

Российский государственный военный архив (ЦГАСА). Москва.

Гаррисон Солсбери. *Чёрная ночь, белый снег: русские революции 1905–1917*. Нью-Йорк, 1978.

Джошуа Санборн. *Имперский апокалипсис: Великая война и разрушение Российской империи*. Оксфорд, 2014.

Борис Савинков. *Воспоминания террориста*. Лондон, 1931.

Леонард Шапиро. *Коммунистическая партия Советского Союза*. Нью-Йорк, 1970.

Леонард Шапиро. *Русские революции 1917 года: истоки современного коммунизма*. Нью-Йорк, 1984.

Саймон Себаг Монтефиоре. *Романовы. 1613–1918*. Лондон, 2016.

Саймон Себаг Монтефиоре. *Молодой Сталин*. Лондон, 2007.

Николай Семашко. *Отчего болел и умер В. И. Ленин*. Ленинград, 1924.

Альфред Сенн. *Русская революция в Швейцарии, 1914–1917*. Лондон, 1975.

Виктор Серж. *Воспоминания революционера*. Лондон, 1963.

Виктор Серж. *Первый год Русской революции*. Лондон, 1972.

Роберт Сервис. *Ленин: биография.* Лондон, 2000.

Роберт Сервис. *Ленин: политическая жизнь* (в 3 т.). Лондон, 1985–1995.

Роберт Сервис. *Шпионы и комиссары*. Лондон, 2011.

Роберт Сервис. *Сталин: биография*. Лондон, 2004.

Роберт Сервис. *Троцкий: биография*. Лондон, 2009.

Клэр Консуэло Шеридан. *Русские портреты*. Лондон, 1921.

Александр Шляпников. *Накануне 1917 года: воспоминания революционного подпольщика*. Лондон, 1982.

А. В. Шотман. «Ленин накануне Октября». В кн.: *О Ленине: сборник воспоминаний*. Ленинград, 1925.

Давид Шуб. *Ленин*. Лондон, 1966.

Гарольд Шукман. *Ленин и Русская революция*. Нью-Йорк, 1981.

Гарольд Шукман (ред.). *Энциклопедия Блэквелла по Русской революции*. Оксфорд, 1988.

Джонатан Смели. *Русская революция и Гражданская война 1917–1921: аннотированная библиография*. Лондон, 2003.

Александр Солженицын. *Ленин в Цюрихе*. Лондон, 1975.

Тильман Шпенглер. *Мозг Ленина*. Лондон, 1993.

Елена Стасова. *Воспоминания.* Москва, 1969.

Исаак Штейнберг. *Мария Спиридонова: революционерка-террористка*. Лондон, 1935.

Норман Стоун. *Восточный фронт, 1914–1917*. Лондон, 1975.

Николай Суханов. *Записки о революции*. Москва, 1922; английское издание: *The Russian Revolution 1917: A Personal Record*. Лондон, 1955.

Клавдия Свердлова. *Яков Михайлович Свердлов.* Москва, 1957.

Владимир Тисмэняну. *Дьявол в истории: коммунизм, фашизм и некоторые уроки XX века*. Лос-Анджелес, 2012.

Лев Троцкий. *История русской революции*. Лондон, 1934.

Лев Троцкий. *Моя жизнь*. Нью-Йорк, 1930.

Лев Троцкий. *О Ленине: заметки к биографии*. Лондон, 1971.

Лев Троцкий. *Документы Троцкого, 1917–1922* (в 2 т.) / ред. М. Мейер. Гаага, 1964–1971.

Анри Труайя. *Горький*. Лондон, 1989.

Ираклий Церетели. *Воспоминания о Февральской революции*. Париж, 1963.

Марина Цветаева. *Земные приметы: московские дневники, 1917–1921* / пер. Jamey Gambrell. Лондон; Нью-Хейвен, 2002.

Марина Цветаева. *Избранные стихотворения* / пер. David McDuff. Лондон, 1987.

Нина Тумаркин. *Ленин жив!: культ Ленина в советской России*. Кембридж, Массачусетс, 1983.

Кэти Тёртон. *Забытые жизни: роль сестёр Ленина в Русской революции, 1864–1937*. Лондон, 2007.

Адам Улам. *Во имя народа*. Нью-Йорк, 1977.

Адам Улам. *Ленин и большевики*. Лондон, 1966.

Мария Ульянова. *О Ленине и семье Ульяновых: воспоминания, очерки, письма*. Москва, 1978.

Анна Ульянова-Елизарова. *Воспоминания об Ильиче*. Москва, 1934; английское издание: *Детство и школьные годы Владимира Ульянова*. Москва, 1988.

Николай Валентинов. *Встречи с Лениным*. Лондон, 1968.

Лариса Васильева. *Кремлёвские жёны* / пер. Cathy Porter. Лондон, 1994.

Георгий Вернадский. *Ленин: красный диктатор* / пер. Malcolm Warner Davis. Нью-Хейвен, 1931.

Полина Виноградская. *Памяти Инессы Арманд* / ред. Н. К. Крупская. Москва, 1926.

Дмитрий Волкогонов. *Ленин: жизнь и наследие*. Лондон, 1994.

Дмитрий Волкогонов. *Сталин: триумф и трагедия* / пер. Harold Shukman. Лондон, 1988.

Рекс Уэйд. *Русская революция, 1917*. Лондон, 2000.

Роберт Уильямс. *Другие большевики: Ленин и его критики, 1904–1914*. Блумингтон, Индиана, 1986.

Эдмунд Уилсон. *К Финляндскому вокзалу: исследование о написании и делании истории*. Лондон, 1972.

Бертрам Вулф. *Трое, создавшие революцию*. Бостон, Массачусетс, 1955.

Това Йедлин. *Максим Горький: политическая биография*. Вестпорт, Коннектикут, 1999.

Адам Замойский. *Варшава 1920: неудавшееся завоевание Европы Лениным*. Лондон, 2008.

Илья Збарский, Самуэль Хатчинсон. *Бальзамировщики Ленина*. Лондон, 1998.

Збынек Земан. *Торговец революцией: жизнь Александра Израиля Гельфанда (Парвуса), 1867–1924*. Лондон, 1965.

Збынек Земан (ред.). *Германия и революция в России, 1915–1918*. Оксфорд, 1953.

Григорий Зиновьев. *История большевистской партии*. Электронный ресурс: Marxists Internet Archive.

Григорий Зиновьев. *Ленинизм: введение в изучение*. Ленинград, 1925.

Фредерик Цукерман. *Царская тайная полиция за границей: полицейский контроль в Европе модернизирующегося мира*. Лондон, 2003.

Фредерик Цукерман. *Царская тайная полиция в русском обществе, 1880–1917*. Лондон, 1996.

Стефан Цвейг. *Звёздные часы человечества: двенадцать исторических миниатюр*. Лондон, 1927.

Стефан Цвейг. *Вчерашний мир: автобиография*. Лондон, 1943.

Фотоальбом

Младенцем Владимир Ульянов был «головастым» — по словам его сестры Анны, голова у него казалась слишком большой для тела. И «он был очень шумным, страшным крикуном»

Гнездо дворянского семейства: семья Ульяновых в 1879 году. Стоят слева направо: Ольга, Александр и Анна. Сидят слева направо: Мария Александровна (с Марией на коленях), Дмитрий, Илья Николаевич и Владимир.

Александр «Саша» Ульянов, блестящий студент естественных наук, за несколько месяцев до того, как его повесили в возрасте двадцати одного года.

Старшая сестра Ленина, Анна Ильинична, в начале своих двадцати лет. В 1930-е годы она написала историю семьи Ульяновых, которую Сталин подверг цензуре.

Его сестра Мария. Мария и Анна были активными революционерками, их неоднократно сажали в тюрьму и ссылали, и они принесли большие жертвы ради карьеры Ленина.

Надежда Константиновна Крупская (Надя), двадцати одного года, за три года до знакомства со своим будущим мужем, Владимиром. «Он никогда не смог бы полюбить женщину, взгляды которой полностью расходились бы с его собственными и которая не была бы товарищем в его деле».

Полицейская «сигналетическая» фотография Владимира Ульянова, сделанная при его первом аресте в 1895 году.

Юлий Мартов (Юлий Осипович Цедербаум), ближайший друг Ленина среди мужчин на протяжении многих лет, пока они не стали ожесточёнными врагами и политическими противниками.

Лев Троцкий примерно в то время, когда они с Лениным впервые встретились в 1902 году; тогда его ласковым конспиративным псевдонимом было «Перо».

Надя, двадцати шести лет

Инесса Арманд, любовница Ленина. «Она казалась неиссякающим источником жизни… пламенным огнём революции», — по словам одного из её товарищей.

Григорий Зиновьев (Гирш Апфельбаум), самый преданный ленинский подпевала и угодник в годы их эмиграции. Позднее, после Революции, он стал главой Коммунистического Интернационала.

Лев Каменев (Леон Розенфельд) провёл многие годы европейской эмиграции вместе с Лениным. Ленин презирал его за «слабость», но любил его шутки и сплетни.

Молодой Иосиф Сталин — «чудесный грузин», как однажды назвал его Ленин, — около 1907 года, когда он организовал крупное ограбление банка в Тифлисе для финансирования большевистской партии.

Ленин в укрытии в Финляндии, за три недели до Октябрьской революции, переодетый финским рабочим; это единственная сохранившаяся фотография Ленина во взрослом возрасте без его знаменитой бороды.

Ленин на Красной площади обращается к солдатам и активистам Коммунистической партии в первую годовщину Октябрьской революции, 1918 год.

Феликс Дзержинский (в центре), глава ЧК, «меча и щита» Коммунистической партии. «Железный Феликс», фанатичный, беспощадный, ледяной и аскетичный, был самым ненавидимым и самым страшным человеком в России после 1917 года.

В последние девять месяцев своей жизни Ленин едва мог произнести больше нескольких слов или ходить и почти всё время был прикован к инвалидному креслу. Его угасание в течение многих месяцев держалось в строгой государственной тайне.

Загробная жизнь. Пока Ленин лежал в гробу для прощания, его преемники, вопреки воле его семьи, приняли решение забальзамировать его тело — «навсегда, если сумеем», как сказал Дзержинский, — и выставить его на всеобщее обозрение. Он и поныне ежегодно привлекает огромные толпы.